россия в мемуарах

"ОХРАНКА"

Воспоминания руководителей политического сыска

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

В воспоминаниях начальников Московского охранного отделения П.П. Заварзина и А.П. Мартынова, начальника Петербургского охранного отделения А.В. Герасимова и директора Департамента полиции А.Т. Васильева подробно описана «кухня» российского политического сыска конца XIX — начала XX веков, даны характеристики его ключевых фигур (С.В. Зубатов, Е.П. Медников, М.И. Трусевич, С.П. Белецкий и др.), рассказано об убийствах Плеве, Сипягина, Столыпина, Распутина, о нашумевших делах Гапона, Азефа и др.

Все представленные в сборнике мемуары (за исключением книги Герасимова) впервые публикуются в России, а книга Васильева вообще впервые выходит на русском языке.

В аннотированном именном указателе справки о жандармах подготовлены на основе служебной документации жандармского корпуса.

- «ОХРАНКА»
  - «Охранка» глазами охранников
  - А.П. Мартынов
    - Введение
    - Глава I
    - Глава II
    - Глава III
    - Глава IV
    - Глава V
    - Приложение
  - П.П. Заварзин
    - Предисловие
    - Часть I
      - Глава 1
      - Глава 2
      - Глава 3
      - Глава 5
      - Глава 6
    - Часть II
      - Глава 8
      - Глава 9
      - Глава 10
      - Глава 13
      - Глава 14
      - Глава 15

- Глава 16
- Глава 17
- Глава 18
- Глава 19
- Глава 20
- Глава 21
- Глава 22
- Глава 23

- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11
  - 12
  - 13
  - 14
  - 15
  - 16
  - 17
  - 18
  - 19
  - 20
  - 21
  - 22
  - 23
  - 24
  - 25
  - 26
  - 27
  - 28
  - 29
  - 30
  - 31
  - 32
  - 33
  - 34
  - 35

- ○ 36
- ○ 37
- ○ 38
- ○ 39
- ○ 40
- ○ 41
- ○ 42
- ○ 43
- ○ 44
- ○ 45
- ○ 46
- ○ 47
- ○ 48
- ○ 49
- ○ 50
- ○ 51
- ○ 52
- ○ 53
- ○ 54
- ○ 55
- ○ 56
- ○ 57
- ○ 58
- ○ 59
- ○ 60
- ○ 61
- ○ 62
- ○ 63
- ○ 64
- ○ 65
- ○ 66
- ○ 67
- ○ 68
- ○ 69
- ○ 70
- ○ 71
- ○ 72
- ○ 73
- ○ 74
- ○ 75
- ○ 76
- ○ 77
- ○ 78
- ○ 79

- ○ 80
- ○ 81
- ○ 82
- ○ 83
- ○ 84
- ○ 85
- ○ 86
- ○ 87
- ○ 88
- ○ 89
- ○ 90
- ○ 91
- ○ 92
- ○ 93
- ○ 94
- ○ 95
- ○ 96
- ○ 97
- ○ 98
- ○ 99
- ○ 100
- ○ 101
- ○ 102
- ○ 103
- ○ 104
- ○ 105
- ○ 106
- ○ 107
- ○ 108
- ○ 109
- ○ 110
- ○ 111
- ○ 112
- ○ 113
- ○ 114
- ○ 115
- ○ 116
- ○ 117
- ○ 118
- ○ 119
- ○ 120
- ○ 121
- ○ 122
- ○ 123

- ○ 124
- ○ 125
- ○ 126
- ○ 127
- ○ 128
- ○ 129
- ○ 130
- ○ 131
- ○ 132
- ○ 133
- ○ 134
- ○ 135
- ○ 136
- ○ 137
- ○ 138
- ○ 139
- ○ 140
- ○ 141
- ○ 142
- ○ 143
- ○ 144
- ○ 145
- ○ 146
- ○ 147
- ○ 148
- ○ 149
- ○ 150
- ○ 151
- ○ 152
- ○ 153
- ○ 154
- ○ 155
- ○ 156
- ○ 157
- ○ 158
- ○ 159
- ○ 160
- ○ 161
- ○ 162
- ○ 163
- ○ 164
- ○ 165
- ○ 166
- ○ 167

- ○ 168
- ○ 169
- ○ 170
- ○ 171
- ○ 172
- ○ 173
- ○ 174
- ○ 175
- ○ 176
- ○ 177
- ○ 178
- ○ 179
- ○ 180
- ○ 181
- ○ 182
- ○ 183
- ○ 184
- ○ 185
- ○ 186
- ○ 187
- ○ 188
- ○ 189
- ○ 190
- ○ 191
- ○ 192
- ○ 193
- ○ 194
- ○ 195
- ○ 196
- ○ 197
- ○ 198
- ○ 199
- ○ 200
- ○ 201
- ○ 202
- ○ 203
- ○ 204
- ○ 205
- ○ 206
- ○ 207
- ○ 208
- ○ 209
- ○ 210
- ○ 211

- ○ 212
- ○ 213
- ○ 214
- ○ 215
- ○ 216
- ○ 217
- ○ 218
- ○ 219
- ○ 220
- ○ 221
- ○ 222
- ○ 223
- ○ 224

«ОХРАНКА»
Воспоминания руководителей политического сыска

«Охранка» глазами охранников

В конце 1870-х годов характерной чертой русской жизни стал терроризм революционеров-народников, боровшихся с царским правительством. III отделение, осуществлявшее функции политической полиции, не могло справиться с ними, и было решено осуществить преобразования в этой сфере.

6 августа 1880 года в России возникло новое учреждение — Департамент государственной полиции, ставший высшим органом политической полиции в Российской империи.

Обосновывая свои предложения, министр внутренних дел М.Т. Лорис-Меликов указывал, что *«делопроизводство в оном* (Департаменте государственной полиции. — **З.П.**) *может быть вверено только таким лицам, которые, обладая необходимыми для службы в высшем правительственном учреждении познаниями и способностями, вполне заслуживают доверия по своим нравственным качествам, выдержанности характера и политической благонадёжности»*[1]. Старые кадры не подходили как по своим профессиональным качествам, так и в силу того, что часть их были жандармы, люди военные. Лорис-Меликов стремился к тому, чтобы новое учреждение состояло из «законников», лиц гражданских и с юридической подготовкой.

Указом от 15 ноября 1880 года на Департамент государственной полиции было возложено руководство как политической, так и общей полицией. Согласно ст. 362 «Учреждения Министерства», Департамент обязан был заниматься вопросами: 1) предупреждения и пресечения преступлений и охранения общественной безопасности и порядка; 2) ведения дел о государственных преступлениях; 3) организации и наблюдения за деятельностью полицейских учреждений; 4) охранения государственных границ и пограничных сообщений; выдачи паспортов русским подданным, видов на жительство в России иностранцам; высылки иностранцев из России; наблюдения за всеми видами культурно-просветительной деятельности и утверждения уставов различных обществ[2].

Важная роль принадлежала созданному в 1898 году Особому отделу Департамента. Он заведовал внутренней и заграничной агентурой, вёл наблюдение за перепиской подозрительных лиц, осуществлял надзор за настроениями рабочих, учащейся молодёжи, а также розыск лиц по политическим вопросам и т. д.

Свои основные функции Департамент полиции и его Особый отдел осуществляли через подведомственные им местные учреждения: губернские жандармские управления (ГЖУ),

областные жандармские управления (ОЖУ), жандармско-полицейские управления железных дорог (ЖПУ ж.д.), а также розыскные пункты, часть которых впоследствии была переименована в охранные отделения.

Первые губернские жандармские управления были созданы на основе Положения о Корпусе жандармов от 16 сентября 1867 года. До середины 1868 года они возникли практически во всех губерниях. Одновременно в некоторых местностях создаются на определённый срок и упраздняются по мере надобности жандармские наблюдательные пункты.

Начальник губернского жандармского управления имел несколько помощников, которые находились в уездах и возглавляли уездные жандармские управления. Как правило, один помощник начальника ГЖУ отвечал за несколько уездов.

Основным назначением жандармских управлений был политический розыск, производство дознаний по государственным преступлениям. Вплоть до 1880-х годов они оставались единственными учреждениями политического сыска на местах.

Будучи частью государственной полиции, ГЖУ входили в систему Министерства внутренних дел. Однако, будучи воинским подразделением, они финансировались из бюджета Военного министерства и по строевой, военной, хозяйственной части подчинялись ему. ГЖУ были независимы от губернаторов, отвечавших за безопасность и спокойствие в губернии; такого рода двойственность вносила порой немалые сложности в их деятельность и отношения с властями.

Департамент полиции осуществлял политическое руководство ГЖУ, но редко имел возможность влиять на их личный состав; карьера начальников ГЖУ зависела прежде всего от руководства штаба Корпуса жандармов.

С момента создания столичных ГЖУ при них были организованы жандармские кавалерийские дивизионы. Главным назначением дивизионов было несение патрульной службы и борьба с волнениями. Численность дивизиона вместе с офицерами и нестроевым составом практически не превышала 500 человек.

Жандармско-полицейские управления железных дорог возникли в начале 1860-х годов в результате преобразования жандармских эскадронов и команд, охранявших первые железные дороги.

Первоначальные ЖПУ железных дорог подчинялись Министерству путей сообщения (через инспекторов соответствующих дорог) и только в декабре 1866 года все

полицейские управления были изъяты из ведения Министерства путей сообщения и полностью подчинены шефу жандармов. Права и обязанности ЖПУ железных дорог были расширены. Они должны были исполнять все обязанности общей полиции, пользуясь и всеми присвоенными ей правами. Район действия ЖПУ железных дорог простирался на всё пространство, отчужденное под железные дороги, и на все находившиеся на этой полосе постройки и сооружения.

Во главе ЖПУ железных дорог стояли начальники на правах командиров полков в чине генерал-майоров или полковников, назначались они приказами по Отдельному корпусу жандармов. Вплоть до 1906 года они не принимали участия ни в производстве дознаний по государственным преступлениям, ни в политическом розыске и наблюдении. Однако активная роль, которую сыграли выступления железнодорожников в октябрьской стачке 1905 года, заставила правительство принять срочные меры и возложить на ЖПУ железных дорог обязанности производства дознаний о всех «преступных действиях» политического характера, совершённых в полосе отчуждения железных дорог. При производстве дознаний начальники отделений подчинялись начальникам местных ГЖУ. На железных дорогах был создан также секретно-агентурный надзор, что обязываю ЖПУ железных дорог иметь собственную секретную агентуру.

Параллельно со столичными губернскими жандармскими управлениями действовали охранные отделения, к которым довольно быстро перешли основные функции политической полиции на местах. Первое охранное отделение, называвшееся Отделением по охранению порядка и спокойствия в столице, было создано в 1866 году при канцелярии петербургского градоначальника в связи с начавшимися покушениями на Александра II. Вторым было Московское (Секретно-розыскное отделение при канцелярии московского обер-полицмейстера), созданное 1 ноября 1880 года по распоряжению министра внутренних дел М.Т. Лорис-Меликова. Третьим — созданное в 1900 году в Варшаве.

Деятельность первых охранных отделений оказалась, по мнению властей, успешной. В связи с разраставшимся революционным движением и слабостью губернских жандармских управлений власти всё больше задумываются над тем, как усовершенствовать политический сыск, сделать его более организованным и гибким. В городах, где всё чаще происходили выступления рабочих и учащейся молодёжи, по инициативе Департамента полиции стали создаваться розыскные пункты (отделения). С августа 1902 года они открываются в Вильно,

Екатеринославе, Казани, Киеве, Одессе, Саратове, Тифлисе, Харькове, Перми, Симферополе (Таврическое), Нижнем Новгороде.

Эти учреждения должны были осуществлять политический розыск, вести наружное наблюдение и руководить секретной агентурой. В Положении о начальниках розыскных отделений, утверждённом 12 августа 1902 года министром внутренних дел В.К. Плеве, указывалось, что *«на обязанности начальников отделений лежит приобретение секретных агентов, руководство их деятельностью, а также выбор и обучение наблюдательных агентов»*[3]. В том же году циркулярно рассылается «Свод правил» для начальников охранных отделений, в котором говорится, что задачей этих отделений является розыск по политическим делам, осуществляемый через секретную агентуру и филерское наблюдение. В обязанности начальников отделений вошла и вербовка внутренней агентуры. Они должны были хорошо знать историю революционного движения, следить за революционной литературой, а также по возможности знакомить с ней своих секретных сотрудников, развивая в последних *«сознательное отношение к делу службы»*[4]. Начальники розыскных и охранных отделений подчинялись непосредственно Департаменту полиции, который давал общее направление их деятельности, распоряжался личным составом.

Создание сети новых охранных отделений произошло во многом в результате инициативы, проявленной начальником Московского охранного отделения, затем заведующим Особым отделом Департамента полиции С.В. Зубатовым. Однако отставка осенью 1903 года помешала ему реализовать свои планы в полном объёме.

По мере роста числа охранных отделений возникает и усиливается соперничество между губернскими жандармскими управлениями и охранными отделениями. В своих циркулярах Департамент неоднократно призывает их к «взаимопомощи», обмену сведениями. Во многом эти конфликтные ситуации возникали в связи с тем, что, хотя функции ГЖУ и охранных отделений были разделены, в действительности розыскная деятельность (за которую отвечали охранные отделения) и деятельность наблюдательная, а также проведение дознаний (которыми занимались ГЖУ) тесно переплетались. На практике отделить одно от другого порой было невозможно. Те руководители охранных отделений, которые проходили по штабу Корпуса жандармов, в строевом отношении были подчинены начальнику ГЖУ. Последний, как правило, был в чине полковника или генерал-майора. Но в отношении служебном ему

приходилось порой подчиняться младшему по чину начальнику охранного отделения.

В 1906–1907 годах по инициативе директора Департамента М.И. Трусевича проводится работа по созданию новых охранных отделений, розыскных частей, расширяется вся сеть учреждений политического розыска. В декабре 1907 года насчитывалось уже 27 охранных отделений.

9 февраля 1907 года Столыпин утверждает «Положение об охранных отделениях»[5]. В Положение вошли и пункты, касающиеся взаимоотношений с ГЖУ, обмена информацией между охранными отделениями. Жандармские и политические органы, получая сведения, относящиеся к роду деятельности охранных отделений, должны были сообщать их охранному отделению для разработки, обысков, выемок и арестов, которые не могли производиться без ведома начальника охранного отделения. В свою очередь начальники охранных отделений должны были осведомлять ГЖУ об обстоятельствах, интересующих последних в процессе производимых ими дознаний.

В 1906–1907 годах возникают охранные пункты. Они организуются прежде всего в местах, отдалённых от центра, там, где в тот период наблюдался рост «боевых» настроений среди населения. Первые охранные пункты были учреждены в Хабаровске, Пензе, Гомеле, Владикавказе, Екатеринодаре, Житомире, Костроме, Полтаве, Курске и ряде других городов.

Одновременно с работой по созданию охранных пунктов по предложению всё того же Трусевича в системе политического сыска создаются совершенно новые учреждения — районные охранные отделения. 14 декабря 1906 года Столыпин утверждает специальное Положение о районных охранных отделениях. Создавались они в *«целях успешной борьбы с революционным движением, выражающимся в целом ряде непрерывно продолжающихся террористических актов, аграрных беспорядков, усиленной пропаганды среди крестьян, в войсках и во флоте»*[6]. Положением о районных охранных отделениях на них возлагалась задача объединения всех функционирующих в пределах района (охватывающего несколько губерний) органов политического розыска. Большое внимание придавалось принятию быстрых решений, слаженной совместной работе охранных отделений и жандармских управлений, «чтобы деятельность носила более живой и планомерный характер». В одной из записок, датированной 1913 годом, директор Департамента полиции назвал районные охранные отделения «филиальным отделением» своего Департамента. Примечательно,

что районные отделения организовывались так, чтобы сфера их деятельности совпадала (или почти совпадала) с районами действия окружных партийных комитетов РСДРП и других революционных партий.

Начальники местных охранных отделений непосредственно подчинялись начальнику районного охранного отделения. Губернские и уездные ЖУ и ЖПУ ж.д. в вопросах розыска также должны были руководствоваться указаниями начальника районного охранного отделения.

К числу основных задач районных охранных отделений принадлежали организация внутренней агентуры для «разработки» всех местных партийных организаций и руководство деятельностью агентуры и розыска в границах района. С этой целью начальники районных охранных отделений имели право созывать совещания офицеров, непосредственно ведущих политический розыск. Они также должны были информировать высшие розыскные учреждения о положении дел в революционном движении района, помогать в деле политического розыска соответствующим учреждениям других районов. Офицеры районных охранных отделений могли пользоваться всеми следственными и агентурными материалами жандармских управлений и охранных отделений. В случае необходимости им должны были быть известны и секретные сотрудники — агенты, находящиеся в ведении того или иного офицера жандармского управления и охранного отделения.

На первоначальном этапе своей деятельности районные охранные отделения сыграли немалую роль в разгроме партийных организаций, партийных комитетов, координации деятельности сыскных служб на местах. Их успехи подняли престиж розыскной деятельности среди властей, создали иллюзию возможного разгрома революционных организаций.

Однако возникли и сложности. По мере роста вмешательства районных охранных отделений в деятельность местных полицейских властей их взаимоотношения с работниками ГЖУ стали всё более осложняться. Не помогали и периодически издаваемые Департаментом циркуляры с напоминанием о необходимости совместных усилий в борьбе с силами революции и обязательного взаимного информирования. Чиновники районных охранных отделений порой не проявляли должного такта в отношении своих губернских коллег. Жалобы и недовольство часто приводили к конфликтам и кляузам, которыми приходилось заниматься Департаменту полиции. С 1909 года деятельность районных охранных отделений ослабевает, что было в значительной мере связано с затишьем в

деятельности революционных организаций.

В.Ф. Джунковский, назначенный в январе 1913 года товарищем министра внутренних дел, заведующим полицией, поднял вопрос о целесообразности существования охранных отделений. К этому времени Департамент полиции постепенно начал упразднять охранные отделения в тех местностях, «где в таковых не имелось острой необходимости за подавлением революционных движений». Часть охранных отделений была объединена с губернскими жандармскими управлениями. Объединение происходило в тех губерниях, где начальник ГЖУ был достаточно подготовлен в деле розыска. Проводя эти мероприятия, Департамент полиции обосновывал их «государственной пользой», однако, как считали некоторые чины полиции, главная причина была в том, что Департамент не находил «иного выхода из создавшегося положения», когда между ГЖУ и охранным отделением начинались явно «ненормальные» отношения. В своих воспоминаниях В Ф. Джунковский подробно пишет о своём отношении к охранным отделениям. *«Будучи ещё губернатором в Москве*, — пишет Джунковский, — *я всегда отрицательно относился к этим, возникшим на моих глазах, районным охранным отделениям вообще и, в частности, к таковому Московского центрального района, наблюдая все отрицательные стороны этого новшества. <…> Все эти районные и самостоятельные охранные отделения были только рассадниками провокации; та небольшая польза, которую они, быть может, смогли бы принести, совершенно затушёвывалась тем колоссальным вредом, который они сеяли в течение этих нескольких лет»*[7].

15 мая 1913 года Джунковский распространил циркуляр, которым «совершенно секретно», «срочно» начальники Бакинского, Екатеринославского, Киевского, Нижегородского, Петроковского, Тифлисского, Херсонского и Ярославского ГЖУ, Донского и Севастопольского областных жандармских управлений извещались о ликвидации охранных отделений в их губерниях. В циркуляре указывалось: *«Обсудив положение постановки розыска в текущий момент, в связи с проявлениями революционного движения в Империи и принимая во внимание, что охранные отделения, кроме учреждённых в законодательном порядке* (имеются в виду Петербургское, Московское, Варшавское. — **З.П.**)*, рассматривались как учреждения временные, я признал целесообразным, в видах достижения единообразия организации розыскного дела и руководства им, влить и оставшиеся самостоятельные охранные отделения в составы местных губернских жандармских управлений»*[8]. В скором

времени все охранные отделения (кроме столичных) были ликвидированы, а их начальники стали руководителями вновь созданных розыскных частей ГЖУ.

Понимая, что принимаемые меры не могут не вызвать недовольства руководителей упраздняемых охранных отделений, Джунковский в том же циркуляре писал: *«…считаю необходимым указать, что объединение в Вашем лице деятельности обоих учреждений не должно рассматриваться как унижение служебного достоинства начальника упраздняемого охранного отделения, ибо установление такого порядка <…> вызывается не другими какими-либо соображениями, как только интересами важнейших для чинов Отдельного корпуса жандармов обязанностей, путём улучшения условий ведения розыскного дела».*

Вслед за ликвидацией охранных отделений Джунковский приступает к подготовке мер по упразднению районных охранных отделений. В 1914 году все районные охранные отделения, кроме Туркестанского и Восточно-Сибирского, были упразднены. Остальные действовали до 1917 года. Центральным звеном политического сыска на местах вновь, как и до 1902 года, стали ГЖУ.

Так было ликвидировано важное звено в структуре политического сыска. Как показали последующие события, предпринятые Джунковским меры не способствовали ни укреплению политической полиции, ни оздоровлению обстановки в отношениях между её руководящими кадрами.

Выше были упомянуты работы, в которых содержится подробная и разноаспектная характеристика деятельности политического сыска конца XIX — начала XX века. Однако они дают главным образом внешний, «объективный» взгляд на работу Департамента полиции и охранных отделений. Но для понимания этих учреждений весьма важна и субъективная сторона — мотивы и цели деятельности их сотрудников, специфичность их видения ситуации, их самооценка. Ведь в их службе наряду со стороной карьерной, меркантильной была и сторона идейная, связанная с пониманием ими современной политической ситуации и своего долга, своей функции в государственной и общественной жизни.

Вот, например, «Обзор современных условий служебного положения губернского жандармского управления и ряд соображений относительно изменения их организации и порядка деятельности», подготовленный начальником Воронежского ГЖУ Н.В. Васильевым. Автор критически оценивал состояние политического сыска и его кадровый состав. Выход из положения он видел, в частности, в объединении Корпуса жандармов с общей полицией, а также в организации курсов для повышения

квалификации работников сыска.

Перед нами — жандарм-философ. Он пишет: *«Убить идею нельзя. Эволюция человеческой мысли совершается безостановочно, неудержимо трансформируя взгляды, убеждения, а затем и социальный строй жизни народов. История революционных движений учит нас, что остановить ход крупных исторических событий невозможно, как невозможно человеку остановить вращение Земли. Но та же история приводит на своих страницах слишком полновесные доказательства того, что пионеры революции, полные энергии и увлечения, всегда бывали утопистами и в* ***своей борьбе с общественной косностью, в своём стремлении воссоздать новые*** *формы жизни обыкновенно не только не содействовали прогрессу своей родины, но нередко служили тормозом правильному ходу развития общественного самосознания. Роль пионеров в истории осуждена самой историей. Человечеству свойственно заблуждаться, и передовики-теоретики, как бы ни были, по-видимому, идеальны их стремления, не были и не будут истинными вождями народа…»*

Васильев считал, что система, которая *«стойко выдержала борьбу»* в течение полувека, *«вряд ли нуждается в коренном преобразовании»*, но *«существующее здание жандармского надзора следует достроить, приспособить к современным требованиям»*… Но не подвергать «ломке» и «пересозданию»[9].

Важным источником сведений по данному вопросу являются воспоминания чиновников Департамента полиции, жандармерии, лиц, связанных с русским политическим сыском. Однако подавляющее большинство их выходили в эмиграции, а в России переизданы лишь немногие[10]. Данный сборник призван заполнить существующую лакуну. Из представленных в нём пяти книг четырёх авторов лишь одна (А.В. Герасимова) выходила в России, а книга А.Т. Васильева на русском языке выходит вообще впервые.

Воспоминания Герасимова, небольшие по объёму, впервые были изданы в 1934 году на немецком и французском языках. Александр Васильевич Герасимов родился 7 ноября 1861 года, получил образование в Харьковском реальном училище, затем закончил Чугуевское пехотное юнкерское училище по первому разряду. После окончания училища поступил в 1883 году на военную службу в чине прапорщика, которую проходил в 61-м Резервном пехотном батальоне. В ноябре 1889 года он перевёлся в Корпус жандармов и прошёл путь от поручика до генерал-майора. Первое его место службы было связано с Самарой, куда он был направлен как адъютант Самарского губернского

жандармского управления. Через два года он продолжил службу в Харькове, вначале также адъютантом, а потом помощником начальника Харьковского губернского жандармского управления (с сентября 1894 г.)[11].

В переписке Департамента полиции высоко оценивается старание и усердие ротмистра А.В. Герасимова. В одной из справок о его деятельности говорилось, что Герасимов *«обратил на себя внимание способностями и трудолюбием»*, в течение трёхлетней службы в ГЖУ *«оказал весьма существенные услуги по делам политического розыска»*. Герасимова периодически командировали в различные местности для оказания помощи коллегам, а порой и для проверок, и он всегда *«с отличным успехом выполнял возложенные на него поручения, вполне оправдывая оказанное ему доверие»*[12].

В 1902 году, когда стали создаваться охранные отделения, Герасимов был назначен начальником Харьковского охранного отделения. В уже цитированном документе указывалось, что *«с первых шагов своего заведования отделением ротмистр Герасимов сумел поставить доверенное ему дело на надлежащую высоту, результатом чего была постоянная успешная деятельность отделения, в район коего, помимо г. Харькова входили и другие города Харьковской губернии. Кроме того, названный офицер вполне успешно исполнял возлагавшиеся на него поручения по организации розыска и наблюдения в других местностях вне района наблюдения»*[13]. В 1903 году Герасимов «вне правил» был произведён в чин подполковника. В феврале 1905 года по представлению директора Департамента полиции А.А. Лопухина он занял должность начальника Петербургского охранного отделения. В послужной характеристике указывалось, что его назначение состоялось как офицера, отличившегося *«испытанною уже опытностью, глубоким знанием дела и редкой преданностью служебному долгу…»*.

В Петербурге он активно берётся за дело, наводя порядок в самом охранном отделении и активно занимаясь борьбой с революционным движением. Генерал-майор Д.Ф. Трепов, чрезвычайно довольный его действиями, считал, что благодаря его *«исключительно умелой распорядительности и энергии были задержаны <…> все главные распорядители смуты»*, обнаружены *«мастерские разрывных снарядов, предупреждён ряд акций»*, причём *«вся работа проводилась при постоянной угрозе со стороны революционеров»*.

В июне 1905 года «вне правил» Герасимов получил чин полковника, в 1906 году орден св. Владимира 3-й степени, на следующий год, в 1907 году, ему присвоен чин генерал-майора, в

1908-м он удостаивается высочайшей благодарности, а 1 января 1909 года награждается орденом св. Станислава 1-й степени.

Постоянное внимание и благожелательность Трепова, затем Столыпина подогревали амбиции Герасимова: Петербургское охранное отделение, которое он возглавлял, было одним из самых крупных в России; он добился самостоятельных докладов министру (чего ранее не было).

Четыре года длилась его служба на посту начальника Петербургского охранного отделения. В основном этому периоду и посвящены его воспоминания. В переписке Департамента полиции и Министерства внутренних дел указывалось, что за эти годы он подорвал своё здоровье, часто обращался к врачам.

В апреле 1909 года Герасимов переходит в Министерство внутренних дел как генерал для особых поручений при министре. Он часто ездит в командировки с целью проверки деятельности учреждений политического сыска и работы отдельных лиц.

Работая в своё время со Столыпиным, Герасимов предполагал получить пост товарища министра внутренних дел, заведующего полицией. Но после гибели Столыпина и ухода А.А. Макарова с поста министра внутренних дел оборвалась та нить, которая крепко связывала его с этим министерством. А назначение В.Ф. Джунковского в январе 1913 года товарищем министра внутренних дел, заведующим полицией окончательно разрушило его планы. В министерство пришли новые люди, с которыми Герасимова практически ничего не связывало. Его служебная карьера закончилась в начале 1914 года, после того как в декабре 1913 года он подал рапорт об отставке. При отставке за прежние заслуги ему дали чин генерал-лейтенанта.

Воспоминания Герасимова посвящены почти исключительно борьбе с одним направлением в революционном движении — террором. Один из лидеров эсеровского движения В.М. Чернов, ознакомившись с книгой Герасимова, писал: *«Лишь после того, как вышли (на немецком языке) воспоминания генерала Герасимова, нам окончательно выяснилась общая картина катастрофы, постигшей нашу боевую работу, как раз в то самое время, когда БО* (боевая организация. — **З.П.**) *по планам партии должна была довести свои атаки на царский режим до максимальной энергии»*[14]. Воспоминания Герасимова интересны и тем, что они отразили очень важный момент жизни эсеровской партии, её «изнанку» и тот кризис, который она переживала в связи с предательством Азефа.

Другой автор, воспоминания которого включены в сборник, — Павел Павлович Заварзин. Находясь в эмиграции, он одним из первых в 1924 году выпустил свои воспоминания

«Работа тайной полиции». Через шесть лет, в 1930 году, он опубликовал вторую книгу — «Жандармы и революционеры», которая частично повторяет и частично дополняет первую.

Заварзин родился 13 февраля 1868 года в семье дворян Херсонской губернии. Он получил общее образование в Одесском реальном училище, затем закончил Одесское пехотное юнкерское училище по первому разряду. В 1888 году в чине подпоручика он поступил на службу в 16-й Стрелковый батальон его величества и прослужил там 10 лет. В составе этого батальона он находится в Ливадии в дни кончины Александра III, охранял гессенскую принцессу Алике (будущую императрицу Александру Фёдоровну) в дни приезда её в Россию, в Ливадию, за что ему был пожалован Кавалерийский крест 2-го класса гессенского ордена Филиппа Великодушного.

В мае 1898 года в чине поручика он переходит в Корпус жандармов. Первоначально Заварзин служит адъютантом в Бессарабском ГЖУ, с августа 1899 года адъютантом в Таврическом ГЖУ, где получил чин штаб-ротмистра. Через несколько месяцев, в мае 1900 года, его переводят помощником начальника Волочисского отделения Киевского жандармско-полицейского управления железной дороги. В конце года, в декабре, он получает чин ротмистра. В июне следующего года его переводят на должность начальника Лубенского отделения Московского-Киевского жандармско-полицейского управления, а через два года прикомандировывают к Бессарабскому ГЖУ и назначают на должность начальника только что созданного Бессарабского охранного отделения.

На следующий год, с июня 1904 года, его переводят на должность помощника начальника Могилёвского ГЖУ в Гомельском уезде. Революционные события 1905 года в России и драматическая ситуация в Одессе требовали укрепления этого района опытными кадрами, знакомыми с этим городом и обстановкой. Поэтому Заварзина, не прослужившего и месяца в его новой должности, переводят в Одессу начальником охранного отделения, а с 7 июля 1905 года он возглавляет Донское областное охранное отделение, 11 августа 1906 года его переводят начальником отделения по охранению общественной безопасности в г. Варшаве[15].

Служба в Варшаве продолжалась почти три с половиной года. Это был довольно сложный период деятельности Заварзина, так как революционные организации в Варшаве были очень сильны, у них хорошо была поставлена конспирация.

Опираясь на свой уже достаточно большой опыт, Заварзин смог эффективно использовать работу секретных сотрудников,

работавших в Варшавском охранном отделении. К сожалению, Заварзин очень скупо рассказывает о своей секретной агентуре, упоминая в основном лишь тех, кто погиб до революции.

Успешное осуществление политического сыска в Кишинёве, Одессе, Ростове-на-Дону и особенно в Варшаве обеспечило Заварзину репутацию специалиста высокого класса, и в конце 1909 года он был назначен начальником Московского охранного отделения (подполковник с 6 декабря 1906 г.)[16].

Заварзин явился инициатором создания Инструкции Московского охранного отделения по организации и ведению внутренней агентуры. В её основу была положена секретная Инструкция Департамента полиции, изданная в 1907 году. Причиной, побудившей его написать «свою» инструкцию, была та, что инструкция Департамента была издана в ограниченном числе экземпляров и разослана лишь начальникам восьми районных охранных отделений. Многие начальники ГЖУ её видели только из рук руководителей районной охранки. Инструкция была строго засекречена, поскольку боялись, что она может попасть в руки революционеров, которые раскроют все «хитрости» «охранки».

Инструкция Московского охранного отделения, подготовленная Заварзиным, была интересней, написана более доступным языком и давала конкретные советы по приобретению секретной агентуры, общению и работе с этой агентурой, конкретизировала различные категории секретных сотрудников: вспомогательных агентов, штучников и т. д.[17] Однако текст её не был согласован с Департаментом полиции. И когда в начале 1911 года через министра внутренних дел инструкция попала к начальнику Особого отдела Департамента полиции А.М. Еремину, который был одним из разработчиков инструкции Департамента полиции, она привела его в негодование. Возмутился и директор Департамента[18].

Нормальные, и даже порой дружеские отношения Заварзина с московскими властями резко контрастировали со становившимися всё более напряжёнными отношениями с Департаментом полиции. В июле 1912 года Заварзина перевели в Одессу начальником жандармского управления. Это не считалось понижением по службе, но в действительности означало, что пик карьеры остался позади.

Характеризуя Заварзина, Мартынов пишет в публикуемых в данном сборнике воспоминаниях: *«Надо сказать, что полковник Заварзин, несмотря на всю примитивность своей натуры, недостаточное общее развитие, на, так сказать, «малокультурность», всё же после четырнадцатилетней службы в жандармском корпусе обладал практикой розыскного дела».*

Отдавая должное его профессионализму, Мартынов в то же время считает, что он был смещён с должности начальника Московского охранного отделения не только за упущения по проведению в жизнь мероприятий Департамента полиции, но просто по несоответствию этой сложной должности.

Однако не во всём можно согласиться с Мартыновым. Заварзин действительно звёзд с неба не хватал, но он был трудолюбив и исполнителен, не конфликтовал с коллегами, знал своё дело и оставил своё отделение Мартынову в отличном состоянии.

2 июня 1914 года семья Николая II возвращалась из Румынии через Одессу. Эта поездка царской семьи была запланирована как тайные смотрины наследника румынского престола. Ходили слухи, что его прочат в мужья старшей великой княжне Ольге Николаевне. Княжне ничего не говорили об этом, но принц явно не произвёл впечатления не только на Ольгу Николаевну, но и на всю семью.

Встреча императора в Одессе была организована чётко. «За отличный порядок в Одессе во время пребывания Его Императорского величества Николая II и августейшей семьи» Заварзину было объявлено «Высочайшее благоволение»[19].

3 июня 1916 года Заварзин был назначен начальником Варшавского губернского жандармского управления. Однако, в связи с войной и эвакуацией Варшавского ГЖУ, он переехал в Петроград. Там он временно прикомандировывается к Петроградскому ГЖУ и поступает в распоряжение Министерства внутренних дел. Периодически министерство и Департамент полиции посылают его в командировки по России.

События февраля 1917 года застали его в Петрограде. Как и большинство высших петербургских чиновников, Заварзин был арестован в первые дни Февральской революции Чрезвычайной следственной комиссией для расследования действий бывших министров и прочих должностных лиц. Немногим более месяца он находился в заключении и вскоре смог уехать из России.

Наиболее подробные воспоминания («Моя служба в Отдельном корпусе жандармов») оставил самый молодой представитель этой жандармской когорты — полковник А.П. Мартынов. Они были написаны позднее, чем это сделали его коллеги; работал автор над ними с перерывами пять лет (1933–1938). Поэтому, может быть, они более продуманны, а порой более откровенны в оценках, симпатиях и антипатиях. Опубликованы они были в 1972 году в США уже после его смерти.

Мартынов родился 14 августа 1875 года в Москве в дворянской семье. Получил образование в 3-м Московском

кадетском корпусе, затем закончил 3-е Александровское училище по первому разряду. Служил во 2-м Софийском пехотном полку, потом в 7-м Гренадерском Самогитском полку. В это время его старший брат Николай уже служил в Корпусе жандармов, и постоянным желанием автора воспоминаний было также определиться в Корпус жандармов, куда он и был принят в мае 1899 года.

Весь его жизненный путь до Октябрьской революции — служба в ГЖУ и охранных отделениях — прослеживается по его воспоминаниям. Поэтому ограничимся лишь краткими сведениями о нём. Сразу после поступления в Корпус он был определён младшим офицером в Московский жандармский дивизион. После прохождения курсов штаба Корпуса жандармов служил адъютантом в Петербургском ГЖУ, в январе 1903 года переведён помощником начальника Петроковского ГЖУ, в феврале 1903-го вернулся в Петербургское ГЖУ; самостоятельную работу начал в Саратовском охранном отделении, куда был направлен в июле 1906 года начальником отделения. После шести лет пребывания на этой должности его переводят (12 июля 1912 г.) в Москву начальником Московского охранного отделения.

Давая общую оценку работы и деловых качеств Мартынова и ходатайствуя в мае 1916 года о награждении его орденом князя Владимира 4-й степени «вне всяких правил», московский градоначальник генерал-майор В.Н. Шебеко писал: *«Из первых докладов, сделанных мне лично полковником Мартыновым о той активной деятельности, которую чины Отделения проявили и проявляют в деле борьбы с анархией, — я убедился в личных недюжинных способностях и энергии означенного штаб-офицера, который постоянно неутомимо лично руководит всеми делами политического розыска в таком трудном пункте, как город Москва, поддержание порядка в котором отражается на деятельности революционных организаций всей Империи <…> чины Отделения, несмотря на подавляющую массу занятий, особенно увеличившихся вследствие переживаемых родиной обстоятельств, работают охотно с отменным усердием — благодаря умению полковника Мартынова поселить в среде своих подчинённых дух стремления к честному выполнению служебных обязанностей. <…> Систематическая и упорная работа полковника Мартынова в деле борьбы с революционными деятелями при несомненной наличности выдающихся способностей к розыску и при большой трудоспособности имели своим последствием полную дезорганизацию московских подпольных организаций этих деятелей»*[20].

В первый же день волнений в Петрограде (а они сразу стали известны в Москве) Мартынов 28 февраля обратился в счётное отделение казначейства Московского градоначальства с просьбой выдать 10.000 рублей на расходы по охранному отделению. Деньги были розданы служащим отделения в качестве аванса за март месяц. В 1918 году его привлекли к уголовной ответственности за этот поступок и обвинили «в растрате и присвоении вверенных ему по должности казённых денег». Но все свидетели подтвердили получение денег, что было доказано и финансовой документацией. Себе же Мартынов оставил 1000 рублей, «удержав их также за счёт содержания своего за март месяц». Его оправдали. В своём заключении от 11 мая 1918 года, подписанном Е.Ф. Розмирович и Н.В. Крыленко, было сказано: «По обстоятельствам того времени» это вызывалось *«простой житейской необходимостью, ввиду особого служебного положения чинов охранного отделения»* и необходимостью *«обеспечить их существование в ближайшее время»*[21].

Через несколько дней после восстания в Петрограде начались волнения в Москве. 1 марта 1917 года ворвавшаяся в помещение охранного отделения и квартиру Мартынова находившуюся в этом же здании, толпа ломала шкафы, картотеки, выбрасывала на улицу документы и разжигала костры. Горели дела, альбомы, каталоги, фотографии[22]. Судя по докладной записке Мартынова от 13 марта 1917 года, его в это время в городе не было, но некоторые считают, что он был в Москве и даже принимал участие в этой акции. Во всяком случае, при погроме чувствовалась «своя» рука. Материалы всех подразделений Московского охранного отделения практически не были тронуты, кроме одного — агентурного отдела, где хранились материалы агентурных сводок, картотека агентурного отдела, по которой можно было выявить секретных сотрудников Московского охранного отделения. Кое-какие фотографии и документы уже потом были взяты из стола начальника «охранки».

В первые дни марта новая власть разыскивала Мартынова, но, как он потом писал, ему было сложно вернуться обратно в Москву. По возвращении он написал рапорт, поданный комиссару Москвы 13 марта 1917 года. Рапорт интересен не только с точки зрения чисто служебных отношений, но и как документ, содержащий политическую оценку происходившего. Считая обстановку сложной и особенно сложной для бывшего начальника охранного отделения, он пишет: *«Прежде всего считаю долгом заявить о моём полном подчинении настоящему правительству и что никаких мер или действий, могущих нанести ему какой-либо вред, я не предпринимал и никогда не предприму, с самого начала*

принятия им власти, прекратив всякую работу вверенного мне отделения. <…> Должен также доложить, что с последних дней февраля с.г., когда в градоначальстве не было получено никаких инструкций из Петрограда, но было определённо известно, что Временное правительство взяло в свои руки управление страной — всякое противодействие ему только осложняло положение, поэтому я распорядился по Отделению, чтобы никаких арестов не производили, чтобы те арестованные, которые числились содержанием под стражей за градоначальником, были бы освобождены. <…> Глубоко убеждён, что ни один из моих подчинённых, как из офицерского состава, так чиновников и низших служащих, и не стал бы принимать никаких мер, ведущих к вреду для Временного правительства, так как было совершенно ясно, что идти против общего желания бессмысленно, вредно и могло бы создать только крайне нежелательные осложнения, особенно в то тяжёлое время, которое мы все переживаем. Невероятное ослепление, в котором находилась старая власть, не умевшая слушать тех предостерегающих докладов, которые ей неоднократно делали, указывавших и на падение престижа династии, и на всеобщее негодование, ставило в невозможное положение службу при этом режиме»[23]. Стоит отметить, что доклады Мартынова внимательно прочитывались непосредственным руководством, но многие материалы подобного рода складывались министром внутренних дел Протопоповым «под сукно».

Далее в рапорте Мартынов говорит о своём желании и желании своих подчинённых уйти на фронт — *«вступить на общем основании в действующую армию и своей службой и в её рядах и кровно быть действительными защитниками родины и верными слугами Временного правительства»*[24].

В начале апреля 1917 года А.П. Мартынов был арестован. Первоначально он содержался на дворцовой гауптвахте в Кремле, в июне был переведён в Московскую губернскую тюрьму. Его допрашивали в Комиссии по обеспечению нового строя. Вопросы касались его непосредственной службы по политическому сыску и руководству им и секретной агентуры. Свои показания Мартынов оформил в виде «Записки об организации системы политического сыска». На вопрос о конкретных секретных сотрудниках, и в частности, о наличии в Московском охранном отделении агентуры среди военных, Мартынов отвечал устно. *«Насколько я помню,* — говорил он, — *в Саратовском охранном отделении сыщиков военной агентуры не было, равно как и не было её при мне и в Московском охранном отделении. По поводу представленного мне списка* (Мартынову был предъявлен список вспомогательных

агентов МОО, датированный 1911 г. — **З.П.**) *я ничего не могу сказать, тогда я не служил. От Заварзина военной агентуры я не принял и сам таковую не заводил, относясь лично к этому отрицательно, считая, что политический розыск из военной среды бесполезен и может быть доставлен при нужде со стороны*»[25]. Стоит отметить, что отрицательное отношение Мартынова к учреждению секретной агентуры среди военных совпало с позицией бывшего товарища министра внутренних дел В.Ф. Джунковского, который так же резко отрицательно выступал против наличия агентуры в армии и своим распоряжением упразднил её[26]. Однако если Мартынов считал заведение агентуры в армии делом бесполезным, то Джунковский своё решение мотивировал этическими соображениями, считая доносительство на коллег и начальство в военной среде явлением аморальным.

Одной из основных задач Комиссии по обеспечению нового строя, которая допрашивала Мартынова, было выявление секретной агентуры Московского охранного отделения. Материалы агентурного отдела были практически уничтожены пожаром, поэтому списки секретных сотрудников составлялись по косвенным данным, а затем уточнялись, многое было восстановлено по материалам Департамента полиции, на допросах офицеров «охранки». Судя по ответам Мартынова, он не скрывал имён тех агентов, с которыми работал, давал сведения о внешности некоторых сотрудников, их деловых качествах. Судя по протоколам, он стремился оставить впечатление о себе как о специалисте, знания которого ещё могут быть полезными новым властям.

Обстоятельства для него складывались благоприятно, в том числе и после Октябрьской революции. В ноябре 1917 года появилась возможность освободиться под залог. Его жена Евгения Николаевна внесла в Московское казначейство залог в 5000 рублей, и судебный следователь по особо важным делам Московского окружного суда Д.П. Евневич подписал постановление об освобождении Мартынова из тюрьмы. Ещё раньше был освобождён сын Александр, арестованный вместе с ним.

Ему, однако, было ясно, что оставаться в России нельзя.

Весной 1918 года Мартынову вместе с семьёй удалось бежать на юг. Он вступил в Белую армию, служил в контрразведке на Черноморском флоте, затем из Крыма выехал в Константинополь. Вместе с бывшим начальником Московского сыскного отделения А.Ф. Кошко организовал в Константинополе частное детективное бюро.

В 1923 году Мартынов с семьёй переехал в США, где некоторое время работал в Нью-Йорке по охране банков, контор и т. д. В 1951 году он переехал в Калифорнию и вскоре умер в Лос-Анджелесе.

«Охрана — русская тайная полиция» — такое название дал своим воспоминаниям последний директор Департамента полиции А.Т. Васильев. Слово «охрана» в этих воспоминаниях имело довольно ёмкий смысл и обозначало как политическую полицию в целом, так и её составные части: руководящий орган — Департамент полиции, губернские жандармские управления и охранные отделения. «Охрана» — это практически синоним слова «охранка», которое в то время было широко распространено.

Васильев, единственный из представленных в книге мемуаристов, не был военным и не принадлежал к Корпусу жандармов. Однако по своим служебным обязанностям он должен был бороться с силами оппозиции, как и жандармы.

Должность директора Департамента полиции была пиком служебной карьеры Васильева. В перспективе он должен был стать товарищем министра внутренних дел, но к Февральской революции 1917 года успел стать лишь исполняющим обязанности товарища министра. Из всех четырёх мемуаристов Васильев занимал самый высокий пост, находился в центре событий, но оказался менее прозорливым, чем его сослуживцы. Свидетельством этого могут быть слова, сказанные Васильевым на аудиенции у императрицы Александры Фёдоровны в октябре 1916 года при назначении его на пост директора Департамента На вопрос императрицы о волнениях он ответил, что *«революция совершенно невозможна в России. Конечно, есть среди населения определённое нервное напряжение из-за продолжающейся войны и тяжёлого бремени, которое она вызвала, но народ доверяет царю и не думает о восстании»*, и далее добавил, что любые выступления будут быстро подавлены.

А.Т. Васильев родился в 1869 году в Киеве. Там же в 1891 году окончил юридический факультет университета Св. Владимира и поступил на государственную службу в прокуратуру по Киевскому судебному округу. В 1894 году он был назначен судебным следователем в г. Каменец-Подольск, а через год перешёл на должность товарища прокурора Луцкого окружного суда. В этой должности Васильев работал потом в Киеве (1901–1904), затем был переведён в Петербург. В первые годы своей службы в прокуратуре Васильев занимался в основном уголовными делами, а в Петербурге работал в тесном контакте с Петербургским ГЖУ, вёл наблюдение за производством дознаний

по делам политическим.

В 1906 году Васильев перешёл из ведомства Министерства юстиции в Министерство внутренних дел; он служил в Департаменте полиции чиновником особых поручений 5-го класса. В связи с тем, что в этот период возникли сложности в подборе руководителей самого ответственного подразделения Департамента полиции — Особого отдела, он несколько месяцев заведовал этим отделом. Одновременно по распоряжению товарища министра внутренних дел П.Г. Курлова и министра внутренних дел П.А. Столыпина он проводил инспектирование ряда охранных отделений, учреждений политического сыска.

Занимая должность чиновника особых поручений, он курировал работу Особого отдела, порой исполняя обязанности вице-директора Департамента полиции. В Департаменте Васильев проработал два года и вернулся в прокуратуру. В 1908 году он был назначен в Петербургскую судебную палату, с 1909-го занимал прежнюю должность товарища прокурора Санкт-Петербургского окружного суда. Через четыре года Васильев возвращается в Департамент полиции на прежнюю должность чиновника особых поручений, но уже 4-го класса и исполняет обязанности вице-директора Департамента полиции по политической части.

Во многом этому возвращению способствовал новый товарищ министра внутренних дел В.Ф. Джунковский. В своих воспоминаниях он писал: *«…я пригласил исправляющим должность вице-директора по заведованию особым отделом Департамента товарища прокурора статского советника Васильева. Я его не знал, но мне рекомендовали его как благородного и честного человека, а кроме того, меня прельстило то, что он одно время служил уже в Департаменте по политической части, следовательно, был знаком с механизмом этого дела»*. Далее Джунковский, правда, дополняет эту характеристику отнюдь не лестными словами: *«Потом мне пришлось весьма раскаяться в этом назначении, сознать свою ошибку, слишком я поторопился. Васильев оказался ленивым и мало способным к своей должности и не был чужд отрицательных приёмов охраны, хотя это был человек вполне порядочный»*[27].

3 ноября 1915 года Васильев был назначен членом Совета Главного управления по делам печати. Но расстался Васильев с Департаментом всего на год. Новый министр внутренних дел А.Д. Протопопов питал дружеское расположение к нему и вскоре после своего назначения пригласил занять пост директора Департамента. 28 сентября 1916 года последовал высочайший именной указ о назначении Васильева. Это назначение было

неожиданным для многих и, судя по свидетельству Васильева, для него самого. В интервью с журналистами сразу после назначения он сказал *«Почти всю свою службу я провёл в прокуратуре, право и закон являются единственными руководящими началами. Эти начала, которые я стремился осуществлять в течение всей предшествовавшей моей службы, я намерен положить в основание настоящей моей деятельности на посту директора Департамента полиции. — Во всех частных отдельных случаях я буду с полным благожелательством относиться к интересам населения, но, конечно, в тех пределах, в которых это позволит соблюдение государственной пользы. Никакой предвзятости, тенденциозности у меня нет. На первом плане должно стоять соблюдение высших государственных интересов и пользы многомиллионного населения Империи»*.

Судя по отзывам хорошо знавших его людей, Васильев был человеком благожелательным, опытным юристом, любил консультировать, «натаскивать» своих коллег. Но в сложных ситуациях на себя многого не брал. В этом плане характерно его интервью, данное корреспонденту газеты «Колокол» по поводу его планов: *«У меня, директора Департамента полиции, особой программы нет. Вся деятельность подведомственного мне Департамента сводится к исполнению распоряжений свыше. У министра, в ведении которого Департамент находится, есть своя программа, и этой программы должен придерживаться и я…»*[28]

В своих письменных объяснениях, данных Чрезвычайной следственной комиссии, он выразил своё отношение к работе более определённо: *«Я всегда считал, что Департамент полиции не должен играть какой-либо самостоятельной роли, а должен служить центром, где сосредоточиваются те или иные сведения, по существу коих должен так или иначе оперировать лишь министр внутренних дел. Вот почему я обещал последнему при вступлении в должность трудолюбие, правдивость и полное отсутствие каких-либо дел, которые проделывались бы без его, министра, ведома.*

Я держался того убеждения, что я являюсь одним из многих директоров центральных учреждений, что никаких особых преимуществ мне не присвоено и что какую-либо особую политикою я заниматься не буду, да и не могу, так как не склонен к этому по складу своего характера. Полагал я, что буду лишь начальником учреждения, коему я постараюсь привить порядочные начала, и что если такие мои намерения не будут соответствовать видам и желаниям начальства, то я уйду с должности без всякого сожаления»[29].

Такой взгляд на свои обязанности многое объясняет в

деятельности самого Васильева и подведомственного ему учреждения в месяцы, предшествовавшие революции.

Эти высказывания звучат тем более неожиданно, что министром внутренних дел в этот период был Протопопов — лицо, не искушённое в делах Департамента полиции и в организации системы политического сыска. Историк П. Щеголев писал, что Васильев выступал вторым лицом, подыгрывал своему министру и, по-видимому, оказывал ему помощь в использовании Департамента полиции в личных целях. Послать агента для разведывания, что говорят о министре в правительственных кругах, перлюстрировать письма лиц, интересующих министра, — вот повседневная работа директора Департамента полиции при Протопопове[30].

Эта характеристика подтверждается высказыванием С.П. Белецкого, бывшего директора Департамента полиции, затем товарища министра внутренних дел. В своих показаниях, данных Чрезвычайной следственной комиссии, он писал, что Протопопов сблизился с Васильевым благодаря Курлову и Бадмаеву. *«В Васильеве <…> Протопопов, как он мне лично передавал, ценил главным образом исключительную преданность его личным интересам, в жертву которых Васильев в последнее время принёс даже свои старые дружеские связи с П.Г. Курловым»*[31].

Ходили слухи, что другие товарищи министра не пожелали брать на себя ответственность — заведование полицией[32]. В данном случае, очевидно, Протопопов и не хотел иметь какую-либо фигуру между собой и Васильевым, предпочитая непосредственный контакт.

В октябре 1916 года газеты сообщали о перераспределении полномочий между министром внутренних дел и директором Департамента полиции. Если ранее директор Департамента был подчинён товарищу министра внутренних дел, который заведовал Департаментом полиции, то теперь — непосредственно министру внутренних дел. Кроме того, *«по особому докладу предполагалось предоставить Васильеву права товарища министра»*[34]. И действительно, вскоре было опубликовано высочайшее повеление поданному вопросу: *«25 ноября 1916 г. Его Императорское Величество Всемилостивейше повелеть соизволил возложить* ***исполнение обязанностей товарища министра внутренних дел по заведованию Департаментом полиции на директора департамента действительного статского советника Васильева****, с предоставлением ему права присутствовать за министра в правительствующем сенате и высших государственных установлениях, а равно права подписывать бумаги по сему департаменту и решать текущие доклады*

сметного и распорядительного характера Департамента полиции»[35]

Февральская революция преподнесла много неожиданностей Васильеву. В первых числах марта он явился с письмом к М.В. Родзянко в Государственную думу, в котором писал: *«Считаю своим долгом довести до сведения Вашего, что только сегодня, оправившись после перенесённых событий, я приеду в Государственную Думу, чтобы передать себя в распоряжение Временного исполнительного комитета Государственной Думы»*. В тот же день вместе с письмом он был арестован и доставлен в Таврический дворец[36].

Впоследствии Васильев содержался в Трубецком бастионе Петропавловской крепости. 5 сентября в связи с «болезненным состоянием» был переведён в хирургическое отделение Петроградской одиночной тюрьмы, а в октябре был выпущен под залог[37].

Впоследствии ему вместе с женой удалось выехать за рубеж.

Воспоминания Васильева были написаны во Франции. Последние годы жизни он провёл в «Русском доме» в Сен-Женевьев-де-Буа, где нашли пристанище малоимущие русские эмигранты Парижа.

Он умер в 1930 году, в год издания своих воспоминаний в Лондоне на английском языке. Книга была написана по-русски, затем переведена на английский. К сожалению, русский оригинал найти не удалось, поэтому книга публикуется в обратном переводе. Очевидно, специфика книги была сложна для английского переводчика, который не был достаточно силён в российских терминах, касающихся полиции, и, может быть, не знал всех нюансов и сложностей работы российской спецслужбы.

* * *

Включенные в книгу воспоминания четырёх представителей политической полиции царской России последних лет её существования не равноценны по своему содержанию и объёму, в каких-то деталях они дополняют друг друга, в каких-то демонстрируют разную оценку одних и тех же событий. Без всякого сомнения, подобный «разнобой» позволяет глубже ощутить сложности и противоречия, включая и противоречия личного порядка, которые налагали существенный отпечаток на характер и деятельность сыскных служб.

Все четыре автора говорят об одних и тех же событиях, делах и людях: о методах работы политической полиции, об отношении

к провокации и что они считают провокацией, об Азефе, Распутине, убийстве Карпова, убийстве Распутина. Но каждый из них вносит своё видение событий, дополнительные нюансы, своё отношение к лицам и фактам. В результате читатель получает многомерную, объёмную картину происшедшего.

Рисуя без прикрас и со знанием дела картину местного политического сыска России, авторы дают возможность читателю увидеть реальных людей и реальные учреждения этого сыска, а заодно и отбросить примитивные штампы, которые навязывались ему в недалёком прошлом.

Благодарю О.В. Будницкого, Д.И. Зубарева, Г.С. Кана, К.Н. Морозова, Г.А. Смолицкого, А.В. Шмелева, М. Шрубу за справки и консультации, а профессора Чикагского университета Дж. Дейли за копии вышедших за рубежом книг, использованные при подготовке данного издания.

З. Перегудова

А.П. Мартынов
Моя служба в Отдельном корпусе жандармов [38]

Эту книгу воспоминаний о моей службе в Отдельном корпусе жандармов я писал урывками в течение пяти лет, от 1933 до 1938 года.

А.М.

Введение

> Правдивость — необходимое условие всех «воспоминаний». — Отдельный корпус жандармов и легенда о носовом платке Николая I. — Основные причины неудовлетворительного функционирования российской политической полиции.

Необходимым условием для авторов «воспоминаний», обдумывающих их пригодность для историков, является правдивость. Оглядываясь на наше прошлое и сравнивая его с настоящим, мы, русские эмигранты, часто и невольно готовы закрыть глаза на теневые стороны и охотно берём широкой кистью побольше радужных красок с палитры наших воспоминаний. Не избежали этого и мемуары, авторами которых были деятели Министерства внутренних дел[39].

Для того чтобы воссоздать правдивую картину моей службы в Отдельном корпусе жандармов, я старался брать с палитры моих воспоминаний все необходимые краски, а не только радужные, и поэтому читатель не найдёт в ней той «буколики», которая часто извращает в нашей эмигрантской литературе верную перспективу прошлого.

По поводу основания в 1826 году Отдельного корпуса жандармов, т. е. новоучреждённой политической полиции, права, обязанности и функции которой были в правительственных актах того времени очерчены весьма туманно, рассказывали, что на вопрос графа Бенкендорфа, назначенного главой этого новосозданного Отдельного корпуса жандармов, каковы должны быть функции его, Император Николай I вынул носовой платок и, передавая его Бенкендорфу, сказал: «Ты будешь вытирать им слёзы несчастных…»[40]

К этому анекдотическому слуху, получившему в русском обществе широкое распространение, лучше всего может быть приложена известная итальянская поговорка: Se non ё vero, ё ben trovato[41].

Анекдот этот недостоверен уже потому, что графу Бенкендорфу, который сам же докладывал Императору Николаю I в поданной им записке о необходимости создать Отдельный корпус жандармов, едва ли приходилось справляться у Императора, уже после учреждения этой организации, об её функциях! Но этот анекдотический слух в то же время характерен, так как действительно функции этой новой и ответственной организации были очерчены очень неясно.

История с платком, имевшим своё назначение «утирать слёзы несчастных», рисует как самого Императора, так и его приближенного генерала парящими в облаках сентиментальной непрактичности. Как бы то ни было, несомненно, что в разных правительственных мероприятиях того времени было много нежизненной и идеалистической подкладки в подходе к разрешению вопросов как внутренней, так и внешней политики.

Посмотрим же, как стал функционировать Отдельный корпус жандармов, созданный в начале царствования Николая I и ко дню его кончины насчитывавший почти 30 лет деятельности. За это время он мог уже доказать на практике свою пригодность или ненужность и выявить неправильности в организации.

Теперь мы знаем, что за все 30 лет своего существования Отдельный корпус жандармов прежде всего был не тем, для чего, собственно, он был создан. Единственной его политической чертой в том периоде было то, что он являлся просто «карающей рукой» Императора. Не кто иной, как Гоголь, своим гениальным пером подтверждает это моё суждение: история действующих лиц комедии «Ревизор» заканчивается появлением «провинциальной» фигуры российского жандарма, олицетворяющего «карающую руку» русского Императора или «правосудия», что для той эпохи одно и то же, и… как говорится, берёт всех действующих лиц — мошенников и плутов — за шиворот![42]

По замыслу своих творцов Отдельному корпусу жандармов надлежало не только «карать», но и своевременно «осведомлять» правительство о всяких нарушениях закона, злоупотреблениях и злоумышлениях. Фактически же о нарушителях закона, о злоупотреблениях и других преступлениях власть узнавала post factum[43]: злоупотребление совершалось, власть появлялась и нарушители закона так или иначе карались. Была ведь кроме Отдельного корпуса также и общая уголовная полиция! Однако, если в то время какое-нибудь конспиративное общество попыталось бы организовать ряд групп, объединённых целью противозаконной борьбы с правительством или посягавших на основной строй государства, то функционировавшая тогда «политическая полиция» — или Отдельный корпус жандармов — была бессильна бороться с такими противоправительственными начинаниями в силу целого ряда особенностей, о которых я скажу в дальнейшем. Правда, ввиду общего спокойствия и «политического затишья» в России той эпохи таких начинаний было немного, и если они и были открываемы правительством вовремя, то вовсе не потому, что тогдашняя «политическая полиция» была во всеоружии своего устройства, своей техники или благодаря особым талантам её руководителей. В то время

население империи было настолько подавлено казавшейся мощью правительства, что всегда находился боязливый обыватель, который, боясь ответственности, так или иначе доводил сам представителей власти до «слухов», «данных» или «доказательств» о наличии «преступной» или просто «подозрительной» группы. Были также, само собой разумеется, доносы правительству, вызванные патриотическим образом мыслей. Вот тогда-то и появлялась на сцену «карающая рука» в виде жандарма, и началась его служба как охранителя законов и основ государства.

Любая политическая полиция других государств во все времена получала регулярное осведомление из разных источников, которое тоже всегда и во все времена оплачивалось из специальных денежных сумм. У представителей Отдельного корпуса жандармов того времени не было главного оружия в их предполагавшейся борьбе с противниками государственного строя: у них не было специально отпущенных на это дело средств. Но кроме этой основной причины неудовлетворительного функционирования Отдельного корпуса жандармов были и другие.

Тогдашнее российское императорское правительство и его шеф — Император — считали, что бесспорными и патентованными патриотами и опорой трона могут быть только люди, прошедшие военную школу, пропитанную дисциплиной и патриотизмом с девизом «За Веру, Царя и Отечество». Правда, они, эти русские военные, иногда, как, например, в бунте декабристов, выступали против власти. Но это были единицы, а всё русское офицерство в массе, конечно, было и предано царю, и настроено и воспитано в духе патриотизма и преданности трону.

Декабристы и их движение не имели широкого распространения в народной толще, и царствование Императора Николая I было одним из самых спокойных. Это было время, когда без всяких полицейских мер и предосторожностей монарх открыто, пешком или в экипаже, появлялся среди толпы своих подданных. Но именно в то время, с началом царствования Императора Николая I, возникла так называемая политическая полиция, она, эта полиция, была в зачаточном состоянии, и функции её были столь неопределённо очерчены, а персонал её чинов был столь несведущ и неопытен в новом деле, что, конечно, свободное появление Императора на народных гуляньях и даже маскарадах не было обеспечено какой-либо бдительностью со стороны этой полиции.

С другой стороны, движение декабристов заставило тогдашнее правительство задуматься о мерах противодействия и о необходимости быть осведомлённым о «настроении умов» хотя

бы «передовой» части русского общества.

Близкое и доверенное лицо Государя, генерал Бенкендорф, в 1826 году подало ему записку, написанную туманным и высоким стилем, в которой, в весьма запутанной фразеологии, доказывалась необходимость учредить особую политическую полицию. Граф Бенкендорф, между прочим, писал следующее: *«Событие 14 декабря 1825 г. и ужасные заговоры, которые в течение десяти лет подготовляли этот взрыв, достаточно доказывают как ничтожность имперской полиции, так и неизбежную необходимость организации таковой. Для того чтобы полиция была хороша и охватывала всё пространство империи, она должна иметь один известный центр и разветвления, проникающие во все пункты; нужно, чтобы её боялись и уважали за моральные качества её начальника. Он должен называться министром полиции и инспектором жандармов. Только этот титул даст ему расположение всех честных людей, которые хотели бы предупредить правительство о некоторых заговорах или сообщить ему интересные новости…»*[44]

Я позволю себе прервать на этом месте начало докладной записки графа Бенкендорфа, невольно вызывающей ныне улыбку своей «маниловщиной», только для того, чтобы остановить внимание моего читателя на двух пунктах. Во-первых, ко времени подачи этой записи, т. е. к январю 1826 года, в императорской России не существовало организованной в государственном масштабе политической полиции и, во-вторых, граф Бенкендорф наивно предполагал, что новый министр создаваемой им политической полиции и сама полиция должны будут пользоваться расположением и услугами «честных людей», которые будут предупреждать о заговорах. Граф Бенкендорф не допускал мысли, что гораздо правильнее и удобнее добывать нужные сведения за деньги, путём подкупа людей, так или иначе близких к «заговорщикам», и что «честные люди», о которых он упоминает, или благонамеренные граждане, при всей своей честности и благонамеренности, как раз обычно о «заговорах» не знают.

В дальнейшем, когда записка Бенкендорфа о создании политической полиции в виде Отдельного корпуса жандармов получила одобрение Императора Николая I и эта полиция стала функционировать по пути, намеченному её автором, на практике и получилось, что эта полиция ничего не знала о затеваемых и подготовляемых «заговорах», ибо «честные люди» об этих заговорах ничего не знали, а жандармская полиция безнадёжно ожидала от них какой-то помощи и содействия.

В конце своей записки граф Бенкендорф высказывается ещё

более определённо против подкупа и приобретения за деньги шпионов и особенно подчёркивает то, что успех дела зависит от «моральной силы» чинов полиции. Граф Бенкендорф был уверен, что *«чины, ордена, благодарность поощряют офицера больше, чем денежные суммы поощряют людей, секретно используемых, которые часто играют двойную роль: шпионят для и против правительства. Эта полиция должна употреблять все свои усилия, чтобы завоевать моральную силу, которая в каждом деле есть главная гарантия успеха…»*.

Я намеренно воспроизвёл в точности все главные положения записки графа Бенкендорфа, чтобы показать моему читателю, как тогдашняя правительственная власть в России была озабочена «моралью» и как её важнейшие начинания были основаны на идеологических, «высоких» по своей чистоте, принципах. Даже в таком деле, как добывание секретных сведений, которые во всём мире во все времена добывались без особой морали, а просто подкупом тех, которые в записке Бенкендорфа названы «заговорщиками», российская правительственная власть делает ставку на «честных людей», которые будто бы «придут сами и всё скажут!»[45].

Наивно, скажет современный читатель. Да, несомненно, очень наивные основы были заложены при создании политической полиции в императорской России. Но в то же время наличие их противоречит и той довольно распространённой, особенно среди иностранцев, легенде об этих основах, которую небезызвестный Б. Локкарт формулирует так: *«…я не воображаю, будто постиг тёмные основы царской полиции, но не верю ни в её толковость, ни в её честность. Пресловутая «охрана», о которой столько распространялись политические фельетонисты, представляет собою миф. В действительности в ней руководящую роль играли тупицы и продувные жулики, причём первые были несомненно в большинстве…»*[46]

Императору Николаю I и его правительству было, конечно, известно, что многое в империи надлежит упорядочить, узаконить и двинуть вперёд по пути хотя и медленного, но необходимого прогресса. Крепостная зависимость крестьян, угнетение сильными и власть имущими слабых и бесправных, несовершенство суда и другие неустройства быта создавали недовольство и ропот, внешне прикрываемый фасадом сильной государственной власти. Отголоски этого недовольства и приглушённого ропота доходили случайно до монарха, и в мерах, предложенных Бенкендорфом, власть усмотрела возможность усилить «карающую руку», в целях — приостановить или, по крайней мере, уменьшить злоупотребления.

Эта «карающая рука», олицетворённая в новом Отдельном корпусе жандармов, была создана в то время, когда в императорской России всё «доброе», «патриотическое» и «надёжное» объединялось с «военными», и потому Корпус получил военную организацию. Эта черта заключала в себе и силу и слабость, и вот почему. Ко времени революции 1917 года Отдельный корпус жандармов, сильно реформированный и приспособленный к требованиям времени, включал только 1000 офицеров и 10.000 унтер-офицеров[47]. Это на территории, занимавшей ⅙ часть света! Предоставляю читателю судить самому, как эта новая осведомительная и карающая власть могла функционировать. Она и функционировала больше на бумаге, чем на деле.

При возникновении Отдельного корпуса жандармов его стали заполнять теми офицерами, которые были известны высшему начальству своими способностями, высокой моралью и отличной службой. Кроме того, они должны были непременно происходить из семей потомственных дворян; это условие в глазах правительства как бы гарантировало их «наследственную преданность престолу».

Специальная и очень красивая форма синего цвета и содержание, по крайней мере, вдвое большее, чем у обыкновенного строевого офицера, являлись прерогативами этой службы. Общество вообще не любит тех, кто его охраняет. «Синие мундиры» Отдельного корпуса жандармов стали скоро в императорской России предметом затаённого опасения населения, а среди постоянно фрондирующей знати синонимом «нежелательного гостя», от которого надо держаться подальше и, во всяком случае, в «свой круг» не принимать без крайней надобности.

В то «николаевское время» не требовалось никакого специального экзамена для офицеров, которые поступали в Отдельный корпус жандармов, и они учились на практике и по разъяснениям старших. Всё было примитивно до крайности, как, впрочем, примитивна была и жизнь тогдашнего обывателя. Политическая жизнь русского обывателя того времени была столь тиха, что, если бы жандармские офицеры тогда задумали и смогли применить все тонкости агентурного и розыскного обследования начала XX века, они, пожалуй, не достигли бы результата. Типами пресловутых «николаевских солдат» несомненно в полной мере были первые представители Отдельного корпуса жандармов. Власть могла положиться на них смело. Но у старших чинов Корпуса жандармов того времени было одно уязвимое место, своеобразная «ахиллесова пята»,

которая препятствовала создать из организации, обслуживаемой ими, настоящую «политическую полицию».

Эти старшие чины Отдельного корпуса жандармов — офицеры российской императорской армии — были, что называется, «кость от кости» тогдашнего дворянства; многие набирались по знакомству с высшими представителями служебной знати и принадлежали к старому родовому дворянству. В русском дворянстве, как известно, утвердился издавна предрассудок, доживший чуть ли не до революции, что «дворянину невместно», неприлично заниматься «делами», «торговлей» и всем тем, что включает понятие постоянного, непрерывного, усидчивого и тяжёлого труда, физического и даже умственного. С таким предрассудком, впитанным в плоть и кровь каждого дворянина, трудно было ожидать, что офицер Отдельного корпуса жандармов, дворянин по происхождению и офицер российской армии по службе, стал заниматься «чёрной работой» политической полиции.

Работа и служба каждого чина политической полиции требует прежде всего изучения порученного ему дела. Русский же дворянин того времени, да ещё офицер по образованию, не был склонен к чему-либо систематическому. Военная наука тогда была несложна; военная техника, требующая специального изучения, была в зачаточном состоянии. «Пуля — дура, штык — молодец!»[48] Что касается политических и социальных наук, то эта область была совершенно закрыта для военного времени. «Военные — вне политики!» было подлинным лозунгом армии.

И вот офицеры армии, несведущие в делах, которые они были призваны разрешать с момента их включения в состав «политической полиции», оказывались как бы перед стеной, и то, что подготовлялось, таилось за ней и просачивалось иногда наружу, они не могли ни усвоить, ни правильно оценить — не потому, что они были сплошь «тупицы» или «продувные жулики», как полагал Локкарт, а потому, что тогдашняя государственная система, основанная на «нерассуждающей» дисциплине и дворянских предрассудках, мешала той живой и инициативной работе, которая требуется от политической полиции. Эта система, хотя значительно ослабленная и реформированная, продолжала, к сожалению, оставаться и значительно позднее.

В тихое и спокойное время царствования Николая I эта система помешала руководителям политической полиции подготовить чинов Отдельного корпуса жандармов к их сложной и ответственной работе. Надобность в такой работе возникла скоро. Наступили смутные времена со слишком быстрым и внезапным потоком освободительных реформ Императора

Александра II. Для поддержания в огромной стране порядка в царствование Императора Александра II власть обладала ничтожной по силе и вооружению общей полицией и ещё более ничтожной политической полицией.

Оценивая политическую полицию 70-х годов, известный б[ывший] народоволец Лев Тихомиров в своих записках об эпохе «Земли и воли» писал: *«…Третье отделение находилось (в 1878 г.) в слабом и дезорганизованном состоянии, и трудно себе представить более дрянную политическую полицию, чем была тогда. Собственно, для заговорщиков следовало бы беречь такую полицию; при ней можно было бы, имея серьёзный план переворота, натворить чудес…»*[49]

Лев Тихомиров правильно оценивает политическую полицию к концу царствования Александра II. А ведь к этому времени российская политическая полиция в лице Отдельного корпуса жандармов имела за собой 50 лет практики.

Одновременно я хочу привести здесь мнение о политической полиции той же эпохи, т. е. примерно 60-х и 70-х годов, советского историографа А. Шилова: *«Мною было указано на низкий уровень агентов политической полиции и на то, что их донесения не выходили из пределов данных «наружного наблюдения» или сообщений о «толках и слухах». Никакой «внутренней агентуры», дававшей впоследствии столько ценных для охраны сведений, не существовало. Данные «наружного наблюдения», «толки и слухи», перлюстрация писем, материалы, получаемые при обысках, и «откровенные показания» раскаявшегося или доведённого какими-либо мерами до «раскаяния» допрашиваемого — вот чем располагало Третье отделение в начале 1860 г.»*[50].

В этой большевистской оценке политической полиции 1860 года много верного, как и верна оценка той, им называемой «охраны», в которой я служил с 1906 по 1917 год.

Глава I
В Москве

Мой перевод из армии в Отдельный корпус жандармов в Московский жандармский дивизион. — Служба в Московском жандармском управлении. — Генерал Шрамм.

Прослужив около трёх лет в 7-м гренадерском Самогитском полку и не чувствуя призвания к строевой службе, я стал намечать себе иное служебное поприще. В это время мой старший брат Николай служил в Московском жандармском дивизионе, будучи незадолго до этого переведён в него из 10-го драгунского Екатеринославского полка. По его совету я возбудил ходатайство о прикомандировании меня к тому же дивизиону для совместного служения с братом.

Ходатайство моё было удовлетворено, и в мае 1898 года я был прикомандирован к Московскому жандармскому дивизиону, начав, таким образом, свою почти двадцатилетнюю службу в Отдельном корпусе жандармов, прерванную революцией 1917 года, когда я состоял начальником отделения по охране общественной безопасности и порядка в Москве.

Служба в Московском жандармском дивизионе была, однако, почти исключительно строевой, и для меня она была только временным этапом к дальнейшей службе в Отдельном корпусе жандармов, несколько облегчая путь к зачислению в так называемый «дополнительный штат» Корпуса, к чему, собственно, я и стремился.

Жандармский дивизион являлся как бы парадным придатком к полицейской организации обеих столиц — Петербурга и Москвы — и Варшавы. Командование этими дивизионами было чистейшей синекурой и являлось одной из самых завидных должностей в Корпусе. В порядке подчинения командир дивизиона имел двух ближайших начальников: в административном он подчинялся градоначальнику и в строевом — начальнику местного жандармского управления. Для первого — жандармский дивизион был «чужой» и потому рассматривался им как неизбежное и неотвратимое зло и помеха для учреждения «своей» конной полиции, которая была заведена за несколько лет до революции. Этой конной полиции дали какую-то среднюю форму между общеполицейской и жандармской и снабжали бракованными конями из жандармского дивизиона. Чины этой

конной полиции были вполне «в руках» градоначальника, знали наружную полицейскую службу лучше чинов жандармского дивизиона, и поэтому у них с градоначальством никаких «трений», наблюдавшихся в моё время между чинами дивизиона и чинами общей полиции, быть не могло. Что касается второго подчинения, то достаточно указать на обстоятельство, что начальники губернских жандармских управлений были в подавляющем большинстве по своей прошлой службе пехотинцы, а им приходилось инспектировать и направлять службу чисто кавалерийской организации, какой был жандармский дивизион. На этой почве происходили часто забавные инциденты.

Ещё до моего прикомандирования к Московскому жандармскому дивизиону я знал из рассказов моего брата всё, что касается внутренней организации службы, характера и личностей офицерских чинов; навещая их иногда в казённой квартире, я перезнакомился с ними, что облегчило мне первые шаги на новой службе.

Надо сказать, что подавляющее большинство офицеров дивизиона было в прошлом офицерами кавалерийских полков, и пехотинцев было всего несколько человек. Дух чести, манеры, товарищеская солидарность, обращение старших с младшими чинами — всё это напоминало кавалерийскую закваску, выгодно отличаясь от той разобщённости, в которой пребывали в моё время офицеры пехотных полков.

Ко времени моего прикомандирования к дивизиону мой брат Николай был временно откомандирован в Московское губернское жандармское управление для исправления должности адъютанта, тогда вакантной, и я его уже не застал в дивизионе. Его начальник, уже и тогда престарелый, генерал-лейтенант Шрамм, оказывал ему большое внимание и сердечно полюбил его и, вероятно благодаря этому, перенёс затем и на меня знаки своего расположения.

В дивизионе числилось около 25 офицерских чинов и около 300 нижних чинов — жандармов, набиравшихся согласно общим правилам, установленным для распределения их по кавалерийским полкам. Ошибочно было бы полагать, что молодой парень, взятый на военную службу и попавший по усмотрению соответствующего воинского начальника в жандармский дивизион, чем-то отличался от другого рекрута, попавшего на службу в один из кавалерийских полков! Были лишь некоторые общие указания относительно нежелательности зачисления в дивизионы жителей больших фабричных районов[51] и другие, более или менее незначительные ограничения. Дивизион разделяли на два эскадрона. Во главе каждого из них

стоял свой командир, и остальные офицеры были распределены по этим эскадронам. Значительный штат составлял канцелярию эскадрона; тут значились и адъютанты, и казначей, заведующий хозяйственной частью, делопроизводитель суда и ещё какие-то должности. Офицеры, занимавшие эти должности, представляли собою, так сказать, «аристократию» части и, соответственно этому, не делали ничего.

Вновь поступающие в дивизион офицеры несли на себе всю службу, которая в моё, по крайней мере, время была совсем не обременительна.

Казармы Московского жандармского дивизиона занимали большую площадь, выходившую лицом на Петровку в той её части, которая называлась Каретным рядом, а боковыми фасадами в Большой и Малый Знаменские переулки. Напротив было расположено здание Екатерининской больницы, а наискось — большой сад и театр, где поочередно помещался летний театр с фарсом и опереткой «Эрмитаж». Одно время его снимал Художественный театр, в самом начале своей деятельности, в предреволюционные годы — театр Суходольского, а затем так называемый Драматический театр с его первоклассной труппой, в составе которого значились Полевицкая, Певцов и другие известные артисты[52].

Казармы дивизиона занимали место в центральной части города, и строения принадлежали городу, который и нёс заботы о них. Когда-то здесь был выстроен барский особняк в стиле ампир, с колоннадой в центре. Этот особняк, весьма импозантный и в моё время, был приспособлен под квартиры офицеров дивизиона, и из них наибольшая, во втором этаже, принадлежала командиру дивизиона, полковнику Фелицыну, бывшему офицеру лейб-гвардии Конного полка, занявшему эту должность, очевидно, после того, как его денежные средства не позволили ему продолжать службу в этом привилегированном блестящем гвардейском полку.

В небольшой квартире первого этажа помещалось очень скромное Офицерское собрание дивизиона. Дежурный по дивизиону офицер должен был находиться в нём, но на практике преспокойно сидел в своей квартире, если она находилась при дивизионе. Почти все офицеры имели казённые квартиры, в особенности семейные, а таковых было большинство.

В положении «прикомандированного» к дивизиону офицера, продолжая носить форму своего полка, я пробыл с небольшим год. Зачисление в списки офицеров дивизиона зависело от освобождения вакансии, т. е. от убыли по какой-либо причине одного из офицеров. Так как такие убыли происходили нечасто,

то в положении прикомандированного можно было пробыть значительное время. Мне, вероятно, сравнительно повезло! Уволен был по возрасту и, кажется, за обшей непригодностью один из престарелых офицеров дивизиона. Таким образом, в 1899 году приказом по Отдельному корпусу жандармов я был официально переведён в корпус с зачислением в списки офицерских чинов Московского жандармского дивизиона. Это событие превратило меня внешне в подлинного по виду жандармского офицера. Тогдашняя форма жандармского офицера почти ничем не отличалась от формы, установленной в драгунских кавалерийских полках нашей армии; исключением был тёмно-синий цвет мундира и сюртука и небольшой султан-шишак из белого конского волоса на парадной барашковой шапке. Полная перемена формы и покупка седла несколько нарушили мой скромный бюджет.

Я упомянул, что с переменой формы я превратился «внешне» в жандармского офицера. И это совершенно верно определяет моё служебное положение, потому что вся служба в жандармском дивизионе почти не имела отношения к той деятельности, которая обычно связывалась в представлении общества со службой в Отдельном корпусе жандармов, т. е. со службой, предназначенной к ограждению существовавшего государственного и общественного строя от злонамеренных покушений на него со стороны революционных организаций. Впрочем, участие чинов дивизиона в поддержании порядка на улицах в случаях враждебных правительству демонстраций (во время моей службы в дивизионе весьма немногочисленных и редких) до известной степени как бы вводило нас, чинов дивизиона, в общежандармскую работу, если только она не могла бы быть более справедливо причислена к общеполицейской, а не специфически жандармской.

Оглядываясь на то время, я часто с завистливым вздохом продумываю набегающие воспоминания о той лёгкой и беззаботной, я бы сказал, почти безоблачной жизни. Судите, впрочем, сами! С первых дней моего прикомандирования к дивизиону я был зачислен во 2-й эскадрон, которым командовал бравого вида типичный кавалерист, очень красивый, с выхоленными молодецкими усами, статной фигурой, ротмистр Терпелевский. В первый же день революции, происшедшей в Москве 1 марта 1917 года, этот лихой кавалерист, уже в чине полковника и в должности командира Московского жандармского дивизиона, перешёл в подчинение революционного комитета, который взял в свои руки так легко выпавшую из рук московских властей «капральскую палку». Но тогда, во время моего

нахождения в эскадроне, бравого ротмистра Терпелевского положительно невозможно было представить украшенным красной революционной перевязью.

Зачисление мое во 2-й эскадрон носило характер формальный, ибо оно фактически меня никак не связывало с этим эскадроном и очень мало удаляло от 1-го эскадрона, и вот почему. Никаких строевых учений для всего эскадрона не происходило; низшие чины его, отбывшие первый год службы в особой «команде новобранцев» и прошедшие в ней основы кавалерийского обучения, общесолдатской грамоты и всей связанной с нею премудрости, начали нести повседневную работу «по нарядам». Так называлось назначение на очередной вызов какой-либо определённой конной или пешей команды по распоряжению, исходившему от градоначальника, у которого составлялся требуемый от дивизиона на такой-то день очередной наряд. Команды эти были обычно очень скромны по размеру. Наряды же были чрезвычайно разнообразны по характеру; например, ежедневно посылали по несколько наиболее смышлёных пеших жандармов «торчать» (я не могу подобрать более подходящего выражения) около приёмных и в передних у видных лиц местной администрации; назначение их и служба представлялись весьма неопределёнными, и, кажется, главным образом они «украшали» собой то присутственное место, где находились. Каждый день довольно значительный наряд, конный и пеший, посылался к Императорским театрам, а в моё время их было три: Большой, Малый и Новый. В последнем, расположенном на той же Театральной площади, где находились Большой и Малый театры, давались драматические и оперные спектакли вперемежку. Дирекция Императорских театров, сняв этот театр и назвав его Новым Императорским театром, рассчитывала дать возможность молодым силам Большого и Малого театров показать себя на этой сцене. Новый театр, впрочем, успеха не имел и, протянув несколько убыточных лет, был закрыт[53]. На сцене этого театра часто выступал в небольших и лёгких операх начинавший тогда свою карьеру Леонид Собинов.

С этими-то жандармскими командами, назначаемыми ко времени представлений в Императорских театрах, а также с теми командами, которые посылались вдобавку к общеполицейским нарядам в дни рысистых и скаковых испытаний, назначался и особый, по очереди, младший офицер дивизиона. В наряд на скачки и на бега, где жандармские команды были численно большими, их сопровождал офицер до места назначения; там он поступал в распоряжение старшего полицейского офицера, обычно полицмейстера одной из частей города, наблюдал за

исполнением службы подведомственной ему команды, а по окончании наряда сопровождал эту команду в казармы. Что касается театральных нарядов, то они для офицера сводились к простому посещению спектакля, и в каждом из Императорских театров ему полагалось в заднем ряду партера своё особое место. Наряды эти были, конечно, не только необременительными, но зачастую офицеры разыгрывали между собой право на наряд во время какого-нибудь выдающегося спектакля. За время моего трёхлетнего пребывания в Московском жандармском дивизионе я пересмотрел некоторые оперы, балеты и драмы неоднократно. В отношении драмы это было иногда утомительно, но возможность просидеть в комнате полицмейстера театра, встретиться там с театральными завсегдатаями, просидеть какой-нибудь скучный акт с приятелями в буфете до известной степени компенсировала незадачу наряда.

Первые несколько месяцев моего нахождения на службе в дивизионе прошли так, что я, собственно, «службы» почти не нёс. Дело происходило летом. Наряды, раза два в месяц, выпадавшие на меня в очередь по скачкам и бегам, не утомляли нисколько. Императорские театры летом не функционировали; если прибавить к этим редким нарядам ещё 2–3 дежурства по дивизиону, то этим и ограничивалась вся моя служба. Я был молод, был коренным москвичом, имел массу знакомых; почему-то, вероятно в силу установленной традиции, мы, офицеры дивизиона, пользовались свободным входом как в некоторые частные театры, так и во все летние увеселительные сады. Время проходило, должно признаться, беззаботно, а служба не утруждала нисколько. Кроме того, благодаря особому отношению со стороны командира дивизиона даже и эта необременительная служба облегчалась ещё более.

Надо сказать, что, перейдя на службу в дивизион, я из пехотинца превратился в кавалериста. Но это превращение было, конечно, более или менее формальным: никаких строевых учений ни командир дивизиона, а следуя ему, ни командиры эскадронов не производили; тем не менее усвоение правил верховой езды, проходимое юнкерами в кавалерийских училищах, становилось для меня первой и самой важной задачей. Большинство офицеров в дивизионе, ведя спокойную жизнь, обленилось и почти никогда не садилось на коня. Но и для этих кавалеристов только по форме, ими носимой, я всё же был пехотинцем, случайно попавшим на коня

Осенью того же года командир дивизиона назначил меня помощником начальника команды новобранцев; эта команда, составленная из новобранцев, не нёсших ещё никаких нарядов,

должна была нами, т. е. моим начальником, мною и другим офицером, заведующим специально обучением их верховой езде, подготовлена за ряд зимних месяцев к несению службы в дивизионе.

Я уже упоминал о том, что не чувствовал призвания к строевой военной службе. Я не любил скучнейших, однообразных занятий грамотностью с туго усваивавшими солдатскую премудрость новобранцами; впрочем, может быть, значительная часть вины падала на таких педагогов, каким был я. А я был педагогом нетерпеливым, но строгим, не умевшим разнообразить уроки и потому делавшим их скучными. Так или иначе, я не любил эти вверенные мне обязанности. Однако, благодаря моей настойчивости, уменью заставлять себя, по чувству долга, исполнять порученное мне дело хорошо, а главное, из желания не уступить ни в чём кавалеристу, моему сослуживцу по команде новобранцев, я принялся за дело с большим рвением.

В результате нескольких месяцев работы мои новобранцы своей выправкой приводили в восхищение командира дивизиона, когда он в обеденное для солдат время, около 12 часов дня, появлялся в колоннах у входа в главное здание дивизиона, окружённый находившимися случайно в здании казарм офицерами, и здоровался с проходившей, молодцеватой по виду частью. Подбодрив каждую колонну соответствующей звучной командой, я провожал своих новобранцев до столовой, а сам возвращался к группе офицеров. Почти постоянно я выслушивал лестные замечания о моей команде новобранцев, хотя, впрочем, удовлетворить нашего командира дивизиона было нетрудно.

Командир Московского жандармского дивизиона и мой начальник был человек своеобразный, и обойти его молчанием невозможно, хотя многое и покажется невероятным. Полковник Фелицын, перешедший «по необходимости» и «скрепя сердце» из Конного лейб-гвардии полка в дивизион, был «никаким» командиром дивизиона; ни мы, офицеры дивизиона, ни его нижние чины как-то совсем не соприкасались с ним. Делами дивизиона он интересовался мало и вёл неизвестную, совершенно обособленную жизнь. Встав довольно поздно, появлялся ненадолго в своём служебном кабинете, выслушивал очередные и немногочисленные дела, оказывался затем, около 12 часов дня, у колоннады дома на плацу, здороваясь с проходившими нижними чинами, и удалялся завтракать в ресторан. Если дежурный офицер по дивизиону, не имевший права отлучаться по уставу из расположения казарм дивизиона, был по каким-либо причинам в том же ресторане, то полковник Фелицын приветливо помахивал ему рукой, забыв, очевидно, что этот офицер является дежурным

по части, или не обращая вовсе на это внимания. Как-то, будучи дежурным по дивизиону, я в служебном рвении отправился ночью в конюшни проверить порядок и «дневальных» и, конечно, нашёл много непорядков. На другое утро, рапортуя полковнику Фелицыну, я доложил ему о найденных мною непорядках и, к моему крайнему изумлению, услышал в ответ следующую фразу: «А вот если бы вы не пошли в конюшни, то и не нашли бы этих беспорядков!» Этим несколько странным замечанием полковник Фелицын значительно охладил моё служебное рвение.

Служба в жандармском дивизионе была необременительна. С окончанием зимних месяцев и занятий с моей командой, на что уходили утренние и дневные часы, наступало время ещё большей свободы. Надо было отбывать только весьма редкие наряды — дежурства по дивизиону да по бегам и скачкам на Ходынском поле. Свободного времени — хоть отбавляй! Если добавить к этому денежное вознаграждение в 100 с лишним рублей в месяц, при готовой квартире в дивизионе с отоплением и освещением, да ещё с даровой прислугой-вестовым, то жить можно было удовлетворительно.

Однако я не мирился с этим. Мне хотелось очутиться где-то на передовых линиях борьбы правительства с революцией. Мне казалось, что в этой борьбе я смогу оказаться ловким противником, что я сумею лучше многих повести порученное мне дело, и мне хотелось скорее преодолеть все необходимые служебные ступени к занятию самостоятельной и более или менее независимой должности.

Строевая служба, как я уже отметил, не удовлетворяла меня. Меня тянуло к другому. Мне хотелось кабинетной работы. Я рисовал мысленно картины, как я из своего кабинета умелой комбинацией буду разрушать хитросплетения революционных вожаков. В то время я ещё не знал в точности все роды жандармской службы и только смутно предрешал посвятить себя делу розыскной работы. Я подал рапорт по команде с просьбой вызова меня в штаб Отдельного корпуса жандармов, чтобы держать «вступительный» экзамен. Экзамен этот, как я знал, производился с целью установления степени «общего развития», как туманно говорилось в штабе Корпуса.

Подав рапорт, я уселся за книги, которые, как показали опыт и практика, помогали поднять «общее развитие» до степени, являвшейся в глазах экзаменаторов необходимой по службе в дополнительном штате Корпуса жандармов. Надо иметь в виду, что эти книги-учебники какими-то судьбами переходили из рук в руки всех тех, которые приступали к «вступительному» экзамену. Я знал офицеров, приезжавших в Петербург и являвшихся в штаб

Отдельного корпуса жандармов прямо из полков, из провинциальных захолустий и ещё только «нанюхивающих» положение. Эти совершенно чуждые Корпусу офицеры прежде всего наталкивались в передней штаба на старого курьера. Старик видел немалое количество новичков и, получив следуемый ему небольшой «на чай», дружелюбно направлял новичка прежде всего к старшему писарю Орлову. Орлов был крупным винтом в штабной машине. Я знал потом многих офицеров Корпуса, которые в течение всей своей службы поддерживали с Орловым добрые отношения и никогда не забывали, бывая в штабе, зайти в его «строевой» отдел и сунуть Орлову некоторое количество рублей. Взамен они вовремя получали при очередных наградах так называемый «передовой» приказ и могли своевременно к празднику появиться или при новом ордене, или переменить форму погон. Орлов же был полезен ещё и тем, что мог подсказать вовремя освобождавшуюся вакансию. Словом, это был нужнейший человек. Когда новичок подводился к Орлову курьером, то дело в дальнейшем шло гладко. Давались указания, заготовлялись нужные рапорты, и, самое главное, новичок получал список книг и руководств, нужных для экзамена по «общему развитию». В числе учебных пособий, которые я лично получил от своего брата, благополучно уже сдавшего этот экзамен, находились, как я помню: курс истории русской и всеобщей, учебник географии, календарь-справочник Суворина[54], где помимо сведений о различных государственных учреждениях были перечислены и лица, занимавшие видные должности по управлению, и масса других сведений; положение о земских начальниках и их учреждениях, руководство о службе на железных дорогах, положение о полиции, её устройстве и, теперь уже не помню, ещё какие-то руководства как печатные, так и литографированные, с прибавлением ряда названий тех «письменных тем», которые задаются экзаменующимся для проверки их слога, умения выразиться письменно и изложить свои мысли. От своего брата я даже получил ряд хорошо написанных изложений на обычно задаваемые на экзаменах темы. Одна из этих тем, а именно «Судебные реформы Императора Александра II», была как раз предложена мне как тема для моей письменной работы на экзамене и помогла мне отлично сдать экзамен «общего развития».

Приблизительно через полгода после подачи моего рапорта я был вызван штабом Корпуса в Петербург для экзаменационного испытания. Несмотря на то что я подготовился к возможным вопросам, прозубрил все те руководства и учебники, которыми меня снабдили, старательно прочёл передовые статьи наиболее

крупных газет, следя за текущими событиями вне и внутри России, и даже знал некоторые экзаменационные «штучки», вроде вопроса: «А что написано на спичечной бандероли?» (надо было ответить, что на ней отмечена наличность семидесяти пяти спичек в коробке!) — несмотря на всё это, я волновался немало. Чрезвычайно обидной казалась возможность провалиться на экзамене по «общему развитию».

На этот вступительный экзамен было вызвано приблизительно 20 или 30 офицеров из разных полков российской армии. Преобладали поручики. В назначенное для экзамена время мы собрались в приёмной штаба Отдельного корпуса жандармов и стали ожидать членов экзаменационной комиссии, которая состояла из так называемых «старших адъютантов» штаба этого Корпуса, — забавно, что «младших адъютантов» не было вовсе! — заведовавших тем или иным отделом штаба; присутствовал также «гроза» всех экзаменующихся, чиновник Департамента полиции, действительный статский советник Янкулио. Председательствовал начальник штаба Корпуса жандармов.

В ожидании прихода экзаменаторов прибывшие офицеры в волнении обменивались наскоро беспокойными вопросами о характере предстоящего испытания, но было заметно, что большинство «прошло через руки Орлова» и до некоторой степени было подготовлено к тому, чтобы доказать своё «общее развитие». В волнении некоторые из нас подходили к стоявшему в приёмной старичку-курьеру, «видавшему виды», перевидевшему сотни экзаменующихся, с вопросами: «Ну, что же спросят? Что надо знать, чтобы выдержать экзамен?» На это старичок-курьер невозмутимо отвечал: «Надо всё знать, не волноваться — и тогда и выдержите экзамен». Конечно, это был мудрый ответ, но большинство, вероятно, плохо знало это «всё», требовавшееся на экзамене, и продолжало волноваться.

В ту пору, да и в дальнейшую, чины штаба Отдельного корпуса жандармов, вот эти самые «старшие адъютанты», особой приветливостью не отличались. Проходили они мимо нас мрачные, насупившись, погруженные в свои, нам, новичкам, непонятные мысли. Особенно выделялся своей мрачностью и отталкивающе-нелюбезным видом именно тот адъютант по строевой части, полковник Чернявский, с которым нам приходилось волей-неволей иметь больше всего сношений. Он мрачно выслушивал какой-нибудь обращённый к нему вопрос и «буркал» в ответ что-нибудь кратко и весьма холодно. Много времени спустя я узнал причину его мрачности и постоянного раздражения: полковник был завзятый картёжник и постоянно

проигрывался в карты. Впоследствии, будучи назначен на должность [начальника] Московского жандармско-полицейского управления железной дороги, он не удержался и, «позаимствовав» из казённых сумм, не смог вовремя пополнить растраты и принужден был уйти со службы. Полковник Чернявский пользовался среди всех офицеров Корпуса жандармов особенной непопулярностью. Ходовое слово в отношении к нему было — «хам!». Но это слово произносилось «за кулисами», ибо полковник Чернявский, по своей должности заведующего строевым отделом, мог напакостить каждому. Обращение с ним поэтому, даже со стороны самых старших чинов Корпуса, было очень почтительным и даже заискивающим. Вот этот-то «мрачный мерзавец», как его называл мой старший брат, и стал вызывать нас, экзаменующихся, по очереди к экзаменационному столу. Подошла и моя очередь.

В кабинете начальника штаба Корпуса был поставлен длинный стол, покрытый суконной скатертью, за которым сидело пятеро или шестеро экзаменаторов — все офицеры штаба, за исключением очень пожилого, сухого, седого Янкулио.

Я был тогда хотя и в форме гренадерского полка, но всё же до некоторой степени как бы «своим офицером» для Корпуса жандармов, так как был в прикомандировании к Московскому жандармскому дивизиону, и это обстоятельство внесло какую-то, хотя и малозаметную, но всё же долю привилегированности в моё положение экзаменующегося. Чувствовалась большая уверенность хотя бы в том, что не станут же они, экзаменаторы, ронять достоинство одного из «своих».

Начались вопросы; большинство было из тех руководств, которыми я был снабжён моим братом, и я отвечал на них без запинки. Экзаменаторы не очень утруждали себя разнообразием вопросов и пользовались, вероятно, раз навсегда заготовленным списком. Когда очередь дошла до Янкулио, он спросил меня о целях и задачах института земских начальников[55]. На этот вопрос я ответил, что эти цели лучше всего очерчены в манифесте Императора Александра III, проведшего в жизнь этот институт, и, попросив разрешение привести точные слова манифеста, начал твёрдо затверженные мною начальные слова его: «В постоянном попечении о благе нашего отечества…» и т. д. Не успел я ещё окончить первую фразу манифеста, как услышал: «Довольно, хорошо!» На этом мой устный экзамен окончился.

Через час или два нас снова собрали в особую комнату, усадили за столы и каждому дали тему. Мне попалась тема: «Судебные реформы Императора Александра II». Это была одна из тех тем, которые были особенно внимательно проштудированы

мной по имевшимся у меня руководствам, и мне не стоило особого труда и напряжения написать обычную ученическую работу. По окончании её я уже сам понимал, что «предварительное испытание» мною выдержано.

Когда все письменные работы были поданы, нас снова собрал в приёмной полковник Чернявский и мрачно заявил, что «в своё время» нас вызовут снова для слушания лекций. Мы разъехались по местам службы.

Мой старший брат Николай в то время занимал должность адъютанта начальника Московского жандармского управления, а этот начальник, генерал-лейтенант Шрамм, представительный старик с благообразнейшими бакенбардами, типичными для старых служак царствования Императора Александра II, как говорится, души не чаял в нём. Он чрезвычайно ценил его работу, уменье кратко и понятно изложить дело при докладе и уменье хорошо составить бумагу, к чему сам Шрамм едва ли был способен. Генерал был из русских немцев, педантичный в мелочах, очень требовательный и строгий, но по существу добряк и наивный младенец в том, что касалось службы; был вспыльчив до чрезвычайности и в состоянии раздражения не переносил никаких объяснений. Он любил всякие парады, торжества и являл собой тип «свадебного генерала». Мой брат хорошо «раскусил» своего генерала и пользовался неизменным его вниманием и любовью.

Ко времени моего возвращения с экзамена генерал Шрамм переместил моего брата, в порядке внутреннего управления, с должности адъютанта на должность офицера резерва, «производящего дознание по политическим преступлениям» при управлении, и нуждался в адъютанте. Адъютантов при Московском губернском жандармском управлении (как и С.-Петербургском) было по штату два: один ведал строевой и хозяйственной частью, а другой — секретной, т. е. всей перепиской, на которой стояли среди листа сакраментальные слова: «Секретно», «Совершенно секретно» или даже «Доверительно». Мой брат занимал должность адъютанта именно по секретной части. В ожидании официальных перемещений и нового адъютанта, генералу Шрамму надо было найти для этой должности временного заместителя, и брат подсказал начальнику управления возможность моего временного к нему прикомандирования, указав на то, что я уже выдержал предварительное испытание в штабе Отдельного корпуса жандармов и поэтому в недалёком будущем, по окончании слушания лекций и последнего экзамена, готовлюсь занять адъютантскую должность в дополнительном штате Корпуса.

Генерал согласился на эту комбинацию — и в начале 1900 года я был прикомандирован к Московскому жандармскому управлению.

Во все мелочи службы в моей новой должности я был введён братом, особенно остановившимся на мельчайших подробностях моих предстоящих докладов начальнику управления, когда я в конце служебного дня должен был нести в кабинет генерала Шрамма на подпись все составленные за день «исходящие» бумаги и докладывать о «входящих». Брат мой не упускал ни одной мелочи, подчёркивая всё их значение, например, с какой стороны письменного стола начальника я должен стоять, как прикладывать «промокашку» к подписи генерала и пр. Все эти советы, как это ни смешно, оказались очень нужными и помогли мне в самом непродолжительном времени стать у начальника управления в положение «хорошего адъютанта».

Время моего фактического ознакомления со службой в Отдельном корпусе жандармов относится к тому периоду политической жизни России, когда революционное подпольное движение начало приобретать более планомерный, организованный характер. Я был совершенно не знаком тогда ни с историей революционного движения в России, ни с программами и учениями революционных партий. Всё это было ново для меня, и я набросился на всю имеющуюся в управлении подпольную литературу[56].

В порядке жандармского наблюдения или политического розыска Москва была выделена из ведения начальника Московского губернского жандармского управления, и ими в столице заведовало так называемое «Отделение по охране общественной безопасности и порядка» (упрощённо называвшееся «Охранным отделением»). На долю Московского губернского жандармского управления оставались уездные пространства и города Московской губернии. Так как, естественно, Москва, как столица, притягивала все революционные подпольные элементы, то на долю собственно губернского жандармского управления, в смысле наблюдения и розыска, оставались, если можно так выразиться, только «крохи». Но и эти «крохи» совершенно не освещались в то время наблюдением губернского жандармского управления, и вот почему.

Московское губернское жандармское управление было единственным из всех губернских жандармских управлений в империи, начальник которого, по штатам Отдельного корпуса жандармов, мог быть в чине генерал-лейтенанта, и потому, не говоря уже о том, что Москва — столица, такая должность была весьма завидной. Казалось бы, при этих условиях на эту

должность должен был попадать самый умудренный и самый опытный в жандармской службе генерал. На самом деле этого не было. В результате служебных интриг, отчасти же благодаря личным связям, на эту должность иногда попадали люди, вовсе не умудренные жандармской практикой. Начальство, вероятно, исходило из соображения, что в самой Москве всё дело ведётся охранным отделением, а в уездах губернии — «тишь и гладь».

Отчасти так оно и было примерно до 1900 года, т. е. до времени моего поступления в Московское управление. Всё в нём велось ещё исходя из этой «тиши и глади», хотя уже только одно всё увеличивавшееся количество задерживаемых для дознания членов разных подпольных организаций показывало, что мы уже входили в период «бури и натиска».

Кроме обычно плохо подготовленного к своей должности начальника управления службу несли ещё шесть помощников, которые должны были следить за «состоянием умов» и настроениями уездной среды, уездных рабочих (т. е. рабочих больших фабрик, расположенных вне Москвы) и вообще местных обывателей. Каждый помощник ведал примерно двумя уездами; так, например, был помощник по Московскому и Звенигородскому уездам, другой — по Коломенскому и Бронницкому и т. д. Но повелось так, что эти помощники, желая жить в столице, а не в уездной глуши, разновременно, по разным причинам, добились права иметь квартиры в Москве, а в свои уезды наезжали только в случаях крайней необходимости. Такие «налёты» в провинцию не могли, разумеется, дать много материала для наблюдения, для понимания общественных настроений. Ускользало всё то, что может быть добыто лишь в результате постоянного пребывания в местных условиях жизни. В результате всё дело наблюдения оставалось в руках тех немногих жандармских унтер-офицеров, квартиры которых были разбросаны по уездам, но и те, в свою очередь, проявляли тяготение к уездному городу. Деревни, волости и вообще «веси» наших уездных просторов были, попросту говоря, оставлены без надзора и наблюдения. Там «всезнающим оком» был полицейский урядник, к которому, в случае надобности, обращался за справками и сам жандармский унтер-офицер

Таким образом, сами жандармы, находясь формально в более привилегированном положении в сравнении с полицией, должны были к ней обращаться за справками, как к главному источнику своих «наблюдений». К тому же Департамент полиции, как руководящий центр политического розыска империи, по тем или иным причинам не отпускал необходимых денежных средств на политический розыск в губерниях[57]. Правда, если какой-нибудь

шустрый и бойкий помощник начальника управления начинал собственными силами и средствами «раскапывать» подпольную группу и делать соответствующие донесения, то ему отпускались временно денежные средства для покрытия расходов, но это были явления случайные и даже редкие.

Что же, однако, делали эти помощники начальников губернских жандармских управлений? Так как жили они в губернском городе, где помещалось управление, то они часто посещали его, и им поручалось производство того или иного жандармского дознания, не имевшего обычно никакого отношения к тем уездам, которые находились в их ведении. Просмотрев утром полученные рапорты от подведомственных ему унтер-офицеров по уездам, такой помощник в свою очередь переписывал их (в то время почти никто из помощников не имел пишущих машинок) и подавал через адъютанта на рассмотрение, для сведения или решения начальнику управления. К четырём или, самое позднее, к пяти часам вечера такой помощник уходил домой и считал себя уже свободным от всех служебных дел. Он мирно предавался прелестям семейной жизни или эмоциям за карточным столом.

Не менее своеобразны были раскрывшиеся передо мной кулисы моей адъютантской службы. В первую очередь меня разочаровала вся, так называемая секретная, входящая почта. К крайнему моему изумлению, её содержание вовсе не было «совершенно секретным». Из других жандармских управлений поступали часто разные запросы о «политической благонадёжности» того или иного лица в связи с его поступлением на государственную службу или же присылались требования о производстве формального опроса свидетеля по какому-либо делу. От помощников по Московской губернии обычно поступали краткие донесения о случившемся в той или иной деревне пожаре. «Сгоревшие дворы» доминировали в служебных рапортах помощников начальника управления, ясно указывая на то, как своеобразно они понимали свои обязанности по изучению «общественного настроения».

Офицеры, состоявшие в Московском губернском жандармском управлении, в большинстве своём были люди симпатичные, весьма корректные и, что называется, «добрые приятели». По штатам на управление числились кроме его начальника помощник в чине полковника, около шести помощников по уездам в чине ротмистра или подполковника, два адъютанта (один из них заведовал строевой и хозяйственной частью, а другой — секретной) и два или три так называемых «офицера резерва», занимавшихся в управлении производством

жандармских дознаний и разных формальных расследований по политическим делам.

Это странное наименование «офицер резерва», звучавшее скорее неодобрительно (точно этого офицера убрали за провинность в резерв!), на самом деле означало обратное при крупных жандармских управлениях (Петербург, Москва, Рига, Варшава, Харьков и, кажется, Тифлис), не помню, с какого именно года, решено было держать по нескольку жандармских офицеров специально для производства наиболее крупных по характеру жандармских дознаний. Работа их по своему характеру была чисто следовательская. Она производилась с участием одного из товарищей прокурора местного окружного суда, под общим наблюдением товарища прокурора местной судебной палаты[58]. При назначении на должность «офицера резерва» (их всего в Корпусе жандармов было 16; пятеро из них состояло при Санкт-Петербургском губернском жандармском управлении, двое или трое при Московском и по одному или по два в других, вышеупомянутых мною городах) принимались в соображение выявленная жандармским офицером способность к следовательской работе, уменье разобраться в сложном политическом деле, аккуратность в работе, владение собою при допросах обвиняемых, понимание политической обстановки, владение «пером» и, наконец, большое умственное развитие. Поскольку мне лично пришлось сталкиваться с этими «офицерами резерва» (а я сам прослужил в этой должности при Петербургском управлении более трёх лет), я должен отметить, что большинство из них было выбрано удачно. Должность эта была, так сказать, «на виду». Она давала возможность поддерживать близкие отношения с представителями прокурорского надзора, которые, двигаясь весьма быстро по ступеням служебной карьеры, не забывали своих соработников по производству жандармских дознаний. Если это принять во внимание, то нечего удивляться, что многие «офицеры резерва», в свою очередь, делали также более быструю и удачную карьеру. Я сам оказался в их числе.

Большим минусом производимых «офицерами резерва», в порядке статьи 1035 Устава уголовного судопроизводства, жандармских дознаний было то, что офицеры эти, как, впрочем, и большинство офицеров Корпуса жандармов, не были специалистами политического розыска. Я понял это только после того, как прослужил несколько лет начальником охранного отделения, или, короче говоря, после того, как сам стал практиком розыска. Большинство «офицеров резерва» вместе с порученным делом получало обычно служебную записку

заинтересованного розыскного учреждения (чаще всего — местного охранного отделения) с разъяснением причин и условий, при которых произошла ликвидация той или иной политической подпольной организации, с перечислением арестованных или обысканных в связи с делом лиц и с целым тюком доказательств и переписки.

В огромном большинстве случаев для местного розыска, в связи с ликвидацией данной группы, дело уже не представляло интереса, и никакие старания производящего дознание по этому делу «офицера резерва» не могли прибавить ничего существенного. Между тем «офицеры резерва», совмещая обязанности следователя по делу и жандармского офицера, часто стремились к тому, чтобы возобновлённым дознанием открыть что-то новое. Дознание затягивалось, редко помогая местному розыску, а иногда даже вредя ему. Иной раз при допросе обвиняемого приходилось, что называется, «раскалывать» его — и такой «расколовшийся» начинал давать откровенные показания, в которых появлялся вдруг новый, не указанный в служебной записке местного розыскного учреждения. Этот новый, вскрытый дознанием революционер в большинстве случаев был отлично известен соответствующему охранному отделению и не ликвидирован по розыскным соображениям (хотя бы, например, потому, что он слишком близко стоял к секретной агентуре и его арест в данное время был признан нежелательным). Между тем после такого «откровенного показания», зафиксированного в протоколе, новое, «всплывшее на поверхность» лицо должно было быть обыскано и даже арестовано. Часто это расстраивало планы розыска, и в таких случаях служебный пыл и рвение «офицеров резерва» не шли в руку с интересами розыска.

Чтобы работать с местным розыском «рука в руку» и не навязывать ему своих «открытий» по дознанию, я, как «офицер резерва» при Петербургском жандармском управлении, принял на себя правило: после получения дознания заезжать в местное охранное отделение и обмениваться данными моего дознания с тем из чинов охранного отделения, который вёл розыск по делу перед тем, как оно попало к производству в мои руки.

Конечно, за исключением таких «неувязок» между интересами розыска и дознания, последнее весьма часто при умелом «разматывании клубка» приводило к новым и интересным фактам, способствовавшим как розыску, так и пресечению преступления.

Среди жандармских офицеров, с которыми мне пришлось прослужить в Московском управлении около девяти месяцев, находился ротмистр, исполнявший обязанности адъютанта по

строевой и хозяйственной частям. В этой области секретов не могло быть, и все бумаги, проходившие по его столу, не имели на своём правом углу надписи «Секретно» или «Совершенно секретно». Тем не менее, когда я, приступая к моей новой должности, подошёл однажды к столу, за которым сидел этот ротмистр, он быстрым движением руки прикрыл от меня содержание лежавшей перед ним небольшой служебной записки и многозначительно заметил мне: «Виноват, господин поручик, это совершенно секретно!» Я был очень удивлён такой необыкновенной конспирацией, но потом неоднократно встречался с ней, главным образом там, где она вовсе не была нужна. Среди офицеров Корпуса жандармов встречались любители поиграть в Шерлока Холмса. На практике они обычно оказывались плохими детективами.

Я скоро усвоил все премудрости адъютантского дела, и мой новый начальник, генерал Шрамм, стал относиться ко мне ласково. Я научился составлять в общем несложные записки, которые требовались от меня по моей должности, и начальник управления подписывал их без поправок, хотя и был на этот счёт очень требователен. Одним, впрочем, я не мог удовлетворить его: генерал всюду ставил, где надо и не надо, запятые. Без этих запятых, расставленных им собственноручно, в дополнение к заранее уже проставленным автором, никакая служебная бумага его не удовлетворяла. Он употреблял лиловые чернила, и все служебные записки были покрыты многочисленными лиловыми запятыми.

В общем, это был ребёнок в генеральском жандармском мундире. Необыкновенная смесь наивности, немецкой пунктуальности, старческой, при случае, раздражительности и глубокой веры в значительность своих распоряжений и действий составляли сущность его характера. Как начальник дивизии в отношении Московского жандармского дивизиона, он регулярно посещал его, производил очередные смотры новобранцев, учебной команды и конского ремонта[59]. Эти смотры представляли собой такие водевили, что я боюсь, что, описывая их в самом сокращённом виде, я не смогу убедить читателя в том, что я не сгущаю краски.

По должности моей в Московском жандармском дивизионе, сначала в качестве начальника команды новобранцев, потом — начальника учебной команды, а затем и по должности исполняющего обязанности адъютанта начальника Московского губернского жандармского управления, мне пришлось неоднократно присутствовать на этих смотрах. Генерал Шрамм, как пехотинец в прошлом, ничего не понимал ни в лошадях, ни в

верховой езде. Этим пользовались эскадронные командиры и при осмотре, например, новых, приведённых в ремонт лошадей неизменно проводили перед генералом раза по два, а то и по три наиболее «фасонистых» коней. На экзамене учебной команды генерал, благодушно улыбаясь, восторгался положительно всем. Подозвав какого-нибудь бравого, молодцеватого жандарма, вытянувшегося в струнку перед начальником дивизии, генерал начинал расспрашивать его: «Как твоя фамилия? Какой ты губернии? А у тебя есть брат или сестра?» На все ответы, вылетавшие истовым звуком из горла бравого жандарма, генерал благодушно повторял: «Прекрасно, братец, прекрасно!» Генерал красиво картавил, не совсем чисто выговаривал букву «р», и без конца повторял своё «прекрасно» — у него выходило «пгекгасно». Сказав «прекрасно, братец» и всё же не удовлетворяясь этим, он ещё раз выражал удовольствие или мне, как начальнику команды, или командиру того эскадрона, в котором числился отвечавший жандарм. Генерал не задавал обычных вопросов, относившихся к службе (он, по-видимому, мало что мог спросить в этой области), а ограничивался, так сказать, семейно-бытовыми. Например, указывая на совсем новое, расшитое красными петушками полотенце, заботливо повешенное в изголовье кровати, спрашивал жандарма, вытянувшегося в струнку в ногах кровати: «Это твоё полотенце, братец?» — «Так точно, ваше превосходительство, моё!» — следовал громогласный ответ. «Прекрасно, братец ты мой! Прекрасно! Кто же тебе вышивал это полотенце?» — «Так что, ваше превосходительство, сестра!» — «Прекрасно, братец! Спасибо, господин ротмистр! Очень хорошо!» — это уже обращаясь к командиру эскадрона. Затем следовали приблизительно такие вопросы: «А ты любишь свою сестру?» — «Люблю, ваше превосходительство!» — истово вопя, отвечал жандарм. И так до бесконечности с очень маленькими вариантами при каждом посещении жандармского дивизиона.

Генералу в небольшой офицерской или дежурной комнате устраивали завтрак, и он неизменно говорил воодушевлённую речь. Этим заканчивались все его смотры, на которых он, так же неизменно, находил всё в порядке и всех благодарил.

Глава II
В Санкт-Петербурге

1901 год и переезд в Петербург. — Лекции на курсах при штабе Отдельного корпуса жандармов. — Санкт-Петербургское жандармское управление и его начальник генерал-майор Секеринский. — Сослуживцы. — В должности адъютанта. — Дело об убийстве Сипягина. — М.И. Трусевич. — Дело Азефа. — Гершуни. — Перевод на должность «офицера резерва». — Жизнь в Петербурге. — Прокуроры, жандармы и полицейские. — С.Е. Виссарионов. — Убийство Плеве. — 1905 год в Петербурге. — Назначение в Саратов.

В конце 1900 года, пробыв около девяти месяцев в Московском губернском управлении, я был откомандирован обратно в Московский жандармский дивизион, так как оставшаяся вакантной должность адъютанта в губернском жандармском управлении была заполнена назначением на неё одного из офицеров из только что прослушавших лекции при штабе Отдельного корпуса жандармов.

Мне очень не хотелось возвращаться к прежним строевым занятиям в жандармском дивизионе, но приходилось подчиниться и ждать очередного вызова в Петербург для слушания лекций. Мне пришлось ожидать этого вызова около года, и только в сентябре 1901 года я получил наконец долгожданную телеграмму о вызове на лекции.

Зная, что я по окончании лекций, может быть, и не попаду на службу в Москву, как бы мне этого и ни хотелось, я взял с собой семью (жену и годовалого сына) и с небольшим багажом перебрался на жительство в Петербург. На лекции, продолжавшиеся три месяца с небольшим, было вызвано около 60 офицеров, прибывших из разных концов России. Преобладали поручики по чинам, а по роду оружия — пехотинцы. Пять офицеров прибыло из жандармских дивизионов Петербурга, Москвы и Варшавы. Наша жандармская форма делала из этих слушателей как бы привилегированную группу. Как-то не допускалась мысль, что на окончательном испытании провалят «своих».

Лекции занимали утренние часы, с положенным часом на завтрак, который мы, курсанты, получали в помещении С.-Петербургского дивизиона, где происходили и самые лекции.

Надо отметить, что помещение было выбрано без должного внимания к курсантам. Оно было мало и неудобно.

Большинство лекторов было «старшими адъютантами» штаба Отдельного корпуса жандармов. Чтение лекций давало им дополнительную прибавку к содержанию.

Снабжённые соответствующими руководствами, мы, курсанты, по вечерам «зубрили» на дому, подготовляясь к выпускному экзамену. Больше всего одолевал нас «Краткий курс уголовного права», так как приходилось выучивать наизусть массу определений и формул.

Что касается меня, то я, помню, с большим отвращением занимался «Железнодорожным уставом» — большущей книгой, потому что, во-первых, я не собирался служить по железнодорожной части, а во-вторых, потому, что самая тема не была для меня интересна.

Что касается другой отрасли жандармской службы, а именно производства жандармских дознаний, этот курс, казалось бы весьма существенный для будущей нашей службы, был организован из рук вон плохо. Преподаватель наш, как теперь вижу, был далеко не знаток и не практик этого дела. По его требованию нам привезли из Департамента полиции целый ворох старых жандармских дознаний из числа валявшихся в архивах Департамента. Мы все вынесли мало пользы из ознакомления с этими образцами, и, сдав затем экзамен, я так же мало был подготовлен к делу, как и до поступления на курсы

Вообще же, ни один из наших лекторов не пытался ясно и кратко объяснить нам хотя бы главные детали нашей будущей службы. Что же касается самой основной отрасли этой службы — политического розыска, то, во-первых, такого курса не было вовсе (его завели только несколько лет спустя), а во-вторых, ни один из наших лекторов этого дела не знал, и мы все вместе обходили вопрос несколько таинственным молчанием. Выходило так, что это — такая отрасль службы, узнать о которой мы сможем только на практике[60].

Из лекторов наибольшей симпатией курсантов пользовался старший адъютант штаба Отдельного корпуса жандармов подполковник Александр Иванович Маас — главным образом потому, что он, в отличие от других старших адъютантов того же штаба, был отменно вежлив в обращении. Впрочем, он не прочь был за завтраком в компании с курсантами выпить рюмку-другую водки и довольно охотно делился с нами разными «тайнами мадридского двора» из штаба Корпуса и Департамента полиции. Начальством, впрочем, мы избалованы не были.

Курсанты перезнакомились, понемногу стали обнаруживать

свои планы относительно будущей жандармской службы. Вот тут-то и можно было определить, какими соображениями руководится будущий жандармский офицер. Большинство курсантов открыто выражало желание служить в железнодорожной жандармской полиции и мечтало устроиться на частных железных дорогах, так как это давало некоторую прибавку к содержанию. Я знал, что в моём стремлении попасть в одно из больших столичных охранных отделений я встречу мало конкурентов. Их, в сущности, было только двое, поручик Кломинский, мой сослуживец по Московскому жандармскому дивизиону, и поручик Фуллон, младший офицер Варшавского дивизиона, одно время вместе со мной прикомандированный к Московскому губернскому жандармскому управлению. Они тоже знали мои намерения служить по политическому розыску и, по возможности, в Московском охранном отделении, в то время пользовавшемся большой популярностью по части мастерского политического розыска. Во главе его долго стоял известный С.В. Зубатов.

Замечательно было то, что никто из курсантов не интересовался личностью своих будущих начальников, т. е. начальников жандармских управлений. Казалось бы естественным стремиться попасть в такое управление, где опытный начальник мог бы соответственно направить и выучить нового офицера. В свою очередь, ни один из наших лекторов никогда не остановил нашего внимания на этом вопросе. Курсанты собирались разбирать вакансии главным образом «по городам», т. е. стремясь попасть в возможно больший город, а главным образом — на частную железную дорогу. Уже в этом одном намечалась слабая сторона организации всей нашей жандармской службы. В дальнейшем, как я убедился, это очень отозвалось на службе.

Прошли, однако, дни, положенные на наши курсы, и мы все благополучно сдали наши выпускные экзамены. По отметкам я оказался одиннадцатым из общего числа шестидесяти курсантов. Я сейчас же выяснил, кто окончил выше меня по списку, и установил, что большинство из них разберёт вакансии на частные железные дороги. В числе присланных вакансий были три или четыре в столичные охранные отделения, и я уже не сомневался в том, что, согласно моему желанию, я попаду в Московское охранное отделение. Настроение у меня было самое радостное.

Для разборки вакансий нам, курсантам, предложено было явиться в штаб Отдельного корпуса жандармов к 10 часам утра на следующий день по окончании экзаменов. Как только я вошёл в приёмную, где стали собираться курсанты, ко мне подошёл тот самый адъютант штаба, полковник Чернявский, о котором я уже

упоминал, и по своему обыкновению мрачно и холодно спросил меня: «Желаете ли вы взять вакансию на должность адъютанта С.-Петербургского губернского управления?» Я и тогда уже понимал, что эта вакансия считалась одной из лучших: во-первых, служба в Петербурге, что называется, «на виду»; во-вторых, по этой должности полагались дополнительные деньги от Департамента полиции в размере 25 рублей в месяц и наградные к Рождеству — «на гуся», чего в других управлениях не было. Однако я хотел другого; я хотел попасть в Охранное отделение и изучить на практике, «на передовых позициях», дело политического розыска. Мне казалось, что я имею право выбора, сдав экзамены в числе первых, а не последних.

Смущённый несколько неожиданным для меня предложением, я начал объяснять моё намерение служить по политическому розыску и желание попасть в Московское охранное отделение. Не давая мне закончить мои объяснения, полковник Чернявский нетерпеливо и грубо оборвал меня «Я вас спрашиваю, желаете ли вы взять вакансию адъютанта в С.-Петербургском губернском жандармском управлении?» Считая неудобным отвечать кратким «Нет, не желаю» и опасаясь худшего оборота дела, я снова стал просить о разрешении самому выбрать вакансию. На это полковник Чернявский мрачно буркнул: «Идите тогда к помощнику начальника штаба объясняться сами!»

Это заявление не предвещало ничего хорошего: помощник начальника штаба, полковник Капров, известен был всем офицерам Корпуса своей отталкивающей манерой обращения с подчинёнными и угрюмой резкостью. Положение моё, как новичка, было, как говорится, невесёлое! Однако, со всей наивностью неискушённого в хитросплетениях жандармского быта офицера, я всё ещё надеялся настоять на своём праве выбрать место по своему вкусу. Я предстал пред геморроидальным полковником Капровым, со злобным раздражением оглядывавшим меня с головы до ног. «Вы что же это, поручик, — обратился он ко мне, — хотите начинать службу в Отдельном корпусе жандармов с прямого неподчинения начальству? От этого добра не ждите! Вам предлагают одну из лучших вакансий, а вы отказываетесь от неё. Как же вы намерены служить в Корпусе?» Я только было попытался открыть рот с теми же доводами, которые я приводил полковнику Чернявскому, как Капров, не давая мне закончить и повышая голос, загремел мрачно: «Отвечайте: желаете ли вы взять вакансию адъютанта в С.-Петербургское губернское жандармское управление?»

Я скорее почувствовал, чем понял, что какие-то неизвестные мне влияния не дадут возможности участвовать в разборе

вакансий и что моё намерение попасть в Московское охранное отделение кому-то, кто кончил ниже меня по списку, мешает. Смущённо, но не без мрачности, я в свою очередь ответил кратко: «Слушаюсь, я принимаю это предложение!» — «Вот так-то лучше!» — самодовольно и резко сказал полковник. Я повернулся… и поехал немедленно, благо это было близко, на Тверскую улицу, где тогда в прекрасном старом барском особняке, с огромным садом сзади здания, помещалось С.-Петербургское губернское жандармское управление. Я поехал представляться начальнику управления как вновь назначенный к нему адъютант. Начальника управления, генерал-майора Секеринского, я не застал в управлении. Как я потом узнал, он имел обыкновение в дневные часы разъезжать по городу (ему, как начальнику дивизии, полагался казённый экипаж, и он широко им пользовался) и посещать приёмные в штабе Отдельного корпуса жандармов, в Департаменте полиции и в С.-Петербургском охранном отделении, начальником которого он когда-то состоял. Ездил он в эти места отнюдь не по делам службы, а просто для поддержания связей, добрых отношений и чтобы «понюхать, чем пахнет в сферах».

Генерал Секеринский был, что называется, «осколком прошлого» и явственно дослуживал свои последние годы. Очень уже пожилой, старательно подкрашенный в чёрный цвет, особенно в усах, он в очень быстрой манере ходить, во всей осанке старался бодриться и казаться ещё полным жизни. Он принадлежал к той, уже отходившей в область прошлого небольшой группе старших жандармских офицеров, с которыми был связан рассказ о том, как когда-то варшавский наместник, граф Берг, во время своего объезда по губерниям Варшавского края увидел группу барахтавшихся в грязи «жиденят» и, указывая на них, приказал: «Окрестить и сдать в школу!» — т. е. в школу кантонистов[61].

«Жиденята», а среди них и будущий жандармский генерал Секеринский, были окрещены и понемногу, по мере способностей, жизненного нюха и удачи, прошли ряд служебных порогов и как-то, в обход общих правил, влились в Отдельный корпус жандармов. Впрочем, эта группа уходила уже в прошлое.

Петра Васильевича Секеринского мы, его подчинённые, звали за глаза попросту «Пинхусом». В ожидании приезда начальника я обошёл всё управление и представился помощнику начальника, солидному, на вид очень строгому, но, в сущности, добрейшему полковнику Кузубову и другим офицерам, занимавшимся в управлении. С.-Петербургское управление было большое как по зданию, им занимаемому, так и по количеству служивших в нём.

Оно было значительно больше Московского и носило отпечаток большей, если можно так выразиться, формальности.

Великолепный барский особняк, где помещалось управление, имел почти три этажа. В нижнем, несколько уходящем в землю, занимались унтер-офицеры. Там сшивались дела, хранились архивы и прочие деловые, хозяйственные и строевые документы. По стенам были развешаны табели на востребование денежного и вещевого довольствия (премудрость, которую я с трудом одолевал!) и прочие канцелярские тонкости. Там же были устроены две или три камеры для временно арестованных, ожидающих очередного допроса или отвоза обратно в тот или иной дом заключения, т. е. в пересыльную тюрьму, дом предварительного заключения или, наконец, в Петропавловскую крепость.

На первом этаже помещались кабинки офицеров резерва, числом около шести, и большая общая канцелярия со столами помощника начальника управления, секретаря (эту должность занимал чиновник, а не офицер корпуса) и двух адъютантов, одного по строевой и хозяйственным частям и другого по секретной части.

Должность адъютанта по секретной части занимал штаб-ротмистр Садовский, и я, к большому моему огорчению, узнал, что мне придётся занимать должность адъютанта по строевой и хозяйственной части. В этой области я был невеждой и к тому же чувствовал полнейшую антипатию к занятиям вроде денежных выкладок, посылок в положенный срок разных табелей и др. Так как очень редок был начальник жандармского управления, который мог бы интересоваться этим скучным делом, то я быстро сообразил, что я, в сущности, не представляю особого интереса для начальника управления. Его правой рукой должен быть адъютант по секретной части. Это я знал по моей прежней службе в Московском губернском жандармском управлении.

В ожидании встречи с начальником управления, я оставался в общей канцелярии, предаваясь грустным размышлениям о том, как и почему сложились обстоятельства так, что я не мог попасть на ту отрасль жандармской службы, которую я так хотел занять и на которую, казалось, было так мало охотников.

Впоследствии я узнал, что моими удачливыми соперниками были мои ближайшие друзья, поручики Фуллон и Кломинский, которые заручились соответствующими протекциями и надлежащими письмами к начальству. Впрочем, это не помешало мне сохранить с ними добрейшие отношения, а с поручиком Фуллоном, впоследствии полковником, перенести эти отношения и на эмигрантскую почву.

Из офицеров резерва, состоявших при С.-Петербургском губернском жандармском управлении и неустанно производивших дознания по политическим делам, большинство было в чине подполковника или полковника. Они быстро сменялись, так как в Петербурге были на виду у начальства, и, не в пример прочим, получали должность начальника провинциального жандармского управления.

Кроме этого постоянного состава офицеров особенностью управления было то, что к нему было прикомандировано несколько старых полковников или даже генералов, так или иначе навлёкших на себя недовольство начальства и поэтому отчисленных от своих должностей и пребывавших не «у дел», в ожидании дальнейшей своей участи. Этот в большинстве случаев не только незадачливый, а, попросту говоря, никуда не годный элемент терпели на дальнейшей службе только благодаря бесконечному добродушию нашего высшего начальства.

Я хорошо помню одного такого неудачника. В прошлом кирасир, сын известной составительницы всем хорошо знакомой поваренной книги[62], он перешёл в Отдельный корпус жандармов, по-видимому, уже будучи в чине полковника, и радеющее ему начальство, нимало не смущаясь его полным незнанием жандармской службы, назначило его прямо на должность начальника Вятского жандармского управления. Полковник этот, представительный мужчина, высокого роста, в моё время уже значительно осунувшийся, весьма лысоватый, с зачёсами на лоб серых, но окрашенных в бурый цвет жидких волос, и большими, «кирасирскими» подусниками, являл собою равнодушно-спокойную, но барственную фигуру. Это был вполне порядочный человек, но вместе с тем младенец во всём, что касалось дела. Он был способен, например, спросить своего адъютанта: «Это нам пишут или мы пишем?»

Уже несколько лет спустя, когда я в качестве офицера резерва при том же управлении был завален огромным количеством дознаний, порученных мне к производству, этого полковника и ещё одного, тоже незадачливого ротмистра, назначили мне, тогда младшему по возрасту офицеру управления, в помощь. Помощь их могла заключаться главным образом в том, чтобы пересмотреть переписку и вещественные доказательства, отобрать существенное, составить *особый протокол осмотра, а остальное, как ненужное* для дела, упаковать и возвратить по принадлежности.

Надо заметить, что чины полиции, производившие обычно по требованию жандармских властей обыски, забирали, не имея времени рассмотреть всё на месте обыска, много ненужного

материала. Вот этот материал я и предложил рассмотреть и отсортировать моим новым помощникам, полковнику и ротмистру. Оба принялись за дело. Я занимался в большом угловом кабинете верхнего этажа, а мои оба помощника заняли большую смежную комнату, всю заваленную вещественными доказательствами.

Прошла неделя. Я наконец как-то обратил внимание на то, что перед полковником на столе лежит целая груда книг, преимущественно литературных приложений к «Ниве», заключавших в себе, как известно, сочинения русских классиков. Он, перелистывая книги, что-то добросовестно записывал в «протокол осмотра вещественных доказательств», собранных по обыску тогда-то, у того-то. Я ахнул. «Да неужели вы, полковник, перечисляете в протоколе всех Тургеневых, Григоровичей, Чеховых и так далее?» — спросил я. Полковник подтвердил это. Мне пришлось растолковать ему, что имеет значение и что не имеет! С ротмистром дело оказалось ещё комичнее. В его «протоколе осмотра», который я взял как-то проверить, я нашёл следующую фразу: «Стихотворение Лермонтова, начинающееся словами — «Тучки небесные, вечные странники…» — тенденциозного содержания». Я много смеялся. «Оно, конечно, — говорил я, вежливо улыбаясь ротмистру Провоторову (я называл его «il Trovatore»), — в общем тенденция имеется, но тенденция эта в наше время изжитая, и вы, ротмистр, плюньте при осмотрах на Лермонтова и других классиков, а напирайте больше на «модернистов» вроде Карла Маркса, Плеханова и их друзей!» Ротмистр посмотрел на меня иронически — дескать, молодо-зелено ещё меня учить! Он считал себя настоящей «жандармской косточкой», так как долго прослужил одним из помощников в Шлиссельбургской крепости и был удалён оттуда после какой-то неприятности с арестантами.

Впрочем, я уклонился от рассказа о первом дне моего появления в С.-Петербургском губернском жандармском управлении.

Появившийся в общей канцелярии управления дежурный унтер-офицер доложил мне, что «его превосходительство, начальник управления прибыл» и требует меня к себе. Я отправился на третий этаж, где помещалась огромная квартира начальника управления (впоследствии, с расширением дел, отданная под кабинеты занимавшихся в управлении офицеров), вошёл в поместительный кабинет генерала Секеринского и представился ему. Генерал встретил меня холодно и даже враждебно. Первыми его словами было: «Вы что же, не желаете у меня служить?» Я понял, что он только что побывал в штабе

Отдельного корпуса жандармов, где ему рассказали о моих переговорах с полковником Капровым и полковником Чернявским. Понимая, что мне надо с первого же раза рассеять предубеждение генерала, я по возможности кратко изложил причины моего желания служить в охранном отделении, но, зная «преданную службу его превосходительства по политическому розыску», я не сомневаюсь, что шансы изучить это дело под его руководством у меня остаются те же. Генерала моё заявление смягчило, и он продолжал беседу уже не столь враждебно, а я старался ввернуть ему словцо о моей подготовленности к должности адъютанта по службе в Московском губернском жандармском управлении. Иронически усмехнувшись при имени генерала Шрамма и ясно указывая на то, что он, генерал Секеринский, не чета таким генералам, как Шрамм, он заявил, что надеется, что ему не придётся сожалеть, согласившись на моё назначение. Я откланялся и отправился устраивать личные дела.

Меня не на шутку смущала новая должность. Она была связана с той областью службы, к которой я не чувствовал ни малейшего интереса и, кроме того, как я скоро убедился, в которой ничего не понимал. Как на грех, помощник начальника управления, полковник Кузубов, который, собственно говоря, и держал бразды правления, оказался большим «докой» по части канцелярии и по части разных строевых и хозяйственных дел. Я ему признался в моём полном незнании этого дела, что он, впрочем, и сам сообразил быстро; я просил его оказывать мне содействие указаниями. Он указал мне на двух строевых и искушённых в этом деле сверхсрочных жандармских унтер-офицеров (и сейчас помню их фамилии: Астафьев и Перерва), которые занимались этим делом в нижней канцелярии соответственно всем развешанным там по стенам табелям и ведомостям и вовремя подавали мне готовые на подпись начальника управления бумаги. Мой партнёр по должности, но по секретной части, дружески мне подсказал, что если я дам каждому из этих знатоков своего дела по два или три рубля в месяц, то никаких ошибок и неприятностей у меня не будет. Я так и сделал и не жалел об этом.

Очень скоро я установил вполне сердечные отношения с полковником Кузубовым и его семьёй и поведал ему, что я только и жду того дня, когда ротмистр Садовский получит наконец новое назначение и я смогу занять его должность, которая мне по душе и которую я надеюсь использовать не хуже его. К счастью для меня, это произошло весной того же года, и я пересел, к моему полному удовольствию, за «секретный» стол.

Дело, которое мне было поручено по должности адъютанта

по секретной части, было мне уже знакомо по моей временной службе в Московском губернском жандармском управлении, с той только разницей, что в С.-Петербургском управлении было много больше дела вообще, да и требования генерала Секеринского к своему адъютанту были немалые.

Прежде всего он порекомендовал мне переехать на жительство как можно ближе к управлению, чтобы всегда быть у него «под рукой». Я немедленно исполнил его желание и нанял небольшую квартиру, как раз напротив управления.

Офицеры управления собирались на службу не рано. Впрочем, чиновники в Петербурге рано не вставали! Но мне, как адъютанту, приходилось приходить на службу раньше. Все черновики по исходящей переписке управления по секретной части составлялись мной, а это занимало очень много времени, так как надо просмотреть внимательно целый ворох дел, прежде чем составить какую-нибудь ответственную бумагу. На мне же лежала обязанность просмотреть все перепечатанные на пишущих машинках исходящие бумаги, заготовленные в черновиках офицерами резерва, проверить их и знать их содержание настолько ясно, чтобы быть в состоянии доложить об этих бумагах на вечернем докладе начальнику управления. Генерал не любил прочитывать подписываемые им бумаги, за исключением особо важных. Когда я выгружал из огромной папки одну бумагу за другой для его подписи, он обычно, лукаво бросая на меня испытующий взгляд, с хитрой усмешкой задавал мне краткий, но неизменный вопрос: «Так ли это?» На это следовал мой ответ: «Так точно, так именно, ваше превосходительство!» После этих успокоительных слов следовала требуемая подпись, которую он делал в полном соответствии со своей простоватой, но хитроумной натурой: он подписывался настолько мелко и тонко, что иногда казалось, что и подписи-то вовсе не имеется на бумаге.

Это была нелёгкая задача — запомнить содержание большой секретной переписки, подававшейся генералу для подписи. Иногда, в целях проверки правильности моего доклада, генерал давал себе труд прочесть всю бумагу. Особенно часто это бывало в начале моей службы, но он скоро бросил проверять меня.

Часов около одиннадцати в нашей общей канцелярии появлялся жандармский вахмистр Галочкин, почтенный, представительный и неглупый человек — «лукавый царедворец» — и докладывал нам, что «его превосходительство изволят сейчас сойти вниз». Это означало, что генерал Секеренский, напившись утреннего кофе (как говорил Галочкин: «окончивши свой фриштик»), спускался из своей квартиры в комнаты нашего этажа

и торжественно, в сопровождении помощника по управлению полковника Кузубова, меня и вахмистра Галочкина, совершал обход служебных кабинетов офицеров управления, здоровался с ними, спрашивал иногда что-нибудь очень кратко по делам дознаний и удалялся снова в свою квартиру. «Пинхус» любил эти торжественные обходы и был бы не на шутку огорчён, если бы сопровождающая его свита не выдерживала подобающего случаю торжественного характера. Обход его был молниеносный. Быстрыми шажками он семенил шаркающей, но лёгкой походкой. Ответами на вопросы интересовался мало, ибо мало вникал в произведённые в его управлении дознания; любил только, чтобы всё шло гладко и чтобы не было нареканий со стороны Департамента полиции. Впрочем, офицеры резерва при С.-Петербургском губернском жандармском управлении были в большинстве люди, знающие своё дело, и нареканий, в общем, почти не было.

После обхода генерал уезжал из управления на весь день, а приезжал обратно обычно поздно. Всё управление расходилось по домам около пяти часов вечера; оставались в нём только я и дежурные унтер-офицеры. Мне приходилось ждать генерала, так как я должен был подать ему на подпись все исходящие бумаги, заготовленные в дневные часы. Генерал, не обращая внимания на то, что я сижу голодный и жду его возвращения, часто не вызывал меня сразу к себе в кабинет, а ложился «на полчаса» (это продолжалось часто добрый час!) отдохнуть. Наконец, около семи часов вечера дежурный унтер-офицер вызывал меня к генералу; начиналась длинная процедура подписей и неизменных вопросов: «Так ли это?»

Окончив доклад и сдав бумаги дежурному писарю для отправки их на почту, я, усталый и голодный, пересекал улицу, обедал дома и уже через час или самое большее через два снова спешил в управление, чтобы засесть за свой стол и приготовить входящую почту для ночного доклада генералу. Это занимало тоже немало времени, так как генерал требовал, чтобы бумаги были подложены в известном порядке (а именно наиболее важные и серьёзные в начале и менее важные — в конце) и чтобы к наиболее важным были подобраны мною справки. Пока я занимался этими бумагами, генерал обычно уезжал куда-то и возвращался поздно. Возвратившись, он прежде всего обращал внимание, висят ли на вешалках у парадной лестницы офицерские шинели, и если таковых не замечал, бывал недоволен, а если видел, то спрашивал у дежурного унтер-офицера: «Чья шинель?» Шинель в передней означала, что её обладатель, какой-нибудь офицер управления, в своём старании

ускорить производимые им дознания и не довольствуясь дневной работой, зашёл в управление поработать и вечером. Зная этот генеральский вопрос, некоторые из «ревнивых к карьере» офицеров управления давали себе труд заходить в управление примерно около того часа, когда генерал возвращался домой, и после его возвращения немедленно уходили. Впрочем, моё пальто на вешалке было всегда на своём месте, и генерал, вероятно, занемог бы, если бы не увидел меня на посту поздно вечером. Этого, очевидно, по его мнению, требовал хороший тон адъютантской службы. Нелегко было быть адъютантом у генерала Секеринского! Личной жизни для его адъютанта не полагалось. Всё время должно было быть отдано службе. Обычно, даже в воскресенье, как и в другие праздники, рано утром меня вызывали в управление, чтобы принять какого-нибудь арестованного, присланного под конвоем в Петербург и переданного в распоряжение С.-Петербургского губернского жандармского управления. Делалось это часто разными провинциальными властями неправильно, и задержанные подлежали передаче в другие официальные места, но мне от этого было не легче. Надо было налаживать эту передачу, заготовить подлежащие бумаги, нести их на подпись генералу и т. д. Всё же воскресенья и праздничные дни были некоторым отдыхом для меня, по крайней мере в дневные часы.

На мне же лежала обязанность пересмотра переписки, направляемой к лицам, содержавшимся под стражей и привлечённым в качестве обвиняемых к дознаниям, производимым о них в управлении, а также и переписки, идущей от них. Через меня проходили и все денежные переводы на имя этих лиц, как и главные для них передачи. Это скучное занятие поглощало, однако, много времени. Сколько швейцарского шоколада и других деликатесов я пересмотрел и переправил в дом предварительного заключения одной только Эсфири Тамаркиной, красивой еврейке, «невесте»[63] известного эсера Авксентьева, содержавшегося одно время под стражей в этом доме! «Невест» и «женихов» тогда содержалось под стражей много, и добродушное начальство того времени неизменно соглашалось считать их таковыми и допускать свидания, бесконечные передачи какому-нибудь «жениху», который видел свою «невесту», вероятно, первый раз в своей жизни.

В дневные часы в нашей общей канцелярии толклось немало народа, а помощник начальника управления, полковник Кузубов, любил поговорить; всё это отнимало много времени, и очень часто в дневные часы я успевал только приготовить бумаги для подписи начальнику.

Помощники начальника по уездам также периодически появлялись в управлении. В ожидании приёма их у начальника управления они толкались в нашей канцелярии, рассказывали о своих уездных делах, а часто и об уездных сплетнях и слухах, справлялись у меня о мелочах, касающихся их уездной переписки, и выслушивали терпеливо длинные объяснения, разъяснения и рассказы о прежней службе в Корпусе жандармов от полковника Кузубова. Этот толстяк, добродушный хохол, долго прослужил в качестве офицера резерва при С.-Петербургском губернском управлении, провёл на своём веку много крупных и известных политических дел и, благодаря своей простоте и в то же время хорошему служебному нюху, да и некоторым личным связям с высшими чинами Министерства внутренних дел, стоял на пути к получению должности начальника губернского жандармского управления, поста, которого он нетерпеливо дожидался.

Николай Матвеевич Кузубов считал себя непревзойдённым стилистом в казённых бумагах. Будучи доволен моей формой изложения, он всегда любил объяснять свою точку зрения на этот предмет. «Вы должны так изложить содержание своей бумаги, направляемой какому-нибудь лицу, — говорил он поучительно, — чтобы это лицо, ничего не зная о том, что вы ему излагаете, ясно поняло бы всё дело и все фазисы его от начала до конца. Вы должны начать, так сказать, с исторического изложения: как возникло дело, где именно, кто именно является его главным участником; затем перейти к подробностям и закончить ясным и точным изложением ваших требований или просьбы к адресату. Адресат должен всё понять из вашей бумаги и никаких дополнительных разъяснений не требовать!» Кратких и неясных изложений полковник Кузубов не терпел и часто переделывал те черновики, которые заготовляли офицеры резерва.

В домашнем быту полковник Кузубов был гостеприимным и хлебосольным хозяином. Ко мне он скоро стал относиться очень доброжелательно, почти с отеческой привязанностью. Примерно в 1905 году он получил должность начальника Одесского жандармского управления. Политического розыска он не знал вовсе, и эта сторона его службы была, вероятно, его уязвимым местом. Здесь никакой «стилизм» не мог принести ему пользы.

В каждом большом учреждении, где служит немалое количество лиц, всегда найдутся персонажи, так сказать, на «комические роли». В моё время в С.-Петербургском [губернском жандармском] управлении были и такие. Один из них был нештатным офицером управления, прикомандированным от С.-Петербургского жандармского дивизиона. В управлении он

находился немалое количество лет и исполнял не особо трудную и не требующую большого умственного напряжения, но и не столь приятную обязанность сопровождать в арестантской карете заключённых, вызываемых на допрос в жандармское управление.

Это был уже пожилой ротмистр Гришин, в прошлом бравый улан, о которых сложилась известная застольная песня: «…и кто с утра не пьян, тот, право, не улан!» Гришин обычно появлялся в управлении поздно и был, также обычно, мрачен, но как-то ухитрялся к завтраку, а то и раньше, «пропустить» рюмку-другую; насчёт закуски он не очень беспокоился! Покручивая прежде лихо подвёрнутый, а в моё время сильно повислый уланский ус, он сыпал, как из рога изобилия, сильно поперченными анекдотами и случаями из своей жизни и служебной практики. Полковника Кузубова он побаивался, а потому анекдоты рассказывал в его отсутствие, но зато очень внимательно слушал рассказы его и всегда ему поддакивал. Гришин находился в вечном, хроническом безденежье; должен был всем и во все виды касс взаимопомощи. В невесёлом настроении он был незаменимым рассказчиком. Неизменно, по крайней мере раз в год, в управлении появлялась какая-нибудь скромная на вид петербургская обывательница, типа домашней портнихи, и просила допустить её к генералу. «Лукавый царедворец», вахмистр Галочкин, выслушивал её «частное дело» касательно ротмистра Гришина, и иногда ему удавалось, а то и с моей помощью, не возбуждать «дела», причём мы обещали «повлиять» на ротмистра Гришина в желаемую для заявительницы сторону. Но иногда нам эта комбинация не удавалась, и просительница достигала кабинета начальника. Следовал длинный разговор генерала с ротмистром, и в результате следуемые Гришину наградные «на гуся» обычно уходили просительнице.

Так как таких офицеров Корпуса жандармов, которых было «некуда девать» за их неспособностью или какие-либо провинности, обычно прикомандировывали к С.-Петербургскому [губернскому жандармскому] управлению, где некоторые из них (весьма немногие, впрочем) иногда восстанавливали свою репутацию, управление всегда было перегружено «ненужным балластом». Этот «балласт» был очень надоедлив, так как обычно неудачники были большими резонёрами и «критиканами».

Помню, как при одной из смен начальников управлений, примерно в 1905 году, к нам был назначен генерал-майор Клочков[64]. В ожидании его появления мы, офицеры, состоявшие при управлении, собрались под начальством полковника Кузубова в его служебном кабинете. Появился небольшого роста крепенький генерал с седыми «вахмистрскими» подусниками,

сделал нам общий поклон и начал речь следующими словами: «Я знаю, что в управлении, которое я призван возглавлять, собраны сливки Отдельного корпуса жандармов…» Стоявший со мной рядом желчный и ядовитый подполковник толкнул меня локтем и мотнул головой в сторону довольно многочисленного «балласта», проворчав себе под нос: «Смотрите, они первыми поклонились генералу в ответ на слово «сливки»!» Я невольно улыбнулся, когда увидел, что все члены этого «балласта» действительно раскланялись первыми после замечания нового начальника.

Впрочем, не надо было много времени, чтобы и новый начальник управления убедился, что «сливки» никогда не были даже просто хорошим молоком!

На моей «каторжной» должности адъютанта С.-Петербургского управления при его начальнике, генерале Секеринском, я пробыл год и два месяца. В начале 1903 года я из полученного очередного приказа по Отдельному корпусу жандармов совершенно неожиданно для меня (и для начальника управления тоже) узнал, что «адъютант С.-Петербургского губернского жандармского управления поручик Мартынов (Александр) назначается помощником начальника Петроковского губернского жандармского управления по осмотру паспортов в пограничном местечке Модржеево».

Я, как говорится, повесил нос. Я увидел в этом назначении конец служебной карьеры, или, во всяком случае, её замедление. Чего, в самом деле, мог ожидать для себя в смысле карьеры офицер Корпуса жандармов, попавший в отдалённую глушь с простой и неинтересной обязанностью пограничного осмотра паспортов? Пробыв адъютантом в С.-Петербургском управлении, мне казалось, что я могу рассчитывать на лучшую должность — хотя бы помощника начальника того же управления в Петербурге, тем более что моё начальство было мною очень довольно.

Я показал удивившемуся не меньше меня «Пинхусу» злополучный приказ. «Пинхус» заволновался. Прежде всего его поразило то, что в штабе Отдельного корпуса жандармов его не предупредили о моём перемещении. Он обиделся и решил противодействовать, но, как человек хитрый и не желавший портить отношения, повёл это дело ловко. Мне он сказал сразу: «Вы никуда не поедете, я вас от себя не отпущу!» В то же время он обратился к нашему прокурорскому надзору, старшим лицом которого в то время был товарищ прокурора С.-Петербургской судебной палаты, наблюдавшей за производством жандармских дознаний при С.-Петербургском управлении, Максимилиан Иванович Трусевич, и, рассказав ему историю моего неожиданного перемещения, просил оказать содействие для

оставления меня при С.-Петербургском губернском жандармском управлении на должности офицера резерва. Содействие это заключалось в том, что он сказал веское слово в мою пользу директору Департамента полиции. Последний, найдя необходимым «для пользы службы» моё назначение на должность офицера резерва, сообщил запиской в штаб Отдельного корпуса жандармов о своём желании видеть меня на этой должности. Офицеры штаба Отдельного корпуса жандармов, в лице Капрова и Чернявского, припомнившие мои разговоры с ними при поступлении в Отдельный корпус жандармов и решившие загнать меня в Модржеево «для осмотра паспортов» (вот тебе и изучение политического розыска!), не захотели, однако, ссориться из-за меня с директором Департамента полиции. Я был спасён!

Я настолько был обрадован моим назначением, что не воспользовался предоставляемой мне по закону возможностью проехаться за казённый счёт, с получением изрядного для моих скромных денежных средств количества прогонных денег, до местечка Модржеево и обратно, и остался исполнять адъютантские обязанности вплоть до получения нового приказа об оставлении меня при С.-Петербургском управлении на должности офицера резерва. Было мне тогда 27 лет, я ещё пребывал в чине поручика, и во всём Корпусе жандармов не было моложе меня офицера на равнозначащей должности. Я считал, что мой очередной шаг вперёд по служебной лестнице был весьма удачным. Так оно и было на самом деле.

Прежде чем перейти к описанию моей новой служебной деятельности в качестве офицера резерва, я хотел бы остановиться на некоторых фактах моей адъютантской службы, поскольку они осветят кое-какие политические события того периода и в то же время обрисуют внутреннюю жизнь и деятельность С.-Петербургского жандармского управления и служивших в нём офицеров.

Адъютантская служба моя проводилась в 1902 году; к нему и относится настоящая часть моего рассказа. Это время совпадает с началом террористической деятельности Партии социалистов-революционеров и появлением на политической арене известной по её крови и грязи Боевой организации Партии социалистов-революционеров[65]. Член этой организации Карпович в 1901 году стрелял в министра просвещения Боголепова. Весной 1902 года последовало убийство министра внутренних дел Сипягина. Немедленно после совершения убийства в управлении были получены распоряжения от Департамента полиции о приступе к производству формального дознания, в порядке 1035-й ст[атьи] Устава уголовного судопроизводства. Проведение этого дознания

было поручено жандармскому генералу А.И. Иванову, а наблюдение за этим производством взял на себя товарищ прокурора Петербургской судебной палаты М.И. Трусевич. Мне пришлось принять некоторую вспомогательную роль и присутствовать при первом допросе, при допросе убийцы, Степана Балмашева. Не помню, почему именно, но в момент привоза в управление арестованного Балмашева не оказалось налицо генерала Иванова, и для соблюдения формальностей М.И. Трусевич вызвал меня в свой кабинет для записывания протокола допроса.

Надо сказать, что М.И. Трусевич был не только выдающимся представителем прокурорского надзора, как понимался таковой в то время, но он был и по наклонностям и по способностям замечательный следователь — в духе следователя «по Достоевскому». Трусевич на редкость любил и понимал дело политического розыска. Он же оказался впоследствии одним из лучших директоров Департамента полиции.

Петербургское охранное отделение руководилось тогда жандармским полковником Сазоновым, переведённым незадолго до этого убийства из Москвы, где он был помощником начальника охранного отделения у известного С.В. Зубатова. Казалось бы, что в смысле охранной специальности и понимания политического розыска у Сазонова не должно было быть много конкурентов. Но не так-то было. Я знал его лично и неоднократно встречался с ним. Казак по своей прошлой службе, он вовсе не был выдающимся руководителем политического розыска, был медлителен, суховат и вял в обращении и едва ли достаточно образован в широком смысле этого слова. К тому же, вся система политического розыска того периода отличалась крайней неналаженностью. Департамент полиции сам от себя ввёл какую-то, считаемую им «центральной», или, попросту говоря, наиболее важной, «свою» агентуру. Начальники Петербургского и Московского охранных отделений имели свои агентуры. Всё это шло вразброд и не без известного соперничества с местными интересами. Ответить теперь на вопрос, насколько эти три главнейшие в смысле политического розыска учреждения были осведомлены в центральных планах партии эсеров, даже несмотря на весь опубликованный материал, весьма нелегко.

Из материала, предоставленного в Петербургское губернское жандармское управление местным охранным отделением, можно было усмотреть главным образом только то, что непосредственно относилось к акту убийства. При таких условиях и весьма немногих данных, относящихся к категории вещественных доказательств, наше формальное дознание не могло выявить

ничего особенно нового в смысле раскрытия участников преступления и самой преступной организации.

Я очень хорошо помню появление Балмашева в кабинете М.И. Трусевича. К моему крайнему изумлению, в кабинет, в сопровождении двух жандармских унтер-офицеров и ротмистра Гришина, вошёл… офицер, высокий, здоровый, рыжеватый блондин, с красноватой, нечистой кожей на лице. Офицер этот был в так называемой обще-адъютантской форме, но она была надета небрежно, офицерское пальто расстёгнуто и помято. Это и был Степан Балмашев, как известно, совершивший убийство министра Сипягина в вестибюле Мариинского дворца, одевшись в офицерскую форму.

Для меня, тогда ещё молодого офицера жандармерии, не искушённого в различных тонкостях следовательской «дипломатии» и проникнутого естественной в моём положении офицерской, да и специально жандармской, психологией, это было необыкновенное зрелище, которое я наблюдал после первых формальных слов, относящихся к личности обвиняемого. М.И. Трусевич, с некоторым простоватым радушием в голосе, предложил Балмашеву сесть к столу, за которым вёлся допрос, и, раскрыв объёмистый и очень изящный золотой портсигар, весьма любезно предложил ему папиросу, которой Балмашев и воспользовался.

Самая манера разговора, начатого и проведённого Трусевичем, шокировала меня «Как же это? — думал я. — Перед нами убийца министра, и с этим убийцей лицо, занимающее видное положение в правительственном аппарате, ведёт почти дружескую беседу!» Да и самый привоз Балмашева в офицерском мундире в наше управление, хотя и в закрытой карете, указывал, по-моему, на какую-то будто бы растерянность власти или на то, что «на верхах» не было никого, кто распорядился бы переодеть Балмашева в его обыденное платье.

Однако ни папиросы, ни обаятельное обхождение М.И. Трусевича, ни продуманно проведённый допрос не помогли выяснить дело и установить формальным порядком, где и как было заказано офицерское обмундирование и что именно было уничтожено в смысле возможности раскрытия подробностей, связанных с пребыванием Балмашева в столице до совершения им убийства.

Мне пришлось по поручению Трусевича опросить нескольких хозяев и приказчиков магазинов офицерского обмундирования, пока мы не обнаружили, где именно Балмашев заказал его. Но сообщники найдены не были.

Эти мои пробные шаги на поприще жандармской работы по

производству дознаний были отмечены М.И. Трусевичем как вполне удовлетворительные и послужили, вероятно, к тому, что он и в дальнейшем стал вызывать меня в экстренных случаях к себе на помощь. А этих экстренных случаев в ту пору было немало.

Этот первый случай моего участия в производстве жандармских дознаний (а затем и ряд других) убедил меня, что само формальное дознание, производимое уже после завершения ликвидации подпольной революционной организации, только в редких случаях приводит к новым и неизвестным для руководителей местного политического розыска открытиям. Оно приводит к ним только в двух случаях: если местный политический розыск поставлен слабо или если в вещественных доказательствах по делу окажутся исключительные по своей важности записи, партийные документы и вещи (как, например, одежда), что случалось не часто. Наконец, бывали случаи, когда арестованный и привлечённый к дознанию в качестве обвиняемого под влиянием каких-нибудь обстоятельств начинал давать более откровенные показания. В последнем случае, в особенности то, что оставалось не раскрытым местным политическим розыском, служило к дальнейшему раскрытию членов подпольной организации. Однако при хорошо налаженном розыске и продуманно проведённой ликвидации такое «откровенное показание» на жандармском дознании могло скорее повредить хорошо поставленному политическому розыску. Для того чтобы читатель мог сделать выводы из сказанного, я рекомендую ему остановить внимание на той ликвидации Поволжского областного комитета Партии социалистов-революционеров, которую мне удалось провести 1 января 1903 года в Саратове, когда я был на должности начальника Саратовского охранного отделения. Об этой ликвидации я расскажу в дальнейшем. Здесь я хочу отметить, что, если бы после той, тщательно мною продуманной, ликвидации кто-либо из арестованных стал давать при формальном допросе вполне откровенные показания, он сильно повредил бы продуманным планам моего политического розыска. Таким образом, известное требование «не отвечать на вопросы при жандармских дознаниях», предъявляемое членам подпольных революционных организаций их лидерами, имело и свою хорошую сторону.

Не имея в то время никакого отношения к собственно политическому розыску и встречаясь по производимым в Петербургском губернском жандармском управлении дознаниям только с «ликвидированными» этим розыском лицами и революционными организациями, я не знал точно, как и почему

руководители розыска пришли к заключению, что главной движущей силой названной мною Боевой организации Партии социалистов-революционеров был хорошо известный Департаменту полиции Григорий Гершуни. Его фотографические карточки, присланные в управление из Департамента полиции, стали фигурировать при допросе арестованных. Если мне не изменяет память, весной 1903 года Петербургское охранное отделение арестовало двух офицеров, слушателей Артиллерийской академии[66], и препроводило в наше управление «досье» на них, где значилось, что они вошли в подпольную террористическую организацию, руководимую названным Гершуни и замышлявшую ряд политических убийств. Будучи жандармским офицером, мало что понимающим в деле политического розыска, я, однако, хорошо помню, что в производстве жандармского дознания по делу террористов Балмашева, офицеров — Григорьева и Надарова и Якова[67] Сазонова, невольно обратил внимание на какую-то затаённую осведомлённость по этим делам товарища прокурора Петербургской судебной палаты М.И. Трусевича, тогда по своей должности наблюдавшего за производством этих дознаний. Так, при допросе офицеров Григорьева и Надарова, ещё перед их сознанием, М.И. Трусевич, присутствуя при допросе, достал целую пачку фотографий различных революционных лидеров, в своё время арестованных и сфотографированных, и предъявил их для опознания арестованным офицерам. Я хорошо помню, что карточка Гершко Гершуни была тоже там, но почему-то её заботливо «впихнули» в середину пачки. Как только Григорьев дошёл до этой карточки, он взволновался, как будто понял, что властям всё равно всё известно, и стал сейчас же давать откровенные показания, указав на руководящую роль в задуманных покушениях именно Григория (Гершки) Гершуни.

Совершенно очевидно было, что Департаменту полиции, а через него и Трусевичу известна уже была руководящая роль Гершуни в террористических актах того времени.

И действительно, как выяснилось позже, уже после революции 1917 года, из письма от 1 марта 1903 года бывшего директора Департамента полиции А.А. Лопухина к заведовавшему в то время Заграничной агентурой Л. Ратаеву, *«он (Азеф) был нам полезен, но меньше, чем могли ожидать, вследствие своей конспирации — к тому же наделал много глупостей, связался с мелочью, связи эти скрывал от нас, теперь эту мелочь берут… Он теперь всё время около провалов ходит по дознаниям, и не будь прокуратуры, с которой мы спелись, скандал давно произошёл бы»*.

Письмо ясно указывает, что Азеф в указанный период не скрыл, а объяснил политическому розыску роль Гершуни.

Провал Азефа и его разоблачение как секретного сотрудника на службе у политического розыска вызвал чуть ли не всемирный скандал и получил известность как «наибольшее предательство». Разоблачение нанесло такой моральный удар по Партии социалистов-революционеров и её боевым конспиративным центрам, что они уже не смогли оправиться от него. Партия как таковая развалилась окончательно в 1909 году.

Моральный престиж лидеров, основоположников и активных деятелей этой партии и многочисленных её сторонников и попутчиков был подорван. Они потерялись, ушли от «действия» и только мало-помалу (уже после революции) возвратились к «обелению» идей и практики партии.

Я не берусь здесь определить точно до мелочей позицию Азефа по отношению к его сотоварищам по партии или к представителям власти, которые руководили его деятельностью как секретного сотрудника в Департаменте политического розыска. Я по своей службе в политическом розыске не соприкасался сам с Азефом, но многое прочитал из разных «Записок» и «Воспоминаний», вышедших в свет уже после революции и стремившихся так или иначе заклеймить его как двойного изменника делу революции и делу политического розыска.

Некоторые сомнения о роли Азефа в том или ином террористическом покушении останутся навсегда сомнениями и никем разрешены не будут. Я попробую только объяснить, если не употреблять странного в данном случае слова «оправдать», иные из его действий.

Одним из самых важных условий для успешной и правильной работы секретного сотрудника в интересах политического розыска является умелое руководство им. Поэтому при оценке «двурушничества» Азефа, которое само по себе представляется несомненным, хотя и не документально доказанным, надо принять во внимание наличие важного фактора — «руководства» им со стороны политического розыска.

В сношениях секретного сотрудника с его руководителем из политического розыска весьма важна «непрерывность» руководства. Важна потому, что при этом сохраняется и поддерживается доверие секретного сотрудника к руководителю, и убеждённость, конечно, при условии умелого руководства, что секретный сотрудник гарантирован от «провала», т. е. от возможности разоблачения его перед сотоварищами по конспиративной деятельности.

Только при гарантии со стороны руководителя политическим розыском, что он не предпримет при разработке полученных им от секретного сотрудника сведений, рискованных розыскных или «ликвидационных» мер, которые могут «провалить» сотрудника или вызвать более или менее основательные подозрения, возможно ожидать от секретного сотрудника вполне откровенного и доверительного сообщения.

Чем чаще секретный сотрудник убеждался в «гарантии», в «умелости», в «заботе» о нём со стороны руководителя, тем спокойнее, тем откровеннее он становился в своих сообщениях. Причина понятна; кроме того, «неполнота», «неискренность», «сокрытие» деталей, «прикрытие» сотоварищей-конспираторов могли быть обнаружены умелым руководителем политического розыска помимо данного секретного сотрудника и могли быть «использованы» со вредом для него.

При условии непрерывности руководства, особенно находящегося в умелых и опытных руках, у секретного сотрудника вырабатывается уверенность в «выгодности» для негодоверительных сообщений. И только с нарушением «гарантии» у секретного сотрудника могут начать зарождаться планы о том, чтобы себя «загарантировать» собственными средствами, т. е. «умолчанием», «сокрытием некоторых подробностей», «намеренно неправильной характеристикой лиц» и т. д.

Приняв во внимание эти общие условия политического розыска и сложные условия взаимоотношений между руководителем политического розыска и «доверившимся» ему секретным сотрудником, который не должен быть ни в коем случае «провален» (обещание, которое, естественно, ему даётся), рассмотрим две особенности этих взаимоотношений в сотрудничестве Азефа с русской политической полицией.

Во-первых, выясним, было ли руководство им «непрерывным» в лице одного и того же «руководителя», которому Азеф мог «доверять» в смысле сохранности своей от «провала». Во-вторых, выясним, как русская политическая полиция соблюдала своё обещание гарантии, и тогда, может быть, найдём некоторое объяснение приёмам «самозащиты», пущенным в ход Азефом.

В целях выяснения первого вопроса надо проследить «руководителей» Азефа. Азеф начал свою связь с Департаментом полиции около 1893 года, проживая за границей. Связь началась и продолжалась некоторое время путём письменных сношений, затем он поступил под личное руководство заведующего русской Заграничной агентурой, сосредоточенной тогда в руках П.И. Рачковского. Не надо думать, однако, что всё время сам П.И.

Рачковский лично руководил Азефом, тогда ещё Азеф не был «фигурой» на арене политического розыска, и потому, несомненно, свидания с ним и руководство происходили при содействии каких-то помощников Рачковского. Из Департамента полиции руководили им, по крайней мере, два лица за это же время: Л Ратаев и Н Пешков как заведующий центром политического розыска в Департаменте полиции.

Так продолжалось до конца 1899 года, когда Азеф приехал в Россию и поселился в Москве, где устроился на службу в большой электрической компании.

Заграничные руководители тогда только что зарождавшегося Союза социалистов-революционеров, супруги Житловские, горячо рекомендовали Азефа А. Аргунову, тогда стоявшему во главе московской организации Союза. Одновременно Департамент полиции «горячо» отрекомендовал тогдашнему начальнику Московского охранного отделения С.В. Зубатову переданного ему Департаментом полиции секретного сотрудника Азефа.

С этого времени Азеф находится в умелых руках С.В. Зубатова, но, к сожалению, недолго. К сожалению, именно потому, что Зубатов настойчиво внушал своим подчинённым жандармским офицерам, будущим руководителям политического розыска, формулу, определяющую взаимоотношения между ними и секретной агентурой: «Вы, господа, должны смотреть на сотрудника, как на любимую женщину, с которой находитесь в тайной связи. Берегите её, как зеницу ока. Один неосторожный шаг, и вы её опозорите…»

Под руководством Зубатова Азеф, во-первых, стал получать по 500 рублей в месяц денежного содержания, а во-вторых, не имея основания скрывать от такого опытного руководителя что-либо из своей подпольной осведомлённости, стал давать политической полиции полное освещение подполья того фронта, где он был одним из доверенных лидеров.

Летом 1902 года произошли большие перемены в высшем руководстве Департамента полиции: новый директор А.А. Лопухин привлёк С.В. Зубатова к руководящей работе политическим розыском в Департаменте. Непосредственное руководство Зубатовым прерывается летом 1903 года, и Азеф передаётся Л. Ратаеву, но уже снова за границей, так как Азеф временно уезжает из России.

Л. Ратаев, в то время назначенный заведующим Заграничной агентурой, чувствовал себя крайне обиженным этим назначением и затаил обиду против Лопухина и Зубатова.

Руководство Азефом со стороны Ратаева поэтому происходит в нездоровых условиях, причём надо отметить, что это

руководство было не из важных, ибо Л. Ратаев, или, как его в насмешку называл С.В. Зубатов, «корнет Отлетаев»[68], хотя и был образованным и неглупым человеком, но не обладал характером, подходящим для ответственной роли руководителя секретной агентуры и уж особенно такого «трудного» секретного сотрудника, каковым был по своей натуре Азеф. В этих условиях возможно, что не Ратаев руководил Азефом, а сам «руководился» им.

Ратаев, светский человек петербургской складки, донжуан и театрал, красавец мужчина, по-барски относящийся к политическому розыску, не мог заменить для Азефа не только С.В. Зубатова, но даже и прежнего руководителя Рачковского.

Однако этот период неудачного сотрудничества Азефа с русской политической полицией через Л. Ратаева, до выхода последнего в отставку летом 1905 года, продолжается два года. За это время Азеф «развращается» как сотрудник. Он уклоняется от деловых свиданий, перестаёт давать регулярные сообщения. Департамент полиции начинает понемногу подозревать его, и отношения с ним как бы прерываются. Перерыв не беспокоит особенно сильно Департамент полиции; у последнего появляется новый «верный» и осведомлённый сотрудник в центре Партии социалистов-революционеров в лице Ник. Татарова. Но Татарова скоро выясняют, и эсеры убивают его, как предателя.

С удалением, после убийства 5 февраля 1905 года Великого князя Сергея Александровича, прежних руководителей политического розыска, как Лопухина, Ратаева и некоторых других, неожиданно восходит звезда Рачковского, и он становится каким-то внештатным, но главным руководителем политической полиции[69]. Ратаев передаёт Азефа Рачковскому. Последний посерьёзнее Ратаева, и Азеф начинает снова «добросовестно» работать в интересах политической полиции.

Надо заметить, что до этой перемены Азеф виделся и с самим Лопухиным; последний временно и, конечно, неудачно пытался руководить им; между прочим, отказал Азефу в прибавке жалованья.

В конце 1905 года происходит «шатание» власти, неуверенность в победе той или иной стороны. «Шатается» и Азеф (тогда «зашатались» и другие сотрудники), но власть побеждает, и Азеф решает примкнуть к победившей стороне. Он начинает «писать письма» Рачковскому, но ответа не получает. Рачковский в это время строит планы на сотрудничестве Гапона, а через последнего на активном лидере эсеров — Рутенберге. Дело кончается провалом плана Рачковского.

В Петербурге начальником охранного отделения в конце 1905

года назначается подполковник А.В. Герасимов, руководивший до того политическим розыском в Харькове. Во время наружного наблюдения за террористическими группами в Петербурге подполковник Герасимов узнает от старшего и опытного филера отделения, что в одном из «наблюдаемых» он припоминает важного и ценного секретного сотрудника по кличке «Филипповский». Азеф как-то сидел в кафе Филиппова на Тверской в Москве — отсюда и кличка. Заведующий наружным наблюдением в Московском охранном отделении Евстрат Медников, красочная фигура в политическом розыске империи, показал как-то Азефа этому доверенному и старшему филеру и добавил: «Смотри на него, это человек наш, его надо оберегать от случайностей в арестах!»

Подполковник Герасимов пытается проверить полученные сведения в Департаменте полиции, но там «по нажиму» со стороны Рачковского умалчивают о роли Азефа — «Филипповского». Тогда Герасимов, доверяя старшему филеру, решает проверить наблюдаемого «Филипповского»; его около 15 апреля 1906 года подстерегают филеры на безлюдной улице около Летнего сада, когда «Филипповский» идёт вечером со свидания с одним террористом. Его доставляют в охранное отделение, и Герасимов начинает разговор с ним. «Филипповский» отрекается от всего, но через два дня сидения в одиночной камере при охранном отделении он сдаётся, выговаривая себе деловой разговор с Герасимовым в присутствии Рачковского! А.В. Герасимов вызывает к себе в отделение П.И. Рачковского «по очень верному делу».

Вот как произошло это свидание Азефа с Рачковским, по описанию и со слов А.В. Герасимова.

«…Мы, Пётр Иванович, — говорил Герасимов, — задержали того самого «Филипповского», о котором я вас спрашивал. Представьте, он говорит, что хорошо вас знает и служил под вашим начальством. Он сейчас сидит у меня и хочет говорить в вашем присутствии.»

«Рачковский, — рассказывает дальше Герасимов, — по своему обыкновению завертелся: «Что, да как, и в чём дело? И какой это может быть Филипповский? Разве что Азеф». Тут, — прибавляет Герасимов, — я впервые в жизни услышал эту фамилию…»

Затем в кабинете Герасимова и в его присутствии состоялось бурное объяснение. Рачковский разлетелся к Азефу со своей обычной «сладенькой» улыбочкой:

«О, дорогой Евгений Филиппович, давно мы с вами не виделись. Как поживаете?» Но Азеф, после двух дней пребывания в одиночном заключении на скудном арестантском довольствии,

меньше всего был склонен к любезным излияниям. К тому же он, несомненно, понимал, что «переход в наступление» для него и технически более выгоден. Поэтому он с места в карьер обрушился на Рачковского с площадной бранью. «В своей жизни, — говорит Герасимов, — я редко слышал такую отборную брань. Даже на Калашниковской набережной не часто так ругались. А Рачковскому хоть бы что! Только улыбался и приговаривал: «Да вы, Евгений Филиппович, не волнуйтесь, успокойтесь!»»

Когда Азеф наконец несколько отошёл и разговор принял более мирный характер, то выяснилось, что с Рачковским он не виделся больше полугода, с того самого дня, когда революционерами было получено письмо, содержавшее разоблачительные сведения об Азефе и Татарове.

Вначале Азеф сам не подавал признаков жизни, так как считал себя разоблачённым и боялся ещё больше скомпрометировать себя перед революционерами. Но последние месяцы он делал ряд попыток возобновить сношения с Департаментом и написал несколько писем Рачковскому с различными сообщениями. Во всех этих письмах он настойчиво просил о назначении ему свидания для личных разговоров, но никакого ответа не получил. Рачковский бросил его «на произвол судьбы», не обращая никакого внимания на его многолетнюю работу для Департамента полиции и на все его заслуги в прошлом. Именно за это он отчитывал теперь Рачковского. Последний, вопреки своему обыкновению, держался крайне смущённо, подыскивал различные оправдания своему поведению, но делал это сбивчиво и невразумительно. Аудиторию он имел, во всяком случае, не на своей стороне. *«Я сам,* — пишет А.В. Герасимов в своих не изданных ещё воспоминаниях[70][71], — *почувствовал угрызения совести за действия Рачковского и был удивлён, что во главе руководителей политического розыска стояли такие бездарности. Азеф прочитал Рачковскому надлежащую и вполне заслуженную отповедь».*

Однако только возобновив работу с Азефом, Герасимов понял, что действительно успешной она едва ли могла быть: против Азефа уже существовали подозрения в революционных рядах; как агента его знали не только ответственные служащие Департамента полиции, но и многие филеры, и надо было ждать «провалов».

Вследствие всё той же «путаницы» на верхах политической полиции создалось странное положение, и при возобновлении сотрудничества Азефа весной 1906 года он по приказу свыше продолжал видеться с П.И. Рачковским в присутствии А.В.

Герасимова как начальника Петербургского охранного отделения; позже он, однако, перешёл в единоличное подчинение Герасимову.

Вот что пишет А.В. Герасимов в тех же не изданных им ещё воспоминаниях по поводу этого последнего периода сотрудничества Азефа. *«… Ко всем донесениям Азефа приходилось относиться с большой осторожностью, но благодаря честному и добросовестному исполнению им своих обязанностей все сомнения, возникшие по отношению Азефа в деле Дубасова, вскоре рассеялись. Сведения, которые Азеф сообщал, поскольку их удавалось проверять, всегда оказывались точными и правильными, его осведомлённость относительно внутренней жизни партии — совершенно исключительной. Ценность его, как агента, выяснилась очень быстро, наряду с тем росло и доверие к нему…»*

> «Он мне неоднократно жаловался, — пишет дальше Герасимов, — что руководящие им лица его не щадили, и высказывал удивление, как он мог в то время ещё пользоваться доверием партии, несмотря на циркулировавшие слухи об его предательстве…»

Из приведённой выше смены лиц, руководивших Азефом в его осведомительной для правительства деятельности, мы видим, что таких руководителей за время с 1893 по 1908 год включительно, т. е. пока он состоял на осведомительной службе, было немало.

Перечислим их, поскольку мы их знаем.

В 1893 году Азеф обратился в Департамент полиции с предложением своих услуг, предложения приняты, и какие-то лица из высшего состава Департамента полиции, Особого отдела его, начинают с ним письменные сношения; через некоторое время, для удобства, его передают Заграничной агентуре. Нужно думать (я не имею точных данных), что за это время у Азефа было 3–4 руководителя, руководству которых он подчинялся и с частью которых лично виделся.

Это как раз те лица, на которых Азеф потом жаловался Герасимову как на руководителей, которые его «не щадили».

В 1899 году Азеф поселяется в Москве. Поступает в распоряжение С.В. Зубатова, тогда начальника Московского охранного отделения.

Зубатова в 1901–1902 году переводят в Петербург[72]; он начинает заведовать Особым отделом Департамента полиции, но продолжает сношения с Азефом; однако когда в 1902 году Азеф уезжает за границу, то его «передают» заведующему Заграничной агентурой Л. Ратаеву.

Помощник С.В. Зубатова по всяким конспиративным делам, наружному наблюдению и прочему был некий Евстрат Медников, этот простой, но верный «слуга Престола» был часто тоже чем-то вроде «руководителя» Азефа. Я знал сам, по моей практике в должности начальника Саратовского охранного отделения, как Азеф летом 1905 года ездил на конференцию Партии социалистов-революционеров в Саратов в сопровождении филеров и Медникова. Медников тогда в Саратове имел свидание с Азефом, получал от него сведения и «руководил» им.

Итак, за период «зубатовского» руководства у Азефа, вероятно, было 2–3 руководителя Зубатов, Медников и, может быть, и ещё кто-то. Итого с прежними уже 5–7 руководителей!

С 1902 года Азефа передают Л. Ратаеву. В то же время он видится с директором Департамента полиции А. Лопухиным; прибавим и их в наш счёт: итого около девяти руководителей!

С 1903 по 1906 год Азеф отходит от сотрудничества[73], затем возвращается; некоторое время им руководит П.И. Рачковский, возможно с кем-нибудь из своих доверенных лиц; наконец, Азеф поступает в распоряжение А.В. Герасимова. Итого, в общем, не меньше целого десятка руководителей за 15 лет сотрудничества! Нужно признать при этом, что только два руководителя Азефа отвечали вполне своему назначению; это — С.В. Зубатов и А.В. Герасимов.

Таким образом, разбирая первый из поставленных нами вопросов: было ли руководство Азефом «непрерывным», было ли одно лицо, которому он мог доверять в смысле сохранности своей от «провала», — мы можем ответить отрицательно.

Разберём и другой из поставленных вопросов: как русская политическая полиция «гарантировала» Азефа от «провалов» и как она заботилась о нём? Русская политическая полиция «провалила» Азефа чуть ли не в первые же месяцы его сотрудничества из-за небрежности, неумения и слабости техники розыскного дела. Произошло это так. Азеф из Ростова-на-Дону удрал за границу в 1892 году, так как в Ростове выяснилась его связь с местной подпольной революционной группой. За границей он сходится с русскими политическими эмигрантами и через «ростовских» продвигается в кружки активных эмигрантов. Он решает использовать свои связи и знания об эмигрантах и завязывает сношения с Департаментом полиции; последний принимает его предложения, но тянет дело, и Азеф анонимно присылает предложения и начальнику губернского жандармского управления в Ростове-на-Дону. Последний по почерку узнаёт Азефа, и по его данным производит ликвидацию; при неосторожных опросах арестованных вскрывается, что сведения у жандармской полиции идут из-за границы; в эмигрантских кругах сразу же настораживаются против «ростовских» товарищей, и один из них открыто указывает на Азефа. Первые подозрения возникли… Правда, они скоро отметаются.

Подозрения относительно Азефа возникают, выдвигаются и отметаются в бесконечной череде. Вина в этих подозрениях очень часто лежит на деятелях розыска. Измена чиновников политического розыска Меньшикова и Бакая и указание ими на роль Азефа являются крупными недочётами политического

руководства. Насколько, подчас явно, руководители Азефа «не щадили» его и подводили к опасности «провала», лучше всего вскрывает следующая история. В 1903 году некая Софья[74] Клитчоглу, ранее очень близкая по своей террористической деятельности к известному Гершуни и Боевой организации, возглавлявшейся последним до его ареста, создала на юге России небольшую террористическую группу и перебралась в Петербург для того, чтобы «поставить» покушение на Плеве. Как только Азеф узнал о планах Клитчоглу, он немедленно сообщил о них Л. Ратаеву; оба находились в то время за границей, но тотчас же выехали в Петербург для предупреждения готовящегося покушения. На почве последовавшего затем ареста Клитчоглу и её группы у Ратаева вышел большой конфликт с Департаментом полиции. Зная, что в скором времени предстоит арест Клитчоглу, Азеф, естественно, уклонялся от личной встречи с ней; Департамент полиции настоял на этом свидании для получения подробностей и обещал, что аресты не будут произведены в непосредственной близости от их свидания. Азеф на свидание пошёл и узнал от Клитчоглу все подробности как о составе группы террористов, так и об её планах. Все эти подробности были переданы Департаменту полиции; последний, из-за внутренних интриг руководителей политического розыска (начальник Петербургского охранного отделения, не то Я. Сазонов, не то полковник Кременецкий, теперь в точности не помню, кто именно из них, но думается мне, что полковник Я. Сазонов вёл интригу против Ратаева), не выполнил обязательства: арест Клитчоглу Петербургское охранное отделение произвело почти непосредственно вслед за её свиданием с Азефом.

По свидетельству Л. Ратаева, подобный нелояльный поступок политической полиции подействовал на Азефа самым удручающим образом. Азеф тогда же говорил, что в подобных условиях ему «становится трудным работать» на полицию.

Несколько позже сложилась неблагоприятная для «психики» Азефа, как сотрудника, обстановка, когда Ратаев стал кое-что скрывать от Департамента полиции, а последний от Петербургского охранного отделения.

В этой нездоровой атмосфере Азеф «работал» как секретный сотрудник в самые тяжёлые годы революционного нажима на власть. Если прибавить, что в годы 1905–1906 власть в России вообще растерялась и «ушла», мы, может быть, поймём и шатание ума и у Азефа, и неуверенность его, к какой стороне «примкнуть».

Итак, на поставленный нами второй вопрос: как гарантировала политическая полиция Азефа от «провала»? — надо ответить — плохо!

Эти два ответа до некоторой степени «извиняют» Азефа.

Арестованные, поручик Григорьев и поручик Надаров (его отец занимал высокий командный пост в Забайкалье), были немедленно доставлены в управление из Петропавловской крепости для допроса. Помню, что ввиду важности дела мы перестали считаться со временем, и арестованных доставили для допроса что-то около 9 или 10 часов вечера. Мне, как лицу, нёсшему тогда адъютантские обязанности (новый адъютант, назначенный на моё место, ожидался со дня на день), выпало в связи с этим делом много работы. Перепечатывались копии протоколов допросов (арестованные офицеры быстро сознались и сами записывали длиннейшие откровенные показания; не дожидаясь их полного окончания, каждый лист показаний переписывался немедленно в нескольких экземплярах); всё это я сверял, выправлял описки и ошибки и немедленно отправлял начальству. Тут были копии для Департамента полиции, для начальника охранного отделения, для прокурора судебной палаты, для министров юстиции и внутренних дел. Показания этих офицеров, совсем ещё молодых людей, сводились к подробному описанию вовлечения их в подпольную «эсеровскую» организацию, имевшую задачей использование их в качестве террористов. Оба они, каждый в отдельности, нарисовали интересную в психологическом отношении картину какого-то необъяснимого и в то же время неотвратимого внушения, оказывавшегося на них беседами всё с тем же «Гершкой» (Григорием) Гершуни. Фигура этого незаурядного «эсеровского» лидера и наталкивателя на террористические акты молодых, неуравновешенных в психическом отношении фанатиков стала выступать особенно ярко именно после откровенных показаний этих офицеров. Одно покушение намечалось на обер-прокурора св. Синода Победоносцева, а другое, насколько помню, на министра внутренних дел. Офицерская форма должна была служить, по мнению Гершуни, хорошей ширмой при покушении. Руководящая роль Гершуни в террористическом акте Балмашева вскрылась также в значительной степени из показаний тех же офицеров.

Политический розыск привёл к концу революционную деятельность Гершуни только, насколько помню, в 1904 году, когда он был арестован начальником Киевского охранного отделения, ротмистром А.И. Спиридовичем, в железнодорожном вагоне, недалеко от Киева. Как известно, Гершуни после ареста, суда и каторги удалось совершить необычный по обстановке побег из каторжной тюрьмы в Сибири за границу, где он вскоре умер[75].

Обоих арестованных офицеров судили и разжаловали в рядовые с зачислением на службу где-то в Туркестанских частях. Дальнейшей их судьбы не знаю, но, кажется, Надаров в мировую войну был уже в чине подполковника.

В связи с этим делом произошла другая история, которую мне хочется отметить, так как она также свидетельствует о далеко не совершенной системе как отбора офицеров при приёме в Отдельный корпус жандармов, так и плохой подготовке их к новой службе.

В те именно дни, когда в управлении поднялась суета в связи с возникшим делом об арестованных двух офицерах, прибыл к нам вновь назначенный адъютант, поручик Калинин, который должен был принять от меня секретную часть, а я должен был подготовить его к предстоящим ему делам. Я понял, что генерал Секеринский намеревался ещё долго продержать меня на положении «ментора», так как ему это было удобно.

Новый адъютант, тщедушный, бледный молодой человек, был очень скромен на вид и необычайно застенчив. По прошлой своей службе офицер казачьего полка, он имел за собой какую-то весьма солидную протекцию высоких военных кругов. Вероятно, это значительно облегчило его поступление в Отдельный корпус жандармов. Калинин сел за стол рядом со мной и начал «присматриваться» к делам, а я, делая всё «на лету», так как всё тогда требовало экстренной спешки, старался втолковать ему все тонкости поручаемой должности. Мы, конечно, обменивались впечатлениями о новом, возникшем в управлении дознании об арестованных офицерах, об их показаниях, а кстати и вообще о службе в Отдельном корпусе жандармов и в нашем управлении.

Поручик Калинин оказался молодожёном, и именно его жена повлияла на ту судьбу, которая устроила ему службу в Петербурге. Но супруге мерещилась светская столичная жизнь с её развлечениями, столь заманчивыми для молодой провинциалки. Поручик же Калинин с каждым не только днём, но и часом узнавал от меня о тягостях своей новой адъютантской службы и вскоре понял, что он обречён на то, чтобы безвыходно сидеть в управлении и разбираться в делах, к которым у него не было ни малейшего влечения, а может быть, и способностей. Поручик «завял» уже на второй или третий день. Не понравился он и полковнику Кузубову, который сразу же раскусил, что новый адъютант будет ему только обузой, и он не щадил Калинина поручениями.

Сидя как-то вечером в управлении и занимаясь делами за своим столом, я перекидывался с Калининым замечаниями, главным образом по делу об арестованных офицерах. Поручик

Калинин в этот вечер казался очень расстроенным. Не знаю, почему именно, но новый адъютант вдруг стал возмущаться ночными допросами арестованных офицеров. Заметив на столе присланный «дневник наблюдений» за ними, содержавший отчёт того наружного наблюдения, которое в течение некоторого времени до их ареста велось Петербургским охранным отделением, Калинин заметно взволновался и попросил моего разрешения просмотреть его. Я обратил внимание на его крайнее смущение и стал расспрашивать его, сказав в шутку: «Да вы сами бывали у них, что ли?» Неожиданно для меня поручик стал растерянно объяснять мне, что он действительно был знаком с одним из арестованных офицеров (не помню, с каким именно) и что они бывали друг у друга. По словам Калинина, арестованный офицер был прекрасный человек, но теперь он, Калинин, не знает, что ему делать. Я, что называется, остолбенел. Тогда же ночью, на докладе начальнику, я передал свой разговор с новым адъютантом, выразив крайнее удивление тому, каким образом столь неуравновешенный в политических взглядах офицер мог попасть в Отдельный корпус жандармов, прослушать лекции и быть назначенным в Петербургское губернское жандармское управление. Секеринский вскипел, вызвал к себе для разговора поручика Калинина и предложил ему не являться более в управление. Через несколько дней мы прочли в приказах по Отдельному корпусу жандармов, что поручик Калинин переводится на должность адъютанта в одно из губернских жандармских управлений в Западном или Прибалтийском крае. Точно сейчас не помню. Почему штаб Корпуса жандармов принял именно такое «мудрое» решение, так я и не мог понять никогда. Впрочем, люди, близкие к семейным делам поручика Калинина, говорили мне, что принять в отношении его более решительные меры, хотя бы в виде обратного отчисления из Корпуса жандармов в его казачью часть, штаб Корпуса жандармов не решился, учитывая его связи в «высоких» кругах. Поручик Калинин продолжал служить в Отдельном корпусе жандармов; его дальнейшая служебная карьера мне не известна. Впрочем, он, может быть, исправился — не знаю.

Во всяком случае, очевидно, что «поручики Калинины» переходили на службу в Отдельный корпус жандармов для целей, ничего общего с задачами этого Корпуса не имеющими. Я не хочу этим сказать, что такие поручики поступали в Отдельный корпус жандармов с определёнными целями подрыва жандармской службы. Нет, их стремления ограничивались желанием устроиться на лёгкой службе, и они быстро превращались в ненужный и вредный для дела балласт.

Перевод поручика Калинина и прибытие на его место нового адъютанта повлекли за собой для меня лишние недели пребывания на адъютантской должности, пока, наконец, я не засел в своём отведённом для меня служебном кабинете офицера резерва.

Моими сослуживцами по новой должности были в большинстве люди солидные, как по чинам, так и по возрасту. Справа от меня был служебный кабинет генерал-майора Иванова, как я уже отмечал раньше, в прошлом незадачливого начальника Саратовского губернского жандармского управления. Слева был кабинет подполковника Рыковского, вскоре назначенного на должность начальника Харьковского губернского жандармского управления. Два других офицера резерва были академики[76] со значками на груди. И вот среди них оказался, в моём лице, молодой поручик, явно неопытный в деле. Кое-кто из них снисходительно и критически смотрел на меня, давая всевозможные советы, но прежде всего они разгрузили себя, передав мне для производства незаконченные и почему-либо надоевшие им дознания. В то время у каждого офицера резерва при Петербургском жандармском управлении было в производстве от 10 до 15 дознаний. Некоторые из них, особенно по делам, по которым уже не было арестованных, по необходимости залёживались, и вот, с целью их сдать, эти дознания перешли ко мне. Такие залежавшиеся дознания представляли большую неприятность для каждого нового офицера, к которому они попадали для завершения. Надо было ознакомиться внимательно со всем производством, заполнить неизбежные пробелы и сдать дело в таком виде, чтобы наблюдающий за производством дознания товарищ прокурора не вернул его для какого-нибудь дополнения. Такие возвращения указывали на небрежность офицера в производстве дознания или, ещё хуже, на не совсем ясное понимание им задач данного дознания.

Мне, как новичку в деле и как человеку, всегда стремившемуся быть по возможности не хуже, а лучше других, пришлось засесть за дела и проводить снова дни и вечера в управлении. Моё офицерское пальто, к удовольствию генерала Секеринского, прочно продолжало висеть по вечерам в управлении.

Я ещё не успел закончить наваленные на меня старые, залежавшиеся дела, как ко мне стали поступать для производства новые, возникавшие тогда в изобилии при нашем управлении. Большинство этих дел было результатом ликвидаций, производимых Петербургским охранным отделением для

пресечения подпольной деятельности разных социал-демократических и «эсеровских» групп Петербурга и его окрестностей. Выдающегося интереса дела эти не представляли, но времени требовали много. Попутно приходилось отвлекаться исполнением отдельных запросов, поступавших в наше управление от других начальников. Обычно это были требования об опросе в качестве свидетеля лица, живущего в Петербурге и имевшего несчастье встречаться или жить в одной квартире с каким-нибудь арестованным, замешанным в подпольной организации.

Вызов в управление такого в большинстве случаев перепуганного обывателя, его допрос, последующая переписка и прочие формальности занимали иногда целый день, и на окончание других находившихся в производстве дел часто не хватало «казённого» времени. Однако примерно через полгода я чувствовал себя уже как рыба в воде. У меня появилось свободное время по вечерам для личной жизни, и я стал заметно превращаться в типичного петербургского «чинодрала»: потихоньку, не спеша вставая по утрам (благо, до управления было «рукой подать»), приходил к себе в кабинет, выполнял назначенную на этот день работу и в 5 часов закрывал дверь кабинета, чтобы вернуться домой и провести вечер по своему желанию, вкусам и в соответствии со сравнительно скромным денежным содержанием от казны. Оно тогда для меня — поручика и последовательно штаб-ротмистра в 1903-м и ротмистра в 1904 году — выражалось в общем в сумме около 215 рублей в месяц.

Я был большим театралом и с детства привык бывать в театре. Служа в Московском жандармском дивизионе, мне было нетрудно посещать театры; по какому-то обычаю, кажущемуся теперь странным и малообъяснимым, мы, офицеры дивизиона, невозбранно ходили почти во все театры без входных билетов. В те годы московский императорский балет представлял часто совершенную пустыню. Только к восьми часам вечера у театральной кассы появлялись какие-то одиночки, большей частью провинциалы, и покупали билеты. В то же время в «полицмейстерской» комнате или у заднего входа кассы целая толпа «контрамарочников» ждала Бриллиантова, заведующего кассой, и получала от него, часто без всякого основания, бесплатные контрамарки. Это были, к тому же, самые строгие и требовательные критики. Очевидно, частое посещение спектаклей было для них хорошей школой и развивало вкус.

В Петербурге, благодаря завязавшимся добрым отношениям с чинами Петербургского охранного отделения и с некоторыми

чинами столичной полиции, у меня также явилась возможность бесплатного посещения некоторых театров. Почему-то у начальников Петербургского и Московского охранных отделений были бесплатные, неименные, годовые билеты во все театры. Этими билетами пользовались обычно не сами служащие отделения, по горло занятые службой, а их родственники и друзья. Принадлежа к последним, я иногда пользовался этими билетами. Впрочем, наступившие политические бури и потрясения, сначала разрозненные, а после, в 1905 году, коллективные и массовые, сильно мешали обычному чиновничьему времяпрепровождению.

За время моей службы в Отдельном корпусе жандармов вообще, а особенно за время моей службы в качестве офицера резерва при Петербургском жандармском управлении мне пришлось встречаться и быть знакомым, иногда довольно близко, с большим числом членов прокурорского надзора. В громадном большинстве случаев я сохранил об этих лицах наилучшие воспоминания. Все это были прежде всего корректные, как на службе, так и в частной жизни, воспитанные люди, с которыми чувствовалось как-то легко.

За мою службу в Петербургском управлении предо мной прошла целая галерея выдающихся лиц прокурорского надзора, в большинстве своём так или иначе имевших служебное касательство к делам, разбиравшимся в нашем управлении.

При моём поступлении в управление старшим лицом прокурорского надзора в нём был товарищ прокурора Петербургской судебной палаты, Алексей Николаевич Силин. Мне, как самому младшему офицеру управления, только что получившему назначение на должность адъютанта, пришлось поддерживать с ним только самые официальные и почтительно-вежливые служебные отношения. А.Н. Силин по своей внешности смахивал не на строгого прокурора, а на удалого гусара. Всегда отлично одетый, чаще всего в штатском платье, а не в чиновничьем сюртуке судебного ведомства, быстрый по своей манере ходить, с отличными выхоленными тёмными большими гусарскими усами, гладко выбритый, он был отменно вежлив в обращении, хотя за этой вежливостью чувствовалась суровая рука исполнителя закона. У нас в управлении его прочили на пост очередного директора Департамента полиции, которым он, однако, не оказался, получив, насколько помню, лишь место прокурора Тифлисской судебной палаты.

Среди других лиц прокурорского надзора, работавших с нами в управлении, мне запомнился прежде всего товарищ прокурора Петербургского окружного суда Алексей Тихонович Васильев,

впоследствии последний перед революцией директор Департамента полиции.

Я позволю себе более подробно остановиться на нём. Он умер в конце 20-х годов. Прекрасный, редкой душевности и простоты был он человек, очень одарённый, умный, широкообразованный, многим интересующийся, с сильной ленцой и большим пристрастием к товарищеским обедам и ужинам, за которыми он был остроумнейшим рассказчиком анекдотов. Рассказывал он их мастерски, с присущей ему торопливостью и особой простотой изложения; при этом сам увлекался, посмеиваясь и с лукавым любопытством посматривая на собеседника. Службу свою он начал в Юго-Западном крае, был товарищем прокурора Киевского окружного суда и наблюдал за дознаниями, производимыми Киевским губернским жандармским управлением, то было время, когда начальником этого управления был известный в жандармских кругах генерал-майор Новицкий, считавшийся непревзойдённым знатоком политического розыска (каким в действительности вряд ли был) и ставший в непримиримую оппозицию к учреждённому в 1903 году Киевскому охранному отделению, первым начальником которого стал ротмистр А.И. Спиридович.

Васильев, вскоре после своего перевода в Петербург и назначения в качестве товарища прокурора Петербургского окружного суда для наблюдения за производством жандармских дознаний при нашем управлении, как-то необыкновенно быстро сошёлся с офицерами резерва и стал пользоваться общей любовью. В этом человеке была удивительная простота и отсутствие столь общей всем лицам прокурорского надзора сухости обращения. Ни один из нас, офицеров резерва, не мог ожидать, что Алексей Тихонович возвратит почему-то законченное дознание! В случае необходимости каких-либо дополнений или наличия пропусков со стороны производящего дознание офицера Алексей Тихонович деликатно, в частном порядке, обсуждал с офицером дознание и указывал то, что требовало дополнений. Каждый офицер резерва, узнав, что Алексей Тихонович Васильев будет наблюдающим за его дознанием, чувствовал себя вполне удовлетворённым: никаких неприятностей по производству дознания быть не могло.

Пропустив через свои руки большое количество жандармских дознаний при двух жандармских управлениях — Киевском и Петербургском — и в то же время интересуясь революционным движением и его деятелями, А.Т. Васильев по праву мог считать себя своего рода экспертом в деле политической полиции, и дальнейшая его служебная карьера в Министерстве внутренних

дел была справедливой и естественной компенсацией его заслуг. Он последовательно прошёл высшие служебные ступени в Департаменте полиции, и именно те, где сосредоточивалось руководство политическим розыском в империи, т. е. заведующего так называемым Особым отделом, затем вице-директора и, наконец, в 1916 году, директора этого Департамента.

У меня лично установились с Алексеем Тихоновичем самые добрые отношения. Его служебная карьера по Департаменту полиции неоднократно прерывалась в связи с переменами в высшем составе министерства. Он то покидал Департамент, то снова возвращался — каждый раз на более высокую должность. Между прочим, у него были тесные дружеские отношения с известным П.Г. Курловым, и периодические «приливы» или «отливы» в карьере этого сановника неизбежно влекли за собой такие же перемены в служебной карьере А.Т. Васильева.

Товарищ прокурора Петербургского окружного суда Д.П. Бусло был небольшого роста плотный брюнет в очках, вечно возившийся со сложным недомоганием горла и носа. По политическим взглядам он был на самом правом крыле — как говорят на кавалерийском жаргоне, «был весьма затянут на правый повод». Он живо интересовался делом политического розыска и мог быть прекрасным начальником любого розыскного учреждения. Я был знаком с ним делами; в частной жизни он шагу не ступал без своей супруги — милой, но очень «тонной» петербургской дамы. Через каждые пять или десять слов собеседник его слышал: «Женичка». Это было ласкательное имя его жены. До заведования политическим розыском он всё-таки добрался, но это было в конце его служебной и, по-видимому, жизненной карьеры, при «пане-гетмане», в Киеве[77].

Валентин Анатольевич Брюн де Сент-Ипполит в то время был товарищем прокурора Петербургского окружного суда. С ним я провёл не одно жандармское дознание из серии мне порученных. Красивый высокий шатен, очень представительный и «приличный», «приличный» до крайности. Так сказать, идеальный тип для прокурорского надзора, но сух в отношениях также до крайности. Пропускать что-либо в дознаниях, производимых под его наблюдением, не рекомендовалось. Это был формалист до мозга костей. К делу относился без всякого увлечения, а просто проходил одну из необходимых ступеней в служебной карьере, ибо исполнение обязанностей прокурорского надзора по политическим дознаниям ускоряло дальнейшие шаги по Министерству юстиции. Этот «сухарь» в прокурорской форме неизменно хранил на лице как бы брезгливость от

соприкосновения с делами жандармского ведомства. Каково же было моё изумление, когда я, уже на должности начальника охранного отделения в Москве, узнал об его назначении на должность директора Департамента полиции! Более неподходящее лицо для этой должности трудно было придумать. К счастью для дела, он пробыл на этом посту недолго. У меня в памяти живо сохранились две служебные встречи с ним за время его директорства. Первая была вскоре после его назначения на эту должность. Я поехал в Петербург — представиться и в разговоре с ним получить более ясное представление о направлении, желательном новому директору Департамента полиции в области политического розыска и в сложной атмосфере тогдашних общественных настроений.

Не ожидая от него тёплых воспоминаний о нашей совместной службе при Петербургском управлении, я всё же не мог не думать, что он при встрече со мной, после десятилетнего перерыва, вспомнит о ней и расспросит меня о моей службе за это время. Ничего подобного! Сухое приветствие, ничем внешне не выраженный интерес к моему весьма обстоятельному докладу и предложение подробно переговорить с заведующим Особым отделом. Вот и всё…

Вторая встреча произошла месяца два спустя, когда я приехал к нему с объяснением своим по жалобе на меня начальника Владимирского жандармского управления. Этим начальником был в то время полковник Немирович-Данченко, незадолго до своего назначения служивший в штабе Отдельного корпуса жандармов в качестве старшего адъютанта, а до этого — по линии жандармской железнодорожной полиции. Попав на должность начальника губернского жандармского управления, полковник Немирович-Данченко очутился, конечно, «как в лесу». Дела своего он не знал и ничего в нём не понимал.

В числе секретных сотрудников в Москве у меня был некий социал-демократ-большевик, высокого партийного ранга, близкий по своим связям с лидерами этой партии, и в том числе с Лениным[78]. В описываемое время он состоял членом московского областного бюро Р.С.-Д., фракции большевиков. В этом бюро было в то время всего два члена, и оно настолько бездействовало (при моём участии в руководстве этой бездеятельностью), что на одной из последних партийных конференций за границей, в Закопане (Австрия), насколько я помню, при участии Ленина[79], было вынесено ему порицание за бездеятельность.

Кличка этого сотрудника по спискам нашей секретной агентуры была «Пелагея». Нечего и говорить, это был очень

ценный агент, снабжавший меня исключительно важными сведениями в области центральных большевистских махинаций.

Как-то весной 1915 года «Пелагея» уведомил меня о необходимости поездки во Владимир для проверки местных подпольных групп. В соответствии с выработанными правилами при осуществлении политического розыска и, главное, чтобы избежать всякой возможной случайности, я командировал во Владимир для наблюдения за «Пелагеей» двух своих филеров и в соответствующем письме на имя полковника Немировича-Данченко изложил ему, что наблюдаемый, по соображениям агентурного характера, аресту не подлежит. В то же время я рекомендовал полковнику Немировичу-Данченко выяснить соответствующим наблюдением все связи наблюдаемого по Владимиру, с тем чтобы в дальнейшем, при благоприятных обстоятельствах, таковые могли бы быть ликвидированы им. Но, как я сказал выше, начальник Владимирского управления был в вопросах политического розыска сущий младенец. Не разбираясь в технике и целесообразности «наблюдения» вообще, он не понял того, что пребывание «Пелагеи» во Владимире может только помочь ему в выяснении всего, что происходит в местном подполье. Надо было, чтобы как раз в это время во Владимире были разбросаны подпольно отпечатанные прокламации. Полковник Немирович-Данченко, желая «прикрыть» себя в глазах начальства, составил для Департамента полиции объяснение, в котором выразил уверенность, что эти прокламации были привезены во Владимир моим «наблюдаемым». Эту записку Департамент прислал мне в копии. Я счёл за лучшее поехать в Петербург с личным докладом по этому делу и объяснить, что «Пелагее», как лицу слишком высоко стоящему в партийных кругах, было бы неестественно и неконспиративно брать на себя задачу везти из Москвы во Владимир подпольные прокламации. Кроме того, в московском подполье в то время не печаталось прокламаций, и суть и задача поездки «Пелагеи» во Владимир освещалась не только им одним, но и другой, «перекрёстной» агентурой, по своему значению тоже весьма солидной.

К сожалению, все эти тонкости были далеки пониманию полковника Немировича-Данченко: он, как истый «железнодорожник» по служебной линии, заранее относился ко всякому охранному офицеру как к провокатору. Этим и объяснялась его наивная и, по существу, мерзкая записка. Я поехал к директору Департамента, будучи уверен, что мне удастся в двух словах объяснить всё дело. Я, конечно, имел ввиду, что директор не знает всей секретной агентуры, но мне казалось, что знать роль и характер такого центрального агента, каким был

«Пелагея», он должен.

В.А. Брюн де Сент-Ипполит выслушал меня и сухо сказал: «Знаете что, полковник, очень трудно разбираться в ваших делах!»

Ответ был великолепен в устах директора Департамента полиции! Тут всё было нелепо. Кому же не разобраться в таком, ещё простом в сущности, деле, как не директору Департамента, который должен был бы, казалось, оценить и предыдущую службу и мою, и полковника Немировича-Данченко, должен был бы оценить роль секретной агентуры и характер её и, наконец, не отделять себя, как директора Департамента, от меня, начальника местного политического розыска, ему подчинённого, подчёркиванием слов «в ваших делах», т. е. не специально делах полковника Мартынова, а вообще, «в ваших жандармских», «ваших розыскных», «ваших охранных»! Это именно он и имел в виду, употребляя выражение «ваших», и я усвоил это и из дальнейших нескольких его фраз, относившихся к политическому розыску вообще.

В конце моего очень краткого разговора с этим удивительным директором Департамента полиции он, не выразив мне ни порицания, ни одобрения, предложил мне переговорить с заведующим Особым отделом.

Не знаю, что получилось в результате для полковника Немировича-Данченко и ответил ли ему что-либо Департамент полиции на его жалобу, но я лично не услышал ни одного слова в ответ на мой доклад.

В.А. Брюн де Сент-Ипполит после революции, судя по попавшим ко мне газетным известиям, заболел нервным расстройством и покончил жизнь самоубийством.

Товарищ прокурора Петербургского окружного суда, Никита Петрович Харламов, пробыв несколько лет наблюдающим за производством наших дознаний, перешёл на службу в Министерство внутренних дел. Одно время он был вице-директором Департамента полиции, но к розыскному делу имел малое отношение и едва ли чувствовал к нему тяготение. Он проходил ускоренным темпом служебную карьеру и, так как служба по Департаменту полиции давала ему в этом отношении большие возможности, переменил Министерство юстиции на Министерство внутренних дел. Харламов был отменно вежливый, прекрасно воспитанный человек, несколько суховатый, «петербургской манеры», но без излишней чопорности. В делах он был прост и без подвохов. Мне неоднократно пришлось встречаться с ним на дальнейших этапах моей службы и в Саратове, и в Москве, куда он наезжал в частые служебные

командировки.

Товарищ прокурора того же Петербургского окружного суда, Михаил Иванович Зубовский, пробыв, подобно Харламову, некоторое число лет при нашем управлении, также подобно Харламову перешёл в Департамент полиции и был одно время вице-директором Департамента.

Внешне М.И. Зубовский не подходил к обычному типу лиц прокурорского надзора, да ещё петербургского. В нём не было никакой вылощенности, парадности. Мешковатый, полноватый брюнет, он не проявлял особого интереса к политике и, казалось, спокойно и неторопливо исполнял свои обязанности. В Департаменте полиции он также не проявил себя по линии политического розыска, оставаясь почти исключительно вершителем дел больше в области административных вопросов.

Из других товарищей прокурора при нашем управлении мне запомнились фигуры Александра Васильевича Скопинского и графа Пашенко-Развадовского. Насколько помню, А.В. Скопинский погиб при каком-то несчастном случае около 1910 года, а судьбу и служебную карьеру графа Пашенко-Развадовского, во внешности которого было, кстати сказать, мало «графского», не знаю. Оба были очень приятные сослуживцы.

Из других лиц прокурорского надзора назову прокурора, а затем в течение краткого времени директора Департамента полиции, Русчу Молдова, болгарина по национальности. Человек он был очень приятный, но странно было видеть на таком ответственном посту нерусского. Вспоминаю прокурора Московской судебной палаты, впоследствии товарища министра внутренних дел, А.В. Степанова, и товарища прокурора Московской судебной палаты, а затем товарища министра внутренних дел, И.М. Золотарева, красавца с ассирийской чёрной бородой. Помню его по заседаниям в разных комиссиях, созывавшихся периодически для налаживания политического розыска в империи. Золотарев председательствовал на этих заседаниях. Как сейчас, вижу его фигуру избалованного успехами у женщин сибарита. Явившись на заседание и заняв председательское покойное кресло, он, устало углубясь в него, объявлял заседание открытым и затем равнодушно-ленивым движением вытаскивал флакончик душистой соли и таким же усталым движением подносил его к своему, тоже ассирийскому, большому и красивому носу. Других проявлений его участия в разбираемых вопросах я что-то не помню.

Золотарев был умница и здорово понаторел по нашим политическим дознаниям и делам розыска. Начал он свою прикосновенность к жандармским делам, будучи товарищем

прокурора Московской судебной палаты, прикомандированным к Московскому жандармскому управлению. Вначале моей жандармской службы, тоже прикомандированный к этому управлению для исполнения обязанностей адъютанта, я застал там Золотарева, а затем встретился с ним по-настоящему позже, когда он уже стал сановником и окончательно «расслаб» — не столько, по-видимому, от трудов по службе, сколько от слишком бурных успехов у прекрасной половины рода человеческого.

В Саратове я застал на должности прокурора судебной палаты Миндера, типичного русского немца и пресухого представителя прокурорского надзора, с большой осторожностью и, пожалуй, предвзятостью относившегося к нашему ведомству. Вскоре его сменил саратовский прокурор окружного суда Богданов. Переведённый в 1912 году на должность начальника Московского охранного отделения, я имел близкое касательство к прокурорам Московской судебной палаты: к названному выше Степанову (впоследствии известному по так называемому «Сухомлиновскому» процессу[80], где он выступал обвинителем); к Владимиру Павловичу Носовичу и, наконец, к Николаю Николаевичу Чебышеву. Первый из них был определённо «правый», другие же два тяготели несколько к представителям так называемой «общественности».

Мне, по должности начальника охранного отделения, приходилось бывать у прокуроров судебной палаты как в Саратове, так и в Москве примерно два-три раза в месяц и в краткой форме освещать им положение и активность местного революционного подполья и общественное настроение. В Москве я завёл обыкновение, за отсутствием достаточного времени для длинных бесед с прокурором палаты, давать ему для временного чтения те мои записки по общественному настроению, которые посылались мною в Департамент полиции. Записки эти в ту пору, написанные мною на основании данных, доставленных осведомлёнными сотрудниками, представляли весьма любопытный материал, и я знаю, что все перечисленные три прокурора Московской судебной палаты с большим одобрением относились к моему методу освещения событий того времени. Впрочем, я могу сослаться на печатное признание моей осведомлённости в этой области со стороны Н.Н. Чебышева, писавшего об этом в одном из своих фельетонов в газете «Возрождение»[81].

Имея хорошо осведомлённую агентуру в центрах Военно-промышленного комитета, в Рабочей партии в нём[82], в Общеземском союзе[83], в редакциях оппозиционной прессы и других центрах нашей российской оппозиции, занявшейся в то

время особенно рьяно «углублением путей для скорейшего осуществления революции», я настолько своевременно, быстро и всеобъемлюще освещал Департаменту полиции все творившееся в этих центрах, что однажды, примерно в октябре 1916 года, директор Департамента полиции сказал мне шутливо «Вы так полно осветили мне последние заседания Военно-промышленного комитета и его дальнейшую линию поведения, что мы предположили, что секретным сотрудником у вас состоит сам Рябушинский!»

Характерно отношение ко мне со стороны этих двух прокуроров уже в «добровольческий» период. После второго вторжения в Крым, весной 1919 года, я попал в Новороссийск и, узнав, что Н.Н. Чебышев стоит во главе Внутреннего управления, послал ему телеграмму с предложением своих услуг по службе в его ведомстве — и немедленно получил от него телеграфное же приглашение прибыть для занятия должности начальника Особого отдела, что тогда было равносильно и равнозначно прежней должности директора Департамента полиции — конечно, в миниатюрном виде. Хотя я, по соображениям семейного характера, тогда не принял этой должности и выехал временно в Батум, где жил мой брат, мне всё же было очень лестно видеть в приглашении Н.Н. Чебышева признание им моей полной пригодности для занятия этой должности.

Иное отношение я встретил со стороны В.П. Носовича, возвратившись осенью того же года (1919) из Батума в Новороссийск. В поисках службы в Добровольческой армии я обратился к Носовичу, который тогда сменил Чебышева на посту начальника Внутреннего управления. Когда, при личном представлении Н.П. Носовичу, я обратился к нему с просьбой назначить меня на должность «генерала для поручений» при командире Государственной стражи, должность, на которой я мог бы при командировках на места контролировать и направлять находившиеся тогда в невероятном хаосе местные контрразведочные органы, В.П. Носович, сомнительно покачав головой, сказал мне: «Очень уж у вас одиозное имя!» Я раскланялся с ним, а при выходе моём из кабинета представитель штаба Черноморского флота тут же пригласил меня занять должность начальника контрразведочного отдела при этом флоте — должность, которую я занимал год, вплоть до всеобщей эвакуации в Турцию; на этой должности мне пришлось и удалось провести несколько самых удачных ликвидаций среди крымского большевистского подполья.

Чтобы закончить характеристику тех лиц прокурорского надзора, с которыми я имел служебные касательства, я намеренно

приберёг к концу фигуру примечательного и не совсем обычного человека, расстрелянного большевиками как «врага народа», кажется, осенью 1918 года, после неудачной попытки перебраться на юг — Сергея Евлампиевича Виссарионова.

Первое моё знакомство с ним относится к 1900 году, когда я временно занимал должность адъютанта при Московском жандармском управлении, а Сергей Евлампиевич, тогда ещё молодой товарищ прокурора Московского окружного суда, «наблюдал» за производством дознаний при этом управлении. Мне пришлось познакомиться с ним ближе благодаря тому, что мой старший брат Николай в то время занимался производством этих дознаний. Оба мы перезнакомились домами, бывали друг у друга запросто и, видимо, пользовались взаимной симпатией. Тогда ещё мне не пришлось бывать в семье Сергея Евлампиевича, но я встречался с ним на квартире брата.

Виссарионов был, сказали бы теперь, «не-арийцем». Не то отец, не то дед его был крещён в православную веру, и Сергей Евлампиевич никогда не забывал осенить себя крестным знамением до и после обеда или ужина. Он старался не пропускать торжественных богослужений, крестился, проходя или проезжая мимо храма, и, приезжая в Москву по делам из Петербурга, прежде всего заезжал к Иверской.

Внешне он за всё моё знакомство с ним, с 1900 по 1907 год, изменился мало, хотя и оброс несколько жирком. Был он большой позёр. Любил говорить значительно и с актёрским уменьем выделять слова. Был он и страстным театралом, отлично читал вслух, был большой эрудит в вопросах мировой и отечественной литературы. На почве любви к театру, к сцене, он и сошёлся близко с моим братом, тоже театралом и любителем-певцом. Оба они при этом были мастера копировать известных актёров и оба чрезвычайно удачно копировали друг друга.

Мой брат, человек излишне прямой и при этом резковатый, несдержанный в выражениях, придумал Виссарионову две клички, прочно приставшие к нему в наших жандармских кругах. Одна из них непочтительно и кратко обзывала Сергея Евлампиевича «Бомкой», а другая, столь же непочтительно, но более метко — «Харлампием». Один из молодых жандармских офицеров, наслышавшись про этого «Харлампия», как-то за товарищеским обедом нечаянно назвал Сергея Евлампиевича Сергеем Харлампиевичем. Впоследствии отношения моего брата с Виссарионовым изменились к худшему — и не по вине последнего.

Сергей Евлампиевич имел несколько актёрскую физиономию, хотя и носил небольшие усики, не менявшие, впрочем, его

типичной еврейской внешности. В самой его фигуре, в выпиравшем животе, в манере ходить, в хитроватой улыбке, в подмаргивании глазом и, наконец, в настоящем еврейском носе было столь много типичных еврейских черт, что ни у кого не было сомнения в его происхождении.

Виссарионов обладал какой-то особенностью в строении своего горла, напоминавшей манеру известного артиста Малого театра — Михаила Провича Садовского: в патетических местах точно какой-то клубок перехватит ему горло и особенным, нервным и проникновенным звуком пустит какое-нибудь словцо. Вообще же, во всяком разговоре, важном или неважном, серьёзном или шутливо-приятельском, Виссарионов неизменно актёрствовал: выпячивал губу, вскидывал глаза к небу и т. п.

В домашнем быту и в обществе он был прекрасным собеседником. Был экономен и расчётлив, любил порядок и, в общем, был, как говорится, «мелкобуржуазен». Художественного вкуса не имел, и когда получил место вице-директора Департамента полиции и, обставив себя довольно солидно в материальном отношении, обзавёлся «хорошим кабинетом», кабинет этот оказался обычным петербургским чиновничьим кабинетом «под дуб», и только.

В те годы моего раннего знакомства с ним Сергей Евлампиевич был ещё человеком крайне общительным, весёлым по нраву и характеру, незатейливым в обращении и привычках и чуждым всякой нарочитой солидности. С годами и с переменой службы, особенно со времени его вице-директорства, стали появляться в нём солидность и важность в обращении, и только изредка проявлялся в нём прежний Виссарионов.

После Москвы в моём знакомстве с ним наступил большой перерыв, я снова встретился с ним только после того, как он стал вице-директором Департамента полиции по заведованию отделом политического розыска.

Это был талантливый человек, с изумительной работоспособностью в этой области. Он хорошо изучил революционное подполье, ещё до назначения своего по Министерству внутренних дел наблюдая за жандармскими дознаниями. Его самым страстным желанием была должность директора Департамента полиции, которую он так никогда и не получил, хотя и был подготовлен к ней лучше, чем кто-либо другой. Вероятно, ему мешали его происхождение и заметная предвзятость к нему со стороны сановников. Он был «не наш», как любили говорить настоящие сановники из бар. Всё это в те времена имело большое значение. Виссарионов старался победить предубеждение своим трудом, знанием дела,

всесторонним изучением порученных ему задач; был педантичен и точен, наконец, стал благодаря гибкости своей натуры «приспособляться», пытаясь нравиться каждому сановному лагерю… но в результате всё же не достиг своей цели.

Я остановился с некоторым вниманием только на тех представителях прокурорского надзора, с которыми мне по той или иной отрасли нашей жандармской службы приходилось сталкиваться более или менее часто, и не перечислил ещё тех представителей этого надзора, которых я знал по моей службе, — например, прокурора Виленского окружного суда Аккермана; прокурора суда, а затем саратовского губернатора С.Д. Тверского; П.В. Скаржинского; товарищей прокурора Московского окружного суда Митровича, А.В. Червинского и др.

Должен сказать, что консерватизм этих представителей прокурорского надзора, в общем, был нисколько не меньше консерватизма чинов жандармского ведомства, а их общая культурность и понимание дела, вверенного жандармскому ведомству, могли бы создать из них очень дельных руководителей политического розыска. Но на них не было военного мундира, а это обстоятельство, по понятиям того времени, не гарантировало правительству той правоверности, которую гарантировали «синие мундиры».

В декабре 1903 года я был произведён в чин штаб-ротмистра, а в следующем декабре — в чин ротмистра. Это были обычные повышения в чинах, следовавшие одно за другим, так сказать, в порядке очереди. Я очень неудачно засиделся в чине поручика, оставаясь в этом чине два года подряд, потому что список поручиков, представленных к повышению в следующий чин, обрывался фатально на мне. К Рождеству 1904 года я был представлен к награде, и начальник управления предложил мне на выбор: крест Станислава или денежную награду. Я выбрал последнее, и, как потом оказалось, выбрал неудачно, так как штаб Отдельного корпуса жандармов впоследствии уже в 1909 году, представил меня всё к тому же кресту Св. Станислава. Впрочем, я никогда не принимал никаких мер к испрашиванию наград и не прилагал никаких стараний перед сильными мира сего, чтобы быть представленным к награде. Зато я и был награждён наружными знаками отличия в весьма скромных размерах — выше Анны 2 й степени орденов я не имел. При повышении же в чинах, особенно штаб-офицерских (подполковника в 1910 году и полковника в апреле 1915 года), я был награждён орденами «за отличие», и каждый раз в этом «обгонял» целую толпу сослуживцев по Отдельному корпусу жандармов. Но и эти чины я умудрялся получать со значительным опозданием.

Из крупных жандармских дознаний в Петербургском управлении, в которых мне пришлось принять участие, выделялись: дело по взрыву бомбы в «Северной гостинице»[84], убийство министра внутренних дел В.К. Плеве[85], шествие Гапона к Зимнему дворцу[86], вооружённые беспорядки на Васильевском острове[87], арест Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов[88] и участие в нём известных Хрусталева, Троцкого и др. Среди дел не политического, а так называемого «специального» характера мне помнятся дела о злоупотреблениях при приёме крейсера «Новик», строившегося компанией Виккерта, и о педерастии среди некоторых членов гвардии Петербургского военного округа. Да, пришлось заниматься даже и таким, казалось бы, отнюдь не жандармским делом! Но так как военное начальство не пожелало огласки в столь скандальном деле, то путём негласных соглашений между представителями высших сфер было решено установить виновность и личность участников этого сексуального уклона путём осторожного и негласного жандармского расследования. Дело это, насколько я помню, возникло по заявлению какого-то нижнего чина одного из гвардейских петербургских полков, втянутого в компанию молодых офицеров-педерастов. Почему-то это расследование попало ко мне.

Я очень хорошо помню, что в первоначальных данных не было никаких нитей, по которым можно было бы размотать клубок, и я некоторое время не знал, что и как надо было сделать, чтобы приоткрыть завесу, скрывавшую от меня и место происшествий, и его участников. Были какие-то неясные указания на какой-то трактир за одной из петербургских застав, где будто бы и происходили предосудительные встречи офицеров-педерастов с вовлечёнными ими в ненормальные отношения нижними чинами.

В целой серии детективных романов, автором которых является известный английский писатель, выводится фигура детектива-любителя и в то же время священника, который в своих поисках преступника неизменно начинает с того, что он должен что-то и немедленно предпринять, куда-то и в каком-то направлении идти и ни в коем случае не выжидать развёртывания событий, полагая, что в дальнейшем, при проявленной активности, какие-то нити будут непременно развёртываться перед ним и помогут раскрыть тайну[89]. Я тогда ещё не читал похождений детектива-священника, но почему-то повёл себя именно по этому, рекомендованному им пути. Я достал у приятелей штатское платье и отправился за указанную заставу. Необычайно скоро я остановил внимание на отдельно стоявшем у

дороги трактире и через несколько часов, после удачного разговора с хозяином заведения, я имел на руках всё описание этого неприятного дела. Мой доклад начальнику управления и порадовал его, и озаботил: раскрывались имена некоторых довольно известных фамилий, и дело грозило дальнейшими разоблачениями. После произведённых мною опросов некоторых участников из нижних чинов, полностью подтвердивших мои расследования, всё дело было взято у меня начальником управления, который и закончил его после каких-то негласных совещаний с военным начальством.

Это порученное мне дело и несколько необычный и живой характер, который я ему придал при обследовании, создали мне репутацию ловкого и умелого расследователя. Возможно даже, что оно сыграло роль при предложении мне должности начальника охранного отделения, что произошло в 1906 году.

Дело о злоупотреблениях при приёме крейсера «Новика» было также не рядовым жандармским делом. Оно было поручено мне, и за его производством наблюдал сам товарищ прокурора Петербургской судебной палаты М.И. Трусевич. По этому делу числился арестованный чиновник морского ведомства; не помню теперь ни фамилии его, ни должности. Трусевич и я ездили по этому делу в Адмиралтейство, наводили справки, просматривали бесчисленные ведомости. Арестованный чиновник долго не хотел давать никаких объяснений, несмотря на очень ловко проведённый Трусевичем допрос. Как-то, не закончив допрос, Трусевич вышел из моего кабинета и занялся другими делами, а я в его отсутствие стал продолжать допрос арестованного чиновника и, к моему изумлению и удовольствию, привёл его к даче откровенного показания. Возвратившийся через некоторое время Трусевич застал меня и обвиняемого задушевно беседующими за записью подробного протокола. Я уже упоминал раньше о той удовлетворённости, которая испытывалась лицами, ведущими дознание и добившимися перелома в душе обвиняемого, который переходил к откровенным показаниям.

В деле о «Новике» откровенное показание обвиняемого, стоявшего по своей службе в курсе разных недостойных и бесчестных махинаций при приёме крейсера, играло большую роль. Долго борясь с собой, обвиняемый, решив, наконец, откровенно рассказать о своём участии в этих махинациях, грустно заявил мне «Убедили вы меня; я расскажу всё, что знаю, но предупреждаю, что ничего у вас не выйдет с этим делом. В нём замешаны лица покрупнее меня». Дело это в дальнейшем было передано судебному следователю и пошло обычным судебным порядком, но результаты его остались мне не известны.

Это дознание укрепило меня в положении офицера резерва, и я стал получать всё более крупные по своему значению дознания. Получив однажды большое дело о какой-то террористической группе, я только что стал разбираться в нём, как в мой кабинет вошёл начальник управления, вновь назначенный тогда генерал Бессонов, и, неловко замявшись, сказал мне, что он переменил решение и просит меня передать всё дело генералу Иванову. Оказалось, что генерал Иванов обиделся, что такое ответственное дело не было поручено ему, и упросил начальника управления передать ему это дело.

Дело о взрыве бомбы в «Северной гостинице» слишком известно, чтобы детально его описывать в моих воспоминаниях. Помню, как немедленно после взрыва М.И. Трусевич, захватив меня с собой, помчался в «Северную гостиницу», и мы приступили к производству формального дознания. При входе в гостиницу мы встретили растерянную администрацию, наряд полиции, и по грязной, залитой ещё струившейся водой после возникшего за взрывом разрушения и пожара парадной лестнице поднялись на третий этаж и вошли в разрушенный номер гостиницы, где заряжавшаяся террористом Покатиловым бомба взорвалась, пробила потолки и полы и убила его самого.

Мы приступили к осмотру и нашли паспорт и… кусок мизинца. Мне поручено было заняться обследованием паспорта, и я вскоре сделал интересное открытие: оказалось, что в нём заменены некоторые страницы соответствующими же, но из другого паспорта, страницами, аккуратно прикреплёнными металлическими скрепами. В дальнейшем это открытие привело к установке владельца другого паспорта и тех гостиниц, где проживал террорист и его пособники.

Я не стану описывать события 1905 года в Петербурге. Кто не знает их теперь хотя бы на основании целого ряда откровенных и достаточно полных описаний их в литературе, мемуарах и других записях современников? Мне было поручено производство дознания о беспорядках и вооружённом столкновении на Васильевском острове. Я помню, как в мой кабинет полиция доставила целый ворох вещественных доказательств, среди них красные флаги, револьверы и целый набор старых сабель с великолепными толедскими клинками, похищенными у владельца какого-то завода. Арестованных по этому делу было очень мало; между ними выделялся молодой, здоровый на вид еврей, лет девятнадцати, с довольно известной «издательской» фамилией. Еврея этого захватили на баррикадах. Ему угрожала смертная казнь. В это время генерал-губернатор Дм. Фед. Трепов вызвал меня к себе как производящего дознание об этих

беспорядках. Взяв дела, я поехал в Зимний дворец, где временно тогда проживал Трепов. После целой анфилады зал меня привели в огромный кабинет с таким же преогромным письменным столом, за которым сидел мрачный, представительный, всемогущий тогда генерал. Я стал докладывать, и Трепов хмуро спросил меня: «Скажите ваше мнение, следует ли предать смертной казни обвиняемого?» Мне тогда совершенно ясно представилось, что обвиняемый этот, молодой еврей, никоим образом не является одним из лидеров восстания и захвачен случайно в группе лиц, укрывавшихся за одной из баррикад. Никого из крупных деятелей революционного подполья или вожаков в те дни захвачено не было, и, таким образом, хотя формально мой еврей был взят «с поличным» и по закону военного времени мог бы быть подвергнут смертной казни, эта кара не соответствовала его роли в событиях того времени и, пожалуй, только демонстрировала бы неудачные действия полиции. Я это и высказал генералу, добавив, что, по моему мнению, ведущемуся мной дознанию следует предоставить идти обычным путём. Трепов согласился со мной.

Чрезвычайно любопытно проследить теперь и припомнить, как события, следовавшие за известным Манифестом 17 октября 1905 года, отразились на течении дел в нашем управлении. Общая растерянность, разноречивые толкования и непонимание направления правительственной политики привели в конце концов к тому, что наше жандармское управление мало-помалу прекратило всякую деятельность. Находившиеся в производстве дознания оказались за амнистией ненужными, новых не возникало, хаос был всеобщий. Нашлись офицеры в нашем управлении, которые попросту уничтожили свои дознания. Мы собирались, обсуждали слухи и… ничего не делали! Так прошёл ноябрь. В начале декабря во главе Министерства внутренних дел стал Пётр Николаевич Дурново, маленький сухонький старичок с ясным умом, сильной волей и решимостью вернуть растерявшуюся власть на место. Несколько ясных и твёрдых распоряжений — и сонное царство ожило. Всё заработало, машина пошла в ход. Начались аресты, запрятали вожаков, и всё стало, хотя и понемногу, приходить в норму. Наше управление тоже проснулось от спячки, и мы, как никогда, погрузились в производство громадного числа новых дознаний.

В начале июня 1906 года, в то время, когда я занимался по делам производимых мной дознаний о государственных преступлениях, число которых тогда, к слову сказать, увеличилось во много раз, меня вызвал к себе начальник нашего жандармского управления. Любезно предложив сесть, генерал

Клыков, со свойственной ему отрывистой манерой речи, кратко заявил мне, что директор Департамента полиции Трусевич вызывает меня к себе. «Я уверен, что директор предложит вам какую-либо новую должность, вероятно по розыску, — добавил генерал. — Поезжайте сейчас же и по возвращении доложите мне». Генерал ласково и без обычной официальности, как бы предчувствуя скорый конец наших служебных отношений, отпустил меня.

В течение трёх лет мне пришлось произвести ряд дознаний, и из них несколько крупных, при Петербургском жандармском управлении, под непосредственным наблюдением М.И. Трусевича, занимавшего тогда должность товарища прокурора Петербургской судебной палаты и наблюдавшего за производством дознаний при этом управлении. Мне пришлось работать с ним непосредственно по дознанию об известном взрыве в «Северной гостинице». Я участвовал, как было сказано выше, в допросе Балмашева, убившего министра внутренних дел Сипягина.

Трусевич знал меня хорошо, и мне известно было, что он благоволил ко мне. С этой стороны вызов меня к директору Департамента полиции, которым незадолго до этого стал Трусевич, не мог беспокоить меня.

Максимилиан Иванович Трусевич являлся примером того великодержавного отношения к своим слугам прежней императорской правительственной власти, которая, не боясь расового признака, призывала даже на важные и ответственные посты людей не чистой русской крови. М.И. Трусевич не только обладал польским именем и фамилией, но и по внешности ничем не напоминал русского. Мне всегда хотелось увидеть его в национальном костюме тех польских вельмож, которые пируют и ловко танцуют во втором акте оперы «Жизнь за Царя»[90]. Выше среднего роста, худощавый, исключительно элегантный шатен с тонкими чертами лица, чуть коротковатым, тонким носом, щетинистыми усиками, умными, пронизывающими и несколько насмешливыми глазами и большим открытым лбом, Трусевич являл собою тип европейского светского человека. Он был живой, даже порывистый в движениях, без типично русских манер. Даже многочисленные недруги его никогда не отказывали ему в остроте мышления, знании дела и трудоспособности. Докладывать ему дела, самые запутанные и сложные, было просто удовольствием, — он понимал всё с полуслова. Трусевичу нельзя было подавать сущность дела с размазыванием подробностей, с подготовкой и разъяснением, как это часто приходилось делать с менее способными администраторами. Он схватывал сущность

дела сразу и давал ясные указания. Он был по своему характеру замечательным мастером розыска, тонким психологом, легко разбиравшимся в людях. Политическая карьера его окончилась с выяснением роли Азефа и переменами в министерстве в связи с шумом, поднятым в печати и общественных кругах. С его уходом правительство потеряло исключительного человека «на своём месте». Я совершенно уверен, что ни до него, ни, тем более, после него такого директора Департамента полиции российское правительство не имело[91].

Мне не пришлось долго ждать в приёмной директора. Какой-то остряк-администратор однажды утверждал, что добрую половину своей долгой службы он провёл на приёмах у сановников. Это утверждение я лично отношу к типичному российскому брюзжанию по поводу всего и всех. На самом деле приёмы у сановников наших были сравнительно легко достижимы. Никого намеренно не заставляли ожидать; наоборот, находясь в эмиграции, я убедился, как в «демократиях» даже мелкие чинуши и представители так называемого делового мира намеренно заставляют посетителя охладить пыл долгим ожиданием в приёмной, чтобы создать у него впечатление о необычайной занятости делового человека.

Итак, через несколько минут я уже почтительно раскланивался с директором Департамента полиции, в кабинете которого мне пришлось тогда быть первый раз. Сравнительно небольшая комната с казённой кабинетной обстановкой, портретами высших чинов Министерства внутренних дел и грудами бумаг в папках «к докладу» не производила большого впечатления.

Трусевич сразу же заявил мне, что он находит нужным, в связи с переживаемым беспокойным временем и усилением революционной деятельности, усилить розыскную работу вообще и, в частности, учредить новый розыскной пункт в Севастополе, сформировав там охранное отделение по типу тех, новых охранных отделений, которые уже открыты в ряде крупных провинциальных центров. «Я наметил вас начальником этого нового розыскного учреждения и поэтому и вызвал вас к себе, чтобы сговориться о деталях», — добавил директор.

Я подумал: ну вот, наконец осуществилось то, к чему я стремился, переходя на службу в Отдельный корпус жандармов! Мне предложили живое подлинное дело розыска, которым я смогу руководить, внося в него свою инициативу, свои способности. Тут нет места надоедливому шаблону кропотливых официальных дознаний. Теперь-то я и смогу проявить себя и наконец стать в авангарде защитных сил правительства против

подрывающих его подпольных врагов. Но одновременно с этим пронеслись и другие мысли: да, всё это верно; но к чему я стремился, переходя в Отдельный корпус жандармов, и от чего я был отстранён против моего желания назначением в Петербургское губернское жандармское управление, вновь открывается передо мною. Но я чувствовал в себе уже некоторую закостенелость, вызванную привычной работой, от которой надо было отделываться и начинать «по-новому».

Старое моё дело и работа одобрялись и уже нашли признание. Меня так или иначе отличали, меня выдвигали для производства более крупных и важных дел, и, самый молодой по возрасту, я был на линии полковников и генералов, производивших со мной в Петербургском управлении иногда и менее важные дознания, чем те, которые поручались мне. Как я справлюсь с новым делом? Я его не знаю, не знаю техники, не знаю «великого шаблона» его, без которого так трудно управлять подчинённой группой людей. Меня встретит недоброжелательная и придирчивая критика с первых же шагов. На пустых мелочах я сделаю досадные промахи. Ведь в 1906 году поздно уже учиться розыску: надо знать, а не «подучиваться». События грозные, удары революции идут один за другим — надо им противостоять с готовым знанием дела. Одного желания работать на поприще розыска мало. Ещё раз я недобрым словом вспомнил тех лиц, которые не дали мне заслуженное мною право по окончании лекций в штабе Отдельного корпуса начать службу в корпусе с прикомандированием к Московскому охранному отделению. Человек предполагает, а Бог располагает. Конечно, тогда я в вихре проносившихся мыслей не мог предвидеть, что через шесть лет, ровно в тот же месяц, я займу должность начальника отделения по охранению общественной безопасности и порядка в первопрестольном городе Москве и моя мечта осуществится в полной мере.

Выслушав Трусевича и поблагодарив его за оказанное мне доверие, я кратко обрисовал промелькнувшие у меня мысли и высказал опасение оказаться не на высоте задачи, главным образом из-за отсутствия у меня знаний «шаблонов» дела.

«Это пустяки, — прервал мои доводы Трусевич, — во-первых, не боги горшки обжигают, а во-вторых, я вас знаю и верю, что вы приложите все силы, чтобы быстро овладеть положением!»

Всё ещё сомневающийся и колеблющийся в отношении согласия на предложение, я выдвинул пожелание начать розыскную службу не с формирования нового охранного отделения, а возглавить одно из уже существующих, если бы оказалась вакантной такая должность.

Трусевич, однако, настаивал на своём. В Севастополе предстояло раскрыть и ликвидировать революционные организации, внёсшие разложение и пропаганду среди моряков. Надо было помимо набора подходящих служащих для нового охранного отделения (заботу о чём брал на себя главным образом Департамент полиции) суметь возбудить к себе доверие в высших чинах морского ведомства на месте, преодолеть в них подозрительность к каждой попытке какого-либо проникновения «чужого» ведомства в «морскую» среду и избежать всяких нареканий на ненужные стеснения. Нужны были такт и удачное разрешение необходимых вопросов при первых же шагах нового учреждения. Выразив мне в лестных для меня словах то, что именно он, директор Департамента полиции, надеется видеть во мне удачного исполнителя его предначертаний, Трусевич настойчиво требовал от меня согласия.

Не видя возможности отказаться от сделанного мне предложения, я, однако, попросил дать мне срок в один день для принятия решения, на что Трусевич согласился. Почему именно я настоял на этом сроке в один день, я едва ли отчётливо сознавал. Может быть, была мысль о том, что Трусевичу понравится моя комбинация о назначении меня на должность начальника одного из функционирующих охранных отделений; во всяком случае, я хотел на досуге, а не в кабинете директора решить этот вопрос.

Я провёл беспокойную ночь, а на другой день, решив принять новое назначение и подкреплённый в этом решении генералом Клыковым, я снова вошёл в кабинет Трусевича с заявлением, что я готов к исполнению новых возлагаемых на меня задач.

«Ваше превосходительство, — обратился я к директору, — опыт есть сумма сделанных ошибок, как сказал Оскар Уайльд. У меня нет опыта в розыскном деле, но не браните меня за те первые ошибки, которые я, конечно, сделаю и которые создадут мне опыт; поверьте, что я приложу все свои силы, чтобы достигнуть этого опыта, стараясь уменьшить ошибки. Если же они и будут, то явятся следствием не моей воли или нерадения!»

«Отлично, я в этом не сомневался, — сказал удовлетворённый моим ответом Трусевич. — Как раз за вчерашний день произошли некоторые перемещения в личном составе, и я назначаю вас на освободившуюся должность начальника Саратовского охранного отделения. Ротмистр Фёдоров, исполнявший эту должность, назначен в распоряжение министра внутренних дел. Вы, таким образом, примете в своё ведение охранное отделение, функционирующее уже около четырёх лет, и ваши первые шаги на новом для вас поприще будут облегчены».

Для завершения всех формальностей в связи с новым моим назначением надо было ждать около двух недель. Это время, по указанию Трусевича, я должен был провести в помещении Петербургского охранного отделения, чтобы, с разрешения начальника его, в то время полковника А.В. Герасимова, ознакомиться, насколько возможно, с распорядками службы и её деталями.

Раскланявшись с директором и получив от него приказание повидать его перед отъездом, я вернулся в своё управление, где наскоро сдал все находившиеся в моих руках дела. Начальник управления и сослуживцы поздравляли меня с новым назначением, но все добавляли опасения относительно предстоящих мне трудностей на новом служебном поприще.

В управлении в то время дослуживал свой срок службы старый генерал А.И. Иванов, несколько лет до того отчисленный за какие-то упущения по службе от должности начальника Саратовского губернского жандармского управления. Он вынес от своей службы в Саратове довольно верное, как я потом убедился, убеждение, что Саратов — это закоренелое революционное гнездо, и уже впоследствии, в Петербурге, на допросах, выяснив, что арестованный — уроженец Саратова, генерал бегал по нашим кабинетам и самодовольно вскрикивал: «Ну что, конечно, саратовец! Я так и знал!» В его устах слово «саратовец» звучало как «подлец»!

Как только генерал Иванов узнал о моём назначении в Саратов, он ворвался в мой кабинет и завопил: «В Саратов? Ну, батенька, не поздравляю! Да вас там убьют! Я саратовцев знаю!» Впрочем, этот припев «вас там убьют!» неизменно повторялся и другими, когда они узнавали о моём новом назначении. Не знаю почему, но я ни разу не смутился этими предсказаниями. Просто, вероятно, не хотел думать об этом. Предсказания не сбылись, но я будущего не знал, конечно; события же в России в середине 1906 года, на пороге роспуска 1-й Государственной думы, среди высоко вздымавшихся революционных волн и непрекращавшегося политического террора, должны были наводить на тяжёлые размышления. Однако их у меня не было. Я был готов весь отдаться новому делу, и чем скорее, тем лучше.

Распростившись со своими сослуживцами по Петербургскому губернскому жандармскому управлению, я направился в Петербургское охранное отделение знакомиться с деталями новой моей розыскной службы.

Петербургское охранное отделение, где мне иногда приходилось бывать по делам, находившимся в производстве у меня, помещалось в большом здании на Петербургской стороне. С

большинством офицеров и чиновников, служивших в нём, я был знаком. Был знаком «шапочно» и с полковником Герасимовым. Ко мне уже относились как к своему, хотя и новичку. Надо иметь в виду, что офицеры Корпуса жандармов разделяли себя на несколько групп: офицеров, служивших на железных дорогах, как железнодорожная полиция (они держались обособленно и как бы подчёркивали, что они не имеют отношения к политическому розыску[92]), офицеров, служивших в губернских жандармских управлениях, как помощники начальника управления, ведая жандармской службой в одном или нескольких уездах (это были скромные жандармские работники, просиживавшие по ряду лет на одном и том же месте, со слабой перспективой получить в более или менее отдалённом будущем должность начальника губернского жандармского управления). И наконец, с 1902 года, когда стали формироваться провинциальные охранные отделения, с прежде функционировавшими в Петербурге, Москве и Варшаве большими охранными отделениями образовалась новая группа офицеров, которая получила кличку «охранников». Эта группа, небольшая сравнительно по числу, очень скоро встретила по целому ряду причин скрытое недоброжелательство в остальных группах.

Итак, в Петербургском охранном отделении меня встретили как «своего». Я изложил желание директора Департамента полиции ввести меня поскольку возможно в курс повседневной работы отделения. Мне рекомендовали приходить по ночам к сбору в отделении агентов «наружного» наблюдения. Тогда же я представился полковнику Герасимову и просил его от имени директора дать мне нужные указания в предстоящей мне деятельности Герасимов считался знатоком розыскного дела. Высокий, солидный, одетый в хорошо сидевший штатский костюм, человек лет сорока пяти, с несколько татарским лицом, обрамленным небольшой остроконечной бородкой, он стоял в амбразуре окна, когда я вошёл в его прекрасный, большой служебный кабинет, гораздо более импозантный, чем скромный кабинет директора Департамента полиции. Я изложил причины своего посещения, прося дать указания и разрешение ознакомиться с работой и порядками в отделении. Ответ Герасимова запомнился мне как весьма характерный.

«Надо иметь только голову на плечах, вот и вся штука! — ответил, помолчав немного, Герасимов. — От знакомства поверхностного, что только и возможно для вас у меня в отделении, вы многого не вынесете. Однако заходите к нам, нанюхивайтесь, пока вы свободны!» Вот и всё, что я получил в назидание от Герасимова. Конечно, он многое мог бы разъяснить

мне, мог бы предостеречь от многих подводных камней, но если принять во внимание, что наш разговор происходил в разгаре событий 1906 года, то, пожалуй, нет ничего удивительного в том, что Герасимов отделался от меня таким именно способом.

В тот же день, часам к десяти вечера, я снова пришёл в охранное отделение и, с разрешения помощника начальника отделения, направился в довольно обширную комнату, служившую местом сбора начинавших к тому времени прибывать в отделение агентов «наружного наблюдения», или «филеров», как для краткости их называли на службе. Большая комната стала понемногу наполняться самыми разнообразно выглядевшими личностями. Они появлялись обычно по два сразу, садились к столам, расставленным у стен, и писали «рапортички» о своей дневной работе по наблюдению за лицом, которое было поручено их вниманию. Содержание этого рапорта они поочередно, по мере их вызова к устному докладу заведующему наружным наблюдением, дополняли некоторыми подробностями, отвечая на вопросы заведующего, и затем, получив новый наряд на следующий день, уходили. Вся процедура докладов и распределения работы на следующий день тянулась несколько часов.

Из содержания докладов было видно, как тяжела незаметная деятельность скромных и невидных агентов правительственной власти. Согласно имевшейся инструкции, относившейся к набору и приёму на службу «филеров», от них требовалось немало: грамотность, трезвое поведение, невыдающаяся наружность, средний рост, хорошее зрение, сообразительность и т. д.[93], — все эти качества оплачивались в конце концов суммой в среднем около 40–50 рублей в месяц. Если принять во внимание, что определённых праздничных дней у «филера» не было, что условия конспирации в его повседневной жизни требовали большой осторожности в выборе знакомых и в частной жизни, а условия его службы требовали постоянного пребывания на улице во всякую погоду, то легко прийти к выводу, что служба эта была одна из самых тяжёлых. Несмотря на все, как я убедился впоследствии, среди этих незаметных «героев долга» были подлинные герои. Они, не поморщившись, принимали приказание схватить террориста, который, согласно имевшимся агентурным сведениям, нёс под полами пальто разрывной снаряд, и рисковали взлететь на воздух. Они рисковали также постоянно быть подстреленными из-за угла.

В прочитанных мной «рапортичках» были и довольно курьёзные заметки; например, я помню, была запись об одной наблюдаемой: «немного беременная и всё оглядывается назад»!

Заведующий наружным наблюдением, видимо, хорошо знал своих людей и в вопросах часто выявлял сделанное упущение. Иногда на этих сборах «филеров» присутствовал офицер из состава охранного отделения, которому желательно было лично порасспросить агентов наружного наблюдения о каких-либо подробностях в поведении наблюдаемых. Иногда появлялся начальник отделения.

После ухода последнего «филера», а это было около двух часов ночи, заведующий наружным наблюдением докладывал начальнику отделения результаты дневного наблюдения и получал от него различные дополнительные указания. Жизнь охранного отделения тогда только несколько замирала после длинного дня. Вернее сказать — замирала только её «регулярная» сторона, ибо всю ночь до утра появлялись полицейские чины то с экстренными сообщениями, то с результатами обысков, то с арестованными.

Посетив эти сборы «филеров» в течение около недели, я понял, что нового ничего больше не усвою и что в то же время я, как посторонний человек, только мешаю всем в отправлении обычных дел. В ближайшие же дни, получив бесплатные билеты для проезда по железной дороге до Саратова и сделав последние прощальные визиты, снабжённый всеми нужными удостоверениями, я выехал с семьёй к месту новой службы.

Глава III
В Саратове (I)

Саратов — провинциальный город. — Конспирация и собачья выставка. — «Старое» и «новое» в жандармском деле — Полковник Померанцев. — Конспиративные квартиры и… Достоевский. — Случай с Азефом. — Сливки жандармского общества в Саратове. — Губернатор граф Татищев. — Большевики и эсеры. — Неудавшееся покушение.

Был конец июня 1906 года. Стояла жаркая летняя погода. До этого мне не приходилось бывать в Поволжье, и этого края я совсем не знал. Что я знал о Саратове? Очень немного. Больше всего запомнились мне высказывания генерала Иванова. Они, как я говорил выше, были неутешительны.

Я дал телеграмму начальнику Саратовского охранного отделения, ротмистру Фёдорову, которого я ехал замещать, прося его распорядиться выслать на вокзал кого-нибудь из служащих.

Когда поезд подошёл к станции и я с семьёй с помощью носильщика выгрузился на платформу, ко мне подошёл симпатичного вида пожилой штатский и учтиво осведомился, не еду ли я к господину Фёдорову.

Надо сказать, что, выезжая к месту новой службы, я решил всегда ходить в штатской одежде и по возможности законспирировать как свою личность, так и самое помещение охранного отделения, в целях предохранения от открытых покушений со стороны революционеров, а также в целях более спокойного и успешного выполнения обязанностей службы. Как это ни покажется странным, моё решение было выполнено до конца успешно, и за мою шестилетнюю розыскную службу в Саратове меня знали в лицо только те, кому я не мешал это знать.

Помню, как уже в конце моей службы в Саратове, кажется в 1911 году, была устроена собачья выставка. Жена моя поместила на эту выставку нашего испанского пуделя и провела много времени на выставке. В день премирования собак я зашёл на выставку навестить жену и посмотреть выставленных собак. Я был, как всегда, в штатском. На выставке ко мне подошёл полицмейстер Н.П. Дьяконов, с которым мы были в приятельских отношениях, и, смеясь, рассказал мне, что он, гуляя по выставке с местным присяжным поверенным и главой саратовского отдела кадетской партии Борисом А. Араповым, указал ему на мою

собаку, отметив, что пудель этот принадлежит начальнику местного охранного отделения. Арапов, совмещая в себе ярого либерала и светского болтуна, вёл, как говорится, довольно рассеянный образ жизни. Театрал, «бонвиван», несмотря на тогда уже почтенный возраст, он появлялся всюду и был в курсе всех городских новостей и, конечно, сплетен. Узнав, кому принадлежит пудель, Арапов пристал к Дьяконову, чтобы тот показал ему как-нибудь при случае и меня, так как до сих пор ему не удавалось меня видеть. Дьяконов после этого разговора подошёл ко мне узнать, можно ли ему сказать Арапову, что я являюсь начальником охранного отделения. Я ответил согласием. Дьяконов на другой день при встрече со мной рассказывал: «Подошёл я снова к Арапову и, показывая на вас, говорю ему: вот кто у нас начальник охранного отделения! А Арапов снял шапку, перекрестился и говорит: «Ну вот, наконец-то удостоился его увидеть!»»

Я нарочно привёл этот случай, чтобы показать, как мне в продолжение нескольких лет удалось сохранить конспирацию, да ещё и в невыгодных условиях хотя и относительно большого, но всё же провинциального города. Для этого потребовалось, однако, отрешиться от многого, замкнуться в сравнительно узком кругу и вести строго обдуманный и осторожный образ жизни.

Встретивший меня служащий охранного отделения забрал мои пожитки на одного извозчика, а на другого усадил меня с семьёй, и мы отправились по длинной, тянувшейся от вокзала через весь город Московской улице в приготовленные для меня две комнаты «Большой Московской гостиницы», находившейся в центре города.

Неприветливый вид имел Саратов для приезжего: длинная прямая улица с отчаянной мостовой, ни одного дерева, кое-где домишки, здания мастерских железной дороги казарменного вида, потом здание тюрьмы, казармы местных воинских частей — всё это вперемежку с пустырями и громадными площадями, по которым столбом вилась пыль. Примерно с версту тянулась эта околица города. Затем показались фасады более благоустроенных особняков и жилых домов, потом лавки, двухэтажные дома, и я понял, что мы подъезжаем к центральной торговой части города. Вскоре показалось довольно приличное здание «Большой Московской гостиницы», к которому мы и подъехали.

Ещё из окна вагона, за несколько вёрст до станции Саратова, я увидел широко раскинувшийся город. Помню, как у меня промелькнула мысль, что нелегка будет задача охватить и вскрыть угнездившееся революционное подполье города. Справлюсь ли я с возложенной на меня задачей?

Мне предстояло на первых шагах моей служебной деятельности познакомиться с официальными лицами города, с которыми я должен был иметь служебные отношения. Прежде всего, конечно, я должен был повидаться с тем, кого я приехал заместить, т. е. с начальником Саратовского охранного отделения, ротмистром Фёдоровым.

Ротмистра Фёдорова я знал лично и прежде. В конце 1901 года он вместе со мной находился в группе офицеров, которая была вызвана в Петербург для слушания лекций перед зачислением в Отдельный корпус жандармов. После окончания лекций, экзамена и разборки вакансий, о чём я уже рассказал ранее, мы все потеряли друг друга из вида. Так же точно потерял я из вида и ротмистра Фёдорова. Сохранился в памяти тогда только его внешний вид небольшого, крепко сложенного блондина в форме скромного пехотного офицера. Запомнил я также, что до назначения его начальником Саратовского охранного отделения он служил помощником начальника губернского жандармского управления где-то в западных губерниях. В Саратове он прослужил года полтора. Встретивший меня на вокзале служащий Саратовского охранного отделения, остававшийся в гостинице ожидать моих распоряжений, оказался письмоводителем канцелярии отделения, Акимом Борисовичем Поповым. Как я вскоре выяснил, это был один из старых служащих Московского охранного отделения, близкий к одному из главных персонажей этого отделения, Евстратию Павловичу Медникову. При образовании в году 1902-м нескольких новых провинциальных охранных отделений в наиболее крупных городах империи понадобились и служащие для них. На более ответственные должности были выбраны старые служащие из существовавших уже в то время больших охранных отделений в Петербурге, Москве и Варшаве. Забота выбора лежала на начальниках этих отделений, которые при этом советовались, конечно, со своими помощниками. Не думаю, что при отпуске из своих отделений начальство руководилось искренним желанием отдать всё лучшее, а самим оставаться с худшим.

Таким образом, в провинциальные новообразованные охранные отделения попали, конечно, не первосортные служащие.

Московское охранное отделение, благодаря тому, что во главе его в течение нескольких лет стоял такой выдающийся деятель политического розыска, как известный Сергей Васильевич Зубатов, приобрело особенное значение как в Департаменте полиции, так и среди всех чинов Министерства внутренних дел. Всё, что шло из этого отделения, пользовалось особенным

авторитетом. Этот авторитет переносился косвенно и на всех тех служащих, которыми снабдило Московское охранное отделение провинциальные охранные отделения. Кроме того, тут была ещё одна подробность, о которой я знал от своих братьев, служивших в то время в Москве: старший брат Николай в 1906 году, т. е. во время моего назначения в Саратов, был помощником начальника Московского губернского жандармского управления по Дмитровскому и Богородицкому уездам (с квартирой в Москве), а младший, Пётр, после двухлетнего пребывания в Московском охранном отделении, был помощником начальника того же управления в Бранницком и Коломенском уездах. Оба они не прерывали тесных личных и хороших отношений ни с Зубатовым, ни со старшим персоналом Московского охранного отделения.

Упомянутая подробность заключалась в том, что Евстратий Медников, в некотором роде и в некоторых делах правая рука Зубатова, при выборе людей для провинциальных охранных отделений старался отобрать верных ему служащих, так сказать, «своих людей». Таким образом, он достигал сразу несколько целей. Об этом стоит рассказать подробнее. В то время Московское охранное отделение, имея в своём распоряжении центральную агентуру, иногда оказывалось осведомлённым ранее других розыскных учреждений о том, что, например, центральный комитет Партии социалистов-революционеров решил, по конспиративным соображениям, поставить тайную типографию в г. Томске. Из соображений конспирации и опасаясь поручить ближайшее наблюдение за развитием этого «предприятия» местному политическому розыску, осуществлявшемуся обычно из рук вон плохо местным губернским жандармским управлением, Московское охранное отделение в те времена брало всё наблюдение и ликвидацию «предприятия» на себя. Оно командировало в таких случаях группу своих служащих во главе с офицером отделения, которые по приезде на место обращались к содействию местного розыска только в последнюю минуту, для получения народа и предписания на обыск и арест его местного губернского жандармского управления. Такой приём однажды был осуществлён и в Саратове, при наличии в то время там уже функционировавшего охранного отделения. Дело происходило в 1905 году осенью, когда был съезд центральных лиц партии с участием «бабушки» Брешко-Брешковской[94], Азефа и Аргунова. Такой приём мог быть осуществлён только потому, что тот же ротмистр Фёдоров, в положении начальника Саратовского охранного отделения, не имел в своём распоряжении осведомлённой агентуры, а Московское охранное отделение, конечно, по конспиративным соображениям не хотело вскрыть

участие в съезде и истинную роль Азефа перед местным розыском.

«Свои люди» Медникова пользовались случаем, чтобы ставить Медникова в курс дела местных происшествий, о том, как идёт работа, что за лица служат в местном отделении, что представляют собою местная администрация, местные организации и т. п.

Медников, таким образом, был в курсе многого. С ним вместе было в курсе и Московское охранное отделение[95]. Конечно, сплетен тут было больше, чем нужно, но иногда проскальзывало и серьёзное. А Медников знал своих людей и, будучи сам простым, но хитрым «мужичком», умел отделить ненужный сор и хлам, получаемый им и устно, и письменно.

В Саратовское охранное отделение, при его открытии в 1903 году, при содействии Медникова попали трое служащих из Московского охранного отделения. Одним из них был встретивший меня письмоводитель Попов; другой — заведующий «наружным наблюдением» старший филер П.В. Мошков; третьим был писец отделения М.К. Мальков. Последний чувствовал особую симпатию к моим братьям по прежней своей службе в Московском охранном отделении и сразу перенёс её на меня. Эти лица, состоявшие по роду своих занятий на передовых постах в Саратовском охранном отделении, были постоянно в связи с начальником отделения, и потому я многое узнавал в первое время моей деятельности именно от них.

В сопровождении ожидавшего меня в гостинице Попова я отправился в местное охранное отделение с официальным визитом к ротмистру Фёдорову. Охранное отделение, как оказалось, находилось в двух-трёх кварталах от гостиницы, где я остановился. На углу Московской и Ильинской улиц стоял двухэтажный дом купца Симорина. Нижний этаж занимал сам хозяин, молодой ещё сравнительно человек, имевший лавку красного товара в городских рядах. Симорин был простой малокультурный купчик, человек религиозный и правых взглядов. Верхний этаж его дома состоял из одной средней величины квартиры, которую занимал ротмистр Фёдоров с семьёй своей, состоявшей из жены и дочерей, девочек младшего возраста. В глубине довольно обширного двора расположен был небольшой одноэтажный флигелёк, где помещалась канцелярия охранного отделения. Для того чтобы попасть с улицы в отделение, надо было открыть калитку закрытых ворот, пройти двором, — и только тогда можно было, зная расположение построек, войти в отделение. Помещение это было не слишком плохое, за исключением того, что дом Симорина стоял на весьма бойком

месте, проходном и проезжем, и если бы представителям одной из подпольных организаций вздумалось установить наблюдение за лицами, приходящими и выходящими из дома, то такое наблюдение можно было бы осуществить без особого труда. Это обстоятельство сразу бросилось мне в глаза и было причиной того, что я принял решение нанять новую квартиру как для себя, так и для отделения.

Я застал ротмистра Фёдорова дома. Он ожидал меня с нетерпением. От первой встречи моей с ним в тот день и в продолжение следующих двух дней у меня сохранилось воспоминание, что Фёдоров всё куда-то спешит. Он вёл разговор как-то урывками, что-то во время разговора подписывал, отдавал какие-то неясные для меня распоряжения и ни минуты не находился в покое. С первых же слов взаимных приветствий он огорошил меня всё той же знакомой мне фразой о неприятностях, которые грозят мне на этой службе от подпольной руки революционеров. «Слава Богу, — торопился Фёдоров, — уезжаю отсюда целым, вас жалею!» Второпях он рассказывал мне о своей жизни в Саратове, о сослуживцах, о служащих отделения и о текущей работе. У меня осталось впечатление, как будто я вижу на сцене «Ревизора», а самого Фёдорова в роли Бобчинского — до такой степени своим видом, манерами и торопливостью он напоминал этого гоголевского героя.

Второпях Фёдоров посоветовал мне сделать немедленный визит и познакомиться с начальником местного губернского жандармского управления полковником Померанцевым. «Сегодня вечером местные жандармские офицеры устраивают мне прощальный ужин в «Московской гостинице», — торопился Фёдоров, — так вот, я надеюсь, что и вы будете присутствовать, там познакомитесь со всеми, но вам надо встретиться с полковником Померанцевым до этого ужина, а то он обидится!» Порекомендовав мне немедленно ехать с визитом к Померанцеву, которого охарактеризовал как человека тяжёлого в отношениях с сослуживцами, Фёдоров сам заторопился с прощальными визитами. Никакого официального, делового разговора мы не вели, и на этом первое свидание моё с Фёдоровым закончилось.

Я последовал совету Фёдорова и всё с тем же провожатым отправился с официальным визитом к полковнику Померанцеву, который, конечно, был уже своевременно уведомлён о моём назначении. Штаб Отдельного корпуса жандармов уведомлял соответствующим приказом, что ротмистр Мартынов (Александр) прикомандировывается с такого-то числа к Саратовскому губернскому жандармскому управлению «для получения содержания», т. е., попросту говоря, жалованья, которое должно

было выдаваться каждого двадцатого числа через Саратовское управление. Этим взаимоотношением, собственно, и ограничивалась моя связь, как офицера Отдельного корпуса жандармов, с начальником местного жандармского управления. Департамент же полиции, со своей стороны, уведомлял начальника Саратовского жандармского управления, для сведения, что ротмистр Отдельного корпуса жандармов Мартынов (Александр) назначен распоряжением министра внутренних дел начальником местного охранного отделения.

Однако взаимоотношения наши, т. е. мои, как начальника Саратовского охранного отделения, и полковника Померанцева, как начальника местного жандармского управления, были несколько сложнее и запутаннее[96].

Теперь, т. е. в середине 30-х годов нашего столетия, когда я приступил к составлению этих записок о моей службе в Отдельном корпусе жандармов, для большинства русских читателей-эмигрантов не является новостью то, о чём когда-то можно было узнать только случайно и стороной. В записках известного жандармского генерала Новицкого, бывшего на переломе столетия начальником губ[ернского] жандармского управления в Киевской губернии, и особенно в докладной его записке, поданной по начальству[97], по случаю «деликатно» высказанного ему совета поспешить с подачей прошения об отставке, ясно видны те неурядицы, которые возникли от поспешного проведения в жизнь нового положения об устройстве провинциальных охранных отделений.

Генерал Новицкий был представителем «старой» жандармской школы и не мирился с «новыми» порядками. Полковник Померанцев был когда-то в прошлом сослуживцем и подчинённым генерала Новицкого и тоже не мирился с новыми порядками. Да и трудно было мириться, говоря по-человечески! Со времени сформирования губернских жандармских управлений в руках их начальников сосредоточивался весь политический розыск в каждой губернии. Естественно, что наиболее оживлёнными в этом смысле центрами являлись губернские города, где и были, конечно, расположены как канцелярии управлений, так и квартиры их начальников. Примерно до 1900 года революционное движение в империи проявлялось отдельными вспышками и не имело широко налаженной организационной связи. Помощники начальников управлений, жившие по уездным городам губернии и зачастую имевшие в своём ведении несколько уездов, в общем, благодушествовали и, мало-помалу обратясь в обывателей мирного провинциального уездного городка, «винтили по маленькой»[98] в тесном кругу

уездной аристократии. Иногда поступали к ним требования от начальства произвести какие-нибудь отдельные следственные действия: допросить такого-то мещанина в порядке 1035-й статьи Уголовного судопроизводства или в порядке положения об охране о том, не проживал ли такой-то в таком-то году в таком-то доме, а если проживал, то… и т. д. В первом случае допрос производился с участием местного товарища прокурора окружного суда, а во втором — без такового.

Иногда поступали требования о производстве обысков или даже арестов. В таких случаях помощник обращался за содействием к местной полиции. Местная полиция стояла ближе к населению и, как правило, знала как обывателя, так и все подробности его жизни; поэтому жандармский офицер, которому приходилось собрать справки о ком-либо, обращался прежде всего к представителю местной полиции.

Я помню по этому поводу очень характерный случай. Примерно в 1909 году саратовский губернатор, граф Сергей Сергеевич Татищев, как-то в разговоре со мной отметил слабость жандармской полиции в уездах и как на пример сослался на следующее происшествие: «Понадобилась мне справка о политической благонадёжности акушерки Т. Акушерка эта подала прошение о предоставлении ей должности с квартирой в Саратове, а до этого она долго жила в Аткарске. Я распорядился собрать о ней сведения, и мой правитель канцелярии отправил обычными путями два запроса: один из них был направлен аткарскому исправнику, другой — начальнику Саратовского губернского жандармского управления. Прошло недели две, и, вот смотрите, получаю два ответа: один от исправника, другой от начальника жандармского управления». Губернатор даёт мне ознакомиться с этими ответами. В обоих почти слово в слово одно и то же — более чем курьёзное описание личности акушерки Т. с добавлением, что таковая представляется личностью нравственно неблагонадёжной, ибо «в течение 30 лет живёт в незаконном сожительстве с земским доктором К.…».

Губернатор отнёсся благодушно к ответам и просьбу акушерки Т. удовлетворил, но одинаковость ответов показала ему ясно, как шло самое дело справок, а именно: аткарский исправник, получив запрос губернатора, отправил этот запрос по месту жительства акушерки становому приставу, а последний поручил собирание справок местному уряднику, который, по своему разумению, отметил то, что он только и знал об этой акушерке. Рапорт урядника, во всей его изумительной простоте чувств, через станового пристава и исправника докатился обратно. Что же делает одновременно начальник губернского

жандармского управления, получив тот же запрос от губернатора? Он посылает его своему помощнику в Аткарском уезде, ротмистру А. Последний не знает акушерки Т. и сам собрать сведения о ней не может. У него нет ни секретных сотрудников, ни даже сколько-нибудь осведомлённых людей, вращающихся в окружении акушерки Т. Ротмистр А. посылает запрос своему жандармскому унтер-офицеру, квартира которого находится в одном стане с квартирой акушерки Т. Унтер-офицер, получив запрос, соображает, что у местного урядника он может получить сведения об акушерке Т. Урядник любезно делится с ним сведениями об изложенном мною выше нравственном облике акушерки Т., а так как у унтер-офицера других сведений нет, то он, по простоте душевной, переписывает данные и заключения урядника и посылает таковые своему ротмистру, который, в свою очередь, перепечатав их на пишущей машинке, представляет эти сведения, без изменений, начальнику губернского жандармского управления, а последний сообщает их губернатору. Положение губернатора при таком порядке вещей было действительно «губернаторское»!

В отдельном корпусе жандармов числилось по штату 1000 офицеров (всегда был «некомплект»!) и 10.000 жандармских унтер-офицеров. Из этого видно, что, когда в наше время в западных газетах мы, русские эмигранты, читали о том, что в числе большевистских жертв насчитывается 40.000 с чем-то жандармов, это является сильным преувеличением. Я думаю, что около 200–300 жандармских офицеров спаслись в эмиграции; остальные в большинстве погибли.

Должностей начальника губернского жандармского управления, как это ясно по числу губернии, в империи было немного. При освобождении вакансии на эту должность штаб Отдельного корпуса жандармов обычно выдвигал кандидата по старшинству чинов. Иногда это был подполковник, всю свою службу проведший на железнодорожной жандармской службе, т. е чисто полицейской по своим функциям, и о политическом розыске, революционном движении, различных партиях, их идеологиях, тактике и прочем знавший только понаслышке. В лучшем случае это был уже пожилой, очередной по старшинству чинов подполковник, помощник начальника губернского жандармского управления, вроде мною описанного жандармского офицера в городе Аткарске.

Конечно, всему делу вредила «военная» организация политического розыска. Получалась двойственность в заведовании этим делом: личный состав руководящих особ в политическом розыске поставлял штаб Отдельного корпуса

жандармов, а руководил розыском Департамент полиции. Последний, путём переписки, личных и письменных сношений, иногда понимал, что такой-то жандармский офицер вполне пригоден для занятия должности начальника губернского жандармского управления, что он интересуется делом розыска, понимает и разбирается в революционном движении. Тогда Департамент полиции начинал производить давление в том отношении, чтобы этот офицер вне очереди, не по старшинству, получил должность начальника губернского жандармского управления. Запутанное положение прояснялось временами, когда командир Отдельного корпуса жандармов занимал также и должность товарища министра внутренних дел, заведующего полицией. В такое, обычно непродолжительное, время (ибо командиры Корпуса жандармов менялись с головокружительной быстротой: за мою девятнадцатилетнюю службу в Отдельном корпусе жандармов их переменилось 10–12!). Департамент полиции мог продвинуть на должность начальника губернского жандармского управления тех лиц, которые действительно могли успешно делать своё дело. Командиры же, которым не рисковали поручить управление полицией в государстве, были обычно чужие для Корпуса люди, причём каждый вносил в дело своего «любимого конька», по существу никакого отношения к делу не имевшего. Так, например, один из последних командиров Отдельного корпуса жандармов, в прошлом кавалерийский офицер, имел в качестве «любимого конька» так называемую «рубку лозы»! Он непрерывно, вероятно с целью увеличения своего содержания «прогонными» деньгами, носился по необъятным просторам империи в сопровождении одного из двух старших адъютантов своего штаба и инспектировал местные губернские жандармские управления. При этом инспекторском смотре центральное место занимала знаменитая «рубка лозы». Надо только вообразить себе какую-нибудь команду из 10–12 жандармских унтер-офицеров, в большинстве пожилых или даже стариков, еле владеющих не только шашкой, но даже пером, или такого же пожилого жандармского подполковника в какой-нибудь глуши Вольского уезда, «рубящих лозу», чтобы понять, какой скандал получался из этих смотров. А генерал и не интересовался другими отраслями дела. Конечно, находившиеся при нём адъютанты осматривали входящий и исходящий журналы и т. д., обращая весьма поверхностное внимание на самую суть дела. Да в большинстве случаев они сами ничего не понимали — ни в отчётах по розыску, ни в самом деле. Однако от состояния лозы при рубке её жандармским унтер-офицером зависела дальнейшая судьба этого офицера. Приходилось учиться «рубить лозу». До

политического ли тут розыска?

С другой стороны, Департамент полиции, обеспокоенный слабым состоянием политического розыска на фоне растущего революционного движения, не будучи в состоянии изменить устарелый порядок, стремился всё-таки внести кое-какие коррективы в дело. В первую очередь надо было поставить на прочную ногу и улучшить политический розыск, хотя бы в наиболее крупных провинциальных центрах, где уже стали образовываться областные центры таких наиболее крупных революционных организаций, как Партия социалистов-революционеров и как Российская социал-демократическая рабочая партия.

В 1902–1903 годах Департамент полиции провёл «Положение об охранных отделениях» и учредил таковые в наиболее крупных городах империи. Насколько я помню, такие отделения были первоначально установлены в Риге, Вильно, Одессе, Киеве, Харькове, Ростове-на-Дону, Екатеринославе, Тифлисе, Баку, Саратове, Томске и Иркутске. Впоследствии было прибавлено ещё несколько отделений и в других крупных городах. Суть дела заключалась в том, что эти города в розыскном отношении были изъяты из ведения соответствующих начальников губернских жандармских управлений и переданы для ведения в них политического розыска вновь созданным охранным отделениям, во главе которых были поставлены молодые офицеры Отдельного корпуса жандармов, уже известные Департаменту полиции как способные и энергичные люди.

На первых порах не обошлось, конечно, без влияний, протекций и т. п. Наряду с действительно удачно подобранными для должности начальников охранных отделений попали и люди с явно карьеристскими наклонностями, не проявившие способностей на новом поприще. Однако в числе первых начальников охранных отделений оказались такие действительно выдающиеся деятели розыска, как ротмистр Спиридович (позже начальник дворцовой охраны и ялтинский градоначальник), ротмистр Герасимов (впоследствии начальник Петербургского охранного отделения), ротмистр Климович (позже начальник Охранного отделения в Москве, затем московский градоначальник, директор Департамента полиции и, наконец, сенатор). Весьма способным розыскным деятелем оказался первый начальник Саратовского охранного отделения, ротмистр Михаил Павлович Бобров, впоследствии, в 1907 году, убитый революционерами в Самаре уже в должности начальника Самарского губернского жандармского управления.

Что же осталось на долю, при новом порядке вещей, тому из

начальников губернских жандармских управлений, у которого был изъят из ведения губернский город? У него остался политический розыск по всей губернии, за исключением главного центра, губернского города. Однако совершенно ясно, что революционное движение шло из центров к периферии, а не наоборот, а потому, если начальник нового охранного отделения оказывался в курсе революционных дел (а в большинстве случаев он оказывался таковым в большей или меньшей степени), то он знал, если не в подробностях, то в главных чертах, течение революционных дел и в уездах своей губернии. А начальники губернских жандармских управлений из-за общей неприспособленности жандармского аппарата к новым и более сложным условиям жизни в государстве не имели сведений даже в пределах своих уездов.

Надо принять в соображение ещё одно условие, отягощавшее всё положение: губернские жандармские управления разделялись на три разряда. В первом разряде были столичные управления; управления второго разряда были в наиболее крупных провинциальных центрах, как, например, в Риге, Вильно, Одессе, Киеве, Харькове, Тифлисе и др.; управления третьего разряда были в остальных губерниях. В зависимости от разряда полагалось денежное довольствие, а начальник Московского губернского жандармского управления, кроме того, мог, единственный, быть в чине генерал-лейтенанта. Отсюда возникало естественное честолюбивое соревнование на тот или иной разряд управления. Отсюда также получалось, что начальники губернских жандармских управлений, числившиеся во втором разряде, смотрели на себя как на избранных среди остальных. И вот как раз у них-то и было отнято заведование политическим розыском в губернском центре, и оно было передано неизвестным до того «молокососам» из жандармских обер-офицеров.

Для этих начальников губернских жандармских управлений получились конфуз и обида. Никто из них не принял нового порядка вещей спокойно и рассудительно, несмотря на то что примеры такого же порядка вещей уже существовали в обеих столицах и в Варшаве, где начальники соответствующих губернских жандармских управлений давно уже не руководили политическим розыском, ограничивая деятельность пределами уездов губернии и производством наиболее крупных дознаний по политическим преступлениям, имея для этого специальный кадр офицеров резерва.

Конечно, была некоторая разница в положении тех и других. Начальники трёх губернских жандармских управлений, где уже

несколько лет функционировали охранные отделения, были назначаемы на эти должности в заслугу за прежнюю отличную службу и, собственно говоря, мирно дослуживали до пенсии. Кроме того, в Петербурге, Москве и Варшаве общая полиция была также выделена и подчинена — где градоначальнику, где обер-полицмейстеру. Охранные отделения в этих трёх городах были просто одним из отделений, на которые делились градоначальства в порядке организационном. Наряду с ними существовали отделения: сыскное, ведавшее уголовным розыском, хозяйственное, административное и т. д. Короче говоря, охранное отделение являлось попросту отделением политического розыска. Прямым начальником для начальника отделения был градоначальник. Начальники же столичных губернских жандармских управлений имели очень отдалённое соприкосновение с градоначальниками.

Не то было в провинции. Там начальник какого-нибудь более или менее крупного жандармского управления имел постоянные сношения с губернатором или даже с генерал-губернатором и являлся его правой рукой по политической информации в губернии. С новым порядком вещей правой рукой по этой части становился начальник охранного отделения, с его в большинстве случаев более полной и точной информацией, которая зачастую выявляла последовательный ход событий. Факты подтверждали предыдущие доклады и информацию, и губернатор постепенно видел разницу в положении дел. Плохая информация, «ребяческий лепет» заменялись ясной картиной текущего революционного движения в губернии. При должном освещении вскрывалось подлинное политическое лицо даже некоторых казавшихся до того вполне благонадёжными чиновников.

Короче говоря, при новом порядке вещей начальник губернского жандармского управления терял часть своего престижа и, главное, терял его у местных властей. Надо согласиться, что немногие были способны перенести это без сопротивления. Такое сопротивление и началось.

Моя служба в должности начальника Саратовского охранного отделения представляла такую яркую картину этого сопротивления, что оно и займёт значительную и весьма яркую часть моих описаний. Однако я воздержусь пока от рассказа об этой борьбе, придерживаясь хронологического описания моей службы и надеясь, что я дал читателю более или менее ясную картину взаимных отношений офицеров Отдельного корпуса жандармов на местах ко времени моего прибытия в Саратов.

Саратовское губернское жандармское управление помещалось в описываемое мною время в одном из тихих районов

города, в просторном двухэтажном, отдельно стоявшем доме зажиточного купца. Верхний этаж был занят квартирой начальника управления, в нижнем находилась канцелярия.

Войдя в канцелярию управления, я обратился к пожилому жандармскому унтер-офицеру и передал ему мою визитную карточку, объяснив, что я хочу представиться начальнику. В канцелярии шла обычная работа: унтер-офицеры, почтенного возраста и вида, подшивали дела; в одном углу писец стучал на пишущей машинке, в другом жандармский поручик, по всей видимости адъютант управления, перебирал очередные хозяйственные ведомости по денежной отчётности. В соседней комнате сквозь открытую дверь виден был другой жандармский офицер, записывавший показания какого-то свидетеля, по-видимому рабочего. Никто не обратил на меня ни малейшего внимания. Я приехал в штатском платье, верный своему решению не показываться в городе в жандармской форме. Через несколько минут возвратившийся унтер-офицер почтительно провёл меня на квартиру начальника управления и ввёл в кабинет полковника Померанцева, сидевшего за письменным столом и вставшего мне навстречу.

Представившись полковнику, я объяснил прежде всего причину моего появления в штатском костюме условиями конспирации, которую я решил не нарушать. По приглашению начальника управления я сел у его письменного стола. Предо мной был высокий, плотный, как говорится, кряжистый мужчина, с сильно поседевшими волосами и довольно полным лицом, несколько напоминавшим известные портреты Петра Великого, но с добавлением чего-то совиного, не то в глазах, не то в общих чертах физиономии. Очень неприветливо, без тени улыбки, которая как будто была неуместна на этом казённом лице, полковник смотрел на меня выжидательно.

Я рассказал полковнику всю мою прежнюю службу. Не скрывая иронии, полковник задал мне вопрос: «Значит, вы не знаете розыскной службы? Как же вы будете исполнять порученное вам дело?» На это я, с возможно большей почтительностью, ответил, что надеюсь найти в нём, как опытном, прошедшем долгую жандармскую службу человеке, доброго советника и что я намерен посвятить себя всецело делу службы. «Кроме того, — добавил я, — директор Департамента полиции нашёл, зная меня лично по предыдущей службе, что я буду вполне подходящим лицом для исполнения возложенных на меня обязанностей».

Продолжая сохранять на лице выражение сомнения, Померанцев перешёл к установленным им с моим

предшественником условиям наших взаимоотношений по служебным вопросам. Я, конечно, подтвердил, что всё выработанное условиями и характером службы будет мною выполнено в согласии с установившейся формой этих взаимоотношений.

Полковник, усвоив себе, что я являюсь новичком в деле розыска, даже повеселел, решив, по-видимому, что он окрутит «молокососа» по рукам и ногам, доказав на практике вздорность новой затеи с охранным отделением. После обычных расспросов о том, где и как я устроился в городе и буду ли присутствовать на проводах ротмистра Фёдорова, моя первая встреча с начальником управления закончилась.

Никакого обнадёживающего впечатления из этой встречи я не вынес, хотя в то время, очевидно по молодости лет, ещё сохранял надежду на то, что, внеся в наши взаимоотношения искренность и чистосердечность, я смогу впоследствии заставить начальника управления «примириться» со мной и сумею устранить возможные шероховатости в нашей совместной работе. Очень скоро я убедился в полной нереальности моих надежд.

Откланявшись, я пошёл в канцелярию управления, где со всех сторон на меня устремились любопытствующие взгляды унтер-офицеров и писцов, узнавших уже, очевидно, обо мне от старика унтер-офицера. Отпустив своего провожатого, я передал ему моё намерение прийти в канцелярию после того, как закончу обед в гостинице, и просил собрать к этому времени тех служащих, которые будут свободны от нарядов.

Когда я часа через два входил в канцелярию охранного отделения, там собралось уже несколько служащих. Письмоводитель Попов представил их мне. Оказалось, что штат отделения был немногочислен. Для нужд самой канцелярии отделения кроме письмоводителя были в наличности три писца; для несения службы наружного наблюдения было около 20 филеров; для связи с местной администрацией, полицией и для выполнения формальных или иногда конспиративных поручений были два полицейских надзирателя. Все служащие не носили, конечно, никакой формы и все числились полицейскими надзирателями Московского полицейского резерва[99], что было установлено в видах пенсионных и иных служебных условий. Этим и ограничивался весь штат Саратовского охранного отделения в то время, когда я принял должность его начальника. С этим штатом я и работал.

По истечении некоторого времени я стал разбираться в «удельном весе» каждого из служащих Саратовского охранного отделения. Одним из курьёзов было сделанное мною вскоре

открытие, что числившийся в отделении письмоводитель — тот самый, встречавший меня на вокзале А.Б. Попов, — никакого отношения к письмоводству не имел, канцелярией не заведовал и течения дел в отделении касался мало. Его отстранение от прямых обязанностей «по должности» произошло, вероятно, по мере того, как мои предшественники убеждались в полной его неспособности заведовать какой-либо канцелярией. Оставаясь в отделении в отсутствие начальника в качестве «старшего», Попов перешёл на роли исполнителя отдельных поручений и хозяина конспиративной квартиры, где происходили очередные свидания начальника отделения с секретными сотрудниками, т. е. с лицами, дававшими охранному отделению освещение событий, происходивших в революционной среде. Это давало ему, как хозяину конспиративной квартиры, дополнительное содержание к его жалованью, так как квартира оплачивалась из специальных агентурных сумм, отпускаемых ежемесячно Департаментом полиции. В описываемое мною время в Саратове таких квартир было три. Вторая конспиративная квартира находилась у заведующего наружным наблюдением П.В. Мошкова, а третья — у полицейского надзирателя и агента для справок Егорова.

Что представляла собою конспиративная квартира, и какие условия должны были соблюдаться по возможности при её найме и выборе хозяина для такой квартиры? Как правило, стремились иметь такие квартиры в разных кварталах города, преимущественно тихих, среди домов, где жили только их владельцы, где не ютились квартиранты и комнатные жильцы. В Саратове, в более отдалённых кварталах, именно где помещались такие с виду тихие домики, обязательно у входа были устроены скамейки, на которых в тёплую погоду, особенно по вечерам, усаживались на прохладе все обитатели с их домочадцами. Всякий проходящий осматривался с присущим провинциалам любопытством, и это зачастую мешало осуществлению свиданий с секретной агентурой, так что приходилось ждать наступления темноты.

Хозяин конспиративной квартиры, как правило, должен был быть избран из самых надёжных служащих, так как ему приходилось встречаться с секретными сотрудниками и, таким образом, он знал в лицо и по имени известную часть агентуры. Для личной жизни у такого хозяина конспиративной квартиры не было ни времени, ни места. Знакомства с кем-либо, кроме служащих отделения, он вести не мог и приглашать к себе на квартиру знакомых тоже не мог. Лучшая комната его квартиры, так называемая гостиная, была предназначена для приёма секретных сотрудников и в отсутствие таковых стояла пустой.

Хотя секретные свидания сотрудника с начальником отделения были заранее назначаемы на определённый день и час, более или менее регулярно, но могли происходить и вызванные какими-нибудь экстренными событиями внеочередные свидания. Хозяину такой конспиративной квартиры во время деловых свиданий начальника отделения с секретным сотрудником полагалось находиться дома. Он открывал дверь, принимал сотрудника в приёмной комнате и удалялся, когда начинался деловой разговор между сотрудником и начальником отделения. Внешность и характер хозяина конспиративной квартиры должны были, как правило, вызывать у сотрудника уверенность, что этот человек, вошедший невольно в тайну отношений сотрудника с начальником охранного отделения, никогда не выдаст его и что тайна этих отношений никогда не будет нарушена.

Надо иметь в виду, что двойственная роль секретных сотрудников, одновременно заставляющая их быть приятелями в своих отношениях к «товарищам» по революционному движению, а затем выдавать их государственной власти, конечно, издёргивала каждого из них. «Человеку нужно место, куда бы он мог пойти», — сказал великий сердцевед Достоевский[100], и в применении к секретному сотруднику это означало, что в конспиративной квартире, в условиях секретного свидания с начальником охранного отделения, такой секретный сотрудник должен был найти дружескую, по возможности задушевную встречу, уют и тепло.

Среди многочисленных секретных сотрудников, с которыми мне пришлось за время моей одиннадцатилетней розыскной службы иметь дело, были разные люди, с различными побуждениями, заставившими их пойти на это опасное дело, и вот с большей частью этих лиц я непременно устанавливал доверительные отношения, причём массу времени я употреблял на разговоры, которые, казалось бы, не имели прямого отношения к делу. Были любители поговорить на тему о партийной идеологии. Надо было быть в курсе идеологии, и мало того, поддерживая тему о каком-либо уклоне в программе той или иной революционной партии, надо было подорвать в сотруднике его возможно образующуюся привязанность к партийной работе, увлекая его на путь помощи государству в его борьбе с подрывными силами. Разные люди требовали разных приёмов беседы с ними. Мне лично всегда было удобнее и приятнее разговаривать с более интеллигентной частью секретной агентуры, а с простыми рабочими я никогда не мог найти свободы обращения и иногда поручал в таких случаях переговорить с ними хозяину квартиры.

Обращаясь к личности моего «письмоводителя», я должен отметить, что это был абсолютно надёжный человек, но, к сожалению, в деле использован быть не мог. Попов, в общем, благодушествовал на службе до самой отставки с пенсией и впоследствии со всей своей многочисленной семьёй устроился на жительство в одном из тишайших провинциальных городов Средней России.

Роль докладчика начальнику отделения по всем делам канцелярии и переписки, хранения дел и подачи справок исполнял писец отделения Антипин. Это был сравнительно молодой человек, лет 28–30, с небольшой «интеллигентской» бородкой, длинными, зачёсанными назад русыми волосами, носивший чёрную рубаху с пояском. Внешность он имел провинциального «земского деятеля» из низовых. Вид был у него серьёзный и задумчивый. На первых же докладах он произвёл на меня впечатление человека неглупого и знающего дело. Не прошло, однако, одного или двух месяцев после моего вступления в должность, как Антипин на одном из своих докладов доложил мне, что он «по домашним обстоятельствам» должен оставить службу в охранном отделении. Выяснилось, что он женится и меняет службу на место конторщика в одном частном торговом предприятии в том же Саратове. Чувствовалась какая-то недоговоренность в словах Антипина. Я указал ему на те неудобства, которые неизбежно произойдут из-за того, что он остаётся жить в Саратове, меняя, однако, всю свою жизнь. Указал на необходимость для него «забыть» обо всём том, что он знал, служа в отделении, и выразил уверенность, что мы в дальнейшем не найдём повода быть друг другом недовольны. Только в этом случае я обещал ему «забыть» со своей стороны об его службе в охранном отделении.

Немедленно я собрал справки о причинах, побудивших Антипина уйти со службы. Почти все служащие отделения дали о нём приблизительно один и тот же ответ: женится на «левой» учительнице, которая повернула его самого «влево». Потому-то он и ушёл. Передо мной встал вопрос: как отнестись к дальнейшему проживанию Антипина в Саратове? Не станет ли он вредить нам? Одно обстоятельство побудило меня «не трогать» Антипина, пока я не получу доказательств его прямой измены: я считался с тем, что сам Антипин в новых условиях жизни и в новой среде едва ли будет склонен посвящать новых знакомых в детали своей прежней службы. Но самым главным соображением было следующее. Мне, конечно, приходилось, особенно на первых порах моей службы в качестве начальника отделения, много беседовать со старшими служащими о практике розыскной службы. Словоохотливые

хозяева конспиративных квартир, Попов, Мошков и Егоров, разновременно, но в большей или менее схожей версии рассказали мне, как год тому назад в Саратове происходил упомянутый мною выше съезд центральных деятелей Партии социалистов-революционеров с участием «бабушки русской революции» и других. Заседания съезда происходили на даче, занимаемой известными социалистами-революционерами Ракитниковыми[101]. Семья Ракитниковых проживала в Саратове и была известна местным властям, как, конечно, и Департаменту полиции, по своей активной и центральной роли в делах партии.

Из рассказов моих подчинённых я выяснил, что местное охранное отделение не имело сведений об этом съезде, так как оно не имело достаточно осведомлённой агентуры в местном отделе Партии социалистов-революционеров. Все сведения находились в руках Московского охранного отделения, которое ко времени съезда командировало группу филеров из так называемого «летучего отряда», направлявшегося в экстренных случаях для наблюдения за центральными фигурами революционного подполья под руководством Евстратия Павловича Медникова, чиновника того же Московского охранного отделения. Медников, приехав в Саратов, конечно, вошёл в связь с начальником Саратовского охранного отделения ротмистром Фёдоровым, получал от него все нужные ему местные справки, пополнял установленное им наружное наблюдение при помощи местных филеров, но в общем всё дело наблюдения по съезду вёл сам.

Однако ни от ротмистра Фёдорова, ни от указанных мной моих служащих не укрылось то обстоятельство, что в числе участников съезда состоит «свой» человек, с которым Евстратий Павлович устраивает конспиративные от всех свидания. Конечно, совсем скрыть то обстоятельство, что Медников получает агентурные сведения тут же, на месте, было затруднительно. Сведения эти нуждались в разработке так или иначе при помощи местного охранного отделения. Кроме того, Медников в Саратове имел около себя своих же бывших подчинённых, которые когда-то служили под его началом в Москве. У них сохранились взаимные доверительные отношения, позволявшие кое в чём преступить строгие рамки необходимой конспирации. Словом, как бы то ни было, но мои старшие служащие по Саратовскому охранному отделению скоро выяснили, что Медников получает агентурные сведения от одного из участников съезда. Любопытство подстрекнуло их «профилировать»[102] самого Медникова в то время, когда он отправился на одно из конспиративных свиданий со своим важным сотрудником. Свидание на этот раз было

мимолётное в одном общественном саду вечером, и мои наблюдатели наскоро рассмотрели высокого, плотного мужчину, которым был всем впоследствии известный Азеф. Тогда, в 1905 году, для сравнительно незначительных служащих розыскного дела, каковыми были мои рассказчики, слышанные ими клички Азефа — «Иван Николаевич», «Толстый» и даже переиначенная фамилия «Азев» и «Азиев» — говорили мало, но они их запомнили и в такой редакции мне эти клички и фамилии и передавали. Правда, Антипин не принадлежал к той группе служащих Саратовского охранного отделения, которые по своей прошлой службе были близки к Медникову, но он фактически был письмоводителем канцелярии отделения. Через него шли шифрованные телеграммы и вся без исключения переписка отделения. Из случайно оброненных фраз, из всей сложной обстановки по делу наблюдения за указанным эсеровским съездом Антипин мог дойти до раскрытия действительной роли Азефа в этом деле.

Когда я, взвесив всё это, остановился на мысли «не трогать» Антипина, мне оставалось только, сохраняя добрые отношения с ним, внедрить в него убеждение, что мы расстаёмся приятелями, но что ему придётся навсегда «забыть» то, чему он был свидетелем на службе в охранном отделении.

Впоследствии, когда начались первые разоблачения Азефа, получило известность некое письмо, переданное наскоро в дверь квартиры одного «общественного деятеля» с предупреждением об Азефе. Письму этому в партийных кругах не придали значения, приписав его провокаторским приёмам «охранки»[103]. Об этом письме в литературе об Азефе высказываются многочисленные и глубокомысленные замечания, однако я лично полагаю, что в деле этого письма мог каким-то образом сотрудничать Антипин.

Мимолётная встреча с ротмистром Фёдоровым у него на квартире оставила у меня впечатление, что мой предшественник по должности чрезвычайно рад новому своему назначению и спешит поскорее убраться подобру-поздорову, пока жив, из Саратова.

Вечером того же дня все жандармские офицеры города Саратова, прежний и новый начальники Саратовского охранного отделения, начальник губернского жандармского управления со своим адъютантом и тремя-четырьмя помощниками и начальник жандармско-полицейского управления Рязано-Уральской железной дороги с адъютантом и двумя-тремя начальниками отделений того же управления должны были встретиться на проводах ротмистра Фёдорова.

Ротмистр Фёдоров попадал на завидное место офицера

Корпуса жандармов, состоящего в распоряжении министра внутренних дел и шефа жандармов П.А. Столыпина, незадолго до этого назначенного на эту должность с поста саратовского губернатора.

В то время имя Столыпина ещё не прогремело на всю Россию, но в Саратове оно было окутано ореолом лучшего из губернаторов, и его преемнику, которого я застал на должности саратовского губернатора, только что до моего приезда вступившему в отправление своих обязанностей, графу Татищеву, приходилось долго испытывать на себе неудобство сравнений. А граф Татищев был далеко не заурядный губернатор!

Будущая близость ротмистра Фёдорова к министру внутренних дел невольно создавала у собравшихся на проводы приподнятость настроения. Симпатия провожавших к уезжавшему в Петербург жандармскому ротмистру была сильно подогрета. Проводы, устроенные в отдельном кабинете «Большой Московской гостиницы», были достаточно помпезны. Громадный стол был заставлен отборными закусками. Саратов недаром расположен у Волги, и все представители рыбного царства были распростёрты на блюдах во всём великолепии. Икра всех видов, стерлядь, балыки, целый ряд блюд большого ужина с водками и винами — всё это радовало глаз и отягощало желудок. Меня посадили за стол рядом с виновником торжества. По другую его сторону оказался местный полицмейстер Владимир Николаевич Мараки. Председателем за ужином был местный вице-губернатор[104], человек пожилой, тучный и, видимо, большой любитель таких торжественных ужинов. Через несколько месяцев он, кажется, ушёл в отставку и вскоре скончался. Следующий за ним, по чину полковник, был человек далеко не светский, и за ужином это ясно чувствовалось. Он мало ел, мало пил, держался натянуто, боясь, видимо, уронить своё достоинство среди подчинённых. Его присутствие заметно связывало всех.

Мой сосед, В.Н. Мараки, был в прошлом жандармским ротмистром, и это создавало ему более доверительные отношения с жандармскими офицерами. Кое-кто из недоброжелателей Мараки намекал на какой-то случай, заставивший Мараки переменить жандармскую службу на общеполицейскую, но я никогда не смог удостовериться в этом. В то же время я сам знал не одного жандармского офицера, покинувшего Корпус жандармов, переменив службу в нём на полицейскую в провинции. Мы такую перемену называли «отхожим промыслом». Из известных мне случаев такого «отхожего промысла» назову случай с кронштадтским полицмейстером, ротмистром Садовским, моим сослуживцем по Петербургскому губернскому

жандармскому управлению, перешедшим на полицмейстерскую должность с должности помощника начальника Кронштадтского жандармского управления; далее назову ротмистра Фуллона, занимавшего должность белостокского полицмейстера около десяти лет и в 1916 году эвакуировавшегося в Москву, где он получил такую же должность; ротмистра Климовича (позже, последовательно, московского градоначальника, директора Департамента полиции и сенатора), около 1904 или 1905 года бывшего виленским полицмейстером и одновременно начальником Виленского охранного отделения; моего однофамильца, ротмистра Петра Ивановича Мартынова, бывшего бакинским градоначальником, а до этого полицмейстером в одном из южных городов России. Все описанные случаи вовсе не имели под собой какой-нибудь неприятности по службе. Все перечисленные лица были выдающиеся офицеры Корпуса жандармов.

В.Н Мараки, с которым я прослужил в Саратове около года или немного более и сохранил наилучшие служебные и личные отношения, был необыкновенно приятным и чрезвычайно тактичным человеком. Средних лет, с несколько помятым лицом греческого типа, скромный и одновременно приличный с виду, он умел ладить со всеми без всякого лакейского угодничества (до которого часто доходили наши провинциальные полицмейстеры в своих отношениях с губернаторами) и сумел выгодно себя поставить в глазах всего саратовского общества. Впоследствии, когда я почти ежедневно бывал на завтраках у губернатора графа Татищева, в самой обычной будничной атмосфере, за столом у губернатора я имел возможность наблюдать скромную и вместе с тем независимую манеру держаться с начальством у этого отличного полицмейстера и воспитанного светского человека. Очень много в поддержании добрых отношений как с властями, так и с обществом делала его жена, Мария Николаевна, красивая, петербургского типа, светская дама. Она была очарована бывшим губернатором Столыпиным и впоследствии, беседуя со мной откровенно на разные темы, мило позволила себе говорить, что губернатор Татищев «дитё», и не могла выносить каких-либо сравнений с его предшественником. Она добилась в конце концов того, что Столыпин перевёл Мараки в Петербург на одну из шести полицмейстерских должностей в столице.

Начальник жандармского железнодорожного полицейского управления генерал-майор Николенко был старшим по чину жандармским офицером в городе. Высокий, красивый, с точеными чертами лица, с выхоленными седыми усами и бородкой клином, в пенсне, со стройной для пожилого человека фигурой, отлично

одетый, он был воплощением корректности, но какой-то неестественной, натянутой. Из всех его качеств запомнилась мне только эта корректность. Свою железнодорожную полицейскую службу он, вероятно, знал до тонкости. От него так и исходило сознание, что полицейский протокол о происшествии на железной дороге есть центр его жандармского долга; что же касается политическо-розыскной работы, то это его не касалось вовсе, это было каким-то неприятным и не совсем чистым делом разных губернских жандармских управлений и охранных отделений. Особенно охранные отделения, как нечто новое в его длительной службе, были для него и непонятным, и нежелательным явлением. Прежде у него бывали только служебные взаимоотношения с начальниками губернских жандармских управлений. В большинстве случаев именно они занимались активным политическим розыском — но только на словах, а не на деле. Это были, как и Николенко, охотники «повинтить» с представителями местного общества в клубе или по квартирам мирных обывателей, и всё шло хорошо и более или менее гладко. Но вот появились «какие-то новые» охранные отделения, с беспокойными начальниками, все какими-то «молокососами» по службе, и вот нужно считаться с ними, а уже не третировать их, как полагается старшему жандармскому генералу в городе!

Один из его подчинённых, начальник саратовского отделения того же жандармско-полицейского управления, ротмистр Сергей Иванович Балабанов, положительно выделялся из всех присутствовавших на проводах своей импозантной наружностью. Представьте себе затянутого в полную парадную жандармскую форму великолепного мужчину с сильно выраженной южноармянской внешностью, лет сорока, среднего роста, крепкого, довольно коренастого брюнета, всего заросшего усами и громадными, также великолепными, бакенбардами, не то «скобелевского», не то «горемыкинского» образца[105], с армянскими миндалевидными чёрными глазами навыкат. Ротмистр Балабанов держался соответственно своей наружности, т. е. сохранял невозмутимую величественную позу и говорил с подчёркнутым достоинством. На железнодорожном вокзале, при встрече приходивших поездов, на виду у публики он, несомненно, должен был производить впечатление. Считая себя неотразимым донжуаном, он, по-видимому, имел успех у железнодорожных барышень-блондинок. Собственно говоря, этот успех у прекрасной половины рода человеческого занимал не последнее место в его жизни. Делами же чисто жандармскими этот ротмистр занимался, только поскольку это входило в его чисто полицейскую службу на

железной дороге. Следуя всецело своему начальнику, генералу Николенко, бравый железнодорожный жандармский офицер презирал политический розыск, да, кстати, и ничего в нём не понимал. Но зато не было более усердного винтера в городе. Служба была нетяжёлая, и времени для винта было сколько угодно.

Мы с ротмистром Балабановым долго поддерживали хорошие отношения и бывали друг у друга. Впоследствии, в 1909 году, одно происшествие, о котором я расскажу своевременно, испортило наши взаимоотношения.

Другой начальник железнодорожного отделения, квартировавший в Покровской слободе, большом пригороде Саратова (но на другом берегу Волги), был ничем не выделявшимся молодым жандармским офицером, так же как и два адъютанта начальников жандармских управлений, присутствовавших на ужине.

Мне остаётся ещё сказать несколько слов о трёх помощниках начальника губернского жандармского управления. Одним из них был подполковник Пострилин, в прошлом казачий офицер. Это был типичный казак по наружности и отличный жандармский офицер, с любовью относившийся к своему делу и большую часть своего времени проводивший не в уезде, а в канцелярии управления, где производил дознания по государственным преступлениям. Деятельность его была чисто следовательской, т. е. та, которой я занимался в Петербургском управлении до моего назначения в Саратов. Поскольку он мог, в зависимости от совершенно ничтожных средств, отпускавшихся ему на «агентуру», Пострилин собирал кое-какие сведения по своему уезду, пополняя их данными из производимых им дознаний. Несколько раз он добросовестно указал мне лиц, которых ему пришлось допрашивать по поводу революционной деятельности и которых я мог использовать как секретных сотрудников. Это уже была незаурядная помощь мне, и в этом отношении подполковник Пострилин выделялся из всех других офицеров управления. У него была любовь к политическому розыску, но на своей скромной должности ему нечем было показать себя. Однако ему всё же удалось выдвинуться. Вероятно, помогли казачьи связи, бывшие, особенно в последнее время, довольно сильными в нашем Корпусе. Пострилин попал в помощники начальника Московского охранного отделения приблизительно в 1908 году.

Другой помощник начальника управления, ротмистр Рафаил Александрович[106] Бржезицкий, был человек совсем иного склада. Поляк по национальности, окончивший Военно-юридическую академию и решивший перейти на службу в

Отдельный корпус жандармов, он должен был принять предварительно православие, ибо в Корпус не допускались не только католики, но даже и женатые на католичках. Типичный поляк по внешности, в то время он уже не был молодым человеком. Полуседой, с резкими, но красивыми чертами лица, Бржезицкий был в общем неглупый, образованный офицер, но с какой-то явно проступающей апатичностью во всей своей фигуре. В управлении он занимался производством дознаний по политическим преступлениям, как юрист по образованию. Он был бы вполне на своём месте, если бы у него имелась хоть какая-нибудь искорка, побуждающая его к жандармскому делу. Но такой искорки у ротмистра Бржезицкого не было вовсе, и он равнодушно тянул служебную лямку, стремясь только к тому, чтобы избежать служебных осложнений. Так он надеялся прослужить до вожделённого часа, когда высшее начальство, вспомнив про его академический значок, вознесёт его, может быть и не в очередь, а через головы других безнадёжных кандидатов, на должность начальника управления.

В политическом розыске Бржезицкий ничего не понимал, и по своему внутреннему отчуждению от этого рода жандармской службы он никогда и не смог бы продуктивно её исполнять. При этом Бржезицкий был высокого мнения о своей особе и всегда давал несколько чувствовать своё превосходство над сослуживцами. Женатый, но бездетный, ротмистр держался немного обособленно. Раза два в год «принимал» у себя сотоварищей по службе. Всё было очень корректно, несколько скучно, играли в винт «по маленькой», и все имели возможность послушать его колкие, меткие и несколько озлобленные замечания. Он был приятный собеседник.

На какую-либо помощь ротмистра Бржезицкого я рассчитывать, конечно, не мог, но лично я до конца моей службы в Саратове оставался в хороших отношениях с этим неудавшимся жандармским офицером и корректным джентльменом в частной жизни.

Третий помощник начальника управления, молодой ротмистр, жил в пригороде Саратова, Покровской слободе, принадлежавшей территориально к Самарской губернии, но в деле жандармского наблюдения состоявшей под ведением начальника Саратовского губернского жандармского управления. Этого ротмистра мы все, «саратовцы», как-то мало видели, да он и был человеком слишком незаметным, чтобы остановить внимание.

Хочу ещё отметить присутствие на проводах двух крупных деятелей местной администрации: правителя дел канцелярии

губернатора Николая Августовича Шульце и местного тюремного инспектора Вл. М. Сартори. Первый был небольшого роста, живой, подвижной немчик, женатый на местной немке. Эта супружеская пара была типичной представительницей немецкой культуры. На видном месте, на обязательном преддиванном столике в их гостиной лежал семейный альбом, и на первой странице этого альбома я, к величайшему изумлению и возмущению, увидел портрет Императора… но не Императора Николая II, а Императора Вильгельма II! Шульце, как и подобает немецкому «буршу», любил пиво, хотя и вообще был не дурак выпить; любил немецкие остроты и анекдоты; но, насколько я смог понять, своё канцелярское дело он знал.

Тюремный инспектор Сартори был премилый обрусевший грек, мало овладевший служебным делом. Дисциплина при нём в тюрьме была неважная, и я ни разу не получил от него никакого содействия в своей работе. Я знал по агентурным данным, как политические заключённые в тюрьме сносятся с «волей», как это производится свободно и легко; но никогда ни один из подчинённых Сартори не сделал попытки предотвратить эти сношения или доставить по начальству перехваченную переписку, в которой могли быть весьма важные для меня данные.

Тюремный инспектор Сартори был, как говорят, милейший человек, и я с ним до конца оставался в прекрасных личных отношениях. По внешности это был уставший, изнемогший человек, еле пожимавший подаваемую ему руку. Он охотно со всем соглашался. Видимо, его личные семейные дела и доминировавшая над ним властная супруга отвлекали всё его внимание от служебных дел.

Из приведённых выше характеристик должностных лиц города Саратова читатель может вывести заключение о широкой терпимости российского правительства к представителям нерусской национальности, допускаемым к занятию более или менее ответственных служебных постов. Тут налицо были и греки, и поляки, и армяне, и немцы. Впрочем, были тоже и русские. Правда, часть этих русских была жената тоже не на русских.

На другой день с утра я поспешил к себе в отделение. Я ожидал длительного и обстоятельного разговора с Фёдоровым, но с первых же слов натолкнулся на всё ту же торопливость ротмистра, уже одевавшегося в парадную форму и спешившего сделать прощальные визиты. Мы решили, что мы встретимся через час у губернатора, которому ротмистр Фёдоров меня и представит.

Ротмистр наскоро сунул мне несколько тетрадей дел, обещав мне, что в тот же день, к вечеру, он познакомит меня с

некоторыми секретными сотрудниками на конспиративных квартирах, и быстро исчез, оставив меня в обществе Антипина.

Я позволю себе отступление и изложу в краткой форме письменную процедуру, принятую в охранных отделениях.

Надо сказать прямо, что в то время, т. е. в 1906 году, этот порядок был из рук вон плох. Представьте себе начальника местного политического розыска, всё равно в какой должности, который вернулся только что с конспиративного свидания с одним из своих осведомителей, или, как мы их называли, «секретных сотрудников»[107]. У каждого такого начальника, вернувшегося к себе домой или в свою канцелярию, в большинстве случаев в боковом кармане пиджака (конспиративные свидания с секретными сотрудниками, конечно, осуществлялись в штатском платье), лежал листок бумаги, на котором сверху обычно проставлялись день, месяц и год свидания, а также кличка сотрудника. В зависимости от важности полученных сведений начальник розыскного учреждения принимал меры для дальнейшего розыска, а самую записку или просто укладывал в соответствующую папку (носившую кличку секретного сотрудника), или, если такой начальник был человеком аккуратным, эту черновую записку переписывал, в обработанном и доступном пониманию других изложении, в специальную, для каждого секретного сотрудника заведённую тетрадь. Аккуратные начальники переписывали, кроме того, все указанные в агентурной записке фамилии революционных деятелей, с пометами о сущности их революционной активности, на алфавитные листы. Эти два рода агентурных и секретных записей хранились в личных делах у самого начальника розыскного учреждения. Но эту длинную процедуру проделывали далеко не все начальники розыскных учреждений того времени, и у своего предшественника я нашёл только «папки», в которых в большом беспорядке лежали наскоро набросанные заметки. Разобраться в них мог только (и то, вероятно, с трудом) сам автор.

Получал ли Департамент полиции этот необработанный сырой материал о готовящихся революционных действиях, предположениях и планах? Нет, не получал. В исключительных случаях особой важности в Департамент полиции посылались записки, где излагались эти планы и добавлялось, какие именно меры розыска предприняты для дальнейшего освещения или ликвидации этих планов. Обычная же, так сказать, ежедневная активность революционной работы, запечатленная в агентурных данных, совсем ускользала от Департамента полиции. Как же, однако, эта революционная активность данного района доходила

до Департамента полиции и как она фиксировалась последним на регистрационных карточках отдельных активных революционеров?

Делалось это главным образом только тогда, когда начальник розыскного учреждения производил ту или иную «ликвидацию» революционной группы. После ряда обысков и арестов и после осмотра отобранного по обыскам материала в распоряжение начальника розыскного учреждения поступал иногда достаточный материал для выявления ясной картины всей предыдущей революционной активности ликвидированной группы. То, что почему-либо не могло быть вскрыто агентурой или другими способами розыска, выяснялось наглядно на основании отобранных по обыску материалов.

Вот по этим-то результатам обыска плюс по собранным раньше агентурным данным начальник розыскного учреждения и составлял свой доклад для Департамента полиции. Взятые из такого доклада данные и были регистрируемы Департаментом полиции в «центральном» для всей империи регистрационном столе[108].

Слабая сторона этой системы, или, вернее, бессистемности, заключалась в том, что она не позволяла Департаменту полиции сделать заключение о действительной силе агентуры, которой располагали розыскные учреждения. Пользуясь материалом, получаемым по обыскам, начальник розыскного учреждения мог совершенно безнаказанно уверять Департамент полиции, что заключенные в них данные были ему известны заблаговременно из агентурных источников.

Впоследствии, начиная с 1908 года, Департамент полиции совершенно преобразовал этот беспорядок агентурной отчётности, заменив его целым рядом специальных листов на разноцветной бумаге: по агентурным сообщениям секретных сотрудников, по наружному наблюдению и т. д. Эта отчётность посылалась уже не периодически, как раньше, в зависимости от «ликвидации» или просто от желания начальника розыскного учреждения, а систематически, непрерывно, давая Департаменту полиции ясное представление о ходе всей розыскной деятельности на местах.

Были в этой новой системе прорехи и неувязки, но зато Департамент полиции стал хозяином положения и мог действительно контролировать розыск на местах.

Прежде, включая и то время, когда я начал розыскную деятельность в Саратове, в самом Департаменте полиции не было специалистов розыска, и потому, пользуясь бессистемностью отчётности по розыску, некоторые его представители на местах

доминировали над центральным учреждением и в своём роде были всесильны.

Для наглядности я укажу на следующий пример. До 1908 года Департамент полиции знал секретных сотрудников того или иного розыскного учреждения только по кличкам. Это была как бы привилегия для начальника розыскного учреждения сохранять в тайне от кого бы то ни было личность своего секретного сотрудника-осведомителя. Эта привилегия придавала известную силу положению самого начальника местного розыска. Такого начальника розыска не так-то легко было убрать с должности или переместить с одного служебного поста на другой, ибо с ним могла исчезнуть и его агентура. Ведь не всякий секретный сотрудник, особенно, конечно, из крупных, почему-либо доверившийся, скажем, полковнику М., стал бы оказывать услуги новому начальнику розыскного учреждения, скажем, полковнику С. На практике бывали случаи при прежнем порядке вещей, что при переводе начальника розыскного учреждения из одного города в другой или из одной губернии в другую ему удавалось «захватить» с собой и «своего» секретного сотрудника.

И этот порядок был изменён. При новой отчётности Департамент полиции ввёл правило, что каждый начальник розыскного учреждения немедленно после того, как «заполучил» нового секретного осведомителя, обязан был сообщить об этом директору Департамента полиции особо секретным докладом, в котором подлинные имя, отчество и фамилия секретного сотрудника были зашифрованы. Секретные сотрудники перестали быть как бы собственностью начальника розыскного учреждения, а стали передаваться, в случае перевода начальника розыска, в распоряжение его преемника.

В Департаменте полиции, в особом деле и в особом шкафу у заведующего так называемым Особым отделом, хранились списки всех секретных сотрудников по всей империи[109].

Выгодная сторона этой системы заключалась в том, что Департамент полиции, зная личность секретного сотрудника — особенно в тех случаях, когда он занимал более или менее выдающееся положение в подпольной организации, — мог критически относиться к даваемым им сведениям.

Невыгодная в своём роде сторона выявилась в первые дни революции 1917 года, когда списки всей агентуры попали в руки революционных властей и предрешили участь зарегистрированных секретных сотрудников прежнего правительства.

Однако так или иначе, но с новой отчётностью, введённой Департаментом полиции в 1908 году, изменился и порядок

информации, сообщаемой с мест. Новый порядок требовал, чтобы начальник розыскного учреждения немедленно по получении сведений от секретного сотрудника отослал их на особом листе в Департамент полиции. В этом листе должны были быть помечены дата получения сведений, кличка сотрудника, их сообщившего, и подпольная организация, которой эти сведения касались. Должны были быть также изложены самые сведения в том именно виде, как они получены от секретного осведомителя. Сбоку, в особой графе, начальник розыскного учреждения делал разъяснительные отметки о включенных в сведения личностях и писал свою резолюцию о том, что он намерен предпринять в дальнейшем по этим данным.

Дело, как видно, изменилось существенно и обернулось для начальника розыскного учреждения тяжёлой стороной. Если, положим, в мае такого-то года начальник розыскного учреждения сообщил Департаменту полиции в листе указанной выше формы агентурные (сырые) данные о подготовляемой такой-то подпольной группой установке тайной типографии, а «ликвидация» этой группы, положим, в сентябре того же года не подтвердила эти данные, то тут уж никакой начальник розыскного учреждения не мог составить для Департамента полиции доклад, сводящий воедино и агентурные сведения, и результаты «ликвидации».

Однако новая система, имея за собой много положительного, особенно в смысле контроля за состоянием агентурного освещения на местах, создавала такую громадную бумажную отчётность, что при наличных слабых силах розыскных учреждений (особенно провинциальных) её не так просто было осуществить, тем более в первые годы после введения новой отчётности, когда революционное подполье было всё ещё активно.

Была и другая слабая сторона. Департамент полиции при новом порядке стал получать огромное количество «сырого» материала, заключенного в агентурных сообщениях секретных сотрудников. Часть этих секретных сотрудников, по разным причинам, о которых я расскажу дальше, весьма часто сообщала неверные, фантастические сведения, которые, однако, регистрировались, особенно в тех случаях, когда начальники розыскных учреждений относились к своему делу «казённо» или не понимали сами политической обстановки и момента. Данные эти поступали в Департамент полиции со всех концов империи как лавина. Они, конечно, получали известную разработку; однако вносились также и на регистрационные листки по «агентурному» или «Особому отделу» Департамента и служили

часто основанием для справок о том или ином лице. Мы, начальники розыскных учреждений на местах, постоянно получали из Департамента полиции особые циркуляры с обозначением фамилий тех секретных сотрудников, которые оказались «не заслуживающими доверия». Однако же получаемые от них до этого сведения оставались часто и подолгу во всей полноте в делах как начальников розыска на местах, так и Департамента полиции. В этом заключалась вредная сторона «сырых» агентурных данных, сообщаемых в Департамент полиции согласно новому порядку.

Сделав это небольшое отступление от рассказа о первых днях моей деятельности в Саратове, я перейду к изложению событий в их последовательности.

Из краткого разговора с Антипиным я уяснил, что кроме находившейся у начальника охранного отделения отчётности по секретной агентуре у него же на руках находится и вся денежная отчётность отделения.

Эта отчётность заключалась в ряде расписок на истраченные по тем или иным делам деньги и в ведении особой денежной книги, где записывались расходы по статьям. Отчётность денежную приходилось вести самому начальнику отделения. Прескучное занятие!

К сожалению, теперь, за давностью времени, я уже не могу припомнить общей суммы расходов отделения на розыск. Но едва ли я ошибусь, если скажу, что для этого Департамент отпускал в месяц около 3000 рублей. Департамент присылал деньги раз в месяц. Они должны были покрывать жалованье служащих (кроме начальника отделения, который своё содержание, как офицер Отдельного корпуса жандармов, получал через начальника Саратовского губернского жандармского управления), оплату конспиративных квартир, оплату секретных сотрудников, наём квартиры для канцелярии и другие мелкие расходы.

Жалованье служащих отделения было мизерное, не более 35–40 рублей в месяц. Тот из них, кто являлся и хозяином конспиративной квартиры, получал добавку к содержанию. Таких счастливцев было всего три человека. Канцелярских чинов и агентов наружного наблюдения было всего до 25 человек.

Если принять во внимание, что за каждым наблюдаемым лицом требовалось поставить «наряд» в два филера, а их было всего в отделении не более 20 человек, то ясно, что Саратовское охранное отделение могло вести так называемое «наружное наблюдение» не более как за 8–9 лицами ежедневно.

Просмотревши наскоро всю отчётность отделения за последний месяц и убедившись, что денежной наличности уже

нет, ибо оказался небольшой перерасход (который надо было покрывать экономией в следующем месяце), я вспомнил о назначенном представлении губернатору.

П.А. Столыпин, в бытность свою саратовским губернатором, построил очень нарядный с виду двухэтажный особняк в центре лучшей части города. Это и был губернаторский дом. При доме был небольшой садик, окружённый забором. Парадные комнаты второго этажа, деловой служебный кабинет и столовая были поместительны и достаточно импозантны. При входе дежурил городовой.

В вестибюле, кончавшемся широкой лестницей во второй этаж, я встретился с ротмистром Фёдоровым. Губернатор не заставил нас ждать. Ротмистр Фёдоров доложил ему о цели нашего прихода.

Граф С.С. Татищев был очень красивый, лет сорока, не более, высокий, очень хорошо сложенный шатен с редковатыми волосами и небольшой бородой и усами на тонком породистом лице. При первом же впечатлении, которое так потом и не изменилось, у меня создалось убеждение, что губернатор — прямой, искренний, несколько сдержанный человек. Он пожелал ротмистру Фёдорову дальнейших успехов по службе, выразив сожаление, что ему приходится лишиться уже опытного сотрудника по ответственной части управления губернией, и тут же заявил мне, что надеется найти во мне достойного заместителя уходящему из Саратова начальнику политического розыска. В разговоре, длившемся около получаса, губернатор имел полную возможность познакомиться с моим прошлым, которое, по моей молодости и недостаточной опытности в политическом розыске, не могло ему, думаю, слишком импонировать. Впечатление, вероятно, у него должно было сложиться скорее отрицательное. К тому же сам губернатор был всего несколько месяцев в своей новой должности, и ему, понятно, желательны были люди, уже укрепившиеся на местах.

Я постарался засвидетельствовать губернатору моё самое искреннее и настойчивое желание быть полезным ему в точной и правдивой информации, обещав давать ему наиболее верное отражение всего того, что делается в местном революционном подполье.

Впоследствии я узнал, что начальник губернского жандармского управления, посетив губернатора на другой день после моего представления, изобразил моё назначение в самых мрачных красках для дела. В результате некоторое время я продолжал чувствовать при деловых сношениях с губернатором нотку сдержанного недоверия, которая, однако, исчезла, к моему

удовольствию, довольно скоро, и впоследствии я встречал со стороны графа только чувство доверия, которое нельзя было разрушить никакими происками или наветами. В свою очередь, я до конца службы питал к этому прекрасному человеку редкой душевной чистоты и порядочности чувство беспредельного уважения.

Чрезвычайно простой в своих привычках, вкусах и ежедневной жизни, Татищев пользовался полным семейным счастьем. Его жена, красивая более внутренней, чем наружной красотой, спокойная, милая, добрая дама, очаровывала каждого, кто имел случай ближе с ней познакомиться. У них было двое детей. Старшего сына, маленького бутуза, звали Никитой. И сейчас помню, как часто для неурочного доклада, вызванного каким-нибудь экстренным делом, я заходил к губернатору вечером, заставал его за столом, заваленным делами, читающим и разбирающим бесчисленные доклады и заметки, — а в углу, в кресле, под светом мягкого абажура, милая графиня занималась рукоделием, не желая расставаться с любимым человеком. Как напоминало мне это мою личную семейную обстановку и мою бесценную, всю себя мне посвятившую жену.

Как известно, впоследствии граф С.С. Татищев занял в конфликте с местной администрацией пресловутого, недоброй памяти монаха Илиодора позицию, неугодную правительству, и подал в отставку. Вскоре он был назначен начальником Главного управления по делам печати и, недолго пробыв на этой должности, скончался от последствий случайного пореза при бритье, вызвавшего гнойное воспаление.

Раскланявшись с губернатором, я расстался и с ротмистром Фёдоровым, спешившим закончить прощальные служебные визиты, условившись с ним встретиться снова у него на квартире вечером, когда он обещал мне пойти вместе на конспиративную квартиру для первого знакомства с одним из секретных сотрудников.

Поздним вечером мы пошли с ним по слабо освещённым центральным улицам и скоро подошли к наиболее оживлённому центру на Немецкой улице, завернули за угол какого-то переулка и вдруг… ротмистр, шепнув мне на ходу: «Сейчас, сейчас, мне только надо проследить, куда идёт этот молодец!», юркнул в окружающую нас темноту и помчался в сторону. Я очутился в пренелепом положении, один, в незнакомом городе, на перекрёстке каких-то тёмных улиц, не зная, что делать дальше. Я решил подождать и стал прогуливаться по тротуару.

От нечего делать я стал размышлять, и невольно сомнения стали заползать в мою душу. «Почему, — думал я, — ротмистра,

сдавшего уже мне свои обязанности, заинтересовал какой-то неизвестный тип, по всей вероятности, из местного революционного подполья?» Насколько я понимал, начальник розыскного учреждения не обязательно знал в лицо наблюдаемых. Это было делом «филеров». Да есть ли у Фёдорова агентура вообще? Я гнал от себя эту мысль, как недопустимую. Впоследствии оказалось, что на самом деле я был весьма близок к истине.

Прождав около часа на улице и так и не дождавшись возвращения ротмистра Фёдорова, я с некоторыми затруднениями всё же добрался до гостиницы. А утром следующего дня ротмистр Фёдоров укатил в Петербург, весёлый и радостный от перспектив более спокойной жизни, и приблизительно через три недели был убит при взрыве на Аптекарском острове, когда вместе с ним погибло немало лиц, собравшихся на приём к министру, и была тяжело ранена и дочь П.А. Столыпина[110].

Прежде всего я занялся выяснением вопроса о наличности и качестве имевшейся секретной агентуры отделения и уже к концу недели установил нерадостный для меня факт, что наличной агентуры мало и что та, что имеется, состоит просто из вспомогательных агентов, могущих давать скорее случайные сведения о революционных выступлениях, о времени и месте рабочих «массовок» за городом и т. д. Кое-какое осведомление давал рабочий из железнодорожных мастерских, имевший связь с активными деятелями местной организации Российской социал-демократической рабочей партии, большевистской фракции.

Эту же организацию освещал сотрудник по кличке «Иванов»[111], находившийся в то время в отъезде. Он участвовал в происходившей в Финляндии конференции партии. Самое его участие в такой конференции уже показывало, что «Иванов» являлся ценным сотрудником. Пересмотрев его записи, я понял, что «Иванов» состоит членом саратовского городского комитета партии. Было ясно, что «Иванов» является самым ценным осведомителем Саратовского охранного отделения. Но его возвращение в Саратов можно было ожидать только месяца через два, а до того времени я должен был довольствоваться наличными, весьма слабыми силами внутренней агентуры. Я убедился, что Партия социалистов-революционеров и её организация в Саратове совершенно не освещены агентурой. Это являлось большим минусом, особенно если принять во внимание, что Саратов был «насиженным» местом для деятелей этой партии.

Разговоры с подчинёнными укрепили меня в убеждении, что самая главная часть агентурного освещения, т. е. роль, значение и

личности деятелей саратовской организации Партии социалистов-революционеров, хромала безнадёжно. На это указывали два факта из практики предыдущего 1905 года, слишком известного в истории России своими революционными проявлениями именно со стороны деятелей этой партии. Во-первых, в мае 1905 года в Саратове был убит генерал-адъютант Сахаров известной Анной[112] Биценко (после большевистского переворота примкнувшей к большевикам), и, во-вторых, в августе того же года происходил в Саратове тот съезд главных деятелей партии с участием Азефа, о котором я упомянул ранее. Оба эти крупные события местное охранное отделение проглядело.

В то время жизнь революционного подполья была очень активна и не прекращалась даже в случае удачных и повторных «ликвидаций». Поэтому осведомление со стороны даже мелких секретных сотрудников, при внимательной, вдумчивой и последовательной работе отделения, приносило плоды. Но не было налицо главного — не было полной картины, которая верно отражала бы всё подпольное движение в Саратове. Надо было по отдельным кусочкам, по намёкам, по отрывочным данным восстанавливать эту картину.

Я скоро понял, что главным предметом моей деятельности должно стать приобретение такой агентуры внутри местной Партии социалистов-революционеров, которая смогла бы не только нарисовать ясный план её организации и деятельности, но и выяснить и освещать для меня её намерения на будущее. Понял-то я это скоро, но не так легко было осуществление этих замыслов. Приобретение секретного сотрудника из среды руководящих местных деятелей социалистов-революционеров являлось задачей, которая осуществляется не в один день. Подлинного планомерного освещения местной организации Партии социалистов-революционеров я добился только через год после моего вступления в должность начальника отделения. Вся моя деятельность в Саратове делится на два периода: до и после построения агентуры. Первый год моей деятельности, как бы он ни был удачен по произведённым мной ликвидациям (а их приходилось за то время не менее одной или двух в неделю), всё же характеризует отсутствие у меня полной и ясной картины всего революционного местного подполья. Остальные пять лет моей розыскной деятельности в Саратове, когда я знал более или менее детально всё то, что не только делается революционным подпольем, но и то, что задумывается, были более продуктивны — я мог предупреждать вовремя революционные выступления.

Главное и основное ядро революционного Саратова издавна представлялось местными социалистами-революционерами,

которые постепенно поднялись до значения лидеров партии. Часть их, коренных жителей Саратова, уже насквозь «процеженных», многократно подвергавшихся аресту и высылаемых в административном порядке в места как отдалённые, так и «не столь отдалённые», по разным причинам, а больше из-за пресловутой русской халатности и добродушия, возвращавшихся на насиженные места, вела себя внешне смирно, с большой осторожностью, но так или иначе являлась связью с активными работниками партии.

Простое наблюдение путём «наружной» слежки за такими жителями не давало ничего и было мною вскоре прекращено, как бесцельное, хотя и практиковалось до моего приезда в Саратов и даже первое время после приезда неоднократно.

В 1906 году в Саратовской губернии существовало несколько комитетов этой партии: городской, губернский и областной на Поволжье. Непрерывными, часто очень удачными ликвидациями мне удалось добиться значительного сокращения как числа организаций, так и количества их активных членов. К началу 1908 года вместо оставшихся на бумаге комитетов местная Партия социалистов-революционеров была представлена только законспирированной небольшой группой, лидером коей являлся некий Левченко, старый революционер, служивший в одном из отделов городского управления. Пока я добрался до этого гнезда местных социалистов-революционеров, прошёл год.

На левом фланге социал-революционных организаций выступали разрозненные и мало между собой связанные группы максималистов, максималистов-индивидуалистов[113] и слабо проявлявших себя анархистов. Отличить от простых бандитов все эти крайние «левые» группы, совершавшие свои «эксы» (т. е. экспроприации) и налёты равно как на казённые учреждения и государственных служащих, так и на частные предприятия и отдельных зажиточных людей, было весьма затруднительно. Выпускавшиеся некоторыми из групп листовки пытались иногда подвести теоретический базис под то или иное «предприятие», но результаты всех «эксов» неизменно растекались по карманам участников таковых.

Год 1906-й и почти весь 1907 год прошли в борьбе с этими группами, как правило, малочисленными, не связанными между собою, но скреплёнными внутренне террористически нажимом и угрозой смерти для лиц, изобличённых (или даже только заподозренных) в предательстве.

С первых же дней моей деятельности в Саратове мне пришлось ознакомиться с практикой нового тогда течения в российских революционных партиях — с так называемым

максималистским уклоном. Эта практика местных революционеров имела очень мало общего с идейными разногласиями и теоретическими спорами. Максималистский уклон двух крупнейших революционных партий России: социалистов-революционеров и социалистов-демократов — ещё не принял определённых форм.

Максималисты в теории отрицали все программы-минимум, считая их неподходящими для завершения борьбы в пользу интересов рабочего класса, и прежде всего «нереволюционными». Психологически максимализм как-то роднился с анархическими устремлениями бунтующей души русского человека и был противопоставлением осторожности и умеренности европейских социалистов.

Социалистические теории имели в своём распоряжении две программы: «максимум» и «минимум». Минимальная социалистическая программа в совокупности своих требований имела задачей «экспроприацию частной собственности и реорганизацию производства и всего общественного строя на социалистических началах». В то же время эта программа выставляла ряд требований политического и экономического характера, которые могли бы быть удовлетворены «в рамках буржуазного общества» при нахождении политической власти в руках буржуазии.

Революционная интеллигенция России того периода, тянувшаяся по складу своей «русской души» к максимализму, обсуждала вопросы, связанные с аграрной проблемой. Максималистски настроенные эсеры находили, что в аграрной программе их партии не всё доведено до логического конца и что общие выводы по отношению к аграрному вопросу не затрагивают сферы индустрии. Они упрекали своих товарищей в недостаточно ясном провозглашении социализации фабрик и заводов наряду с социализацией земли. Максималисты, стоя в оппозиции ко всякому виду парламентской борьбы в пределах «капиталистического общества», отрицали всякую легальную политическую борьбу.

Саратов, как признанный центр русских эсеров, конечно, не мог не найти в своей среде сторонников нового революционного уклона, но эти сторонники максимализма не проявили себя ни созданием отдельной прочной организации, ни разработкой теоретических положений и не могли даже издавать свою литературу.

В 1906 году в недрах местной эсеровской подпольной библиотеки лежали под спудом, без какого-либо распространения, сборник «Прямо к цели» и периодическое

издание «Коммуна»[114]. Это издание мне пришлось просмотреть уже в 1908 году, когда мой секретный сотрудник «Николаев»[115], имевший доступ ко всем тайнам и планам саратовской организации партии эсеров, доставлял мне его с аккуратной точностью.

Хотя российские теоретики максимализма проявили себя в Саратове не столь заметно, зато обрывочные и популяризованные лозунги максималистских теорий нашли сторонников на практике. «Практики», по правде сказать, мало считались с теоретиками и навербовывали в свои группы как эсеров, так и эсдеков.

Не столь значительная, однако же, в периоде 1906–1907 годов весьма активно действовавшая в Саратове организация российских социал-демократов также подверглась влиянию максимализма. К тому же как раз во время моего приезда в Саратов была созвана в Финляндии конференция Российской социал-демократической рабочей партии (фракции большевиков), на которой были приняты весьма «максимальные» меры борьбы с правительством[116]. Таким образом, и эта конференция эсдеков явно отразила максималистский уклон в революционных деятелях того периода.

Постараюсь кратко изложить сущность социал-демократических теорий того времени.

По обычной марксистской схеме, Россия переживала «буржуазную» или «политическую» революцию, которая, являясь следствием развития производительных сил, предшествует «социальной» или «пролетарской» революции и отличается от неё своим классовым содержанием В то время как «социальная» революция есть дело рук пролетариев, «политическая» революция является прямой и непосредственной задачей буржуазных классов. Буржуазные классы в государствах, сохранивших ещё принцип самодержавия, должны быть революционными, должны неминуемо стать в самый резкий конфликт с представителями старого режима. «Политическая» революция, являясь миссией буржуазии, по той же установке должна была проложить дорогу свободному и победоносному шествию капитала, который нёс «гражданскую свободу для буржуазных классов» и «свободу умирать с голоду для рабочих», как говорили эти социал-демократы. Потому-то на стадии экономического и исторического развития России того времени нельзя было рассчитывать, согласно этой теории, на осуществление социалистической программы. Все несвоевременные требования, стремящиеся «уже теперь» водворить социализм, суть вредные утопии.

Социал-демократы того периода предоставляли буржуазии

выполнять «историческую миссию», т. е. «политическую революцию», но оставляли за собой разоблачение недостаточности требований буржуазии и ограниченности её идеалов и, оставаясь «на почве реализма», не включали в свою программу, вырабатываемую ими для «капиталистического периода», утопических, не совместимых с буржуазным строем требований.

Эта позиция социализма той эпохи отражалась главным образом в писаниях меньшевистской фракции эсдеков. Что касается литературы, которая проникала в рабочую среду и являлась изделием местных большевиков, то все эти правоверные марксистские установки заглушались одним и тем же рёвом: «Долой самодержавие!»

Вот эта-то литература в Саратове в изобилии изготовлялась тогда в разновременно возникавших и успешно мной ликвидировавшихся подпольных типографиях. Саратовский городской комитет Российской социал-демократической рабочей партии (РСДРП) того периода, т. е. 1906 года, состоял, кажется, из десяти членов, являвшихся в свою очередь представителями шести районных комитетов, которые заведовали социал-демократической активностью в шести районах города. Это были: железнодорожный районный комитет, заведовавший организацией и пропагандой среди железнодорожных служащих и мастеровых, городской или ремесленный порайонный, обнимавший, как это и видно по его названию, городских ремесленников и мелких служащих; береговой районный, занимавшийся насаждением марксизма в его упрощённой форме среди грузчиков и пароходных команд судов Волги, и ещё три районных комитета, названий которых я теперь не упомню. В городской комитет кроме представителей районных комитетов входили ещё дополнительные члены, носившие звание секретаря, организатора и агитатора.

Если охранному отделению удавалось приобрести в качестве секретного сотрудника, скажем, одного из периферийных, не столь крупных по значению, местных эсдеков, знакомого с марксистскими установками и теориями не по многотомным изданиям и статьям полемического характера лидеров марксизма, а по упрощённой формулировке лозунга «Долой самодержавие!», розыскные меры сводились к тому, чтобы этому сотруднику проложить путь к тесному знакомству и, возможно, личной дружбе с одним из лидеров соответствующего районного комитета. Тогда, обыкновенно по достижении этого первого этапа, в охранное отделение начинали поступать сведения о деятельности данного районного комитета. Путём наружного

наблюдения можно было установить одно из очередных заседаний комитета. Это очередное заседание могло быть «ликвидировано». Члены его и помещение заседания, со списками, адресами и протоколом заседания, могли быть обысканы, и присутствовавшие на заседании арестованы. В зависимости от результата обыска дело о незаконном собрании или разрешалось административным порядком, или шло в суд[117].

При разрешении дела административным порядком, в результате чего задержанным грозили неприятности административной высылки в места не столь отдалённые, являлась возможность после некоторых переговоров склонить того или иного не особенно устойчивого марксиста — эсдека или эсера — к оказанию услуг правительству в качестве постоянного и оплачиваемого секретного сотрудника. Над такими покладистыми революционерами мы шутили словами Франца Моора из «Разбойников» Шиллера: «Бедняга не родился быть мучеником за веру!»

«Мучеников» за марксистскую, как и за «эсеровскую», веру было, конечно, достаточно в истории русского революционного движения. Было, однако, и немалое количество бедняг, которым мученичество не улыбалось. Все эти последние и заполнили ряды секретных сотрудников охранных отделений.

Если охранному отделению удавалось заполучить одного из деятелей районного комитета в число своих секретных осведомителей, то после непродолжительного периода оно уже имело негласное, но постоянное осведомление о всём том, что планируется и проводится на заседаниях общегородского комитета. Это было верхом достижения в каждом местном розыске, а следовательно, и в саратовском.

Один из главных осведомителей саратовского охранного отделения, упомянутый «Иванов», находился в отсутствии как делегат саратовской организации РСДРП на партийной конференции в Финляндии.

Номер 16-й «Красного архива» среди других документов помещает справку Департамента полиции по поводу внесённого в 4-ю Государственную думу запроса о деле социал-демократической фракции 2-й Государственной думы; она гласит, что *«из осмотра… книги, озаглавленной «Протоколы первой конференции военных и боевых организаций российской социал-демократической рабочей партии, состоявшейся в ноябре 1906 года» видно… 3) что в конференции приняли участие представители одиннадцати военных организаций (воронежской, казанской, кронштадтской, рижской и финляндской) и восьми*

боевых организаций (московской, петербургской, саратовской, технического бюро при центральном комитете, двух уральских, южно-технического бюро и финляндской…»[118].

Таким образом, этим документом устанавливается присутствие на этой конференции секретного сотрудника Саратовского охранного отделения — «Иванова».

Другой осведомитель из среды железнодорожников, числящийся в организационном отношении где-то на периферии, казалось, не мог давать сколько-нибудь существенных сведений даже по своему району. Он оказался мало «приручённым» и держался при первых свиданиях дикарём, не обнаруживая особой склонности к продолжению своих обязанностей секретного осведомителя. Однако именно он дал мне одно из самых крупных и блестящих по результатам дел, которым по справедливости могло гордиться розыскное учреждение.

Ликвидация боевой железнодорожной конференции областной Поволжской организации РСДРП, осуществлённая мной вскоре после моего приезда в Саратов, а именно в июле 1906 года, и повлёкшая за собой арест всех двадцати участников её (кроме двух, из которых один был моим сотрудником), а затем суд, состоявшийся над участниками конференции и ссылка их на поселение в Сибирь, сразу укрепили моё положение в глазах местной администрации и судебного ведомства и вызвали одобрение со стороны директора Департамента полиции.

Историю этой ликвидации я расскажу ниже, когда дополню характеристику секретной агентуры отделения.

Несколько непартийных рабочих, охотно обещавших мне оказывать содействие, мало радовали меня. Хотя в то взбудораженное время всякий мало-мальски расторопный рабочий мог давать властям какую-то информацию о подпольной революционной активности, но не посвящённые в тайны партийной работы вышеупомянутые рабочие не могли планомерно осведомлять о работе местного подполья, не могли ни назвать главных лидеров этого подполья, ни охарактеризовать их, ни, тем более, рассказать о подготовлявшихся планах. После недельного ознакомления с этой незначительной по количеству и ещё более по качеству секретной агентурой, когда я приходил уже в пессимистическое настроение и перестал удивляться методам работы ротмистра Фёдорова, поспешившего повести самому наружное наблюдение за мифической личностью, один «хозяин» конспиративной квартиры пригласил меня на свидание ещё с одним, до того мне не представленным секретным сотрудником. На этот раз оказалось, что я должен встретиться с одним из местных максималистов.

Так как этот осведомитель, по словам моего подчинённого, являлся лицом ненадёжным, да ещё членом, попросту говоря, бандитских групп, только прикрывавшихся для революционного фасона именем максималистской фракции саратовской организации Партии социалистов-революционеров, свидания с ним происходили не на конспиративной квартире отделения, которую он по ненадёжности мог «провалить», а в одном из самых гнусных кабацких притонов. Помещение этого притона поздно ночью всегда возбуждало во мне отвращение, которое надо было преодолевать. Я никогда не забуду общего фона этих свиданий в притоне — а мне пришлось бывать там не раз и не два, и не только с этим сотрудником.

По предложению моих подчинённых, которые на свидания с этим полубандитом и полусотрудником ходили всегда вдвоём безопасности ради, я облачился в самый старый пиджак поверх ситцевой русской рубахи, на голову нацепил «заклёпку» (кепку самого замызганного вида), перемазал лицо в какие-то тёмные полосы и всячески демократизировал усы и бородку.

Было часов одиннадцать вечера. Втроём, с револьвером в кармане, мы подошли к мрачному двухэтажному зданию, стоявшему особняком почти на краю города, на большой пустынной площади, выходившей к вокзальной и тоже мало заселённой части города. Около подъезда дома, в нижнем этаже которого находился трактир, а в верхнем номера с кроватями «для приходящих», стояло два-три извозчика. В нижнем этаже было шумно, столики были заняты малопочтенной публикой, гремела гармоника, «летали» служители. Один из моих служащих, уже пожилой, но крепкий мужчина, в прошлом был жандармским унтер-офицером или даже вахмистром на местном вокзале, и, вероятно, до известной степени лицом популярным, по крайней мере, в местных низах. Думаю, что его знали в трактире. Во всяком случае, хозяин этого милого учреждения его, конечно, знал. Хозяин сам нас встретил и поручил «мальцу» проводить нас в лучший номер во втором этаже.

Мы заняли «лучший» номер и потребовали пару пива. Предупредив слугу, что поджидаем приятеля, который должен скоро прийти и спросить «Ивана Кузьмича», мы стали ждать. Я скоро заметил, что мои собутыльники похлёбывают пиво, держа стакан в левой руке, а правую предусмотрительно опустив в карман пиджака. Я невольно последовал их примеру и нащупал на всякий случай револьвер. Загадочный осведомитель появился вскоре и оказался высоким, крепко сложенным мастеровым кузнечного цеха, лет тридцати восьми, мрачного вида, с большими тёмными усами. Мне его представили, назвав кратко

Савельичем.

Завязалась беседа, которую Савельич поддерживал только односложными репликами, — видимо, он был человек несловоохотливый, но, вероятно, решительный в действиях. Я скоро уяснил себе, что он имел весьма поверхностное знакомство с разными «теориями» революционного учения, а занимался только «практической стороной» максимализма в местной эсеровской организации как один из членов группы в пять человек, готовых к исполнению того очередного «экса», который на них будет возложен по решению старшего в группе, в свою очередь будто бы имевшего связи с верхами местной партийной организации.

Я решил, что моя тактика в отношении этой группы должна состоять в том, чтобы на возможно более отдалённое время «затянуть» её активность, а пока, при помощи этого «осведомителя» и подсобного наружного наблюдения, выявить всех участников и в подходящий момент ликвидировать группу. В этом смысле я поручил Савельичу проводить в жизнь мои решения.

Никакого доверия Савельич не внушал ни мне, ни моим подчинённым, и я решил как можно скорее проверить его перекрёстной агентурой. Однако её надо было ещё найти. Так как в разговоре с Савельичем я установил, что его компаньоны по максималистской группе собираются у некоей шинкарки, разбитной бабёнки-вдовы, живущей в одном из пригородов Саратова, я немедленно распорядился, чтобы двое полицейских надзирателей, или, как они у меня числились в отделении, «агенты для справок», задержали эту бабёнку утром при её выходе на улицу, но не вблизи дома, и доставили бы в жандармское управление для опроса.

По уже установленной практике и соглашению между начальником жандармского управления и начальником охранного отделения (в случае необходимости по ходу розыска произвести следственные действия) надо было заполнить соответствующее сообщение для жандармского управления, в котором кратко упоминались имя, адрес и причины требуемых мер в отношении заподозренных лиц. Начальник губернского жандармского управления, не входя в рассмотрение по существу, выдавал требуемые ордера на обыски и аресты за своей подписью, так как по закону следственные действия могли производить в пределах своего района только те жандармские офицеры, которые занимали должность начальника губернского жандармского управления или его помощника.

Начальникам охранных отделений в провинциальных городах

эти права не были присвоены, ибо эти отделения были, как я уже упоминал, созданы распоряжением министра внутренних дел, так сказать, «для внутреннего употребления». Но, с другой стороны, начальник жандармского управления не мог произвести розыск в том городе, где существовало охранное отделение, и мог заниматься розыском только на территории губернии. Такой распорядок приводил к тому, что начальники губернских жандармских управлений должны были иногда скрепя сердце выдавать без промедления требуемые охранными отделениями ордера на производство арестов и обысков, порою не зная даже сути дела. Когда результаты следственных действий попадали в следующей фазе своего развития в жандармские управления — так как все задержанные лица и всё отобранное по обыску неизменно туда направлялось, — неизбежно проявлялось сдерживаемое и затаённое недоброжелательство местного жандармского управления к местному же охранному отделению. Вместо ожидаемых правительством объединённых усилий местных розыскных сил к искоренению революционной активности провинциального подполья получалось нечто совершенно обратное. Силясь отыскать одни только ошибки местного охранного отделения, не доверяя данным, представляемым охранным отделением относительно общей картины революционной активности, расценивая по-своему самые явные и бесспорные доказательства этой активности, начальники губернских жандармских управлений (так, по крайней мере, неоднократно было в Саратове) «не находили оснований» к принятию мер в отношении задержанных за революционную активность мелких местных, а иногда и крупных революционных деятелей.

Только осознав сложность такого механизма взаимоотношений между жандармскими управлениями и охранными отделениями, можно понять, насколько непригодна была система всего жандармского аппарата для борьбы с революцией в период наибольшей напряжённости.

На другой же день после отданного мной распоряжения бойкая бабёнка была задержана на улице моими служащими, одетыми в штатское платье, и препровождена в губернское жандармское управление к его начальнику подполковнику Пострилину. Я поспешил в управление, где и принял участие в опросе задержанной. Перед нами сидела женщина лет тридцати пяти — сорока, типичная здоровая волжанка, с некрасивым, курносым, но задорным лицом, отрицавшая все предъявленные ей обвинения в укрывательстве бандитов и оказании им содействия. Пострилин, посвящённый в мои планы и охотно пошедший им

навстречу, давал понять бабёнке, что я являюсь лицом, от которого зависит её дальнейшая участь. Предоставив подполковнику возможность поговорить с задержанной об её дальнейшей судьбе, я вышел из комнаты, где вёлся опрос. Однако не прошло и пяти минут, как из своего кабинета вышел Пострилин и, давясь от смеха, заявил мне, что задержанная хочет говорить только со мной: «По-моему, она просто в вас влюбилась», — хохотал Пострилин.

Я стал немедленно в кабинете Пострилина продолжать опрос, который превратился очень быстро в оживлённую и задушевную беседу. Задержанная только что не объяснялась мне в любви. Во всяком случае, она «готова была на все услуги», и не только по розыску. Она рассказала мне в подробностях о двух затеваемых больших ограблениях (одном — на пароходной пристани, другом — какого-то большого склада) и назвала несколько участников, их адреса и место, где временно хранились оружие и бомбы.

При её содействии мне удалось несколько недель наблюдать за всеми приготовлениями к экспроприациям трёх, мало связанных между собой максималистских групп и выяснить всех участников их. Удалось также точно установить коварство осведомителя «Савельича». Только чрезвычайная ловкость этого опасного бандита, бежавшего из Саратова и арестованного через год в другой губернии, спасла его от начатых мной арестов максималистских банд. При содействии же сотрудницы, привязанной ко мне не только романтическими чувствами, но и небольшим ежемесячным вознаграждением, мне удалось ликвидировать самую опасную в то время «бандитско-максималистскую» деятельность местного революционного отребья. При её содействии, в котором эта сотрудница выявила не только незаурядную сообразительность, но и присутствие духа, ибо наблюдаемые ею близко максималисты были отчаянные сорвиголовы и мстили бы ей беспощадно, я в одном случае захватил на пароходе, отплывавшем от Саратова, группу из четырёх максималистов, отправлявшихся на «экс» в отъезд из города; в другом — захватил целую коллекцию оружия и бомб.

В третьем случае, происшедшем много позже, уже летом 1907 года, эта верная сотрудница спасла мне жизнь, раскрыв готовящееся покушение на меня при помощи и содействии не кого иного, как сторожа и рассыльного Ивана при охранном отделении! Вот как это было.

Вторая половина лета 1906 года, которую я провёл в Саратове, была очень жаркой. Особенно трудно было по ночам, когда накалившаяся задень квартира не давала отдыха. Жара была удушливая. Наученный горьким опытом, на следующее лето

я решил переселить семью за город на дачу, находившуюся от моей квартиры в городе в десяти — двенадцати верстах.

Никакого способа сообщения с дачей, кроме экипажа, не было; поэтому я купил по случаю у священника города Вольска пролетку со снимающимися козлами и небольшую крепенькую лошадку Арабчика. Экипаж и лошадь вполне соответствовали принятым мной правилам конспирации, и поэтому, когда я обычно с прислугой, бравшейся мной в город с дачи для приготовления обеда и других домашних услуг и дел, ехал по шоссе и грунтовым дорогам окрестностей Саратова, то всем видом своим я ничем не отличался от мелкого торговца, едущего по делам в город или из города.

Летом 1907 года я уже в третий раз со времени приезда в Саратов менял квартиру как для себя, так и для отделения, и теперь оно помещалось в двухэтажном особняке, расположенном в тихой окраинной части города. Рядом помещалось губернское жандармское управление — также в двухэтажном доме, принадлежавшем одному и тому же хозяину, зажиточному старику купцу. Через улицу напротив было большое глухое место, обнесённое забором, с большим казённым домом (кажется, губернского земства), отведённым под лаборатории. По бокам ютились небольшие домишки с семьями чиновников и отставным людом.

Приехав как-то с дачи и рассмотрев очередные бумаги, я отправился на свидание с секретной агентурой. В одно из первых свиданий я встретился с названной мною выше сотрудницей. То, что она рассказала мне, ошеломило меня. По её словам, от ликвидированных уже мной в то время различных максималистских групп остались кое-какие «хвосты» в виде приятелей или собутыльников. На квартиру одного из таких лиц в последнее время зачастил сторож, он же и рассыльный из моего охранного отделения, Иван Афонин, которого я уже застал в отделении. Этот Иван, служащий, имевший мало касательства к деятельности отделения, ночью спал в помещении отделения и находился там в это время с дежурным чиновником. Занятый по горло разными делами, я мало обращал на него внимания. Среднего роста, с глуповатой физиономией, по виду исполнительный, он каким-то образом попал в компанию совершенно неподходящих людей. Мало того: оказывалось, по словам сотрудницы, что этот Иван, убеждённый приятелями уже арестованной мною максималистской группы, согласился открыть им поздно ночью двери моей квартиры. Остальное было бы довершено ими. Сотрудница передала мне малейшие детали этого замысла.

Надо тут же заметить, что не было большей трудности в практике розыскного дела того времени, чем ликвидация деятельности различных полубандитских, максималистских групп. Эти разрозненные группы, крепко спаянные внутренней дисциплиной, быстро раскрывали или могли раскрыть виновника «провала». Потому первый долг и обязанность каждого розыскного деятеля заключались в проведении этой ликвидации в такой обстановке и при таких условиях, которые исключали бы возможность подозрений.

В данном случае для меня также был существенным вопрос: как быть с предстоящей возможностью провала сотрудницы? Я поделился с ней сомнениями и встретил изумившую меня готовность идти на всякий риск: «Только бы вы, дорогой Александр Павлович, остались целы!»

Я решил действовать немедленно, а не ждать ночи, чтобы устроить, как следовало бы, засаду в моей квартире. Да и при наличии в доме «сторожа» Ивана такую засаду не так легко было бы осуществить. Одним словом, я погорячился и, как оказалось, наделал глупостей.

Отложив остальные деловые свидания, я поспешил домой, уселся в рабочем кабинете и вызвал к себе Ивана. Передо мной появилась несколько встревоженная физиономия сторожа с обычным вопросом: «Что прикажете?» Но, взглянув на меня и на бешеное выражение моего лица, Иван сразу опешил. Не помня себя и еле сдерживаясь, я начал свою грозную филиппику. Я объяснил ошалевшему Ивану, что ему, как служащему охранного отделения, должно быть понятно, что я, как начальник такового, призван к выяснению всех затеваемых преступных планов, а потому выяснил и тот план, в который он дал себя вовлечь по неизвестным мне причинам. Я рассказал Ивану все подробности плана, и тогда, ещё не успев закончить свою громоносную речь, я увидел, как затрясшийся от рыданий мерзавец бросился на колени, умоляя пощадить его.

«Не верьте коленопреклоненным мерзавцам!» — таков был лозунг известного своей решительностью министра внутренних дел Петра Николаевича Дурново, в начале декабря 1905 года вступившего в управление министерством и железной волей прекратившего начинавшуюся тогда революционную бурю. Так он и ответил на телеграфное донесение временно исполнявшего должность московского губернатора, либеральничавшего генерала Владимира Фёдоровича Джунковского, просившего министра за «коленопреклоненных крестьян» какой-то волости Московской губернии, пред тем совершивших ряд насилий и бесчинств.

Я хорошо помнил совет Дурново. Поэтому тут же арестовал сознавшегося во всём Ивана, полностью подтвердившего сведения моей сотрудницы, и передал его в губернское жандармское управление для производства о нём дознания. Во время обысков у его вдохновителей и предполагаемых участников «ликвидации» моей собственной персоны были отобраны револьверы. Эти молодцы отрицали все показания Ивана, записанные мной тут же по окончании его рыданий. Невероятнее всего оказался результат этого дела. Иван, при повторных опросах его жандармским полковником Джакели[119], стал отрицать все свои показания, которые он дал мне, объясняя, что я так его напугал, что он подписал показание по моему приказу. Джакели не нашёл ничего лучшего, как стать на сторону этого негодяя, и в результате как Иван, так и его сообщники были административным порядком высланы за пределы Саратовской губернии и поселились поблизости от города на другой стороне Волги, в пределах Самарской губернии.

Для моей сотрудницы дело это повернулось в дурную сторону. Её, конечно, заподозрили в соответствующих кругах, и в качестве секретной осведомительницы она становилась бесполезной. Постепенно, сначала в отдельных случаях, а затем регулярно, я стал пользоваться уже доказанной ею на деле верностью нашему делу при наружном наблюдении за активными деятелями местного революционного подполья.

Надо сказать, что в условиях провинциального города, при сравнительно малоразвитом уличном движении, при наличии многих совершенно пустынных переулков, вести систематическое наружное наблюдение за каким-либо лицом, даже и не очень чутким по натуре, являлось делом затруднительным. В зимние холода это положение обострялось тем, что наблюдатели, продрогшие и полузамёрзшие, с обледенелыми усами, легко выдавали себя наблюдаемому своим видом. Летом же или вообще в тёплую погоду почти у каждого дома — на скамейке у ворот или у входа в квартиру — сидели обыватели и от нечего делать судачили и разглядывали прохожих. «Продержаться», говоря техническим языком, при таких условиях несколько часов в каком-нибудь глухом переулке богоспасаемого провинциального города, дожидаясь выхода или прихода в назначенное место наблюдаемого, являлось делом трудным. Надо было быть не только незаметным для самого наблюдаемого, но и для обывателя, а этот последний в провинции любопытен и всю свою округу знает в лицо.

Пусть читатель вообразит себе один из таких тихих переулков города Саратова: ряд небольших домишек с заборами

по сторонам; вышедших из квартир мирных домохозяев или квартирантов; длительную беседу соседей; любопытных до всего мальчишек; кое-какую прислугу, выбегающую постоянно то в лавочку, то покалякать с приятельницей из соседнего дома; наконец, прочно усевшихся на скамейке перед своим домом отставных чиновников. И вот в такой обстановке, в таком тихом переулке появляются, скажем, с утра два филера охранного отделения. Внешность таких «неопределённого вида» людей, чужих для данного района, естественно, скоро привлекает внимание обывателя переулка, как бы эти «посторонние» ни разыгрывали роль «деловых» людей. На первый план выдвигается, и это естественно, только забота о том, чтобы сам наблюдаемый не заметил поставленного за ним наблюдения, а забота о предохранении себя от любопытства обывателя постепенно отходит на второй план. Однако обыватель кое-что подметит, кое-что смекнёт; и пошло шушуканье от одного дома к другому; а там, смотришь, это шушуканье дошло и до ушей живущего в том же переулке наблюдаемого. Встревоженный слухами, наблюдаемый при выходе из дома начинает приглядываться ко всем прохожим, начинает «проверять» их в свою очередь (опытные революционные деятели делали это всегда) — и наблюдение вести уже невозможно. Так называемый «пост» из двух филеров приходилось подменять в трудных случаях двумя другими филерами, а это требовало большого количества их. Департамент же полиции всегда настаивал на экономии.

Пользоваться наружным наблюдением при таких условиях приходилось с большой осторожностью, ибо оно нередко, будучи вскрыто наблюдаемым, вело не к раскрытию всего наблюдаемого предприятия и лиц, в нём замешанных, а к тому, что наблюдаемая группа, выяснив, что за ней ведётся наблюдение, начинала проверять сочленов в верности делу. Это часто вело к «провалу» агентуры.

Учитывая всю трудность ведения наружного наблюдения старыми шаблонными методами при помощи поста из двух филеров, я попробовал ввести в дело такого наблюдения мою сотрудницу, о которой я только что рассказал. Она оказалась и в этом трудном деле очень смышлёной и выносливой. Баба была толковая и расторопная.

Посылая её в наряд на пост с каким-нибудь из своих филеров, я предварительно объяснял им, что они оба должны изображать влюблённую парочку и под этим видом, прогуливаясь или сидя на скамейке, вести наблюдение. Такой метод привёл к заметным успехам. Отсутствие надлежащей миловидности у моей сотрудницы сказалось в том, что я не заметил какого-либо

увлечения ею со стороны филеров, что, может быть, при других условиях портило бы успех самой розыскной работы.

В другом случае и с другой более миловидной сотрудницей, которую я пробовал обратить на службу по наружному наблюдению, дело оказалось более затруднительным, и «влюблённая» парочка обращалась иногда в настоящую парочку. Для миловидной филерши мне приходилось в конце концов подбирать «кавалера» из самых пожилых и серьёзных по характеру филеров. Дело розыска живое, и в нём меньше всего преуспеваешь с шаблонными мерами.

Отвлёкшись несколько от последовательного хода событий, я перейду к описанию нескольких особенно памятных мне дел из практики моих первых месяцев службы в Саратове.

Первая значительная ликвидация подпольной деятельности местных революционных организаций заключалась в аресте участников боевой организации железнодорожников Саратовского района.

Вкратце я упоминал уже об одном железнодорожном рабочем, состоявшем в числе секретных сотрудников, которые перешли ко мне, когда я принял охранное отделение. Этот молодой человек (не припомню теперь его клички как сотрудника отделения и потому назову его Сергеем для удобства дальнейшего изложения), как я это упоминал в начале моих с ним деловых сношений, привлёк моё внимание тем, что как-то стал явно уклоняться от принятых на себя обязанностей осведомителя. Мне показалось, что человек просто боится. Время-то было тревожное и было чего опасаться!

Историки революции 1905 года обычно приурочивают крушение её к провалу Декабрьского восстания в Москве. Революция именно тогда, по их описанию, потерпела крах. В некотором историческом аспекте это определение можно считать правильным, но на практике революционного движения в России крах отразился не в полной мере. Взбудораженное, революционно настроенное общество выделяло ещё достаточно много активного отребья, которое, как это всегда бывает в бушующей стихии, пробивалось наверх, стараясь овладеть положением и, во всяком случае, продолжать смуту.

В провинции это было особенно заметно. Слабая административная власть на местах — во многих случаях растерявшаяся от непривычно трудного положения, — непрерывные террористические удары по ней, несовершенство розыскного аппарата (особенно в провинции) и стремление разбитой в столице революции поднять население против власти и потому направляющей революционных активистов в ту же

провинцию, — всё это, вместе взятое, отнюдь не создавало впечатления краха революции. Ещё летом 1906 года, ко времени моего приезда в Саратов, революция никак не казалась раздавленной, и её крах видим был, очевидно, только историкам.

Я, по крайней мере, его совершенно не наблюдал. Напротив, ожидался роспуск Государственной думы и сопряжённые с этим, волновавшие правительство возможные беспорядки на местах. Сыпались соответствующие циркуляры. В августе 1906 года я, например, получил циркулярное письмо от директора Департамента полиции (конечно, «весьма секретное») с предложением озаботиться «на всякий случай» подысканием в городе надёжного места и лиц, у которых можно было бы в случае открытых беспорядков крупного размера спрятать наиболее важную часть секретной переписки охранного отделения.

Возвращаясь к моему сотруднику, рабочему Сергею, я должен сказать, что мне пришлось порядком с ним повозиться и потратить много времени на то, чтобы удержать его в рядах моей, тогда очень немногочисленной, агентуры.

Кстати сказать, когда я познакомился в течение первой недели со всеми моими секретными сотрудниками, то пришёл к очень грустным выводам. Под первым впечатлением я решил было написать письмо директору Департамента полиции и изложить положение дела. Однако я этого не сделал. Мне показалось неэтичным жаловаться на своего предшественника по должности, — я тогда был очень щепетилен в таких вопросах. Кроме того, ведь мой предшественник, по выбору самого министра внутренних дел, назначен состоять при нём адъютантом. Какую же пользу принесло бы мне моё письмо? Рассмотрев дело со всех сторон, я отложил в сторону предполагаемое письмо.

В другом случае и в другое время, значительно позже, в 1912 году, будучи назначен начальником охранного отделения в Москве, я, вскоре после этого назначения, получил «для сведения» копию письма известного жандармского генерала М.С. Коммисарова, посланного им директору Департамента полиции, также не менее известному С.П. Белецкому. В этом письме Коммисаров, назначенный начальником Саратовского губернского жандармского управления и начальником местного районного охранного отделения (эти должности в 1909 году были, как читатель увидит, соединены), жалуется на отсутствие сколько-нибудь значительной агентуры, оставленной мной в его распоряжение. Так как на самом деле агентура была на исключительной высоте и директору Департамента полиции это было известно, я ограничился кратким письмом. Генерал Коммисаров в то время с исключительной настойчивостью и с отличавшей его неразборчивостью в средствах стремился попасть на моё место в Москву!

Занявшись Сергеем и часто и подолгу беседуя с ним, я несколько расположил к себе этого недоверчивого и трусливого по натуре молодого человека, и однажды он стал выкладывать предо мной содержание своей беседы с товарищем по работе в железнодорожных мастерских. Я выяснил, что местная социал-демократическая организация (большевистской фракции), получив известия, что постановления большевистской конференции в Финляндии будут заключать в себя крайне максималистские призывы, решила организовать местную конференцию служащих Саратовского узла, состоящих членами названной организации.

Предполагалось, что представители разных отделов и ветвей железнодорожной службы, состоящие в местных большевистских организациях и группах, собравшись на такую конференцию и выработав конкретные методы борьбы с железнодорожным

начальством и его распоряжениями, внесут определённое расстройство в железнодорожное движение данного района, способствуя продолжению хаоса в стране.

Соответственно резолюциям, вынесенным на финляндской конференции, предполагалось, что за саратовской конференцией последуют не только забастовки железнодорожных служащих, но и более активные действия, террористические удары против наиболее реакционных представителей железнодорожного начальства, затем порча пути, взрывы железнодорожных мостов и прочее.

Из намёков приятелей Сергея последнему казалось очевидным, что местная большевистская организация имеет в своём распоряжении склад оружия и мастерскую для изготовления и хранения бомб. Существование их, между прочим, подтвердилось, и эта мастерская и склад оружия были мной обнаружены и ликвидированы через несколько месяцев, о чём я расскажу в дальнейшем. Нечего и говорить о том, как я реагировал на полученные сведения! Ликвидация во что бы то ни стало этой опасной но могущим быть последствиям конференции явилась для меня очередной настоятельной необходимостью.

Я, конечно, срочно уведомил Департамент полиции о полученных сведениях, с добавлением обычного заверения, что я принимаю все меры для своевременной ликвидации конференции. Но одно дело заверить о принимаемых мерах и совсем другое — выполнить их успешно.

Сергей не обещал быть всесторонним осведомителем о конференции. С другой стороны, у меня не было достаточно времени для систематической «разработки» предполагаемых участников конференции. Наружное наблюдение, если бы я его и установил за приятелем Сергея, едва ли помогло мне. Надо было, следовательно, путём агентурного или внутреннего наблюдения быть в близком соприкосновении с участниками конференции. Я решил не выпускать Сергея из рук и видеться с ним возможно часто, побуждая его на более близкое соприкосновение с активными участниками дела.

Я должен был иметь в виду, что Сергей не являлся видным членом организации и по своей натуре не умел действовать напористо.

На одном из моих ежедневных свиданий, на которых я расточал всё доступное мне красноречие, он сообщил мне, что участники конференции от разных отделов и мастерских железнодорожного узла уже выбраны, и дело в настоящий момент заключается в том, чтобы, назначив место и время, приступить к осуществлению конференции. Конференция должна, по расчётам

участников, продолжаться три дня и во избежание провала происходить в окрестностях города — «на лоне природы». Так как многие из выбранных членов предполагаемой конференции не были жителями Саратова, то естественно, что коренные саратовцы являлись как бы главными советниками по выбору места.

Это обстоятельство я и решил использовать, инструктировав Сергея, чтобы он оказался как бы советником по этому делу. Я предложил ему постараться принять участие в самой конференции в роли заведующего хозяйственной частью конференции — снабжением провизией, выбором места и прочим. Сергей долго отказывался от навязываемой мной ему роли, ибо понимал — да я и не скрывал от него, — что я собираюсь арестовать всех участников.

После долгих переговоров мне удалось настоять на своём, и в конце концов Сергей, по выбранному мною плану, занялся материальной стороной конференции. Место было выбрано им после поездки с тем хозяином конспиративной квартиры, «агентом для справок» отделения, Егоровым, о котором я уже упоминал и к которому Сергей «привык». Оба они остановились как на наиболее подходящем для конференции месте на большой лесной поляне в уединённой части Зелёного острова, расположенного посреди Волги, неподалёку от Саратова.

Установив затем через Сергея время начала конференции и её предполагаемый конец, я поручил Егорову на всякий случай вести осторожное наблюдение за самим Сергеем. На другой же день это наблюдение доложило мне, что Сергей с группой лиц отплыл с пристани на лодке вверх по Волге.

Мною было условлено с Сергеем, что к тому моменту, когда я с Егоровым и нарядом полиции подойду ночью к месту конференции, он сам отойдёт в выбранном им с Егоровым направлении и что они оба на лодке отплывут к Саратову.

Я допускал возможность, более чем вероятную, что одному или двум участникам конференции удастся бежать от полиции, и, таким образом, убежавшим окажется не только мой сотрудник. Это могло бы плохо кончиться для Сергея. За несколько дней до начала конференции я доложил о ней как саратовскому губернатору, так и начальнику Саратовского губернского жандармского управления. Место конференции было выбрано на территории, которая в известном смысле состояла в ведении последнего, ибо не находилась в черте города. Кроме того, часть участников конференции прибыла из разных мест губернии, подчинённых в розыскном отношении губернскому жандармскому управлению. Его начальнику следовало бы знать

своевременно об этой конференции, но из-за отсутствия соответствующего агентурного осведомления он узнал о ней впервые от меня. Понятно, что мой рассказ не мог быть ему приятен. Мне, однако, надо было не только осведомить его о собрании, но и получить от него реальную помощь в виде соответствующих ордеров за его подписью на арест конференции. Мне нужны были городовые и прежде всего официальный исполнитель всех следственных действий при аресте — один из жандармских офицеров управления.

Мне надо было поставить в известность о начавшейся конференции ещё и другого представителя местного жандармского надзора, а именно начальника жандармско-полицейского управления Рязано-Уральской железной дороги, генерал-майора Николенко, ибо все участники конференции были железнодорожные служащие его района. Он, так же как и все его подчинённые, понятия не имел о подготовляемой в его районе конференции. По предложению губернатора, у него в доме собралось совещание, состоявшее из генерала Николенко, полковника Померанцева и его помощника по Саратовскому уезду подполковника Пострилина, местного полицмейстера Мараки и меня.

Я сделал доклад о всех обстоятельствах, связанных с конференцией, уже в то время начавшейся на Зелёном острове, и предложил арест её участников отложить к концу второго дня заседаний. Я рассчитывал на то, что к тому времени постановления конференции будут в значительной степени выработаны, что даст в руки властей достаточный обвинительный материал для передачи дела суду. Предложение моё было принято. Губернатор распорядился передать в распоряжение полковника Пострилина большой наряд полиции под командой одного из городских приставов, причём общее официальное командование нарядом передавалось в руки подполковника Пострилина. За мной оставалось, так сказать, негласное руководство всем делом ликвидации. Я, конечно, заявил, что буду всё время с нарядом полиции, укажу место собрания и т. д.

Наступил вечер следующего дня, когда подготовленный наряд из пятидесяти городовых с приставом, под общей командой подполковника Пострилина, занял места в поданном к пристани катере, куда вошёл также и я в сопровождении Егорова и взятых на всякий случай четырёх филеров охранного отделения. Я был, как всегда, в штатском платье, ничем не выделяясь из группы своих чинов. Настоящим гидом был, собственно, не я, а мой агент Егоров.

После отхода от пристани подполковник Пострилин собрал

весь наряд полиции вокруг себя и разъяснил предстоящую задачу. Она казалась несложной. Высадившись в определённом месте острова, мы должны были отыскать лодки, которые два дня тому назад доставили на остров участников конференции и находились в известном Егорову с Сергеем месте; оставить при них достаточный «заслон» из городовых для задержания возможных беглецов, а остальной части подойти к спящей, по нашему предположению, группе участников конференции и арестовать её, тщательно отобрав всю переписку.

Было далеко за полночь, когда мы подъехали к ярко освещённому полной луной лесистому берегу острова. Пришвартовав катер к небольшой пристани, устроенной на острове для любителей лодочного спорта, мы, соблюдая строжайшую тишину, вышли на берег. По указанию Егорова скоро были обнаружены несколько лодок, и при них оставлен небольшой наряд. Большая часть наряда зашагала за мной и Егоровым, шедшим впереди и указывавшим направление.

Была чудная июльская ночь, луна освещала путь, громадные осокори[120]блестели листвой при ярком лунном свете. Недавно скошенная трава и стога сена наполняли воздух ароматом. Мы шли довольно долго. Остров был большой. Волшебство окружавшего меня лунного пейзажа, громадные молчаливые деревья, благословенная тишина июльской тёплой ночи создавали у меня — человека, в душе всегда отзывчивого на прекрасное, равно как в природе, так и в искусстве, — настроения, далёкие от предстоящей нам задачи.

Вдруг всё это очарование нарушилось неожиданным образом. Раздался где-то совсем близко выстрел. Затем другой, третий. Я не слышал команды Пострилина и вдруг увидел, что цепь атакующих городовых стала перегонять меня, несясь навстречу выстрелам. Вынув револьвер, я мчался по лесу среди городовых. Некоторые из них на ходу стреляли. Пули били по листьям деревьев. Неслись крики. Через минуту или две положение выяснилось. Наш отряд окружил целую группу лиц, часть которых ещё не вполне очнулась от сна.

Оказалось, что оставленный в дозоре участник конференции, заслышав шум, произвёл выстрел, чтобы разбудить заснувших участников конференции. Кто-то из них, вероятно под влиянием воинственных постановлений только что закончившейся конференции, стал стрелять из револьвера в нашу сторону. Городовые стали отвечать выстрелами на ходу. Получилось подобие подлинной атаки, в которой, кстати, никто не пострадал.

Пострилин вступил в свои права и распорядился обыском и арестами. Мне оставалось только позаботиться о Сергее. Среди

арестованных его не было. Я успокоился.

Впоследствии выяснилось, что сбежать удалось двум участникам конференции. Одним из них был Сергей, приготовивший себе заранее лодку в уединённом месте. Другому участнику конференции удалось бежать и скрыться.

Наступило утро. Вернувшись в город, я с Егоровым, оба довольные результатами наших трудов, шагали по улицам спавшего города. Егоров решил проводить меня до квартиры. По дороге мы условились увидеться у него на другой день с Сергеем.

Ещё не было полудня, как я, давши телеграмму директору Департамента полиции, устремился в губернское жандармское управление на просмотр отобранных документов. Я выяснил, что нами задержана группа железнодорожных служащих Саратовского узла в количестве девятнадцати человек. По обыску было отобрано несколько револьверов и, что важнее всего, резолюции конференции саратовской областной организации РСДРП, призывавшей железнодорожников к террору. По обнаруженным у участников конференции записям были произведены дальнейшие ликвидации, которые помогли внести некоторое успокоение в дело железнодорожного движения нашего района.

Я поехал с докладом об успешном окончании дела к губернатору и к прокурору Саратовской судебной палаты. Оба поздравили меня.

Положение моё как нового начальника местного политического розыска сразу укрепилось. Я почувствовал к себе доверие.

В результате произведённого по этому делу формального дознания (в порядке 1035-й статьи Устава уголовного судопроизводства) все участники конференции приговором суда были сосланы на поселение в Сибирь.

Сергей, перепуганный всей этой встряской, вскоре скрылся из Саратова, повидавшись со мной раза два и детально рассказав мне все подробности, связанные с злополучной конференцией. Я его больше не видел…

Два или три месяца спустя я узнал, что, по представлению начальника губернского жандармского управления, подполковник Пострилин награждён орденом Св. Владимира 4-й степени. Чины саратовской полиции, участвовавшие в ликвидации, получили денежные награды от губернатора. Не получили ничего только два лица: мой подчинённый Егоров и я. Впрочем, Егоров получил маленькую награду: я выдал ему 10 рублей в возмещение понесённых им небольших расходов.

Тогда, в пылу моей розыскной работы, я никак не реагировал

на эту явную несправедливость. Я был доволен успехом своей работы, и мне представлялось, что достигнутый мной результат есть просто одно из звеньев исполняемого мною долга, за который нечего и выдавать особые награждения. Впрочем, я и в дальнейшей своей службе не умел использовать выгодных для себя положений, в смысле внеочередных наград.

Следующей «ликвидацией», о которой стоит рассказать, был захват подпольной типографии саратовской организации Партии социалистов-революционеров. Дело это сопровождалось для меня последствиями, которых я не ожидал и которые, как это ни покажется невероятным, повлекли за собой для меня большие огорчения. Это опять-таки было следствием той же запутанности во взаимоотношениях губернских жандармских управлений со вновь возникшими в провинциях охранными отделениями.

Прежде чем я расскажу это дело, отравившее мне немало дней, мне хотелось бы ещё раз подчеркнуть, что, собравшись писать воспоминания о службе, занявшей девятнадцать с лишним лет моей жизни, я твёрдо решил писать только правду, памятуя, что, во-первых, после происшедшей революции и открытия всех тайных архивов всякий мой рассказ может быть проверен и, во-вторых, только правдивым рассказом о моей службе я смогу, может быть, помочь тем, кто будет в новой, возрождённой и опрокинувшей большевиков России организовывать дело внутреннего осведомления для будущего национального русского правительства.

На одном свидании со второстепенным осведомителем, по профессии наборщиком местной типографии, я узнал, что ему удалось подглядеть, как другой наборщик той же типографии, молодой парень, понабрав шрифт из так называемых «косоч», где он лежит в алфавитном порядке, и завернув его в узелок, унёс его потихоньку из типографии. Куда именно он понёс украденный им шрифт, моему сотруднику не удалось выяснить.

Через день или два повторилась та же процедура. Через некоторое время — опять. Словом, парень систематически уносил небольшими пачками краденный им шрифт. Я установил за ним наружное наблюдение. Мой осведомитель, будучи лицом беспартийным и не имевшим связей в подпольной среде, никаких больше полезных данных дать мне не мог.

Последовательное наблюдение установило следующую картину: парень после работы в типографии возвращался к себе домой, вечера он проводил дома. Через несколько дней, в воскресенье, он отправился пешком загород в небольшой дачный посёлок, таща в одной руке довольно тяжёлый узелок, а в другой — как бы картину в раме, завёрнутую в бумагу. Принеся всё это

на одну из дач и проведя в ней несколько часов, парень с большими предосторожностями, проверяя, не ведётся ли за ним наблюдение, вернулся домой в город, оставив принесённые им вещи на даче. Однако мои филеры тотчас же доложили мне, что «держаться» им целый день в чужом для них дачном посёлке совершенно невозможно. Наблюдаемый ими дачник часто выходит из дома и разглядывает внимательно всех посторонних. Дачники небольшого посёлка стали разъезжаться. Место пустеет, и вести наружное наблюдение невозможно.

Никаких сомнений в том, что на этой даче поставлена тайная типография какой-то подпольной организацией, для меня не было. На даче поселился «печатник», член этой организации, а наблюдаемый наборщик из типографии разновременно доставляет ему шрифт, рамку для набора, вероятно краску и другие принадлежности. За типографией и «печатниками» надо было следить, а следить доступными мне тогда мерами наружного наблюдения было почти невозможно. Я понимал, что из-за несовершенства розыска я упустил много подробностей. Нам не удалось установить проноса на дачу бумаги. Нам не удалось выяснить никого, кто, вероятно, посещал эту дачу. А время шло.

В августе 1906 года в Саратове иногда появлялись прокламации. Не могу сказать, что их было много для того взбудораженного времени, но они всё-таки периодически появлялись. Могли ли они быть продуктом наблюдаемой мною типографии? В этом был вопрос. Если да, то надо было ликвидировать типографию и обыском подтвердить набор прокламаций. Распространение прокламаций было, по закону, более тяжким преступлением, чем простое их хранение. Если же мы, нагрянувши с обыском в типографию, нашли бы в ней одни только приготовления к печатанию, это явилось бы преждевременным и неразумным розыскным актом.

Однажды мои филеры, только временами проходившие по дачному посёлку, заметили наблюдаемого «дачника», тащившего под мышкой большой свёрток. Вести за ним наблюдение по пустынной окраине было опять-таки невозможно.

Я решил, что типографию надо «ликвидировать» во что бы то ни стало.

Доведя обо всём до сведения властей, т. е. губернатора, прокурора палаты и начальника губернского жандармского управления, я, получив себе на подмогу наряд городовых и того же подполковника Пострилина, опять в ближайшую же ночь повёл отряд на приступ таинственной дачи. На этот раз меня сопровождал другой служащий охранного отделения, состоявший

в должности заведующего наружным наблюдением, П.В. Мошков. Мошков знал местность и не раз сам ходил наблюдать за дачей.

Ночь на этот раз выдалась тёмная. Шли мы долго, с трудом разбирая дорогу. Приблизившись к даче, мы оцепили её и, подойдя к запертой наружной двери, постучали. Ответа не было. Никакого света, ни внутри, ни на дворе. Мы легко сорвали с петель наружную дверь и вошли с фонарями в руках в пустую часть дачи. Никого. Вдруг наверху в мезонине послышался шум. Мы бросились туда. В единственной комнате верхнего этажа, слабо освещённой зажжённой свечкой, какой-то неизвестный полуодетый мужчина средних лет старался развязать верёвку готового типографского набора. К моменту нашего появления он уже развязал эту бечёвку и стал разбирать набор. Его схватили дюжие руки нескольких городовых. Задержанный не сопротивлялся, но не отвечал ни на какие вопросы.

Меня, конечно, более всего интересовало: от имени какой организации набран текст прокламации. Разрушить и рассыпать полностью набор задержанному не удалось. Был только слегка развален угол набора, и, в общем, его удалось привести в тот же вид, скрепив развязанную верёвку. На наборе была положена типографская краска, что подтверждало предположение о том, что одна партия прокламаций могла быть уже изготовлена и, вероятно, была вынесена, так как мы не нашли отпечатанных прокламаций. Валялось лишь несколько испорченных оттисков. Подобравши один из таких грязных оттисков с пола, я убедился, что прокламации с девизом «В борьбе обретёшь ты право своё» и за соответствующей подписью были делом местной организации Партии социалистов-революционеров.

Мы наложили лист бумаги из приготовленной в углу комнаты кучи на набор и, пройдя по нему валиком с типографской краской, получили прокламацию Саратовского комитета партии эсеров. Производящий обыск подполковник Пострилин занёс это в протокол. Содержание прокламаций ничем особенным не отличалось от обычно в то время выпускавшихся революционным подпольем листовок. Это был призыв к свержению самодержавия.

Предоставив подполковнику Пострилину закончить официальную сторону обыска, я, забрав с собой своего служащего, зашагал домой. На другой день, сообщив о результатах обыска губернатору и прокурору судебной палаты, я послал обычное донесение о результатах моей розыскной работы в Департамент полиции. В губернском жандармском управлении возникло новое, в порядке 1035-й статьи Устава уголовного судопроизводства, дознание по делу обнаруженной типографии, а

я занялся очередной розыскной работой.

Задержание типографии было тогда моим первым успехом в делах такого рода. Скажу кстати, что в дальнейшем, особенно в течение первой половины моей службы в Саратове, когда революционное движение проявлялось весьма активно, мне удалось ликвидировать значительное количество подпольных типографий, но тогда мой успех действительно порадовал меня. Аресты подпольных типографий считались в нашей жандармской среде всегда крупным достижением розыска, и из предыдущего опыта я знал, какое значение придавал Департамент полиции и сами жандармские офицеры успеху в такого рода ликвидациях.

Эта моя удача, однако, вызвала в начальнике губернского жандармского управления раздражение. При моих посещениях управления и разговорах с полковником Померанцевым я заметил, что он, заводя беседу об этой типографии, сомнительно пофыркивал и старался указать мне, что в городе и в губернии не удалось нигде обнаружить прокламаций, набор для которых был нами обнаружен при обыске в ней. Значит, распространения прокламаций не было. Было, по мнению его, только подготовление к печатанию их. Задержано было только одно лицо, ночевавшее в доме, где лежал готовый типографский набор. Не произведена ликвидация той организации, от имени которой составлялось содержание приготовленного текста прокламации.

Всё это Померанцев преподносил мне с усмешкой, говорившей, что он, начальник управления, положительно не знает, что ему делать в дальнейшем с дознанием по делу о ликвидированной мною типографии.

Сначала я не понимал всей мерзкой затеи полковника, считая, что он просто стремится упрекнуть меня в слабой постановке розыска в охранном отделении и что я по неопытности сам давал ему в руки оружие против себя, откровенно делясь с ним на первых порах моими сомнениями в розыскных силах охранного отделения, которые я нашёл по приезде в Саратов.

Однако скоро я понял, что Померанцев не ограничивается только «уязвлением» меня. Беседуя как-то с прокурором судебной палаты, а потом и с губернатором, я стал замечать в их вопросах следы влияния полковника Померанцева. Мне показалось, что в них появилась тень сомнения в правильности моих действий.

Я откровенно рассказал обоим всю историю розыска, приведшего к аресту типографии. Губернатор, начавший к тому времени чувствовать доверие ко мне вообще, объяснил мне, что Померанцев ясно дал понять ему, что «тайная типография» организована, по его мнению, охранным отделением, и он, как

начальник губернского жандармского управления, находится в нерешительности, не зная, как направить дело в дальнейшем.

Нужно ли описывать возмущение, поднявшееся во мне при обнаружении мерзкой затеи Померанцева. Стараясь сдержать обуревавшее меня негодование, я пытался представить всю нелепость предположений полковника Померанцева. Я доказывал губернатору, что, будь я в то время более осведомлён о внутреннем положении местной организации Партии социалистов-революционеров и о том, что проделывается в стенах дачи, я, конечно, не производил бы самой ликвидации, очевидно несколько преждевременной. Я допускал, что произведённая ликвидация вспугнула революционную организацию, поставившую эту типографию, и возможно, что заготовленный пакет прокламаций был ею уничтожен. Можно было предполагать, что саратовский комитет Партии социалистов-революционеров, узнав о ликвидации типографии, был вправе думать, что местному охранному отделению известно не только существование типографии, но и многое другое, касающееся самой организации. Короче говоря, революционный комитет должен был понимать, что если охранное отделение «донюхалось» до его типографии, то уже наверное «всё знает» и о самом комитете. При таком положении возможность уничтожения пачки вынесенных ранее из типографии прокламаций была вполне логичной. В порядке той же логики я, насколько возможно спокойно, пытался доказать губернатору, что если бы я сам «провокационным» способом создал эту подпольную типографию, то уж тогда-то я бы знал, когда нужно выбрать время для более успешной ликвидации.

Но Померанцев не остановился на этой клевете. В продолжение всей своей дальнейшей службы в Саратове он старался так или иначе подорвать мой авторитет и запутать так наши отношения, что только перевод его в Одессу в апреле 1907 года разрешил вопрос наших взаимоотношений до известной степени в мою пользу.

На отозвании Померанцева из Саратова настоял директор Департамента полиции, но и тут, как всегда, вступился за свои прерогативы штаб Отдельного корпуса жандармов и перевёл его на должность начальника одесского жандармского управления. Надо знать, что розыск по городу Одессе был выделен из ведения начальника Херсонского губернского жандармского управления, и в Одессе возникло самостоятельное жандармское управление, ведавшее политическим розыском. Такое распределение жандармских сил в Херсонской губернии было оформлено ещё до создания провинциальных охранных отделений, и, таким

образом, полковнику Померанцеву предоставлена была возможность самому организовывать и вести политический розыск, без всякой конкуренции или помехи со стороны охранного отделения.

Всё это дело было весьма характерно как прекрасно выявляющее противоречия раздвоенной власти. Департамент полиции, в лице своего директора, в течение ряда месяцев убедился в том, что начальник губернского жандармского управления не только не старается сглаживать шероховатости в новоналаживаемой системе политического розыска, но и всяческими способами стремится затормозить его, и вот наконец решает, что нет иных мер, как удаление такого начальника управления с занимаемой им должности. Департамент полиции обращается к министру внутренних дел, который, согласившись с мнением директора, передаёт для исполнения всё дело командиру Отдельного корпуса жандармов, в распоряжении которого состоят чины Корпуса. Последний, после переговоров с начальником штаба Корпуса, которым обычно всегда бывал полковник Генерального штаба, очень далёкий подлинным интересам политического розыска, решает, что надо стать на сторону, противоположную «домогательствам» Департамента полиции, «разлагающего», по мнению этих руководителей Корпуса жандармов, дисциплину в рядах его. А потому, если уж совершенно неизбежно выполнить распоряжение министра внутренних дел как «шефа жандармов», надо его выполнить так, чтобы «насолить» Департаменту полиции. В результате штаб Отдельного корпуса жандармов производит ряд перемещений начальников губернских управлений, освобождает место начальника одного из этих управлений и на это место назначает «обиженного». Теперь этот «обиженный», признанный Департаментом полиции «неподходящим», будет сам вести политический розыск…

В дальнейшем судьба полковника Померанцева стала ещё более примечательной. Департамент полиции продолжал высказывать неудовольствие им и в его новой должности в Одессе, а тут, как нарочно, освободилась должность начальника Московского губернского жандармского управления, одна из самых лучших и завидных в Корпусе. У этого начальника в распоряжении розыск только по губернии. В то же время все революционные силы сосредоточены в Москве, где борьбу с ними ведёт Московское охранное отделение, несущее за это полную ответственность. В итоге у начальника жандармского управления спокойствие по службе. Кроме того, эта должность является исключением из общего правила ещё и в том отношении, что

начальник Московского губернского жандармского управления может быть в чине генерал-лейтенанта. Завидная была должность! И вот на неё-то попадает «в порядке старшинства» один из старших в то время генерал-майоров — Померанцев!

В дальнейшем, при описании моей службы в должности начальника Московского охранного отделения, я расскажу, как мне пришлось снова увидеться с генералом Померанцевым и как это привело на этот раз к неожиданной отставке моего давнего недруга.

С делом полковника Померанцева я попал в первый раз на своеобразную «чёрную доску» штаба Корпуса. Не пройдут теперь ротмистру Мартынову никакие представления Департамента полиции о внеочередных наградах за «отличную» службу по розыску. Командир Отдельного корпуса жандармов (затем атаман Войска Донского), генерал-лейтенант барон Таубе, при представлении ему ротмистра Мартынова, начальника Саратовского охранного отделения, скажет ему впоследствии вместо приветствия: «Вы, ротмистр, может быть, по мнению Департамента полиции, лучший жандармский офицер, а по моему мнению, вы — худший! И вообще, в Корпусе — или вы, или я!»

Но всё это будет ещё впереди. Тогда же надо было иметь за собою губернатора и прокурора судебной палаты с их поистине громадной верой в мою добропорядочность, чтобы не попасть в гнусную ловушку. В отвратительном настроении, чувствуя всё время продолжающуюся против меня кампанию, я скрепя сердце продолжал свои официальные сношения с Померанцевым. Совершенно искренне считая это служебной обязанностью, я продолжал освещать ему в главных чертах то, что происходило и что делалось мне известным в сфере революционного подполья. С каждой неделей я приобретал новую агентуру и моё осведомление улучшалось, хотя на первых порах развивалось только в двух направлениях: в сторону деятельности местных большевиков и в сторону максималистов всякого рода. Осветить же сильной агентурой местных социалистов-революционеров мне всё ещё не удавалось.

Стараясь действовать так, чтобы со стороны полковника Померанцева не было нареканий на меня, что я не держу его в курсе событий, я регулярно, раза два в неделю, посещал его и в общих чертах осведомлял его обо всём главном. Я не раз замечал, как мой собеседник, видимо не доверяя своей памяти, делает какие-то заметки карандашиком. Вскоре я выяснил значение этих заметок. Оказалось, что немедленно после моих посещений полковник Померанцев направлялся к губернатору с докладом, главным образом состоявшим из сведений, только что

переданных ему мной.

Раскрылось это случайно. Губернатор в разговоре со мной как-то спросил меня, известно ли мне о предполагаемом нападении на местный винный склад в Аткарске Саратовской губернии группой саратовских максималистов. Я ответил утвердительно, что за этой группой мною ведётся постоянное наблюдение. В свою очередь, я спросил губернатора, откуда именно ему известно об этой группе, ибо я только что собирался рассказать губернатору о ней и выработать совместно с ним план действий на тот предмет, если бы этой группе удалось выехать в Аткарск до ликвидации её в Саратове. Тут-то и выяснилась роль Померанцева, «забежавшего вперёд» и блеснувшего перед губернатором своей проницательностью и осведомлённостью, но «забывшего» сообщить, что все сведения об этом деле он только что получил от меня. Губернатор посмеялся, но с этого раза доверие его ко мне более не нарушалось. Я же переменил тактику: сначала доводил всё до сведения губернатора, а уже затем только сообщал о том Померанцеву.

Прошло уже около месяца после ареста злосчастной типографии, когда я вдруг получил запечатанный конверт от директора Департамента полиции на моё имя, в «собственные руки», «конфиденциально» и прочее. Разворачиваю пакет — в нём письмо… М.И. Трусевича, директора Департамента, в котором он, сообщив мне, что произведённый мною арест тайной типографии возбудил «нежелательные толкования» в местной администрации, просит меня в «совершенно откровенной форме» поставить его в известность о всех фазах этого дела и о причинах, которые могли вызвать такие толкования. Скрепя сердце я засел за это объяснение и в форме «доверительного» письма на имя директора Департамента полиции составил его в тот же вечер.

Объяснив по порядку, как сложилось дело, указав на отсутствие в нём «агентуры», ибо оно началось с установленного мною наружного наблюдения за лицом, кравшим и выносившим из частной типографии шрифт, я отметил, что самый несколько несвоевременный и, вероятно, преждевременный арест типографии указывает, что «агентура» в этом деле отсутствовала, а следовательно, не было возможности так или иначе «формировать» работу тайной типографии. Я просил М.И. Трусевича верить моей честности, не позволяющей мне прибегать к сомнительным приёмам в розыске, и, с другой стороны, не отказывать мне и в уме, ибо, если бы я прибегнул к таким приёмам, я также знал бы, в какой момент ликвидировать типографию. Сама несвоевременность ликвидации говорила ясно в мою пользу. Я, конечно, откровенно рассказал об источнике

«нежелательных толков». Дело этим и закончилось. Какие «конфиденциальные» письма получили после моего объяснения местные власти, я не знаю, но знаю что доверие ко мне со стороны как губернатора, так и прокурора судебной палаты укрепилось.

Расскажу теперь о третьем выдающемся случае из моей служебной деятельности всё того же первого периода службы в Саратове, а именно о покушении на жизнь саратовского губернатора графа С.С. Татищева группой молодёжи при саратовской организации Партии социалистов-революционеров.

Произведя по моему поручению обыск на квартире рабочего, полиция препроводила в Саратовское губернское жандармское управление задержанного при обыске мальчишку лет шестнадцати-семнадцати, у которого в кармане пиджака оказался обрывок прокламации. Обнаружено было также и письмо с приглашением «зайти и переговорить». Доводы к задержанию ничтожные, и ясно было, что он выйдет на свободу. Я присутствовал при опросе этого парня. Мальчишка показался мне занятным. Я стал беседовать с ним и обещал ему похлопотать об освобождении его из-под ареста. Через день я снова зашёл в управление, чтобы присутствовать при его освобождении. Выйдя с ним на улицу, я предложил ему побеседовать «по-хорошему», сказав, что я интересуюсь его дальнейшей судьбой. Малец почувствовал ко мне симпатию и согласился. Существовал в Саратове недалеко от центра города не то трактир, не то ресторан, с садом. Сад был большой, и в нём были понаставлены беседки, как бы вроде отдельных кабинетов. Это было удобное место для кратковременных свиданий днём. Мы завернули в этот сад, заняли одну из уединённых беседок и, потребовав пару пива, завели разговор.

После недолгой, но задушевной беседы мальчишка усвоил моё служебное положение и пришёл к убеждению, что я спас его от крупных неприятностей. В благодарность за это и за обещанную ему мной в будущем денежную поддержку он стал откровенно объяснять мне, почему именно в кармане его пиджака оказался клочок прокламации и что означало собой приглашение «зайти и переговорить».

С этого момента я в первый раз напал на след налаженной организационной работы местной организации Партии социалистов-революционеров. До этого, несмотря на отдельные и удачные ликвидации, я ещё не мог добраться до центров, откуда исходили директивы. На этот раз я почувствовал, что, дёрнув за нить, могу размотать весь клубок.

Вот что я узнал на первых порах. Одним из известных

«народников» был некий Петропавловский, саратовец, по литературному псевдониму Каронин. Был он тогда, насколько я помню, в ссылке[121]. У него был сын, юноша лет восемнадцати. Он не то ещё числился в гимназии, не то уже был уволен из неё. По справкам охранного отделения этот многообещавший в делах революции юнец уже «проходил» по делам отделения как замешанный в связях с местными социалистами-революционерами. Молодой Петропавловский и был автором письма, обнаруженного по обыску у моего парня. Парень, назову его Мишей (насколько я помню, это и было его имя), снюхался незадолго до своего случайного задержания с Петропавловским и группой молодёжи, его окружавшей. Они давали ему революционную литературу и «развивали» его. В последнее время эта группа стала подготовляться к террористическому выступлению.

Мише было предложено участвовать не в самом террористическом акте, а в пособничестве к нему. Ему была обещана полная тайна и отсутствие ответственности. Группа под руководством юноши Петропавловского, входившего от имени этой группы в саратовский комитет эсеров, подготовляла убийство губернатора графа Татищева к 6 декабря 1906 года. Решили убить его бомбой, брошенной в коляску, при проезде из губернаторского дома в собор на торжественное богослужение в царский день[122] или при обратном проезде из собора домой. Я вёл беседу с Мишей в пятницу, а на следующий день, в субботу, ему предстояло идти на собрание у Петропавловского.

Передо мной встала огромной ответственности задача — надо было в течение приблизительно месяца раскрыть подробности готовящегося покушения. Я бросился прежде всего за подтверждением рассказа Миши о Петропавловском как об авторе письма к нему. Я нашёл собственноручно написанную им просьбу в полицейское управление и сличил почерки. Сомнений не было! Я установил наружное, очень осторожное наблюдение за Петропавловским. Наблюдение отметило на другой же день сходку молодёжи в его квартире, и охранное отделение установило вскоре личности участников сходки. Все это были незрелые юнцы.

На втором свидании Миша рассказал мне подробно обо всём, что происходило на квартире у Петропавловского. Оказалось, что собравшиеся у него на квартире предназначаются быть «махальщиками» при проезде губернатора. Окончательное распределение ролей предполагалось сделать перед самым актом. Миша рассказал мне, как Петропавловский читал революционную литературу, «развивая» в слушателях революционное сознание, и

говорил речь о необходимости бороться с властью террором.

Миша был по натуре оживлённый, смышлёный парень, не без оттенка юмора. Помню, как он мне говорил об этой сходке: «Сижу это я, слушаю Кольку (Петропавловского), а сам, как вспомню о вас и что надо это вам всё передать, стараюсь запомнить, хмурю брови, а Колька смотрит на меня и поди думает: вот как ему слова западают в душу! Чуть не улыбнусь при этом, да вспомню опять ваши наставления и продолжаю слушать» Мише всё его участие в деле представлялось какой-то актёрской игрой. Мне-то оно этим не казалось, конечно!

Я поехал к губернатору и рассказал о готовящемся на него покушении и о тех средствах, которыми я обладаю к раскрытию последних приготовлений и к своевременной ликвидации заговора. Признаться откровенно, я и тогда не знал в точности этих средств.

Уже потом, после достаточной практики в деле политического розыска, я пришёл к одному определённому выводу, а именно что ликвидация подпольного революционного сообщества или «предприятия», им осуществляемого, является для лица, ведущего розыск, всегда задачей «со многими неизвестными» и потому со многими решениями. Можно решить в одном направлении, но потерять при этом кое-что; можно решить задачу и в другом направлении, но и тут потерять кое-что другое: то потеряешь сотрудника (а это — Боже сохрани!); то ликвидацией устранишь от активности не очень активную организацию, на место которой станет другая, куда более активная; то случайно при ликвидации будет отсутствовать руководящее лицо, из-за которого, собственно, и производишь самую ликвидацию. Решениям нет конца!

На этот раз мне надо было выяснить, кто же является главным террористом и как его обнаружить и вовремя задержать с «доказательством» на руках. Одно время я склонялся к мысли, не сам ли Петропавловский является этим террористом. Но это предположение скоро отпало, ибо на одном из свиданий его с членами группы «махальщиков» он заявлял, что будет в их числе и будет руководить их действиями. Значит, террористом, взявшим на себя задачу бросания бомбы, является кто-то другой.

Вести систематически наружное наблюдение за Петропавловским было невозможно. Как и в других случаях, этому мешали условия городской жизни и быта. Внутренняя же агентура, в данном случае Миша, мой, может быть, и верный, но глуповато-наивный осведомитель, не пользующийся в подпольной работе полным доверием, был для меня недостаточным подспорьем. Время шло. До затеянного покушения оставалось

несколько дней. Выявились некоторые подробности. По плану и решению Петропавловского проезд губернатора в собор состоится в обычном порядке и по обычному пути. Губернатор к началу церковной службы выедет из своего дома в коляске один, повернёт за угол по Мало-Сергеевской или обогнёт другой угол дома и поедет по Мало-Кострижной. В обоих случаях он выедет на Александровскую улицу, по которой поедет далее к собору. По тому же плану группа «махальшиков» должна была ходить друг за другом на известном расстоянии, и первый из них, кто увидит коляску губернатора, обязан махнуть платком.

Махнуть платком — значит подать кому-то знак. Кому? Конечно, террористу, который откуда-то выбежит и бросит бомбу. Таким образом, предстояло наблюдать за домами по всему проезду губернатора, а проезд был немалый.

Если бы Петропавловский заранее назвал район, который оцепят «махальщики», то, может быть, я смог бы наметить слабые и узловые места, где мог прятаться террорист, но Петропавловский заявил, что он расставит «махальщиков» только в самое утро покушения.

За несколько дней до 6 декабря я понял, что ничего нового не открою. Я поехал к губернатору и откровенно рассказал ему, в каком положении стоит дело розыска. Опасаясь за жизнь губернатора и видя ясно, что имевшимися в моём распоряжении силами мне, может быть, не удастся предупредить террористический акт, я стал упрашивать графа под каким-нибудь предлогом не выезжать из дома в этот день. Я полагал, что тем самым покушение будет, вероятно, отложено до другого дня, примерно до Нового года, а за это время я, может быть, смогу выяснить многое. Однако уговорить Татищева на эту меру мне не удалось. Он отверг мои доводы, сказав: «Ехать в этот день в собор мне необходимо. Это мой долг, а ваш долг — попытаться сделать всё возможное, чтобы предупредить покушение! Я не могу и не хочу допустить, чтобы кто-нибудь счёл меня трусом!»

Твёрдое решение губернатора повлияло и на меня. Я решил быть в день 6 декабря как можно ближе к нему. Я настоял лишь на некотором изменении обычного пути.

Не буду описывать моего душевного состояния. Нечего и говорить, что оно было отвратительное. Посвятив в дело полицмейстера, я составил план возможно лучшей наружной охраны, понимая, однако, что такая охрана едва ли может предотвратить покушение. Более всего я надеялся на то, что на улице мне удастся самому подойти к Мише, и я смогу узнать от него что-нибудь существенное.

В ночь на 6 декабря я не сомкнул глаз. Я установил

наблюдение за Петропавловским и членами группы «махальщиков». Наблюдение доложило мне, что к десяти часам утра вся группа рассыпалась по улицам, соприкасавшимся с домом губернатора, и что все «махальщики» с Петропавловским во главе прогуливаются гуськом, на известном расстоянии друг от друга, обходя большой район вокруг губернаторского дома. Я предупредил губернатора, что выезд из дома надо задержать до моего прихода к нему. Я пытался безуспешно найти Мишу. Время шло. Тогда, опасаясь, что граф не станет ожидать моего прихода и выедет из дома, я решил, что больше ждать и медлить опасно, и отдал приказ задержать разом всю группу «махальщиков» и этим сорвать весь план покушения.

Решение моё, как показали дальнейшие события, было правильным. «Махальщики» были арестованы вместе с Петропавловским и поодиночке препровождены в жандармское управление. Отправленный туда же мой агент, заведующий наружным наблюдением, переговорив с Мишей, не узнал от него ничего нового. Миша должен был, завидев коляску, как и другие члены группы, махать платком.

Губернатор выехал из своего дома немедленно после моего телефонного сообщения о проведённых арестах, а я поспешил сам к собору, где я успел только в двух словах передать ему о моих действиях, и снова просил его вернуться домой по изменённому пути.

Опасаясь более всего за район, прилегающий к дому губернатора, я сосредоточил там все наличные силы отделения и просил полицмейстера стянуть туда также и полицию. Отправившись сам туда же, я, поджидая приезда губернатора, в большом волнении всматривался в каждого прохожего. Впрочем, в этом районе их было немного. Наконец показалась коляска губернатора. Татищев увидел меня, приветливо улыбнулся и знаком просил зайти к нему. Я вошёл в губернаторский дом вслед за графом и, облегчённо вздохнув, поздравил его с окончанием тревоги, по крайней мере на сегодняшний день. За завтраком у губернатора я рассказал все перипетии этого беспокойного утра, признавая, что мне удалось, правда, предотвратить самое покушение, но не удалось ни выяснить, ни задержать террориста. Благодаря меня за мою деятельность, граф особенно подчёркивал, как он ценит то, что я сам не уклонился от «неприятной» обязанности быть около него в самые опасные моменты его проезда.

По обыску у задержанных ничего компрометирующего не оказалось. Все они, конечно, отрицали свою виновность. Миша, по моему разрешению, дал на следующем допросе объяснения, и всю

группу привлекли к дознанию, возбужденному в порядке «Положения о государственной охране».

Все арестованные, за исключением Миши, были затем высланы из пределов Саратовской губернии административным порядком, а Петропавловский был выслан из пределов Европейской России, согласно мудрому изречению Петра Николаевича Дурново: «Дальше едешь — тише будешь!»

Всё это, надо признаться, подтверждало мои сообщения о покушении только косвенно. Других фактов у меня тогда не было. Но я верил, что недалёкое будущее подтвердит правдивость моих сообщений. И действительно, приблизительно через год в статье, появившейся в одном заграничном эсеровском журнале и посвящённой делу убийства пензенского губернатора Александровского, совершённого эсером Гиттерманом в начале 1907 года, рассказывалось, как ему незадолго до этого убийства не удалось совершить покушение на жизнь саратовского «полицмейстера» в день 6 декабря 1906 года.

Почему в этой статье граф Татищев был назван именно полицмейстером, я не знаю, но знаю, что такие приготовления для убийства полицмейстера, какие были сделаны в Саратове, производить было незачем. Полицмейстера можно было убить в любой день, в любом месте и без особенных приготовлений.

Впоследствии, уже в конце 1907 года, от весьма осведомлённого сотрудника, близко стоявшего к самому центру саратовской организации социалистов-революционеров, мне удалось узнать и все подробности покушения. Оказалось, что покушение на графа Татищева взялся выполнить член кружка молодёжи при саратовской организации эсеров, названный выше Гиттерман, один из двух сыновей-гимназистов инженера Гиттермана, проживавшего тогда в Покровской слободе, на другом берегу Волги. Самое покушение было задумано и организовано следующим образом. Гиттерман рано утром 6 декабря явился на квартиру Петропавловского и получил от него бомбу. Привесив её под пальто, он отправился в аптеку, находящуюся на Александровской улице вблизи губернаторского дома. Заказав по рецепту какое-то весьма сложное, требующее времени для приготовления лекарство, он остался ожидать, сидя на стуле у окна. В это окно он мог видеть проходивших «махальщиков». Заметив, однако, аресты их, он скрылся. Скрылся для того, чтобы при более благоприятных обстоятельствах совершить удачно террористический акт в Пензе.

Разбирая сам свои действия по делу покушения на Татищева, я не раз критиковал их. Промахи были очевидные. Наружное наблюдение проглядело утренний приход к Петропавловскому

Гиттермана. Оно должно было установить весьма существенный акт: заход Гиттермана в аптеку. При аресте группы Петропавловского мы могли бы арестовать его там с бомбой. Это был громадный промах! Может быть, следовало также рискнуть произвести обыск у группы Петропавловского в ночь на 6 декабря, и мы тогда нашли бы бомбу. Словом, как всегда в таких случаях бывает, после того, как я узнал подробности, сразу выяснилось, что следовало бы сделать.

Подходил конец 1906 года, который завершил собой мой первый период на посту начальника Саратовского охранного отделения. Не надо забывать, что это был год, беспокойный для власти. Революционное подполье продолжало кипеть. Это было в то время, когда министр внутренних дел и премьер П.А. Столыпин, живя, по предложению Царя, в Зимнем дворце, чтобы избежать покушений, пользовался прогулками на крыше дворца.

Не проходило дня, чтобы я не вылавливал в Саратове крупных и мелких членов подполья, и если я теперь в своих воспоминаниях не могу исчерпывающе рассказать о борьбе с каждодневной активностью революции того периода, то только потому, что это заняло бы целые тома книг. Да и память моя не в состоянии воспроизвести все подробности моей тогдашней деятельности.

Примерно в конце ноября 1906 года приехал в Саратов тот лучший осведомитель моего предшественника, который от имени саратовского комитета РСДРП присутствовал делегатом на партийной конференции в Финляндии, одобрившей максимализм как способ борьбы с властью.

Сотрудник этот, по псевдониму «Иванов», оказался весьма неглупым молодым человеком, натасканным в партийных вопросах и в то же время сильно поколебленным в вере в успех власти в борьбе с революцией. Разговоры мои на длительных свиданиях оставляли во мне двойственное впечатление. С одной стороны, «Иванов» рассказывал подробно обо всём происходившем в саратовской организации названной партии. С этой стороны я мог быть вполне доволен. У меня составилось ясное понятие обо всей подпольной большевистской организации в Саратове — со всеми её подразделениями, планами работы, местами хранения партийной литературы, активными деятелями и т. д. Так как эта организация приняла тогда максималистский уклон, то, по указаниям «Иванова», я тогда же осенью ликвидировал установленную во время его нахождения в Финляндии лабораторию взрывчатых снарядов, хорошо оборудованную в подвале дома, принадлежавшего зажиточному саратовскому мещанину. Оборудовали эту лабораторию его

сыновья, молодые люди, так ловко, что родителям и в голову не приходило, что они в течение целой недели спали на целом складе бомб.

С другой стороны, «Иванов» оставлял во мне впечатление человека, уверенного в конечной победе революции и в неспособности власти справиться с ней. Мне стоило больших трудов и большого запаса времени, чтобы в беседах с ним разуверить его в неспособности власти справиться с революцией.

Когда я решил ликвидировать лабораторию и послал соответствующий наряд полиции и при нём для руководства письмоводителя отделения А.Б. Попова, то, конечно, растолковал руководителям наряда, для чего они идут на обыск и что предполагается обнаружить. Я предложил арестовать всех обитателей дома. Потом оказалось, что это спасло положение.

Возвратившийся наряд полиции, а с ним и Попов доложили мне, что по обыску они ничего преступного не обнаружили, но обитателей дома пока задержали и отправили в губернское жандармское управление для опроса.

Наскоро вызываю «Иванова» и говорю ему о безрезультатном обыске, на что «Иванов» отвечает: «Велите обыскивать лучше, — полиция ваша и этого не умеет делать!» Беру новый наряд полиции, назначаю того же Попова и говорю: «Перероjте всё, но найдите лабораторию бомб!» Часа через два приходит смущённый, но радостный Попов и докладывает мне, что в подвале нашли хорошо заделанную дверь, а за ней другую комнату, где обнаружена мастерская для приготовления бомб, приборы, материалы для выделки их и несколько заряженных и готовых бомб. Когда эти бомбы взрывали на артиллерийском полигоне, то они оказались большой разрушительной силы.

Родители арестованных эсдеков, хозяев лаборатории, благодарили жандармскую власть за то, что их избавили вовремя от спанья над бомбами.

Карлейль заметил, что «ничто так не развивает человека, как сознание своей ошибки». Ошибка «Иванова» обошлась ему дорого. Заключалась она в следующем. В один из ноябрьских дней того же года я узнал, что в самом людном месте города, на Немецкой улице, трое вооружённых ограбили, как говорится, на глазах у публики, ювелирный магазин. Грабители благополучно скрылись, забрав денежную выручку и захватив кое-что из товара. Насколько помню, добыча не превышала суммы в три тысячи рублей.

Вначале дело это представилось простым грабежом, которым и занялась местная сыскная полиция. Мне, казалось, делать было нечего. Однако до меня стали доходить сведения, что группа

местных эсдеков, в порядке того же максимализма, является виновницей этого налёта. Появились слухи, что и «Иванов» участвовал в нём. Когда я попытался вызвать «Иванова» к себе, оказалось, что он исчез из города. Исчезли и другие, которых я установил как более или менее активных деятелей в местной эсдековской организации. В непродолжительном времени их удалось арестовать. Арестованные отрицали свою вину. «Иванов» скрылся, и казалось, бесследно. Однако через год он появился в Саратове, конечно, не давая о себе знать. Моя агентура отметила его появление в городе, и я, установив его адрес, сообщил местной полиции о нём и его участии в грабеже. «Иванова» арестовали, и по этому делу ему пришлось просидеть в местной тюрьме что-то около двух лет. В тюрьме у него развился туберкулёз. В конце концов ему удалось на суде благополучно вывернуться и избежать наказания. Он был освобождён. По освобождении он добился свидания со мной, каялся и искренне просил прощения. Мне же потом пришлось его поддержать материально, и я помог ему поступить в Московскую школу живописи и ваяния[123], где он, насколько помню, преуспевал в ваянии. «Иванов» совершенно изменился и, кажется, совсем потерял прежнюю веру в революцию, а она-то и подошла к нему, когда он уже не поджидал её, только в 1917 году!

В конце сентября того же года в Саратов приехал один из вице-директоров Департамента полиции, Никита Петрович Харламов. Командирован он был для объезда нескольких губерний, где ознакомился с положением политического розыска. Харламова я знал ещё по моей прежней службе в Петербургском губернском жандармском управлении, куда он был откомандирован в качестве товарища прокурора Петербургского окружного суда для наблюдения за производством дознаний по политическим преступлениям. Затем он, в бытность М.И. Трусевича директором Департамента полиции, был приглашён занять должность одного из вице-директоров этого Департамента. Однако он никогда не соприкасался с теми отделами Департамента, где сосредоточивались сведения, касающиеся политического розыска. Это был тип человека чиновничьей складки, очень добросовестного, с ясным умом, весьма корректного, но, повторяю, в политическом розыске не сведущего. В течение двух-трёх дней он был у меня гостем, и я подробно ознакомил его с положением розыска у себя в отделении и с положением и силами местного революционного подполья.

В то время сам Департамент полиции ещё не имел в своих рядах признанных знатоков по политическому розыску. Это упущение было исправлено только в 1908 году, когда в рядах

высших чиновников Департамента полиции появились люди, сами ранее работавшие на местах по розыску.

Командировка Харламова и его несколько поверхностное знакомство с делами моего отделения говорили за то, что он просто «получил командировку», т. е. получил возможность проехаться в течение нескольких недель по России. Я не преминул воспользоваться случаем, чтобы посетовать на недостаточность личного состава отделения, на недостаточность отпускаемых денежных средств. Но всё это не принесло заметных результатов. Мы расстались с Харламовым с теми же добрыми чувствами друг к другу, что были меж нами и раньше. Я имел основание полагать, что Харламов дал графу Татищеву лестную рекомендацию обо мне.

Мне хотелось бы рассказать читателю, как протекал мой обычный, так сказать, «средний» день за этот период моей службы. Он коренным образом отличался от того распорядка, в каком протекал мой служебный день в Петербурге. Там я приходил к десяти часам утра на службу и работал в своём кабинете до пяти часов вечера. Допросив очередных свидетелей или произведя допросы обвиняемых, написав очередные постановления, протоколы, составив очередные запросы и т. д., я, освободившись к пяти часам дня, принадлежал себе и моей семье. Вечера я мог посвятить досугу. Я вёл жизнь обычного среднего петербургского чиновника. Я посещал театры. Посещал семьи моих родных и друзей.

Не то было в Саратове. Собственно, при желании или, вернее сказать, при нежелании работать, я мог бы провести любой день в полном бездействии — никто не контролировал меня. Но если у меня и появлялось такое желание, я его безжалостно подавлял. Я поставил себе задачей быть лучшим из розыскных деятелей и никогда, ни на один день, не уклонялся от самых неприятных мелочей на службе, только бы они принесли пользу тому делу, за которое я взялся. Оглядываясь назад, я думаю, что я был настоящим фанатиком служебного долга. Единственным вознаграждением за мою преданность делу я мыслил (и к этому стремился со дня поступления в Отдельный корпус жандармов) — был пост начальника отделения по охранению общественной безопасности и порядка в Москве. Я получил это назначение только в июне 1912 года, пробыв в Саратове ровно шесть лет. Это назначение было самым радостным для меня событием за все годы моей службы; но тогда, в 1906 году, это было далёким и весьма туманным будущим. Тогдашние мои будни были мало радостные, и я, конечно, не знал воскресений, праздничных или табельных дней. Я не знал также регулярных, положенных для

всех, часов работы. Я был на службе весь день, весь вечер и часто ночью. Если ложился спать, то голова моя была так перегружена обдумыванием очередной «ликвидации» или выжиданием результатов обыска, что я часто почти не мог заснуть. Я так был занят «пережёвыванием» всех полученных за день агентурных сведений, что часто отвечал невпопад на вопросы жены в те редкие часы, которые я проводил дома за завтраком или за обедом. Жена моя постоянно говорила мне, что со мной невозможно стало разговаривать.

Я вставал утром около девяти часов и немедленно осведомлялся о результатах очередного обыска. Напившись кофе, принимал уже ждавших очереди служащих: заведующего наружным наблюдением; докладчика по делам канцелярии, приходившего с почтой и с бумагами для подписи — бумагами, которые я сам подготовил за предыдущий день (у меня «писаки», кроме меня самого, никого не было); и ещё двух-трёх служащих с экстренными докладами и сообщениями. Проделав эту процедуру наскоро, я обычно ехал, как я это завёл с первых дней приезда в Саратов, на доклад приставов полицмейстеру. Приедешь в полицейское управление, усядешься в кресло у стола полицмейстера и слушаешь, что случилось за ночь в Саратове по всем шести полицейским участкам. Там я знакомился и с жизнью города, да и с разными чиновниками и обывателями, ибо пристава в устной форме рапорта передавали и свои наблюдения и впечатления о людях. Пристава, отдавши рапорта, уходили, а я оставался посидеть полчаса и потолковать с милейшим В.Н. Мараки, а затем ехал с ним, но ради конспирации в отдельных экипажах к губернатору. Обычно нас просили подождать, и часто встреча с губернатором происходила сначала за семейным завтраком, а уже потом шли наши служебные, по очереди, доклады у него в кабинете.

Я употребляю слово «доклад» губернатору несколько фигурально, ибо офицеры Отдельного корпуса жандармов не были подчинены губернаторам, и я обязан был только осведомлять губернатора о всём, что касалось подпольной революционной деятельности в городе и об «общественном настроении». При письменных сношениях с губернатором я обычно употреблял выражение: «имею честь поставить в известность» или «довожу до сведения Вашего Сиятельства…». Некоторые строптивые начальники губернских жандармских управлений упорно писали губернаторам: «сообщаю Вашему Превосходительству…» Большинство губернаторов не любило этих «сообщаю». В разговорной форме я употреблял фразу: «имею честь доложить Вашему Сиятельству…» Наши отношения с

графом Татищевым были неизменно хорошими, и я ни разу не заметил с его стороны ни малейшего неудовольствия моими действиями[124].

Возвратившись домой, я немедленно усаживался за письменный стол и начинал заниматься письменностью. Это была часто весьма скучная работа. Надо было привести в порядок агентурные записи; сдать в архив канцелярии фамилии лиц и их адреса, а также и приметы; заполнить тетради секретных сотрудников, переписав в удобочитаемом виде их сведения, которые я на свиданиях записывал схематически. Я всегда сожалел, что не знал стенографии — как бы она могла мне пригодиться! Я не умел пользоваться и пишущей машинкой, а учиться этому было некогда.

Самым досадным и скучным видом работы для меня была переписка в тетради только что полученных агентурных сведений, занесённых наскоро на листки бумаги. Часто свидания с агентами происходили не на конспиративной квартире, где был сравнительный комфорт, был удобный стол для письма и никто не мешал, а в каком-нибудь номере дешёвой гостиницы или в другом, мало приспособленном для письма месте. Приходилось записывать наскоро, а мой почерк, когда я пишу спеша, неразборчив. Из этих, отрывочно и наспех написанных, заметок надо было, не откладывая дела в долгий ящик, составить удобопонимаемое изложение всего сообщённого сотрудником. На поля тетради надо было выносить имена и фамилии упомянутых сотрудником лиц, чтобы один из агентов отделения для справок их «разработал», т. е. сделал бы подробную установку каждого лица в смысле определения его жительства, всех возможных подробностей относительно его занятий, прошлого и т. д.

Покончив с этим делом, я составлял доклады в Департамент полиции о положении дел в местном подполье, новых планах революционных деятелей и собственных моих намерениях. На это уходит часа два-три. Днём ещё непременно предстоит одно или два очередных свидания с секретными сотрудниками. Надо спешить. Надо быть точным и к назначенному времени надо быть в условленном и записанном в памятной книжке месте.

Часто ещё выпадали дни, когда надо было забежать в губернское жандармское управление по какому-нибудь срочному делу. Наконец, часам к пяти-шести я попадал снова домой, на этот раз к обеду. По вечерам назначались свидания с секретными сотрудниками. Иногда надо было повидаться с тремя-четырьмя лицами за один вечер. Редко-редко свидание с секретным сотрудником происходило так, что отнимало полчаса, обыкновенно больше, а иногда и значительно больше. Очень

часто после этих свиданий, когда голова забита самыми разнообразными сведениями, надо было спешить домой, чтобы обдумать до мелочей производство срочных обысков и арестов.

Часов в десять — двенадцать, а иногда и позже в кабинет являлся заведующий наружным наблюдением П.В. Мошков и приносил для просмотра рапортички филеров со сведениями обо всём замеченном ими при наблюдении. Иногда, в более важных случаях, я сам отправлялся в канцелярию отделения, где в одной из комнат, называемой «сборной», собирались возвращавшиеся с наблюдений филеры. Тогда я сам выслушивал их устные доклады, составлял «наряд» на следующий день.

Формально этим мой трудовой день заканчивался. Если не считать того, что я, желая узнать подробности очередного обыска, не ложился спать, а ожидал телефонного сообщения, то мой средний рабочий день, начавшись в девять часов утра, заканчивался около полуночи.

При такой работе и перегруженности в делах службы мне не так легко было бывать с визитами. Чаще всего я посещал семью полицмейстера В.Н. Мараки. Сыновья его, воспитанники Морского корпуса, жили в Петербурге и приезжали к семье только на большие праздники. Дочка жила с родителями. Жена его, красивая светская женщина, Мария Николаевна, немедленно после появления моего в их квартире начинала беспокойно выпытывать у меня, чем грозит её мужу завтрашний день. К концу года, особенно после неудачной для революционеров попытки покушения на губернатора, Мария Николаевна уверовала в мои розыскные способности и поэтому донимала меня своими расспросами. Никакие резонные уговоры её мужа не приставать ко мне обычно не помогали. Приблизительно через год В.Н. Мараки был назначен на должность одного из шести полицмейстеров в Петербурге — должность сравнительно спокойную, хорошо обставленную материально и являвшуюся значительным повышением по службе для саратовского полицмейстера.

Оценку своей деятельности уже к концу моего первого периода службы в Саратове, т. е. к концу 1906 года, я нашёл прежде всего в отношении ко мне тех сравнительно маленьких по рангу лиц, какими были полицейские пристава и их помощники и которым чаще всего приходилось сталкиваться со мной. Я всегда старался избегать безрезультатных обысков, стараясь ограничить их кругом действительно активных подпольных деятелей, и не форсировал предоставленных мне сравнительно широких на этот счёт прав. В результате обыски, мной намеченные, почти всегда оправдывали мои распоряжения, и местная полиция привыкла

относиться к моим поручениям с большим вниманием. Пристава говорили мне: «Мы знаем, господин ротмистр, что, если вы поручили произвести обыск, это будет не безрезультатно!»

Подтянулись и мои служащие. Я требовал много. Вижу это и понимаю особенно теперь. Моей постоянной заботой было улучшение положения филеров. Я понимал хорошо каторжность их службы. Несмотря на все мои старания, я часто вынужден был отменять мною же установленные для них отпускные дни. Более всего я стремился вселить в них уверенность, что работа их имеет огромное значение для всего дела розыска. В большинстве они были толковые ребята, готовые к подлинному героизму. Стоит привести такой пример. Как-то, примерно в первой половине 1907 года, я получил от одного из своих сотрудников сведения, что некий субъект, наблюдавшийся мной по группе максималистов, вынесет из квартиры разрывной снаряд, подвешенный у него на шее под пальто, и затем присоединится к своей группе, члены которой, вооружённые револьверами, вместе с ним отправятся на выполнение очередной экспроприации. Подготовив всё для ликвидации этой группы, я остановился на решении арестовать участников «предприятия» отдельно, то есть арестовать «бомбиста» отдельно от его соучастников. Мой сотрудник не знал квартиры, откуда будет вынесена бомба, но он знал время выноса её и знал, что «бомбист» должен пройти в определённое время и по определённой улице. Филеры знали его в лицо. Оставалось только поставить на заранее определённом месте пост, которому будет поручено схватить «бомбиста», не давая ему возможности выбросить бомбу или упасть с бомбой и взорваться самому и перебить осколками снаряда и самих филеров. Я понимал риск предприятия, но другого выхода мне не представлялось. На вечернем докладе филеров в «сборной» я рассказал им, что предстоит сделать на другой день, и, упомянув об опасности дела, предложил вызваться охотникам до него. В ответ филеры дружно заявили мне, что-де пусть я сам отберу тех, кто, по моему мнению, лучше выполнит моё поручение, и что никто из них от дела не отказывается. Ответ этот меня очень растрогал.

Я отобрал четырёх самых сильных физически филеров и подробно растолковал, что от них требуется и какое величайшее внимание они должны проявить в этом случае. Надо было «продержаться» на определённом месте на улице значительное время, так как я не мог послать филеров к точно назначенному часу. Затем надо было заметить наблюдаемого вовремя, подойти к нему быстро и схватить его так, чтобы он, что называется, «не двинулся», и отобрать у него разрывной снаряд. Всё было

проделано в точности, и филеры показали себя с самой лучшей стороны. Как они потом передавали мне, наблюдаемый шёл по улице очень медленно и осторожно. Филеры заметили его издалека и пошли ему навстречу, изображая собой поссорившихся торговцев. Наблюдаемый, опасаясь нечаянно толчка с их стороны, совсем замедлил шаги и приготовился перейти на другую сторону улицы. В этот момент четыре дюжих руки схватили его, зажали в тиски, а подоспевшие два других филера сняли с него разрывной снаряд.

Помнится, что, донося об этом Департаменту полиции, мне удалось выхлопотать отличившимся филерам лишь незначительную денежную награду. Скуповат был Департамент!

По натуре своей я был человек сдержанный. Служба моя в Корпусе жандармов выработала во мне большую выдержку. Не отказываясь в дружеской компании от рюмки водки, я никогда не переступал в этом отношении известных границ. Никогда никто и нигде не видел меня в нетрезвом виде. Пьяных же или даже просто выпивших я не терпел. Поэтому у меня иногда выходили неприятные разговоры с теми из служащих отделения, которых я находил излишне выпившими. В этом отношении больше всего доставалось именно тем же филерам. Мой заведующий наружным наблюдением П.В. Мошков сам не дурак был выпить! Пойдёт, бывало, проверять посты, да и не выдержит искушения — зайдёт «на минутку» выпить стакан-другой пивца. Смотришь, и филер иной, желая подслужиться начальству, поднесёт ему стаканчик-другой. К вечеру иной раз мой Мошков совсем разомлеет. А в это-то время ему и предстоит увидеться со мной при рапорте. Иной раз скажется больным — значит, я за него должен проделать его работу; а иной раз расхрабрится и, стараясь держать себя особенно прямо и несколько более «независимо», начнёт мне докладывать так, что у него непременно выпадают в словах один или два слога. Понимать трудновато, да я и знаю, что он может перепутать мои распоряжения. Изругаю его, отведу душу и пообещаю ему всяческих служебных неприятностей, но терплю! Человек он был в высшей степени надёжный и в трезвом состоянии толковый. Несмотря на всю свою выдержку, как-то уже, помнится, в конце 1908 года, когда П.В. Мошков пришёл ко мне в кабинет с докладом о наблюдении — а наблюдение было чрезвычайно важное, — он был в настолько «нетвёрдом» виде, что я сразу понял, что вести с ним какую-либо толковую беседу невозможно. Я так обозлился, что схватил весь пучок принесённых им «рапортичек» филеров и, швырнув их ему в лицо, крикнул поражённому Мошкову, чтобы он исчез с моих глаз! Мошков, перепуганный, вышел, а мне пришлось самому на

следующий день налаживать работу. Мы помирились. Я чувствовал свою вину — погорячился. Мошков давал заклятия не прикасаться к пиву, воздерживался некоторое время, а затем… снова начинал говорить со мной «независимым» тоном.

Наклонность к нетрезвости обнаруживали в моём охранном отделении только филеры. Принимая во внимание действительно каторжный характер этого рода службы и её беспросветность в смысле дальнейшей служебной карьеры, приходилось мириться с этим недостатком и ограничиться небольшими взысканиями.

Из всех служащих отделения выделялся своей толковостью писец канцелярии отделения Щербаков, которому я поручил заведование всеми делами канцелярии после того, как Антипин оставил службу. Из Щербакова образовался прекрасный письмоводитель, и он был единственным служащим охранного отделения, который был на своём месте и был отличным моим помощником. Этому человеку можно было поручить самые разнообразные дела и быть уверенным, что всё порученное будет исполнено толково и дельно. Остальной состав чинов отделения ничем особенным не отличался.

В системе провинциальных охранных отделений было допущено одно весьма существенное упущение. Оно заключалось в том, что Департамент полиции не смог, в силу противодействия со стороны штаба Отдельного корпуса жандармов, отобрать по своему выбору для провинциальных охранных отделений десяток-другой молодых офицеров Корпуса жандармов, из тех, которые только что сдали экзамены после специального курса и только что вступили в Корпус. Эти офицеры распределялись на должности адъютантов при жандармских управлениях, где и болтались, в большинстве случаев мало что делая. Если бы из числа этих молодых офицеров были отбираемы выразившие интерес к политическому розыску и пожелавшие начать службу в Корпусе прикомандированием к одному из охранных отделений, то из них понемногу выработались бы хорошие заместители тех начальников охранных отделений, которые подлежали, по каким-либо соображениям, переводам на другие должности. Но штаб Отдельного корпуса жандармов противился таким «новшествам». Будучи назначен начальником Саратовского охранного отделения, я скоро ощутил недостачу помощника и в некоторых случаях — как, например, при выезде из города или болезни — заместителя.

Одно время, в 1908 году, мне дали такого помощника после бесчисленных и настойчивых с моей стороны посланий в Департамент полиции. Но дали такого помощника, по сравнению с которым мой А.Б. Попов — типичная «мокрая курица» — был

орёл! Хотя этот эпизод из кратковременного прикомандирования к моему отделению ротмистра Рокицкого и относится по времени к позднейшему периоду моей службы в Саратове, я его ввожу сюда для иллюстрации персональной политики штаба Отдельного корпуса жандармов.

Ещё в бытность мою офицером при С.-Петербургском губернском жандармском управлении мне пришлось, бывая в театре и в других общественных местах, встречаться и мельком разговаривать с чрезвычайно бравым по виду помощником пристава одной из центральных полицейских частей Петербурга. Это был штабс-капитан Михаил Михайлович Рокицкий, мужчина весьма благообразной наружности — как она понималась в доброе старое время — средних лет и с богатейшей растительностью на лице. Борода, подозрительно чёрного цвета, была расчёсана на две «скобелевские» бакенбарды. Чудесные пушистые усы придавали Рокицкому весьма внушительный вид. Впечатление портил недостаточный рост, но зато грудь его полицейского мундира была буквально обсыпана орденами. Правда, среди них не последнее место занимали бухарские и хивинские звёзды и такие кресты, как «Общества св. Нины»[125], но на его груди виднелись также и знаки внимания дипломатов европейских государств, посещавших нашу столицу и останавливавшихся в гостиницах, которые расположены были в районе полицейского участка, где одним из помощников пристава был Рокицкий.

Михаил Михайлович был удивительно честолюбив именно в отношении орденов и знаков отличия. На его широкой груди, ко времени моего знакомства с ним, уже не хватало места для новых орденов. В самом начале нашего знакомства, я помню, он особенно был озабочен устройством для хивинского хана какой-то специальной бани. Ему, вероятно, уже мерещилась новая «звезда».

Забота о том, как «угодить» или облегчить передвижение по столице или прилегающим железным дорогам более или менее значительному иностранцу, была, так сказать, его основной заботой. Знакомств у него было множество, и нечего удивляться тому, что однажды какой-то градоначальник, едва ли не Клейгельс (ухваткам которого Рокицкий умело подражал), поддержал ходатайство Рокицкого о переводе его на службу в Отдельный корпус жандармов. Чем именно руководствовался Рокицкий в своём желании переменить полицейский мундир на жандармский, я так никогда и не понял. В Корпусе жандармов единственную должность, которую он мог выполнять «не мудрствуя лукаво», была должность начальника отделения при

каком-либо жандармском полицейском управлении железных дорог. Однако какие-то соображения штаба Отдельного корпуса жандармов заставили ротмистра Рокицкого служить по губернским жандармским управлениям, и в 1908 году он попал на должность помощника начальника Саратовского губернского жандармского управления. Совершенно неожиданно для меня летом 1908 года я получил извещение Департамента полиции, что ротмистр Рокицкий прикомандировывается к моему отделению. Более нелепое распоряжение трудно было себе представить! Прежде всего сам ротмистр Рокицкий не имел никакого желания заниматься политическим розыском. Он отнюдь не был расположен находиться весь день и вечер на службе, предпочитая отдавать ей несколько служебных часов, а вечера посвящать игре в преферанс или другим удовольствиям. Наконец, внешность, сделавшая его известным вскоре после приезда в Саратов даже уличным собакам, не позволяла соблюдать ни малейшей конспирации. Если бы Рокицкий появился на улицах Саратова в штатском платье и в таком «ряженом» виде подошёл бы к дверям конспиративной квартиры, то он был бы, вероятно, тут же «расшифрован».

Да и с каким секретным сотрудником я мог поручить толковать по разным партийным делам этому весёлому и расторопному ротмистру, когда всё его внимание было сосредоточено на чём угодно, кроме этих дел? Впрочем, ротмистр Рокицкий это сам понимал и относил своё «прикомандирование» к какому-то недоразумению. Что было мне делать с таким помощником? Не надо забывать, что квартира моя и рядом помешавшаяся канцелярия охранного отделения были мной тщательно законспирированы. Почта направлялась не ко мне, а сперва в губернское жандармское управление, и только оттуда сторож отделения приносил её ко мне. Ни я, ни служащие отделения никогда не надевали формы. В этом отношении конспирация, мной принятая, соблюдалась строго. И вот с прикомандированием бравого ротмистра предо мной встал только один вопрос: как бы поскорее от него отделаться.

При первом же появлении его у меня на квартире во всём блеске жандармского мундира, усыпанного орденами, звёздами и медалями, после официального представления я усадил его у себя в кабинете и пресерьёзно заявил ему, что теперь, приступая к новой работе по розыску, ему надо основательно переделать себя во всех отношениях, а прежде всего начать с внешности: надо носить штатское платье, забыть о военной форме и для полной конспирации сбрить усы и бакенбарды. Надо было видеть крайнее изумление на лице Рокицкого при этом известии! Со

свойственной ему наклонностью к шутке, ротмистр отпарировал моё предложение только одной фразой: «Помилуйте, Александр Павлович, да меня жена выгонит из квартиры, если я покажусь ей в таком виде!» Надо сказать, что жена Михаила Михайловича была весьма безобидным существом, и выражение его было самое неудачное. Но сбрить усы и бакенбарды было для ротмистра таким неисполнимым делом, что ему просто не хотелось и подыскивать другой предлог для отказа. В жертву интересам политического розыска он не предал бы своих бакенбард.

Очень скоро в откровенном разговоре мы сошлись с Михаилом Михайловичем на одном: ни он не нужен Саратовскому охранному отделению, ни оно не нужно ему. В соответствии с этим я немедленно, личным письмом на имя директора Департамента полиции, просил об обратном откомандировании Рокицкого в Саратовское губернское жандармское управление, указывая на полную невозможность для меня использовать его в интересах дела. Просьба моя была скоро уважена, но я так и не получил никакого другого помощника. В течение примерно двух месяцев «прикомандирования» к моему отделению вся служба ротмистра Рокицкого заключалась в том, что он аккуратно появлялся в моём кабинете переписывать старые донесения секретных сотрудников в специальные тетради и приводить в порядок некоторые запущенные отчётности по делам

Мы расстались с Михаилом Михайловичем, не испортив наших прежних добрых отношений. Вскоре, кажется, он был переведён на службу в Сибирь.

В Саратове, по крайней мере в моё время, офицеры Корпуса жандармов, числом около десяти — двенадцати человек, держались обособленно. По провинциальному обычаю, мы собирались иногда на «вечера» друг к другу, и, таким образом, приходилось «в очередь» устраивать приёмы и у себя на квартире. Кроме самих жандармских офицеров на таких вечерах приходилось встречаться с чинами местной администрации, прокурорского надзора и кое с кем из саратовских обывателей, принадлежавших к «правому» кругу.

Будучи вечно занят срочными делами по отделению, необходимостью каждый вечер самому распорядиться нарядом филеров на следующий день, постоянными приготовлениями и срочными распоряжениями об обыске или аресте, я иногда манкировал своими светскими развлечениями, что невольно портило отношения с моими сослуживцами. Но в общем у меня установились, что называется, «добрые» отношения с большинством сослуживцев, кроме обоих начальников

жандармских управлений: один, полковник Померанцев, не выносил моего «независимого» от него служебного положения и того, что я своей осведомлённостью и активностью оттирал его на задний план в глазах администрации; а другой, генерал Николенко, начальник местного жандармско-полицейского управления Рязано-Уральской железной дороги, относился свысока ко всем представителям жандармской службы, если только они не служили по железнодорожной части. Последних он выделял в своеобразную жандармскую аристократию. «Охранники», к каковым я принадлежал, были у него не в фаворе.

К концу года, т. е. к окончанию того периода моей службы в Саратове, который я назвал «первым», я освоился с городом, с администрацией и довольно удачно растревожил местное революционное подполье.

С началом нового года я переменил квартиру для себя и для отделения. Мы перебрались в поместительный двухэтажный дом, стоявший особняком, но в одном дворе с губернским жандармским управлением. Моя квартира находилась во втором этаже, а канцелярия отделения — в первом. Соседство с жандармским управлением имело, конечно, большие удобства, способствуя более лёгким сношениям этих столь, казалось бы, близких друг другу учреждений. Все первые месяцы нового года я вёл интенсивную борьбу с революционным подпольем. Имея в это время уже несколько секретных сотрудников из среды местной социал-демократии большевистского толка, я разрушал незамедлительно все вновь создававшиеся подпольные организации этой фракции. Но напор революционного тыла был в то время таков, что немедленно же после арестов членов одного из шести комитетов начинался новый набор членов, и в самый короткий срок новый комитет начинал работу. Тогда я придерживался тактики непрерывного разрушения всех этих, вновь и вновь создаваемых подпольных организаций, и, поскольку позволяла конспирация секретного аппарата, я действовал с громадным напором. Иной раз я чувствовал, что вновь созданный подпольный комитет настолько нежизненен, бездарен и не подготовлен к какой-либо агитационной деятельности, что, может быть, представлялось бы более выгодным оставить его в покое. Но я принял систему, отвечавшую, по-моему, положению революционного подполья в те дни: разрушать систематически все вновь созданные организации, дабы привести к изнеможению все сколько-нибудь активные местные революционные силы.

Для проведения этого плана в жизнь я, естественно, должен был обладать более или менее осведомлённой агентурой. К началу 1907 года я уже обладал такой агентурой во вполне

достаточном количестве, и если не имел одновременно агентурного освещения во всех шести местных районных социал-демократических комитетах, то, по меньшей мере, имел их в доброй половине. Так как члены комитетов (или их лидеры) одновременно были членами общегородского комитета социал-демократической партии (большевистской фракции), то, в сущности, комбинированными действиями секретной агентуры я подготовлял и выполнял непрерывную ликвидацию всей местной организации большевиков.

К концу 1907 года этими ликвидациями я «выморил» актив социал-демократического подполья, но, применительно к обстоятельствам, иногда оставлял на время в покое одну-другую его организацию. Надо при этом принять во внимание, что среди оставленной мною в покое верхушки местной социал-демократии едва нашлось бы двое сколько-нибудь разбиравшихся в партийных вопросах людей. Все это были молодые люди революционного порыва, но едва ли могущие определить, почему именно они состоят в рядах социал-демократии, а не в рядах социалистов-революционеров.

Поразителен как пример в этом отношении один молодой человек, служивший в местном управлении Рязано-Уральской железной дороги. Этот весьма ограниченный полуинтеллигент, желая приумножить свои карманные деньги и увеличить мизерное жалованье мелкого клерка, предложил как-то сам, зайдя для этого в губернское жандармское управление, свои услуги в роли секретного осведомителя. Меня вызвали телефоном в управление для разговора с ним. Передо мной стоял малый мелко-конторского вида, одетый с провинциальной претензией на некоторое щегольство. Огорчило меня его откровенно глуповатое лицо, не соответствовавшее представлению о какой бы то ни было идейности. Малый был не только несерьёзный, но и откровенно глупый. Он не имел понятия о теории социал-демократической партии и вообще был очень далёк от какой-либо теории. Что же побудило его предложить жандармской власти свои услуги? Простой случай. Один из его знакомых, оказавшийся членом железнодорожного районного комитета большевистской организации Саратова, попросил разрешение устроить у него на квартире очередное заседание комитета. Мой новый знакомый обещал дать ответ через два дня под предлогом, что должен найти за это время повод для удаления из квартиры членов семьи, а на самом деле для того, чтобы выяснить, насколько приемлемы для нас его сообщения и предложения о сотрудничестве.

Приступив к переговорам, я сразу выяснил, что мой

собеседник имеет малое касательство к революции, но знаком кое с кем из тех железнодорожников, которые, служа в управлении Рязано-Уральской железной дороги, примкнули к местной социал-демократической организации. В это время я не имел осведомителя в железнодорожном районном комитете саратовской социал-демократической организации. Я не особенно нуждался в таком осведомителе, но, так как по общему правилу в розыскном деле от предлагаемых услуг не отказываются, я согласился на предложение моего нового знакомого. Встал вопрос: чем же он может быть мне полезен? Ответ как бы получился ясный: тем, что мой новый сотрудник облегчит мне наблюдение за собранием железнодорожного районного комитета названной выше организации, который соберётся у него на квартире в заранее назначенное время.

При содействии моего нового сотрудника наблюдение за тем, что должно было произойти на собрании, казалось бы, могло быть весьма рельефным. Но для этого требовались всё же некоторые данные и от самого сотрудника. Из моего разговора с ним выяснилось, что он не имеет понятия ни о социал-демократах, ни о социалистах-революционерах. Я не имел в виду арестовывать собрание у него на квартире: в случае такого ареста мой новый сотрудник был бы непременно заподозрен в предательстве. Я объявил ему это и просил оказать мне содействие только в двух направлениях: во-первых, постараться быть в курсе разговоров на собрании и, во-вторых, поняв, кто из собравшихся является лидером, постараться под каким-нибудь предлогом выйти именно с ним на улицу по окончании собрания. Наблюдавшим же за собранием филерам я отдал распоряжение брать под наблюдение прежде всего того, кто выйдет из наблюдаемой квартиры вместе с хозяином. Проводив это лицо до его квартиры, мы получили бы адрес железнодорожного подпольного лидера, а затем установили справками его личность, а дальнейшим наблюдением — его связи и деятельность.

Вот каков был мой скромный план и расчёты на моего нового сотрудника! Что же оказалось в дальнейшем? А то, что мой придурковатый паренёк не только выполнил полностью в этот вечер моё задание, но и в дальнейшем, при моём постоянном руководстве, вошёл сперва в названную железнодорожную социал-демократическую организацию и через некоторое время фигурировал на собраниях общегородского комитета Российской социал-демократической партии. Нежданно и негаданно этот более чем скромный парень, получая от меня более чем скромное вознаграждение (примерно рублей двадцать пять в месяц), стал давать мне столько ценных сведений, сколько иной раз не давал

более требовательный сотрудник, оплачиваемый ста рублями ежемесячно. Это было возможно только благодаря низкому уровню общего и партийного развития активных членов тогдашней подпольщины. Пыла и революционного угара было очень много, а теоретической основы почти никакой.

Чтобы как-нибудь поднять партийный престиж моего сотрудника в глазах других членов комитета, к которому он скоро стал принадлежать, мне приходилось не раз разбирать с ним конкретный вопрос с точки зрения выдающегося партийного теоретика. Для этого я из своей большой библиотеки, собиравшейся мною уже несколько лет, выбирал какой-нибудь памфлет или брошюру и из неё отбирал один или два тезиса. Мой сотрудник, потея от напряжения, старался усвоить эти положения и, защищая социал-демократическую линию, нападал на инакомыслящих. С этим новым для него, приобретённым им у меня на уроках в конспиративной квартире познанием старых и достаточно затрёпанных марксистских истин мой сотрудник мог не без успеха гарцевать в качестве определённого и убеждённого социал-демократа в тогдашнем саратовском подполье.

Сотрудник этот проработал у меня в положении очень хорошего осведомителя не менее трёх или даже четырёх лет. Он не был ни разу заподозрен своими сотоварищами как «провокатор» (как тогда принято было называть таких осведомителей) и был всегда правдив в своих докладах. В конце концов он просто выдохся как осведомитель, да и немудрено: к тому времени, т. е. к 1910–1911 годам, вся революция выдохлась в России. Впрочем, революция в России начала выдыхаться несколько раньше. Это произошло в начале 1909 года. Провал Азефа был решительным ударом по ней. Кажется, в 1909 году в каком-то толстом журнале, если память не изменяет мне, не то в «Русской мысли», не то в «Русском богатстве», появился забавный рассказ на эту тему. Суть рассказа заключалась в следующем: революции больше нет, всё спокойно, и бездеятельность политического розыска, идущая вслед за бездеятельностью революционеров, начинает не на шутку беспокоить одного из деятелей этого розыска. Дел нет, как бы «не сократили» за ненадобностью. И вот ему приходит в голову блестящая идея. Правда, что все активные революционные деятели выловлены, арестованы и изолированы. Но ведь у них были же родственники? А разве эти родственники в той или иной степени не были прикосновенны к революции? Не могут ли эти всё же подозрительные родственники как-нибудь проявить себя в настоящем или будущем? А если так, не полезно ли теперь же, в период кажущегося затишья, заняться регистрацией этих

родственников? И если на полках местного охранного аппарата мирно покоятся дела обвиняемых в революционной деятельности лиц с сакраментальным шифром «О» (т. е. обвиняемые), то не пора ли завести новую регистрацию с другой надписью — «Р.О.» (т. е. родственники обвиняемых).

Предложение ловкого, уловившего момент человечка принимается. Он спасён на некоторое время от сокращения штатов. Он работает беспрерывно в течение полугода над регистрацией «родственников», и новая полка с надписями «Р.О.» вырастает в его канцелярии. Однако затишье продолжается, и с ним поднимается снова вопрос о возможности сокращения штатов. Тогда в эту оборотистую голову приходит новая мысль. «Родственники обвиняемых» перерегистрированы, но ведь у «обвиняемых» были, несомненно, и друзья. Не следует ли на всякий случай перерегистрировать и их? Ведь друзья-то революционных активистов, несомненно, являются потенциальными революционерами, и от них-то именно в будущем и возможно ожидать активности. А если так, не следует ли подготовиться заранее к возможности и встретить её во всеоружии? Да, следует! И вот «ловкач» уже заставляет новую полку делами, на которых теперь красуются буквы «Д.О.» — друзья обвиняемых. Затем, в том порядке гениальной находчивости, появляется новая полка, на этот раз с надписью «Р.Д.О.», т. е. «родственники друзей обвиняемых»; затем следующая надпись «Д.Р.Д.О.», т. е. «друзья родственников друзей обвиняемых», и т. д., и т. д.

Всё это было облечено в форму сатиры над нравами и порядками в мире тогдашней охранительной полиции, и, надо сказать, автор обнаруживал некоторое знакомство с нравами и порядками наших канцелярских отчётов. Действительно, начиная примерно с 1908 года Департамент полиции ввёл в обиход нашей канцелярской работы (или, вернее, отчётности) целую сложную систему различных бланков. В основе своей эта мера была правильной, так как ко времени моего появления в Саратове почти никакой отчётности не требовалось, а та, которая производилась, была слишком примитивной и не удовлетворяла новым жизненным явлениям. Беда состояла в том, что работа над этими новыми формами отчётности требовала очень много времени и людей, а у меня не было ни того, ни другого.

Вот эта-то новая волна разных форм для канцелярий наших охранных отделений, поднявшаяся как раз к тому времени, когда революция стала спадать, была отлично схвачена в упомянутом рассказе. Но всё это относится к более позднему периоду. Тот же период, о котором я веду речь теперь, не отличался

спокойствием.

Марксистская теория, занесённая в Россию в конце 80-х годов прошлого века, стала достоянием только некоторой части левой русской интеллигенции, которая до того видела свет только в народничестве, отрицавшем капитализм и идеализировавшем крестьянскую общину. С дальнейшим распространением этой теории, уже в 90-х годах, марксизм стал завоёвывать сторонников в более широких кругах русской интеллигенции, которой он подавал смутную надежду на возможность играть политическую роль.

Народничество, конечно, сдавалось не сразу. В начале XX столетия оно отрыгнулось новым, организованным террором в лице Боевой организации Партии социалистов-революционеров.

Правда, несколько лучше поставленное дело политического розыска, по сравнению с совершенно наивной и беспомощной русской политической полицией прошлого века, помогло сокрушить деятельность этой Боевой организации в несколько лет.

Как повели себя наши марксисты в этом вопросе? С возникновением террора со стороны организованных народников и их «последышей» — социалистов-революционеров возник спор о тактике террора. Марксисты, на словах и в теории, были против террора. Эти споры происходили главным образом в течение 1902–1903 годов. Суммируя доказательства против террора, марксисты говорили: «Химия взрывчатых веществ не может заменить массы». К тому же периоду относятся попытки к созданию централизованной социал-демократической партии. Для проведения этих попыток в жизнь была создана за границей марксистская газета «Искра», поставившая задачей сформирование централизованной организации профессиональных революционеров, связанной железной дисциплиной действия. Тогда же появилась изданная в Женеве брошюра Ленина «Что делать?», посвящённая тому же вопросу[126].

Организация «Искры» строила новую партию или, вернее, строила по-новому партию из разрозненных социал-демократических организаций и группировок. Главные «искровцы» были «интеллигенты», но это были именно те практики революции, которые сумели в различных местах России завязать связи с «сознательными» рабочими и через них с более широкими рабочими массами. Как известно, уже на II съезде партии[127] «искровцы» разделились в свою очередь. Раздел пошёл по линии «твёрдых» и «мягких». Раздел указал на разницу в подходе, в решимости, в готовности идти до конца.

Ленин был всегда «твёрдый»; Мартов — «мягкий». Даже Троцкий одно время считался «мягким». «Твёрдые», или «твердокаменные», всё более овладевали симпатиями рабочих масс; «мягкие» владели умами марксистской интеллигенции. Поэтому первые более успешно воздвигали нелегальные организации в России. Так, например, в Киеве они устроили, примерно к 1904 году, нелегальную типографию, продержавшуюся несколько лет, несмотря на отчаянные усилия местных жандармских властей к её ликвидации.

Широко известный Красин, бывший тогда молодым инженером и входивший в состав членов большевистского центрального комитета, имел в своём распоряжении большую, хорошо оборудованную подпольную типографию на Кавказе. В 1905 году Красин помимо общего участия в работе партии руководил наиболее опасными «предприятиями»: боевыми дружинами, приобретением оружия, заготовлением взрывчатых веществ. Из этого примера можно заключить, как быстро менялось «марксистское» отношение к террору.

Красин вообще чрезвычайно типичная фигура русского анархического настроения интеллигента. Он то принимал марксизм как средство для выдвижения на политической арене, то становился в ряды активных сторонников революционного отрицания капитализма; закончил же свою жизненную карьеру послушным выполнителем указаний Ленина, в то же время сомневаясь в октябрьской авантюре. Такой же типичный пример шатавшегося русского интеллигента представляет также небезызвестный инженер Кржижановский. В Самаре в 1902 году был сосредоточен «внутренний» штаб «Искры»[128]. Во главе его стоял, под конспиративной кличкой «Коэр», инженер Кржижановский, будущий председатель большевистского Госплана. Он и его жена были друзьями Ленина по социал-демократической работе в Петербурге в 1894–1895 годах и по ссылке. После 1905 года он отошёл от партийных дел, заняв видное место в промышленном мире. Вернулся в партию снова только в 1918 году.

Не могу не остановиться на ещё одном любопытном примере сотрудничества представителей русской интеллигенции с профессионалами революции. В 1905 году, когда Льву Троцкому понадобилось по партийным делам проехать из Киева в Петербург, тот же Красин, у которого было множество связей и знакомств, снабдил его «явкой» к Александру Александровичу Литкенсу, старшему врачу Константиновского артиллерийского училища, жившему тогда в стенах этого военного учебного заведения. В этой квартире на Забалканском проспекте, в здании

училища, Троцкий не раз скрывался в тревожные дни 1905 года. Тогда он жил по паспорту помещика Викентьева, а ранее ему приходилось приезжать в Россию из-за границы по паспорту прапорщика Арбузова.

К истории социал-демократических извилин в России надо ещё добавить, что ко времени моего приезда в Саратов в 1906 году произошло временное объединение двух фракций, просуществовавшее недолго и к 1907 году давшее снова глубокую трещину.

В социал-демократических организациях Саратова рознь никогда не прекращалась. Фактически деятельность проявлялась только сторонниками большевистской фракции; с ними мне и пришлось бороться. Меньшевики объединялись в Саратове вокруг признанного своего лидера — адвоката и редактора одной из местных газет Топуридзе. Несколько позже, уже в 1908 году, мне представился случай обезвредить этого лидера несколько необычным приёмом. Забегая немного вперёд, расскажу об этом тут же.

Топуридзе был очень популярен в Саратове, да и вообще в Поволжье. Левый, прогрессивный общественный деятель, публицист и в то же время лидер меньшевистского подполья, Топуридзе был не так легко уловим в своей противоправительственной деятельности. Уловил я его на «женском вопросе». Топуридзе пользовался успехом у женщин. Ему тогда было лет около сорока пяти. Типичная кавказская наружность, чёрная борода, жгучие глаза и довольно красивое лицо, при умении говорить и «левых» взглядах, создавали ему успех в местных женских кругах, и притом не только «левых». Через свою агентуру я узнал, что Топуридзе затеял роман с женой одного видного местного чиновника, очень приличного человека, несомненно правого по убеждениям. Вместе со своей женой он бывал часто в домах местных жандармских офицеров, где я сам встречался с ним. Встречался я с ним и на приёмах у губернатора. Жена его, отцветающая блондинка, была недурна собой. У них было двое или трое детей. Словом, казалось бы, типичная тихая и счастливая семья. Но блондинка не могла устоять пред соблазном восточной красоты. Я проник в этот роман благодаря тому, что мои филеры заметили как-то Топуридзе в то время, как он глубоким вечером, в темноте, с соблюдением некоторых предосторожностей, вошёл, отпирая дверь своим ключом, в крохотный полуразвалившийся домик в одном из самых тихих уголков Саратова. Филеры на очередном докладе рассказали мне о замеченном ими, как им показалось, «конспиративном» заходе в этот домик Топуридзе. Я установил за домиком наблюдение,

вскоре выяснилось, что в указанный домик, почти одновременно с Топуридзе, является какая-то дама, прилично одетая, и после некоторого пребывания там оба разновременно удаляются. Дама, по установке, оказалась женой того самого чиновника, о котором я сказал выше, и вместе с тем моей знакомой. Одно время я готов был заподозрить её в содействии революционной деятельности Топуридзе, но один из моих секретных сотрудников, хорошо знавший всё и вся в Саратове, объяснил мне, что в этих свиданиях кроется только роман.

Однако в этом романтическом объединении «левой» и «правой» стороны имелось некоторое неприятное для местной власти опасение: дама, столь неразборчивая в своих романах, бывала в самых правых кругах и в семьях жандармских офицеров. Она невольно могла слышать разговоры на темы, «не подлежащие оглашению». Могла она услышать кое-что и о Топуридзе и могла, конечно, передать ему то, что было направлено против него. Она могла многое узнавать от своего мужа и так или иначе доводить до сведения Топуридзе то, что укрывалось в глубинах канцелярий губернской администрации. Мне уже не раз в то время приходилось убеждаться в том, что до сведения подпольных революционных кругов доходит то, что не должно было до них доходить.

Дама, таким образом, могла оказаться в числе сознательных или бессознательных проводников информации. Я понимал, что роман надо расстроить. Формальных поводов у меня к вмешательству не было. В разговоре с губернатором я рассказал ему всё, что знал, так как муж романтической дамы нередко выполнял весьма конфиденциальные поручения. Губернатор встревожился и решил было пойти на крутые меры.

Я предложил другой план, имея в виду прежде всего цель обезвредить Топуридзе. Я предложил произвести обыск в квартире, где происходили свидания Топуридзе с дамой в самый час свидания, надеясь на то, что Топуридзе, защищая честь дамы своего сердца, так или иначе будет вынужден пойти на компромисс с властью. Губернатор согласился и поручил мне действовать по соглашению с начальником губернского жандармского управления. Со времени моего приезда в Саратов это был уже третий по счёту начальник управления, а именно полковник Семигановский, с которым я служил ранее в Петербургском губернском жандармском управлении, где мы оба на равных основаниях, как офицеры резерва, производили дознания по делам о государственных преступлениях. Отношения мои с Семигановским были тогда прекрасные. Полковник был к тому же хорошим знакомым упоминаемой чиновничьей пары; он

был донельзя поражён и несколько сконфужен открывшимися обстоятельствами.

Я предложил произвести обыск в известном мне домике в нужный момент и силами одной жандармской полиции. Этим достигалась конспирация и устранялась возможность огласки события. Обыск должен был быть произведён в порядке положения о государственной охране.

Всё было выполнено, как я предложил, и захваченную «на месте преступления» незадачливую пару к десяти часам вечера доставили прямо в кабинет полковника Семигановского, который и имел с каждым по очереди длительное объяснение, затянувшееся далеко за полночь!

Полковник Семигановский поступил как нельзя более по-джентльменски, взяв с обоих слово прекратить столь неудобный роман, а с Топуридзе, кроме того, слово прекратить подпольную деятельность, в награду за что уничтожил протокол обыска и дал обещание не разглашать происшедшего. Топуридзе был избавлен от неприятных объяснений с супругом, а мы избавились от Топуридзе, который вскоре исчез с политического горизонта Саратова. Романтическая же дама стала затем избегать жандармского общества.

Хотя в течение первой половины 1907 года мне не пришлось производить какой-нибудь выдающейся ликвидации, тем не менее деятельность моего охранного отделения была очень успешна. Я продолжал с неослабевающей энергией ликвидировать всё появлявшиеся подпольные группировки, и за это время я положительно каждую неделю ликвидировал то одно, то другое революционное начинание.

Насколько я помню, именно в апреле того же года последовала перемена начальника Саратовского губернского жандармского управления. Полковник Померанцев был переведён в Одесское жандармское управление, а на его место в Саратов совершенно, казалось бы, неожиданным образом попал некий жандармский полковник, князь Ми[кела]дзе. Назначение это было чрезвычайно типично для порядков, царивших в нашем Корпусе жандармов, и на нём стоит остановиться несколько подробнее.

В описываемое время Корпусом жандармов командовал, уже не помню какой по счёту, генерал барон Таубе. Генерал этот представлял редкий экземпляр самодура, всю свою энергию употреблял на борьбу с Департаментом полиции и был на ножах с директором Департамента, в особенности с М.И. Трусевичем. Паны дерутся, а у хлопцев чубы трещат! По упрощённой схеме генерала Таубе все офицеры Корпуса жандармов, находившиеся

под руководством Департамента полиции, были ему неугодны, и любимцами штаба Отдельного корпуса жандармов были офицеры, служившие на железной дороге. Если, например, Департамент полиции выступал с представлением командиру Корпуса жандармов о том или ином награждении офицера или назначении его на какую-нибудь должность, то эти представления или отклонялись под каким-нибудь предлогом, или просто не исполнялись, а на освободившуюся вакансию штаб Корпуса назначал своего кандидата.

Зимой 1907 года, насколько я помню, в декабре месяце, я получил телеграмму от М.И. Трусевича, в которой он любезно извещал меня, что я, по его представлению, получу к 1 января 1908 года чин подполковника «за отличие»! Я, конечно, ответил письмом с благодарностями, но тогда произведён в чин подполковника я не был. Это произошло только в апреле 1910 года, так как генерал Таубе неукоснительно не пропускал моего производства. Причина этой неприязни лежала в том, что зимой 1907 года, по настоянию директора Департамента полиции, пришлось «убрать» полковника Ми[кела]дзе с должности начальника Саратовского губернского жандармского управления. Генерал Таубе увидел в этом настойчивом требовании Департамента полиции мою руку, и это мне стоило двух с лишком лет ожидания штаб-офицерского чина.

В начале 1900-х годов в Баку служил на должности помощника начальника губернского жандармского управления некий жандармский ротмистр, князь Ми[кела]дзе, уже известный в Корпусе жандармов тем, что «дал по морде» бакинскому городскому голове — за что именно, теперь не упомню, — и тем, что, будучи недоволен «малой степенью» пожалованного ему эмиром бухарским ордена, грубо вернул ему этот орден обратно. Всё это горячей грузинской голове прошло как-то безнаказанно и, вероятно, укрепило его в сознании некоей возможности для жандармского офицера совершать «исключительные» поступки.

Во время Русско-японской войны имя Ми[кела]дзе вновь всплыло на поверхность в жандармских кругах, ибо в приказах по Отдельному корпусу жандармов мы, чины Корпуса, прочли о его назначении на должность начальника жандармской команды крепости Порт-Артура, где он с другим офицером Корпуса, ротмистром Познанским, и отсидели всё порт-артурское «сидение». По окончании такового оба были награждены орденами, а князь Ми[кела]дзе произведён был, кроме того, в чин подполковника.

В какой именно должности он пробыл с того времени до момента его назначения в Саратов, я теперь не упомню. Это был

стопроцентный неуч в деле полицейского розыска. Он совершенно искренне полагал, что своей шашкой, насколько я помню, украшенной темляком за военное отличие, он сможет усмирить всю революцию в Саратовской губернии. Как это ни курьёзно было слышать от начальника жандармского управления, но мы все, офицеры, услышали от него именно это вскоре после его приезда в Саратов.

Основную причину его назначения на ответственную как-никак должность в Саратове надо было искать, однако, не в его неустрашимости, а в том, что полковник Ми[кела]дзе (ко времени его назначения в Саратов, при содействии всё того же генерала Таубе, его произвели немедленно в чин полковника) был женат когда-то на грузинке, сестра которой была супругой генерала Таубе. Он был вдов; ему было лет сорок пять. Был он по-грузински красив, с отменными бакенбардами и подчёркнутой военной выправкой.

Поселился он в той же квартире, где до него жил полковник Померанцев. Квартиру он обставил на кавказский манер и очень любезно и «по-командирски», на военный лад, завёл у себя завтраки для офицеров управления, на которые ежедневно собирались офицеры и «по-соседски» иногда попадал и я.

Должен сказать, что с самого начала приезда в Саратов князя Ми[кела]дзе у меня установились с ним прекрасные отношения. Он постоянно бывал запросто у меня в доме, ничем не проявлял враждебности в отношении моих плохо урегулированных прав и обязанностей по должности и, совершенно очевидно для меня, был соответственно инструктирован на этот счёт в Петербурге.

Да и, по правде сказать, положение его в этом отношении было очень удобное. Не понимая ничего в чисто жандармской деятельности, будучи совершенным младенцем в вопросах политических, не разбираясь в революционной деятельности, которую он «приехал усмирять», он, естественно, нуждался во мне как в лице, достаточно освоившемся с положением. По его словам, я был ему отрекомендован в Департаменте полиции как человек «вполне на месте»!

Наши безоблачные отношения тянулись, однако, неделю. Надо сказать, что вслед за появлением в Саратове князя Ми[кела]дзе он перетащил к себе, в качестве одного из помощников, своего старого друга, также грузина, подполковника Джакели, человека с неправильным русским произношением и специфически восточной наивностью мышления. Каким образом жандармский офицер Джакели, при этих его данных, смог окончить Академию Генерального штаба, было для меня загадкой. Джакели, с его академическим значком, был для

Ми[кела]дзе духовным ментором, и его влияние на простодушного и несильного в жандармских делах князя было велико. К несчастью, Джакели был болтлив, завёл знакомства неразборчиво, и вскоре получилось, что левые элементы в Саратове стали рассчитывать на содействие в их ходатайствах за арестованных именно полковника Джакели. Джакели оказался «либеральным». Эта репутация быстро за ним утвердилась, а на делах, которые попадали к его производству, стало сказываться его «критическое» отношение к деятельности охранного отделения. Наши колёса очень скоро завертелись впустую, ибо все дела неизменно имели тенденцию «к прекращению». Наконец и моя секретная агентура стала указывать мне, что в местные левые круги проникла уверенность, что у Джакели можно найти защиту и покровительство.

Джакели был по чину старшим подполковником в губернском жандармском управлении и часто заменял пребывающего в разъездах Ми[кела]дзе. Последствия не замедлили сказаться. Будучи человеком завистливым, Джакели плохо мирился с моим независимым положением и особенно вниманием губернатора, которое тот явно мне оказывал. Под влиянием «ментора» мои отношения с князем стали ухудшаться. Две причины послужили прямым основанием к разрыву. Первая заключалась в следующем. Через свою агентуру в местных организациях социалистов-революционеров я получил как-то, летом 1907 года, сведения об аткарской (в Аткарском уезде Саратовской губернии) группе этой партии и об участниках одного из террористических актов над чинами местной полиции. На основании этих сведений, в правдивости которых не приходилось сомневаться, я предложил Ми[кела]дзе произвести ликвидацию группы, на что он согласился. Ликвидация была успешной. У арестованных были обнаружены бомбы, оружие и, насколько я помню, компрометирующая переписка. В числе задержанных была некая курсистка-еврейка — не то Фрумкина, не то Фрадкина, теперь не вспомню точно.

Всех задержанных привлекли к допросу, производимому в порядке положения об усиленной охране при Саратовском губернском жандармском управлении, и переписка оказалась в руках подполковника Джакели. Не прошло и двух недель со времени ареста, как князь Ми[кела]дзе в разговоре со мной заявил: «Вы знаете, я освободил эту еврейку. Я переговорил с ней и убедил её не заниматься больше революцией. Она дала мне слово, что больше не будет заниматься террористической деятельностью». Бравый грузин, по-видимому, полагал, что он, как некий горный вождь своего племени, призван под

развесистым кедром судить и рядить заблудших овец своего стада.

Несмотря на вовсе не комическое приключение с курсисткой, я не мог сдержать улыбки, слушая тирады Ми[кела]дзе об её освобождении, тем более понятной, что тирады были произносимы с твёрдым грузинским выговором, так что получалось, что он её «асвабадыл», «ана ни будыт заниматься» и т. д.

После этой истории и ряда более мелких я понял, что работа охранного отделения при таких вершителях его судеб, как Ми[кела]дзе и Джакели, пойдёт впустую. Пришлось, конечно, всё это дело и ряд других, как, например, дело моего бывшего сторожа, также освобождённого подполковником Джакели, рассказать в письме к директору Департамента полиции. Очевидно, получилась неприятная нахлобучка от Департамента, а в результате ещё большее охлаждение между мной и князем.

Вторая причина моего разрыва с Ми[кела]дзе была основана на ещё более удивительном факте. Я уже рассказал выше, что при выполнении чинами полиции (как общей, так и жандармской) каких-либо следственных действий, требовавших обыска или ареста, необходимо было дать лицу, производившему эти действия, ордер или соответствующее распоряжение, подписанное лицом, обладавшим по закону правом на производство таких действий. По закону только те жандармские офицеры в губернии, которые занимали должность начальника управления или его помощника, обладали таким правом. Официально я, как «прикомандированный» к губернскому жандармскому управлению, таким правом не обладал, и для производства обысков и арестов в пределах Саратова мне нужны были соответствующие ордера за подписью начальника управления. Как я уже упоминал, между нами, т. е. начальником губернского жандармского управления и начальником Саратовского охранного отделения, было выработано соглашение, по которому я в случае надобности производства по ходу розыска арестов или обысков отправлял краткий список лиц, намеченных к обыску или аресту, с кратким же изложением причин, служащих основанием к принятию этих мер.

Надо иметь в виду, что по ходу розыска я иногда, и даже часто, не мог решить до последнего момента, буду ли я производить именно сегодня, в таком-то часу, арест или обыск. Это выяснялось иногда неожиданно и чаще всего поздно вечером, когда я заканчивал свидания с секретными сотрудниками или когда уже поздно вечером, к ночи, собравшиеся филеры докладывали мне свои наблюдения. Иногда сообщение о

собрании подпольной организации или внезапное сообщение об отъезде с вокзала наблюдаемого требовало принятия экстренных мер.

Как я уже упомянул, Ми[кела]дзе скоро «утомился» жандармскими делами и повёл весьма рассеянный образ жизни с почти ежедневным (или, вернее, еженощным) сидением в губернаторской ложе в местном шато-кабаке Очкина. Теперь надо представить себе такую картину. Примерно часов в десять вечера я решаю произвести арест какого-нибудь подпольного комитета, о собрании которого я получил только что неопровержимые данные. Надо всё делать, не теряя времени. Срочно пишется сообщение по заготовленной форме начальнику губернского жандармского управления на предмет получения соответствующего ордера. За это время путём телефонного сношения подготовляется наряд полиции, и мои чины ожидают ответа от начальника управления, дабы бежать с ордером в ближайший полицейский участок и оттуда вести наряды в известное им место.

Я жду ответа и считаю минуты… И вот один раз, затем другой, затем третий наше требование об обыске не выполняется. Оказывается, что князь забавляется у Очкина, и дежурный унтер-офицер не решается идти туда, так как полковник приказал «не беспокоить его».

Не желая создавать неприятностей, я несколько раз пропустил такие случаи, но однажды, по какому-то исключительно важному случаю, требовавшему незамедлительного ареста наблюдаемого, я приказал отнести моё сообщение по месту нахождения князя, т. е в отдельную ложу шато-кабака Очкина. Князь вспылил, увидев в этом моё «намеренное» решение подчеркнуть его нахождение у Очкина. Когда я на другой день пришёл к нему в служебный кабинет, чтобы подробнее изложить причины, послужившие основанием к истребованию нужного мне ордера за его подписью, Ми[кела]дзе стал в повышенном тоне указывать мне на неуместность моей посылки к нему чина охранного отделения. Только я приступил к разъяснению важности случая и упомянул о том, что уже несколько раз я пропускал ликвидацию подпольных деятелей из-за тех же промедлений в получении ордера, как был внезапно остановлен громовым окриком: «Потрудитесь, господин ротмистр, когда разговариваете со мной, стоять смирно!» Поражённый этим оборотом разговора, я только успел сказать, что я «в штатском костюме и не во фронте», как полковник во всё горло завопил: «Потрудитесь не являться больше в управление, я не желаю с вами разговаривать и обо всём подам рапорт

командиру Отдельного корпуса жандармов!» Я повернулся и вышел, чтобы более не являться в управление, пока во главе его стоит князь Ми[кела]дзе!

Пришлось, конечно, подробно изложить всю историю в письме к директору Департамента полиции, в котором я уведомил также, что делу розыска в Саратове наносится удар, ибо невозможно производить при установившихся порядках никакой своевременной ликвидации преступного элемента. Насколько я помню, в конце письма я просил перевести меня в другой город, хотя мне крайне не хотелось тогда бросать так хорошо наладившееся дело розыска в Саратове.

Около двух месяцев тянулось решение этого дела, закончившееся переводом не меня, а полковника Ми[кела]дзе на должность начальника жандармского железнодорожного управления где-то в Средней Азии. Всё же и тут, несмотря на всю очевидную несостоятельность, его не отчислили от должности, а «перевели» на должность начальника другого управления, правда, «железнодорожного», но всё же управления! Генерал барон Таубе продолжал оставаться на своём посту и затаил злобу против скромного жандармского ротмистра Мартынова, «из-за которого» пострадал князь Ми[кела]дзе!

Забавно, что впоследствии мне пришлось выслушать от одного из старших адъютантов штаба Отдельного корпуса жандармов изумлённое восклицание: «Как он вас не зарубил тогда?!» Теперь я и сам изумляюсь, как это всё могло быть, а ведь я, описывая эту историю, невольно смягчаю краски.

Глава IV
В Саратове (II)

Хорошая агентура — не фунт хлеба. — Провокация в России и за границей. — Убийство Боброва. — Ликвидация областного комитета эсеров.

Как я уже неоднократно отмечал, Саратовская губерния, да и другие губернии Поволжья, была насиженным местом народников, народовольцев и их естественных преемников — групп и организаций Партии социалистов-революционеров. В Саратове основались прочно отдельные группировки этой партии. Частично подвергшиеся разгрому политической полицией, они всё же продолжали свою законспирированную жизнь.

До 1903 года, когда было сформировано Саратовское охранное отделение, местным розыском руководило Саратовское губернское жандармское управление, и, как правило, руководило им из рук вон плохо. Да и на какие средства можно было тогда осуществлять этот розыск? Денежный отпуск был грошовый, а исполнители в лице какого-нибудь престарелого жандармского полковника или генерала, заботившегося о том, чтобы благополучно закончить свою карьеру и получить долгожданную пенсию, совершенно не были приспособлены к жандармской деятельности. Всё дело розыска опиралось на «случайности».

С открытием в Саратове охранного отделения, которое обладало натасканным на розыске штатом служащих, энергичным и полным желания работать начальником, получившим, как-никак, достаточные средства для политического розыска, дела пошли лучше. Не надо, однако, забывать, что поставить на правильную ногу политический розыск в короткий срок нельзя. Не надо также забывать, что то время было временем исключительно беспокойным и что начальнику отделения приходилось наспех разрешать текущие проблемы.

Словом, вышло так, что моим двум предшественникам по должности начальника отделения в Саратове не удалось создать действительно серьёзную агентуру, которая могла бы осветить конспиративные тайны и установить все связи местной организации эсеров. Я не хочу сказать, что до моего приезда в Саратов розыск был поставлен плохо. Нет. Были и удачные ликвидации, но всё-таки недоставало полной картины того, что происходило в законспирированных центрах подполья.

Почти целый год я употребил на то, чтобы заполучить в своё

распоряжение такую секретную агентуру, которая осветила бы мне подлинную физиономию саратовского эсеровского подполья. Мне удавалось приобрести агентуру, которая освещала это подполье то из одного угла, то из другого. Но я всё равно чувствовал, что я не добрался до действительного, законспирированного центра, откуда шли партийные распоряжения. Мы находили, например, партийную литературу, иногда целый склад её. Брошюры были новые, заграничного издания. Значит, они как-то и по чьему-то распоряжению доставлялись в Саратов, какие-то законспирированные центры её распределяли по городу и уездам. Но мы обрывали только концы этих нитей, арестовывали исполнителей, но ещё не добирались до распределителей, до местного руководящего центра. Агентура не фунт хлеба, который можешь купить на базаре. Для создания агентуры нужны не только деньги, не только терпение, не только опытные люди, но и тот золотник счастья, который ничем заменим быть не может. И только летом 1907 года мне удалось построить такую агентуру.

Эта агентура сыграла столь значительную роль в моей деятельности, столь многое открыла, предупредила столь крупные революционные акты, что я должен подробно остановиться на ней.

Как-то летом 1907 года мне пришлось быть вне города дня два. По возвращении один из чинов канцелярии моего отделения, Мальков, доложил мне, что за моё отсутствие его вызвали в губернское жандармское управление и познакомили с задержанным на улице с революционной брошюрой молодым человеком, который пообещал быть полезным охранному отделению, если его отпустят тотчас же, без дальнейших последствий. Соглашение было заключено, и Мальков условился с новым сотрудником о периодических встречах в дальнейшем.

Я, признаться, почему-то не обратил тогда особенного внимания на вновь приобретённого осведомителя, хотя, по собранным мной справкам, фамилия его говорила сама за себя. Вся его родня была на счету у Департамента полиции, а его родной брат числился в центральной организации Партии социалистов-революционеров. Сначала я поручил Малькову поближе ознакомиться с новым сотрудником. Вскоре Мальков доложил, что новый агент — очень скрытный человек — добивается личных встреч со мной, но ничего особенно нового не открывает.

Дали ему кличку «Николаев», и я, не желая показывать новому, ещё не испытанному человеку нашей конспиративной квартиры, назначил первую мою с ним встречу в одной из тех

гостиниц-притонов, которыми пользовался в таких случаях.

От Малькова я получил характеристику «Николаева»: человек он очень робкий и недоверчивый. Действительность подтвердила эту характеристику.

Заняли мы с Мальковым номерок в гостинице, заказали, как всегда, приличия ради, пару пива и стали поджидать. В дверь деликатно и осторожно постучали. В комнату вошла маленькая фигурка. Смущённо и застенчиво улыбаясь или, вернее, силясь выдавить на своём лице улыбку, со мной раскланялся и вяло пожал руку молодой человек неопределённого возраста и вида. Одетый в поношенный пиджак, невзрачный, смуглый, с почти чёрными волосами, без признаков растительности на прыщеватом лице, человечек этот, несколько шепелявя и слегка заикаясь, что-то бормотал, смущённо и боязливо оглядываясь. Человечек заявил мне чрезвычайно тихим голосом, почти шёпотом, точно с трудом выдавливая из себя слова, что он очень хотел повидаться именно со мной и о многом переговорить и условиться.

Я скоро понял, что мой собеседник трусит не на шутку и прежде всего хочет знать, что я собой представляю. Я понял, что, в первую очередь, мне следует внушить новому сотруднику доверие. Отложив деловые вопросы на дальнейшее время, я повёл разговор на тему о Саратове, осторожно выясняя личную жизнь моего собеседника, только слегка касаясь местного революционного подполья.

«Николаев» служил мелким служащим в одном из отделов городской управы, и по его ответам на вопросы я понял, что жизнь многих саратовских обывателей, а в особенности выдающихся местных жителей, ему известна досконально. Сам коренной саратовец, он представлял собой великолепную справочную книгу, но эта книга, по-видимому, раскрывалась не так-то легко. Пришлось чрезвычайно осторожно, не нажимая педалей, приручить его.

Много времени я потратил на то, чтобы сперва расположить к себе «Николаева», а потом быть с ним в исключительно добрых отношениях. Мало-помалу открылся предо мной его значительный удельный вес в местной организации социалистов-революционеров. Он был у самого центра и знал всё, и это «всё» — с того момента, когда он поверил, что я не предам его, — передавал мне, нарисовав полную и ясную картину эсеровского подполья. Больше того, поддерживая связи через своего брата, жившего в Париже и принадлежавшего к эсеровским верхам, он много раз освещал мне жизнь, настроения и персонажей в этих кругах.

Саратовское эсеровское подполье можно было схематически

очертить следующим образом: в нём был очень законспирированный руководящий центр в лице старого народовольца и члена Партии социалистов-революционеров, некоего Левченко. Этот заслуженный эсер, отбыв разные сроки заключения и ссылок, поселился в Саратове и, с виду скромно и незаметно, тянул служебную лямку в одном из отделов городской управы, где помимо него, благодаря влиятельным либеральным и радикальным местным людям, нашли приют и службу много левых элементов.

Ни по своему послужному списку, ни по поведению Левченко ничем не отличался от значительной группы таких же, как он, бывших административно высланных в своё время людей. О настоящем значении Левченко в местной эсеровской организации знали немногие, в том числе «Николаев», который был ближайшим же и наиболее доверенным лицом Левченко, исполняя роль передатчика негласных распоряжений и бесчисленных поручений наиболее конспиративного качества. Роль и личность «Николаева» также оставалась неясной для многих, даже активных членов подпольной организации, ибо он, если и встречался сам на явочных партийных квартирах с некоторыми активными деятелями, оставался им известен только по партийной кличке. Конечно, наиболее осведомлённые партийные лидеры знали его как близкого к «центру» человека. Да и фамилия его, приобретшая уже известность, благодаря крупной роли в партии, которую играли его близкие родственники, только могла укрепить его партийную позицию и доверие к нему.

Через «Николаева» шли связи с партийными организациями в разных пунктах Саратовской губернии и по Поволжью вообще.

Когда я распутал с помощью «Николаева» этот клубок, оказалось, что, с одной стороны, для меня представляется полная возможность осветить всю подпольную организацию эсеров не только по Саратову, но и далеко за его пределами, а с другой — так руководить действиями «Николаева», чтобы политический розыск в Саратове не навлёк на себя обвинений в провокации. Большим облегчением было для меня то, что «Николаев» не принимал формально участия ни в какой подпольной партийной организации и, находясь как бы в стороне от различных её предприятий, тем не менее был в курсе многих событий и дел.

В России к понятию «провокация» относились весьма неопределённо и с предубеждением. Шло это, естественно, из тех левых кругов, которые видели провокацию во всём, что бы ни исходило от правительства и его агентов. Всякий сотрудничающий с Министерством внутренних дел (а уж с

Департаментом полиции и подавно) был «провокатором». Агенты наружного наблюдения, исполнявшие филерскую работу по уличному наблюдению, были «провокаторами». Все лица, по каким бы то ни было побуждениям сообщавшие правительству о лицах, активно работавших в революционном подполье, были «провокаторами». Всё так или иначе враждебное или просто оппозиционное правительству склоняло «провокацию» на все лады. Этому дружному напору на правительство помогали печать, литература и обывательское злопыхательство. Не отставали от них в своих подозрениях, недоверии и сомнениях и иные лица, сами стоявшие так или иначе у власти, особенно те из них, которые «прислушивались к голосу общественного мнения». Дело доходило до невероятных курьёзов. Я расскажу дальше, описывая мою службу в должности начальника Московского охранного отделения, что сам директор Департамента полиции, Брюн де Сент-Ипполит, сказал мне однажды в своём служебном кабинете: «В ваших розыскных делах всегда трудно разобраться, где провокация, где её нет!» А дело, о котором я ему докладывал, было донельзя простое. Вместе с тем, рассуждая логически, разве, скажем, в 1905, 1906, 1907 и даже ещё в 1908 годах нужно было пользоваться провокационными приёмами, дабы вызывать революционные проявления и потом, для вящего торжества местной жандармерии, их ликвидировать? Разве в те годы само революционное подполье не проявляло себя без помощи «провокаторов»? Да неужели все эти бесчисленные подпольные типографии, грабежи, так называемые экспроприации, или «эксы», все эти политические убийства, террористические акты и прочее не совершались без всякого побуждения со стороны «провокаторов»?[129]

Посмотрим, как обстоит дело с «провокацией» в любезных нашим либералам европейских (да и американских) «демократиях»! Если взять для примера классическую английскую демократию и её систему политического розыска (употребим более правильную форму — «сыска»), то мы на протяжении веков сможем проследить, как английская полиция применяла не нашу российскую, а подлинную провокацию.

Прочтите хотя бы в Британской энциклопедии, если не доверяете другим научно-историческим трудам, изложение знаменитого «порохового заговора» в царствование Якова I; проследите дело о «заговоре» Марии Стюарт в царствование Елизаветы Английской, вы увидите, что провокация была, и теперь есть, основным орудием в руках руководителей политической жизни этой страны, и они ничем не стеснялись для приведения в действие своих провокационных планов.

Наконец, если не углубляться в века, я приведу яркий пример такой провокации, допущенной в наше время канадским правительством в деле ликвидации центрального комитета коммунистической партии Канады, произведённой в начале 1932 или в конце 1931 года.

Канадская полиция решила выяснить всю подноготную деятельности канадской коммунистической партии, а главное, её центрального комитета, и поручила одному смышлёному полицейскому пролезть в местную коммунистическую организацию и узнать насколько возможно подробнее все тайные её дела. Сказано — сделано! Городовому меняют фамилию, переводят в другой город, устраивают его на фабрику, и он вступает в местную коммунистическую ячейку. Городовой был толковый малый: быстро освоился и изучил теорию коммунистического учения; овладел положением; вёл партийную работу, ему поручаемую; обо всём докладывал по начальству и в то же время быстро продвигался по ступенькам коммунистической иерархической лестницы; и ко времени ликвидации стал членом центрального комитета партии. На суде он дал пространные и толковые показания, все члены комитета были засажены на разные сроки по тюрьмам, а городовой-провокатор, чтобы замести следы его деятельности и для избежания мести, был переведён в дальние места Северо-Западной Канады. В канадских газетах вся эта история была рассказана с типичным англосаксонским юмором; в коммунистической же прессе США долго помещались возмущённые статьи с неоднократным склонением слова «провокация» — ну ни дать ни взять, равноценные таким же статьям в наших «Речах», «Биржевиках»[130] и других органах российской печати.

Такое возмущающее общественное мнение представление о провокации вовсе, в сущности, не было только обывательским. Оно проникло в души и запало в умы очень многих лиц местной и даже центральной администрации. Оно ослабляло волю и иногда парализовало действия даже наиболее активной и способной части жандармской полиции, ибо пропустить без внимания подпольное начинание было для многих представителей жандармской полиции безопаснее и спокойнее, чем пуститься в розыски и быть заподозренным в провокации.

Я не могу забыть, как при первом моём представлении последнему московскому градоначальнику, генерал-майору Вадиму Николаевичу Шебеко, этот в общем прекраснейшей души человек, джентльмен, но «никакой» администратор, несколько стесняясь и не решаясь прямо высказать свои опасения,

пробормотал что-то очень невразумительное, и я, поняв сразу его обывательскую концепцию провокации, поспешил заверить генерала, что он сам вскоре увидит и узнает мою работу по розыску и тогда решит, приложимо ли это понятие к ней.

Из этого примера, да и из целого ряда других, читатель видит, что о провокации много писалось и говорилось, но я совершенно спокойно и с чистой совестью утверждаю, что не только сам никогда за всю службу по розыску не прибегал к провокационным приёмам, но и не знал таковых как намеренной системы и у других руководителей политического розыска, с которыми мне приходилось встречаться в моих деловых сношениях.

Примерно к осени 1907 года Департамент полиции провёл организационную реформу в области политического розыска, заключавшуюся в том, чтобы были созданы так называемые районные охранные отделения, в задачу которых было положено объединение и направление розыскной деятельности по известным районам и стране. Так, например, губернии Московского промышленного района, облегавшие кольцом Московскую губернию, стали входить в ведение Московского районного охранного отделения; губернии Поволжья были также объединены в смысле политического розыска в Поволжском районном охранном отделении, начальником коего стал бывший в то время начальником Самарского губернского жандармского управления полковник Бобров, незадолго до того первый начальник Саратовского охранного отделения. Я его хорошо знал по нашей предыдущей совместной службе в Петербургском губернском жандармском управлении.

Идея создания новых областных или районных охранных отделений исходила из намерения децентрализировать до некоторой степени розыскную работу Департамента полиции и противопоставить действие политического розыска в данном районе или области возникшим в то время областным подпольным революционным организациям.

Не отрицая некоторой практичности этой меры, нельзя было не видеть в ней многих недостатков. Областные подпольные организации возникали и функционировали не всегда в том именно городе, где учреждалось районное охранное отделение. Так, например, Поволжское охранное отделение возникло в Самаре, где ко времени его открытия не было соответственных областных подпольных центров. Районное охранное отделение, из-за громоздкости аппарата, не так уж просто было переносить из одного центра в другой. Не всегда оказывалось так, что начальник районного охранного отделения мог по своим знаниям

и способностям руководить розыском во всём районе; а отсюда получались лишние трения с начальниками местных розыскных пунктов. Всё это могло быть лучше и проще достигнуто соответствующей реформой в строении так называемого Особого отдела или реорганизацией того из отделений Департамента полиции, где был сосредоточен политический розыскной аппарат. К этому решению Департамент полиции и пришёл, в конце концов уничтожив в 1914 году районные охранные отделения[131] и прикомандировав к Департаменту нескольких опытных в розыскной деятельности жандармских офицеров.

Новая административная мера вызвала для меня лично увеличение работы или, вернее сказать, увеличение письменной отчётности, ибо кроме регулярных донесений Департаменту полиции приходилось посылать таковые же и в районное охранное отделение. Никаких особых руководящих разъяснений я из нового районного учреждения ни разу не получил, да и получить не мог, так как само это новое охранное отделение в главном информировалось мною же. В Поволжское районное охранное отделение входило около десяти губерний Поволжья, и, значит, начальник его руководил розыскной деятельностью десяти начальников соответственных губернских жандармских управлений и моей, как начальника Саратовского охранного отделения. Все эти десять начальников поволжских губернских жандармских управлений, как правило, имели весьма слабое представление о деле, которое было поручено их ведению, и если и сообщали что-либо в районное охранное отделение, то эти сообщения не давали материала для разработки. В это же время Департамент полиции ввёл новую систему регистрации — очень сложную, отнимавшую много времени и требовавшую смышлёных и понимающих дело работников на местах. Таковых работников не было ни в губернском жандармском управлении, ни даже в моём охранном отделении.

Полковник Бобров, после своего назначения руководителем розыска в Поволжском районе, приехал в Саратов знакомиться с постановкой дела в том отделении, где он был первым начальником, и беседовал лично с некоторыми моими секретными сотрудниками. Но полковнику Боброву не пришлось долго пробыть на новой должности. Он вышел с женой погулять по городу, и на людной улице подошедший к нему сзади рабочий-эсер выстрелил ему в затылок и убил наповал.

Убийство это было организовано самарской эсеровской организацией и наглядным образом свидетельствовало об отсутствии у начальника Самарского губернского жандармского управления и в то же время начальника Поволжского районного

охранного отделения осведомлённой и активной секретной агентуры.

Штаб Отдельного корпуса жандармов, по соглашению ли с Департаментом полиции или самостоятельно, не нашёл ничего лучшего, как назначить на освободившуюся ответственную вакансию некоего полковника Критского, оказавшегося тяжёлым на подъём, облепившимся и младенчески наивным в политическом розыске пожилым любителем пеферанса.

В то же время и в нашем саратовском жандармском мирке произошла крупная перемена. На смену переведённому в Среднюю Азию незадачливому, но шумному грузину — князю Ми[кела]дзе (так и не усмирившему саратовскую революцию своей саблей) был назначен бывший мой сослуживец по Петербургскому жандармскому управлению, полковник Владимир Константинович Семигановский.

Новый начальник управления встретился со мной по-приятельски, и на этот раз мне казалось, что наши служебные отношения наладятся хорошо. Для меня было ясно, что Семигановскому было внушено в Департаменте полиции, что необходимо поддерживать со мной наиболее доверительные и дружные отношения. Мы с первых же слов уверили друг друга, что наши служебные взаимоотношения не будут омрачены никакими привходящими обстоятельствами, а личные останутся дружескими.

Полковник Семигановский был человек оригинальный, как оригинальна была и его внешность, человек высокого, даже слишком высокого роста, с мужественным профилем, но застенчивый и не любивший много говорить, особенно в большом обществе. В дамском обществе он терялся. Непринуждённо он чувствовал себя только в небольшой компании, в особенности без подчинённых. В присутствии посторонних он не находил нужного тона и не импонировал никому, что не вязалось с его, казалось бы, внушительной внешностью.

Главной его страстью была охота, и он скоро завёл на этой почве многочисленные знакомства и связи с окружающими помещиками. Был он женат на вполне светской, обладавшей некоторыми денежными средствами, впору ему по возрасту, но некрасивой даме и был отцом десятилетней Туей, которая, как сверстница моего сына, стала частой посетительницей нашего дома.

Полковник Семигановский окончил Военно-юридическую академию и довольно быстро, вероятно не без помощи юридического значка, сделал жандармскую карьеру. Думаю, что ему было не более сорока пяти лет, когда он получил назначение

на должность начальника Саратовского жандармского управления.

Саратов и Саратовская губерния были хорошо знакомы новому начальнику — ведь не прошло ещё даже пяти лет, как он покинул его, будучи переведён, по собственной просьбе, с должности одного из помощников начальника этого управления на должность офицера резерва в Петербурге, где он служил примерно с 1902 по конец 1907 года.

Будучи совершенно не знаком с ведением политического розыска, Семигановский, по приезде в Саратов, усиленно стремился к тому, чтобы восполнить этот пробел в своей жандармской деятельности и стал постоянным посетителем моего отделения. Он, с моего разрешения, часто присутствовал на сборах агентов наружного наблюдения, расспрашивал меня о подробностях ведения розыска и просил подробно ознакомить его со всеми разновидностями розыскной деятельности.

Я много и охотно делился с ним моим знанием техники розыска; так как ко времени приезда его в Саратов я уже обладал вполне исправной секретной агентурой, то мои разъяснения могли быть ему весьма полезны. Я не следовал примеру Герасимова, который при моём назначении в Саратов вместо разъяснений и советов заявил, что начальнику охранного отделения «надо только иметь голову на плечах!».

С новым начальником я вздохнул свободнее. Наши взаимоотношения сразу приняли нормальный и дружественный характер. Семигановский, очевидно, понял, что, при моей осведомлённости в подпольном мире, его положению начальника губернского жандармского управления не угрожают неприятные неожиданности.

В самом деле, я настолько ясно понимал и знал революционное подполье Саратова, что мог, например, позволить себе однажды не согласиться с предложением Департамента полиции произвести обыск в указанном им доме, где, по каким-то полученным им сведениям, должна была находиться подпольная типография саратовского комитета РСДРП. Этот смелый с моей стороны протест вызвал целую переписку с Департаментом. Дело обстояло так. В указанное время Особым отделом Департамента полиции руководил пожилой чиновник, Митрофан Ефимович Броецкий. Бюрократ по характеру, он, видимо, не умел руководить живым делом розыска и, как многие петербургские застарелые чиновники, любил «очистить» переписку, т. е. довести вопрос не до логического конца, а до формального его завершения, а затем со спокойной совестью закончить нагромоздившуюся переписку. Пал и я жертвою его навыков.

Однажды я получил за его подписью бумагу, в которой сообщалось, что, по сведениям Департамента полиции, в квартире такой-то в доме за таким-то номером, по улице такой-то города Саратова находится подпольная типография саратовского комитета РСДРП, а потому мне предлагалось немедленно обыскать эту квартиру и арестовать типографию и лиц, причастных к ней.

Надо отметить, что в это время я был в совершенстве осведомлён о состоянии всех подпольных организаций Саратова, и если не принимал никаких мер в отношении данной типографии, то только потому, что она бездействовала. Забирать обыском разобранные части типографии с рассыпанным шрифтом, находящиеся на другой, мне хорошо известной, но вовсе не той квартире, которая указывалась Особым отделом Департамента, мне представлялось неразумным ходом.

Я понял, что в Особый отдел поступили сведения из недостаточно осведомлённого источника, и, вместо того чтобы сообщить мне эти сведения для проверки, Особый отдел по бюрократической привычке к перепискам и отпискам потребовал производство обыска.

В деле политического розыска важное значение имеет атмосфера доверия по отношению к руководителю розыска. Исполнителями его распоряжений являлись почти всегда чины местной полиции, главным образом пристава городских районов, которые не раз говорили мне, что, получая от меня ордера на производство того или иного обыска, они всегда были уверены, что всякий раз они обнаружат что-либо важное и что Саратовское охранное отделение даром обыска не делает.

Кроме того, я всегда считал ошибочным беспокоить малопричастных (а то и вовсе не причастных) к революционной деятельности лиц производством у них обысков. Обыски делались преимущественно или к ночи, или ранним утром с целью застать обывателя на его квартире; и потому, конечно, если оказывались безрезультатны, только возбуждали неудовольствие действиями властей.

Суммируя все эти причины, я решил протестовать. Добавлю, что такое решение подсказано было мне не только всеми приведёнными выше доводами, но и моей молодостью и свойственным ей идеализмом. Девяносто девять процентов начальников политического розыска, получив такое требование, бросились бы сломя голову его исполнять, и в ответной бумаге было бы отмечено, что, дескать, по обыску «ничего предосудительного не обнаружено». Я же немедленно ответил запиской, в которой, ссылаясь на мои предыдущие донесения о

деятельности и состоянии подпольных организаций Саратова, указал на бесцельность производства требуемого обыска и доложил, что я такого не произвёл и производить не буду.

Как и следовало ожидать, в ответ я получил новое, более настоятельное требование от того же Броецкого произвести обыск. Я снова ответил более пространно мотивированным отказом. На это я получил новое, уже категорическое требование обыска. Я снова не произвёл его, но на этот раз решил всё дело предложить вниманию самого директора Департамента М.И. Трусевича.

Прошло требуемое на переписку время, и я получил ответное письмо от директора Департамента полиции, в котором он сообщал мне, что, несмотря на приведённые мной доводы, требование начальника Особого отдела должно быть исполнено. Пришлось исполнять. Представив всю переписку полковнику Семигановскому и отметив, что предстоящий обыск будет бесцельным, я просил его не только выдать ордер на производство обыска, но и назначить одного из офицеров управления для присутствования на нём. Сам же намеренно не назначил ни одного из чинов моего отделения для сопровождения наряда полиции. Обыск, конечно, был безрезультатен, о чём я и поспешил известить Департамент.

Я и теперь вспоминаю свои действия в этом деле с удовлетворением, но тогда это не способствовало улучшению моих отношений с Особым отделом. Впрочем, Броецкий скоро был переведён на другую должность.

На смену Броецкому был назначен не чиновник, а жандармский офицер, подполковник Александр Михайлович Еремин, бывший до того начальником Киевского охранного отделения, видимо зарекомендовавший себя с хорошей стороны[132]. Это был действительно толковый казак, внёсший в деятельность Особого отдела живое отношение к розыскным вопросам и урегулировавший хромавшую до того регистрацию. Еремин был по натуре суровый, необщительный и очень требовательный. Его не любили, но все признавали правильным его способ ведения дела, особенно в отношении регистрации и отчётности по розыску.

Этих отчётностей появилась целая масса. Бланки для них были отпечатаны в Департаменте полиции и рассылались по местам для заполнения. Они были разной окраски и требовали массу времени. Среди них были совсем несуразные, и все они излишне обременяли канцелярии розыскных учреждений. Я помню, например, такой бланк, кажется на красной бумаге, который требовал регистрации домов и квартир, где жили, хотя

бы и прежде, революционные деятели. Пользы это приносило мало, ибо адреса менялись, и едва ли какой-либо начальник местного розыска стал бы разыскивать по этим листам подпольных активистов и их связи. Никакие листы — на красной или на зелёной бумаге — не заменят в живом деле самую главную составную часть его — секретную агентуру.

Несмотря на огромную переобременённость работой в это время, я и до сих пор вспоминаю 1908 год как один из лучших моих служебных годов. К этому времени политический розыск был мной налажен вполне, я освоился с работой, и, что самое главное, я знал всё, что делалось и даже что замышлялось в революционном подполье. Мой престиж как начальника охранного отделения был прочно установлен в глазах местной администрации: губернатор мне доверял всецело; с полицией у меня были самые лучшие отношения; прокурорский надзор знал по всем моим ликвидациям, что я обладаю не только верными сведениями, но и правильно оцениваю общее положение; и поэтому, хотя у меня всё время было рассчитано по часам и я только жил и существовал для службы, я избавился от неопределённой тревоги за будущий день, что была характерна для первого года моей службы в Саратове.

Как-то летом 1908 года секретный сотрудник «Николаев» сообщил мне, что в Саратов приехала из-за границы в качестве авангарда некая девица — агент центрального комитета Партии социалистов-революционеров; что она виделась с Левченко и имеет целью подготовить квартиры для целой группы видных эсеров, которые разновременно, но в недалёком будущем должны приехать в Саратов и организовать здесь Поволжский областной комитет партии.

Приезжая имела партийную кличку «Слон», которая, по словам «Николаева», вполне соответствовала её внушительной наружности.

Левченко, по обыкновению, всё дело связи и сношений с этой девицей передал в руки «Николаева», который прежде всего устроил «Слона» на квартире у местных интеллигентных эсеров.

Так как местные, более или менее видные, эсеры мне уже были известны и так как все сношения приезжей велись через «Николаева», я поставил за ней наружное наблюдение крайне осторожно. Таким же образом я поступал и в отношении всех остальных приезжавших по очереди, один за другим, членов нового комитета. Я хорошо понимал, что в этом деле, достаточно ясно и полно освещаемом мне секретной агентурой, неосторожное наружное наблюдение повело бы только к провалу дела.

Роль наружного наблюдения в данном случае я сводил к двум факторам: необходимо было, чтобы филеры охранного отделения запомнили и изучили личности приехавших деятелей партии и чтобы наружное наблюдение смогло сыграть вспомогательную роль в случаях, когда нужно было установить некоторые подробности.

Приведу пример: мне становилось известно, что один из приехавших членов нового Поволжского комитета должен в такой-то час бросить в почтовый ящик письмо за границу, и вот я ставил наружное наблюдение за этим лицом только до того момента, когда нужное мне письмо попадало в почтовый ящик.

Все почтовые ящики в Саратове имели свои номера, и, по условленной тогда системе (которая, впрочем, начиная с 1909 года была заменена менее мне удобной), почтальон в назначенное время открывал ключом дверцу ящика и вынимал запертый на ключ же мешок, наполненный письмами, а на его место вставлял новый, пустой мешок. Мне оставалось только позвонить начальнику почтовой конторы, и через два-три часа на моём столе лежало содержимое данного почтового мешка. Найти интересующее меня письмо не стоило уже большого труда. Не теряя времени, беру специально для таких приёмов предназначенную большую костяную иглу, вроде вязальной, и осторожно, стараясь не испортить краев, вскрываю конверт.

Обычно нахожу письмо с ничего не говорящим текстом, содержащим в себе самые обычные фразы. Но я знаю, что это только видимость. В письме есть скрытый, написанный не чернилами, а лимонной кислотой текст; он — между чернильными строчками, а потому эти последние несколько шире расставлены.

Всё от того же секретного сотрудника «Николаева» я знаю, что шифр, которым написан частями скрытый текст письма, составлен по известной, легально изданной брошюре, один экземпляр которой находится в руках автора письма, то есть в Саратове, а другой лежит на полке, в квартире одного из членов центрального комитета Партии социалистов-революционеров, проживающего на положении эмигранта с 1908 года в Париже. Это один из самых трудных для расшифровки шифров, если только вы не знаете названия брошюры или книги. Если у вас есть данная книга, то вам остаётся лишь подогреть всё письмо над стеклом обыкновенной керосиновой лампы, и тогда зашифрованный текст, написанный лимонным соком, проявляется весьма просто. Расшифровка — при наличии у вас книги-ключа — дело совсем простое. Первые две цифры означают страницу. Дальше следуют группы по четыре цифры: первые две

означают строку, а последующие две — место буквы в данной строке. Значительно труднее точно воспроизвести разрушенное подогреванием и проявлением оригинальное письмо. Надо подобрать точно такую же бумагу, переписать, старательно подделывая почерк, оба текста, явный и секретный, и, что весьма важно, привести конверт в такой вид, чтобы он не возбуждал ни малейших подозрений. Короче говоря, то письмо, которое в Париже получит член центрального комитета, написано не саратовским революционером, но начальником Саратовского охранного отделения. А подлинник остаётся в архивах[133].

Мне пришлось написать несколько таких писем, и всё обошлось благополучно, без всяких подозрений. Конечно, я не позволял себе приписывать, вроде добрейшего Александра Яковлевича Булгакова, почт-директора при Императоре Александре I[134], который, перлюстрируя корреспонденцию, отправляемую из Москвы, приписывал иногда собственноручно к письму от приятеля к приятелю: «и ещё сердечно кланяется тебе почт-директор Булгаков».

Нечего и говорить о том, как много я узнавал из этих писем того, чего мог не знать мой секретный сотрудник и от чего я иногда сам, уберегая от подозрений, намеренно его отодвигал.

Мне пришлось тогда переписывать главным образом письма женщины, врача по профессии, получившей медицинское образование, насколько помню, в Швейцарии, Лидии Кочетковой.

Вскрыть и детально обрисовать всю организацию Поволжского областного комитета эсеров пришлось на долю «Николаева», и он сыграл в этом деле доминирующую роль.

Я часто задавал себе впоследствии вопрос: удалось ли бы мне без «Николаева» выявить и захватить в сеть розыска налаживаемую тогда в Саратове эсеровскую местную организацию? Затрудняюсь ответить на этот вопрос. В то время я имел уже свою заграничную секретную агентуру, составленную из местных, саратовских, эсеров, выехавших под удачными предлогами в Париж и проживавших там с ведома и согласия Департамента полиции. Через некоторое время я передал эту агентуру по распоряжению Департамента полиции в его ведение. Эта агентура, хотя и не была очень близка к эсеровскому центру в Париже и едва ли могла уведомить о всей затее организации областного партийного комитета в Поволжье, кое-что основное дала. В связи с её данными, сообщёнными мне, в свою очередь, Департаментом полиции, может быть, мне бы удалось кое-что выяснить и без «Николаева».

Вскоре после появления «Слона» в Саратов пожаловала, в полном соответствии с известной басней Крылова, и «Моська».

Такова была партийная кличка её подруги (и партийной и личной), новой приезжей из Парижа. Не помню теперь их подлинных фамилий. Обе были политические эмигрантки, и на них была возложена обязанность по приезде в Саратов связаться с местным партийным центром (т. е. с Левченко), наладить связи, найти удобные и подходящие квартиры для размещения следовавших за ними главных деятелей Поволжского областного комитета и т. п. Это были первые ласточки — в ожидании птиц покрупнее.

Левченко, обычно хмурый и малоразговорчивый, оживлялся и всё чаще зазывал к себе для переговоров моего «Николаева». С каждым таким разговором я обогащался новыми сведениями. Мои деловые свидания с «Николаевым» участились, и в течение полугода почти не проходило ни одного дня без того, чтобы мы не виделись с ним. Каждый шаг обдумывался и передумывался в полном согласии. «Николаев» был твёрдо уверен, что я ничего не сделаю опрометчиво — ничего, что могло бы повредить ему в глазах его партийных товарищей.

Первым грачом из стаи крупных птиц была Лидия Кочеткова. Это была видная партийная деятельница, известная Департаменту полиции по своей деятельности в качестве одного из заграничных лидеров партии. Партийной её клички не упомню, но мои филеры, немедленно поставленные мной, по очереди, для ознакомления с её внешностью, дали ей почему-то кличку «Пастушка». Так с тех пор Кочеткову мы между собой и называли «Пастушкой».

Кочеткова вскоре после приезда в Саратов сравнительно часто стала встречаться с «Николаевым». Она, несомненно, доверяла ему. Она знала его брата, партийного лидера, жившего за границей, а потому он многое и без труда узнавал от неё.

Вскоре я узнал, что вслед за Кочетковой приедут следующие центровики для руководства партийной работой в Поволжье: Осип Соломонович Минор, которого как Кочеткова, так и Левченко в разговоре называли «Старик»; затем некий «Хромой», оказавшийся впоследствии известным Александром Ивановичем Петровым-Воскресенским (убившим в конце 1909 года или в начале 1910 года, теперь точно не вспомню, начальника Петербургского охранного отделения, полковника Карпова)[135], и также известный Департаменту полиции по прежней подпольной работе Борис Бартольд, младший брат известного петербургского профессора академика-востоковеда Василия Владимировича Бартольда.

Бориса Бартольда я мельком видел во время моей службы в Петербургском губернском жандармском управлении, куда его в

качестве арестованного по какому-то террористическому делу приводили из тюрьмы для допроса. Мне помнится, что брат его, профессор, тогда усиленно хлопотал за него, и ему удалось добиться разрешения министра внутренних дел на выезд Бориса за границу.

Вслед за этими видными эсерами приехали ещё два или три партийных деятеля, но я не удержал в памяти их фамилий. Один из них и Борис Бартольд, не то в виде своеобразной конспирации, но скорее потому, что Бартольд обладал некоторыми денежными средствами, поселились вместе в одной из лучших гостиниц города. Они были хорошо одеты, посещали рестораны, бывали в театре и вообще делали вид, что жуируют жизнью.

Чины моего отделения, которых я иногда посылал в ресторан в то время, когда там находились эти партийные кутилы, докладывали мне затем, что наблюдаемые не стеснялись ценами блюд и пили вино. Пропивали ли эти жуиры народные деньги, не знаю. Отпускал ли им центральный комитет партии на эту специальную конспирацию какую-либо особую денежную сумму — тоже не знаю. Но Борис Бартольд принадлежал, конечно, к тому особому виду красных кавалергардов террора, каким был и известный террорист-шарлатан Савинков. Мой «Николаев» держался того мнения, что Бартольд для собственного удобства и комфорта придумал именно этот сорт конспирации, что его приятель просто состоял при нём прихлебателем.

В результате наблюдения и различных приёмов розыска стали всё более и более проясняться подробности затеянной эсерами подпольной организации. Кочеткова проехалась по некоторым городам Поволжья, сопровождаемая очень осторожным наблюдением моих наиболее ловких и опытных филеров, которым я внушал, что лучше утерять её, чем быть замеченными ею. Конечно, в связи с этим и результаты наружного наблюдения оказались не столь значительны, но я восполнил их данными от секретной агентуры и нисколько не тужил.

Я получил от «Николаева» сведения, что приехавшие в Саратов эсеры налаживают связи с партийными центрами по городам Поволжья, намереваются командировать в некоторые города кое-кого из приехавших товарищей, стремятся наладить и оживить пропагандную работу (для чего решили поставить в Саратове подпольную типографию, в которой будет печататься периодическая газета) и возобновить террористическую деятельность. По части последней, видимо, намечались как руководители Бартольд с приятелем и «Хромой» — Воскресенский. Минор оставлял за собой главное руководство по типографии и издательству, Кочеткова руководила связями,

«Слон» и «Моська» употреблялись на все руки.

Одновременно с осуществлявшимся мной розыском в Саратове я, конечно, должен был, не упуская времени, посылать в Департамент полиции и в Поволжское районное охранное отделение в Самаре очередные агентурные и другие данные по ходу розыска и наблюдения.

Поволжское районное охранное отделение, руководимое начальником Самарского губернского жандармского управления, полковником Критским, не имевшее само сколько-нибудь осведомлённой секретной агентуры, не могло, конечно, в какой-либо мере руководить розыском по этому делу, приобретавшему, однако, очевидный районный характер.

Департамент полиции, насколько я понимал по ответным запискам директора Департамента, вполне усвоил серьёзность ведущегося розыска, но, к крайнему моему изумлению, разослал всем начальникам губернских жандармских управлений в Поволжье циркулярное сообщение, в котором, описывая приметы Осипа Минора по старым и потерявшим значение данным, предлагал этим начальникам установить за возможным приездом его в город, «подведомственный вашему наблюдению, особое, внимательное наблюдение и… о последующем срочно донести в Департамент полиции…». В описанных Департаментом полиции приметах Минора особенно упиралось на его хромоту («на одну ногу хромает»), чего в действительности в 1908 году не было вовсе. Минор, вероятно, «хромал на одну ногу» много лет тому назад. Это было вроде приметы: «немного беременна».

Результатов таких нелепых распоряжений не надо было долго ожидать. Не прошло и двух-трёх недель, как некоторые ловкие начальники губернских жандармских управлений стали посылать в Департамент полиции срочные донесения и даже телеграммы о том, что «лицо с приметами, указанными в циркулярном письме Департамента полиции от такого-то числа, за номером таким-то, взято под наблюдение, которое продолжается и о результатах коего будет донесено дополнительно…». Наиболее ловкие без обиняков телеграфировали, что «Осип Минор взят под наблюдение».

А Осип Минор жил в Саратове, и, казалось бы, у Департамента полиции не могло быть в этом сомнений. Но такова уж была беспардонная рутина в деле нашего розыска, что очевидное мирно уживалось с нелепым. В Департаменте не смущались даже, что по телеграммам выходило так, что Осип Минор оказывался сразу чуть ли не в четырёх городах Поволжья одновременно.

Соображения, которыми руководились ловкачи в

жандармских мундирах, были до примитивности просты: Департамент полиции сообщает о возможном приезде в город, вверенный его, ловкача, наблюдению, хромающего Минора. Ну, вот и взял в наблюдение первого попавшегося хромого, а затем послал телеграмму: дескать, видите, какой я ловкий розыскной деятель — не пропустил Минора! Ловкач понимает, что у занятого по горло директора нет времени следить внимательно за всеми перипетиями дальнейшего розыска и наблюдения. Главное — это впечатление, которое невольно останется, хотя бы и ненадолго: «Вот молодец! Сразу напал на Минора!» Проходит день, два, неделя. В Департамент поступают всё новые и новые сведения. Между ними имеются сведения, что за Минором теперь наблюдают в Саратове. Ах, теперь он в Саратове! Хорошо! Пусть продолжают наблюдение. Да, а вот хорошо, что его до того взял в наблюдение и полковник-ловкач! Может быть, по прошествии месяца, а то и двух очередной писец Особого отдела, просмотрев отчётность и найдя несоответствие в данных о проживании Минора, доложит столоначальнику об этом. Последний, для очистки совести и для очистки отчётностей, найдёт нужным запросить «ловкачей» о дальнейшем ходе наблюдения за Минором. Ловкачи ответят что-нибудь: или об утере наблюдения Минора, или что взятый в наблюдение хромающий старик, по предположениям Минор, оказался личностью, в городе известной, и что поэтому наблюдение оставлено без последствий. Но прошло уже некоторое время, и острота вопроса улеглась. Наконец, вся эта переписка не доходит до директора, а сам директор только и помнит, что Минора взял в наблюдение такой-то полковник. Это-то ловкачу только и нужно! К сожалению, в Корпусе жандармов и ловкачи были.

Одно было для меня тогда не совсем ясно. По-видимому, Департамент полиции имел какие-то сведения о приезде Минора из-за границы. От кого могли получиться эти сведения? У Департамента полиции имелась так называемая «заграничная агентура»[136]. Мог сообщить о Миноре и его предполагаемом отъезде в Поволжье также и начальник Петербургского охранного отделения полковник Герасимов, у которого находился в распоряжении известный Азеф. Азеф-то уж должен был бы, казалось, знать о Миноре и замыслах центрального комитета партии по восстановлению партийной работы в Поволжье. Кроме того, от меня с лета 1908 года шли непрерывные и вполне обоснованные сведения обо всей этой затее. И вот, несмотря на всё это, Департамент полиции разослал всем начальникам губернских жандармских управлений в Поволжье циркулярное распоряжение о необходимости установления наблюдения за

возможным приездом «во вверенную вашему наблюдению губернию» известного Минора. Что скрывалось за этим распоряжением? Ведь оно, казалось бы, только разлагало розыск. Не скрывалось ли за этим намерение не провалить сведений, идущих от столь важного сотрудника, каким считался Азеф? Не дал ли тогда такие неточные сведения нарочно полковник Герасимов?! Он мог это сделать по соображениям конспирации, и это не должно удивлять моего читателя, как это ни странно на первый взгляд. От кого конспирация? От своих же жандармских коллег? Да, это так — от них! Ибо забота о полном сохранении секретного сотрудника лежала прежде всего на нём, полковнике Герасимове, а он знал, как знал и я из практики, как неопытные в розыскном деле начальники губернских жандармских управлений очень часто при допросах арестованных или на обысках могли обмолвиться словом, что «этот обыск делается по распоряжению из Петербурга!».

Иногда такая, казалось бы, невинная оговорка вредила (и сильно вредила) агентуре. Итак, я допускал тогда и полагаю и ныне, что Департамент полиции знал кое-что о путешествиях по России Минора и, конечно, знал, что о приезде его в Саратов я сообщил правильно. Знал ли Департамент более подробно всё то, что я сообщал ему о приезде в Саратов других лидеров эсеровской партии, от какого-либо другого розыскного учреждения, я не знаю; но, по-видимому, не знал, а потому и проявлял огромный интерес к моим донесениям.

Как только я понял и установил точно, что приезжие главари партии начинают налаживать партийные связи в Поволжье, я немедленно предложил начальнику районного охранного отделения собрать в срочном порядке всех начальников губернских жандармских управлений Поволжья для согласования наших действий и выработки общего плана наблюдения и одновременной ликвидации в подходящий момент всего Поволжского областного комитета эсеров. Я предложил сделать общий доклад на этом съезде. План мой был одобрен Департаментом полиции Я выехал на съезд вместе с начальником Саратовского губернского жандармского управления, полковником Семигановским, которого я посвятил в общую картину положения дел. В Самару съехались на наше совещание начальники губернских жандармских управлений из Пензы, Казани, Симбирска, Тамбова, Астрахани и Саратова. Присутствовал, конечно, и начальник Самарского губернского жандармского управления (он же и начальник Поволжского районного охранного отделения), в квартире которого мы и собрались для совещаний.

По моей просьбе, несколько каверзной, начальник районного охранного отделения предложил сделать доклады по очереди каждому из начальников губернских жандармских управлений о положении революционных дел в каждой губернии Поволжья. Как и следовало ожидать, из этих докладов выходило, что в общем «всё обстоит довольно благополучно». Тогда я начал свой доклад, обрисовывая изумлённым начальникам жандармских управлений положение дел в не столь благополучном виде, и разъяснил, что приехавшие в Саратов члены нового Поволжского областного комитета эсеров уже стали налаживать связи с эсеровскими центрами в губерниях, подведомственных наблюдению этих начальников, и что нам предстоит сложная, терпеливая, кропотливая и по возможности дружная розыскная работа по согласованной и одновременной ликвидации, которую начну я в подходящий момент.

Присутствовавшие начальники губернских жандармских управлений были, что и говорить, неприятно поражены. Главной неприятностью было то, что мой доклад полностью опровергал их данные. Меня поддерживал и начальник районного охранного отделения, которому не могло не быть приятно, что в районе, вверенном его наблюдению, розыск оказывался на должной высоте, хотя бы в одном пункте. Да и впереди возможен был успех по всему району. Я не преминул упомянуть в моём докладе о некоторых приёмах по наблюдению за Минором и уверил всех присутствующих, что Минор и не думал заезжать в вверенные их наблюдению города, а прямо приехал в Саратов, где со дня приезда находится под наблюдением.

Ловкачам стало ясно, что я раскусил их хитрости. Главная же неприятность заключалась в том, что не они, а молодой жандармский ротмистр-охранник добыл все эти сведения, которые подрывают их авторитет, свидетельствуют о незнании ими дела и подтверждают правильность новой системы Департамента полиции — учреждения охранных отделений в провинции.

Впечатление моё от встречи с моими старшими коллегами было удручающее. Все они были люди, может быть, воспитанные и приличные; кое-кто из них был готов работать, но у них не было никакого опыта, а у некоторых и никакого желания действовать. Все они отбывали сроки выслуги на следующий чин, и им хотелось как можно спокойнее провести эти годы в уютной провинции. Словом, я понимал их затаённое недружелюбие ко мне, и мне было ясно, что согласованной работы с ними не получится.

Расскажу здесь о нескольких эпизодах этой работы. В 1908

году усилилась доставка в Саратов заграничного издания брошюрочной литературы эсеров. Приходила она большими тюками и ящиками, преимущественно при посредстве известной транспортной конторы «Надежда», где служило значительное число революционно настроенного, а то и просто левого элемента.

Такие же транспорты шли, по всей вероятности, не только в Саратов, но и в другие города, но только мне в Саратове удалось выловить почти весь транспорт, и если кое-что из этой литературы пошло по рукам низовых эсеров, то это были сущие пустяки по сравнению с общим количеством выловленного мной груза. А выловил я его тогда, считая на вес, что-то около трёхсот или четырёхсот пудов.

В большинстве своём эта брошюрочная литература была хорошо издана, содержала к себе сочинения известных теоретиков партии Маслова, Кагоровского и других по вопросам преимущественно аграрным, финансовым и пр. Надо сказать, что вся эта литература была не по плечу среднему российскому обывателю и в этом смысле была не столь уж вредна. Так как она вся приходила в адрес какого-нибудь симпатизирующего эсерам обывателя, то квитанция на получение багажа неизменно попадала в конце концов всё к тому же Левченко, а он, из конспирации, поручал дело моему «Николаеву», и в результате вся эта нелегальщина попадала ко мне. Дав для приличия два-три экземпляра «Николаеву», я остальные попросту сжигал, оставив у себя в библиотеке по образцу и отослав в Департамент полиции несколько экземпляров с сообщением о количестве уничтоженных.

Конечно, мои действия, которые я здесь описываю, стоят в полном противоречии с ходовыми представлениями нашей левой интеллигенции о том, как жандармы провокационно затягивали молодёжь в революцию и губили её арестами и ссылками. Однако нам теперь становится всё более ясно, что ходовые представления нашей левой интеллигенции не только об агентах правительственной власти, но и о многом другом были неверны, наивны или преднамеренно лживы. Мы только теперь, в эмиграции, стали понимать, что революция безнравственна главным образом оттого, что она целиком построена на морализме; и что революция так безбожна и бесчеловечна оттого, что она выросла из идеи человекобожества. Революция исказила и уничтожила материальные ценности потому, что она материалистична. Революция и революционеры так омерзительно несправедливы потому, что они одержимы идеей справедливости. Мы теперь только, в эмиграции, поняли, что революция — это

есть реакция. Но тогда, в описываемый мною 1908 год, левая интеллигенция (а за ней вслед вся российская полуинтеллигенция) не уставала повторять и верить, что тургеневская девушка, олицетворявшая в одном из его стихотворений в прозе революцию, была святая; мы, лишь «реакционеры», злобно шептали: дура![137]

Как-то в описываемое мною время я получил от «Николаева» сведения о прибывшем в Саратов новом транспорте эсеровской литературы, изданной за границей. Транспорт этот состоял из двух больших ящиков, наполненных брошюрами. Каждый ящик был пудов до семи-восьми. Один из этих ящиков предназначался для внутреннего, саратовского, употребления, а другой, по распоряжению Левченко, должен был быть переправлен в Пензу, в распоряжение местного комитета.

Мы условились с «Николаевым», что наш, саратовский ящик поступит целиком в моё распоряжение, т. е. будет уничтожен, а ящик пензенский пойдёт по назначению, причём, для того чтобы в точности знать все подробности в отношении внешнего вида ящика, его упаковки, данных, заключенных в накладных на товар, адреса получателя и пр., я поручил всё дело переправки ящика чинам моего отделения. Конечно, все малейшие детали по отправке товара в Пензу я сообщил начальнику пензенского губернского жандармского управления, полковнику Николаеву. Я сообщил ему также, что, ввиду необходимости соблюдения конспирации и во избежание провала ценной агентуры, он ни в коем случае не должен задерживать получателя, который явится за ящиком на вокзал, и по возможности не задерживать ящик и на первой же квартире, куда он будет доставлен. В своём сообщении я рекомендовал Николаеву использовать предстоящий случай для возможно более широкого наблюдения за пензенской группой активных эсеров — в целях включения её в предстоящую ликвидацию Поволжского областного комитета эсеров. Словом, начальнику Пензенского губернского жандармского управления предоставлялся весьма удобный случай вскрыть пензенскую группу активных эсеров.

Прошло недели две или три, и на одном из свиданий с «Николаевым» я узнаю, что Левченко получил письмо из Пензы с сообщением о том, что отправленный туда из Саратова транспорт партийной литературы задержан на вокзале вместе с получателем! «Николаев», естественно, волновался, справедливо усумнясь в моих обещаниях и плане действий, которые должны были его огораживать от всяких ненужных подозрений. Я постарался успокоить его и восстановить прежде всего его доверие к моим словам и действиям. Это было не так легко. В то

же время я немедленно написал письмо полковнику Николаеву, прося необходимых разъяснений. Разъяснения пришли и заключались в том, что Николаев решил задержать на вокзале груз подпольной литературы, опасаясь того, что дальнейшее наблюдение могло бы не дать желанного результата, а распространение по вверенной его наблюдению губернии большого количества нелегальных изданий он считает крайне нежелательным.

В этом ответе сказалась вся неналаженность нашего розыскного аппарата. К тому же после ареста нелегальщины на вокзале полковник Николаев немедленно посылает телеграмму директору Департамента полиции, что им задержан в Пензе груз нелегальной литературы весом в семь пудов. Расчёт опять-таки на психологию: дескать, директор прочтёт такую телеграмму и составит себе представление о молодце, задержавшем вовремя целый груз нелегальщины.

Вот с такими-то, одновременно и ловкачами, и наивными в деле политического розыска, младенцами в жандармских мундирах приходилось иметь дело всегда, как только розыск выходил из пределов города Саратова.

Едва я вступал в связь по делам розыска с другими агентами его, одетыми в жандармские мундиры, как неукоснительно получались в результате неприятности, недоразумения и нарекания. В данном случае с полковником Николаевым мне было тем более обидно, что я значительно помог его розыскной работе, вставив в пензенский эсеровский комитет одного из своих сотрудников. Произошло это таким образом. Приезжие эсеровские главари в целях оживления партийной работы на местах решили послать по некоторым губернским городам Поволжья своих людей из Саратова. Они обратились за ходатайством в этом к Левченко, а последний, конечно, в свою очередь, обратился к «Николаеву». Я решил воспользоваться этим обстоятельством. В числе моих секретных сотрудников был некий недоучившийся семинарист, числившийся среди местных эсеров, но к описываемому мною времени несколько порастерявший свои партийные связи, склонный по своему характеру к некоторому шалопайству и вообще человек, как говорится, малосерьёзный. Я наметил его, как лицо не столь полезное мне, но могущее оказать неплохое содействие в розыске на новом месте. Человек он был, во всяком случае, расторопный и сообразительный, но требующий присмотра за собой и руководства со стороны лица, заведующего розыском.

Я поясню, что я подразумеваю под этим руководством. Большинство сотрудников всегда стремилось к увеличению

своего денежного оклада и часто в этом смысле надоедало заведующим политическим розыском. В стремлении к увеличению своего содержания некоторые из наиболее напористых и менее совестливых сотрудников начинали присочинять и добавлять кое-что из головы к сообщаемым ими сведениям. Вот тут-то и требовалось от лица, заведующего розыском, вовремя осадить такого зарвавшегося сотрудника и твёрдо поставить его на должное место. Задача эта отнюдь не была лёгкая, ибо, с одной стороны, желательно было удержать с секретным сотрудником по возможности более доверительные и тёплые отношения и не ссориться с ним, а с другой — надо было, пользуясь более осведомлённой агентурой, уличить и доказать сотруднику, что он если и не сфальшивил, то всё же преувеличил факты. Однако, уличая сотрудника, заведующий политическим розыском как бы невольно приоткрывал пред ним то обстоятельство, что местный политический розыск имеет в своём распоряжении другого, более осведомлённого и ближе к подпольному центру стоящего осведомителя. Этого обстоятельства надо было всемерно избегать, и заведующий розыском обычно делал вид, что он, по крайней мере в данный момент, не имеет более «сильного» сотрудника, чем тот, с которым он в то время беседует. Это положение, твёрдо мной проводившееся, стоило мне многих, бесполезно, по существу, проводимых часов с каким-нибудь менее серьёзным сотрудником, дававшим мне почти те же сведения, что и незадолго перед тем выслушал от другого, более осведомлённого.

Мне часто необходимо было высказывать свои глубочайший интерес к совершенно иногда одинаковым сообщениям и делать «приятное лицо». Если же эти сообщения разнились, то надо было понять, почему именно и кто из двух передатчиков событий уклоняется от правды. Когда правда была выяснена и уклонившийся от истины был понят, требовалось своеобразное искусство, чтобы поставить его на место, ибо такой преувеличивающий или присочиняющий сотрудник мог бы понять или начать приходить к выводу, что у меня есть другой осведомитель в рядах членов той же организации. Для секретного сотрудника представлялось немаловажным выяснить личность информатора-конкурента, особенно из одной и той же организации, ибо если он по тем или иным причинам начинал чувствовать недоверие к себе, ему легко было попытаться переложить подозрения со своих на другие плечи. Вот почему нужна была чрезвычайная осторожность, чтобы не слишком явно показать каждому из своих секретных осведомителей свою полную осведомлённость.

Но вернёмся к повести о семинаристе и «Николаеве». Чтобы не дать «Николаеву» права заподозрить в семинаристе моего сотрудника, я дал ему понять, что женщина, очень близкая к семинаристу, живёт в Пензе, и что, по моим сведениям, он стремится сам перебраться в этот город, и что эта женщина состоит в числе секретных сотрудников у начальника Пензенского губернского жандармского управления.

Я рекомендовал «Николаеву» найти предлог для частной беседы с семинаристом, во время которой потолковать с ним о его намерении перебраться в Пензу. Семинаристу же я рекомендовал распространить слух о своём отъезде в Пензу по личным делам. Я напомнил «Николаеву», что семинарист занимал одно время положение довольно серьёзное с партийной точки зрения, состоя в 1905–1906 годах членом одного из местных эсеровских комитетов.

Не прошло недели, как семинарист был уже в Пензе и в распоряжении начальника местного губернского жандармского управления. Не знаю точно, насколько удачна была с розыскной точки зрения эта комбинация с преподнесением полковнику Николаеву столь ценного сотрудника. Подумать только: без хлопот получить в своё распоряжение уже проверенного секретного сотрудника, который сразу же по приезде начинает освещать для лица, заведующего политическим розыском, детали подпольной деятельности местного комитета!

События, однако же, развернулись иначе. Вскоре я начал получать совершенно секретные, доверительные и «в собственные руки» письма от начальника Пензенского губернского жандармского управления, в которых этот ловкач стал указывать мне, что в саратовской организации Партии социалистов-революционеров возникли слухи о предательстве, и по данным «очень серьёзной агентуры» (понимай, конечно, семинариста) в предательстве заподозрен такой-то. Тут же следовала фамилия одного из видных саратовских эсеров, которого, по-видимому, знал семинарист.

Я ответил, что я принял во внимание сделанное мне предупреждение. Копию своего письма ко мне полковник Николаев поспешил отослать для сведения директору Департамента полиции и в районные охранные отделения, которые, в свою очередь, обеспокоенные «провалом агентуры в Саратове», запросили меня, также доверительно и совершенно секретно, с зашифрованной в тексте фамилией заподозренного.

Не успел я ещё ответить на эти запросы, по существу только отнимавшие у меня время (ибо «доверительные» письма приходилось составлять и переписывать самому), как я снова

получаю предупреждение от неугомонного пензенского начальника, в котором он уведомляет меня, что «весьма серьёзная» агентура указывает на то, что саратовские эсеры заподозревают в предательстве некоего «старика», находящегося в центре саратовской партийной организации, иначе говоря — самого Левченко, и… моего сотрудника «Николаева». Я понял, что мой семинарист крутит голову полковнику Николаеву, стараясь ошеломить его важными сведениями, чтобы надбавить себе цену.

Надо было положить конец этим «доверительным» сведениям, однако сделать это так, чтобы полковник Николаев не мог понять настоящего положения дел, и потому я засел за «доверительное» ответное письмо к нему. В этом письме, упирая главным образом на то, что семинарист, который, несомненно, по моему мнению, является информатором о саратовских делах, может несколько увлечься ролью разоблачителя и повредить себе в глазах своих партийных товарищей, навлекши сам на себя подозрения, я рекомендовал: осторожно, но настойчиво предложить ему заняться освещением порученного ему нами дела, т. е. освещением пензенского эсеровского подполья. Как и следовало ожидать, дальнейшие предупреждения меня о разных «предателях» в моём районе прекратились.

Уже после благополучно завершённой ликвидации Поволжского областного комитета, начатой мной с утра 1 января 1909 года (к полному огорчению чинов полиции и местного губернского жандармского управления, не могших провести этот день согласно традициям), я вынужден был объяснить директору Департамента полиции роль и поведение начальника Пензенского губернского жандармского управления в истории с задержкой им ящика нелегальной литературы на вокзале вопреки моим предупреждениям и в истории с вовлечением сотрудника на путь информатора о моей секретной агентуре.

На этот раз ловкач пострадал. Его устранили от должности начальника губернского жандармского управления. На этом настоял Департамент полиции, но зато я прибавил себе лишних врагов в штабе Отдельного корпуса жандармов.

К описываемому времени я приобрёл ещё другого осведомителя, гордившегося своей принадлежностью к Поволжскому областному комитету эсеров периода 1905–1906 годов. Сотрудник этот был ценный и по своим связям с некоторыми видными эсерами указанного времени, и по тем деньгам, которые я ему стал выплачивать (что-то около 200 рублей в месяц). Он проживал в описываемое время в провинции, т. е. в уезде, в имении своего отца, крупного торговца мясом. Я

готовил этого сотрудника, так сказать, на смену, если бы какой-нибудь непредвиденный случай лишил меня «Николаева». При наличии же «Николаева» мой новый осведомитель был для меня пока почти бесполезен, хотя и давал некоторые интересные указания. Я сам, при создавшейся обстановке, не давал ему поручений, давал только деньги и держал его про запас.

В своей тактике по отношению к «Николаеву» я наиболее всего стремился предохранить его от провала, т. е. от заподозрения со стороны партийных товарищей при предстоящей вскоре ликвидации.

Не надо забывать, что при постоянных и длительных собеседованиях с глазу на глаз «Николаеву» выявлялась моя заботливость о нём, и, уверенный в том, что я не предам его и не совершу ничего такого, что мне было бы выгодно в смысле служебного успеха, но подорвало бы его положение как серьёзного и верного своей партии сочлена, он никогда ничего не скрывал от меня.

Я совершенно убеждён в том, что отсутствие такой точной уверенности у многих секретных сотрудников, состоявших в распоряжении у различных руководителей политического розыска, зачастую приводило к самым печальным последствиям, в результате которых были совершены и покушения на жизнь этих руководителей. Намёки на это имеются и в известном деле провокатора-террориста Богрова. Но к этому я вернусь несколько позже.

Конечно, не всегда и не со всяким секретным сотрудником могли быть принимаемы одни и те же меры. Всё это весьма индивидуально и требует большого разнообразия приёмов. Я только хочу указать, что, несмотря на возможность знать больше того, что я знал, я часто избегал услуг ценной агентуры, стараясь создать для неё своеобразные «алиби» на будущее. Я, так сказать, на шахматной доске политического розыска в Саратове стремился играть не только ферзью, а пускал в ход и коней, и пешек. А свою ферзь, в лице «Николаева», загораживал другими шахматными фигурами, одной из которых случилось быть не кому иному, как самому Азефу.

Конец года подходил; шёл декабрь. В Саратов приехал помощник начальника Поволжского охранного отделения ротмистр Филевский с поручением от полковника Критского ускорить по возможности ликвидацию Поволжского областного комитета эсеров. Собственно говоря, определённых доводов к этому ускорению приехавший ко мне ротмистр не указал, ссылаясь только на общие соображения о нежелательности затягивать намеченную нами ликвидацию.

Я выставил два главных довода, не позволявших мне немедленно приступить к этой ликвидации. Первый состоял в том, что я ещё не нашёл таких, посторонних, не саратовских, факторов, на которые я мог переложить (в глазах ликвидированных, конечно) ответственность за происшедшие аресты, что, однако, необходимо в целях защиты агентуры; второй — что я не уверен в точном нахождении несомненно уже заготовленной подпольной областной типографии партии. В самом конце декабря я был вызван на свидание «Николаевым», который с взволнованным видом передал мне для прочтения письмо, только что полученное им по условному адресу. Письмо было из Парижа и, по расшифровке мной, заключало очень краткое сообщение о том, что Азеф, как это точно установлено, является провокатором.

Письмо это было немедленно переписано, снова запечатано и отдано «Николаеву» с условием, что он передаст его Кочетковой только 31 декабря вечером. Я решил использовать этот удобный для меня случай, перемещавший ответственность за предстоящие в Саратове аресты на провокаторство Азефа, и вместе с тем я решил начать ликвидацию приехавших из-за границы лидеров эсеровской партии с раннего утра 1 января наступающего 1909 года, т. е. не давая возможности им разбежаться в разные стороны, что, может быть, они и предприняли, если бы я не ликвидировал своевременно всю налаженную ими организацию.

Встреча Нового года и его первый день прошли у меня, у моих сослуживцев и подчинённых по Саратовскому охранному отделению в лихорадочной работе по последней подготовке, а затем и выполнению заранее обдуманного плана ликвидации.

С раннего утра Нового года я направил заготовленные наряды в квартиры главных лидеров-приезжих для подробнейшего обыска и безусловного ареста — вне зависимости от результатов обыска. Обысканы были и лица, замеченные в сношениях с приезжими.

В целях конспирации и избавления моей агентуры от подозрений, или, говоря техническим языком, от провала, я решил, базируясь на провале Азефа, ликвидировать главным образом тех приезжих, которых мог знать он. Поэтому, с целью выставить в глазах арестованных лидеров неосведомлённость местного розыскного аппарата, я не тронул трёх лиц: Левченко, Кочеткову и моего сотрудника «Николаева». Как я себе представлял, арестованные немедленно после своего ареста должны были начать разматывать клубок событий, приведший к их аресту, и я поэтому предложил им разматывать его так, чтобы нить приводила к Азефу. Я, конечно, знал, что Кочеткова

немедленно кинется удирать за границу. Так оно и случилось! А Левченко я предоставил возможность наслаждаться ловкостью, с какой он законспирировал свою подпольную деятельность. Он мог спокойно по-прежнему делиться своими впечатлениями с «Николаевым». Благодаря последнему я по-прежнему узнавал все нити, тянувшиеся к тому же, продолжавшему быть «законспирированным», Левченко.

Произведённые мной обыски дали результаты, превзошедшие все ожидания. У Осипа Соломоновича Минора были обнаружены налаженная подпольная типография и масса заготовленного к отправке, только что оттиснутого первого номера специальной газеты, издания Поволжского областного комитета Партии социалистов-революционеров; а также револьверы, бомбы, печати этого комитета, переписка и конспиративные адреса по Поволжью — словом, вся канцелярия и склад этого комитета. Почти у всех арестованных нашлись документы, устанавливающие их связь с комитетом. В Саратове я не упустил никого из наблюдавшихся по указанной мной группе. Когда, после произведённой ликвидации, ко мне с докладами стали стекаться чины моего отделения, я понял, с каким огромным для меня успехом мне пришлось её завершить.

Немедленно я сообщил телеграммой директору Департамента полиции о результатах произведённой ликвидации и одновременно, телеграммой же, уведомил о том же начальника районного охранного отделения в Самаре для того, чтобы, согласно ранее выработанному плану, произвести общую ликвидацию активных эсеров в Поволжье.

Всю арестованную группу в Саратове я передал в местное губернское жандармское управление для производства формального, в порядке 1035-й статьи Устава уголовного судопроизводства, дознания.

Итак, чтобы на шахматной доске моего состязания с эсеровскими подпольщиками сделать шах и мат, мне пришлось пожертвовать некоторыми фигурами. Это были: Кочеткова и… «Николаев». Моя агентура сохранилась неразоблачённой, и всю ответственность за неприятные для них последствия арестованные мной эсеры свалили на Азефа.

Партия социалистов-революционеров, с её пресловутой конспирацией, с её Боевой организацией, в которой перемешались струи крови жертв террора и террористов, с её лозунгами, с её Савинковыми, «конями-бледными»[138], бурцевыми, провалилась надолго, и так провалилась, что уже не смогла подняться до самых бесноватых времён Керенского, когда не только она, а вся русская интеллигентщина попыталась

задрапироваться в изношенные партией рваные хламиды и снова была побита. На этот раз — русским бессмысленным и беспощадным бунтом.

Открытие роли Азефа повлекло за собой, как известно, перемену в составе высших чинов нашего министерства. В числе других ушли (или их ушли) директор Департамента полиции М.И. Трусевич и начальник Петербургского охранного отделения полковник Герасимов[139].

Уход Трусевича оказался для Департамента полиции печальным фактом. Сначала его должность не замещалась. Роль директора стал играть вице-директор Нил Петрович Зуев. Он пробыл на этом посту сравнительно долгое время, под конец будучи утверждён в этой должности для того, чтобы так же бесславно и незаметно уйти в небытие. Зуев был типичным петербургским чиновником-бюрократом, искушённым во всяких сплетнях, интригах и пересудах. Его знали все, и он знал всех и всё, кроме одного — именно того, что было его прямым делом, т. е. заведования и руководства политическим розыском. Он не любил этого дела. При нём машина начала хромать, а другие, пришедшие ему на смену директора или менялись как перчатки, или смотрели на этот пост как на неизбежную ступень в их дальнейшей карьере.

Начались по нашему ведомству удивительные назначения. Так, например, на должность начальника Петербургского охранного отделения неожиданно, вслед за уходом полковника Герасимова, был назначен начальник Ростовского-на-Дону охранного отделения подполковник Карпов, человек ничем себя не проявивший, кроме того, что он был казаком, а казаки в Отдельном корпусе жандармов одно время стали продвигаться, опережая других.

Злые языки в Корпусе жандармов шептали, что, дескать, сам Герасимов нарочно подсказал кандидатуру подполковника Карпова, чтобы воочию смогли убедиться в разнице руководства политическим розыском. Конечно, разница была преогромная, и сравнивать Герасимова с Карповым было невозможно.

Герасимов, как ни ругали его и до и после провала Азефа, был человек прежде всего умный, быстро усвоивший суть и приёмы политического розыска, человек волевой и, как никто, умевший влиять на собеседника, будь он министром или секретным сотрудником, включая самого Азефа.

Когда в боевое время 1905–1906 годов сыпались, как из рога изобилия, убийства, террористические акты и политические грабежи, то, как известно, ареной этих действий был Петербург. Многие среди нас, жандармов, недоумевали: как же это, несмотря

на все происшествия, Герасимов остаётся на своём посту? Герасимов действительно оставался на своём посту не то благодаря манере разговаривать с высшими представителями власти, не то, как я думаю сам, умению не теряться и знанию людской психологии. Это был один из самых выдающихся офицеров Отдельного корпуса жандармов, и опять-таки заслугой М.И. Трусевича было выдвинуть его со сравнительно скромной должности начальника Харьковского охранного отделения на ответственный пост в Петербурге.

Знать всё, во всех подробностях, что затевалось, подготовлялось и осуществлялось в Петербурге в 1905–1906 годах, было, попросту говоря, невозможно. Конечно, Герасимов знал многое, но он не мог знать всего, даже при наличии у него Азефа.

Другой, менее способный, чем Герасимов, начальник Петербургского охранного отделения не только знал бы менее, чем Герасимов, но, главное, не смог бы, вероятно, сделать то, что было проделано Герасимовым. Такого рода убеждение создалось, по-видимому, у начальства того времени, что и удерживало Герасимова на его многотрудном посту.

Мой читатель обратил, надеюсь, внимание на те (кажущиеся на первый взгляд несколько странными) приёмы, которые я применял в качестве начальника Саратовского охранного отделения. Разве не кажется странным, что я советую настойчиво своему секретному сотруднику не разузнавать всего самому из того, что делалось членами Поволжского областного комитета эсеров. А ведь всё это должно было нас интересовать! Но я, чтобы уберечь ценного и осведомлённого сотрудника, как бы отстраняю его сознательно с поля деятельности и сам затемняю некоторые очень важные факты. Разве не следовало бы мне предложить «Николаеву» подружиться с Борисом Бартольдом и тем пролить больше света на боевую сторону деятельности комитета? Казалось бы, следовало. Но я рассуждаю иначе: «Николаев» в данное время находится в кругу Левченко и Кочетковой; у него партийные знания общего характера, не имеющие прямой связи с Бартольдом; поэтому, как это ни заманчиво, но из опасения навлечь подозрения на «Николаева», его нельзя связывать прямо и непосредственно с Бартольдом. И вот сознательно я увожу сотрудника в сторону, чтобы сохранить его вне подозрения. Один сотрудник не может охватить всё и вся.

Вот где лежит ответ на столь часто задаваемый вопрос об Азефе: как же это так, что Азеф да вдруг не знал того или другого? Совершенно естественно, что его начальнику приходилось во имя сохранения от провала того же Азефа,

временами отводить его от непосредственного или слишком близкого участия в той или иной подпольной группе. Его приходилось переводить из одной группы в другую, и Азеф действительно мог не знать подробностей затеваемых террористических актов.

Читатель, пожалуй, возразит мне следующими соображениями: выходило так, что, как только Азеф отходил от Боевой организации, подготовлявшиеся ею покушения могли удаваться; значит, его могли заподозрить его же партийные товарищи на основании только этого соображения. Да, конечно могли, да и заподозревали. Ряд таких заподозреваний в конце концов и оказался для него роковым.

Насколько трудно в деле политического розыска соблюдать все, так сказать, конституционные гарантии и работать «в перчатках», покажет читателю любопытный случай из моей практики, который я приведу тут же.

В конце 1908 года — дело, помню, было глубокой зимой — я был вызван на свидание с «Николаевым». Волнуясь, он рассказал, что только что побывал у Левченко, поручившего ему выдать из партийного склада оружия (т. е. из двух револьверов, фактически находившихся у меня на руках) один браунинг, заряженный на всю обойму, какому-то приехавшему в Саратов из Аткарского уезда члену местной, эсеровской же, организации, постановившей убить аткарского исправника. Мы оба задумались. Как нам следует поступить, чтобы и овцы были целы, и волки сыты? Не выдать револьвера при этих условиях нельзя, но как сделать так, чтобы не допустить затеваемого террористического акта и не провалить сотрудника? О выдаче револьвера на руки приезжающему могли знать только он сам, Левченко и «Николаев». Арестовать приезжего с револьвером в Саратове — это значит навлечь невольно подозрение на «Николаева». «Николаев» понимал это не хуже меня и с беспокойством ожидал моих решений. Он прекрасно знал, что я не могу допустить, чтобы совершился террористический акт.

Очевидно, надо было придумывать какой-то исход, который не повредил бы «Николаеву» и вместе с тем разрушил бы подготовляемые планы. Много мы передумали разных возможностей, и наконец я избрал, так сказать, «уголовный» путь. План, в общем, заключался в следующем: прежде всего «Николаев» должен был под разными предлогами задержать приезжего в Саратове, по крайней мере на один день, и дать этим возможность показать его моему наружному наблюдению, а я в то же время назначил в это наблюдение за ним четырёх моих наиболее мускулистых филеров. Приезжий, оказавшийся средних

лет не то крестьянином, не то мещанином, был одет недурно для своего класса, в пальто и накинутую поверх него просторную меховую шубу. Было тогда очень холодно и, очевидно, его снабдили шубой для поездки по деревенским снегам и морозам. Мои филеры должны были, изображая местных жуликов, напасть в пустынном месте на приезжего, раздеть его, отобрать шубу и старательно обыскать, стремясь к захвату браунинга, но прежде всего — бумажника. В бумажнике у него, как я знал от «Николаева», должно было находиться что-то около двухсот рублей партийных денег, переданных ему «Николаевым» на расход по выполнению террористического акта и полученных от Левченко.

Я знал, что приезжий неизбежно должен был поздно вечером, отчасти из конспирации, отчасти из-за обдуманных мною мер, пройти пешком длинную и пустынную улицу, тянувшуюся от центра города до вокзала. Поезд отходил ночью, и на нём должен был уехать приезжий в свой Аткарский уезд. Отобравши филеров, я вкратце объяснил, чего я от них требую. Надо было не только целый день не упускать из виду наблюдаемого, но найти удобное место и момент, чтобы где-нибудь на пустыре подойти к нему вплотную, напасть на него, снять с него шубу, найти бумажник, а кстати и браунинг, хорошенько вздуть ограбленного и отпустить его бежать в сторону вокзала. При этом надо было ни в коем случае не попасться в руки случайно могущего очутиться поблизости городового. Впрочем, последнего я не очень опасался: городовые сами не любили этого района.

За удачное выполнение предприятия я обещал моим филерам дать каждому по 25 рублей и позволил разыграть между ними в лотерею отобранную шубу. Конечно, я объяснил им, в чём дело, и филеры понимали, что я прибегаю к этому неконституционному трюку по необходимости.

К двенадцати часам ночи ко мне в кабинет явилась моя четвёрка — с шубой, с бумажником, в котором лежали двести рублей, и с браунингом, с тем самым браунингом, который ещё недавно числился в «складе оружия» саратовской организации эсеров, а теперь перешёл в склад оружия Саратовского охранного отделения.

В итоге этого оказалось следующее: «склад оружия» саратовской организации партии эсеров уменьшился на один револьвер и в нём оставался ещё только один браунинг; партийная касса пострадала на двести рублей, отобранные от приезжего. Я разделил их так: сто рублей дал в награду «Николаеву» и сто рублей разделил поровну между филерами. Шубу получил один из них, вытянувший счастливый номер. Но

этого мало: другая сторона этого «дела без перчаток» оказалась во много раз лучше для розыска. Пострадавший, после встрепки, без шубы, денег и револьвера, с трудом добрался до своего места жительства, а когда поведал членам своей организации обо всём приключившемся, ему немедленно высказали недоверие и исключили из партийной организации. Об этом постановлении вскоре известили Левченко, а следовательно, и меня, к моему полному удовольствию.

Так удачно я ликвидировал, без шума и треска, одно из затеянных тогда террористических выступлений, и никто — ни сам объект этого покушения, аткарский исправник, ни моё начальство — Департамент полиции — не узнал, как я провёл всю эту операцию. Не мог же я в официальной бумаге излагать «неконституционные» приёмы! Некоторое время спустя я рассказал об этом случае в интимной беседе саратовскому губернатору и начальнику Саратовского губернского жандармского управления. Посмеялись.

Как я уже отмечал, с разгромом так называемого Поволжского областного комитета эсеров и провалом Азефа революционное подполье стало разваливаться. Активность его утихала не по неделям, а по дням. Конечно, это сказалось в Саратове, и в этом городе даже более, чем в каком-либо ином. Понятно почему. Все местные активисты были арестованы, остальные испуганно затаились и стремительно заметали малейшие следы своих партийных сношений. Провал Азефа вызвал такую потерю веры в партию и её лидеров, что возродить что-либо снова было почти невозможно.

Что же касается местных социал-демократов, они к описываемому времени были основательно потрёпаны непрерывными и меткими ликвидациями. Для налаживания новых предприятий или подпольных организаций у них не хватало ни лидеров, ни денег, ни связей. Может быть, также не было уже и прежней настойчивости.

Не забудьте, что период с 1909 года по самую революцию 1917 года был самым спокойным в смысле проявления деятельности подпольных организаций в России. Революция 1917 года ни в какой мере не явилась результатом наличия революционно организованного подполья.

Итак, в начале 1909 года я почувствовал значительное облегчение в работе. Можно было более спокойно заниматься её «трафаретной» стороной и приводить в порядок массу запущенных отчётностей по розыскным делам.

В связи с вопросом о провокации я расскажу ещё один забавный случай того же периода, т. е. 1909 года. Разные бывают

провокации. Бывают злостные, бывают и наивные — как следствие глупости или полного непонимания дела розыска. А так как делами политического розыска в императорской России ведали не одни только талантливые или хотя бы способные лица, а зачастую порядочные младенцы в жандармских мундирах, то происходили случаи невольных или вольных, преднамеренных провокаций, а иногда провокаций, не злостно задуманных.

Надо сказать, что примерно с 1907–1908 годов Департамент полиции, в целях оживления политического розыска и в стремлении поднять его на большую высоту, стал нажимать на так называемых железнодорожных жандармских офицеров. Я уже отмечал, что железнодорожные жандармские офицеры составили в нашей жандармской среде как бы привилегированную группу, поддерживаемую штабом Отдельного корпуса жандармов, в котором все старшие чины набирались, по неписаному правилу, из той же железнодорожной среды. К политическому розыску железнодорожные жандармы относились чуть ли не явно с оттенком пренебрежения. Дескать, это дело грязноватое, а у нас работа чистая! Работы этой, по правде сказать, было не так уж и много, особенно по тихим углам необъятной матушки-Руси, и падала она, эта работа, главным образом на плечи жандармских унтер-офицеров.

Нажим Департамента полиции заключался в том, что от железнодорожных жандармских офицеров было потребовано осуществлять наблюдение в так называемой «полосе отчуждения». Это требование включало необходимость завести секретную агентуру среди железнодорожных служащих, чтобы иметь полное освещение всего, что задумывается, проводится в жизнь и осуществляется полулегальными и нелегальными организациями среди железнодорожных служащих, и по этим делам завести те формы отчётности, которые уже были введены в губернских жандармских управлениях и в охранных отделениях.

Провести в жизнь эту столь простую, естественно необходимую меру удалось, вероятно, потому, что в один из более светлых периодов Министерства внутренних дел один из товарищей министра был в то же время и командиром Отдельного корпуса жандармов и заведовал делами полиции[140]. Таким образом, Департаменту полиции удалось переключить временно на свою сторону и штаб Отдельного корпуса жандармов.

Для железнодорожных жандармских офицеров настали неприятные времена. Департамент полиции засыпал их циркулярами, запросами, требовал работы и угрожал, что только при выполнении означенных требований начальники

жандармских железнодорожных отделений могут рассчитывать на дальнейшее повышение по службе. Если принять во внимание, что значительное число начальников отделений при повышении по службе попадало на должность начальника губернского жандармского управления, означенные требования Департамента полиции, помимо общих соображений, были давно ожидаемой и совершенно естественной мерой. Тем не менее эта мера была встречена в железнодорожной жандармской среде с плохо скрытым неудовольствием. Надо было приниматься за дело. Большинство этого не хотело, а как приняться — не знали все. Те, кто был потолковее да посообразительнее, обратились в местные губернские жандармские управления или даже в охранные отделения. Им оказали содействие. Кое-где помогли практическими советами, кое-где снабдили и агентурой, показали, как вести отчётность, и пр.

Были, однако, и другого склада начальники отделений. Некоторые из них решили себя показать. Они сами стали вести политический розыск и по неопытности или ловились на ловко состряпанные провокации со стороны разных недобросовестных осведомителей, или даже сами, иногда не ведая, что творят, разводили провокации.

На саратовском вокзале Рязано-Уральской железной дороги уже несколько лет каждый поезд дальнего следования встречала видная, бравая фигура жандармского ротмистра, а затем подполковника С.И. Балабанова, с которым я познакомился на проводах моего предшественника в Саратове, ротмистра Фёдорова.

Балабанов относился к деятелям политического розыска (особенно к «охранникам») с подчёркнутой холодностью и требовал соблюдения формальностей при служебных сношениях. Если чины моего отделения обращались к нему или подчинённым ему унтер-офицерам за содействием, это обращение должно было быть в виде написанной мной официальной бумаги, в противном случае он старался отделаться формальной стороной дела. Утеря наблюдаемого, невозможность арестовать подозреваемое лицо нисколько его не трогали

Каков поп, таков и приход — поэтому и все подчинённые Балабанову жандармские унтер-офицеры холодно относились к просьбам чинов моего отделения. По существу, это была молчаливая если не война, то, во всяком случае, недружелюбная атмосфера. Впрочем, с самим С.И. Балабановым у меня установились неплохие отношения, поддерживаемые посещениями друг друга на дому. Этот живописный жандармский офицер знал всё саратовское общество и, будучи записным и

хорошим винтером и вполне воспитанным и корректным человеком, был вхож всюду. Он имел репутацию отъявленного донжуана. В общем же, не потребуй от него Департамент полиции исполнения прямого служебного долга, он, Балабанов, мог считаться отличным жандармским офицером.

Так вот, как-то днём я был вызван в губернское жандармское управление к начальнику его, полковнику Семигановскому. Мне сказали, что у него в кабинете меня ожидают начальник местного железнодорожного жандармского управления, генерал-майор Николенко, и его подчинённый, начальник Саратовского отделения этого же управления, ротмистр Балабанов.

Минут через двадцать я входил в кабинет Семигановского и по несколько торжественным и самодовольным лицам обоих посетителей догадался, что меня ожидает какой-то сюрприз. Семигановский заявил мне, что у ротмистра Балабанова имеются чрезвычайно важные сведения о подпольной типографии в Саратове. Балабанов доложил об этом генералу Николенко, и они оба пожаловали в губернское жандармское управление для соответственного заявления.

У меня в голове немедленно промелькнула мысль, что ротмистр Балабанов сейчас начнёт излагать историю организуемой в то время среди группы железнодорожников, на окраине Саратова, подпольной типографии. История эта была мне известна в подробностях и заключалась в том, что некий железнодорожник, живущий в собственном небольшом домике в том районе города, где ютились железнодорожные служащие, сошёлся с членами разбитой мной предыдущими арестами подпольной эсдековской организации. У них зашёл разговор о подпольной типографии, кончившийся тем, что железнодорожник предложил устроить типографию у него в доме, уверяя, что там совершенно безопасно в смысле полицейского наблюдения. Кроме того, этот самозваный революционер обещал даже принять на себя часть расходов, необходимых для установки типографии. Первые сведения об этой несколько необычной затее я получил ещё в конце предыдущего года от одного из своих секретных сотрудников, который и продолжал, по моему указанию, держаться в курсе дела.

История типографии (или, вернее, планов её создания) была для меня несколько непонятна. Принимая во внимание общее расстройство местного большевистского подполья, отсутствие лидеров и пр., не было, казалось, подходящих условий для устройства такой типографии. Ещё большее изумление вызывала у меня деятельность самого хозяина дома, где предполагалось поставить типографию. Он стал оклеивать новыми обоями

комнату, предназначенную для типографии, делал какую-то деревянную обшивку стен и т. п.

Конечно, я своевременно сообщил все получаемые от секретной агентуры данные в Департамент с добавлением, что я веду за этим делом соответствующее наблюдение.

Я так был уверен в правильности моей догадки, что, не давая Балабанову возможности объявить о несуществующей типографии, перебил его после первого же слова и заявил: «Скажите, пожалуйста, ротмистр, не намерены ли вы сообщить сейчас о подпольной типографии, организуемой ныне в доме номер такой-то, на такой-то улице? Так имейте в виду, что я имею все сведения об этой затее с самого начала. Вот уже около трёх месяцев, как я доношу в Департамент все подробности об этом деле!»

Надо было видеть, какой эффект произвело моё заявление на присутствующих! Оба посетителя совсем смешались. Ротмистр Балабанов принужден был сказать, что именно об этой типографии он желал сделать заявление. Тогда я, в свою очередь, стал спрашивать то, когда именно он получил сведения о типографии, и почему он, вразрез с требованиями Департамента полиции, не сообщил мне своевременно об этой затее, и почему и теперь он нашёл нужным сообщить начальнику губернского жандармского управления, хотя и в моём присутствии, а не обратился непосредственно ко мне, так как эта подпольная типография ставится в районе города и в отношении розыска находится в моём ведении. Получив на мои вопросы невразумительный ответ, я продолжал атаку и заявил прямо, что ротмистр Балабанов проявил себя в этом деле очень странно; если бы неденежная поддержка его же секретному сотруднику, в доме которого устраивалась подпольная типография, то вообще никакой «типографии» у местных железнодорожных эсдеков не могло бы быть, а если бы я в качестве начальника Саратовского охранного отделения стал открывать такие типографии, то не прошло бы нескольких недель, как меня убрали бы с должности.

Я был возмущён главным образом потому, что в данном случае лишний раз открывалось затаённое недоброжелательство, которое всегда своим острием было направлено против «охранников» и исходило, к сожалению, от своих же жандармских офицеров.

Порекомендовав ротмистру Балабанову прекратить дальнейшее налаживание функционирования «подпольной» типографии, я не скрыл, что вынужден буду поставить Департамент в известность обо всём происшедшем, что я и сделал, приобретя в лице Балабанова и генерала Николенко

упорных врагов.

Как это ни странно, но и мой, казалось бы, приятель и сослуживец, начальник губернского жандармского управления, полковник Семигановский, был скорее огорчён моими заявлениями. Объяснялось это, вероятно, тем, что он ещё до службы со мной в качестве офицера резерва при Петербургском губернском жандармском управлении был помощником начальника Саратовского губернского жандармского управления и с генералом Николенко и ротмистром Балабановьм был связан узами давнего знакомства.

Я рассказал эту удивительную историю, вовсе не желая сказать, что жандармские офицеры занимались провокацией. Этот случай характеризует только неопытность железнодорожного офицера и, конечно, весьма непохвальное желание досадить и «утереть нос» своему же собрату, жандармскому офицеру, но охраннику. Конечно, если бы я обладал менее исправной агентурой, последствия начатого ротмистром Балабановым самостоятельного политического розыска были бы более плачевными.

Я не знаю, какие именно «служебные записки» получили генерал Николенко и ротмистр Балабанов от Департамента полиции в ответ на мой рапорт, но по их лицам и по сухости обращения со мной я понял, что они их получили. Впрочем, на дальнейшей их службе эта история, по-видимому, не отразилась. Очевидно, штаб Отдельного корпуса жандармов и в этом случае порадел своим железнодорожникам!

Но вернёмся к назначениям, связанным с делом Азефа, и в частности, к назначению Карпова на место Герасимова. В это время, может быть потому, что заведующим Особым отделом Департамента был жандармский полковник Еремин (в прошлом казак), казаки пошли в нашем жандармском ведомстве в гору. Возможно, что назначение полковника Карпова на ответственный пост по политическому розыску в Петербурге именно и было подсказано Ереминым.

Это был тот самый Карпов, который столь трагически, но и столь же глупо погиб при взрыве бомбы на своей же конспиративной квартире в 1909-м или в начале 1910 года. Бомба эта была подложена и взорвана секретным сотрудником, состоявшим в его распоряжении, Петровым (он же Воскресенский), т. е. одним из тех террористов-эсеров, которых я ликвидировал в Саратове 1 января 1909 года. Чтобы рассказать, каким образом арестованный мной Петров-Воскресенский стал секретным сотрудником подполковника Карпова, я должен опять вернуться к делу ликвидации Поволжского областного комитета

эсеров.

Я тогда предоставил Саратовскому губернскому жандармскому управлению вести начатое им формально, в порядке 1035-й статьи Устава уголовного судопроизводства, дознание, интересуясь его ходом лишь постольку, поскольку я мог получить из материалов дознания добавочные, ускользнувшие от меня подробности.

Ввиду обнаруженного уже провала Азефа я просил начальника управления при допросах арестованных косвенным образом утверждать их в убеждении, что Азеф является виновником их ареста.

Примерно в марте 1909 года Семигановский зашёл ко мне и стал мне рассказывать, что ему удалось после долгих разговоров склонить одного из арестованных мною лидеров, а именно нелегально приехавшего из Берлина «хромого» Петрова, к откровенному рассказу о всей его деятельности в партии и, возможно, в будущем к «сотрудничеству».

Полковник был взбудоражен своим успехом и сообщил мне, что он снёсся на этот предмет конфиденциальным письмом с Департаментом и ждёт дальнейших указаний. Казалось, что провал Азефа и утеря таким образом исключительной по осведомлённости агентуры заставит Департамент полиции с большим интересом отнестись к возможности получения нового источника информации, близкого к деятелям пресловутой Боевой организации. Так и случилось. Не прошло и недели, как полковник Семигановский вызвал меня в управление и сказал, что ответ от директора Департамента полиции получен, что в общем ответ благоприятен планам, им представленным, но что директор предлагает мне, ротмистру Мартынову, переговорить с Петровым и о моём впечатлении доложить рапортом.

В кабинет начальника управления вошёл, прихрамывая, блондин лет тридцати, довольно приятной наружности, обросший в тюрьме редковатой бородёнкой. Семигановский, поздоровавшись с вошедшим арестантом дружески, познакомил его со мной, назвав мою фамилию и должность. Петров устремил на меня испытующий и любопытствующий взгляд: перед ним находился виновник его ареста. Хорошо помня необходимость во что бы то ни стало укрыть от подозрений мою агентуру, мне предстояло изображать перед Петровым представителя местного политического розыска, которому удалось арестовать видных гастролёров-террористов только благодаря доставленной из Петербурга информации Азефа. Я так и поступил

Прежде всего я дал ему понять, что целью моего разговора с ним является желание моё, как руководителя местного

политического розыска, узнать, не остались ли на свободе после ликвидации 1 января какие-нибудь более или менее видные лидеры местного эсеровского подполья, и что я надеюсь, ввиду его согласия в будущем с нами сотрудничать, на совершенно откровенные с его стороны объяснения. Я не преминул, якобы тоже откровенно, сознаться в том, что этим объяснением он много поможет мне в несколько затруднительном положении, в котором я очутился, ибо местный розыск оказался в данном случае не на высоте, и если бы не помощь со стороны Петербурга, то мы проморгали бы всю затею приезжих и самого Петрова.

Петров стал рассказывать, что он разочарован действиями организаторов партии после предательства Азефа и что после долгого колебания и долгих размышлений он пришёл к выводу, что лучше жить на свободе, чем кормить вшей по тюрьмам, что ему, видимо, предстоит, если он не столкуется с нами.

Прежде всего он объяснил, что он несколько лет тому назад в Казани участвовал в покушении на жизнь командующего войсками Казанского военного округа, что его фамилия Воскресенский и что он при этом покушении был ранен осколком разорвавшейся бомбы в колено; затем ему удалось бежать за границу, где он лечился в госпитале и в санатории и где ему изготовили прекрасный протез, благодаря которому он сравнительно легко ходит, хотя и прихрамывая. Петров показал нам свой протез на ноге. В дальнейшем он перешёл к объяснению, как заграничные лидеры Боевой организации ввели его в число членов, наметив представителем её в Поволжском областном комитете, а затем, по очереди, переправили в Россию его, Минора, Бартольда и других. Он перешёл к рассказу, как приезжие в Саратов стали налаживать подпольные связи, намечать по Поволжью явки, ставить подпольную типографию для издания поволжской областной газеты партии и организовывать «боевое дело».

Всё это я знал от моей секретной агентуры. Рассказ Петрова ни в чём не уклонялся от моих сведений, и я только наружно с напряжённым вниманием слушал его. Как бы торопясь перейти к главному и наиболее интересному для меня, я прервал Петрова и попросил назвать имена местных саратовских эсеров. Он назвал давно и хорошо знакомых мне Левченко, Кочеткову и моего сотрудника «Николаева». Назвал ещё два или три имени менее крупных в местном подполье лиц. Я выразил на своём лице крайнее изумление, услышав эти имена, и сказал Петрову, что Кочеткову я не знаю вовсе, а про других полагал, что они давно выдохлись и что активной работы я за ними не замечал. «Теперь вы заметите!» — сказал Петров.

Этой именно откровенностью относительно роли и значения в местном эсеровском подполье Левченко, «Николаева» и Кочетковой Петров склонил меня к мысли о возможности сотрудничества с ним в дальнейшем.

Мы перешли к обсуждению практических возможностей сотрудничества, а главное, к рассуждениям, при каких условиях возможно ему выйти на волю. Дружеская беседа затянулась за полночь!

На другой день я засел писать доверительное письмо директору Департамента, в котором изложил беседу с Петровым, впечатление от этого разговора и некоторые соображения насчёт руководства Петровым в том случае, если сотрудничество с ним окажется возможным. Я писал, что Петров не скрыл ничего существенного относительно подпольной деятельности в Саратове, назвал имена наиболее законспирированных лиц, полагая при этом, что они нам неизвестны и что таким образом он выдаёт их нам; что впечатление моё складывается в пользу сотрудничества с ним, но при непременном условии — оставить его под каким-нибудь предлогом в одном из городов Поволжья, где я мог бы в течение нескольких месяцев проверить его своей агентурой и только после этого передать его другому розыскному органу в одной из столиц.

Это моё весьма существенное условие для проверки Петрова не было принято во внимание. По-видимому, в Петербурге спешили обзавестись как можно скорее новой, осведомлённой и близкой к планам Боевой организации агентурой, а мою осторожность объясняли, вероятно, желанием удержать Петрова в своих руках. Вскоре от полковника Семигановского я узнал, что Петрова под конвоем, но конспиративно отвезли в Петербург (формально — якобы для предъявления его разным свидетелям по прежним, числившимся за ним делам, а неформально — для переговоров с лицами, руководившими розыском в Департаменте полиции) и что в Петербурге он виделся с генералом Герасимовым. Через некоторое время я узнал, что Петров обнаружил признаки психического расстройства и помещён в соответствующее отделение тюремной больницы. В это время Семигановский, не скрывая от меня, что Петров симулирует болезнь, просил дать ему для передачи Петрову адрес конспиративной квартиры, куда он мог бы явиться, если бы удался побег. Я оборудовал для этого квартиру, на каковую действительно в один прекрасный день и явился Петров и вызвал меня для разговора. В разговоре моём с Петровым я с изумлением узнал о незаурядной его ловкости в симуляции сумасшествия и необыкновенно смелом прыжке из окна второго этажа, что при

его искусственной ноге было делом нелёгким. Я всячески уговаривал его остаться нелегально в Поволжье, снова наводя его на мысль о моей беспомощности в местном розыске и крайней желательности его помощи, но Петров заявил мне, что он, по уговору с представителем Департамента, должен немедленно ехать в Петербург.

Больше я его не видел, но он как-то летом того же года по условному со мной адресу прислал мне привет из Финляндии. В мае того же года мне пришлось быть в Петербурге. Я зашёл в столичное охранное отделение, столь хорошо мне знакомое за время моей службы в Петербурге. Зашёл прежде всего представиться, познакомиться и переговорить с новым начальником, полковником Карповым, которого я до того не знал. Я мог, конечно, ожидать, что Карпов, имевший в то время в своём распоряжении упомянутого мной Петрова, захочет расспросить меня о нём и о подробностях, сопровождавших его пребывание в саратовском подполье, об его аресте и моих разговорах с ним. Но полковник Карпов едва ли был нормальным человеком. Он весьма сухо и высокомерно принял меня и отказался говорить со мной о чём-либо, касавшемся Петрова. Впечатление он на меня произвёл странное. Он топорщился, силясь подчеркнуть своё значение среди руководителей политического розыска. Я быстро распростился с ним и в беседах с офицерами, состоявшими на службе в этом отделении и хорошо мне знакомыми, заметил растерянность и полное непонимание причин, поведших к тому, что они приобрели такого странного начальника. Рассказывали, например, что Карпов принимал подчинённых для доклада в совершенно голом виде.

Обстановка самого убийства Карпова тоже свидетельствует об его оригинальничании. Она противоречила элементарнейшим правилам конспирации и предусмотрительности. Карпов для свиданий с Петровым нанял специальную конспиративную квартиру, но почему-то, в обход всяких принципов, поручил тому же Петрову устройство электрического оборудования в ней и проводку звонков. Петров имел возможность посещать квартиру когда ему вздумается и добился того, что в этой квартире не было ответственного хозяина. Он устроил сеть электрических проводов, конечными пунктами которых были, с одной стороны, взрывчатый снаряд, пристроенный под сиденьем дивана, на котором обычно по приходе на квартиру устраивался Карпов, а с другой стороны — кнопка с наружной стороны двери в квартиру. Устроив всё это, Петров в одно из свиданий с Карповым, видя, что последний удобно уселся на диван, вдруг обнаружил отсутствие папирос и под этим предлогом быстро вышел из квартиры, нажал

злополучную кнопку и взорвал незадачливого полковника. Петров после взрыва бросился бежать, но был задержан находившимся неподалёку городовым и был затем казнён.

Известно, что Петров после переговоров в Петербурге с высшими руководителями розыска был переправлен за границу, где, сойдясь снова с заграничными эсеровскими лидерами, выдал им всю сложную комбинацию с предложением им правительству своих услуг. Замышлялось, конечно, убийство не только Карпова, но и более высоких сановников.

Ликвидация Поволжского областного комитета эсеров показала, что не всё обстоит благополучно в Поволжье с постановкой политического розыска. Самара никогда не имела доминирующего значения в Поволжье, и первое районное охранное отделение было там организовано в конце 1907 года только потому, что тогда начальником Самарского губернского жандармского управления был полковник Бобров, считавшийся хорошим розыскным офицером и получивший до того розыскной стаж на службе в Саратове. После убийства Боброва на вакантную должность начальника Самарского губернского жандармского управления и одновременно начальника Поволжского районного охранного отделения попал никак не подходивший к этой должности полковник Критский, которого вывозили неплохие помощники.

Подлинного руководства из Самары не ощущалось. Вследствие этого, несмотря на ту помощь, которую я оказывал из Саратова, произведённые тогда в других губерниях нашего района ликвидации местных эсеровских групп дали неважные результаты.

По предложению Департамента полиции я представил объяснительную записку, в которой обсуждал причины, повлёкшие за собой неважные результаты розыска по городам Поволжья, и, между прочим, высказал мысль, что подлинным местом районного охранного отделения должен быть Саратов — столица Поволжья.

А.П. Мартынов (в центре) и офицеры Московского охранного отделения

П.П. Мартынов, брат А.П. Мартынова

Е.Н. Мартынова, жена А.П. Мартынова

С.В. Зубатов

Е.К. Климович

К.И. Глобачев

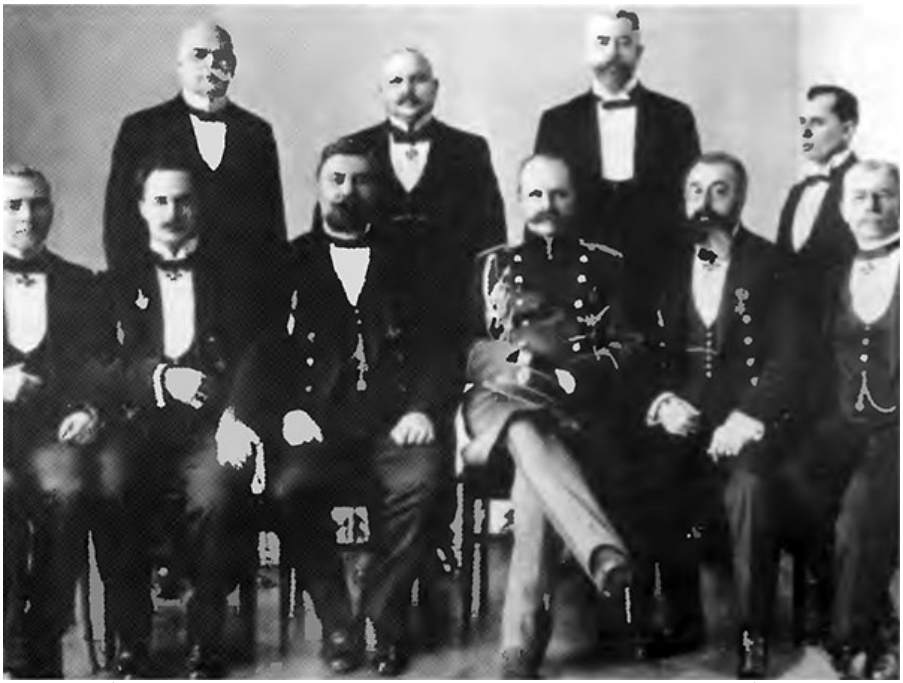
Е.П. Медников

В.К. Плеве

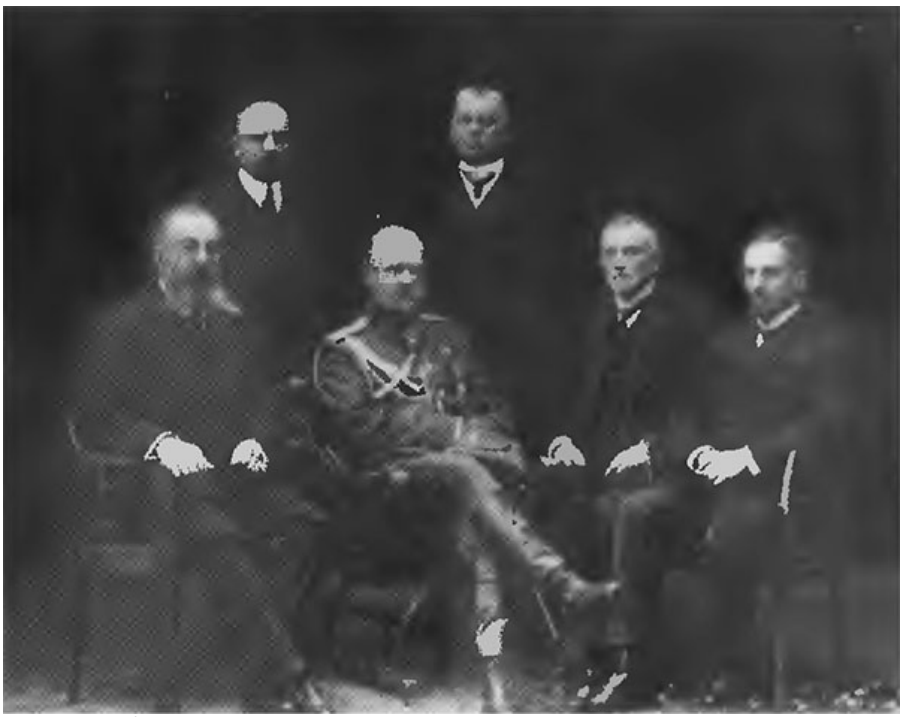
А.А. Лопухин

С.П. Белецкий

П.Г. Курлов



Руководители и чиновники Департамента полиции. Слева направо: сидят П.К. Лерхе, С.Е. Виссарионов, С.П. Белецкий, В.Ф. Джунковский, К.Д. Кафафов, С.А. Пятницкий; стоят делопроизводители. 1913 г.



Руководители Департамента полиции. Слева направо: стоят А.Т. Васильев, С.А. Пятницкий; сидят К.Д. Кафафов. В.Ф. Джунковский, П.К. Лерхе, В.А. Брюн де Сент-

Ипполит. 1915 г.

В.Ф. Джунковский (стоит) в конторе дирекции императорских театров

Участники совещания руководящего состава Департамента полиции с представителями политического и уголовного сыска на местах (в центре — В.Ф. Джунковский, справа от него — С.П. Белецкий). Июнь. 1913 г.

Дежурный офицер в приёмной товарища министра внутренних дел

Группа сотрудников Департамента полиции и Петербургского охранного отделения (в центре, с лентой на груди — А.В. Герасимов)

Канцелярия губернского жандармского управления

Жандармский офицер в форме

Канцелярия Кишинёвского сыскного отделения

Адъютантская комната штаба Корпуса жандармов

Р.В. Малиновский (в центре) среди рабочих-наборщиков Москвы

Провокаторъ Евгеній Филипповичъ Азефъ.

(Еврей.)

Партійныя клички: Иванъ Николаевичъ, Толстой, Валентинъ, Раскинъ, Виноградовъ.

Примѣты: Толстый, сутуловатый, выше средняго роста, волосы и усы [illegible] стая, коротко [illegible] прямые волосы, [illegible]

лобъ низкій, брови темныя, внутреннія концы [illegible] глаза каріе, [illegible] нать. Носъ большой приплюснутый, [illegible] стыя и выдающіяся, чувственныя, нижняя часть лица [illegible]

Бороду обычно бритъ, усы носитъ [illegible]

Листовка-извещение партии эсеров о сотрудничестве Е.Ф. Азефа с органами политического сыска

З.Ф. Жученко-Гернгросс

А.И. Лобов — секретный сотрудник Московского охранного отделения

Л.Д. Троцкий (фотография, приложенная к справке о его революционной деятельности, составленной в Департаменте полиции)

Принадлежности фабрики разрывных снарядов, обнаруженные на хуторе Карла Штальберга недалеко от Севастополя. 16 декабря 1907 г.

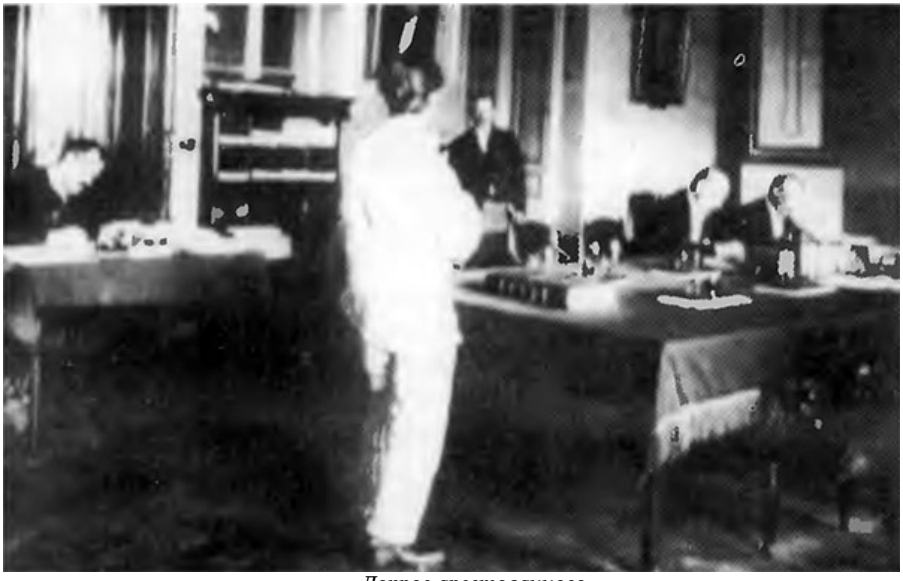
Вид помещения 7-го полицейского участка после взрыва 2 августа 1906 г.

Лаборатория анархистов-коммунистов по изготовлению бомб. Одесса, 1905 г.

Тайная лаборатория по производству бомб Южного военно-технического бюро. Одесса, 1906 г.

Участники обыска и ареста нелегальной типографии иркутской организации партии эсеров. 1909 г.

Стол, внутри которого хранились принадлежности для изготовления взрывных зарядов



Допрос арестованного

Группа филеров и руководителей служб наружного наблюдения Москвы и Петербурга (Е.П. Медников стоит слева)

Неожиданно для меня в Департаменте ухватились крепко за эту мысль, и Поволжское районное отделение со всеми служащими, документами и перепиской было переведено в Саратов и передано полковнику Семигановскому. Саратовское охранное отделение вошло в районное отделение целиком, с упразднением его самостоятельности. Я был переименован в помощника начальника районного охранного отделения, а ротмистр Филевский из Самары стал другим помощником, с возложением на него функций по руководству розыска в городе Саратове. Новое назначение наружно казалось повышением меня в розыскной службе, ибо моей обязанностью становилось руководство политическим розыском в Казанской, Самарской, Симбирской, Тамбовской, Саратовской и Астраханской губерниях. Но это «повышение» таило в себе некоторые неприятные для меня

особенности. Оно прежде всего вынуждало меня отказаться от прямого руководства розыском в самом городе Саратове. Это автоматически означало, что я должен передать всю свою агентуру ротмистру Филевскому, а самому засесть за кабинетным столом в районном отделении и направлять розыск, не имея в своём распоряжении мной добытой и мной организованной секретной агентуры. Кроме того, я понимал, насколько сложными станут мои служебные отношения с полковником Семигановским, хотя, несомненно, в специальном письме Департамента на его имя была высказана уверенность, что при новых взаимоотношениях мы оба сумеем сохранить наилучшие служебные отношения и что мне будет предоставлена полная свобода в руководстве политическим розыском в районе.

Нечто в этом роде высказал мне сам Семигановский. Однако же я передал ему свои опасения и заявил, что, прежде чем принять окончательное решение, останусь ли я на новой должности, я съезжу в Петербург и выясню сам в Департаменте, как именно там понимается моя роль в новой комбинации. Я добавил, что принять новую должность я соглашусь только при условии оставления в моём непосредственном ведении агентуры, освещающей деятельность партии эсеров. Вместе с тем я был согласен передать остальную агентуру. Семигановский не возражал, усиленно уговаривая меня остаться работать с ним.

Я поехал в Петербург, явился в Департамент, где наслышался много лестного о своей деятельности в Саратове. Начальство заверило меня, что фактически, согласно преподанным полковнику Семигановскому указаниям, я буду совершенно свободно руководить политическим розыском не только в районе, но и по городу Саратову. Директор и начальник Особого отдела объяснили мне, что они не могли назначить меня из-за моего малого офицерского чина, а что провести меня в подполковники не удалось из-за протеста со стороны штаба Отдельного корпуса жандармов. Им пришлось пойти на компромисс. Выходило, по их словам, что полковник Семигановский есть вывеска, а фактическим руководителем розыска в Поволжье являюсь я. Пришлось согласиться на эту удивительную и таившую в себе разные неожиданности комбинацию.

Будучи в Петербурге, я, конечно, должен был, как это полагалось, явиться в штаб Отдельного корпуса жандармов, и прежде всего в приёмную его командира, генерал-лейтенанта барона Таубе. Когда мы, чины охранных отделений, являлись в Департамент полиции, то обычно встречали там внимательное, а то и ласковое отношение. Не то было в штабе Отдельного корпуса жандармов. Являясь по очереди сначала к старшему адъютанту,

затем к начальнику штаба или его помощнику и, наконец, к командиру Корпуса, мы чувствовали себя чужими. Никто не интересовался ни нами, ни нашими делами.

Что касается меня, то я в этот раз впервые представлялся генералу Таубе, который лично меня не знал. Мне было отлично известно, что генерал не может питать ко мне добрых чувств, ибо считает, что его свойственник, полковник князь Ми[кела]дзе, из-за меня снят с должности начальника Саратовского губернского жандармского управления.

После некоторого ожидания в приёмной я был вызван в кабинет генерала. Вытянувшись по всем правилам, я отчеканил свою фамилию и должность. Предо мной стоял небольшого роста военный, с типичной внешностью русского немца. Он враждебно и зло глядел на меня и сразу, ни с того ни с сего, стал кричать: «Может быть, Департамент полиции и считает вас лучшим офицером в Корпусе, а я считаю вас худшим. Вы, может быть, думаете, что вас надо наградить, а я вам заявляю, что в Корпусе жандармов останется или генерал Таубе, или ротмистр Мартынов. Можете идти!» Несмотря на такой приём, я не потерял оптимизма относительно моей дальнейшей карьеры жандарма. Хотя Таубе и здорово засиделся на своём посту, но в конце концов ему пришлось осчастливить своей персоной донских казаков, атаманом коих он был назначен. В Корпусе жандармов остался я, ротмистр Мартынов.

В 1909 году снова возник вопрос о желательности объединения в одном лице функций командира Отдельного корпуса жандармов и товарища министра внутренних дел по заведованию полицией. Таким лицом был намечен генерал П.Г. Курлов. Вот что он пишет по поводу смешения генерала Таубе в своих воспоминаниях: *«…единственное затруднение заключалось в том, что было трудно найти какую-нибудь службу для начальника Корпуса жандармов, барона Таубе. Столыпин не любил откладывать раз задуманное дело и приказал мне прямо от него ехать к генералу Сухомлинову и попросить у него какого-нибудь места для барона Таубе в Военном ведомстве. Генерал Сухомлинов, выслушав меня, сказал, что не может исполнить просьбы министра, так как барон Таубе оставил службу в Военном министерстве и перечислился в администрацию с чином полковника. Поэтому ему, в крайнем случае, можно предложить бригаду, что, конечно, далеко не соответствует занимаемому им теперь посту. Я передал Столыпину ответ Сухомлинова, и он просил его лично по телефону как-нибудь устроить барона Таубе. В тот же день, вечером, меня позвали к телефону, и генерал Сухомлинов просил меня передать министру, что вследствие*

неожиданно изменившихся обстоятельств он в состоянии предоставить генералу Таубе соответствующее место. Именно в этот день атаман донских казаков получил новое назначение, и военный министр может испросить высочайшее соизволение на назначение на его место генерала Таубе. 26 марта я был назначен начальником Отдельного корпуса жандармов и переименован в генерал-майоры с оставлением шталмейстером…»[141]

Я возвратился в Саратов и принялся за прежнюю работу с несколько видоизменёнными отношениями с полковником Семигановским, который из сослуживца превращался в моего непосредственного начальника. Я стал налаживать организационную часть.

Политическое затишье и ослабление революционного подпольного движения в России можно датировать именно началом или серединой 1909 года. В Саратове же настала тишь и гладь. И так продолжалось все эти три года, когда я руководил политическим розыском в Поволжье. Для меня же лично настало время сравнительного отдыха.

Я занялся приведением в порядок отчётности по всему району. Об этом стоит поговорить.

Когда, примерно в 1908 году, Департамент полиции завёл во всех жандармских и охранных частях новую отчётность, основной реформой явилось то, что первоначально записанные начальником местного политического розыска сведения, поступившие от секретного сотрудника, немедленно должны были быть записаны или отпечатаны на пишущей машинке, на особой, так называемой «агентурной записке», с пометками, где именно и кем именно из жандармских чинов она составлена, когда и кто из секретных сотрудников сообщил эти сведения и к какой именно из революционных партий или организаций она относится.

Агентурная записка заключала в себе две основные части: в одной записывалось, возможно ближе к переданным секретным сотрудником данным, всё то, что было сообщено начальнику местного розыска, а в другой вписывались дополнительные замечания относительно сведений и тех мер, которые начальник данного розыскного учреждения намерен предпринять в дальнейшем.

Новый метод давал возможность проследить на ряде таких агентурных записок ценность секретного сотрудника и его положение в революционных кругах. С другой стороны, недостатком этой формы отчётности было то, что в ней накоплялся слишком сырой материал. В нём не было обобщений и часто не было корректива со стороны руководителя местного

розыска. Прибавьте к этому зачастую только краем уха слышанные сообщения, иногда совершенно вздорные или, что тоже бывало, выдуманные данные. В результате в Департаменте скоплялась масса или плохо проверенных, или вовсе ложных сведений. Однако эти сведения, часто в дальнейшем не исправленные, попадали и в регистрационные карточки, что иногда влекло за собою неудовлетворительные отзывы Департамента.

Я был сторонником взгляда, что если Департамент завёл, в целях децентрализации руководства местным розыском, районные охранные отделения, то в задачи этих отделений должно входить собирание от местных розыскных учреждений агентурных записок с сырым материалом. Я считал, что в районных отделениях эти записки должны быть проверены и только в форме окончательных сводок посылаемы в Департамент полиции. Это никогда начальством не было принято, и по-прежнему сырые агентурные записки закупоривали департаментские архивы.

Другая слабая сторона отчётности заключалась в том, что начальники местных политических розысков всеми способами уклонялись вписывать в соответствующую графу своё отношение к сообщённым сведениям и подлинную и ответственную критику заменяли бесцветными, ничего не говорящими фразами, вроде: «принято к сведению», «к разработке», «сообщено тому-то» и т. д.

Требуя от начальников губернских жандармских управлений в Поволжье такой критики, я всегда наталкивался с их стороны на непреодолимое сопротивление этому резонному требованию. Когда я в числе неотразимых доводов в пользу своего мнения указывал, что если начальник управления механически записывает слова секретного сотрудника и не вписывает тут же своего мотивированного мнения, то его работу может выполнять любой жандармский унтер-офицер, я немедленно слышал в ответ, что он, начальник управления, обязан, по смыслу распоряжения, записать возможно точно рассказ секретного сотрудника, а что для критики часто нужны данные, которыми он может в данное время и не располагать. К тому же, «начальство лучше знает». За этими казёнными доводами укрывались и равнодушие к порученному делу, и опасение ответственности за высказанное мнение, и многое, что вредило делу розыска.

Получив в своё ведение дело политического розыска в Поволжье, я, конечно, стал стремиться к тому, чтобы поставить его возможно лучше во всех тех губернских жандармских управлениях, которые в отношении этого розыска были мне подчинены. Я, конечно, понимал, будучи уже знаком с

начальниками этих управлений, что они сами являются главной помехой к тому, чтобы розыск шёл успешно. Я понимал, что девять десятых из них надо было немедленно удалить на покой, а остальную, незначительную часть учить и учить.

Поводов для удаления представлялось, собственно говоря, необозримое количество. Каждая моя поездка по поволжским губерниям приносила в результате много данных для немедленного удаления чуть ли не каждого из посещённых мной начальников управлений, и если удаление не состоялось, то только из-за рокового влияния на судьбы политического розыска в России и на состав чинов его со стороны штаба Отдельного корпуса жандармов.

Со времени перевода в Саратов Поволжского районного охранного отделения я оставил за собой непосредственное руководство той частью секретной агентуры, что освещала деятельность Партии социалистов-революционеров. Я постоянно подкреплял её новыми сотрудниками и, как упоминал ранее, имел даже свою агентуру среди тогдашней парижской эсеровской эмиграции, переданной мною затем, по распоряжению Департамента, в его ведение. Моё руководство розыском в Поволжье опиралось не только на отвлечённые данные и соображения, но всегда на живой, своевременный и точный материал, получаемый мной от осведомлённой секретной агентуры.

Таким образом, если, например, какой-нибудь ловкач из подведомственных мне начальников губернских жандармских управлений присылал мне (что он обязан был сделать) такую копию телеграммы, посланной им директору Департамента полиции: «Предупредите председателя Совета министров, что из Самары в Петербург для совершения террористического акта против него выехал рабочий такой-то», я срочно, телеграммой же, запрашивал этого начальника, от кого из его сотрудников поступили сведения, послужившие основанием к посылке телеграммы. Следовал телеграммой же ответ, из которого я часто убеждался, что сотрудник никчемный и что сведения им выдуманы. Принимая это во внимание, я, смело беря на себя ответственность, телеграфировал в Департамент, что сведения о покушении на председателя Совета министров не заслуживают доверия. Так оно и оказывалось. Когда я, в результате, запрашивал ловкача, стремившегося создать себе репутацию «осведомлённого», о причинах такой несерьёзной тревоги, то получал ответ, что «лучше всё-таки предупредить начальство, пусть примут меры!». Бороться с этим наивным ловкачеством было не так легко.

Были случаи, когда начальник управления начинал присылать мне агентурные записки, где сообщалось, что примерно в ноябре 1910 года Поволжский областной комитет эсеров в Саратове (такового тогда не существовало вовсе) прислал в местный комитет (какового тоже тогда быть не могло) такой-то шифр и такое-то предложение. Я отвечал кратко. «Передайте вашему сотруднику, сообщившему вам сведения о Поволжском областном комитете партии и другие данные, что всё является плодом его вымысла для придания себе значения в ваших глазах и получения большего вознаграждения; в случае повторения таких попыток вводить вас в заблуждение ему будет отказано в продолжении сотрудничества, а имя его будет внесено в специальный циркуляр о шантажистах!»

Такой и подобной перепиской полны были дела Поволжского районного охранного отделения, которым я руководил с 1909 по 1912 год. Нетрудно представить себе, какой «любовью» я стал пользоваться у начальников управлений!

Опишу и несколько моих инспекционных поездок по губерниям Поволжья.

Насколько я помню, событие, о котором я расскажу, относится к концу 1909 года. В это время группа бандитов, прикрывавшаяся именем какой-то, кажется максималистской, организации, совершила ограбление, захватив значительную казённую денежную сумму, не помню, у какого именно учреждения, и совершила террористический акт в отношении начальника местной тюрьмы, ранив его выстрелами из револьвера. От начальника Астраханского жандармского управления, полковника Бураго, в то время дослуживавшего свой срок службы, поступили какие-то очень невразумительные сведения. Телеграфным распоряжением директора Департамента мне было предложено выехать в Астрахань, проверить на месте агентуру и по возможности принять меры к ликвидации преступной группы. Я немедленно выехал в Астрахань. Железнодорожная линия от Царицына до Астрахани встречала большими испытаниями всякого едущего даже по первому классу. Пыль, залетавшая во все щели, утомительный пустынный пейзаж, редкие и тоже пустынные станции — всё было серо, грязно и скучно. Любопытно только было увидеть на улицах Царицына верблюда под вьюком.

У Астрахани потянулись затоны, заборы, опять затоны с характерным запахом гнилой рыбы и опять заборы и заборы. В Астрахани я почти не заметил парадных входов в дома. Обычно надо было войти в калитку забора, пройти двором, и только тогда можно было войти в дом — боковым входом. Город был

своеобразный.

В губернском жандармском управлении я застал двух-трёх заспанных и вялых не то писарей, не то жандармских унтер-офицеров и молодого, недавно назначенного адъютанта. Я был в штатском платье, представился адъютанту, предъявил свои удостоверения и копию телеграммы директора Департамента, посылавшей меня в Астрахань. Через несколько минут всё зашевелилось. Явился и полковник Бураго, уже разваливающийся, пожилой, даже очень пожилой полковник, с лысиной и подкрашенными подусниками; он был очень встревожен моим приездом. Я попросил его прежде всего дать мне возможность ознакомиться со всеми материалами, что могли быть у него в управлении и которые хоть с какой-либо стороны могли относиться к интересующим меня событиям.

Писаря управления, видимо несколько более, чем их начальник, ознакомленные с делом, разложили передо мной несколько папок. Я углубился в изучение их. В отдельных агентурных записках, в отрывочных и неполных данных по наружному наблюдению мелькали кое-где нити, которые при более внимательном отношении к делу могли бы связать разрозненные данные в определённое целое. Оказалось, что начальник управления содержит в местной тюрьме какого-то юнца, который известен управлению своей неблагонадёжностью. Арестован он был недавно и числился за губернским жандармским управлением. В деле имелся его первоначальный опрос, произведённый в порядке Положения о государственной охране, во время которого задержанный от всего отказывался: знать не знаю. Секретной агентуры у начальника управления в наличии не оказывалось. «Пошехонье», да и только!

Провозившись весь день над рассмотром дел в управлении и стараясь распутать цепь событий, я время от времени задавал вопросы равнодушным и сонным писарям и стремился заинтересовать делом адъютанта. Но писаря не обнаруживали никакого интереса к моим изысканиям, а адъютант просто ничего не знал и не понимал, что мне от него нужно.

Меня позвали на обед к полковнику Бураго. Очень гостеприимные хозяева, как сам добродушный полковник, так и его молодая и миленькая, тоже очень провинциальная супруга, накормили меня хорошим рыбным астраханским обедом, а я поднёс хозяйке заботливо на этот предмет привезённую коробку конфет. Бураго рассказал мне о своей прежней службе начальника жандармской команды — кажется, в Харькове, в должности, заведомо очень спокойной. Мы мирно проболтали часа два. Я объявил ему о своём намерении проехать попозже

вечером в тюрьму и лично опросить задержанного им юнца.

Часов около десяти вечера я приехал в местную тюрьму и в предоставленной мне довольно поместительной камере, видимо предназначенной для свиданий с арестантами, устроился для допроса. Привели арестованного — не помню теперь его фамилии — лет девятнадцати, с маловыразительной физиономией. Я стал с ним беседовать, применяя приёмы, которыми я часто с успехом пользовался, будучи офицером резерва в Петербургском губернском жандармском управлении.

Пробыл я с мальцом часа два, пока он наконец не расплакался и не стал откровенно рассказывать о своём участии и в грабеже денег, и в покушении на начальника тюрьмы. Только под утро я покинул здание тюрьмы с подписанным им в присутствии свидетелей протоколом допроса, в котором содержались существенные данные о том, кто именно участвовал в той группе, которая производила грабежи, где они живут, где именно спрятаны ограбленные деньги и т. д.

Произведёнными по моим указаниям и распоряжениям обысками были найдены ограбленные деньги и засажены в тюрьму участники преступной шайки. Ликвидация эта была одной из удачнейших. Оставалось только произвести форменное дознание, что я предоставил делать начальнику управления.

Прощаясь с полковником Бураго, я попенял ему за то, что в его же управлении находились данные, которые не были разработаны, и что в его руках были нити, которые он почему-то не распутал. На это моё заявление хладнокровный полковник ответил: «А кто же бы этим делом занимался? Если бы я стал настаивать на такой работе, то они (по-видимому, писаря или вообще служащие управления) просто уничтожили бы эти данные; кому охота копаться в этом!» Я записал его ответ точно и в моём докладе в Департамент привёл этот изумительный в устах начальника губернского жандармского управления довод в пользу «ничегонеделания». На этот раз Бураго не оставили на службе. Его уволили в отставку.

Расскажу и о другой, не менее изумительной, инспекционной поездке — на этот раз в Тамбов. Происходило это, насколько я помню, в начале 1911 или в конце 1910 года.

От начальника Тамбовского губернского жандармского управления стали поступать «сенсационные» агентурные записки, основанием которых были сведения, исходившие от секретного сотрудника, бывшего семинариста, по отчётности числившегося в списке освещающих местную эсеровскую организацию. Этот сотрудник сообщал, что в самом непродолжительном времени в Тамбове состоится съезд представителей поволжских

организаций этой партии, а когда я, получив эти сведения и понимая хорошо, что никакого съезда таких представителей быть в это время не может и что сотрудник явно лжёт, порекомендовал начальнику Тамбовского жандармского управления получше проэкзаменовать сотрудника, то неожиданно получил телеграмму, что сотрудник выехал в Саратов, будучи вызван «по партийным делам».

Установив нужный контакт и сообщив в Тамбов адрес одной из моих конспиративных квартир, куда должен был явиться для свидания со мной этот сотрудник, я предварительно вызвал к себе в кабинет одного из офицеров нашего управления, поручика Знаменского, проявлявшего интерес к розыску, и объявил ему, что он со мной пойдёт на конспиративную квартиру и будет свидетелем того, как я разоблачу этого фантазёра и добуду от него признание в выдуманном им самим съезде.

На другой день после нашего разговора с поручиком, около восьми часов вечера, я был вызван на конспиративную квартиру. За столом сидел, закутавшись в башлык, закрывавший ему половину лица, высокий молодой человек мрачного вида, державший правую руку засунутой за пазуху. Он недружелюбно с нами поздоровался, когда я объяснил ему, что я являюсь начальником местного розыска. Приезжий, всё так же мрачно насупившись и странно пощёлкивая чем-то металлическим за пазухой (будто взводя и опуская курок револьвера) и не вынимая своей правой руки, стал небрежно и неохотно, как бы выдавливая слова, рассказывать мне, что он является членом Тамбовского комитета Партии социалистов-революционеров. Такого комитета в то время, я точно знал, не существовало. По его словам, в Тамбове назначен съезд активных деятелей поволжских организаций партии и через несколько дней ожидается прибытие целого ряда видных партийных деятелей в Тамбов; он же сам был вызван в Саратов местным комитетом партии (которого, как я тоже знал, в то время уже не существовало) для предварительного обсуждения ряда вопросов, связанных с этим съездом. Я понял, что этот секретный сотрудник является немудрёного типа шарлатаном, старающимся запугать меня своим таинственным видом заговорщика, держащего «про запас» при себе за пазухой револьвер.

Я дал ему высказать целый короб новостей о Саратовском эсеровском комитете и о том, с кем из его членов он уже виделся, и терпеливо выслушал его требование снабдить его деньгами на текущие расходы. Затем я хладнокровно сказал ему, чтобы он перестал щёлкать крышкой часов и вынул бы руку из-за пазухи, а затем так же хладнокровно заявил ему, что он должен признаться

в своём вранье, так как никаких эсеровских комитетов ни в Тамбове, ни в Саратове не существует, и что в случае его запирательства мне придётся поступить с ним совсем нелюбезно, чего бы мне не хотелось.

Он долго запирался, но наконец, не видя выхода, пустил слезу раскаяния и признался, что ему хотелось получить прибавку к окладу от Тамбовского жандармского управления, где от него требовали серьёзных сведений. Тогда-то он и «насочинил» о партийном съезде.

Я составил записку, в которой объяснил, что секретный сотрудник, имярек, по приезде в Саратов на свидании со мной в присутствии ротмистра Знаменского принужден был сознаться, что он ввёл в заблуждение начальника Тамбовского управления ложными сведениями и что он не только не является членом Тамбовского комитета партии, но и вообще ничего не знает о деятельности этой партии. Потребовав от виновника всей катавасии, чтобы он остался в Саратове на два-три дня, я пока распростился с утратившим свой мрачно-заговорщический вид семинаристом.

На другое утро я получил от начальника Тамбовского управления телеграмму-шифровку, что в Тамбов стали съезжаться представители поволжских эсеровских организаций на съезд. Я решил, что мне надо самому ехать в Тамбов.

От Саратова до Тамбова путь недальний. По приезде на место я явился в местное жандармское управление и познакомился с начальником его, заявившим мне, что получены дополнительные сведения о предстоящем съезде также и от другой агентуры, которую он покажет на следующий день, и что в Тамбов приедет начальник Козловского отделения Рязанско-Уральского жандармско-полицейского управления, подполковник Гангардт, со своим секретным сотрудником, который, в свою очередь, участвует в этом съезде. Становилось любопытно. Кто кого обманывает? Каким образом у двух жандармских офицеров нашлись осведомители, которые одновременно лгут об одном и том же? Я просто не знал, что и думать.

> Тамбов на карте генеральной
> Кружком отмечен не всегда,
> Он прежде город был опальный.
> Теперь же город хоть куда!

Это по Лермонтову[142]. А по моим тогдашним впечатлениям, Тамбов и в моё время был «никуда»: пыль, пустота на улицах, мёртвый город. Начальник управления, чтобы развлечь меня,

повёл показать местный клуб коннозаводчиков. Ничего специфически «лошадиного», спортивного и духа не было в этом клубе. Это был обычный обывательский клуб с винтом и лото. Последняя игра была ходовой.

Начальник управления был сравнительно новый человек. Прежнего начальника, вскоре после ликвидации Поволжского областного комитета эсеров, тоже «ликвидировали» по настоянию Департамента полиции. Новый был немногим лучше: я стал с ним беседовать о наших делах и обнаружил его полную беспомощность.

На другой день, поспешив в управление, я уже застал там только что прибывшего из Козлова подполковника Гангардта, который, познакомившись со мной, сказал, что он приехал в Тамбов с секретным сотрудником, который является делегатом от козловской партийной организации на предстоящий съезд. Я попросил подполковника Гангардта познакомить меня с «делегатом». Подполковник, нисколько не удивляясь моей просьбе, сказал, что это легко сделать, так как сотрудник находится с ним в губернском жандармском управлении. Не выразив никакого изумления по поводу отсутствия хотя бы примитивной конспирации, я предложил Гангардту оформить его сведения в надлежащую официальную агентурную записку и передать её мне. Подполковник немедленно и с готовностью изложил сообщённые им мне сведения по требуемой форме и передал её мне. После этого я попросил позвать приехавшего осведомителя в кабинет начальника управления и остался с ним с глазу на глаз.

Предо мной уселся малокультурного вида железнодорожный рабочий козловского железнодорожного депо. Не прошло десяти — пятнадцати минут, как он откровенно сознался, что ничего не знает ни о каком эсеровском съезде, что подполковник Гангардт, вызвав его накануне приезда в Тамбов, объяснил ему, что берёт его с собой в Тамбов, куда приедет «начальник», и что надо ему, этому начальнику, втереть очки, сказав, что в Тамбове состоится съезд Партии социалистов-революционеров, на каковой он, секретный сотрудник подполковника Гангардта, вызван в качестве делегата от Козлова. Бедняга ничего сам на этот раз не выдумывал; выдумывал за него ловкач подполковник Гангардт. Ничего подобного мне не приходилось слышать! Это была беспросветная глупость, если не употребить другого, более сильного выражения. Я снова всё записал и дал ему подписать его показание. Приказав сотруднику отправиться на вокзал и ожидать там дальнейших распоряжений и не дав ему повидаться в управлении с подполковником Гангардтом, я вызвал для

следующего опроса дожидавшегося меня другого секретного сотрудника, бывшего в распоряжении Тамбовского управления и тоже, по словам его начальника, давшего сведения о «съезде».

На этот раз меня постиг ещё больший удар. В кабинет вошёл тихого вида смирненький старичок, который, без всяких усилий с моей стороны, поведал, к моему изумлению, что он находится при начальнике управления на положении не то своего человека, не то домашнего портного и что сам-де начальник потребовал от него рассказать мне историю о съезде, которую к тому же он плохо усвоил. Я записал и это показание. Так называемый «секретный сотрудник», он же домашний портной, подписал его.

Я не знал, что мне делать и как говорить об этих разоблачениях с двумя жандармскими штаб-офицерами. Я был возмущён до глубины души. Попросив к себе в кабинет как начальника управления, так и подполковника Гангардта, я рассказал им показания их сотрудников, заявил им, что вынужден эти показания, вместе с агентурными записками, представить в Департамент и сухо простился с обоими, порекомендовав им отказаться в дальнейшем от таких методов политического розыска. Возвратившись в Саратов, я составил объяснительную записку о происшедшем, и в результате… всё осталось без изменений. Оба жандармских штаб-офицера остались на местах, а подполковник Гангардт был произведён в чин полковника на год или два раньше меня.

В книге «Конец русского царизма» генерал Курлов усиленно рекламирует себя. Между прочим он пишет: *«…могу утверждать, что в моё время не было сознательной провокации в работе Департамента, а в тех единичных случаях, которые я застал ещё при вступлении моём в должность, я принужден был уволить виновных. Даже незначительные случаи провокации, по неопытности и близорукости начальников губернских жандармских управлений, я не оставлял без соответствующих репрессий»*[143]. Приведённый мной случай как будто бы опровергает заявление легкомысленного генерала.

Насколько я помню, в конце лета 1909 года совершенно неожиданно по телеграмме Департамента полиции, основанной на распоряжении генерала Курлова, тогда товарища министра внутренних дел, заведующего полицией, я был командирован в Харьков для инспекции положения местного розыска и принятия необходимых мер в связи с намеченным приездом Государя Императора на юбилейные торжества по случаю двухсотлетия со дня полтавской победы.

Командировка эта была чрезвычайно лестна для моего самолюбия. Ею моё начальство как бы признавало за мной

наилучшее понимание положения дел в революционном подполье, способность наладить необходимые меры в смысле охраны и умение разобраться и оценить имеющиеся в местном жандармском управлении агентурные силы. Принимая во внимание, что в Харькове местное губернское жандармское управление имело в то время функции районного охранного отделения, моя командировка получила совсем необычный характер: я, помощник начальника Поволжского районного охранного отделения, ехал контролировать начальника другого охранного района, что ещё более тешило моё самолюбие, когда я вспоминал, что ещё несколько месяцев тому назад наш командир Отдельного корпуса жандармов, генерал-лейтенант Таубе, выразился обо мне как «о последнем офицере в Корпусе жандармов!».

Тогда я был в чине ротмистра, мне было тридцать четыре года, в Корпусе жандармов было достаточно лиц, которые могли рассчитывать на такую лестную и небезрезультатную для карьеры командировку. Да позволено мне будет сослаться в этом месте на того же генерала Курлова, который в своих воспоминаниях пишет: *«…дабы возместить неподготовленность офицеров губернских жандармских управлений к сыскной деятельности, Трусевич открыл целый ряд местных или районных охранных отделений в разных местах страны. Начальники их имели в своём ведении по несколько жандармских управлений, офицерами которых они руководили в деле политического розыска. Но таких опытных лиц, которые могли бы руководить жандармской службой, у Трусевича не было, и он должен был назначать не только искусных в политическом розыске, но вообще способных и ловких людей, которые, как говорится, умеют показать товар лицом. В поисках за такими людьми, Трусевич назначал начальниками районных охранных отделений совершенно молодых офицеров, которым должны были подчиняться их более старые товарищи по службе. Бывали случаи, что заслуженные генералы становились подчинёнными подполковников или даже ротмистров»*[144].

Не надо забывать, что генерал Курлов не может простить М.И. Трусевичу его роли в сенаторской ревизии над Курловым после выстрела Богрова.

Ненормальность во взаимоотношениях начальников охранных отделений многократно уже мной отмечена, и надо помнить, что охранные отделения были созданы в 1902 году, в бытность директором Департамента полиции А.А. Лопухина, а М.И Трусевич был назначен директором этого Департамента только весной 1906 года. Трусевичу оставалось лишь заботиться о всемерном улучшении розыскных аппаратов[145]. Что касается

«заслуженных» генералов, то, по правде сказать, их заслуги в деле розыска и охраны общественного порядка никому не известны.

Нападая на Трусевича зато, что тот выделял молодых и способных («умеющих показать товар лицом») офицеров, генерал Курлов забыл, что в данном случае он сам командировал меня, тогда молодого ротмистра, для инспекции и руководства политическим розыском в Харьков, где начальником районного охранного отделения был полковник Рыковский, мой прежний сослуживец по Петербургскому губернскому жандармскому управлению. Рыковский был образованный, воспитанный, но несколько болезненно раздражительный человек не то с пороком сердца, не то с какой-то другой длительной и изнуряющей болезнью. Говорил он намеренно тихо, видимо по предписанию врачей, стараясь не волновать себя. Он не был специалистом политического розыска и техники этого дела не знал, но обладал ясным умом и был человеком рассудительным. В делах розыска как по Харькову, так и по подведомственному ему району Рыковскому помогали тогда два жандармских офицера. Одного я знал. Это был живой и весьма способный работать под хорошим руководством ротмистр Соттири, вероятно грек по национальности; другого я не помню, и в Харькове его я так и не видел: не то он был в отъезде, не то болен.

Время в отношении подпольного революционного движения было тогда сравнительно спокойное и не вселяло особых опасений, но, конечно, ещё в разных местах Российской империи всплескивали последние и разрозненные волны. При ловко поставленном розыскном «волнорезе» эти волны теряли с каждым днём значение и силу. Вопрос, значит, состоял в том, хорошо ли налажен и поставлен харьковский розыскной волнорез.

Я приехал в Харьков в очень жаркую пору. Город был переполнен делегатами, посланными из уездов на юбилейные торжества. С трудом мне удалось найти номер в гостинице, носившей несколько претенциозное название «Версаль». Харьковский «Версаль» был расположен в той части города, где протекает отвратительная, зловонная речка, отравляющая окрестный воздух. Исключительная жара немало способствовала этой речонке отравлять моё пребывание в Харькове. Курьёзно то, что почти все гостиницы города находились в этом вонючем районе. За моё почти месячное проживание в Харькове я невольно ознакомился с городом. Одна из его примечательных особенностей запомнилась: местные извозчики, неказистого вида, неизменно направляли колёса пролетки по рельсам местной конки, и на постоянных поворотах эти колёса издавали пренеприятный и пронзительный визг. Извозчики же назывались

«Ванько», с ударением на последнем слоге.

Устроившись в большом, но неуютном номере, я немедленно направился в губернское жандармское управление и был радушно встречен его начальником, которому я вручил имевшуюся у меня телеграмму, объяснявшую моё появление в Харькове. Оказалось, что полковник Рыковский уже был осведомлён о цели моего приезда.

Рыковский с места заявил мне, что он не может допустить меня к проверке и инспекции у него секретной агентуры и находит вообще мою командировку настолько ненормальной, что немедленно доложит особым письмом директору Департамента о невозможности для него оставаться на должности, если я буду вместо него руководить политическим розыском в районе, вверенном его наблюдению, да ещё в такой специальный момент, как ожидающийся приезд Государя. «Вы, надеюсь, ничего не будете иметь против того, что я запрошу директора Департамента полиции, что я должен делать в дальнейшем в связи с вашим заявлением?» — ответил я. «Конечно, пишите, что находите нужным», — улыбнулся Рыковский.

Наш разговор не вызвал у нас личных враждебных чувств; я указывал только на мой долг в смысле исполнения распоряжений начальства, а полковник отстаивал свою позицию. Рыковский пригласил меня к себе на обед, и я снова встретился с его очень милой женой, тактичной и светской дамой, и познакомился с офицерами управления, также приглашёнными к обеду. Мы мирно обсудили создавшееся положение, и я понял, что, во всяком случае, мне придётся бесцельно пробыть в Харькове некоторое время, до того дня, когда конфликт будет разрешён свыше.

Я в тот же день составил письмо директору Департамента и просил уведомить меня о последующем решении телеграммой. Через несколько дней я её получил. Исполняющий обязанности директора Зуев уведомлял меня, что я должен дождаться в Харькове обратного проезда с юга генерала Курлова, по личному приказанию которого я командирован в Харьков, и на вокзале во время остановки поезда доложить ему об инциденте и получить от него дальнейшие указания. Я понял, что вице-директор Зуев дипломатически уклоняется от решения вопроса.

На другой день я разговаривал с ротмистром Соттири, которого я знал лично по прежним случайным встречам. Соттири был однокашником по кавалерийскому училищу моего старшего брата.

Меня весьма интересовали вопросы, насколько сильна секретная агентура в Харьковском районном отделении,

насколько эта агентура могла правильно и всесторонне осветить положение революционного подполья в Харькове и окрестном районе и, наконец, насколько сами руководители политического розыска в Харькове разбирались в политическом моменте и знали состояние подполья.

Из длительных разговоров с Соттири я понял, что секретная агентура имеется, но она некрупного значения и может освещать только случайные подпольные начинания. Как объяснение этого ротмистр привёл укрепившееся в харьковском розыскном аппарате мнение, что лучше иметь многочисленную мелкую агентуру, чем опасную крупную.

Такой взгляд на вещи мне был знаком. После провала Азефа, в конце 1908 года, поднялась ожесточённая критика всей розыскной системы и в особенности центральной, т. е. наиболее осведомлённой секретной агентуры. Критики требовали полной реформы этой системы. Критика вызвала некоторые колебания и в среде руководящих кругов нашего министерства. Наконец, нашлись и руководители розыска на местах, которые, по тем или иным соображениям, стали объявлять себя противниками старой системы, требовавшей наличия крупной агентуры, и доказывали возможность розыскной работы при помощи и содействии только мелкой, периферийной, не затрагивающей центральных партийных учреждений агентуры. Нечего и говорить, что в условиях наступившего революционного затишья того времени новая система, предъявлявшая руководителям политического розыска на местах сравнительно лёгкие требования, стала находить сторонников особенно в среде ловкачей.

В Харькове, так же как и в Саратове, в 1909 году произошло слияние функционировавшего до того отдельного охранного отделения с губернским жандармским управлением в виде Харьковского районного охранного отделения. Последним начальником этого отделения был Попов. Этот ловкий подполковник, из казаков, решил держаться новой системы, и потому, преемственно, и в Харьковском районном отделении подлинной осведомлённости не могло быть и не было!

Ясно было поэтому, что харьковская секретная агентура не могла осветить действительное положение революционного подполья и руководители местного розыска действовали вслепую. Для высших лиц администрации, как, например, губернатора или того же генерала Курлова, сосредоточившего в своих руках общее руководство охраной Высочайшего проезда и пребывания на юбилейных торжествах, они являлись советниками слабыми.

Поняв всё это, я вывел ещё одно заключение: если я останусь почему-либо в Харькове до времени Высочайшего проезда, я

невольно могу принять участие в ответственности за благополучие проезда и пребывания Государя в районе. Но оставаться приходилось.

Я представился харьковскому губернатору Катериничу, который, будучи осведомлён о моём приезде в Харьков генералом Курловым, вызвал меня к себе. Губернатор, весьма представительный старик, выслушал изложенные выше мои соображения и сказал, что он ожидает проезда Курлова через Харьков не ранее двух-трёх недель. Мне предстояло отдыхать в Харькове. Я телеграфировал жене, вызвал её в Харьков, где мы вдвоём нежданно стали пользоваться случайным отдыхом. Если бы не удушливая жара, то наш отдых в Харькове был бы полным.

Прошло недели три, и наконец я узнал о дне и часе, когда на харьковский вокзал прибудет поезд с генералом Курловым. Подошёл поезд. На вокзале была вся местная администрация. Помню, как сквозь толпу на перрон промчалась целая вереница лакеев из буфета, тащившая завтрак в вагон, занимаемый Курловым.

В своих воспоминаниях, которые я нередко привожу, Курлов, нападая на своего врага М.И. Трусевича, вспоминает о пристрастии, с каким сенатор М.И. Трусевич вёл следствие о нём, Курлове, после выстрела Богрова. Вот что он пишет в связи с этим: *«Трусевич тянул следствие полгода, и оно заняло у него целые томы. Он занялся, между прочим, самым серьёзным образом выяснением вопроса, ел ли я в Киеве икру и пил ли шампанское, причём оказалось, что я икры не ел и шампанского не пил»*[146]. Не знаю, как в Киеве, но что касается Харькова, то я сам видел, что икру он ел и шампанское пил. Да и кто усумнится в этом, зная хоть немного Курлова?

Наконец генерал вызвал меня. Я доложил вкратце историю моего приезда в Харьков и бесцельность дальнейшего пребывания, так как времени до Высочайшего приезда оставалось немного, стараясь внушить генералу мысль о желательности моего скорейшего возвращения в Саратов. Генерал Курлов, в своей любимой позе глубоко усевшегося в покойное кресло сибарита, попыхивающего неизменной сигарой, невозмутимо выслушал мой доклад и благосклонно согласился на моё возвращение.

Какой характер разговора был с полковником Рыковским, я не знаю, но для последнего особых неприятностей не получилось. Очень возможно, если бы я сам не настаивал на возвращении в Саратов, а только ожидал дальнейших распоряжений, то я остался бы в Харькове ещё на некоторый срок, пробыл бы там всё время, положенное на торжества, и получил бы какую-нибудь

награду.

Впрочем, 6 декабря того же года я получил орден св. Станислава 3-й степени, первый орден, полученный мной за всю службу, тот именно орден, от которого я ещё в 1904 году отказался в пользу предложенной тогда мне на выбор денежной награды!

Я был огорчён тогда мизерностью награды. Однако к Пасхе 1910 года я, вне очереди и «за отличие», получил чин подполковника. Штаб-офицерский чин в то довоенное время значил очень много, а я его получил тогда, когда мне было тридцать четыре года. Этим производством я «обскакивал» длинный ряд ротмистров, старше меня не только по годам, но и по ряду лет пребывания в чине ротмистра. Такие поседелые ротмистры, как, например, Бржезицкий, о котором я упоминал ранее, хотя и поздравляли меня, плохо скрывали своё раздражение. Это раздражение и затаённое недоброжелательство ко мне повели за собой скрытую, но ловко ведённую кампанию некоторых офицеров нашего управления, направленную к тому, чтобы разрушить установившиеся добрые отношения между полковником Семигановским и мной. Достичь этого, при всей ненормальности установленных свыше служебных взаимоотношений между нами, было нетрудно. Было много обидного для полковника Семигановского в этих взаимоотношениях, и как я ни старался постоянно подчёркивать моё подчинённое положение, но во всех мелочах нашего служебного распорядка постоянно выявлялось, что хозяин розыска — я. Затаённое недовольство Семигановского положением вылилось однажды совершенно неожиданно по совершенно мелкому поводу и повлекло за собой охлаждение в наших взаимоотношениях, лишив их простоты и непринуждённости.

В 1910 году летом началось известное и безобразное дело с монахом Илиодором, засевшим в бест в Царицыне[147]. Я лично никакого участия не принимал в ликвидации этого нелепого дела. Им занимались Семигановский и прежде всего губернатор граф Татищев. Последний, как известно, на этом «случае» пострадал и ушёл из Саратова. На пост губернатора был назначен П.П Стремоухов.

Осенью того же года через Саратов, по дороге в Сибирь, проезжал министр внутренних дел П.А. Столыпин в сопровождении А.В. Кривошеина. Как бывшему саратовскому губернатору, Столыпину, вероятно, захотелось встретиться с теми представителями местной администрации, земства и общественности, которых он здесь лично знал, и поэтому он

сделал краткую остановку.

К назначенному часу в прекрасный осенний день на большом открытом месте, недалеко от одной из пристаней, собралось очень много представляющихся. Наше управление явилось в полном составе и в парадной форме. Когда Столыпин обходил наши ряды и моя фамилия была названа ему, он остановился и громко сказал: «Я знаю вас хорошо по вашим докладам, которые я постоянно читаю. Спасибо!» Я поклонился в ответ на эти значительные для моего служебного честолюбия слова, противоположные словам генерала Таубе. Никогда ещё за всю мою службу в Корпусе жандармов я не чувствовал себя столь вознаграждённым за все мои труды! Слова Столыпина, сказанные громко, в присутствии моих сослуживцев и других лиц местной администрации, конечно, очень подняли меня в их глазах и упрочили моё служебное положение. Эту лестную столыпинскую оценку моей служебной деятельности я затем всегда причислял к лучшим своим достижениям.

Ровно через год этого человека не стало. Да будет мне позволено несколько остановиться на этом трагическом для России событии, хотя я и не был его непосредственным свидетелем.

Первое известие о покушении на жизнь П.А. Столыпина и ранении его в Киевском театре я получил по телефону от одного из служащих нашего районного охранного отделения в то время, когда я находился на своей квартире. Я был потрясён. Основываясь на своём понимании тогдашнего революционного подполья в России, я не мог ожидать организованного террористического акта. Подпольные организации того времени, особенно эсеровские, от коих, собственно, тогда и могли только исходить террористические попытки, были, с одной стороны, разгромлены силами власти, а с другой, морально разрушены историей с Азефом и продолжающимися пересудами о провокации.

И тогда и теперь, когда вскрылось столь многое, что прежде было тайным, и когда появилось так много мемуаров и воспоминаний всякого рода, я остался при одном убеждении: убийство Столыпина исходило из сложных ощущений «раздавленной» души отдельного лица, в данном случае Богрова. Всё дело, весьма запутанное и осложнённое второстепенными обстоятельствами, и выяснение мотивов, толкнувших Богрова на роковой шаг, собственно говоря, требуют писательского таланта Достоевского. Только тогда они будут достаточно убедительны для читателя.

В Киеве в это время руководил политическим розыском

некий, в то время жандармский подполковник, недоброй памяти Н.Н. Кулябко.

История его службы вкратце такова. Когда я, ещё в бытность мою офицером Московского жандармского дивизиона, бывал по службе в так называемых «нарядах» то в императорских театрах, то на бегах и на скачках, моим партнёром со стороны общей полиции в тех же нарядах иногда бывал и помощник пристава Тверской части Московского градоначальства Кулябко, высокого роста, довольно красивый подпоручик, очень худой, несколько болезненного вида, очень скромный, вежливый и очень, очень тихий. Я его знал мало, но его товарищи по службе определяли его как человека недалёкого. Перейдя на службу из Москвы в Петербург, я временно потерял Кулябко из вида. Когда же через несколько лет, уже в Саратове, я узнал о переводе в Отдельный корпус жандармов поручика Кулябко, то я знал, что этот служебный перевод достигнут только тем, что Кулябко был в свойстве с известным А.И. Спиридовичем.

Необычайно быстро Кулябко получил должность начальника Киевского охранного отделения, ничем как будто не проявив себя до того на службе в Отдельном корпусе жандармов.

Мне пришлось мельком, кажется в 1909 или 1910 году, встретиться с ним в стенах Департамента полиции во время одного из моих наездов в Петербург из Саратова. Кулябко тогда был почему-то в мундире чиновника Министерства внутренних дел. Внешне мало изменившись, он сильно изменился в манере держать себя. Теперь он держался в высшей степени уверенно и довольно небрежно поздоровался со мной. Держал себя как бы уже наметившимся кандидатом на какой-то высший пост по нашему ведомству. Он и получил бы его, не случись трагедии в Киеве. У Кулябко была, как говорится, «рука» наверху. «Рукой» этой был его свойственник А.И. Спиридович.

Спиридович был совсем другой человек. И на нём лежит часть вины за гибель Столыпина.

В бытность мою офицером Московского жандармского дивизиона я мельком встречался, но знаком не был с поручиком Александром Ивановичем Спиридовичем, служившим в то время в качестве офицера для поручений при известном Сергее Васильевиче Зубатове, тогда начальнике Московского охранного отделения, сделавшем из этого отделения образцовое розыскное учреждение на всю империю. А.И. Спиридович был им любим, отмечен как способный жандармский офицер, не раз посылаем с ответственными поручениями в провинцию и, наконец, когда в 1902 году последовало распоряжение об образовании нескольких провинциальных охранных отделений, вскоре назначен первым

начальником Киевского охранного отделения. Уже тогда можно было предвидеть его следующее назначение в Москву или Петербург.

У нас в Корпусе жандармов рассказывалось, что, когда некую партию политических арестантов посадили на каком-то из вокзалов Москвы в вагон поезда, отправляемого в «восточном» направлении, и при посадке в вагон присутствовал поручик Спиридович, один из арестованных, выглядывая в окно и показывая на Спиридовича, сказал своему товарищу по несчастью: «Посмотри на этого рыжего, этот далеко пойдёт!» Спиридович был сильно рыжеват и действительно пошёл далеко.

Что и говорить, человек он был способный, умный и ловкий. Какому именно из этих качеств он обязан больше всего своей карьерой, я не знаю. Думаю, что всем трём одинаково, особенно в том периоде своей жизни, когда он, жандармский офицер, вошёл в ложную, насыщенную интригами, служебными подвохами и чванливой спесью придворную атмосферу в качестве офицера дворцовой охраны.

Не всякому рядовому жандармскому офицеру удалось бы выкарабкаться на поверхность после, казалось бы, полного крушения служебной карьеры. Спиридовича ожидал суд. Его считали у нас в Корпусе конченым человеком. Но он уцелел. Да не только уцелел. Было по этому поводу много толков и пересудов. Многие объясняли последующую его карьеру снисходительностью Императора. Как известно, очень мягкий и добрый Государь долго колебался в вопросе о преданию суду главных руководителей киевской охраны 1911 года. Как-то Государь, сообщая председателю Совета министров графу В.Н. Коковцову, что он решил прекратить дело по обвинению лиц, допустивших упущения в киевской трагедии, сказал: *«В особенности меня смущает Спиридович. Я вижу его здесь на каждом шагу, он ходит как тень около меня, и я не могу видеть этого удручённого горем человека, который, конечно, не хотел сделать ничего дурного и виноват только тем, что не принял всех мер предосторожности»*[148].

Государь любил запечатлевать мелкие события своей семейной жизни фотографическими снимками. Некоторые частные комнаты дворца были сплошь увешаны такими фотографическими снимками. Целые альбомы были заполнены рядом снимков Наследника и Великих княжон в их повседневной обстановке. Спиридович и тут учёл положение: научился фотографическому искусству и снимал членов Императорской семьи чуть ли не на полуофициальном положении «своего» фотографа.

Блестящую карьеру Спиридович начал с небольшого. В 1902 году его назначили на первую самостоятельную должность по политическому розыску в провинцию, в городок Таврии. Он был до этого времени офицером для поручений при Московском охранном отделении, где прошёл практическую школу политического розыска при Зубатове, который, оценив блестящие служебные качества молодого жандармского поручика и его розыскной энтузиазм, выдвинул его на открывшуюся самостоятельную должность.

Как я уже упоминал, при Зубатове состоял некий чиновник Евстратий Павлович Медников. Человек простой, из мужичков, верный престолу и отечеству, способный и хитрый, себе на уме, Медников (попросту Евстрат) обожал Зубатова. В то же время он обожал и Спиридовича. По-видимому, Спиридович умел очаровывать нужных ему людей. Всё это легко усмотреть из нескольких писем Медникова, написанных им Спиридовичу в период 1902–1905 годов и во время революции 1917 года, обнаруженных по обыску у последнего в квартире[149].

Письма эти начинаются с мая 1902 года, т. е. с того времени, когда А.И. Спиридович получил первую самостоятельную должность по политическому розыску на Юге России. Эти письма дышат неподдельной любовью и полны забот Медникова о Спиридовиче. В них он даёт советы, рассказывает служебные новости, предупреждает о возможном появлении в Киеве наиболее опасных тогда и активных террористов: Гершуни, Мельникова и др.

После ареста Гершуни, произведённого Спиридовичем, Е.П. Медников посылает ему прямо восторженные письма. Когда секретный сотрудник ранит Спиридовича выстрелом из револьвера, то Евстрат выражает свои чувства столь горячо, что не остаётся сомнений в трогательной любви и преданности автора своему ученику, а затем талантливому начальнику розыска в Киеве.

Когда я сравниваю свои первые шаги по политическому розыску в Саратове, враждебную мне атмосферу, отсутствие каких-либо советов, с той атмосферой благожелательности и подсказанных указаний, что теперь видно из писем Е.П. Медникова, то могу только позавидовать Спиридовичу. Думаю, что и подбором состава служащих при заполнении вакансий в Киевском охранном отделении Евстрат не обидел Спиридовича: все это были служащие Московского охранного отделения.

Я имею основание полагать, что служба Спиридовича в Киеве была очень успешна. Два случая, оба относящиеся к делу политического розыска, отметили этот период его деятельности.

Первый из них заключался в удачном аресте уже упоминавшегося мной Гершуни. В награду за это А.И. Спиридович, если не ошибаюсь, был произведён за отличие в чин подполковника. Другой случай, окончившийся для него тоже наградой (орден св. Владимира), заключался в том, что его же собственный сотрудник выстрелил в него, пробив пулей лёгкое навылет. Спиридович долго болел, но оправился. После этого он уже не занимал должностей, связанных с непосредственным руководством по политическому розыску, и был переведён на службу по дворцовой охране.

А, собственно говоря, за что именно был награждён Спиридович орденом св. Владимира? Ответ может быть только таков: или в награду за перенесённые страдания, или за… неудачное руководство секретной агентурой, один из служащих в которой задумал его убить, в то время как у Спиридовича не оказалось налицо ни интуиции, дабы предвидеть намерение собственного же сотрудника, ни другой агентуры, достаточно осведомлённой, дабы предупредить готовившееся покушение. В другом случае, позднее, а именно в 1911 году, в том же Киеве у того же Спиридовича не оказалось налицо ни той же необходимой всегда интуиции для понимания намерений и настроения Богрова, ни другой, осведомлённой агентуры! Те же ошибки!

Какое отношение имел А.И. Спиридович к киевскому делу, т. е. убийству П.А. Столыпина, увидим из дальнейшего. Сам виновник киевской драмы, секретный сотрудник Киевского охранного отделения Богров, начал помогать политическому розыску в бурный период революционного подполья, где-то в Тамбовской губернии, если не ошибаюсь, в Борисоглебске. Тогда там сильно проявляли себя максималисты. Работа секретной агентуры в такого рода подпольных группах, как я уже упоминал, всегда сопряжена с огромным риском для сотрудника.

Руководители Богрова, вероятно, были далеко не искусные люди, и скоро в результате сотрудничества с ними его стали заподозревать в революционных кругах или, может быть, коситься на него. Его осведомлённость стала понижаться, а вместе с тем понизилось или сильно сократилось и его денежное содержание. Богров же был любитель пожить. Денег ему не хватало. С другой стороны, он был сыном людей в своём кругу известных и сам был интеллигентом, кажется помощником присяжного поверенного. «Провалиться» или быть обнаруженным как секретный сотрудник полиции для Богрова означало гражданскую смерть.

Возможно, что этому первому руководителю Богрова желательно было прежде всего отличиться, произвести возможно

большее количество ликвидаций в местном подполье. Возможно, что такой себялюбивый чин и не удосужился подумать, что он имеет дело с живыми людьми, и что он смотрел на них только как на ступени в своей служебной карьере. Такие руководители политического розыска у нас были, и они часто делали карьеру. Эти ловкачи преимущественно стремились к тому, чтобы после своего назначения на какую-нибудь розыскную должность начать косить направо и налево, не считаясь ни с чем. Они обычно губили много секретных сотрудников и в результате своего фейерверка, конечно хватавшего ненадолго, передвигались на новое и, возможно, лучшее место. Самое трудное для руководителя политическим розыском дело было с успехом продержаться на одной и той же должности. Этого именно многие из «ловкачей» розыска не любили.

В результате своего поколебленного положения Богров оказался в Киеве под руководством Кулябко. Но переменились времена. Максимализм убывал, как убывало и вообще всё подпольное, организованное «действо». А кушать Богрову надо было, и кушать он любил хорошо, хотя перед повешением и изрёк меланхолически своё толкование смысла жизни: «Жизнь — это лишняя тысяча съеденных котлет!»[150] И на самом деле, для Богрова смысл жизни заключался в том, чтобы эти котлеты были непременно «марешаль».

Чтобы сохранить содержание от казны, Богрову, вероятно, приходилось хитрить и водить за нос недалёкого Кулябко. Вероятно, Богров придумывал время от времени какие-нибудь, никогда не сбывавшиеся, истории. Но, возможно, что кое-какие связи с революционными деятелями у него были. Кулябко, наверное, настаивал на большей продуктивности и осведомлённости, в результате которых и, вероятно, в результате и неосторожности и напористости со стороны него, Богров был снова заподозрен. Он заметался. И денег больше не будет, и в своей среде подозрения, и возможная гибель. Нет сомнения, что вся злоба и ненависть за вероятную гибель сосредоточились у него на Кулябко. Богров чувствовал, конечно, что Кулябко в это время идёт в гору, преуспевает на его гибели. В частых разговорах, в долгих беседах Богров неминуемо должен был заметить позицию Кулябко и его наплевательское отношение к судьбе секретного сотрудника. Богров озлобился. Отомстить Кулябко и в его лице всему «этому подлому режиму» — вот что заполонило ум Богрова. Но он, по своей интеллигентской дряблости, гамлетизму и нерешительности, продолжает жевать в уме своё решение. Он продолжает видеться с Кулябко и обдумывает свой умысел.

У Кулябко нет интуиции, столь необходимой для руководителя политическим розыском. Будь у него интуиция, он, несомненно, заподозрил бы что-то неладное в своих взаимоотношениях с Богровым. Он постарался бы вовремя окружить Богрова другой испытанной агентурой, подвёл бы к нему какую-нибудь бабёнку, чтобы та наблюдала за ним и раскусила его. Но для всего этого нужны были и интуиция и другая, хорошая и верная агентура. Видимо, ни того ни другого у Кулябко не было.

Богров на свиданиях своих с Кулябко не мог не видеть, что последний весь в чаду от возможности служебных успехов и наград, мерещившихся ему в связи с приездом Государя. В Киев, чуть ли не за целый месяц до Высочайшего приезда, стали приезжать те чины охраны, которые были назначены в эту командировку из Петербурга и Москвы для подкрепления местных розыскных и общеполицейских сил. Всем руководил всё тот же Курлов. Ближайшими его помощниками оказались А.И. Спиридович и занимавший место вице-директора Департамента полиции М.Н. Веригин.

Курлов в цитируемых выше «Воспоминаниях» пишет по этому поводу так: *«П.А. Столыпин испросил Высочайшее повеление о возложении на меня высшего наблюдения за охраною с подчинением мне в этом отношении всех должностных лиц, к какому бы министерству они ни принадлежали, и с непосредственным подчинением меня дворцовому коменданту… дворцовый комендант командировал в качестве своего представителя полковника Спиридовича».*

Генерал Курлов был, бесспорно, человек одарённый и, конечно, весьма образованный. Юрист, в прошлом прокурор и губернатор, он был в это время признанным знатоком вопросов, связанных с делами внутреннего управления. Но, к несчастью, время, мной описываемое, застало его в состоянии некоей расслабленности, вызванной успехами в его частной жизни…

В это время Курлову был необходим уже человек, который [бы] всё за него делал и даже за него мыслил. Курлов в это время «мыслить» уже не любил. Он был способен только на остроумные словечки и на получение наград. Награды любил денежные, ибо в деньгах нуждался постоянно.

Какую же помощь представлял Веригин? Я помнил Веригина ещё в бытность его секретарём у директора Департамента М.И. Трусевича. К политическому розыску он никакого отношения не имел, но имел зато много влиятельных покровителей и крепко «за хвостик тётенькин держался». В Киев был послан именно потому, что мог получить очередную награду. Другого повода и смысла

его командировка не имела. Тихенький, прилизанный и очень, очень приличный по виду, небольшого роста, худенький петербургский чиновник из правоведов!

Зачем командировывался Спиридович в Киев, я знаю по собственному опыту — потому, что в 1912, 1913, 1914 годах, во время Высочайших приездов в Москву, где я в то время был начальником охранного отделения, Спиридович с той же целью приезжал и туда.

По мысли и плану Спиридовича, введённым в целую систему, он в качестве руководителя дворцовой охраны и, значит, охраны Государя приезжал приблизительно за месяц до Высочайшего приезда в назначенное место и вырабатывал совместно с местными высшими представителями жандармской и общей полиции необходимые, по его мнению и согласно его плану, меры для охраны Государя. Начальник общей полиции представлял ему для сведения все свои соображения по нарядам и численности полиции и т. п. Начальник жандармской полиции или начальник местного розыска (как в Киеве в случае с Кулябко или в Москве со мной) должен был объяснить подробно политическое положение и состояние революционного подполья и указать тех опасных лиц, за которыми следует вести неотступное наружное наблюдение. За этими лицами устанавливалось наружное наблюдение не местными филерами, а специальным отрядом филеров, приезжавших со Спиридовичем. Специальными агентами и офицерами Корпуса жандармов проверялись все лица, жившие по улицам, где должен был проехать Государь.

Принималось и много других нужных и ненужных мер по рецепту А.И. Спиридовича. Курлов в «Воспоминаниях» приписывает всю эту систему себе и подводит под неё целую теорию.

Богров в это время придумал целую комбинацию с приездом в Киев террористов. Комбинацию неумную и, при его заведомой для Кулябко «проваленности», просто невозможную. Мне нет особенной охоты повторять в мелочах эту дикую историю, да она и рассказана достаточно подробно во многих печатных изданиях.

Академик Г.Е. Рейн, председатель Медицинского совета, в своих воспоминаниях, рассказывая о деле убийства П.А. Столыпина, между прочим, приводит письменное показание Богрова, записанное им по предложению Спиридовича за два дня до приезда в Киев Государя[151].

Это же показание можно найти в книге А. Мушина, анархиста и восторженного поклонника Богрова[152].

Вот оно: «Весною 1910 года в Петербург приехала

одна женщина с письмом от Центрального комитета Партии социалистов-революционеров для присяжного поверенного Кальмановича, бывшего эмигранта Егора Лазарева и члена Государственной думы Булата. В передаче этих писем принял участие и Богров, установив, таким образом, связь с Лазаревым[153], причём обо всём этом осведомил начальника Петербургского охранного отделения фон Котена. Вскоре с Богровым познакомился явившийся от имени Лазарева неизвестный, назвавшийся Николаем Яковлевичем. Узнав из происходившей затем между ними переписки, что противоправительственные взгляды Богрова, высказанные при первом их свидании, не изменились, «Николай Яковлевич» неожиданно в конце июля приехал к Богрову в дачную местность Потоки, близ Кременчуга, и вступил с ним в переговоры о том, можно ли иметь в Киеве квартиру для трёх человек. Получив удовлетворительный ответ, «Николай Яковлевич» расспросил о способах сообщения с Киевом и одобрил предложенный Богровым план приезда на моторной лодке, в тот же день «Николай Яковлевич» выбыл обратно в Кременчуг и обещал в скором времени дать о себе знать».

Академик Г.Е. Рейн замечает по поводу этого доклада, что он *«представляет собой образчик хитро и ловко изложенного мелкоадвокатского произведения, в котором истинные происшествия, как передача письма Лазареву, перемешаны с вымышленным именем «Николая Яковлевича», приездом его в дачную местность «Потоки» и пр.»*.

На самом же деле в этом докладе главные руководители розыска в Киеве должны были усмотреть довольно путаное и неправдоподобное изложение, и вот почему: не забудем, что весной 1910 года продолжался развал Партии социалистов-революционеров и её центрального комитета, находившегося в Париже. Развал этот начался с января 1909 года, главным образом в связи с провалом Азефа. Центральный комитет партии был в то время совершенно дезорганизован, и если бы в Петербург и приехала «одна женщина» с письмами от него, то уже наверное не с поручением террористического характера. Из этого доклада усматривается (что и было на самом деле), что Богров в этот период состоял во временном распоряжении начальника Петербургского охранного отделения полковника фон Котена. Поэтому все руководители политического розыска обратились с

телеграфным запросом к полковнику фон Котену, который, согласно записи академика Г. Рейна, «подтвердил показание Богрова о письме к Лазареву».

Если такой или примерно такой ответ последовал от полковника фон Котена, то он представляет собой образчик хитро и ловко изложенного, но не «мелкоадвокатского» произведения, а товарищеской услуги между двумя начальниками охранных отделений. Фон Котен должен был понимать обстановку и, зная полную никчемность Богрова в то время как сотрудника, должен был не приятельски отписываться, а дать надлежащую оценку явно выдуманным данным Богрова. Для руководителей политического розыска в Киеве такой ответ только играл в руку, подтверждая серьёзный характер сообщений Богрова.

Однако всю эту нелепость слушали и ей верили и Курлов, и Спиридович, и Веригин. Вот тут-то и лежит подлинная вина Спиридовича в киевской драме. В самом деле: оставим в данном случае Курлова — он где-то там, наверху; ему докладывают «опытные» помощники — сам Спиридович, сам Кулябко и даже сам Веригин. Отставим и Веригина — в данном случае он розыскной младенец. Но А.И. Спиридович, бывший начальник Киевского охранного отделения, казалось бы, практик политического розыска и свояк Кулябко! Он помогал ему в карьере и, конечно, помогал и в данном вопросе: расследование заявлений Богрова. Он тоже обнаружил если не отсутствие интуиции, то невероятное легкомыслие, погнавшись, быть может, за мелким успехом, если оказалось бы, что Богров говорит правду. Им всем так хотелось, чтобы это была правда, что они все вместе не удосужились сопоставить все данные Богрова, чтобы увидеть их нелепость.

Вот в чём, повторяю, лежит вина Спиридовича в киевской драме. Пострадал в результате стрелочник… Кулябко. Это было в духе времени и вполне соответствовало слабости власти.

Перейдём к самому Богрову. Я остановился на его решении убить Кулябко. А убил он Столыпина! Курлов в своих «Воспоминаниях» пытается разрешить вопрос, кто именно и что именно толкнуло Богрова на убийство Столыпина. Он не разрешает вопроса и туманно говорит о каком-то вмешательстве тайных сил. Широкое поле для догадок, особенно в связи с еврейством Богрова! Я попробую разрешить вопрос в порядке интуиции, базируясь на столь знакомой практике розыскного дела.

Курлов пишет: «Сын богатых родителей, молодой Богров всегда нуждался в деньгах для широкой жизни.

Вероятно, под влиянием модных течений он вошёл в связь с революционными организациями и предал их охранному отделению, когда потребовались деньги на поездку за границу. Сведения Богрова стоили затраченных на него средств, и в этом отношении он безукоризненно исполнял свои обязательства. Со временем материальное положение его улучшилось, и он одновременно отошёл от партийной жизни, как отошёл и от работы в охранном отделении. Я думаю, что в партии знали или догадывались о прежней деятельности Богрова, а потому могли потребовать от него той или другой услуги. Я не сомневался в его сведениях, сообщённых подполковнику Кулябко, как не сомневаюсь в том, что, может быть, за час до покушения на министра он не предполагал, что ему придётся совершить этот террористический акт. Требование застало его врасплох, и он подчинился воле, от которой зависела его собственная жизнь.

Это предположение не возбуждало бы во мне никаких сомнений, если бы убийство П.А. Столыпина было принято какой-либо революционной организацией на свой счёт, но убийство это было встречено молчанием, хотя в революционной печати появлялись обыкновенно хвалебные гимны по поводу всякого, даже незначительного, политического убийства. Возможно допустить, что сведения, сообщённые Богровым Кулябко, были вымышлены, и он, пользуясь доверием к нему охранного отделения, решил выполнить террористический акт. Мероприятия по охране и в этом положении не подлежали никакому изменению, так как игнорировать эти сведения, по сложившейся в Киеве обстановке, не представлялось допустимым. Личных счётов с покойным министром у Богрова, конечно, быть не могло, а потому у него не могло быть и инициативы совершить это убийство с риском для своей жизни. Приходилось, таким образом, прийти к убеждению, что этим преступлением руководила какая-либо иная, неведомая нам сила. Следствию её обнаружить не удалось, да, по-видимому, оно к этому и не очень стремилось»[154].

Вот туманное, основанное на заведомо ложных, до наивности фальшивых предпосылках заключение. Товарищ министра внутренних дел и заведующий полицией не хочет помнить, что

Богров был давно в подозрении у революционеров, но, несмотря на это, поддерживал с Охраной какие-то отношения.

Курлов допускает мысль, что партия потребовала от него оказать ей услугу, чтобы загладить прошлую деятельность, но отказывается принять во внимание, что выстрел Богрова последовал осенью 1911 года, т. е. в тот период, когда подпольных организаций, занимавшихся террористическими актами, в России не было вовсе и когда — если бы кое-где в провинции такие организации и влачили мизерное существование в виде отдельных оставшихся в живых членов их — они не могли брать на себя решений о центральном терроре, каким было убийство Столыпина.

«Я не сомневался в его [Богрова] сведениях, сообщённых подполковнику Кулябко…» — настаивает Курлов, и это после того, когда ясно было установлено, что все сообщения Богрова оказались вздором. Далее Курлов пишет: *«…не сомневаюсь в том, что, может быть, за час до покушения на министра он [Богров] не предполагал, что ему придётся совершить этот террористический акт. Требование застало его врасплох, и он подчинился воле, от которой зависела его собственная жизнь»*. Написав это, Курлов, очевидно, не сознавал всей нелепости своего заключения. За час до покушения Богров был уже в театре и отлично знал, что он находится в театре для совершения террористического акта. Если Курлов допускает, что Богров совершил этот акт «по приказу партии», то почему же через несколько строк он приходит к заключению, что… *«этим преступлением руководила какая-либо иная, неведомая нам сила»*.

Курлов только осторожно «предполагает», что в партии (странно, что он так неточен: в какой партии?) узнали об отношениях Богрова к охранному отделению. Ему надо было это точно знать, а не предполагать! Впрочем, Курлов начал так «предполагать» только в эмиграции. Тогда же, я уверен, он знал о заподозренности Богрова.

Мой вывод, надеюсь, покажется читателям более логичным и правдивым: злобное раздражение униженного подпольщика-интеллигента-еврея к преуспевающему ничтожеству, каким был в глазах Богрова Кулябко, выжавший все соки из него, Богрова, и бросивший его на произвол судьбы, привело Богрова мало-помалу к решению убить Кулябко.

Кулябко, перед приездом Царя и всей свиты в Киев, конечно, стремился использовать все случаи и возможности для агентурного освещения местного революционного подполья. Надо полагать, что он не знал об истинном положении этого подполья, если он обратился снова к такому, уже в то время

неосведомлённому лицу, каким должен был быть в 1911 году Богров. Богров начал «комбинировать». Когда его нелепые комбинации были подхвачены наехавшей в Киев группой ответственных и высоких чинов российской Охраны, Богров в этом усмотрел беспринципность носителей русской власти, ещё раз пытавшейся создать своё благополучие и карьеру на нём, чем бы это для него ни кончилось. Он лично видел и разговаривал с этими приехавшими представителями власти и понял, что их занимает не его рассказ, а последствия событий для них самих в виде наград и почестей. Злобное решение мстить уже не Кулябко, а всей системе в лице её высшего руководителя — вот что засело в его голове. Околпачить представителей этой системы оказалось нетрудно. Вот это и была та «неведомая сила», что навела руку Богрова на Столыпина.

Однако пора вернуться к моему повествованию.

В 1911 году в Саратов приехал для ознакомления с постановкой розыска бывший начальник охранного отделения в Петербурге, генерал-майор А.В. Герасимов. В это время он состоял генералом для поручений при министре внутренних дел. Мне предстояло познакомить его лично с наиболее крупной по своему значению секретной агентурой. Я распределил время для встреч его на конспиративных квартирах с секретными сотрудниками и вместе с ним обошёл все квартиры и присутствовал при его беседах с ними. Надо отдать справедливость Герасимову — он умел просто и задушевно подойти к до того незнакомому ему человеку и в небольшой беседе понять сразу значение того или иного сотрудника в деле освещения местного революционного подполья. Переговорив с моими секретными сотрудниками и заявив мне, что агентурное освещение у меня поставлено блестяще, генерал заявил мне, что я состою первым кандидатом на должность начальника охранного отделения в Москве. Сообщение это, переданное мне конфиденциально, чрезвычайно порадовало меня

Не прошло и нескольких месяцев, как в Саратов, всё с той же целью личного ознакомления с постановкой розыска, приехал тогда вновь назначенный вице-директор Департамента полиции С.Е. Виссарионов. Я уже писал, что я знал его ещё в бытность мою в прикомандировании к Московскому губернскому жандармскому управлению, где Сергей Евлампиевич наблюдал за дознаниями в качестве товарища прокурора Московского окружного суда. Много воды утекло с тех пор, и Сергей Евлампиевич предстал теперь передо мной не только как старый знакомый и приятель моего брата, но и как начальство.

Виссарионов, соответственно своему новому и более

высокому положению, потолстел, особенно в брюшке, но никак не потерял присущего ему чувства юмора: что и говорить, остроумный был человек, но честолюбивый и падкий на лесть до крайности.

Опять мне пришлось устраивать свидания с секретными сотрудниками, причём некоторые из них на этот раз запротестовали. Им не хотелось, и это естественно, разговаривать всё с новыми лицами, каждый из них полагал, что об их сотрудничестве знаю только я один.

Виссарионову пришлось первый раз в жизни говорить с секретными сотрудниками. До того он только читал их сообщения в виде «агентурных записок». Он заметно волновался и после десятиминутного разговора с одним из них, оставшись со мной наедине, неуверенно спросил меня: «Как вы полагаете, Александр Павлович, достаточно долго я беседовал с ним?» Когда я ответил утвердительно (не отвечать же мне отрицательно!), Сергей Евлампиевич, приосанившись и вмиг почувствовав себя начальством, заявил: «Да, для опытного человека этого времени, я полагаю, довольно!» Впрочем, надо ему отдать должное, он скоро овладел положением, и я был неоднократно свидетелем его мастерских диалогов с моими секретными сотрудниками в Москве.

Виссарионов также остался доволен положением розыска в Саратове. При его отъезде все офицеры Саратовского губернского жандармского управления и районного охранного отделения чествовали его ужином в гостинице. «Чертог сиял»[155], сиял и Виссарионов, находившийся тогда на вершине своей служебной карьеры.

Весной 1912 года в Саратов совершенно неожиданно приехал тот же Виссарионов. Вечером он вызвал меня по телефону к себе в гостиницу. Придя к нему, я застал там ещё одного приехавшего с ним чиновника Департамента полиции. Сергей Евлампиевич на этот раз держал себя сухоофициально, расспрашивал меня о делах и почему-то усиленно напирал на порядок отправления телеграмм нашим районным охранным отделением. Я понял причину расспроса только на другой день, когда после осмотра дел и ревизии телеграфных отправлений выяснилось, что один из чиновников нашего районного охранного отделения довольно долго подделывал денежные суммы на телеграфных квитанциях, посылавшихся в виде отчёта в Департамент. Чиновник, к сожалению, был лучший в отделении. Собственно говоря, недосмотрели мы оба: полковник Семигановский и я.

Виссарионов нашёл и другие непорядки у Семигановского. Настроение у всех нас в связи с этой ревизией стало пониженным.

В мае пришла бумага от директора Департамента на имя Семигановского, в которой ему было сказано много неприятного. Заканчивалась она так: «Подполковнику Мартынову объявить моё замечание за недосмотр!»

С наступлением лета я, как обычно, устроил семью на даче около Саратова. Неожиданно приехал на велосипеде один из служащих нашего отделения с телеграммой на моё имя от директора Департамента. Я вызывался немедленно в Петербург. Я ничего не знал о причине вызова.

Глава V
Снова в Москве

Моё назначение начальником Московского охранного отделения. — Отчий дом. — Организация и сотрудники. — Дело Романа Малиновского. — Генерал Джунковский. — Тишь и гладь. — Князь Ф.Ф. Юсупов, граф Сумароков-Эльстон. — Генерал-майор Климович. — Моё столкновение с С.П. Белецким. — Последний московский градоначальник. — Загадочная история. — Ещё об интуиции. — Мои соображения о причинах катастрофы.

Телеграмма директора Департамента полиции, вызвавшая меня в Петербург, волновала меня. Я совершенно не мог объяснить причин вызова.

Только что закончившийся контрольный приезд в Саратов вице-директора департамента С.Е. Виссарионова хотя и мало касался лично меня и моей работы в Поволжском районном охранном отделении, будучи направлен главным образом против полковника Семигановского, но всё же в департаментской бумаге мне почему-то было объявлено «замечание за недосмотр». Таким образом, я мог ожидать от предстоящей встречи с директором Департамента неприятных объяснений.

Я предложил жене поехать со мной в Петербург, и мы быстро собрались в поездку.

Все жандармские офицеры, ехавшие по каким-либо делам в Петербург через Москву, обычно заходили в Московское охранное отделение попросить у его начальника бесплатный проездной железнодорожный билет до Петербурга. Сделал это, конечно, и я, но не только с целью получить билет, но и потому, что существовал некий неписаный обычай, по которому все жандармские офицеры, служившие непосредственно по политическому розыску, посещали друг друга при своих проездах и остановках в соответствующих городах. Целью этих личных свиданий было обменяться новостями и данными текущего розыска. Я несколько знал полковника П.П. Заварзина, в то время начальника Московского охранного отделения, так как встречался с ним на совещании, устроенном года за два до того в Петербурге. Я много наслышался о нём от своих братьев, которым приходилось служить под его началом в Москве.

По приезде в Москву, утром, я отправился навестить

Заварзина. Большинство служащих Московского охранного отделения знало меня если и не лично, то по моим братьям, и знало, конечно, как начальника Саратовского охранного отделения. Я был встречен старшими служащими с какой-то особой предупредительностью. Полковник Заварзин не заставил меня ждать, и я немедленно был приглашён в его кабинет.

После обычных приветствий Павел Павлович спросил меня: «Вы, конечно, знаете, зачем вас вызывают в Петербург?» Я ответил искренне о незнании причины. Он тогда объяснил мне, что меня вызывает для личных переговоров директор Департамента полиции, так как решено моё назначение начальником Московского охранного отделения. «А меня назначают начальником Одесского жандармского управления на место полковника Померанцева, которого переводят в Москву начальником губернского жандармского управления», — сообщил мне Заварзин.

Он был необыкновенный мастер получать в первую голову все новости; я мог не сомневаться, что меня вызывают в Петербург именно по той причине, о которой он мне сообщил.

Не могу сказать, что Павел Павлович, объявляя мне о моём предстоящем назначении на его место, был настроен радостно. Скорее наоборот, несмотря на то что новое предстоящее ему назначение начальником Одесского жандармского управления не могло рассматриваться как понижение по службе и, скорее, формально могло считаться повышением. Но охранных отделений было всего три — в Петербурге, Москве и Варшаве, а жандармских управлений было сравнительно много[156]. Быть начальником одного из этих трёх охранных отделений — это значило быть избранным из одной тысячи жандармских офицеров. В материальном отношении начальники этих трёх отделений были поставлены в исключительно хорошее положение. Когда я занял эту должность в июне 1912 года, то, по чину полковника, я получал около 300 рублей в месяц; 130 рублей в месяц я получал как начальник по совместительству районного охранного отделения, за руководство розыском в губерниях Центрального промышленного района — Московской, Ярославской, Тверской, Смоленской, Калужской, Орловской, Рязанской, Нижегородской и Костромской. Когда в 1914 году эти районные охранные отделения были упразднены, мне лично всё же было сохранено это добавочное содержание. На расходы по агентурным надобностям, на представительство (одних чаевых по служебным визитам у меня выходило около 25 рублей в месяц!) и другие мелкие служебные расходы мне отпускалось тоже 150 рублей в месяц. Впрочем, из них я едва ли мог отложить 50

рублей в месяц. Почти ежемесячно я ездил по служебным делам в Петербург или в поездки по району. Прогонные по ним давали мне в среднем 100 рублей в месяц, так как я имел железнодорожные бесплатные билеты на предъявителя по всем железным дорогам в России. Я получал 2000 наградных к Рождеству и 2000 рублей наградных к Пасхе из сумм градоначальства и 1000 рублей от Департамента полиции. Таким образом, одни наградные составляли сумму более 400 рублей в месяц. К этому надо добавить казённую квартиру из восьми комнат с отоплением и освещением, казённый выезд и бесплатные билеты по железным дорогам и во все московские театры, без исключения. В общем, одно денежное довольствие составляло сумму в 1000 рублей ежемесячно. Штатская одежда тоже оплачивалась Департаментом полиции.

Содержание, как видно из приведённой справки, было «губернаторское»! Таким образом, не говоря уже о том, насколько выше расценивалось положение начальника охранного отделения в Москве по сравнению с положением начальника одного из жандармских управлений, перевод полковника Заварзина в Одессу не мог восприниматься им с удовлетворением. Но он сохранял лицо и уверял меня, что теперь он будет ждать моего приезда в Москву с нетерпением, так как предстоит тяжёлая работа в связи с Высочайшим приездом в Москву на Бородинские торжества. Я, конечно, был снабжён железнодорожным билетом в Петербург и ушёл из отделения, провожаемый плохо разыгрываемой, преувеличенной почтительностью служащих, видевших во мне будущего начальника.

Поезд в Петербург отходил ночью, и я знал, что заботливости моих будущих подчинённых я буду обязан и отдельным купе. Я предложил жене, ввиду столь радостных новостей для меня, увенчавших мою давнишнюю честолюбивую мечту быть начальником отделения по охранению общественной безопасности и порядка именно в Москве, вспрыснуть предстоящее назначение бутылкой шампанского за обедом у «Яра».

По приезде в Петербург мы остановились в «Северной гостинице», что у самого Николаевского вокзала, и я, облачившись в парадную форму, так редко мною надеваемую, отправился немедленно в Департамент полиции. Записавшись на приём у директора, я, пользуясь временем, пошёл к вице-директору Виссарионову, который принял меня на этот раз очень любезно и сразу же объяснил мне, что в Департаменте решено моё назначение в Москву на место Заварзина. Сергей Евлампиевич куда-то спешил, но потребовал, чтобы я снова зашёл

в его кабинет после моего разговора с директором. Повидавшись с полковником Ереминым, тогда начальником Особого отдела в Департаменте полиции, и получив от него те же сведения о моём предстоящем назначении в Москву, я был наконец вызван к директору.

Директором был известный, впоследствии расстрелянный большевиками, Степан Петрович Белецкий. Я был несколько знаком с ним, так как обедал как-то в Саратове вместе с ним у сослуживца по Поволжскому районному охранному отделению, ротмистра С.А. Филевского. Белецкий производил довольно странное впечатление. К его наружности как-то не шла форма чиновника. Грузная, тяжёлая фигура, калмыцкого типа лицо, заросшее лопатообразной, содержимой в беспорядке бородой, российского типа нос картошкой и необыкновенно вкрадчивая, елейная манера обращения не вызывали во мне симпатии.

Как-то я, едучи из Саратова в Казань на пароходе, во время остановки в Самаре обедал в пароходной столовой и разглядывал от нечего делать немногочисленную публику. В столовую вошла дама, уже немолодая, в сопровождении лебезящего чиновника в летней форме, очень потевшего и поминутно обтиравшего мокрое от жары лицо. Это был, как я после узнал, С.П. Белецкий, справлявший тогда должность самарского губернатора и почитавший священным долгом лично проводить на пароход отъезжавшую, по-видимому важную, даму. Белецкий был весь в этих и им подобных проводах, встречах, поддержании нужных знакомств и т. д. На этом он и делал (и сделал) свою удивительную карьеру. Вместе с тем нельзя было отнять у него ума с большой дозой пронырливости; и при неразборчивости в средствах к достижению намеченной цели, при некоторой небрезгливости к людям, любившим ловить рыбу в мутной воде, при наклонности пользоваться услугами людей, годных на все руки, Белецкий ловко протёрся наверх.

А.А. Макаров, ещё в бытность прокурором Саратовской судебной палаты, знал Белецкого и при назначении своём на должность министра внутренних дел остановил выбор на нём при очередном замещении должности директора Департамента полиции.

Правой рукой по политическому розыску у Белецкого стал Виссарионов. Я полагаю, что моё назначение в Москву было подсказано именно этим последним, ибо сам Белецкий едва ли когда-либо чувствовал симпатию ко мне, да и едва ли внимательно следил за моей деятельностью в Саратове.

До своего назначения на должность директора Департамента полиции Белецкий пробыл некоторое время вице-директором

этого Департамента и, при способности быстро разбираться в делах, скоро освоился со своим положением. Однако у него никогда не было подлинной склонности к делам политического розыска, и свою должность он рассматривал просто как удобную ступень к дальнейшей карьере. Такой помощник, как Виссарионов, с головой зарывшийся во все извилины политического розыска, чувствовавший в себе талант розыскного специалиста, был совершенно необходим Белецкому, и при его директорстве ясно чувствовалась во всех наших делах режиссёрская рука С.Е. Виссарионова.

Войдя в кабинет директора, я заметил сидящего в полицейской форме генерала. Белецкий любезно поднялся мне навстречу и в ответ на обычную форму приветствия заявил мне, что он представляет меня к должности начальника отделения по охранению общественной безопасности и порядка в Москве, надеясь, что я в новой ответственной должности выполню ту же отличную работу, как и в Саратове. Не успел я поклониться и поблагодарить директора, как он уже представлял меня сидевшему тут же генералу как нового его подчинённого. Оказалось, что сидевший генерал был московский градоначальник А.А. Адрианов. Генерал сухо со мной поздоровался и предложил зайти к нему в гостиницу, где он остановился.

Белецкий рекомендовал мне пробыть в Петербурге, пока не оформится моё назначение, и заняться в Департаменте полиции изучением переписки Московского охранного отделения и отослал меня для дальнейших переговоров к Виссарионову.

Из дальнейших и обстоятельных переговоров с Виссарионовым я выяснил, что моё назначение в Москву будет продвинуто в спешном порядке, так как в августе ожидается Высочайший приезд в Москву в связи с Бородинскими торжествами и мне предстоит большая и тяжёлая работа с принятием отделения, ознакомлением с секретной агентурой и налаживанием всего розыскного аппарата.

Я поинтересовался, конечно, причиной, вызвавшей столь спешную и, казалось бы, несвоевременную перемену начальника этого отделения, которому, в связи со скорым по времени приездом Государя в Москву, предстояла нелёгкая задача одновременно и принимать все дела, и налаживать охрану, и знакомиться с администрацией.

По объяснению Виссарионова и других старших чинов Особого отдела Департамента полиции я понял, что главной причиной, послужившей к замене Заварзина, явилось следующее обстоятельство. Убийство П.А Столыпина секретным сотрудником

Киевского охранного отделения Богровым, столь оскандалившее систему политического розыска, принудило Департамент полиции к различным мероприятиям, общей задачей коих было удаление секретных сотрудников со всех тех мест, где могло происходить пребывание, проезд или какая-либо торжественная встреча Высочайших особ. «Пуганая ворона куста боится». Эта поговорка может быть смело приложена к мероприятиям, согласно которым заведующему политическим розыском в каком-либо месте, куда предстояло прибыть Государю и его семье, надлежало объявить каждому секретному сотруднику, чтобы он воздержался от появления в местах торжественных встреч, проездов и т. п. Сидите в эти дни дома и не показывайтесь на улице! — вот, собственно, к чему сводились мероприятия в отношении секретных сотрудников в дни торжеств.

Пускай читатель сам представит себе ту нелёгкую и весьма тонкую задачу, которая выпадает при этом на долю начальника местного розыска. При постоянных личных сношениях с секретными сотрудниками у каждого начальника местного политического розыска должны быть установлены с ними более или менее доверительные отношения. Были сотрудники, ёжившиеся от высказываемого им или почувствованного ими недоверия. Такому сотруднику было, вероятно, не очень-то приятно выслушать требование сидеть дома и не показываться. Короче говоря, от такта начальника местного розыска зависело, будут ли преподнесены сотруднику в приемлемой форме новые мероприятия Департамента полиции.

Как именно в прошлом выполнял эти мероприятия полковник Заварзин, неизвестно. Он утверждал, что выполнял. Но один из его сотрудников, весьма несерьёзный по своему значению в местном подполье, всё же оказался где-то на линии Высочайшего проезда в Москве. Один из филеров отделения узнал в нём когда-то наблюдаемого им, и он был задержан.

Надо сказать, что полковник Заварзин, несмотря на всю примитивность своей натуры, недостаточное общее развитие, на, так сказать, «малокультурность», всё же после четырнадцатилетней службы в жандармском Корпусе обладал практикой розыскного дела. Главное же, он обладал очень неглупой супругой, которая руководила негласно, хотя временами весьма заметно, вплоть до писания официальных бумаг, всеми делами своего мужа. Полковник Заварзин, в эмиграции генерал «азербайджанского производства», издал в 20-х годах небольшую по объёму и малозанимательную книгу своих воспоминаний, озаглавив её «Работа тайной полиции»[157]. Если кто-либо из моих читателей удосужился прочесть эту книжку, то

мне, пожалуй, не надо доказывать того, что её автор был смещён с должности начальника Московского охранного отделения не только за упущения по проведению в жизнь мероприятий Департамента полиции, но просто по несоответствию своему к этой сложной должности. Несмотря на некоторые дефекты в «общей культурности», на наличие «упрощённого кругозора», а может быть, именно благодаря им, полковник Заварзин пользовался в кругах московского градоначальства известной популярностью. К его друзьям принадлежал бывший в то время помощником градоначальника полковник В.М. Модль, впоследствии, при антинемецкой волне, переменивший, как и многие другие русские немцы, свою фамилию на Маркова.

Полковник Модль в прошлом был жандармским офицером и одно время помощником начальника Петербургского охранного отделения, где он заведовал главным образом канцелярией отделения. Не соприкасаясь непосредственно с самой главной отраслью каждого охранного отделения — с секретной агентурой и не будучи, таким образом, специалистом этого дела, Модль всё же, опираясь на свою бывшую должность, любил показать себя при случае экспертом в деле политического розыска. Ловкий и понимающий несложные проблемы, полковник Заварзин во всём, касающемся политического розыска, искал совета у полковника Модля и заслужил его полное расположение. Этим манёвром полковник Заварзин снискал себе быстро доверие у градоначальника Адрианова, который, как бывший военно-судебный чин, мало понимал в тонкостях политики вообще и, в частности, в делах политического розыска. Не понимая дела сам, Адрианов полагал, что его помощник, полковник Модль, как бывший жандармский офицер, да ещё помощник начальника Петербургского охранного отделения, одобряя полковника Заварзина, выдаёт ему аттестат вполне подходящего к своей должности человека.

Полковника Модля я знал несколько ещё за время моей службы в Петербургском губернском жандармском управлении. Я тогда был ротмистром и офицером резерва, да ещё только начинающим, а Модль тогда хотя и был тоже ротмистром, но в должности помощника начальника охранного отделения. По нашей неписаной жандармской табели о рангах между нами была пропасть. Модль помнил меня, конечно, но помнил как начинающего, а ныне увидел меня «пролезшим» «почему-то» и «по каким-то проискам» к должности начальника Московского охранного отделения. Ему было неизвестно, насколько я окажусь самостоятельным в новой должности и насколько, в соответствии с этим, он потеряет как «эксперт» во мнении градоначальника.

Мне заранее готовилась холодная встреча.

В соответствии с этим Адрианов оказался весьма равнодушно-неприветливым во время нашей первой встречи в кабинете директора Департамента полиции, а когда я, согласно выраженному им желанию, отправился незамедлительно к нему в гостиницу, то оказалось, что генерала «нет дома» в им же самим назначенное время! Впоследствии, и уже после ухода с должности полковника Модля-Маркова, генерал Адрианов откровенно сознался мне, что Модль всё время восстанавливал его против меня.

Мне предстояло прожить в Петербурге недели две, дожидаясь оформления моего назначения. С получением его я стал числиться, согласно положениям на этот предмет, по Министерству внутренних дел, и приказ о моём назначении представлялся на утверждение подписью Государя. Конечно, это все были формальности, но они требовали времени.

Я стал проводить весь день в Департаменте полиции, знакомясь по переписке с делами текущего момента, касающимися деятельности Московского охранного отделения. Наконец, после почти двухнедельного проживания в Петербурге, все формальности, связанные с моим назначением в Москву, были кончены. Я снова представился директору Департамента уже как начальник отделения и поспешил выехать в Москву. Моя жена уехала в Саратов ликвидировать нашу скромную домашнюю обстановку и приготовить всё к переезду в Москву, а я на другое утро выходил из поезда на перрон Николаевской железной дороги, где с официальным рапортом встречал меня мой помощник, заведующий канцелярией отделения, подполковник Турчанинов, офицер, с которым мы когда-то, впрочем, всего 11 лет назад сидели на одной скамье, слушая курсы при вступлении в дополнительный штат Отдельного корпуса жандармов.

На казённом экипаже мы отправились в Отделение по охранению общественной безопасности и порядка в г. Москве, где меня ждали собранные чины отделения, более или менее свободные в это время.

Согласно общему правилу, если уходящий с должности начальник отдельной части по своему чину выше вновь назначаемого, эта часть представляется новому начальнику его помощником; таким образом, полковник Заварзин, как старший меня по чину, не принимал участия в моём ознакомлении и приёме с чинами отделения. Меня сопровождал подпоручик Турчанинов при обходе помещения отделения и представлении мне служащих. Конечно, я предварительно отправился прямо в служебный кабинет начальника отделения и, снова встретясь с

полковником Заварзиным, прежде всего оформил сдачу и приём должности.

Когда по завершении всех формальностей, связанных с передачей дел, мне было доложено, что офицеры отделения собрались для представления мне в кабинете моего помощника, я начал свой первый официальный обход вверенного мне отделения.

Чтобы описать волновавшие меня тогда чувства, связанные с вступлением в новую и ответственную должность, которая мне представлялась как давно лелеемая мной честолюбивая мечта в розыскной карьере, я должен сделать небольшое отступление и увести читателя в бытовую обстановку до некоторой степени «старой Москвы» и моего детства и отрочества. Это необходимо для понимания того настроения, которое охватило меня при обходе мной помещения, занимаемого Отделением по охранению общественной безопасности и порядка в г. Москве.

Первые воспоминания о моём «детстве и отрочестве» относятся к старой Москве 80-х годов.

В области быта это ещё кое-где доживающие сальные свечи, особо памятные мне не по их прямому назначению — жечь, а по тому, что, чуть простудился, смотришь, наша старая нянька Анна (вынянчившая всех нас трёх братьев) уже вырезает из синей картонной бумаги надлежащий овал и капает на него с зажжённой сальной свечи большие расплывающиеся на картоне капли; эту просаленную картонную неприятно жёсткую бумагу она кладёт на мою грудь и спину и забинтовывает меня наглухо; я — точно в латах. Это от кашля, от простуды вообще. А наш постоянный и популярный тогда в Москве «детский» доктор Рахманинов говорит — «от гриппа».

Наша сверхзаботливая о нас, детях, мать то и дело вызывает на дом этого доктора. Я, как сейчас, помню его симпатичное «интеллигентско-докторское» лицо в очках, заросшее небрежно содержимой бородкой. Доктор сидит у моей постели и задумчиво бормочет: «Что бы это ему прописать?» Болезнь, видимо, несерьёзная, а матери моей кажется всё же серьёзной.

Появляются, однако, новые, «стеариновые» свечи, зажигаются лампы, дающие такой скромный свет, что мы теперь, при ослепительном электричестве, не могли бы читать, так темен показался бы нам тот керосиновый свет!

В гостиной у нас, как «у всех», стоит красного бархата «гостиная» мебель, пред диваном овальный стол с неизбежными альбомами и лампа под бумажным абажуром с прорезанными овалами, в которых хранятся засушенные цветы.

В театрах и цирке горит газ; с люстр свешиваются зажигательные нитки; капельдинер с длинной палкой, на которой прикреплена зажжённая свеча, неторопливо поджигает эти нити, огонь быстро скользит по ним, и вспыхивает яркий, как казалось тогда, газ…

Водопровода нет; на площадях по утрам съезжаются водовозы с бочками, по очереди наполняют их, слышится неизбежная «водовозная» брань. Воду развозят по домам. В домах, на кухне, стоят большие бочки для хранения этой воды, закрытые деревянным кругом; кухонная плита, разожжённая докрасна всё время подкидываемыми поленьями, сложенными аккуратной грудой в сенцах… На кухне, куда мы, дети, постоянно забираемся, мать выбирает груду мороженых рябчиков, твёрдых как камень, принесённых нашим постоянным поставщиком мяса, дичи и рыбы — торговцем «вразнос», бойким ярославцем, или на той же кухне мы застаём регулярно появляющегося за очередной помощью спившегося чиновника Михаила Ивановича, которому почему-то мой отец считает своим долгом помочь, хотя известно, что Михаил Иванович всё ему данное сейчас же пропьёт; по своему «гриму» — это Любим Торцов из «Бедность не порок»; он получает то пальто, то пиджак, то рублёвку и исчезает, торопливо допивая ненужный ему стакан чая с сайкой от Филиппова… Мать советуется с кухаркой о предстоящем завтраке, к которому соберутся обычные завсегдатаи. Это Иван Ильич Барышев, он же известный Мясницкий, популярный поставщик бойких водевилей, идущих «у Корша», он же неутомимый фельетонист местной «жёлтой» прессы… Впрочем, тогда ещё такую прессу не называют «жёлтой». Другой посетитель — Михаил Александрович Саблин из «Русских ведомостей», старый русский либерал; его внук докатился ко времени революции до анархизма… Саблин весельчак, как и Барышев, хватает нас, детей, на руки, грозит выкинуть в окно, мы пугаемся. Помню и известного издателя календаря Гатцука, типографа Родзевича, присяжного поверенного Павла Михайловича Бельского, постоянно баловавшего нас, детей, подарками. В разговоре упоминаются имена других знакомых отца: Козьмы Терентьевича Солдатенкова (московский миллионер!), Плевако.

Общее смятение при известии об убийстве Александра II. Коронация Александра III; мы сидим на специально возведённых трибунах. События общие и семейные мелькают в памяти отрывками.

Отец — человек «американской складки», всю жизнь что-то делал, что-то «предпринимал», издевался над теми, кто предпочитал «стричь купоны», любил создавать, творить, имея в

виду «общую пользу». Согласно общему уклону тогдашней интеллигенции он тянул влево, но как-то без системы и плана. Николая I он называл иногда в раздражении «Николаем Палкиным», о «декабристах» отзывались у нас дома с почтением, но, гуляя по Тверскому бульвару, и отец и мать часто с неудовольствием замечали: «Невозможно стало гулять по бульвару, один простой народ!»

У отца была широкая натура: пойдёт или чаще поедет в Охотный ряд — это известный рынок в центре Москвы — и накупит всего столько, что хоть целую роту кормить. Отец «издательствовал», завёл свою типографию, увлёкся этим делом, стал «специалистом» и, наконец, принял должность заведующего городской типографией, чтобы по просьбе городского головы, его приятеля, «навести там порядок»! У отца была репутация отменно честного человека, да он и был при многих недостатках своих, вполне, впрочем, человеческих, отменно идеалистически честным человеком.

Я ещё не поступил в кадетский корпус, когда мы переехали из собственного дома на казённую квартиру, отведённую отцу по его новой должности. Эта квартира помещалась тогда как раз в том самом надворном двухэтажном угловом флигеле, выходящем в Гнездниковский переулок из огромной по размерам внутренней дворовой площади, занимаемой различными строениями на территории московского градоначальства (тогда обер-полицеймейстера!), где после было помещено Отделение по охранению общественной безопасности и порядка в г. Москве.

Таким образом, вступая в 1912 году в должность начальника этого отделения, я входил в тот самый дом, часть которого была некогда квартирой, где я провёл несколько прекрасных лет моего «детства и отрочества»!

Какая волна воспоминаний нахлынула на меня, когда я входил в качестве начальника в ту часть дома, где расположена была теперь канцелярия отделения, а тогда это были: наша общая для трёх братьев детская, гостиная, спальня родителей; в нашей столовой теперь был кабинет моего помощника. Каким маленьким показался теперь небольшой садик у дома и каким поместительным казался он нам, детям, раньше, когда мы играли в казаки-разбойники, в палочку-выручалочку, в бабки, в городки!

Вот я подхожу к столу помощника делопроизводителя; этот стол стоит примерно на том самом месте, где стояла моя кровать в нашей детской… Этот чиновник почтительно докладывает мне что-то о своей службе и о ряде его текущих занятий, а я под роем нахлынувших воспоминаний гляжу на старый паркет этой комнаты, который около четверти века тому назад был ареной

наших детских игр; вот изразцовая печь, несомненно та же, об угол которой незадачливо как-то ударился головой наш гувернёр-француз месье Кондамин, живший у нас в доме «для практики во французском языке»; ударился, потому что мой брат дал ему подножку и был за это примерно высечен…

Я, невольно улыбаясь этим воспоминаниям, иду дальше, слушаю доклады подчинённых, но сам весь в прошлом…

Громадная по объёму площадь, занимавшаяся московским градоначальством и выходившая своей парадной стороной на Тверской бульвар, а другими в смежные: Большой и Малый Гнездниковские переулки, принадлежала во время Наполеонова нашествия старинной дворянской семье, фамилию которой я теперь не припомню. Маршал Бертье расположился со своим штабом в главном доме, постройки, кажется, Кваренги, со всей импозантностью его классического стиля во внешней и внутренней декоровке зданий и со всей непригодностью его к чисто бытовой стороне жизни. Прислуга маршала и различные чины его штаба разместились в многочисленных флигелях этой старой помещичьей московской усадьбы, расположенной в центре столицы. Наша скромная квартира тогда, в 1812 году, была отдана или, вернее сказать, «реквизирована» под поварскую часть штаба маршала. Этот двухэтажный флигель, выходящий в Большой Гнездниковский переулок, был расположен углом, из окон второго этажа они могли любоваться огромным садом особняка известного Лианозова.

Отец мой, «разойдясь во взглядах» на управление делами типографии, оставил сам эту покойную и хорошо оплачиваемую должность в 1889 году и снова пустился в различные дела: выстроил дом, прежний дом продал, стал издавать газету, издавал первый по времени «Энциклопедический словарь», потерял на этом предприятии почти всё состояние и уехал по приглашению известного Табурно на постройку сибирского железнодорожного пути.

Городскую типографию вскоре перевели в отдельное помещение, насколько я помню, в Козицком переулке, а в этот двухэтажный флигелёк разместили отделение по охранению общественной безопасности и порядка, причём квартира начальника отделения стала занимать внутреннее крыло этого флигеля.

В административном отношении Москва была управляема с отеческим попечением, ибо древняя столица проявляла в 80-е годы все те внешние признаки политического затишья, которое было так характерно для царствования Императора Александра III.

«Хозяином» первопрестольной был князь Владимир Андреевич Долгорукий; я его часто встречал на улицах едущим в покойной коляске. Старичок был аккуратно «приготовлен» для публичного появления своим камердинером и, главное, парикмахером (слово это было весьма кстати в этом случае: князь носил парик!): тщательно нагримирован, усики подстрижены…

У нас дома за столом я слышал, как фрондирующий отец говорил многозначительным тоном: «А Андреев-то, совсем погибает: всю прибыль Долгорукий съедает!» Андреев был владельцем большого в то время винно-гастрономического магазина на Тверской площади (позже Скобелевская!), как раз наискось от дома генерал-губернатора. Злые языки утверждали, что Андреев никак не может получить с князя Долгорукого деньги за поставляемые продукты к генерал-губернаторскому столу.

Помню хорошо обер-полицеймейстера генерала А.А. Козлова; он бывал у нас в доме; из административных лиц у нас бывали популярный полицеймейстер генерал Огарев и правитель дел канцелярии обер-полицеймейстера Соболев; это был очевидно человек всесильный и знаток дел, но однажды скромно ответил отцу: «Я только чернильница Его Превосходительства!»

Полиция в то время была как-то «не на виду»!

Театр занимал огромную роль в столичной жизни того времени, как и крупные рестораны, и театральная жизнь, её нравы, её герои были излюбленными и неизбежными темами как домашних бесед, так и в прессе.

Итальянская опера и своя, доморощенная, но блещущая талантами оперетка Лентовского с его знаменитостями: Зориной, Бельской, Родоном, Давыдовым и позднее Клементьевым — собирали полные залы…

Летом москвичи ехали в «подмосковные» дачи. С начала мая тянулись по улицам возы с домашним скарбом и городской мебелью; москвичи покидали свои квартиры до осени. В этих «подмосковных» бывал неизбежный «танцовальный круг» с весьма невзыскательной публикой и с совсем плохим оркестром, а то и просто «под рояль»; публика — молодёжь — танцует кадриль, мазурку и вальс, прямо на пятачке круга. Расходятся по домам засветло.

Было тихо: грабежей что-то не было слышно. Если и случалось, то почему-то говорили: «Здесь пошаливают!»

В нашей семье почти не было военных; мой двоюродный брат Леонтьев был отдан в кадетский корпус в Петербурге; не знаю, подействовал ли этот пример, но моего старшего брата вслед за этим «определили» в 3-й московский кадетский корпус, который оставался тогда последним «приходящим» корпусом; живущих в

нём кадет не было вовсе. Это отдавало духом ушедших в прошлое военных гимназий.

Вслед за братом и меня отдали в тот же корпус. Я скоро догнал брата, а он, хотя и очень способный, но предельно ленивый, «подождал» меня, и мы окончили кадетский корпус одновременно.

С пятого класса я начал усиленно читать; дома поощряли чтение, театр и искусство вообще.

Главными моими увлечениями были чтение и рисование. Я поглощал неимоверное количество книг и много бумаги отдавал рисованию. Одно время стал подумывать о поступлении в Академию художеств, но убоялся (и справедливо!), что у меня нет подлинного дарования. Любовь и склонность к «изящным искусствам» у меня осталась навсегда, и когда в Москве 1917 года моя казённая квартира подверглась разгрому толпы, а затем была осмотрена какой-то скороспелой комиссией, то в одной из московских газет появился фельетон «Эстет», автором которого был небезызвестный литератор Осоргин, посвятивший его мне и, как ему казалось, ядовито высмеивавший две столь начальственные склонности: политический розыск и изящные искусства. Не знаю, было ли известно Осоргину или нет, что только благодаря моей благожелательной резолюции Осоргину разрешено было возвратиться в Россию из состояния подневольной эмиграции за границей. Дело происходило так: Осоргин проживал на положении политического эмигранта, кажется, в Италии, и, насколько я помню, не то в 1913-м, не то в 1914 году подал на Высочайшее имя смиреннейшее прощение, изложенное в удивившем меня тогда «униженном» тоне, о разрешении ему вернуться на родину. Прошение это поступило в порядке переписки на рассмотрение московского градоначальника, а последний передал его мне на заключение. Отлично понимая безвредность Осоргина, я составил благоприятную справку, и Осоргин возвратился в Москву. Должен сказать, что характер изложения осоргинской просьбы на Высочайшее имя — есть одно из его лучших литературных произведений!..

«Бесы» Достоевского и Лесков твёрдо определили моё тяготение к государственности, порядку и отвращение к нашей всё отрицавшей интеллигенции. Это настроение кристаллизовалось во мне с годами, и переход со службы в строю в Отдельный корпус жандармов не вызывал во мне каких-либо сомнений…

* * *

В кабинете моего помощника были собраны для представления мне офицеры, как состоящие в штате чинов отделения, так и прикомандированные к нему. В числе последних находился бывший начальник Витебского губернского жандармского управления полковник В.М. Ламзин, отчисленный от должности, по-видимому, «по несоответствию». Это был уже пожилой полковник, надеявшийся на восстановление своё в должности начальника какого-либо другого жандармского управления и так и не дождавшийся этого, а уволенный в отставку года через три после моего вступления в должность. Ушёл он с чином генерал-майора в отставке.

Остальные офицерские чины были преимущественно обер-офицеры. Среди них оказался ротмистр Якубов, с которым меня связывала юнкерская скамья в Александровском военном училище, но ротмистр тогда был на старшем курсе и взводным унтер-офицером, а я на младшем курсе и у него во взводе… Теперь роли переменились.

Из всех представлявшихся мне офицеров я знал только двух: моего помощника, мрачного по характеру и молчаливого ротмистра Турчанинова, и вот этого Якубова.

Расспросив каждого офицера об его прежней службе и о той отрасли дела, которая ему поручена в отделении, я обратился к ним с небольшой речью, в которой, как обычно в таких случаях, призывал к содействию мне в предстоящей работе, причём особенно отметил два фактора в наших будущих взаимоотношениях: я указал на то, что, давно считая Московское охранное отделение образцом среди розыскных учреждений, я намерен все силы употребить на то, чтобы эту репутацию отделения поддержать на должной высоте, и мне нужны знающие и интересующиеся розыском помощники; только такие именно офицеры смогут рассчитывать на дальнейшее продвижение, подтвердил я и как на второй фактор указал на то, что в моём лице они видят достаточно опытного розыскного деятеля, у которого они могут получать все нужные им разъяснения и указания.

Таким образом, внешнее, спешное ознакомление моё с моими подчинёнными произошло. Мне предстояло распределить время на служебные и различные официальные представления и визиты, на ознакомление с секретными сотрудниками, на очередные переписки и наиболее срочные и важные «дела» в отделении и на рассмотрение всего, связанного с ожидавшимся Высочайшим приездом.

Немедленно же началась моя страда. Для удобства и чтобы быть всегда на месте, я, в ожидании отъезда Заварзина,

расположился «лагерем» в одной из комнат отделения. Мой предшественник не предложил мне разместиться в одной из восьми комнат моей будущей квартиры, хотя вся его семья состояла из двух лиц: супруги и его самого. Когда делопроизводитель отделения Сергей Константинович Загоровский по моей просьбе составил список лиц, которым мне надлежало, по его мнению, нанести официальные визиты, я просто пришёл в смятение. Если бы этому делу я уделил хоть часа два ежедневно, всё равно я смог бы окончить эти визиты, пожалуй, только к Рождеству! Я благоразумно сократил их наполовину, а потом ещё наполовину.

Немедленно по приезде в Москву я отправился к своему прямому и непосредственному начальнику, градоначальнику генерал-майору Адрианову, с которым мимолётно виделся в кабинете директора Департамента полиции.

В прошлом военный юрист, выдвинувшийся своею непреклонностью в приговорах по беспорядкам в среде нижних чинов в беспокойные 1905–1906 годы, Адрианов почему-то и кому-то показался способным так же непреклонно и твёрдо охранять порядок в Москве. Я застал его уже в качестве «опытного» администратора. При ближайшем знакомстве оказалось, что Адрианов прежде всего человек, не имеющий необходимых влиятельных и светских связей. Это был для высших кругов человек не свой. Ему надо было быть всегда начеку, держать нос по ветру, угадывать настроение, нравиться всем и заискивать у всех. Положиться на такого человека любому из его подчинённых было нельзя. Чувствовалось, что он предаст любого, если это понадобится в чьих-либо интересах. По натуре своей это был человек кабинетной складки. Толпы он не любил. По характеру сухой, малоприветливый, хотя и представительной наружности, у него не было интереса к делу. Поддержание «на улицах» порядка он предоставил своему помощнику, полковнику Модлю, который скоро приспособился к этой работе, и не будь он столь порывист и неуравновешен, он был бы вполне на месте. Административная часть градоначальства находилась в руках помощника по гражданской части, бывшего товарища прокурора Петербургского окружного суда Карла Карловича Заккиты. Это был мой старый знакомый по Петербургскому губернскому жандармскому управлению, где он наблюдал за производством жандармских дознаний.

Итак, оба помощника градоначальника оказались русскими немцами. Но если [б] кто-либо проследил лестницу их родословной, то несомненно установил, что один из них, хотя и полковник, был, как теперь принято говорить, не арийского

происхождения, а другой несомненный латыш!

Вся канцелярия московского градоначальника была в ведении управляющего И.К. Дуропа, кажется, лицеиста по образованию. Его отец был известный составитель учебника тактики, по которому мы, юнкера всех военных училищ, обучались.

Дуроп-сын не отличался талантами и даже не мог управлять порученной ему канцелярией. Сам он никаких докладов градоначальнику не делал. Его заменяли делопроизводители, каждый по своему делопроизводству. Положение курьёзное, но Дуроп его переносил стоически. Адрианов его вообще не переносил, но терпел по другим причинам. У Дуропа были связи: его сестра, Ольга Константиновна, была женой С.П. Белецкого. Для такого человека, как Адрианов, это было решающим мотивом. Кстати сказать, жена Белецкого была прехорошенькая женщина.

Из шести московских полицеймейстеров особенно заметной и популярной личностью был уже пожилой русский, из греков, Золотарев. Я помнил его ещё с кадетских времён. В 1912 году он уже носил на груди, увешанной всевозможными, особенно иностранными, орденами, пряжку за сорокалетнюю службу в офицерских чинах. Человек он был общительный и ласковый в обхождении.

Двое из московских полицеймейстеров, генерал-майор Миткевич-Желток и генерал-майор барон Будберг, во время войны ушли на фронт. Состав наружной полиции, по крайней мере в его старших чинах, т. е. приставов, мало изменился с того времени, когда я служил в Московском жандармском дивизионе, и многие из них встретили меня как старого знакомого.

В разговоре со мной Адрианов отозвался очень хорошо о моём предшественнике и расспросил о моей прежней службе. Всё его внимание было сосредоточено, впрочем, на ожидавшемся Высочайшем приезде. Приём, оказанный мне, был сух и несколько холодноват. Приём, оказанный мне полковником Модлем, был совсем холоден. А «Карлуша» встретил меня как старого и доброго знакомого.

Я находился по своей должности в подчинении у градоначальника. Это было прямое и полное подчинение. По той же должности я находился также в прямом подчинении у директора Департамента полиции по всем вопросам, касавшимся политического розыска. Я находился, кроме того, в подчинении командира Корпуса жандармов по вопросам чисто строевого характера, поскольку я сам состоял в этом Корпусе, а несколько офицеров Корпуса числилось в моём отделении. Начальства было много!

Кроме этого прямого начальства я, по должности, имел ещё и другое начальство в лице «главноначальствующего» — должности, созданной в Москве во время войны и занимаемой двумя, по очереди, лицами, о которых речь впереди. Это были известный князь Феликс Юсупов, граф Сумароков-Эльстон и генерал от артиллерии И.И. Мрозовский. Я имел у них постоянные доклады, и их мнение обо мне, конечно, играло большую роль в моём служебном положении.

Оценить мою пригодность к службе мог и прокурор Московской судебной палаты, которому я освещал общее положение и общественное настроение, и, пожалуй, даже гражданский губернатор, которому я освещал те же вопросы. Впрочем, последние два сановника не были начальством в точном значении этого слова, но они могли оказаться в будущем начальством. Так, прокурор Московской палаты А.В. Степанов стал товарищем министра внутренних дел, московский губернатор Вл. Фед. Джунковский стал командиром Отдельного корпуса жандармов и товарищем министра внутренних дел по заведованию полицией. Оба они стали моими прямыми начальниками, имея уже оценку моей деятельности.

Такое обилие и разнообразие начальства и предполагаемых начальств требовало большой приспособляемости и уменья проникать в людские характеры. Это отнимало очень много времени от прямого дела.

Чтобы дать правильный ответ на вопрос, что представляло собою охранное отделение в Москве в то время, я должен разбить его на две части, т. е. дать оценку той секретной агентуре, которая находилась в то время в моём распоряжении, и тем чинам отделения, которые состояли в нём на службе.

Количественно число секретных сотрудников доходило примерно до ста человек. Конечно, сам начальник отделения не мог постоянно и регулярно видеться с таким количеством сотрудников. Просто не хватило бы времени. Да в этом и не было особой нужды. В распоряжении его состояло несколько жандармских офицеров, между которыми и было распределено руководство этими сотрудниками. Только наиболее серьёзная, важная, «центральная» по своему назначению агентура находилась в непосредственном ведении самого начальника. У каждого из жандармских офицеров, моих помощников по розыску, числилось примерно от восьми до десяти секретных сотрудников, причём эта агентура распределялась соответственно тем организациям, партиям или группам, которые она освещала.

Таким образом, секретные сотрудники, которые, скажем, освещали подпольную деятельность московской организации

Партии социалистов-революционеров, находились в распоряжении и под руководством одного жандармского офицера; те сотрудники, которые освещали деятельность московских организаций социал-демократической рабочей партии, находились под руководством другого; освещавшие студенческие группы или вообще настроения в учебных заведениях Москвы находились в распоряжении третьего офицера и т. д.

Конечно, с моим вступлением в должность мне пришлось лично познакомиться, а в связи с ожидаемым Высочайшим приездом ознакомиться в спешном порядке, со всеми секретными сотрудниками. Если на каждое такое свидание с секретным сотрудником, происходившее на одной из пяти или шести имевшихся тогда конспиративных квартир, надо было потратить в среднем часа два времени, ясно, что я, при обременённости другими спешными делами, не мог провести это ознакомление раньше месяца. К тому же, многие из свиданий я должен был повторить, прежде чем окончательно передать сотрудника в непосредственное распоряжение кого-либо из подчинённых мне офицеров.

В 1912 году в связи с общим развалом подпольных революционных организаций в России более или менее энергично проявляла себя только московская организация социал-демократов. Других подпольных групп, собственно говоря, не было, не могло быть, а если они и были, то на бумаге, а не в жизни.

В связи с этим общим положением секретная агентура Московского охранного отделения того времени была наиболее сильной именно по освещению деятельности московских организаций эсдеков.

Я должен отметить, что ко времени моего вступления в должность начальника отделения оно обладало исключительно сильной и осведомлённой агентурой по освещению как местного большевистского подполья, так и тех меньшевиков, которые как-то и что-то старались организовать по кооперативному движению.

Впрочем, достаточно назвать имя известного Малиновского, по ремеслу слесаря, по званию члена Государственной думы и по скрытому положению — секретного сотрудника Московского охранного отделения, чтобы получить ясное представление о том, насколько полно освещалось не только одно московское большевистское подполье, но и большевистский центр с Лениным во главе (пребывавшим в то время в Австрии) и многие из провинциальных организаций партии.

Кроме Малиновского Московское охранное отделение имело

ещё весьма осведомлённую агентуру, освещавшую московский центр этой же партии, и, таким образом, путём перекрёстного осведомления всегда могло быть в курсе всех начинаний большевистского подполья и имело возможность проверять данные одного сотрудника сведениями, исходившими от другого.

Благодаря этой осведомлённости Московское охранное отделение не только могло давать Департаменту полиции совершенно точные сведения о всех фазах деятельности большевистских организаций, но и путём своевременных ликвидаций их деятельности держать большевистское подполье в состоянии или полного распада, или беспрерывных, но всегда бесплодных усилий по налаживанию связей.

На одной из заграничных конференций большевиков с участием Ленина (примерно в 1914 году) была даже вынесена резолюция с порицанием бездеятельности, которую проявляло Московское областное бюро партии и которая была достигнута тем, что из двух или трёх членов этого бюро один был мой секретный сотрудник, действовавший, или, вернее, бездействовавший, по моим указаниям[158].

Конечно, не все мои секретные сотрудники были столь же ценны. Было много так называемой вспомогательной агентуры, которая часто, не будучи полезной в то относительно тихое время, тем не менее по своим революционным связям или по своей пронырливости могла оказаться в нужный момент полезной.

Вот эту-то оценку потенциальной возможности московской агентуры мне и предстояло разрешить при ознакомлении с сотрудниками. В способности произвести такую правильную оценку и лежит главная заслуга начальника политического розыска, равно как и в умении в нужный момент направить силы той или иной агентуры на освещение нового и только нарождающегося политического движения.

Перезнакомившись лично со всеми секретными сотрудниками и перегруппировав их по своему усмотрению, я оставил около шести или семи сотрудников под своим руководством. С частью из них я виделся только лично сам, один; часть же, именно та, что освещала большевистское подполье, руководилась мной с помощью жандармского офицера, ротмистра Василия Григорьевича Иванова.

Из оставленных под моим личным руководством выделялось двое сотрудников, о которых мне хотелось бы сказать особо.

Один из них, Иван Яковлевич, был австриец по происхождению, человек очень развитой и интеллигентный, интересовавшийся не только одной политикой, но хорошо

разбиравшийся во всех вопросах, относящихся к искусству, литературе, театру, прессе, и знавший в Москве всех сколько-нибудь выдающихся общественных деятелей[159]. Он работал в «Русском слове»[160], у Сытина.

В редакции каждой газеты, такой крупной, как «Русское слово» в особенности, получалась громадная информация, из которой три четверти, по разным причинам, никогда не появлялось на страницах газеты, а шло в редакционную корзину; так как большинство сотрудников этой газеты и информация были пропитаны свойственной тому времени интеллигентской оппозицией, то иметь сведения о всём том, что говорится в редакционном кабинете газеты, о том, что обсуждается без цензуры, представлялось немаловажным для начальника охранного отделения того времени.

Благодаря Ивану Яковлевичу я отлично был осведомлён не только о всём внутреннем распорядке в редакции газеты, о характере наиболее видных сотрудников её, о взаимоотношениях их с И.Д. Сытиным, с редактором В.М Дорошевичем, но и о всём том, что обсуждалось, критиковалось и взвешивалось на редакционных весах. Я знал общественное настроение Москвы, поскольку оно находило отзвук у газетных «делателей» этого настроения. Я знал суждения, высказываемые на секретных заседаниях кадетских деятелей или даже на заседаниях лидеров различных, народившихся во время войны общественных группировок, как, например, Военно-промышленного комитета, знал об его действительной, а не показной активности, об его взаимоотношениях с рабочей группой комитета, о земских и городских деятелях и т. д., и т. д.

Конечно, это мне не мешало иметь и другую агентуру в этих общественных организациях. Для характеристики значения агентуры и моей осведомлённости я приведу такой факт. Однажды, летом 1916 года, будучи по делам службы в Департаменте полиции, я был встречен на докладе у директора Департамента А.Т. Васильева следующими словами, сказанными им с нескрываемым удовольствием по поводу только что полученного им от меня доклада об одном из секретных заседаний лидеров Военно-промышленного комитета: «Вы что же, всё от самого Рябушинского узнали? Он у вас сотрудником состоит, что ли?»

Иван Яковлевич, высокий, красивый брюнет с аккуратно подстриженной бородой, был человек с определённым уклоном в сторону государственности и положением своим как секретного сотрудника никак не тяготился. Деловые сношения с ним носили лёгкий и, я бы сказал, приятный характер. Занимательный

собеседник, спокойный и воспитанный человек, большой эрудит, он любил потолковать, и поэтому наши конспиративные свидания неизбежно затягивались. Найдя во мне собеседника, способного поддерживать разговор не только исключительно на политические темы, Иван Яковлевич стал охотнее относиться к нашим периодическим собеседованиям и часто приносил с собой им же самим прекрасно написанные, как бы готовые доклады для моего начальства, в которых он предлагал вниманию разные «предупредительные» меры к «обузданию» газетчиков или к «негласному влиянию» на печать и т. п.

Эти доклады я иногда мог почти без всяких поправок отсылать в Департамент. Стенографии я не знал; записывать рассказ секретного сотрудника приходилось вкратце и бегло; почерк у меня, особенно когда пишу быстро, совсем скверный, и поэтому восстанавливать весь рассказ дома, за письменным столом, было иногда совсем не так просто.

Для вящей конспирации этому сотруднику, сильному брюнету, был присвоен нежный псевдоним «Блондинка».

Когда-то, беседуя со мной на тему о возможности негласного правительственного влияния на нашу оппозиционную печать, Иван Яковлевич выразил удивление по поводу отсталости высших государственных лиц:

— Они все вертятся вокруг вопроса о создании своей газеты. Неужели же они думают таким способом создавать общественное мнение? Кто будет верить этой газете? Нет, надо сделать так, чтобы желательные правительству взгляды были исподволь высказаны теми публицистами, которые сейчас создают общественное мнение и настраивают публику оппозиционно. Как же это сделать? Конечно, только не путём своей газеты. Надо приблизить, приручить, а кое-где и просто купить!

Тут Иван Яковлевич конкретизировал свои мысли:

— Видите ли, чтобы воздействовать на публициста, надо знать его слабые места и на них-то и действовать. Скажем, к примеру: Дорошевич. Беру нужного и из больших большего! Имейте в виду: это сноб! Да ещё какой! Ну и подходите к нему с этой стороны. Человек-то поднялся с литературных задворок! Его мать, тоже газетный рецензент, которую пренебрежительно звали Соколиха[161], сама с удивлением взирала на возрастающую популярность своего сынка и ласково говорила: «А мой-то подлец каков!» Выкарабкавшись наверх, достигнув материального благополучия (что-то около 200.000 рублей в год у Сытина!), Дорошевич внешне стал барином, но внутренне, втайне, мечтает об укреплении связей с высшими. Так вот, обойдитесь с ним умело, ласково, окажите этому фанфарону внимание, удостойте

его каких-то там «приёмов», что ли; вообще, действуйте по-европейски и потихонечку и полегонечку затягивайте его какими-нибудь отличиями. Если продумать эту линию поведения, то возможно, очень возможно!

Возьмём другого, скажем, Колышко. Это прожигатель жизни. Ему никаких денег не хватает. Тут прямо деньгами действуйте, да не так, как правительство это делает, скаредничая на всём! Нет, тут тысячами пахнет! Застыли в своём допотопном византизме, а время-то другое настало. Надо поспевать за временем! — раздражённо критиковал правительство Иван Яковлевич.

Как-то приехавший в Москву вице-директор Департамента полиции С.Е Виссарионов долго беседовал с Иваном Яковлевичем на эту тему. Виссарионов одно время служил в Главном управлении по делам печати и живо интересовался этим вопросом. Виссарионов, отвечая на приведённые выше мысли Ивана Яковлевича о необходимости более «тонкого» правительственного воздействия на печать, заметил:

— Да ведь и не всех можно купить! Как воздействовать, например, на самого Сытина?

На это Иван Яковлевич невозмутимо посоветовал:

— А вы пообещайте ему привилегию на издание учебников для школ, вот Сытин и у вас в кармане!

(Сытин тогда действительно домогался этой привилегии!)

Впрочем, ничего реального из этих бесед не последовало.

Другой секретный сотрудник, которого я оставил под своим непосредственным руководством, был интеллигентный еврей, работавший в Центральном кооперативном союзе[162] и занимавший там не столь видную, но сравнительно ответственную должность[163].

Соблазнился он на сотрудничество с охранным отделением по очень простой причине. Несколько лет до того, после ареста за подпольную деятельность, он попал в тюрьму. Из одной тюрьмы, где-то около Урала, ему удалось бежать с группой других арестантов. Подполье снабдило его «крепким» паспортом и устроило на службу в Кооперативный центр в Москве. Охранное отделение это всё выяснило, его снова арестовали и, «не делая шума», доставили в отделение, где, после некоторого колебания, он согласился освещать социал-демократическую работу в кооперативном движении.

Этот сотрудник любил деньги. В Москве он обзавёлся семьёй, «оброс» понемногу жизненным комфортом и не хотел уже его менять на невзгоды, связанные с отбыванием наказания за побег!

Сотрудник был, что называется, «теоретиком марксизма». Он был склонен к академическим дискуссиям, но не любил

впутываться в подпольные авантюры. Чтобы быть «на высоте» в разговорах с ним, надо было постоянно быть в курсе различных течений в социал-демократическом мире. Трудный был сотрудник во многих отношениях, но очень осведомлённый в своей сфере!

Так как в 1912 году в Москве, как, впрочем, и повсеместно в России, почти не существовало каких-либо прочных подпольных организаций Партии социалистов-революционеров, то и московская секретная агентура в этой области не представляла особого интереса и значения.

В своём ведении я оставил, конечно, впоследствии известного секретного сотрудника Малиновского.

Идя на первое конспиративное свидание с Малиновским, я знал, что это был один из самых крупных по значению сотрудников отделения. За услуги его вознаграждали в первое время сравнительно небольшим ежемесячным содержанием, что-то около 125 рублей в месяц. Департамент полиции был, как всегда, скуповат!

Малиновский носил довольно заурядную кличку — «Портной». Очевидно, по конспиративным соображениям было решено, что этот псевдоним прикрывает надлежащим образом его слесарную работу.

Я знал, что Малиновский стоит в центре большевистской фракции Российской социал-демократической рабочей партии и в центре её московской организации, что Ленин ему доверяет, что он развитой рабочий и что Департамент полиции решил не мешать выбору его в члены Государственной думы от рабочей курии в предстоявших тогда, осенью 1912 года, выборах в Москве.

Примерно в конце 1911 года Малиновский был арестован, и когда в охранном отделении ему было предложено сотрудничать, он, после некоторых колебаний и размышлений, согласился на это предложение.

Что руководило им в его решении? Я предполагаю следующее, у Малиновского было уголовное прошлое. В ранней молодости он попался в какой-то краже, да ещё со взломом. Это прошлое он тщательно скрывал. Но оно могло помешать ему выплыть на большую дорогу при огласке.

Конечно, широким рабочим кругам всё это не было известно. Когда в охранном отделении ему намекнули на его прошлое и добавили, что при условии сотрудничества оно останется в тени и не помешает ему «лидерствовать» в рабочей и партийной сфере, то крайне честолюбивый Малиновский, гоноровый поляк, согласился на сделанное ему предложение. Он и тогда всеми правдами и неправдами лез наверх. Самомнение было в нём огромное. Он понимал, что, если охранное отделение прикроет

неприятное для него прошлое, он может легче овладеть положением. Мечта о возможности быть членом Государственной думы уже тогда возбуждала его.

Я застал его уже «приручённым» сотрудником охранного отделения, оказавшим достаточное количество услуг и дававшим, в общем, весьма ценные сведения относительно планов и намерений большевистского центра в России и за границей.

При первом моём свидании с ним я увидел прилично одетого рабочего, высокого роста, рыжеватого шатена с небольшими усами, с лицом скорее красивым, но слегка испорченным «рябинами», интеллигентски польского типа. Внешность его слегка напоминала известного пианиста и затем президента Польской республики Игнатия Падеревского[164]. Сходство это, я помню, сразу бросилось мне в глаза. Только вся внешность Падеревского была более интеллигентной, более аристократической и более одухотворённой.

Я скоро понял, что некоторым промахом в прежнем руководстве этим, теперь очень нелёгким сотрудником было то, что в отношении с ним преобладала одна сухая деловая сторона. С одной стороны, приходил представитель охранного отделения, в данном случае или мой предшественник по должности, полковник Заварзин, или его помощник по сношениям с Малиновским, жандармский ротмистр Иванов, а с другой стороны — секретный сотрудник Малиновский. Происходил деловой разговор, записывались сведения, данные сотрудником, и обе стороны расходились до следующей встречи. Отсутствовал весьма существенный фактор — атмосфера, создающая важные по результатам флюиды душевной расположенности и дружественной приязни, необходимые в столь тонких делах. Это обстоятельство надо было исправить, а для этого надо было самому взяться за дело, так как ротмистр Иванов, по складу своего характера, не подходил к роли руководителя Малиновским. Поэтому я стал регулярно являться на свидания с ним и завоёвывать его.

Когда в августе того же 1912 года в Москву приехал директор Департамента полиции С.П. Белецкий с вице-директором С.Е. Виссарионовым для проверки принятых мер по охране в связи с предстоящим приездом Государя на Бородинские торжества, то, зайдя как-то в мой кабинет и выслушав мой доклад, Белецкий в особо конспиративном тоне заявил мне, что он решил не мешать прохождению Малиновского в состав членов Государственной думы от рабочей курии Москвы «Вашей задачей поэтому, — продолжал Белецкий, — является благоприятное, в скрытом виде, конечно, содействие этим планам Департамента полиции. В

случае удачи, то есть выбора Малиновского в члены Государственной думы, он будет уже не вашим сотрудником, а сотрудником Департамента полиции. Я предполагаю оставить руководство им в своих руках при содействии Виссарионова. Поэтому он не перейдёт в ведение Петербургского охранного отделения. Весь дальнейший ход дела сообщайте мне личными письмами!»

Итак, в случае выбора Малиновского членом Государственной думы я, как начальник Московского охранного отделения, прежде всего лишался очень важного секретного сотрудника; хотя в числе других секретных сотрудников, находившихся у меня в распоряжении, имелись ещё два-три крупных по своему партийному значению, это были люди меньшего калибра. Поэтому, конечно, не могло быть сомнений в моём отношении к затее С.П. Белецкого. Я лично был против, но, конечно, должен был подчиниться его распоряжению.

Кроме того, я отлично понимал возможные неприятные последствия этой затеи. Я знал уже хорошо характер и натуру Малиновского и понимал, как будет трудно для случайных в политическом розыске людей, как С.П. Белецкий, да даже и для сравнительно опытного С.Е. Виссарионова, осуществить практически руководство Малиновским. Я чувствовал, что, как только он станет в положение члена Государственной думы, он возомнит о себе чрезвычайно, и не так легко будет заставить его выполнять предлагаемые ему задания.

Так оно и случилось впоследствии: «Власть исполнительная да подчинится власти законодательной!» Малиновский эту фразу, конечно, носил в уме!

Не будь Малиновский Малиновским, т. е. не будь он натурой столь самовлюблённой, не забери он себе в голову каких-то сверхчестолюбивых и дерзостных мечтаний, не задайся он выполнением какого-то смутного, предерзостного плана «и невинность соблюсти, и капитал приобрести», останься он на средней линии, не лезь он во что бы то ни стало везде и всюду в лидеры, то, возможно, он продержался бы дольше и в Государственной думе, и в Департаменте полиции. Но с ним было трудно ладить, и, во всяком случае, надо было уметь им руководить. Этого умения ни у С.П. Белецкого, ни даже у С.Е. Виссарионова не было.

Почему же Малиновский не был передан (как, казалось бы, это следовало сделать) в распоряжение начальника Петербургского охранного отделения полковника фон Котена? Я не имею точных данных, чтобы ответить на этот вопрос. Не то Белецкий имел в виду при посредничестве Малиновского

получать в свои руки первостепенной важности сведения о думской эсдековской фракции, не то он не полагался на ловкость полковника фон Котена, не то он хотел законспирировать от всех такого важного сотрудника — сказать трудно.

Малиновский прошёл в члены Государственной думы. Мы распрощались с ним весьма дружественно, и он даже пообещал мне при возможных приездах в Москву видеться со мной.

Конспирация Белецкого с Малиновским очень скоро обнаружила прорывы, и серьёзные. Первый из них заключался в том, что при проверке местной администрацией правильности выборов могло всплыть его уголовное прошлое, и поэтому Белецкому пришлось послать личную шифрованную телеграмму, в которой мне предлагалось от имени директора объяснить московскому губернатору генералу В.Ф. Джунковскому роль Малиновского как секретного сотрудника Департамента полиции, и желание директора этого Департамента «не мешать его прохождению в члены Государственной думы».

Получив телеграмму, я ясно осознал, что затея Белецкого потерпела крах почти наполовину. Секрет ещё может оставаться секретом, если его знает только самое ограниченное число лиц, да ещё связанных общей профессиональной тайной. Но если в него включить постороннее лицо, хотя бы и губернатора, то риск разоблачения секрета делается значительным. Включить же в такой секрет столь неподходящего человека, как В.Ф. Джунковский, это значило, несомненно, раскрыть его. Это и произошло.

В.Ф. Джунковский был очень популярен в общественных кругах и всеми силами стремился эту популярность поддерживать. Бывший преображенец, затем адъютант у Великого князя Сергея Александровича по должности московского генерал-губернатора (я помню, как на больших балах у Великого князя гвардии капитан В.Ф. Джунковский с самым серьёзным и торжественным видом раздавал гостям котильонные шелковые ленты), затем неожиданно московский вице-губернатор, а затем и губернатор. Связи у него в «сферах» были громадные, и он легко и бестрепетно всходил все на высшие ступени административной лестницы, закончив свою административную карьеру в должности товарища министра, заведующего полицией и командира Отдельного корпуса жандармов. В 1915 году он «поскользнулся» на одной «апельсинной корке», ловко прикрыв её для публики своим «антираспутинством», и отправился на фронт, получив бригаду. Не знаю, командовал ли он когда-либо ротой? Вероятно, и бригадой он командовал так же бестрепетно, как и до того управлял самыми различными учреждениями, не понимая по

существу их функций и назначения. Это был, в общем, если можно выразиться кратко, но выразительно, круглый и полированный дурень, но дурень чванливый, падкий на лесть и абсолютно бездарный человек.

Генерал Джунковский не любил Корпуса жандармов уже по тому одному, что офицеры этого Корпуса ему, как губернатору, подчинены не были. Независимость он в других не любил. При наших редких сравнительно встречах он чувствовал мою независимость, не мог относиться ко мне хорошо. Встречи происходили при условно любезных улыбках и полной сухости в разговоре с его стороны.

Я поехал с телеграммой Белецкого. Генерал прочёл телеграмму, кисло и неприязненно улыбнулся и, возвращая её мне, сказал: «Сообщите вашему начальству, что мной будет сделано всё возможное».

Малиновский стал членом Государственной думы. Его поведение в Думе, резкие выступления от имени социал-демократической фракции, занятое им де-факто лидерство в этой фракции стали не на шутку смущать правительство. Было очевидно, что Малиновский вырывается из-под опеки Департамента полиции и что конспиративные свидания его с Белецким и Виссарионовым не дают никакого результата.

В это время, весной 1913 года, на верхах произошёл очередной поворот мнений, и было принято решение объединить в одном лице должность товарища министра внутренних дел и командира Отдельного корпуса жандармов, что и было осуществлено путём назначения на эту должность генерала В Ф. Джунковского. Нелепее выбора сделать было нельзя.

Ближайшим результатом этого назначения было удаление как Белецкого, так и Виссарионова.

Генерал Джунковский, наивный администратор, является, конечно, противником всяких, «каких-то там» конспираций, «агентуры», «тонкого» сыска и пр. Он по-солдатски, по-военному, напрямик, под честное слово сообщает председателю Государственной думы Родзянко о двойной роли Малиновского и обещает ему убрать из Думы этого «провокатора»!

Обещать легко, но как это выполнить — Джунковский не знает. Он вспоминает, что начальник Московского охранного отделения, подполковник Мартынов, должен хорошо знать как самого Малиновского, так и всю историю его выборов в члены Государственной думы, а также и всю большевистскую партийную механику. Генерал Джунковский потому сам приезжает в Москву и по телефону вызывает меня к себе для переговоров.

У нас происходит следующий разговор.

Генерал. Я вызвал вас, чтобы переговорить об одном очень серьёзном вопросе. Я не могу допустить дальнейшего пребывания Малиновского в составе членов Государственной думы. Его возмутительные выступления в Думе не могут быть допустимы. Я понимаю, что вопрос, связанный с его уходом из Думы, очень сложен. Его надо обсудить и логически обосновать, и я полагаю, что вы сможете это сделать, а потому поручаю выполнение этого дела вам.

Я. Ваше превосходительство, задача, которую вы возлагаете на меня, очень сложная. Я хорошо знаю Малиновского, его непомерное честолюбие, и, наконец, я понимаю, как будет трудно найти подходящий предлог для такого «вынужденного» ухода его из Государственной думы, ухода, который будет просто необъясним для лидеров его партии.

Генерал. Каково было ваше личное отношение к делу о сотрудничестве Малиновского одновременно с пребыванием его в рядах членов Думы?

Я. Я с самого начала был противником этой затеи, уже по одному тому, что она лишала меня, как начальника Московского охранного отделения, самой осведомлённой агентуры. Я понимал, что ни директору Департамента полиции, ни его помощнику невозможно, по отсутствию профессионального опыта и по недостатку времени, умело руководить таким трудным секретным сотрудником, каким, по характеру и по свойству натуры, был Малиновский. Но, конечно, что же мне оставалось делать, как не подчиниться распоряжению моего прямого начальства?

Генерал. Да, я это понимаю. Но как вы теперь думаете поступить? Вы должны объявить моё непреклонное решение удалить Малиновского из Государственной думы ему самому, обещать ему денежное пособие.

Я. Какое именно, в каких размерах я могу предложить ему это пособие?

Генерал. Ну, тысячи две рублей…

Я. Ваше превосходительство, эта сумма слишком ничтожна. Ведь вполне возможно, что после такого ухода из Государственной думы Малиновскому придётся надолго, если не навсегда, уйти в «частную жизнь». Надо помочь ему заняться чем-либо.

Генерал. Сколько же следует ему дать?

Я. Мне представляется эта выдача в виде суммы от пяти до десяти тысяч рублей. Могу ли я начать с пяти тысяч рублей?

Генерал. Я бы не хотел, чтобы эта выдача превысила пять тысяч.

Я. Я постараюсь выполнить возложенную вами на меня очень нелёгкую задачу.

Я стал придумывать всевозможные комбинации, ища «логического» выхода для Малиновского, и перебрал их десятки, но всё не мог найти подходящего. К тому же надо было подготовиться для личных переговоров с Малиновским, который тем временем через Белецкого был осведомлён о катастрофе и о необходимости ехать в Москву для переговоров со мной о дальнейшей его судьбе.

Прошло несколько дней, и Малиновский телефоном попросил меня выслать в условное место хозяина той моей конспиративной квартиры, где он встречался ранее со мной, чтобы указать место для встречи. Возвратившийся служащий доложил мне, что сотрудник «Икс» (таков был псевдоним Малиновского со времени передачи его мной директору Департамента полиции) просит меня приехать в 1 час дня к последней трамвайной остановке у Ходынского поля.

В назначенное время я подъехал к этой трамвайной остановке и невдалеке заметил подходившего с другой стороны Малиновского. Соблюдая конспирацию, мы, не подходя друг к другу, пошли в расстилавшееся перед нами огромное поле. Пройдя с полверсты, мы подошли друг к другу, поздоровались и уселись на траве. Место для конспиративного свидания было необычное, но не плохое. Всякого проходящего можно было заметить издалека, а услышать нашу беседу — невозможно.

Малиновский был удручён и раздражён. Я избрал путь нападения. С места я принялся беспощадно критиковать его поведение в Думе, доказывая, что во всём случившемся виноват он сам. Под градом моей жесточайшей критики Малиновский несколько притих и пытался только оправдывать свою линию поведения необходимостью выполнять партийные директивы.

Мы долго спорили на эту тему, пока я резко не прервал его доводы, указав, что теперь вопрос лежит совсем в другой плоскости, а именно что правительство решило удалить его из Государственной думы и что нам следует только обсудить и выработать логическое оправдание этого ухода.

Малиновский стал доказывать мне, что он совершенно не мыслит, как можно логически обосновать его внезапный уход из Думы, и вдруг неожиданно спросил меня:

— Чем же правительство думает вознаградить меня за такой уход и утерю мной думского жалованья?

— Единовременной выдачей вам пяти тысяч рублей!

— Вы смеётесь надо мной! — воскликнул возмущённо Малиновский.

— Я не смеюсь и, может быть, если бы всё от меня зависело, я выдал бы вам двадцать пять тысяч рублей; нам было бы легче сговориться о подробностях, но мне отпущено пять тысяч рублей.

— А если я воспротивлюсь? — вдруг заметил Малиновский.

— Ну, вы понимаете невозможность такой ссоры с правительством. Силы не равны. Надо подчиниться и выйти из положения так, чтобы вы не были заподозрены.

— Однако вы сами-то можете что-нибудь придумать? — начал сдаваться Малиновский.

Я набросал ему тогда задолго до свидания придуманный мною план взрыва в социал-демократической думской фракции, состоявший в том, что Малиновский предложит резкую резолюцию, которую фракция не примет, а её лидер, Малиновский, тогда «по партийным соображениям», из-за соблюдения чистоты «генеральной линии», сложит с себя депутатские полномочия.

Мы долго, не только на одном этом свидании с Малиновским, но ещё и на двух других, по ночам, обсуждали со всех сторон возможные последствия этого взрыва для него, Малиновского.

Когда Малиновский, обсуждая план, выражал сомнения, как отнесётся ко всему этому Ленин: «Не подвергнет ли он мой способ действий и воздействия на думскую фракцию жестокой критике, а я, может быть, окажусь неспособным оправдать мою линию поведения?» — я доказывал ему, что именно Ленин, с его крайними решениями, станет на его сторону. Я оказался прав. Ленин действительно стал затем на сторону Малиновского, а кстати отверг и не принял версию «предательства» его, версию, быстро начавшую распространяться, очевидно благодаря намёкам, а может быть, и прямым, откровенным, «под честное слово» рассказам Родзянко и самого Джунковского. Я плохо верю в версию, получившую распространение уже значительно позднее, что Ленин по каким-то «партийным соображениям», хотя и узнал о службе Малиновского в охранном отделении, «прикрыл» его.

История ухода Малиновского, так, как она произошла, достаточно известна большинству моих читателей, и мне нет необходимости воспроизводить её здесь более подробно. Достаточно только сказать, что закулисным режиссёром этой трагикомедии был я. Я составил план, сценарий, и актёр — Малиновский выучил роль этой трагикомедии, за которую он получил 5000 рублей. Мне же никто не выразил благодарности.

Малиновский не возвратился более к сотрудничеству. Он уехал за границу, к Ленину. Он был партией оправдан, некоторое время жил за границей, затем вспыхнувшая мировая война заставила забыть о нём. Появились какие-то плохо проверенные

сведения об его смерти. Только революция 1917 года вскрыла всю его роль на службе у Департамента полиции[165].

* * *

После этого отступления да позволено мне будет вернуться к описанию моих мероприятий в связи с Высочайшим приездом на Бородинские торжества в 1912 году.

Согласно бывшим уже ранее примерам все лица, как проживающие в Москве, так и вновь в это время приезжавшие и числившееся в списках охранного отделения неблагонадёжными в политическом отношении, подлежали как бы пересмотру в смысле необходимости принятия против них каких-либо новых охранных мер. Начальнику отделения предоставлялось самому, на основании вновь поступивших к нему агентурных сведений или вообще общепринятых мер предосторожности, решить, какие же специальные охранные меры следует принять в отношении того или иного неблагонадёжного лица.

Я не могу определить теперь по памяти, какое громадное количество «справок», часто занимавших до трёх листов почтовой бумаги большого формата, подавалось мне тогда ежедневно для прошения и наложения резолюций. Их было очень много. На столе у меня они лежали подавлявшими меня кучами. Составлением их, по делам моего отделения, занималось около 15–20 офицеров Отдельного корпуса жандармов, специально для этого временно прикомандированных к моему охранному отделению.

Мне оставалось внимательно, но, конечно, быстро прочитывать эти справки, уловлять их значимость и класть соответствующие резолюции, которые, с одной стороны, могли весьма неприятным образом сразу изменить жизненные навыки какого-нибудь неблагонадёжного, а с другой — в случае чего — сильно изменить и моё служебное положение.

Я, конечно, понимал, что каждая моя резолюция, если что, Боже упаси, случится при Высочайшем проезде и при этом в какой-то мере будет так или иначе замешан упоминаемый в справке поднадзорный, может грозить мне громадными неприятностями. Само собой напрашивалась определённая тенденция к более суровым резолюциям.

Однако чувство долга, не позволявшее мне переходить черту «административного восторга», и понимание политического момента, не допускавшего каких-либо подпольных приготовлений опасного характера, руководили мной и умеряли мои резолюции.

Я не помню ни одного «предупредительного» ареста за то время или других предупредительных мер, которые могли бы повлиять на службу или положение поднадзорных или неблагонадёжных.

Этим моим положительным утверждением я надеюсь рассеять туман лжи и клеветы, обычно появлявшийся в нашей «освободительной» прессе и направленный на то, чтобы внедрить в российском обывателе представление о якобы бесчисленных арестах и высылках из столицы.

Были порою курьёзные положения. Например, читаю справку на анархиста, занесённого в списки Московского охранного отделения что-то около тридцати лет тому назад и ныне, в 1912 году, в возрасте шестидесяти пяти лет служащего на Александровской (Брестской) железной дороге. Дорога идёт в направлении Бородина! Несомненно, что весь анархизм выветрился у этого старикана за прошедшие 30–40 лет спокойной службы на железной дороге. Однако если отнестись к делу формально, то как же оставлять, «не принимая мер», анархиста на той линии железной дороги, по которой проследует Высочайший поезд? И если, допустим на минуту, что-то непредвиденное случится на этой железной дороге как раз во время проезда и начнётся затем расследование мер, принятых в связи с Высочайшим проездом, окажется, к общему негодованию и возмущению, что начальник отделения знал об анархисте, но не принял мер.

Не проще ли на время Высочайшего проезда задержать такого зарегистрированного «анархиста» по формальному поводу и быть спокойным? По-видимому, его беспокоили и ранее! Я ограничился, однако, выяснением его настоящего «миропонимания» и, успокоившись «за мир», положил справку в сторону с резолюцией: «Проверен. Может быть оставлен на службе».

Таких и подобных справок было много, и надо положительно было быть Соломоном или, в крайнем случае, верить, что общее положение вещей тобой понимается безошибочно

Справки и наложение на них резолюций отнимали у меня много часов ежедневного утомительного труда. Если прибавить к этому постоянные, бесконечные заседания различных комиссий, образованных в градоначальстве в связи с Высочайшим приездом, в которых непременно участвовал или сам градоначальник, или один из его помощников и где моё присутствие, часто совсем не нужное, тоже считалось обязательным, и, кроме того, добавить мои обычные дела, да ещё в связи с принятием мною незадолго до того нового большого охранного отделения, станет ясно, что у меня оставалось лишь несколько минут на то, чтобы спешно

поесть и хотя бы на несколько коротких часов заснуть. Ложился я тогда спать около пяти часов утра, а после девяти-десяти утра уже снова принимался за работу.

Одна из наиболее стеснительных для обывателя мер охраны, принимавшаяся исключительно по улицам, где намечен был путь Высочайшего проезда, была введена Департаментом полиции по предложению дворцовой охраны. Её ввёл полковник Спиридович.

Мера состояла в том, что все жильцы домов, расположенных по улицам проезда, регистрировались специально для того командированными в моё распоряжение офицерами Отдельного корпуса жандармов. Затем эти лица проверялись по делам охранного отделения и Департамента полиции. В случае неблагонадёжности жильца мне надлежало «принять соответствующие меры». В созданных комиссиях я докладывал о таких лицах и о тех мерах, которые я должен принять или не принять.

За несколько часов до Высочайшего проезда все жильцы и лица в таких домах снова проверялись, и выход и вход был уже затруднён.

Особо неблагонадёжных лиц или подозрительных по связи с активными революционными элементами я должен был указать полковнику Спиридовичу, который через своих, приехавших с ним «наблюдательных агентов» осуществлял за ними особое наблюдение. В конце концов получилось такое многовластие, при котором весьма затруднительно было, если бы понадобилось, найти виновного. К сожалению, тогда часто применяли эту ошибочную практику. Забавнее всего было распоряжение, по которому я, как начальник охранного отделения, не имел права покидать свою квартиру (т. е. тоже и моё отделение) и должен был «висеть на телефоне». Хорошо, конечно, что было спокойное время. А если бы мне понадобилось срочно повидаться с агентурой? Впрочем, и ей полагалось сидеть дома!

При отъезде Государя с семьёй из Москвы я специально просил разрешения градоначальника встретить и посмотреть вблизи Государя и его семью. Разрешение было мне дано, и я имел счастье видеть в двух шагах от себя всю царскую семью. Я стоял отдельно у входа на вокзале. Государь, проходя в двух шагах от меня и видя отдельно от всех стоявшего жандармского штаб-офицера, приветливо улыбнулся мне и прошёл мимо в сопровождении семьи. Помню хорошенькие лица Великих княжон. Помню так, как будто вижу их сейчас перед собой.

Высочайшее пребывание в Москве закончилось благополучно. К ночи я вздохнул свободнее, но очень поздно закончил все служебные дела. Лёг спать уже на рассвете. Только что заснул

глубоким и спокойным сном, как у самого уха на моём ночном столике затрещал телефон. Вскакиваю тревожно, слышу в трубку знакомый голос: «Это вы, господин полковник?» — «Я», — отвечаю. «Позвольте вас поздравить: Государь благополучно выехал уже за Тверь, то есть из нашего района охраны». Это мне довольным голосом докладывал особый чиновник с телеграфа. Я поблагодарил и на этот раз заснул вполне довольный окончанием всех служебных тревог.

Недели через две-три градоначальник вызывает меня по телефону к себе. Прихожу в его кабинет. Смотрю, на отдельном столе лежит груда разных Высочайших подарков за службу во время Высочайшего пребывания в Москве. Градоначальник говорит мне: «Выберите себе часы, там есть для вас, в коробке». Подхожу и нахожу коробку, в которой осталась бумажная ленточка с моей фамилией, но часов в коробке нет. Говорю об этом генералу Адрианову и получаю ответ: «Должно быть, кто-нибудь взял себе, выберите другие». — «Да как же я возьму чужие часы?» — «Ну, хорошо, я выберу вам», — говорит недовольно Адрианов, подходит к подаркам, выбирает наудачу чьи-то золотые часы с цепочкой, рублей на 150, самое большее, и даёт их мне. Я решил не возражать и не ссориться из-за часов. Но прелесть царского подарка, первого моего подарка от Государя, была испорчена. «Мои» часы, вероятно, были вынуты из «моей» коробки и отданы кому-либо другому в градоначальстве. Я тогда был ещё не в фаворе у Адрианова.

* * *

Успех охранной службы в столь сравнительно крупном учреждении, каким являлось Московское охранное отделение, слагался из различных факторов, но, пожалуй, самыми важными были два, а именно состав секретной агентуры (как я уже отметил ранее, весьма хороший) и состав служащих в отделении лиц.

Этих служащих было сравнительно много: человек двенадцать офицеров Отдельного корпуса жандармов, около двадцати пяти служащих — чиновников и писцов в канцелярии отделения, около ста филеров, или — что то же — агентов наружного наблюдения; около шестидесяти полицейских надзирателей для службы связи с полицейскими участками и вокзалами и около десяти сторожей и других низших служащих для посылок и т. д.

Присмотревшись ко всем этим разнообразным служащим, я скоро вынес впечатление, что самый неудачный состав заключался в его ведущем слое, а именно в тех офицерах Корпуса жандармов, которые по тем или иным причинам попали на службу в охранное отделение.

Для меня, энтузиаста политического розыска, с самого начала службы в Отдельном корпусе жандармов мечтавшего попасть в это именно охранное отделение и изучить там на практике розыск, было просто непонятно встретить в большинстве моих подчинённых не столько офицеров, сколько отбывающих служебные часы чиновников, мало увлечённых сущностью своей службы и часто даже как бы тяготившихся ею. Никакого горения, никакого душевного влечения к делу! А ведь из них, как теоретически предполагалось, должны были оформиться новые розыскные деятели на местах.

Мой помощник, о котором я уже упоминал, подполковник Турчанинов, заведовал всей канцелярией отделения и не касался секретной агентуры. Он имел в своём ведении всю ту огромную переписку шаблонного характера, которая даже никогда не попадала на стол. Будучи человеком весьма ограниченных способностей, он и не мечтал когда-либо перейти с места помощника на должность начальника Охранного отделения. Думаю, что именно этим качеством своей натуры он был обязан тому, что предусмотрительный полковник Заварзин, мой предшественник по должности, выбрал его помощником.

Из состава офицеров несколько выделялся жандармский ротмистр Вас. Иванов, в прошлом помощник пристава

варшавской полиции, которому очень благоволил Заварзин и которого он тащил за собой. Это был от природы неглупый, но малообразованный офицер, с чрезвычайно развитым самомнением, ошибочно укреплённым в нём длительным сослужением с полковником Заварзиным, который пасовал перед его напористостью и якобы умом. До моего вступления в должность начальника Московского охранного отделения всё колесо секретной агентуры вертелось, собственно говоря, ротмистром Ивановым, который заведовал социал-демократической частью этой агентуры. Он имел свидания с наиболее видными секретными сотрудниками, составлял отчёты для Департамента полиции. Вообще, было видно, что ротмистр Иванов занял особую позицию в отделении, держит себя важно и требует особого отношения. Подчинив себе полковника Заварзина, он полагал, что сумеет и при мне «диктовать». Но со мной ему пришлось сразу отойти на второй план или, вернее, сесть на своё место.

Флюиды взаимного отталкивания появились после того, как я стал сильно изменять стиль, выражения, а отчасти и смысл заготовленных им к моей подписи докладов в Департамент полиции. Я — неумолимый противник всякого ненужного фразёрства и сторонник только скрупулёзно точных определений и фактов в деловой переписке. Я — противник одних и тех же повторных вступлений в деловой бумаге и стою за наиболее близкое к истине изложение агентурных данных, без прикрас, без выкрутасов, без добавлений от себя и без хотя бы и ловкого, но всё же неприятного подсказывания, что вот, мол, как мы это ловко сделали, и т. д. Ротмистр же Иванов непрерывно в своих бумагах делал всё обратное и, к своему изумлению и плохо скрытому неудовольствию, получал свои бумаги от меня не только неподписанными, но и в корне переделанными. Иванов, чувствуя себя ещё по-прежнему чуть ли не хозяином положения в отделении, скоро увидел, что я меняю очень многое из заведённой при нём системы, и начал искать способ заставить меня поскользнуться.

Человек искусственной военной аффектации и военной дисциплины, он чрезвычайно неприятно осложнял свои отношения со служащими отделения; при проходе своём через комнаты отделения он требовал, чтобы сидевшие писцы вставали, ибо он — офицер, а они — нижние чины, и т. д. Я всегда был противником такой внешней дисциплины в нашем розыскном деле и требовал только дисциплины, нужной как основы разумного порядка в нашем абсолютно невоенном деле. Сначала я пытался урезонить ротмистра Иванова, но тот не рассчитал

силы и пошёл на открытую борьбу со мной.

Это забавное дело произошло через год после моего вступления в должность и кончилось изъятием ротмистра Иванова и ещё двух офицеров из отделения и переводом их в провинцию. На место ротмистра Иванова мне был прислан весьма способный молодой офицер Отдельного корпуса жандармов, ротмистр Ганько.

Всей канцелярией отделения заведовал делопроизводитель Сергей Константинович Загоровский. Это был чиновник опытный и дело своё знавший прекрасно. Требовательный к чиновникам и другим служащим канцелярии, он вёл её образцово, отлично знал на память сотни циркуляров и при случае являл собой весьма полезную для начальника отделения справочную книгу. Характер имел ровный и обладал большой способностью приспособляться к натуре, наклонностям и даже слабым местам своего непосредственного начальства. Основной линией его поведения было то, что при всех мелких и крупных неладах или спорных вопросах между начальником отделения и другими жандармскими офицерами, как этого отделения, так и посторонними, он неизменно становился на сторону своего начальника. Это был своеобразно преданный служащий и, безусловно, полезный советник. У него была одна слабость, с которой я легко мирился. Он был страстный игрок, а «игра» шла на бегах и на скачках. Там Сергей Константинович неизменно проигрывал свои рубли, ибо он играл в складчину с такими же, как он, «дешёвыми» игроками. Он, конечно, никогда не ставил на фаворитов, а на какую-нибудь лошадь, которая по каким-то, ему одному известным, мотивам «могла прийти».

Хотя я совсем не игрок по натуре, но неизменно мой делопроизводитель почти ежедневно клал на мой письменный стол спортивный журнал «Рысак и скакун» с предупредительно отмеченными именами лошадей, которые могли, по его мнению, прийти первыми в предстоящих скачках или бегах. Я так и звал Загоровского «рысак и скакун». Я очень ценил и любил этого человека. Он обладал знанием той стороны нашего дела, которой мне некогда было посвящать нужное время и к которой у меня не было склонности, а именно — канцелярской сути. На Загоровского я мог положиться вполне.

Одной из отраслей службы в охранном отделении являлось так называемое «наружное наблюдение»; я уже останавливался на этой отрасли, описывая мою службу в Саратове. В Москве это наружное наблюдение было, конечно, поставлено шире, причём число филеров доходило до сотни. Содержался даже небольшой «извозчичий двор» с лошадьми, извозчичьими пролетками и

санями и филерами «под настоящих извозчиков»; такой «извозчик» очень часто отлично выполнял наружное наблюдение в таких местах, где обычный филер не мог долго продержаться на улице, не будучи замеченным наблюдаемым.

Конечно, этот «извозчичий двор» со всем его хозяйством требовал большого присмотра. Присмотр этот ближайшим образом осуществлялся заведующим наружным наблюдением. Этим заведующим с незапамятных времён был некий Дмитрий Васильевич Попов. Это был мужик смышлёный, прошедший всю службу наружного наблюдения с азов. Потихоньку да помаленьку этот Попов стал как бы одним из столпов отделения. Так он на себя и смотрел. Начальства он на своём веку переменил и перевидел много; начальство это приходило и уходило, а Попов всё по-прежнему сидел на своей «забронированной» позиции и стал казаться всем, начиная с директора Департамента полиции до начальников Московского охранного отделения, каким-то авторитетом, по крайней мере в вопросах техники наружного наблюдения, знания филерской службы и даже знания в лицо многих деятелей революционного подполья. Попов за свою многолетнюю службу располнел, «обуржуился» по виду, прилично одевался, вообще изображал благовоспитанного человека, но говорил на каждом шагу «хоша» и не особенно нуждался в носовом платке. Пьяным я его не видел, но пропустить «пивка» он не упускал случая.

Он знал хорошо моих братьев, которым пришлось прослужить офицерами для поручений в Московском охранном отделении в самые тяжёлые дни 1905 года, и он с самого начала моего вступления в должность стал выказывать мне как бы особую доверительность и преданность. Моё особо хорошее отношение и доверие к Попову, по какой-то семейной традиции, были точно неизбежны. А Попов любил оказать своему начальнику разные мелкие, вовсе не служебные услуги, и иногда не так-то легко можно было отделаться от этих услуг, навязчиво вам предлагаемых. Мне лично Попов не нравился — ни ранее, до моего вступления в должность, когда я при случайных посещениях отделения встречался с ним, ни после приёма отделения, когда Попов оказался моим подчинённым.

Весь его прошлый опыт, всё знание им техники наружного наблюдения не могли покрыть его отрицательных качеств. Попов «зажился» в Московском охранном отделении, как заживается на одном и том же месте прислуга. Чувствовалась необходимость освежить эту должность и удалить на покой Попова. Так, однако, была велика заскорузлость в Департаменте полиции, что не так просто было убедить начальство в необходимости этой перемены,

и только с приходом к власти генерала Джунковского в качестве товарища министра внутренних дел и подчинением ему дел Департамента полиции мне легко удалось убедить его удалить Попова на покой в отставку с приличной пенсией.

Джунковский легко «ломал», так как не чувствовал пристрастия и влечения к делу, ему по ошибке порученному, и, будучи предубеждён против жандармской полиции вообще, а против охранной в особенности, с нескрываемым удовольствием выслушал от меня доводы к удалению Попова. На этот раз его административное недомыслие послужило к добру. Чаще оно, конечно, вело к худу.

Расскажу, кстати, о Джунковском по моим встречам и служебным отношениям с ним за время с 1912 года по день его отставки в 1915 году осенью. Я мельком упоминал о нём и ранее.

Представляясь в июне 1912 года московскому губернатору, Свиты Его Величества генерал-майору Джунковскому, по случаю вступления моего в должность начальника Отделения по охранению общественной безопасности и порядка в г. Москве, я отлично представлял себе, какого сорта человека и администратора я вижу перед собой.

Быстрое восхождение по служебной лестнице, головокружительная карьера, легко возносившая заурядного по уму и способностям гвардейского капитана до высших в государстве должностей, и твёрдая уверенность в прочных связях в высшем обществе, по-видимому, вскружили голову генералу, и он к описываемому времени чувствовал себя «опытным администратором».

Воспитание в условностях света и привычка быть своим в самых высших слоях общества чувствовались сразу. Чувствовалось сразу же и его внутреннее предубеждение против порученного ему дела, так как генерал щепетильно старался не касаться политического розыска, какой-то там «секретной агентуры», «шпионов», как он, вероятно, образно мыслил, простодушно, но уверенно полагая, что любой подчинённый ему исправник Московской губернии, им выбранный из неудавшихся гвардейских офицеров, гораздо лучше любого «охранника» исполнит поручение, данное ему московским губернатором.

Большой острослов, мой брат Николай, хорошо знавший Джунковского по своей службе в Московском губернском жандармском управлении, как-то говорил мне, уже после назначения Джунковского командиром Отдельного корпуса жандармов и товарищем министра внутренних дел. «Ты сделаешь большую ошибку, если, докладывая о каком-нибудь розыскном случае, будешь употреблять непонятные ему и «неприемлемые»

для него технические розыскные термины и выражения вроде, например, такого: «по точным агентурным сведениям от секретной агентуры, близко стоящей к таким-то революционным центрам, я узнал, что», и т. д.; или, если, докладывая ему о предположенных тобой розыскных шагах, ты скажешь: «поручив моей секретной агентуре возможно ближе соприкоснуться с подпольной организацией такой-то, я рассчитываю на то, что» и так далее. Нет, — говорил мне, смеясь, брат, — нет, этого он не поймёт и, главное, не поверит тебе, что ты что-то там узнаешь и достигнешь таким путём. А вот если ты скажешь ему так: «Ваше превосходительство, я поручил двум толковым городовым, переодев их в штатское платье, разузнать всё о деятельности Бориса Савинкова, по данным одного станового пристава, посещающего фабрику такую-то», то, поверь, генерал Джунковский будет доволен твоей служебной ловкостью и распорядительностью! Не забудь при этом, — добавлял мой брат, — подать ему вовремя галоши и осведомиться о драгоценном здоровье его сестрицы Евдокии Фёдоровны…»

Я много раз затем вспоминал удачную характеристику генерала Джунковского, сделанную моим братом.

Надо сказать, что вследствие служебных столкновений и «обострения» различных вопросов у обоих моих братьев по должности их в качестве помощников начальника Московского губернского жандармского управления в четырёх различных уездах Московской губернии в беспокойные 1901–1907 годы вышли служебные неприятности с московским губернатором Джунковским, правда, закончившиеся совершенным оправданием их действий и конфузом для генерала, почему фамилия «Мартынов» для него была несколько неприятной. Всё это, вместе взятое, несколько охлаждало наше знакомство в 1912 году и создавало «флюиды отталкивания». К тому же я решительно не умел и не был расположен к «подаванию галош»!

Правда, в моей должности я был независим от московского губернатора, но… я уже говорил ранее о растяжимости понятия независимости и о многочисленном начальстве, прямом и косвенном.

Я ограничился поэтому периодическими служебными посещениями и сообщал генералу, по возможности в самой упрощённой и приноровленной к его пониманию форме, об общественном настроении и фазах подпольной деятельности революционеров. Мои доклады имели характер манной кашки, даваемой расслабленному больному, не могущему переварить более грубой пищи. В этой форме генерал Джунковский, по-видимому, мог усвоить эту пищу.

Весной 1913 года Государь снова посетил Москву по случаю «Романовских торжеств» (трёхсотлетия Дома Романовых). Началась снова та же страда для меня.

Во всё время Высочайшего пребывания в Москве и окрестных городах (как, например, Костроме), куда выезжал Государь и которые были в розыскном отношении подчинены мне, царило необычайное патриотическое воодушевление. Революционное подполье оставалось дезорганизованным по-прежнему и почти не давало себя знать.

Как и раньше, к Высочайшему приезду в Москву начались приготовления, проверки, инспекции и прочие служебные передряги. Приехал как и раньше, вице-директор Департамента полиции Виссарионов. Как и ранее, Сергей Евлампиевич прямо с вокзала, усевшись со мной в мой казённый экипаж, смиренно-набожно промолвил «Прежде всего к Иверской, конечно!» Истово перекрестившись, смиренно преклонив колени и поставив свечу, С.Е. Виссарионов направился со служебными официальными визитами к градоначальнику, к губернатору, к прокурору судебной палаты и т. д. Затем начался обычный инспекторский осмотр моего отделения: проверка состояния секретной агентуры, разговоры С.Е. Виссарионова с секретными сотрудниками на конспиративных квартирах, причём на этот раз Сергей Евлампиевич, прочно усевшись на вице-директорское седло, уже не спрашивал меня, так ли он говорил с секретным сотрудником, как надо, и довольно ли для этого тех десяти — пятнадцати минут, которые он посвятил разговору с ним. Нет, теперь Сергей Евлампиевич был на высоте своей задачи и начал бодро и уверенно беседовать с моей агентурой. На второй или третьей беседе Виссарионов, казавшийся мне в этот вечер чем-то озабоченным и даже расстроенным, внезапно прервал разговор с одним сотрудником и попросил меня указать, где именно в конспиративной квартире находится… уборная, и спешно, в полном расстройстве (потом оказалось, в приступе «медвежьей» болезни — совсем на манер папаши Верховенского в «Бесах»!), удалился туда на долгое время…

Причины этого расстройства выяснились на другой день: генерал Джунковский решил удалить от дел директора Департамента полиции Белецкого и с ним его правую руку, С.Е. Виссарионова. Начались бесконечные смены директоров этого Департамента. На место вице-директора, заведующего политическим розыском, вступил, к моему большому удовольствию, мой хороший знакомый, товарищ прокурора Алексей Тихонович Васильев.

Мне пришлось на другой же день, облачившись в парадную

форму, так редко мною надеваемую, представляться новому начальству, генералу Джунковскому. На этот раз меня принимал командир Отдельного корпуса жандармов и товарищ министра внутренних дел. Всей своей осанкой румяный молодой генерал давал чувствовать, что передо мной командир Корпуса. Товарища министра внутренних дел как-то не ощущалось! Поздравив генерала с монаршей милостью, я тоже, в видах подражания «новому духу», старался изобразить строевого офицера, заинтересованного не столько делом политического розыска, сколько поддержанием воинского духа и дисциплины среди служащих.

Генерал Джунковский, как всем известно, старался прослыть либеральным администратором, конечно постольку, поскольку это создавало ему приятную атмосферу в кругах нашей либеральничающей интеллигенции, но если он чутким носом придворного человека улавливал «поворот вправо», то он, где нужно и где не нужно, спешил усердствовать и проявлять твёрдость власти.

Один из таких «правых» его поворотов был просто нелеп. Случай был показателен и достаточно выразителен для того, чтобы рассказать о нём.

В связи с «Романовским юбилеем» шли толки о возможной амнистии. Некоторая частичная амнистия была в то время уместной, да и время было спокойное, а власть, как никогда, прочна. Та секретная агентура, которая осведомляла меня об общественном настроении, указала мне на один случай, где применение такой частичной амнистии было бы встречено общественностью с особым «признательным сочувствием» и в то же время показало бы внимание верхов к выдающимся представителям нашей культуры. Дело шло о предстоящем осенью 1913 года судебном процессе известного поэта Бальмонта, обвинявшегося в богохульстве, усмотренном в одном из его стихотворений, под названием не то «Сатана», не то «Дьявол» — теперь в точности не упомню.

Я получил негласную информацию о том, что оправдательный приговор предрешён членами судебной палаты; следовательно, своевременная амнистия Бальмонту устранила бы нежелательную судебную процедуру с её, также нежелательным для правительства, афронтом.

Все эти данные я изложил в особой записке и подал её для сведения градоначальнику Адрианову, добавив, что я лично полагал бы применение амнистии к Бальмонту крайне желательным.

Адрианов не выразил мне своего мнения и молча сунул

записку в стол.

Вскоре прибыл в Москву генерал Джунковский. Одним из его распоряжений ко всем начальникам отдельных частей Корпуса жандармов было встречать его на вокзале и рапортовать о состоянии части и прочем. Я «командовал» отдельной частью и должен был с этого времени неукоснительно прибывать на соответствующий вокзал в военной форме, подходить к генералу Джунковскому с требуемым официальным рапортом, который, будучи применён к делам моего охранного отделения, звучал для меня каким-то анахронизмом. Подумайте сами: по делам моего отделения что-то случалось почти ежедневно, многое из случавшегося было весьма интересным и важным с государственной точки зрения, но, во всяком случае, не укладывавшимся в прокрустово ложе официального рапорта! Рапорт этот неизменно повторял казённый шаблон: «В таком-то отделении особых происшествий не было». И, в полном несоответствии с содержанием этого рапорта, обычно мне назначался час для доклада в помещении, где останавливался Джунковский. Из этого следовало, что сам генерал понимал, что на вокзале, в присутствии посторонних, я не мог бы докладывать ему о ряде более или менее значительных данных, поступивших за истёкшее время к моему сведению.

До этого никогда ни один из начальников Московского охранного отделения не выезжал на вокзал для официальной встречи — и понятно почему: такие встречи только нарушали установленную деловую рутину и могли лишь мешать исполнению срочных дел; а какие дела, как не срочные, были у начальника Московского охранного отделения! Но хочешь не хочешь, а бросай всё, переодевайся в требуемую военным уставом форму и поезжай на вокзал, дабы произнести указанную сакраментальную фразу.

Генерал Джунковский, по-видимому, был очень доволен тем, что ставил и охранное отделение на военную ногу.

В этот приезд, ещё на вокзале, генерал Джунковский, выслушав рапорт, предложил мне пройти с ним в парадные комнаты вокзала и доложить ему о более или менее значительных новостях. Докладывая эти новости, я, между прочим, вспомнил и о деле Бальмонта и высказал свои соображения о возможности применения амнистии поэту. Джунковский пробормотал что-то в ответ, из чего я заключил, что готового мнения и решения у него нет. Вечером того же дня градоначальник Адрианов высказал мне в весьма сухой форме своё неудовольствие тем, что я доложил генералу Джунковскому о деле Бальмонта. «Да ведь я, ваше превосходительство, обязан

доложить такой случай товарищу министра внутренних дел в связи с его вопросами об общественном настроении!» — «Разве вы не видели, что вашу записку о Бальмонте я молча положил в стол?» — спросил меня генерал Адрианов. «Да, помню, вы положили её в стол, но я не понял того, что вы желаете замолчать эту информацию, которая к тому же по заведённой практике была переслана мной в Департамент полиции, который контролирует мою розыскную деятельность, и таким путём могла попасть и генералу Джунковскому, как товарищу министра внутренних дел и заведующему полицией!»

Так старался я оправдать мой устный доклад генералу Джунковскому. «Вы должны были понять, что я не согласен с вами!» — продолжал раздражённо Адрианов. Я понял, что после моего доклада генералу Джунковскому он при встрече с градоначальником спросил его мнение по поднятому мною вопросу, и оба скоро пришли к заключению, что «дразнить» правоцерковные круги для них обоих невыгодно, и оба предпочли замолчать неприятное для них решение.

Бальмонт вскоре был оправдан…[166]

Генерал Джунковский не был в состоянии понять, что подлинно разумно-либерально и где следует приложить государственную силу; но зато он был кипуч в своей показной либеральности, конечно постольку, поскольку она не могла повредить ему в нужных кругах.

Другой случай его смиренного подлаживания к сильным на верхах влияниям произошёл позже, уже в обстановке военного времени, насколько я помню, весной 1915 года.

В отделение поступило от жандармского подполковника Тихоновича из Ревеля «отдельное требование» о производстве обыска и об аресте какого-то лютеранского пастора-немца, не помню теперь его фамилии, проживавшего в Москве и замешанного в шпионской организации, за которой в Ревеле велось наблюдение.

Я знал подполковника Тихоновича лично по Петербургскому губернскому жандармскому управлению, где мы одно время производили дознания по политическим делам; это был человек неглупый, способный и обстоятельный.

Поручив произвести обыск и арест пастора одному из офицеров отделения, я направил на другой же день как арестованного, так и всю отобранную у него по обыску, очень значительную (по крайней мере, по объёму) переписку, не рассматривая её, в Московское губернское жандармское управление для производства следственных действий.

То обстоятельство, что я не оставил этого неприятного дела в

производстве у себя в отделении (хотя и мог это сделать), а направил его в Московское губернское жандармское управление, избавило меня, как это будет видно из дальнейшего, от неприятностей по службе.

Но в историях «с немцами» я уже был учён!

Около недели или двух спустя в Москву приехал генерал Джунковский. Встретив его, как обычно, на вокзале, я получил приказание генерала немедленно приехать к нему в генерал-губернаторский дом, где он всегда останавливался при приездах в Москву.

Как только доложили генералу обо мне, он вышел в приёмную, расспросил кратко о новостях, был, по-видимому, не в духе и сразу же перешёл на вопрос, почему именно мной арестован указанный выше пастор.

Я доложил сущность дела, что оно в производстве у меня не находится и что я являюсь в данном случае исполнителем «отдельного требования», полученного мной из Ревеля. Тут же я объяснил, что дело этого пастора и он сам находятся в распоряжении Московского губернского жандармского управления; как именно двигается это дело, я не имел сведений, да у меня и не было причин интересоваться шпионскими делами, так как они относились к компетенции тех специальных контрразведывательных отделений, которые были созданы в военное время при военных округах в тылу и при командующих армиями на фронте.

По хмурому виду генерала и по его вопросам я сразу понял, откуда дует ветер и что немецкие круги хлопочут у генерала за пастора.

Из моих объяснений генералу Джунковскому стало ясно, что обрушиться на меня не за что и невозможно, а потому он перешёл на другой тон, желая, видимо, использовать меня как советника в затруднительном положении. Вынув из кармана какое-то письмо и передавая его мне, он сказал: «Прочтите, какое письмо я получил от заведующего придворными конюшнями шталмейстера генерала фон Грюнвальда[167]!»

Насколько возможно быстро я постарался схватить содержание письма. Оно было написано в очень резком тоне (лучше и правильнее сказать, наглом) и содержало весьма недвусмысленное требование — разобраться в истории «очевидно, по недоразумению» арестованного пастора, хорошо известного «своей лояльностью» и пр. Кроме того, автор письма выражал негодование по поводу «грубого обращения» с пастором допрашивавшего его жандармского подполковника Колоколова и надеялся на то, что «этот офицер будет примерно наказан», и т. д.

Я был возмущён и содержанием, и тоном письма, и, конечно, если бы я, по своей сравнительно с генералом Джунковским скромной должности, получил бы такое, я знал бы, как реагировать на бестактное, мягко выражаясь, вторжение конюшенного генерала в чужую сферу деятельности!

«Ваше мнение об этом письме? Знаете ли вы лично подполковника Колоколова? Что это за офицер, и мог ли он позволить себе грубости в отношении арестованного пастора?» — спросил меня генерал Джунковский. Я уклонился от оценки письма, но доложил, что подполковник Колоколов является одним из очень опытных в производстве дознаний жандармским офицером, что он служил в различных отраслях жандармской службы и известен как развитой и вполне корректный человек. Брат его в прокурорском надзоре. Насколько я мог, я дал подполковнику Колоколову по заслугам очень хорошую аттестацию, добавив, что вообще трудно обвинять жандармских офицеров в грубости, так как общеизвестна их корректность.

«Ну, а начальник Московского губернского жандармского управления, генерал-майор Померанцев?» — продолжал спрашивать генерал Джунковский.

В моём ответе на этот вопрос заключалась для меня полная возможность отплатить генералу Померанцеву за все те неприятности и пакости по службе моей с ним в Саратове; я отлично понимал, что генерал Джунковский искал, кого проглотить! Ему надо было найти козла отпущения. Я уже понимал из тона генерала Джунковского, что он отнюдь не собирается вступаться за своих подчинённых. Я ответил, что генералу Померанцеву, как начальнику губернского жандармского управления, вряд ли пришлось принимать очень близкое участие в этом дознании, так как он мог вполне положиться на опытность подполковника Колоколова.

Думаю, что генерал Джунковский едва ли был доволен моими краткими и осторожными ответами и тем, что я не давал ему в руки желательных для него нитей для репрессий.

Как и что расследовал генерал Джунковский, я не знаю, но в результате его расследования генералу Померанцеву было предложено уйти в отставку (по прошению) с пенсией, а подполковник Колоколов был переведён из Москвы в другое, провинциальное, жандармское управление — тоже, значит, был наказан.

Фон Грюнвальд, очевидно, был удовлетворён, так как генерал Джунковский, убоясь влиятельных немецких сфер, не хотел неприятностей по службе, а потому пожертвовал на своей служебной шахматной доске несколькими пешками.

Это было вполне в духе этого показного либерала!

Любопытен также и случай, который представился на разрешение генерала Джунковского по делам моего отделения в 1913 году, т. е. вскоре после назначения его на должность командира Отдельного корпуса жандармов и товарища министра внутренних дел.

Делая ранее в этих воспоминаниях характеристику своим подчинённым по Московскому охранному отделению, я отметил одного из жандармских офицеров, некоего ротмистра Вас. Иванова, занимавшего в отделении должность чиновника для поручений. Фактически он являлся моим помощником по ведению социал-демократической агентуры. Это был, как я уже писал ранее, человек невысокой морали и культуры, способный, но пренеприятнейшего заносчивого характера и с излишней для своего положения самоуверенностью. Испортил его сильно мой предшественник по должности, полковник Заварзин, которому ротмистр Иванов импонировал, или, попросту говоря, сел на шею.

При вступлении моём в должность начальника Московского охранного отделения ротмистр Иванов пытался продолжать ту же линию и со мной, но я «потихоньку и полегоньку» скоро дал ему понять, что я сам руковожу розыском и нуждаюсь в помощниках только в известных пределах — не дальше!

Прежде всего наши отношения стали портиться из-за тех крупных переделок и поправок, которые я вносил в его пышные по стилю приготовлявшиеся для моей подписи бумаги.

Когда, весной 1913 года, ротмистр Иванов понял, что он должен или окончательно покориться и занять относительно равное с другими офицерами отделения положение, или что-то предпринять, чтобы сильно досадить мне, или даже, может быть, «подложить свинью», то он выбрал второй путь — себе на голову!

Ротмистра Иванова не любили служащие отделения, особенно младшие, с которыми он обращался слишком заносчиво. Та простота, с которой я, как начальник отделения, обращался со всеми своими служащими, была полной противоположностью третированию, которое они встречали со стороны ротмистра Иванова.

В числе служащих были двое исполнительных и хороших чиновников, перебравшихся на службу в Москву из Саратова вслед за мной, я совершенно не отличал их какими-нибудь преимуществами, и они отнюдь не являлись моими «клевретами». Никаких нашептываний я не терпел, и если выделял кого-либо из служащих, то только за выдающуюся службу, а не за услуги с заднего крыльца. Все служащие это знали, и никто никогда и не пытался нашептывать мне на своих товарищей по службе.

Ротмистр Иванов, считая, однако, этих служащих моими клевретами, решил нанести удар по ним, думая, очевидно, досадить мне.

Однажды, примерно в мае 1913 года, я получил форменный рапорт от ротмистра Иванова, в котором он докладывал мне (вместо, казалось бы, более уместного в данном случае устного доклада), что, придя в назначенное и заранее условленное с одним из секретных сотрудников время на конспиративную квартиру, «хозяином» каковой был как раз один из названных мной выше служащих (предполагаемых «клевретов»), Неделяев, скромный и тишайший по нраву человек, он, ротмистр Иванов, не мог войти в квартиру, так как Неделяева дома не оказалось и квартира была заперта. Подождав некоторое время на улице, ротмистр Иванов (конечно, в штатском платье) увидел возвращавшегося домой Неделяева и вошёл вместе с ним в квартиру. Так как Неделяев позволил себе отлучиться не вовремя и объяснения его ротмистр Иванов находил не заслуживающими уважения, то он доносит это мне на моё усмотрение.

Такая официальность, как подача формального рапорта в деле столь несложном, показалась мне актом нарочитым, но я, к сожалению, не уделил вначале этому делу особого внимания.

«Придирается к служащему, которого он не любит, и хочет, чтобы я применил наказание, пользуясь формальным предлогом!» — вот что мелькнуло у меня в голове; но я вызвал Неделяева для уяснения. Пришёл он ко мне удручённый и сильно обиженный. «Я знал, что в два часа дня у меня в квартире ротмистр Иванов должен был встретиться с сотрудником К., но минут за десять до назначенного времени вспомнил, что у меня на квартире нет чая для заварки, а ротмистр Иванов любил угощать этого сотрудника чаем; я решил сбегануть в лавчонку купить чай, но, или ротмистр Иванов пришёл ранее срока, или я опоздал на несколько минут, и мы встретились с ротмистром Ивановым у моей квартиры и почти одновременно вошли в неё. Вскоре пришёл и сотрудник; а когда я подал им в комнату чай, то ротмистр Иванов стал кричать на меня, как на последнего бродягу, в присутствии секретного сотрудника, чем поставил меня в очень унизительное положение. Я извинился перед ротмистром Ивановым, но он никаких объяснений не принял!» — обиженно рассказывал мне Неделяев.

Я сделал для проформы замечание Неделяеву, хотя понимал, что проступок его ничтожен, в служебной рутине возможен и никакого, в сущности, вреда ни агентуре, ни вообще делу конспирации не нанесено.

За разными делами я скоро забыл об этом рапорте, но не забыл о нём ротмистр Иванов, и… по прошествии месячного

срока, «не получая от меня никакого официального ответа», он подал снова рапорт, но уже высшему начальству на меня. Рапорт был подан на этот раз градоначальнику. Последний подивился, выслушал мои объяснения, но решил отправить всю переписку в штаб Отдельного корпуса жандармов. Началось формальное расследование по приказу генерала Джунковского. Расследование это нашло все мои объяснения правильными, и в результате последовал перевод трёх моих офицеров, примкнувших к жалобам на меня ротмистра Иванова, в разные провинциальные жандармские управления.

Это была попытка маленького «дворцового переворота», кончившаяся неудачно.

Однако самым любопытным штрихом в этой истории был тот, который был внесён в неё самим генералом Джунковским. Рассмотрев всё дело и согласившись с мнением лиц, производивших расследование, он нашёл необходимым написать мне своё мнение о случившемся. Это мнение состояло в том, что я «не должен был допустить крика и шума в конспиративной квартире», что могло повести за собой «провал секретной агентуры», а потому он, генерал Джунковский, ставит это упущение по службе мне на вид.

Кто знает прежние московские квартиры, тот, конечно, поймёт, что кричи не кричи в такой квартире, всё равно соседи не услышат. Стены-то были толстые. И, конечно, всё дело было вовсе не в криках! Но что было взять с такого «знатока и руководителя политического розыска», каким был генерал Джунковский, оказавшийся к тому времени и командиром Отдельного корпуса жандармов и товарищем министра внутренних дел по заведованию полицией?

Долго я ломал себе голову, силясь разрешить недоумённый вопрос: почему именно генералу Джунковскому пришла мысль о том, что из-за крика ротмистра Иванова, ругавшего Неделяева в уединённой и запертой обывательской квартире, в данном случае служившей местом конспиративных свиданий, могла пострадать секретная агентура? Ответ на этот вопрос я получил значительно позже, уже в эмиграции, когда я прочёл в «Красном архиве», издаваемом большевиками, статью «К истории ареста и суда над демократической фракцией II Государственной Думы»[168].

В этой истории, между прочим, рассказаны злоключения бывшей сотрудницы Петербургского охранного отделения, Шорниковой, в 1906 году дававшей генералу Герасимову (тогда начальнику этого отделения) исключительные по значению осведомительные данные о связи членов социал-демократической фракции Государственной думы 2-го созыва с военно-

революционными организациями.

Эта сотрудница, по-видимому очень неглупая и ловкая девица, была использована «до отказа» Петербургским охранным отделением, а затем забыта и брошена на произвол судьбы. К сожалению, в практике некоторых розыскных деятелей такие неблаговидные приёмы бывали.

Девица, придя в совершенное отчаяние и не зная, что делать в дальнейшем, будучи «провалена» и угрожаема с разных сторон, в один прекрасный день обратилась лично с просьбой к товарищу министра внутренних дел, а им в то время (уже в 1913 году) был не кто иной, как генерал Джунковский. Он, услышав обвинения Шорниковой, направленные на различных жандармских чинов и на порядки (вернее, беспорядки) в Петербургском охранном отделении, которых она была невольной свидетельницей, вызвал немедленно к себе в кабинет, где он вёл беседу с Шорниковой, директора Департамента полиции С.П. Белецкого и предложил ему в своём присутствии записывать объяснения и жалобы её.

Шорникова, перечисляя непорядки Петербургского охранного отделения, говорила о том, что на конспиративной квартире, куда она приходила на свидание с помощником генерала Герасимова, был полный беспорядок: несколько секретных сотрудников приходили в одно и то же время на эту квартиру, их рассовывали наспех по разным комнатам, и Шорникова однажды, находясь в одной из этих комнат в ожидании прихода руководившего её деятельностью подполковника Еленского (помощника генерала Герасимова), подсмотрела в щёлку двери в смежной комнате и увидела другого сотрудника.

Конечно, такой случай в розыскной практике нежелателен и недопустим и может быть только до некоторой степени извиняем ввиду спешки и переобременённости в делах в тот беспокойный 1906 год, когда это имело место.

Генерал Джунковский, неприязненно относившийся вообще к чинам Отдельного корпуса жандармов, был, вероятно, в душе очень доволен, что натолкнулся на случай непорядка, и доставил себе удовольствие, заставив самого директора Департамента полиции в своём присутствии записывать неприятные показания бывшей секретной сотрудницы.

Решив немедленно после своего вступления в новые должности (командира Отдельного корпуса жандармов и товарища министра внутренних дел по заведованию полицией) уволить как директора Департамента полиции С.П. Белецкого, так и его правую руку по заведованию политическим розыском, С.Е Виссарионова, генерал Джунковский, вероятно, испытывал большое удовлетворение, следя за собственноручной записью

Белецким объяснений, даваемых Шорниковой. Вероятно, в то время, когда он слушал эти объяснения, генералу Джунковскому особенно засела в голову картина непорядка в конспиративной квартире и тот момент, когда сотрудница разглядывала — «от нечего делать» — в щёлку двери лицо другого сотрудника, сидевшего в смежной комнате.

Как раз одновременно с этой жалобой генералу Джунковскому пришлось заняться рапортом той комиссии, которая рассматривала жалобу на меня со стороны ротмистра Иванова. Усмотрев какую-то связь в непорядках на конспиративных квартирах в охранных отделениях и не будучи в состоянии отличить один «инцидент» от другого, генерал Джунковский и положил свою «мудрую» резолюцию «о возможности провала секретной агентуры» (от ругани в конспиративной квартире) и моём «недосмотре» в этой истории. Но, так как, в общем, комиссия, расследовавшая жалобу на меня со стороны ротмистра Иванова, была всецело на моей стороне, я спокойно отнёсся к странному заключению самого генерала Джунковского.

Расскажу ещё об одном «мудром» решении генерала, относившемся к тому же примерно времени, т. е. к осени 1913 года.

В это время в моём ведении сосредоточивался политический розыск не только в городе Москве, но я, как начальник [районного] охранного отделения, руководил розыском в десяти примерно губерниях Московского промышленного района. Я имел тогда и второго помощника, подполковника Долгова, для этой дополнительной работы; однако на просмотр ко мне поступали все агентурные записки от всех жандармских чинов этого района. Это одно отнимало немало времени. В одном из губернских жандармских управлений района к осени 1913 года переменили начальника управления, а новый начальник в свою очередь был смещён с должности начальника одного из крупных провинциальных охранных отделений; сместил его Департамент полиции, будучи недоволен его руководством в политическом розыске. Но командир Отдельного корпуса жандармов назначил его (очевидно, в пику Департаменту полиции) начальником губернского жандармского управления и как раз в моём районе.

В агентурных записках, которые стали поступать ко мне от этого начальника управления, появились совершенно невероятные агентурные сведения об активной подпольной работе местного комитета Партии социал-революционеров. Сведения эти шли совершенно вразрез с общими сведениями об организациях этой партии, к тому времени совершенно

выдохшейся и бездействовавшей.

Я сразу понял, что секретный сотрудник, дававший эти сведения, «задуривает» местных руководителей политического розыска и в этом смысле и осветил положение дела Департаменту полиции, который предложил мне лично проверить эту агентуру, для чего пришлось поехать в город Н.

Приехав на место и поговорив с начальником управления, я убедился, что всё дело политического розыска ведётся молодым жандармским ротмистром, незадолго до того специально назначенным для этого в помощники новому начальнику управления. Сам начальник не удосужился познакомиться с сотрудником, дававшим — как казалось на бумаге — весьма серьёзные и значительные сведения, а молодой жандармский ротмистр только начинал жандармско-розыскную карьеру и готов был верить каждому слову осведомителей.

В сопровождении этого молодого жандармского ротмистра, которого я лично знал по Саратову, где он начал свою жандармскую службу адъютантом в жандармско-полицейском управлении железной дороги, я отправился на конспиративную квартиру для свидания с тем самым секретным сотрудником, который дал местному жандармскому розыску столько ошеломляющих данных.

Ещё идя на конспиративную квартиру, я сказал сопровождавшему меня ротмистру, что этот сотрудник — шантажист, что все сведения его вздорные и что я заставлю его признаться в этом. Ротмистр недоумевал. Мне, конечно, было важно разоблачить враньё этого сотрудника в присутствии свидетеля — его же руководителя.

Этот сотрудник оказался мелким служащим — конторщиком на местной судоходной пристани, молодым человеком лет 26–27.

Мне не стоило большого труда, после терпеливого выслушивания его запутанных сочинений «из головы», разоблачить его достаточно убедительно, и он, после некоторых колебаний, вынужден был в большом конфузе сознаться в длительном вранье. Однако враньё враньём, но оказалось и худшее: сотрудник этот дошёл до того, как это выяснилось из разговора с ним, что он организовал сам небольшою группу из своих приятелей и наметил ни много ни мало, как ограбление («экспроприацию», по общеизвестному и более вежливому термину) местной судоходной конторы; и, что самое главное, эта экспроприация должна была произойти «завтра»!

Выходило так, что местному политическому розыску оставалось совсем немного времени, чтобы предупредить это скандальное дело, под выдуманным им же самим предлогом

активности местных социалистов-революционеров. Сотрудник, чуть не плача, слушал мои разъяснения и умолял выручить его из беды, вполне откровенно сознавшись, что все его сведения о местных эсерах, о местном комитете этой партии, о шифре для переписки с заграницей и пр. — всё выдумано им из-за боязни, что его уволят с должности секретного сотрудника при отсутствии у него каких-либо интересных сведений.

Мне оставалось растолковать очень смущённому и растерянному сотруднику, а кстати, и тоже смущённому жандармскому ротмистру, что, если бы затеянное ограбление произошло, получился бы огромный конфуз для местного политического розыска и для жандармской власти вообще и крупное наказание по суду для самого сотрудника и его приятелей.

Я тут же предложил план ликвидации этой затеи путём немедленных обысков для изъятия револьверов у участников задуманной экспроприации и поступления с ними в зависимости от результатов обыска.

Когда я предложил этот план начальнику управления, то ему, конечно, тоже ничего не оставалось делать, как согласиться на него. Отсутствие руководства розыском с его стороны было полное.

В своём объяснительном конфиденциальном письме директору Департамента полиции я изложил всю эту историю, причём, искренне желая отвратить от молодого жандармского ротмистра нежелательные последствия по службе, вынужден был отметить, что всё происшедшее могло случиться только в результате невнимания к делу начальника управления, который, по своему прошлому розыскному опыту, мог бы, казалось, предупредить вовремя провокационные затеи секретного сотрудника.

Написал я, в общем, очень сдержанно, но случилось так, что у начальника управления были хорошие связи в высших военных кругах, и когда Департамент полиции после моего письма, написал ему кислое письмо в свою очередь, этот жандармский полковник отправился в Петербург и, вероятно, пустил в ход соответствующие связи и доложил всё дело генералу Джунковскому в таком освещении (я не знаю, как ему это удалось), что последний оказался на его стороне!

В результате, очевидно наперекор Департаменту полиции, генерал Джунковский стал продвигать этого жандармского полковника вверх в необыкновенно спешном порядке к самым ответственным должностям жандармской службы, а, приехав как-то в Москву, при встрече со мной заметил мне холодно: «Между

прочим, я не согласен с вами в оценке деятельности полковника такого-то», т. е. того самого полковника, у которого произошла описанная история с несостоявшейся, только благодаря мне, попыткой провокации его секретного сотрудника.

В чём же заключалась причина того, что генерал Джунковский, вопреки всякой очевидности, не согласился с моим докладом?

Его несогласие, очевидно, касалось только той небольшой заключительной строки моего доклада, где я отметил, что если бы начальник губернского жандармского управления обратил бы должное внимание на описанное мной дело, то, казалось бы, с его опытом такое скандальное поведение его секретного сотрудника не могло иметь места и было бы своевременно пресечено.

Генерал Джунковский совершенно не пожелал отметить моё своевременное вмешательство в это дело, которое грозило скандальными разоблачениями, если бы оно осуществилось.

Всё отношение генерала Джунковского к этому делу базировалось на одном: досадить Департаменту полиции и продемонстрировать перед теми, «кому это надлежит понимать», что Департамент, убрав год тому назад жандармского полковника с розыскного поста в провинции, сделал ошибку и что теперь Департамент при моём содействии («верного Департаменту полиции охранника») пытается ещё более принизить этого жандармского полковника, который-де на самом деле достоин лучшей участи. Поэтому-то генерал Джунковский не согласен был со мной, но в чём именно, он так и не пояснил мне, а я не стал его спрашивать.

Весной 1915 года, как известно, в Москве разразился антинемецкий погром. Я расскажу о нём подробнее в порядке очереди. Сюда я ввожу эту историю, поскольку она относится к личности генерала Джунковского.

После двух дней бесчинства толпы погром этот закончился сам собой, и когда утром на третий день в Москву приехал товарищ министра внутренних дел и командир Отдельного корпуса жандармов генерал Джунковский, Москва представляла собой мирную картину «после боя»!

Как это было заведено генералом Джунковским, все — и я в том числе — старшие представители местных жандармских управлений (в Москве кроме губернского жандармского управления находилось ещё около пяти жандармско-полицейских управлений железных дорог) встречали его на вокзале обычным рапортом

Рапорт включал, как я уже это отмечал, краткую сакраментальную фразу о том, что в таком-то управлении или

отделении особых происшествий не было, а если они были, то краткий отчёт о них.

Курьёз такого рапорта в применении к моему охранному отделению заключался, конечно, в том, что какие-нибудь происшествия всегда оказывались, это уже была такая «специальность», обычно неудобная для доклада на вокзале.

Только если применять эту форму рапорта собственно к самому охранному отделению и его персоналу, она была, пожалуй, применима в большинстве случаев с полным правом: не всегда же что-нибудь случалось особенное с самим составом служащих! Вообще же, нелепо было требовать рапорта на вокзале от начальника охранного отделения! Но Джунковский не был бы Джунковским, если бы не требовал от меня такого «строевого» рапорта.

Генерал Джунковский вышел из вагона, одетый «по-походному» — в офицерское пальто из солдатского грубого сукна и походном снаряжении поверх него. Всем своим видом он говорил, что и он на боевом фронте. Этот приём маскировки «под фронт» был очень типичен для этого царедворца.

Все начальники управлений стали подходить к генералу, произносить одну и ту же установленную фразу. Дошла очередь и до меня. Только я открыл рот, собираясь произнести нелепый в переживавшихся условиях сакраментальный рапорт, как генерал мрачно и нетерпеливо перебил меня: «А погром?!» — «Ваше превосходительство, — продолжал я, — во вверенном мне отделении особых происшествий не было, но в Москве только что закончился антинемецкий погром». Генерал раздражённо посмотрел на меня, словно хотел сказать: «Вывертываешься», но сказал только: «Немедленно приезжайте ко мне и доложите всё о происшедшем».

Установленный им для начальника охранного отделения военный рапорт, очевидно, даже для генерала Джунковского не подходил к случаю.

Я уже упоминал ранее, как вследствие разных побочных обстоятельств генерал Джунковский должен был чувствовать «флюиды отталкивания» ко мне. Прошло уже около двух с половиной лет, как он был моим начальником, я чувствовал эти флюиды, но они не реализовались пока в неприятную для меня сторону. Однако осенью 1915 года они реализовались! И вот в каком виде: как-то в это время градоначальник, генерал Е.К. Климович (мой предшественник в должности начальника Московского охранного отделения в 1906 году), вызвал меня к себе; усадив в кресло, генерал протянул мне молча какое-то письмо и предложил прочесть.

Письмо написано было генералом Джунковским Климовичу. Содержание примерно было следующее. «Так как, — писал Джунковский, — я предлагаю назначить на должность начальника Отделения по охранению общественной безопасности и порядка в г. Москве жандармского подполковника Леонтовича, а полковника Мартынова назначить начальником «такого-то» (я забыл название этого уездного жандармского управления) уездного жандармского управления, то благоволите сообщить мне Ваше заключение по поводу этого предполагаемого мной перемещения».

Чтобы яснее понять некоторую сложность выпада генерала Джунковского против меня, надо иметь в виду следующее: когда в 1912 году мною заменили начальника Московского охранного отделения полковника Заварзина, то тогдашнего градоначальника генерала Адрианова не запрашивали насчёт его согласия на эту перемену. Ему объявили её. Генерала Адрианова не считали за человека, разбирающегося в тонкостях политического розыска. Не то было с градоначальником Климовичем, которого считали одним из самых выдающихся руководителей розыска. Поэтому даже генерал Джунковский не нашёл возможным не запросить генерала Климовича о перемещении подчинённого — начальника охранного отделения.

Генерал Джунковский, конечно, считал, зная генерала Климовича, что последний не захочет ссориться с министерством и не станет отстаивать меня. Соображение правильное.

Но самое имя и личность нового кандидата, очевидно подсунутого генералом Джунковским по просьбе какой-нибудь влиятельной особы, ничего не говорили за себя. У подполковника Леонтовича не было розыскного опыта, и генерал Джунковский бестрепетно и смело назначал самого «среднего» жандармского штаб-офицера на одну из самых ответственных должностей по Министерству внутренних дел, в сфере политического розыска.

Кроме того, меня лично (это уже, очевидно, на почве «флюидов»!) генерал Джунковский намеревался перевести на должность не только сколько-нибудь равнозначащую, но с понижением, да ещё с каким: этой должности фактически в то время не было, или, вернее, она оставалась ещё в штатах Отдельного корпуса жандармов только на бумаге, ибо это небольшое, и по размеру и по значению, уездное жандармское управление Привислинского края было по военным причинам эвакуировано! Мне оставалось, если бы замыслы генерала Джунковского осуществились, пребывать самому в положении ненужного балласта при каком-нибудь жандармском управлении.

Чувство страшной и незаслуженной обиды поднялось во мне

после прочтения этого письма. Я возвратил письмо генералу Климовичу и, будучи всё же давно с ним хорошо знаком по нашей общей розыскной работе, спросил его, каков будет его ответ.

Климович отлично знал, что под моим руководством охранное отделение в Москве в то время — время очень ответственное и сложное (шёл 1915 год) — давало ему возможность ясно и осведомлённо разбираться во всех вопросах подпольной и надпольной, но хорошо замаскированной борьбы с правительственной властью. Он понимал, что заменить меня на должности начальника Московского охранного отделения не так-то просто. Не говоря уже о том, что я был сам москвич и знал «общественную» Москву давно и хорошо, но я, кроме того, был к тому времени больше трёх лет в должности и вполне освоился с ней; политическое освещение у меня было поставлено прочно и хорошо; я знал своё дело и был хозяином в нём.

Всё это генерал Климович отлично знал, но он был не тем человеком, который стал бы отстаивать меня и ломать из-за меня копья, что я, конечно, знал, и знал хорошо. Иллюзий на этот счёт я не питал никаких, да и к тому же я знал, что генерал Климович, считая себя знатоком розыска, может себя успокоить тем соображением, что он сам во всём разберётся.

Генерал Климович уклончиво ответил мне, что ему было бы тяжело и неприятно лишиться моего сотрудничества в работе.

Вечером того же дня генерал Климович сам пришёл ко мне в мой рабочий кабинет, памятный ему по 1906 году, когда он сам сидел за моим письменным столом в качестве начальника Московского охранного отделения, и показал мне проект своего письменного ответа генералу Джунковскому.

Этот ответ был очень характерен для генерала Климовича; он писал сначала разные хвалебные мне дифирамбы, указывая, что в то тяжёлое по политическим осложнениям время не следовало бы менять начальника политического розыска, что он не знает вовсе подполковника Леонтовича, а потому — так заканчивалось это письмо — если генерал Джунковский решил дать мне другое назначение, то он, генерал Климович, просит назначить на моё место известного ему жандармского подполковника Самохвалова.

Прочтя это письмо, я поблагодарил градоначальника за выраженную в письме лестную оценку моей деятельности, но сказал прямо, что этим письмом генерал Климович попросту хлопочет за подполковника Самохвалова. Тогда, как бы устыдившись, градоначальник, подумавши немного, сказал: «Ну, хорошо, я попросту не соглашусь с доводами Джунковского; я не хочу вашего ухода!»

Генерал Климович прислал мне другое письмо на имя

генерала Джунковского для срочной отправки его в Петербург. Я не знаю содержания этого письма, так как не позволил себе вскрыть его. Возможно, что генерал Климович полагал, что я его вскрою. Не знаю…

Во всяком случае, из этого письма ничего не вышло, как и из враждебной ко мне затеи генерала Джунковского, ибо он сам через несколько дней внезапно был уволен со своей должности, поскользнувшись на одной «апельсинной корке».

Я остался в должности, но замечательно то, что начиная с этого 1915 года раза два в году на меня делались атаки с разных сторон в целях «спихнуть» меня с должности. Эти атаки, о которых я упомяну в дальнейшем, так как они очень типичны для порядков в нашем Министерстве внутренних дел, неизменно оканчивались неудачей, и спихнула меня с должности только революция 1917 года.

Чтобы покончить с генералом Джунковским, я расскажу историю его «апельсинной корки», как она произошла в действительности, а не по изданной его доброжелателями легенде.

Генерал Джунковский поскользнулся на «немцах», а не, как явствует по другой версии, по поводу якобы враждебного для Распутина доклада Царю!

История была такова. Политика правительства по отношению к русским немцам и попавшим в плен немцам изменялась многократно. То она была суровой и решительной, то делались послабления. Администрации приходилось «держать нос по ветру»: или усердствовать не в меру, или, принимая во внимание «то-то и то-то», оказывать некоторые снисхождения и допускать исключения из правил.

Летом 1916 года мне как-то позвонил по телефону помощник московского градоначальника полковник В.И. Назанский, ныне благополучно проживающий в Париже, и попросил меня принять одну даму. «Очень красивая дама», — прибавил Назанский шутливо. Дело шло об её муже, каком-то австрийском бароне, проживающем в плену, кажется, в Нижнем Новгороде; «красивая дама» же была француженкой. Полковник Назанский уверил меня, что переписка об этом австрийском бароне проходила по делам моего отделения. Мне пришлось согласиться, хотя я знал, что только теряю время.

Через несколько минут мне доложили, что какая-то иностранка желает меня видеть. В кабинет вошла действительно очень красивая женщина, лет двадцати — тридцати, высокого роста тёмная шатенка, с очень правильными чертами лица, несколько вызывающего типа красоты, и стала взволнованно на

французском языке умолять меня помочь её мужу переехать из Нижнего Новгорода в Москву. Она усиленно напирала на свою французскую национальность, на то, что мы, русские, и она, француженка, политические друзья и что я, «от которого зависит всё», должен помочь ей. Я всячески уклонялся от оказания этой помощи, доказывая моё скромное служебное положение, при котором я бессилен что-либо сделать для неё, но моя просительница становилась всё настойчивее и пускала в ход все чары своей красоты. Уходя из моего кабинета, она пыталась обнять меня и приблизила губы ко мне, но, видя холодную непреклонность, переменила обращение в шутку и, уходя, обещала мне «после войны» лучшую встречу! Дама была очень напористая, из типа фильмовых и роковых Мата-Хари.

Рассказывая потом полковнику Назанскому о посещении француженки, я узнал от него, что она так же вела себя и с ним.

Француженка уехала в Петербург хлопотать у «самого Джунковского». Через некоторое время, как и узнал из газет, в Государственной думе Пуришкевич произнёс одну из своих пламенных речей, обвиняя представителей государственной власти в попустительстве врагам родины, и привёл целый список немецких пленных (в числе которых значился и муж француженки, моей просительницы), которым без достаточных оснований сделал разные поблажки товарищ министра внутренних дел генерал Джунковский. Государь остался очень недоволен, и генерал Джунковский немедленно был отстранён от должности. Играла ли при этом какую-нибудь роль его позиция в вопросе о Распутине, я не знаю. Думаю, что не играла вовсе.

Генерал Джунковский выхлопотал себе командование бригадой на фронте. Как он ею командовал, не знаю — это вне моей компетенции; может быть, и лучше, чем командовал целым «корпусом», хотя этим корпусом был всего-навсего Отдельный корпус жандармов с его 1000 офицеров и 10.000 унтер-офицеров. После революции генерал Джунковский как-то сумел поладить с большевиками — его не тронули.

* * *

За первые шестнадцать лет нашего столетия не было более спокойных годов, чем 1909-й и последующие за ним годы, вплоть до революции, — спокойных в смысле ослабления революционного, организованного напора на правительство.

Играли роль в этом следующие основные причины.

Общий упадок революционного настроения в связи с

неудачей бунта 1905 года.

Удачная борьба правительства с революционными организациями при помощи реформированной жандармской полиции.

Выяснившаяся в 1909 году «провокация» Азефа, расстроившая всю Партию социалистов-революционеров и её террористические начинания.

Перенесение центров разрушительно-революционной стихии из подполья в полуоткрытые и полулегальные общественно-политические группировки, борьба с которыми требовала иных методов.

Были, конечно, и другие причины общего характера.

Слово «спокойствие» я в значительной мере употребляю в приложении к нашей жандармской, розыскной, осведомительной работе; в общественно-политической жизни страны оно, конечно, не определяет точно эту жизнь.

Взбудораженность этой жизни шла своим чередом, и не нашей жандармской работой можно было бы ввести её в какие-то русла.

В 1912 году, когда я был назначен начальником Московского охранного отделения, политический розыск шёл спокойным темпом. Начальнику этого охранного отделения требовалось в то время понимать общую обстановку, умело руководить рутиной и «шаблоном» политического розыска и в своих докладах по начальству верно оценивать как силу и значение того или иного подпольного движения, так и возможность новых образований в связи с меняющимися политическими настроениями.

В области чисто подпольных революционных партий положение было донельзя простое и понятное в революционном подполье «барахталась» под полным контролем жандармской и охранной полиции одна только большевистская фракция Российской социал-демократической рабочей партии с её организациями, рассеянными по наиболее крупным городам; этим организациям мы, жандармская полиция, позволяли едва дышать, и то только в интересах политического розыска.

В это время не существовало никаких максималистов, анархистов, как и самой беспокойной партии — Партии социалистов-революционеров. Но кое-кто из жандармской полиции тогда ещё не усвоил этого описанного мной положения в революционном подполье.

На почве этого «неусвоения» у меня вскоре после начала моей работы в Москве произошла следующая история.

Как я уже упоминал, при моих первых же докладах о подпольной деятельности как повсюду вообще, так и по Москве

московскому градоначальнику генералу Адрианову его стремлением, конечно, было выяснить и понять, что именно представляю собой я как начальник охранного отделения.

Я обрисовал ему общее положение революционных организаций, как я это только что изложил; доклад мой был успокоительным, особенно в связи с ожидавшимся тогда Высочайшим приездом в Москву.

На собраниях полицейских высших чинов, собиравшихся тогда очень часто для выработки мер охраны, мне приходилось выступать также с успокоительными замечаниями.

У генерала Адрианова, меня не знавшего, да ещё находившегося под постоянным нажимом со стороны своего помощника, полковника Модля, вероятно, сомневавшегося в моём знании политического розыска и общей обстановки, очевидно закрадывались сомнения в правильности моих докладов и моей точки зрения.

Как-то в августе того же года, в самый разгар наших приготовлений к Высочайшему приезду, генерал Адрианов вызвал меня к себе в кабинет и, передав мне какую-то объёмистую докладную записку, попросил меня ознакомиться с ней и доложить ему по содержанию. Я взял эту записку домой и взялся за чтение. К моему большому удивлению, автором записки оказывался не кто иной, как жандармский полковник фон Котен, в то время начальник Петербургского охранного отделения.

До перевода его в Петербург полковник фон Котен был начальником Московского охранного отделения и в подчинении у того же градоначальника, генерала Адрианова.

По-видимому, генерал Адрианов сохранил доверие к полковнику фон Котену. Записка, находившаяся в моих руках, оказалась как бы обзором настоящего состояния Партии социалистов-революционеров.

Чем дальше читал я эту объёмистую записку, тем более поражался. В ней, очевидно со слов какого-то секретного сотрудника, рассказывались всевозможные нелепости о «небывалой организованности» партии, перечислялись члены «центрального» и других комитетов партии, назывались лидеры, излагались различные «подготовления» и «планы» и пр. и пр.

Всё было полнейшим вздором и глупой выдумкой. Читая эту записку, я попутно тут же, карандашом на полях, делал отметки, замечания и вообще навёл беспощадную критику, не считаясь с тоном своих отметок. Я был изумлён и возмущён — изумлён тем, что начальник Петербургского охранного отделения мог до такой степени не понимать общего положения дела, и в особенности полного развала в то время и отсутствия каких-либо организаций

этой партии; возмущён тем, что он позволил себе, в обход и служебной этики, и служебного порядка, послать эту записку прямо в руки градоначальника, минуя меня, которому, как казалось бы, следовало получить её для «сведения и соображений при розыске», да, кроме того, записка, по-видимому, не была им послана и в Департамент полиции, иначе я получил бы её «для соображений при розыске», в копии.

В числе моих кардинальных заметок на полях записки запестрели резкие слова, вроде: «Какой вздор!», «Неужели начальник СПБ охранного отделения не понимает, что это сплошные выдумки!», «Как глупо!», «Чепуха!» и т. д.

Была ли это со стороны фон Котена глупость или интрига, трудно решить. В том, что он послал записку прямо в руки градоначальнику, можно усмотреть, пожалуй, интригу. Во всяком случае, это было глупой интригой. Но мне предстояла нелёгкая задача втолковать генералу Адрианову, что все данные записки начальника фон Котена не отвечают действительности.

Вероятно, генерал Адрианов продолжал сомневаться не в записке — нет, а во мне и в правильности моей оценки её! Положение прояснилось несколько дней спустя, когда бывший в то время в Москве директор Департамента полиции С.П. Белецкий, зайдя ко мне в кабинет, спросил меня о записке и предложил дать ему её для ознакомления.

Я вынул из ящика стола записку и докладные директору Департамента полиции о всех нелепостях, в ней заключавшихся, попросил только две минуты времени, чтобы стереть резинкой мои резкие заметки на полях. «Нет, нет, — сказал мне Белецкий, — дайте мне эту записку, как она есть, с вашими отметками!» — «Неловко, ваше превосходительство, — отвечал я, — отметки эти я делал только для себя, записка по своему содержанию настолько нелепая и вздорная, что её нельзя без вреда для дела приложить ни к какому делу в отделении». — «Нет, дайте её мне с вашими отметками!» Я отдал записку директору и не знаю, какие она имела последствия.

Однако ведь кто-нибудь из нас, или начальник Петербургского охранного отделения, или я, начальник Московского охранного отделения, должен был быть прав, а другой не прав в своих оценках положения Партии социалистов-революционеров в 1912 году. Казалось бы, что начальник одного из крупнейших охранных отделений в империи не мог продолжать руководство политическим розыском, если он ошибался в главном и не понимал главного в состоянии одной из самых опасных с государственной точки зрения революционных партий! Но оба начальника продолжали оставаться в своих

должностях: полковник фон Котен до 1914 года, а я до самой революции…

Случай этот подтверждает отсутствие планомерного руководства политическим розыском со стороны Департамента полиции.

Думаю, что С.П. Белецкий разделял мою «установку» (как говорят это теперь) и объяснил генералу Адрианову вздорность записки фон Котена. Заведование и руководство политическим розыском в Поволжье с 1906 по 1912 год, в том районе, где издавна укрепились влияние и связи Партии социалистов-революционеров, также как и полное понимание мною всего того, что делалось в центрах этой партии, благодаря данным от очень осведомлённой агентуры, конечно, очень много помогли мне в оценке общего подпольного движения и в Москве. Поэтому мне нетрудно было разобраться в записке полковника фон Котена.

Вскоре от него же я получил письмо, в котором он уведомлял меня о посылке им в Москву одного из своих секретных сотрудников, «несколько поколебленного в партийных кругах, но очень осведомлённого в деятельности Партии социалистов-революционеров», прося меня принять этого сотрудника в моё ведение.

По выработанному условию мы встретились с этим сотрудником в отдельном кабинете ресторана «Мартьяныч»; я захватил с собой одного из офицеров отделения в свидетели.

Через самое короткое время я убедился, что этот сотрудник — типичный шантажист и у него самое слабое представление о настоящем положении в Партии социалистов-революционеров. Мне не стоило большого труда доказать ему, что все его сведения ничего не стоят и не отвечают действительности. Поэтому я предложил ему возвратиться в Петербург и попросить полковника фон Котена заняться его личной судьбой.

Всё это я изложил в соответствующем письме полковнику фон Котену. Может быть, этот самый сотрудник и был автором той «записки» начальника Петербургского охранного отделения, которая была прислана генералу Адрианову.

Весна 1913 года прошла под знаком «Романовских торжеств» в память 300-летия царствования Дома Романовых.

Повторилась снова страда «охранных мер», «охранных совещаний», встреч и докладов разным приезжавшим в Москву начальствующим лицам.

Должен отметить большой патриотический подъём населения Москвы в связи с этими торжествами, которые прошли очень успешно.

На этот раз генерал Джунковский передал мне пожалованный

мне орден св. Станислава 2-й степени, который меня очень мало утешил, так как я ожидал производства своего за отличие, «не в очередь» в чин полковника. Но этого производства мне пришлось прождать ещё два года.

* * *

Как спокойно ни было общее положение, благодаря ослаблению организованного революционного подполья и его активности, всё руководство делами столь большого сравнительно учреждения, каким было в то время Московское охранное отделение, давало себя знать. Поэтому моё время было распределено с большой точностью.

Я попробую набросать приблизительную картину своего служебного дня. Моё утро начиналось около 10 часов; я выпивал чашку кофе и попутно читал приготовляемую в канцелярии градоначальника сводку наиболее интересных газетных сообщений. Эта сводка приготовлялась для градоначальника, а мне доставлялась в копии.

Почти ежедневно, утром, приходилось зайти по очередным делам или к градоначальнику, или к одному из его помощников.

Затем в мой кабинет приходили с разными докладами старшие служащие отделения. Принимая во внимание, что в отделении было в среднем до двенадцати офицеров и, кроме них, с докладами приходили заведующий канцелярией отделения, заведующий наружным наблюдением, казначей и ещё двое-трое старших чиновников и что на каждого из этих докладчиков я должен был потратить от пяти до пятнадцати минут времени, то ясно, что я еле успевал управиться с обычными докладами к 1 часу дня.

В это время меня звали к завтраку. Мой казённый лакей Савелий, бывший в этой должности и у нескольких моих предшественников, неизменно появлялся в моём кабинете и докладывал, около часа дня, что «фриштик готов».

Я уже ранее отмечал, что офицеры Отдельного корпуса жандармов, направляясь по разным служебным делам в Петербург, обычно заходили в Московское охранное отделение за бесплатным железнодорожным билетом «на предъявителя». Таких билетов в моём распоряжении была целая куча. Обычно на каждую железную дорогу у меня были: один билет 1-го класса, один или два билета 2-го класса и два или три — 3-го класса.

Очень часто офицеры Корпуса, зайдя к моему помощнику и получив такой билет (я дал распоряжение никогда не отказывать

офицерам Корпуса в этих билетах), и получив также, если они оставались на день или два в Москве, бесплатный билет в какой-нибудь театр, находили естественным представиться мне и лично поблагодарить за билеты. Согласно заведённому порядку, эти офицеры приглашались ко мне на завтрак или попозже на обед. Таким образом, и время завтрака или обеда уделялось разным служебным или неслужебным беседам с гостями. Семья моя — небольшая: жена, я и сын, в то время гимназист. Но за стол мы редко садились одни, своей маленькой семьёй.

Время между завтраком и обедом, т. е. около пяти часов, уходило у меня на одно или два свидания с секретными сотрудниками, на писание черновиков служебных докладов, на внеочередные разговоры со служащими отделения и на посещение тех высших чинов администрации или прокуратуры, для которых у меня были более или менее спешные сообщения.

Затем — обед около шести часов дня и отдых в полчаса или час, впрочем, часто прерываемый телефонными звонками, так как телефон был проведён у меня и в спальню, и в столовую.

Вечернее время, т. е. время между семью с половиной и десятью часами, я иногда, но далеко не всегда мог использовать, если не было чего-нибудь экстренного (что бывало очень часто), для себя самого и, таким образом, раз или два в неделю быть в театре.

Обычно с десяти-одиннадцати вечера я должен был быть у себя в кабинете снова, и снова начинались доклады офицеров и чиновников моего отделения. Продолжалась утренняя история, и она тянулась далеко за полночь.

Такой градоначальник, как генерал Климович, сам в прошлом начальник Московского охранного отделения, засиживался в своём кабинете долго ночью, и часто, почти ежедневно, мои служебные доклады ему происходили после 1 часа ночи.

Редко ложился я спать ранее двух часов ночи; часто значительно позже. И это изо дня в день, не исключая праздников и воскресений! Служебная жертвенность, как я погляжу теперь, была действительно огромная.

Так как за всю мою службу в офицерских чинах я не брал отпусков (за исключением одного в самом начале карьеры, после производства в офицерский чин) и так как время было относительно спокойное, а я чувствовал некоторое переутомление, я решил в конце мая 1914 года взять месячный отпуск и, получив его, укатил на месяц в Крым. В отпуску я прочёл о сараевском выстреле Принципа, а вскоре после возвращения из отпуска началась Великая война.

В тылу, а значит, и Москве, в связи с войной началось

применение административных мер по отношению к нашим многочисленным немцам. Так как русских немцев было достаточное количество повсюду в России и в самой администрации было много русских немцев, применение тех или иных репрессивных мер было самое разнообразное. В начале войны, в связи с распубликованными сведениями о немецких зверствах и в связи с проявившимся «административным восторгом», некоторые администраторы начали допускать усиленные репрессии: немцев обыскивали по доносам, сыпавшимся как из рога изобилия, а иногда и высылали в глубь страны.

В начале войны незадолго до того организованные контрразведывательные отделения, предназначенные бороться со шпионажем, проявляли себя весьма слабо. В моё отделение сыпались доносы, заявления и предупреждения от самых разнообразных кругов населения. Между тем моё отделение по роду своих функций не имело отношения к обследованию шпионажа, и я не имел в своём распоряжении соответствующих средств для подобной работы.

Я испросил указаний у градоначальника. Генерал Адрианов в пылу административного восторга решительным тоном приказал производить обыски у лиц, на которых поступали доносы как на вредных делу войны немцев, и поступать с ними в зависимости от результатов обысков и собранных сведений.

Пришлось произвести много обысков, но собрать сведений уличающего характера, конечно, не удалось. Не такая простая вещь шпионаж, чтобы бороться с ним столь примитивными, хотя и решительными, мерами!

Однако эти меры против немцев отнимали массу времени у всего состава моего отделения, несмотря на то что они являлись пустым и вредным делом, ибо были бессистемны.

Один случай, однако, умерил пыл у Адрианова. Вызвал он меня как-то к себе и спрашивает:

— Произвели вы обыск вчера у такого-то? (Не помню теперь фамилии этого влиятельного коммерсанта-немца.)

Отвечаю.

— Да, произвели!

— Ах, какая досада! Это очень влиятельный человек, он после обыска пожаловался Великой княгине Елизавете Фёдоровне, а та звонила мне по телефону — удивляется принятой мере и просит разобраться получше в деле; Великая княгиня знает этого человека с хорошей стороны. Жаль, что до обыска вы не спросили меня о нём!

— Да ведь вы, ваше превосходительство, распорядились

производить обыски по всем доносам на немцев! — отвечаю я Адрианову.

— Да, это так; но надо было разобраться! — горячится Адрианов.

— В моём отделении нет средств для такого разбора! — отвечаю снова градоначальнику.

— Да, да, но всё же надо сделать что-нибудь, чтобы загладить эту неловкость! — волнуется Адрианов. — Не ехать же мне к немцу с извинениями. Пожалуйста, съездите сами к нему и объясните ему, что произошла ошибка, и извинитесь!

— Ваше превосходительство, я тоже не хотел бы ехать к этому немцу, да ещё извиняться!

— Но что же, однако, остаётся делать? Я прошу вас поехать и найти что-нибудь в объяснение обыска! — пристаёт ко мне градоначальник.

Как это мне ни было неприятно, я надел офицерскую форму и поехал объясняться к немцу.

Подъезжаю к «собственному» дому. На звонок отворяет дверь лакей в ливрее. Готическое убранство комнат, статуэтки Бисмарка, масса немецких журналов, газет и книг, портреты Вильгельма и прочее не оставляют ни малейших сомнений в немецкой культуре хозяина дома. Даю лакею свою визитную карточку и усаживаюсь в великолепном кабинете хозяина, пропитанном немецким духом.

Входит представительный немец угрюмого, недовольного вида; я представляюсь ему и говорю, что градоначальник предложил мне объяснить вчерашнее неожиданное вторжение в его квартиру; объясняю хозяину дома текущее сложное положение и, насколько могу, внушаю ему, что в такое время приходится прощать некоторые «сильные» меры.

Хозяин силится улыбнуться, предлагает в конце разговора сигару, и мой визит оканчивается.

С этой поры административный восторг у Адрианова поослабел, и я мог спокойнее разбираться в антинемецких доносах обывателей.

Второй антинемецкии нажим произошёл несколько позже, весной 1915 года, и окончился немецким погромом. Москвой «правил» тогда князь Юсупов граф Сумароков-Эльстон. Оба они, и Адрианов в качестве градоначальника, и князь Юсупов в качестве главноначальствующего над Москвой, были удалены с должности после погрома.

В связи с историей этого погрома я расскажу и о моих служебных встречах с князем Юсуповым

* * *

В начале 1915 года правительство решило создать высшую объединяющую власть в Москве, но, в отступление от прежней генерал-губернаторской власти, была образована должность главноначальствующего, более отвечающая наступившему военному времени. Объединение власти, конечно, вполне отвечало сложным запросам того времени, но при одном непременном условии — выборе подходящего для такой должности лица.

Выбор, однако, был сделан чрезвычайно неудачно. Конечно, князь Юсупов был достаточно независим, до некоторой степени знал Москву, был богат и знатен, но не обладал ни опытом, ни знаниями.

В один прекрасный ранневесенний день все начальники отдельных частей, как военные, так и штатские, в соответствующей военному времени форме собрались на Николаевском вокзале для встречи приезжавшего из Петербурга главноначальствующего, князя Юсупова.

Из вагона бодро вышел генерал «гвардейской» складки, со светскими манерами и быстрыми движениями. Князь Юсупов держался очень просто. Простота манер и обращения сразу подкупала. Генерал в сопровождении старших чинов обходил представлявшихся, здоровался, но почти не задавал вопросов. Приём быстро окончился.

Московское градоначальство с приездом главноначальствующего входило в прямое ему подчинение; получалась новая инстанция, куда надо было сообщать, где надо было делать доклады и пр.

Я лично, по своей должности, не ожидал, что скоро войду в очень близкий контакт с главноначальствующим, но случаю было угодно, чтобы это произошло.

Вскоре, в связи с одним из моих письменных докладов градоначальнику, касавшимся, насколько я помню, какой-то забастовки, генералу Адрианову пришлось ехать к главноначальствующему. Вопрос, изложенный в моём докладе, имел отношение к подпольной агитации и, вероятно, показался градоначальнику несколько сложным, а потому он вызвал меня к себе и предложил мне отправиться вместо него к князю Юсупову и объяснить всё дело, изложенное в докладе.

Юсупов жил в своём известном особняке-дворце у Красных Ворот. Дом был огромный, неоднократно реставрированный,

помнивший старину, пожалуй, только своим фундаментом и нижним этажом. Низ дома ещё напоминал царей, но верх, с его громадными залами и бесчисленными круглыми гостиными, боскетными[169] и другими большими и малыми комнатами, сохранял эпоху не во всём, и если и сохранял, то в значительной степени благодаря умелой и знающей руке талантливого и умного руководителя и директора московского Строгановского художественного училища[170]Н.В. Глобы. Он был свой человек в доме князя Юсупова и, как это ни странно, принимал всегда участие в самых разнообразных заседаниях, которые любил устраивать князь Юсупов.

Комнаты были заполнены художественными редкостями, картинами, бронзой и мрамором, так что, когда я в сопровождении лакея, провожавшего меня в кабинет князя, проходил по анфиладам дворца, у меня, как говорится, глаза разбегались.

Я был введён в очень небольшую квадратной формы комнату, которая по какому-то странному решению князя служила теперь ему служебным кабинетом. Комната совсем не отвечала своему заданию: недостаточно большая, она едва вмещала небольшой письменный стол, несколько кресел, пару небольших столиков, и вся была наполнена самыми разнообразными художественными предметами.

Я представился князю и объяснил, что генерал Адрианов прислал меня для соответствующего доклада. Думаю, что князь не разобрал тогда, кто именно явился к нему: я был в защитной форме, и жандармский мундир не бросался в глаза. Возможно, что князь принял меня за одного из штаб-офицеров для поручений при градоначальнике. Это я понял уже значительно позже.

Князь был, по-видимому, очень занят, он предложил мне сесть как раз с другой стороны своего письменного стола, на котором грудами лежали телеграммы, дела в синих папках, газеты и масса неразобранных служебных бумаг.

Я, как аккуратный человек, не терпевший загромождённости письменного стола, сразу понял, что главноначальствующий тонет в массе бумаг. Моя догадка подтвердилась скоро. В кабинет беспрерывно входил лакей в безупречной ливрее и подавал князю то груду телеграмм, то свежую дневную газету, то клал на стол новую папку с бумагами «для доклада». Князь, не начиная со мной разговора, нервно, беспокойно и как-то беспомощно то открывал одну из поданных телеграмм, то брался за просмотр газеты, то снова начинал рассматривать лежавшее перед ним «дело».

Я стал рассматривать картины, стараясь отгадать художника, любовался разными objects d'art[171], во множестве разложенными на столиках и отвлекавшими внимание от дела, по которому я пришёл.

Лакей подал чай. Прошло около получаса… Князь развёртывает телеграмму, смотрит на неё в недоумении и вдруг, обращаясь ко мне, говорит раздражённо: «Не угодно ли, теперь я должен «протолкнуть» какой-то сахар! Чёрт его знает, как я его протолкну! При чём я тут!» Я понял, что дело касается груза сахара, предназначенного в Москву, но застрявшего где-то на железной дороге из-за заторов, образовавшихся вследствие передвижения войск и военных припасов. При виде явной административной беспомощности главноначальствующего я позволил себе подсказать ему весьма простой выход из положения: «Ваше сиятельство, если вы на этой телеграмме положите резолюцию, примерно такую: «Начальнику дороги, правителю дел и начальнику жандармско-полицейского управления срочно доложить дело», вы легко сможете принять правильное решение!»

«Вы думаете, что я тогда найду правильное решение?» — спросил меня неожиданно князь.

«Конечно!» — уверил я главноначальствующего, но понял в эту минуту, что предо мной сидит «административное дитя».

«Ну, а с такой телеграммой как вы думаете поступить?» — обратился ко мне князь, протягивая другую телеграмму.

На этот раз вопрос шёл о каких-то винных складах и их охране. Дело было, конечно, совсем не по моему ведомству. Я подсказал и вторую резолюцию.

Так около часа я прочитывал телеграммы и давал князю различные советы. Главноначальствующий под конец повеселел, острил, шутил. Наконец я улучил минуту и для моего доклада и сам подсказал и резолюцию к нему.

Откланявшись и пытаясь самостоятельно пробраться к выходу, я долго бродил по разным анфиладам огромного дома.

Не прошло и дня, как градоначальник передал мне приказание главноначальствующего явиться к нему. Я поехал и снова присутствовал при разборе князем почты. На другое утро я опять был вызван к князю — на этот раз по каким-то делам градоначальства.

Каждый вызов к главноначальствующему, естественно, отнимал у меня много времени. Самая забавная в наших «деловых» встречах с князем история, почти анекдот, приключилась в мой четвёртый или пятый приезд к нему. Я сидел у него в кабинете, и князь, разбирая бумаги, вдруг устремил на

меня недоумённый взгляд и спросил: «А скажите, пожалуйста, полковник, какую вы, собственно говоря, занимаете должность?»

Я опешил от этого вопроса, но, насколько возможно, в удобопонятной для мальчика среднего возраста форме объяснил, в чём заключается моя должность.

В комнату вошёл лакей и доложил о завтраке. Князь пригласил меня к столу.

Завтраки у князя Юсупова подавались в разных комнатах: стол был сервирован то в «угловой» гостиной, то в «жёлтой», редко в одной и той же комнате. За завтраком на этот раз собралась небольшая группа приглашённых, близких к князю по должности. Очень красивая и очень моложавая княгиня завтракала с нами. За стулом каждого присутствовавшего стоял ливрейный лакей. Князь был очень в духе и рассказывал, изящно грассируя, как ему пришлось утром присутствовать на длинной церковной службе по случаю похорон какого-то видного чиновника. «Отслужили панихиду, идём процессией. Вдруг остановились на Мясницкой, — рассказывал князь, — опять служить панихиду! Спрашиваю, почему опять служат? Отвечают — лития[172]. Почему лития? Какая лития?» — «Ах, — вмешивается княгиня, — это понятно; вероятно, служили литию у квартиры покойного!» — «Нет, это совершенно невозможно; сколько времени ушло! Нет, у себя в полку я прямо сказал священнику: служить кратко!»

Разговор перешёл на политику. Княгиня стала задавать мне вопросы и искренне удивилась, отчего мы не можем переарестовать всех смутьянов и революционеров. Казалось, что княгиня насчитывает их сотню, другую…

Лакеи тем временем необычайно быстро меняли блюда, так что, если отвлечённый ответом гость не успевал вовремя закончить необыкновенно вкусное блюдо, ему оставалось только видеть исчезающую тарелку и другую, вновь подаваемую к следующему блюду.

Не знаю, понравился ли я или мои советы князю, но с того времени не проходило одного или двух дней, чтобы он сам по телефону не вызывал меня к себе, а так как князь не умел вообще распределять своё время, то бывало и так, что придёшь к нему, а он выезжает из дома, приветливо машет рукой и просит подождать. Иной раз приходилось ждать час-другой. Правда, это ожидание было обставлено не без приятности: в одной из приёмных обычно сидело несколько близких князю чиновников, подавались вино, бисквиты.

Во время одной из многих бесед с князем, не помню, по какому вопросу именно, кажется, о винных складах и способах и

мерах, которые следует принять для их охраны, я, не имея необходимых сведений и данных, предложил князю устроить специальное совещание и собрать лиц, которые с пользой для дела могут представить свои заключения. Князю моя мысль очень понравилась. Он приказал приехать и мне. На другой же день на совещание собралось человек двадцать — двадцать пять, причём добрая половина из нас была вызвана, как говорится, «не по адресу». Был неизбежный Н.В. Глоба, этот фактотум[173] князя, были чины судебного ведомства и полицмейстеры; присутствовали чины и совершенно неподходящих ведомств.

Князь вдруг задал громко вопрос, обращаясь ко мне: «Скажите, полковник, сколько именно в Москве винных складов и магазинов?»

Я ответил, что у меня этих данных не имеется. В этот момент вошедший лакей доложил князю, что меня требуют к телефону. Я вышел.

Возвратившись, я застал полицмейстера, генерала Золотарева, доказывавшего, что полицейских сил недостаточно для действительной охраны винных складов, на что князь раздражённо сказал «Вылить тогда это вино к чёртовой матери!» Однако ему резонно указали, что на складах Депре и Леве лежат слишком дорогие вина, чтобы принимать столь крутые меры.

После совещания полицмейстер Золотарев, выходя со мной, сказал мне, смеясь: «Когда вы вышли на телефонный вызов, князь развёл руками и недоумённо произнёс: «Ну как же так? Начальник охранного отделения не знает, сколько в Москве винных складов!»»

Однако моё незнание не испортило прекрасных отношений с князем, а так как мой совет собрать совещание очень понравился главноначальствующему, то он стал собирать их бесконечной чередой. Я понимал почему. На этих совещаниях, во время объяснений и дискуссий, князь нахватывался каких-то знаний, которых у него не было. Я стал постоянным членом многих самых разнообразных совещаний.

Приблизительно в апреле того же года так называемая жёлтая пресса в Москве, подогреваемая дурно понимаемым патриотизмом обывателя, стала указывать «на немецкое засилье». Появились списки немецких фирм, немецких магазинов. Газеты стали отводить целые столбцы перечню немецких предприятий в Москве. Поползли слухи о том, что где-то кто-то покажет московским немцам кузькину мать! Разговоры на эту тему стали учащаться.

В одной из своих бесед с князем Юсуповым я указал на могущие быть опасными последствия этой открытой газетной

провокации. Правда, немецких фирм в Москве было много, но к ним как-то так привыкли в городе, что при отсутствии специального подчёркивания «немецкого засилья» обыватель равнодушно проходил бы мимо всех этих «Циммерманов» и других иностранцев.

Когда же изо дня в день газеты помещали столбцы их фамилий, эти немцы стали как-то раздражать даже спокойного и сравнительно уравновешенного обывателя.

Я рекомендовал князю повлиять на газеты и остановить нарочитое подстрекание обывателей. Не знаю почему, но князь не внял моим доводам. В своих очередных двухнедельных рапортах градоначальнику со сводкой о настроении в Москве (эти рапорты градоначальник завёл сам, не знаю, в каких видах) я сообщал о возможном антинемецком выступлении толпы в результате газетной травли.

Относилось ли всё это непосредственно к деятельности Московского охранного отделения? Конечно, мне полагалось вообще знать всё. Правда, в данном случае об антинемецком выступлении говорилось чуть ли не открыто, и суть дела заключалась не в какой-то особой осведомлённости, а в обычных, чисто полицейских мерах охранения внешнего порядка на улице; это не относилось к моему ведомству.

Погромные настроения висели в воздухе; возможность погрома при любом уличном скоплении толпы чувствовали все, а не одни власть имущие. Однажды, в скверное майское утро, полицейский надзиратель, прикомандированный для связи к одному из полицейских участков Замоскворечья, доложил мне по телефону, что в районе его участка скопляется толпа, враждебно настроенная к немцам. Я немедленно поспешил к градоначальнику и в срочном порядке доложил ему о моих сведениях.

Не знаю почему, но мой доклад вызвал очень раздражённый отпор градоначальника. Выходило так, что я сую нос, куда не следует, и что это дело его, градоначальника, и общей полиции, а что у градоначальника сведения другого характера: в Замоскворечье началась-де патриотическая манифестация.

«Патриотическая манифестация», как известно, кончилась двухдневным немецким погромом, на который молча глядела полиция, правда слишком малочисленная, бездействовавшая по нераспорядительности и нерешительности своего начальства.

Погром был ужасающий. Когда я два дня спустя ехал по Неглинному проезду, лошадь моя шагала по грудам художественных изданий Кнебеля. Не лучше было и на многих других улицах.

Растерявшийся Адрианов, вбивший себе в голову глупые сведения о патриотической манифестации, подъехал к толпе, нёсшей портрет Государя. Вместо того чтобы распорядиться отобрать портрет, арестовать нескольких лидеров, а толпу разогнать тогда, когда это было ещё легко осуществить, он, сняв фуражку, отправился во главе толпы. Скоро ему пришлось удалиться и поручить шествие полицеймейстеру. Толпа стала громить, а отпора не встречала.

Я не знаю, что делал в это время главноначальствующий князь Юсупов. Мятлев, известный острослов и подпольный поэт того времени, уверял в одном стихотворении, что князь стоял в это время в автомобиле на улице, —

И до сих пор ещё не ясно.
Что означал красивый жест:
Валяйте, братцы, так прекрасно —
Или высказывал протест!

Я уже говорил, как к концу погрома в Москву приехал товарищ министра внутренних дел и командир Отдельного корпуса жандармов генерал Джунковский для расследования.

Оставалось найти виновных; стали искать «стрелочника». Генерал Адрианов пытался оправдаться тем, что я не докладывал ему вовремя об антинемецких настроениях. Я доказал обратное — теми самыми рапортами, которые, на свою же голову, ввёл генерал Адрианов для моего отделения.

Не думаю, чтобы князь Юсупов пытался оправдываться. Человек был не деловой, конечно, но отменно благородный.

Обоих «ушли». «Стрелочники» на этот раз не пострадали.

В результате антинемецкого погрома в Москве был смещён московский градоначальник генерал-майор Адрианов, и на эту должность назначен ростовский (на Дону) градоначальник, генерал-майор Евгений Константинович Климович.

Нового градоначальника я хорошо знал по прежней службе; его служебная карьера для офицера Отдельного корпуса жандармов совсем необычайна.

Поступив в Отдельный корпус жандармов на рубеже настоящего столетия, Е.К. Климович на первой своей более или менее самостоятельной должности состоял помощником начальника Петроковского губернского жандармского управления для осмотра паспортов в местечке Модржиеве, находившемся на границе нашей с Германией.

Должность эта памятна мне потому, что в начале 1903 года я,

совершенно неожиданно для себя и для моего начальника управления генерала Секеринского, был назначен приказом по Отдельному корпусу жандармов именно на эту должность, ввиду нового назначения, полученного поручиком Е.К. Климовичем. Но, как я уже рассказывал, фактически мне не пришлось вступить в эту должность, и я остался в Петербурге.

Должность для жандармского офицера в местечке Модржиеве представлялась мне весьма незначительной и мало обещающей для дальнейшей служебной карьеры.

Однако эта должность не помешала Е.К. Климовичу именно оттуда начать целый ряд служебных успехов.

Думаю всё же — и это не моё только мнение, — что, не будь у Евгения Константиновича жены Екатерины Петровны, рождённой Тютчевой, а через неё и связи в придворных сферах с известной статс-дамой Тютчевой, возможно, что при всём природном уме, таланте и других выдающихся качествах Евгения Константиновича, ему всё же не удалось бы сделать столь выдающуюся карьеру.

В 1902 году, по мысли и инициативе известного С.В. Зубатова, в то время назначенного (директором Департамента полиции А.А. Лопухиным) заведовать Особым отделом Департамента, а до того занимавшего должность начальника Московского охранного отделения, совершилась большая реформа в деле политического розыска были созданы провинциальные охранные отделения в ряде крупных городов России.

На открывающиеся должности начальников этих отделений надо было отобрать из наличного состава офицеров Отдельного корпуса жандармов наиболее способных, активных молодых энтузиастов политического розыска.

Этот первый отбор в общем был произведён неплохо, и, как показало дальнейшее, около половины из общего числа, около десяти офицеров, удачно исполняли новые обязанности, в то время очень тяжёлые и ответственные, и подняли на известную высоту дело политического розыска, до того еле влачившего существование в провинции; сами же они быстро продвинулись по служебной лестнице.

Одним из таких отобранных офицеров Отдельного корпуса жандармов оказался молодой поручик, начальник скромного Модржиевского паспортного пункта Е.К. Климович. Он был назначен начальником Виленского охранного отделения, а вскоре соединил в своём лице и другую должность — виленского полицмейстера.

Чтобы уяснить, как и почему Особый отдел Департамента

полиции мог остановить внимание на том или ином офицере Отдельного корпуса жандармов при назначении его на одну из открывавшихся в 1902 году должностей начальника провинциального охранного отделения, надо помнить, что директору Департамента полиции А.А. Лопухину фамилии жандармов подсказывал С.В. Зубатов.

Поэтому почти все офицеры, состоявшие при Московском охранном отделении в то время, когда С.В. Зубатов был его начальником, получили должность начальника провинциального охранного отделения. Это было понятно, вполне справедливо и естественно. Их способности, служебный опыт в деле политического розыска и служебное рвение были ему хорошо известны. Назову между ними А.И. Спиридовича, в то время поручика.

Но таких офицеров не хватало для замещения всех открывшихся должностей. В некоторых случаях помогли рекомендации той части прокуратуры, которая наблюдала за производством жандармских дознаний при губернских жандармских управлениях. Лица прокурорского надзора, конечно, хорошо узнавали способности жандармских офицеров, с которыми они вели служебные дела, и, так как директор Департамента полиции бывал часто в прошлом лицом прокурорского надзора (как А.А. Лопухин), некоторые из начальников провинциальных охранных отделений (и я в том числе) были подсказаны и продвинуты прокурорским надзором.

Помню как пример такого назначения ротмистра Боброва, назначенного в Саратов из Петербургского губернского жандармского управления, где он состоял офицером резерва, т. е. производил жандармские дознания. Его отрекомендовал товарищ прокурора Петербургской судебной палаты М.И. Трусевич. Ротмистр Бобров вполне заслуживал эту рекомендацию. Но, конечно, при этих назначениях играла роль и протекция.

Так как поручику Климовичу при исполнении скромных обязанностей по проверке паспортов в Модржиеве трудно было проявить свои способности, я позволяю себе отнести его первое назначение на должность по политическому розыску — начальником Виленского охранного отделения — именно к последней категории — протекции.

В 1905 году Е.К. Климович, уже ротмистр, был ранен, и довольно сильно, осколками брошенной в него местными революционерами бомбы. С тех пор он всегда носил особый бандаж на ноге и всегда высокие сапоги; при этом несколько прихрамывал.

По какой-то несколько странной (по крайней мере, с моей

точки зрения) системе награждения, ставшей обычной в то время, офицеры Отдельного корпуса жандармов, в особенности же служившие непосредственно по политическому розыску, т. е. офицеры охранных отделений, в случае ранений в результате террористических действий награждались орденами и даже чинами.

Если рассматривать каждое осуществлённое террористическое выступление подпольных революционных организаций как следствие известного недосмотра, незнания, недостаточной осведомлённости допустивших совершение такого акта (а как же иначе его рассматривать?), то награждение орденом или чином пострадавшего представлялось мне всегда странным.

Казалось бы, в таких случаях разрешение более или менее длительного отпуска для поправления здоровья, денежное вознаграждение на лечение ранения более соответствовали положению дела.

Я помню, как примерно в 1907 году директор Департамента полиции М.И. Трусевич особым циркулярным письмом на имя начальников отдельных частей в Отдельном корпусе жандармов уточнил взгляды Департамента полиции на розыскную деятельность офицеров Корпуса. В этом письме было подчёркнуто, что мерилом успеха каждого лица, ведущего политический розыск, будет считаться отсутствие революционных выступлений в данной местности, как следствие осведомлённости и ловкого предупреждения политических выступлений.

Однако, несмотря на такие директивы, за отсутствие революционных выступлений руководители политического розыска награждались редко. Очевидно, медленное, систематическое и очень осведомлённое руководство политическим розыском, не дававшее возможности осуществиться подпольным выступлениям, требовало такого же контроля и понимания сверху, а этого именно и не было в Департаменте полиции.

Короче говоря, правильно или нет, но ротмистр Климович получил за ранение чин подполковника, а в 1906 году был назначен начальником Московского охранного отделения.

Моё первое знакомство с ним относится именно к этому времени, хотя оно было мимолётным. Однако оба мои брата — старший Николай и младший Пётр — были разновременно прикомандированы к Московскому охранному отделению (оба были помощниками начальника Московского губернского жандармского управления по разным уездам, но жили в Москве), и оба хорошо узнали подполковника Климовича и многое

рассказывали мне о нём как о человеке и начальнике охранного отделения.

Внешне Е.К. Климович за всё время моего знакомства с ним, а именно с 1906 года и потом в Добровольческой армии и даже в эмиграции, в Константинополе, как-то совершенно не изменился: это был всё тот же среднего роста, крепко сложенный, старавшийся быть внешне спокойным и выдержанным, но внутренне беспокойный и суетливый человек, с большим лысоватым лбом и бледным лицом литовско-польского типа с маленькими редкими усиками.

Если он начинал разговор, сидя в кресле, он, видимо от какого-то внутреннего волнения, скоро вскакивал и продолжал говорить, прохаживаясь по кабинету своей прихрамывающей походкой. Говорить собеседнику Евгений Константинович не давал — собеседнику надо было слушать.

От братьев я знал, что Евгений Константинович большой службист, днюет и ночует в охранном отделении, других интересов и склонностей или слабостей у него нет; очень ценит, если служащие отделения сидят по своим кабинетам до поздней ночи (вернее, до раннего утра) и всегда «под рукой» на случай вызова в кабинет начальника. Особенно любил Евгений Константинович разговоры по ночам с подчинёнными, как деловые, так и праздные.

Когда генерал Климович был уже московским градоначальником, а я подчинённым ему начальником Московского охранного отделения, очень часто он сам глубокой ночью заходил ко мне в кабинет и, расхаживая по комнате, говорил, и говорил…

На должности начальника Московского охранного отделения Е.К. Климович пробыл очень недолго, всего около года. Но это был беспокойный год — вторая половина 1906-го и первая половина 1907 года.

Конечно, самое трудное при исполнении должности руководителя политическим розыском было пребывание в этой должности в течение длительного периода, ибо в этом случае необходимы были особая предусмотрительность и осторожность в использовании, руководстве и вообще ведении секретной агентуры — основы всей деятельности. Е.К. Климович, может быть, именно поэтому не хотел засиживаться на такой беспокойной и ответственной должности, как Московское охранное отделение. Для дальнейшего успешного продвижения по служебной лестнице надо было, однако, проявить себя с выгодной стороны. Е.К. Климович выбрал путь быстрых, шумных успехов, выгодных с показной стороны; он ликвидировал

подпольные организации, не считаясь с возможными вредными последствиями для секретной агентуры; он, так сказать, выжимал из секретного сотрудника всё, до последней капли, пользовался его сведениями с выгодой для себя, «проваливал» агентуру, отбрасывал её за негодностью и принимал другую. Так «провалилась» крупная сотрудница, известная Зинаида Жученко. Деятельность Е.К. Климовича на посту начальника Московского охранного отделения была внешне блестящей, но ему не выгодно было засиживаться на ней. Он и не стал.

Во время сенаторской ревизии деятельности московского градоначальника генерала Рейнбота подпал под удары ревизии и помощник градоначальника полковник Короткий, а на его место выдвинулась кандидатура полковника Е.К. Климовича. Он и был назначен на эту должность. Уходя с должности начальника Московского охранного отделения, Е.К. Климович продвинул на неё своего помощника, ротмистра фон Котена, которого по ходатайству Е.К. Климовича незадолго до этого назначили помощником начальника Московского охранного отделения, чем очень обидели временно исполнявшего эту должность ротмистра Фуллона. Фуллон (мой большой приятель, смерть которого я оплакивал в эмиграции в 1936 году) служил в этом отделении с начала 1902 года, был очень неглупый, развитой и выдающийся жандармский офицер; фон Котен же был товарищем Климовича по Полоцкому кадетскому корпусу. Между прочим, я уже тогда обратил внимание на замечательную товарищескую сплочённость бывших питомцев этого кадетского корпуса. Его воспитанники, поступавшие впоследствии в Отдельный корпус жандармов, являлись очень сплочённой группой, всегда так или иначе помогавшие друг другу. Среди офицеров Отдельного корпуса жандармов, выдвинувшихся по служебной лестнице и работавших посредственно по политическому розыску, я мог бы назвать тесную группу таких «половчан»!

До перевода в Москву фон Котен занимал скромную должность офицера для поручений при Петербургском охранном отделении, заведуя каким-то специальным отделом при проверке паспортов, и никакой мало-мальски ответственной работы, собственно относящейся к агентурному обследованию, не вёл. Таким образом, у него не было предварительного стажа, необходимого для должности начальника Московского охранного отделения.

Мой приятель Павлуша Фуллон разобиделся назначением фон Котена, но при хороших связях в высших административных и военных кругах был, в свою очередь, устроен на должность белостокского полицмейстера и одновременно начальника

местного охранного отделения; на этой должности он просидел целых девять лет. Пробыл бы, может быть, и дольше, не случись Великой войны и эвакуации Белостока в 1916 году, когда он приехал в Москву, где московский градоначальник генерал-майор Вадим Ник. Шебеко, в прошлом гродненский вице-губернатор, хорошо знавший подполковника Фуллона, предложил ему одну из освободившихся вакансий полицмейстера в Москве. Впрочем, это было уже накануне революции.

В устройстве бывшего товарища по кадетскому корпусу и вообще приятеля, фон Котена, на должность начальника Московского охранного отделения Е.К. Климович, конечно, руководился не только желанием содействовать однокашнику; другой заместитель Е.К. Климовича на этой должности мог бы подвергнуть его деятельность нежелательной критике; при фон Котене этого произойти не могло. Таким образом, ловкий Е.К. Климович отделался от возможного и, так сказать, естественного кандидата в лице подполковника Фуллона, слишком много знавшего, и получил послушного ученика в лице фон Котена

При необыкновенно развитом самомнении, Е.К. Климович, вероятно, руководствовался фразой, с которой Варвара Петровна Ставрогина (в «Бесах» Достоевского) часто в затруднительных случаях обращается к своим столь властно опекаемым ею близким: «Впрочем, я сама тут буду!»

Однако «сам он тут» пробыл недолго. В должности помощника московского градоначальника он провёл всего несколько месяцев и ловко проскочил на открывшуюся должность начальника Особого отдела в Департаменте полиции.

В этом Особом отделе сосредоточено было руководство политическим розыском по всей империи. На самом деле настоящего руководства этим розыском в Департаменте полиции не было уже издавна, и Особый отдел попросту был местом, куда стекались агентурные данные; отсутствовала система; руководственные указания были ничтожны, и Е.К. Климович, пробыв тут тоже очень недолго, не внёс никакой инициативы и не завёл новой системы. Мне приходилось самому, при наездах в Петербург из Саратова, лично беседовать в то время с Е.К. Климовичем.

Его заместитель по этой должности, тоже жандармский офицер, до того бывший начальником Киевского охранного отделения, подполковник Еремин, оказался куда более на месте. Еремин изменил к лучшему всю отчётность по политическому розыску и действительно завёл много улучшений.

Не задерживаясь на этой должности и, видимо, не поладив с директором Департамента полиции М.И. Трусевичем

(встретились два медведя в одной берлоге), Е.К. Климович переменил беспокойную, но невидную должность на должность керченского градоначальника, справедливо учитывая, что он начнёт Керчью, а закончит Москвой или, при удаче, Петербургом.

В Керчи он засиделся — единственный случай в его служебной практике. Он очень томился тихой Керчью и часто наезжал в Петербург напомнить о себе. Всё как-то, однако, складывалось так, что не освобождалась подходящая должность, пока, наконец, кажется в начале 1915 года, освободилась должность ростовского-на-Дону градоначальника, где его приятель и однокашник по Полоцкому кадетскому корпусу, небезызвестный генерал Коммисаров, показал себя со столь безобразной стороны, что его решено было убрать в спешном порядке. Однако и в Ростове-на-Дону генерал Климович не засиделся. Случился московский погром, ушли и главноначальствующий города Москвы князь Юсупов, и московский градоначальник генерал Адрианов. На место последнего летом 1915 года назначается Е.К. Климович, и я встречаюсь с ним снова.

К большому неудовольствию Е.К. Климовича, должность главноначальствующего не упраздняется, и на эту должность вступает генерал-лейтенант Мрозовский, который хотя и «не администратор», но человек прямой, умный, строгий службист и резковатый по натуре.

Вскоре, как я это замечаю, генерал Климович начинает избегать личных бесед, докладов и прямых сношений с генералом Мрозовским. Оба генерала очень самостоятельны.

Помощниками у Е.К. Климовича состоят тоже недавно назначенные на эти должности люди: по части внешней полиции — бывший артиллерийский полковник В.И. Назанский, очень милый человек, сравнительно мало знакомый с техникой полицейской службы, которую он преодолевает упорной работой; по части административной — опытный чиновник А.Н Тимофеев, тоже милейший и приятный в обращении светский человек.

Е.К. Климович, сразу же по приезде в Москву и вступлении в должность, уделяет много внимания моему отделению. Ещё бы, он сколько лет тому назад сам был начальником этого отделения! Он часто заходит в отделение, со многими служащими, которых знает лично, ласково и приветливо здоровается, с некоторыми разговаривает, вспоминает «минувшие дни и битвы, где вместе рубились они»[174]; заходит в самые разнообразные часы, по преимуществу поздно ночью, в мой кабинет; вероятно, погружается невольно в воспоминания и, вскочив с кресла, начинает дрыгающей походкой мерить кабинет и говорит,

говорит…

Все мои доклады, содержащие агентурные сведения от секретных сотрудников, Е.К. Климович прочитывает, что называется, от доски до доски. Но он как-то не улавливает сильно изменившихся характера и условий, в которых протекает деятельность революционного подполья: прошло уже около девяти лет со времени его пребывания в должности начальника Московского охранного отделения… В 1915 году в Москве, как и повсеместно в России, Партия социалистов-революционеров дезорганизована, и проявлений активности от её сочленов ожидать нельзя. Но Е.К. Климович этого усвоить не может; ему, вероятно, кажется, что у меня просто нет агентурных сведений, и он настойчиво предлагает мне найти случай и побеседовать с Зинаидой Жученко, его бывшей сотрудницей, очень видной когда-то эсеркой, но давно «проваленной» и разоблачённой своими сочленами по партии. Как я ни доказываю генералу Климовичу, что Жученко ничего не может сказать мне нового, что я шесть лет в Саратове теснейшим образом следил за всеми перипетиями Партии социалистов-революционеров и что в 1915 году в Москве, если бы и возникла какая-нибудь новая попытка народнических кругов создать что-либо подобное развалившейся партии эсеров, моя агентура, хотя и действующая, ввиду изменившихся обстоятельств, в другом направлении, сохранила персональные эсеровские связи и вовремя нащупает вновь нарождающиеся подпольные образования, а я своевременно буду информирован, генерал плохо поддаётся на мои доводы.

В этом пункте создаётся трещина в наших отношениях; Е.К. Климович не терпит самостоятельных подчинённых, а главное, тех, кто не смотрит восторженно в его глаза и кто не спрашивает у него совета.

Из-за моего нежелания кривить душой и подыгрываться к Е.К. Климовичу у нас происходит заметное охлаждение.

Один случай характерен, и его стоит рассказать.

Надо заметить, что при всём несходстве в натуре и характере со мной новый главноначальствующий, генерал Мрозовский, скоро стал мне доверять и вообще очень радушно встречал меня. Видимо, он чувствовал отсутствие у меня каких-либо задних мыслей, прямоту моих докладов и в общем верил мне.

Случилась трамвайная забастовка; забастовавшие служащие требовали некоторых изменений экономического характера; «политика» отсутствовала; забастовавшие выбрали забастовочный комитет человек в пятнадцать. По проверке моим отделением, члены забастовочного комитета были людьми, до того не зарегистрированными по делам отделения и как будто поэтому

беспартийными.

Е.К. Климович, исходя из взгляда, что «теперь не время для забастовок», отдал мне распоряжение арестовать членов этого комитета, что мною и было исполнено.

Начавшимся дознанием не было установлено причастности «комитетчиков» к подпольным революционным организациям. При моих докладах генералу Мрозовскому мне пришлось отметить, конечно, беспартийность членов забастовочного комитета и тот факт, что, согласно сведениям моей очень осведомлённой в деятельности московских социал-демократов агентуры, революционное подполье забастовки не организовывало.

Так как генералу Мрозовскому необходимо было принять меры в отношении арестованных членов забастовочного комитета, он пригласил к себе генерала Климовича и меня. Мы оба не знали цели нашего вызова к главноначальствующему.

После краткого разговора о текущих делах генерал Мрозовский обратился к градоначальнику и попросил его высказаться по поводу забастовочного комитета.

К моему удивлению, генерал Климович стал доказывать, что требования забастовочного комитета инспирированы местным социал-демократическим подпольем, что члены комитета тоже большевики и с ними надлежит поступить как с таковыми.

Когда Е.К. Климович окончил свою речь, генерал Мрозовский обернулся ко мне и спросил:

— А разве у начальника охранного отделения имеются такие сведения?

Я, конечно, понял опасность своего положения, но кривить душой не захотел и ответил просто:

— Нет, в моём распоряжении таких данных не имеется.

Тогда генерал Мрозовский, усмехнувшись, спросил генерала Климовича, на чём именно он строит свои доводы. Е.К. Климович начал доказывать свои выводы из общих положений, говоря, что отсутствие у начальника охранного отделения сведений по данному вопросу не означает ещё того, что общие выводы неправильны; что у него достаточный опыт в таких делах и прочее.

Генерала Мрозовского он, однако, не убедил.

Через несколько дней генерал Мрозовский поблагодарил меня зато, что я не побоялся сказать правду, но я, конечно, потерял в глазах Климовича положение «своего» человека. С этих пор он стал относиться ко мне холодно.

В конце 1915 года произошли крупные перемены на верхах нашего министерства, и, как водится, во главе Департамента

полиции был поставлен новый человек. Им оказался генерал Е.К Климович.

Пробыл он в этой должности недолго и вслед за очередной «министерской чехардой», весной 1916 года, покинул пост директора Департамента полиции с тем, чтобы вознестись в Сенат, — карьера исключительная для офицера Отдельного корпуса жандармов, со средним образованием, большим опытом в делах полиции во всех её отраслях, с административным стажем, умом живым и практическим, бойким темпераментом, громадным самомнением и весьма некрупным интеллектом…

* * *

В конце 1915 года в Москву приехал всё тот же С.Е. Виссарионов, снова выплывший на поверхность в качестве неизбежной правой руки С.П. Белецкого, получившего в это время должность товарища министра внутренних дел после удаления генерала Джунковского. От приятеля по Департаменту полиции я получил предупреждение, что С.П. Белецкий по каким-то соображениям решил «спихнуть» меня с должности и, чтобы «соблюсти аппарансы», послал С.Е. Виссарионова в Москву произвести инспекторский смотр моему отделению и «найти непорядки»… Сведения, мне переданные по телефону, были до такой степени подробны, что в них намечена была моя новая должность — начальника Самарского губернского жандармского управления. Должность, конечно, скромная во всех отношениях, по сравнению с должностью начальника Отделения по охранению общественной безопасности и порядка в г. Москве, которую я занимал.

Итак, я только что избавился от одного «недруга», генерала Джунковского, решившего, в силу давнего недоброжелательства к моим братьям, спихнуть меня с должности и водворить на неё какую-то, ему известную, «креатуру», как представилась новая комбинация высшего начальства и новая угроза.

В данном случае угроза исходила от нового товарища министра внутренних дел С.П. Белецкого. Какие же причины влияли на его решение? Как это ни странно, эти причины были совершенно неслужебного характера. Собственно говоря, придраться ко мне и к моей служебной деятельности в Москве, может быть, было и можно, но не так-то легко; сам Департамент полиции был вполне доволен тем агентурным освещением, что я ему давал; Департамент знал хорошо, что я веду розыскную работу в соответствии с переживаемым временем, что, благодаря

моему руководству, революционное подполье расстроено и что агентура своевременно направляется на освещение тех группировок, которые по ходу событий выплывают на поверхность противоправительственной борьбы. Наконец, Департамент знал всю мою предыдущую розыскную деятельность и имел основание доверять мне.

Сам же С.П. Белецкий, при подсказе со стороны С.Е. Виссарионова, остановился на мне, когда в 1912 году ему надо было назначить кого-то из офицеров Отдельного корпуса жандармов на должность начальника Московского охранного отделения.

Как увидит мой читатель из дальнейшего, единственной причиной к тому, чтобы «спихнуть» меня с должности начальника Отделения по охранению общественной безопасности и порядка в г. Москве, было то, что у меня с Белецким, по его же собственным словам, сказанным мне при личной встрече в Петербурге в конце января 1916 года, были «враждебные флюиды»! Невероятно, но факт!

Во всей этой безобразной истории С.Е. Виссарионов играл роль (ему порученную и навязанную С.П. Белецким) ревизора, который во что бы то ни стало должен был открыть и разыскать уязвимое место в моей деятельности начальника Московского охранного отделения.

Так как С.Е. Виссарионов, при всей талантливости его и знании нашего дела, отличался ещё и большой эластичностью характера и способностью принимать именно ту форму, которая ему навязывалась сверху, я, конечно, понимал безнадёжность моего положения. С.Е. Виссарионову «приказано» найти неисправности в механизме машины, которой я управлял вот уже около четырёх лет, и совершенно ясно, что он постарается что-нибудь «найти»!

Прежде всего я решил показать С.Е Виссарионову, что я в курсе всей интриги. Для этого я приехал на Николаевский вокзал встретить его, несмотря на «неожиданность» и «внезапность» его приезда в Москву.

С.Е. Виссарионов был поражён встречей и не мог удержаться от восклицания:

— Разве вы знаете о моём приезде?!

Конечно, началось, как обычно, с «Иверской». Без посещения часовни Сергей Евлампиевич, как я это отмечал уже ранее, не начинал ни одного дела в Москве, даже скверного дела, с которым он в данном случае приехал и с которым в глубине души он едва ли мог быть согласен. Но он творил волю пославшего его.

Начался обычный инспекторский смотр, который С.Е.

Виссарионов производил мне не один раз, и последний из них был всего около трёх лет тому назад, в 1913 году. Всегда в конце этих смотров он давал моей деятельности блестящую оценку. Теперь надо было найти какой-то непорядок. Уже в самой внешности «ревизора» и в его разговорах со мной чувствовался заметный холодок, столь необычный для меня при сношениях с ним.

После разговоров с моими секретными сотрудниками, большую часть которых Сергей Евлампиевич знал по прежним инспекциям, он ввернул мне замечание о том, что у меня нет совсем освещения по партии максималистов. Я тотчас же понял, что это обстоятельство будет пунктом обвинения против меня в будущем докладе. Почти не скрывая вежливой, но иронической улыбки, я ответил, что у меня нет также агентуры в партии «Народной воли» и «Чёрного передела», но, ежели при новых сдвигах в идеологии народнически настроенных кругов появилась бы возможность формации максималистского уклона, моя секретная агентура, ныне намеренно продвинутая в новые общественно-оппозиционные группировки, а ранее активно состоявшая в максималистских организациях, вовремя отметит новые образования и также вовремя их осветит.

С.Е. Виссарионов, конечно, понимал, что я прав, но для порядка сказал мне, что надо иметь агентуру «во всех организациях»!

Каждому интеллигентному русскому человеку, более или менее внимательно следящему за нашим революционным движением, ясно, что предъявлять в конце 1915 года начальнику политического розыска требование, чтобы он в числе секретных сотрудников имел и максималистов, было абсурдно. И таким лицам станет совершенно понятен мой ответ С.Е. Виссарионову.

Действительно, допустим на минуту, что я в качестве начальника политического розыска сохранил бы со времён 1906–1907 годов секретного сотрудника, в те годы активно вращавшегося в кругах эсеров-максималистов. Допустим, что я как-то «законсервировал» его лет на семь-восемь, и вот к описываемому времени, т. е. к концу 1915 года, он, состоя в списках моей секретной агентуры, попробовал бы, вращаясь в разных эсеровских и народнических кругах, оправдать получаемый им денежный отпуск от казны и осветить максималистские организации.

В его рапортах должна была бы появляться стереотипная отметка: «максималистов, как организации, не имеется».

В 1915 году не имелось не только организованных максималистов, которые являлись в своё время составной частью

целого, но не имелось и этого организованного целого, т. е. Партии социалистов-революционеров, развалившейся в 1909 году из-за «провала» Азефа.

Конечно, всё это не было секретом для такого выдающегося эксперта по делам, относящимся к политическому розыску, каким был Виссарионов. Он в действительности искал только предлогов, хотя бы формальных, чтобы его начальство, т. е. С.П. Белецкий, могло обосновать моё удаление с должности начальника Московского охранного отделения не одними только «флюидами неприязни».

Среди мемуаров, воспоминаний и подобной литературы, появившейся за время нашего эмигрантского рассеяния, есть и такая, что трактует так или иначе о жизни, деятельности, взаимоотношениях и вообще о чинах Министерства внутренних дел бывшей императорской России, в ней с разных сторон освещена и деятельность Департамента полиции в области политического розыска.

Бывший одно время начальником Нижегородского охранного отделения жандармский подполковник Н.М. Стреколовский в своих «записках» о службе в Отдельном корпусе жандармов, которые он озаглавил приблизительно так: «Как мы, царские жандармы, охраняли Россию, и почему мы её не охранили», верно отметил, что Департамент полиции мало обращал внимания на освещение розыскными органами таких, если можно выразиться, полулегальных партий, какой являлась кадетская, или Партия народной свободы.

Его отметка об этом странном явлении совершенно справедлива. Конечно, Департамент полиции требовал, но не очень настойчиво, освещения так называемого «общественного настроения».

Крупные розыскные учреждения, главным образом в столицах, снабжали Департамент соответствующими сведениями; провинциальные, как правило, в этом отношении хромали!

Этот пробел, недосмотр или упущение, в общем руководстве политическим розыском со стороны Департамента полиции имел громадные и печальные последствия.

Я говорю в данном случае о недостаточно подробном и всестороннем освещении той группы политических «младотурок»[175], которая взяла на себя подготовку «дворцового переворота». Я буду говорить более подробно об этом в дальнейшем. Пока я только констатирую факт.

Привычный упор внимания Департамента полиции на «опасные» организации нашего революционного подполья создал департаментскую розыскную рутину. Предъявляя мне в конце

1915 года нелепое требование иметь секретную агентуру по максималистам, Виссарионов в какой-то степени играл на этой департаментской «рутине», поддерживаемой обычными и застарелыми представлениями Департамента. Я вовсе, однако, не хочу перевалить всю вину за это упущение исключительно на Департамент полиции.

Для этого кажущегося недосмотра были, конечно, причины.

После трёх дней инспекции, как-то днём, Сергей Евлампиевич вошёл в мой кабинет внешне возмущённый и обратился ко мне с негодующей фразой:

— Нельзя же так, Александр Павлович; это возмутительно!

— Что такое? В чём дело? — спрашиваю я.

— Да помилуйте, ваш писец в книге исходящих бумаг перепутал фамилию Горемыкина! Что же, он не знает фамилии председателя Совета министров И.Л. Горемыкина? Что же это за служащие у вас?

На этот раз я улыбнулся облегчённо. Значит, после трёх дней инспекции С.Е. Виссарионов не нашёл ни к чему более серьёзному придраться, как к «описке» писца в журнале исходящих бумаг!

Я возразил спокойно, что, во-первых, этого писца я не нанимал сам, а получил в наследие со всеми остальными служащими, что, во-вторых, у меня нет специального времени на обучение моих служащих грамотности, что, в-третьих, допускаю ненамеренную в данном случае описку, на которую председатель Совета министров вряд ли обиделся бы, если при каком-то невероятном случае ему попалась бы в руки «исходящая» книга.

Расставались мы с Сергеем Евлампиевичем холодно. Все наши прежние добрые отношения прекратились

Отношения с высшим, но в то время непосредственным начальством складывались для меня весьма неблагоприятно: товарищ министра внутренних дел по заведованию делами полиции, С.П. Белецкий, питал ко мне как к человеку, несходному с ним, «враждебные флюиды»; директор Департамента полиции генерал Е.К. Климович точил против меня зуб в связи с уже рассказанной мною историей с генералом Мрозовским, не чувствуя во мне того, что он больше всего ценил — «преданного именно ему человека», с благоговением восторженно смотрящего ему в глаза, и, наконец, в лице С.Е. Виссарионова я видел пристрастного по необходимости и враждебного ревизора.

Положение моё было невесёлое!

В конце января 1916 года я решил поехать в Петербург и в личном свидании с С.П. Белецким выяснить как его намерения, так и моё положение.

Я долго ждал в приёмной у товарища министра. Моя поездка совпала с его столкновением с министром внутренних дел Хвостовым, и при мне взволнованный министр быстро вошёл в кабинет Белецкого и вскоре удалился. В кабинет Белецкого входили и выходили весьма различные люди; среди них была одна известная поклонница Распутина, ибо С.П. Белецкий твёрдо связал свою судьбу с этим проходимцем и поэтому неизменно осаждался просьбами от распутинского окружения. Тут же, в приёмной, один хороший знакомый, докладчик в то время у С.П. Белецкого, снабдил меня, «для коллекции», собственноручной запиской Распутина на клочке грязной, оборванной по краям бумажки с приблизительно таким текстом: «Степан, милай, сделай ему, что просит, он хорошай».

Посмотрев на эту записку и заметив внимание, которое уделялось таким просителям С.П. Белецким, я понял, что у меня, с моим органическим отвращением к людям вроде Распутина, не может не быть «враждебных флюидов» с товарищем министра внутренних дел.

Когда все просители и посетители удалились, в приёмную из своего кабинета вышел С.П. Белецкий и направился ко мне.

Поздоровавшись со мной, он осведомился о цели моего посещения, на что я откровенно доложил, что, узнав о недовольстве мною или моим руководством Московским охранным отделением, я явился лично, чтобы выяснить причину этого недовольства. «Я чувствую враждебные флюиды между нами», — заявил мне С.П. Белецкий.

«Что касается меня, то по отношению к вам, ваше превосходительство, я до сих пор их не чувствовал, но очень сожалею, что их чувствуете вы, — ответил я товарищу министра и добавил: — Но какое же это может иметь отношение к моему руководству политическим розыском в Москве, руководству, которое вы сами признали ранее полезным для дела и которое, как я знаю, до сих пор одобрялось Департаментом полиции? Я не могу поверить, что одних флюидов достаточно, чтобы сместить меня с должности с намерением назначить меня на должность начальника Самарского губернского жандармского управления, должность, которая не может мною рассматриваться, если не официально, то морально, иначе, как известное понижение».

Белецкий нахмурился и заявил мне: «Ну, хорошо, во всяком случае я подожду до подачи мне рапорта об инспекторском смотре, произведённом по моему приказанию С.Е. Виссарионовым».

«Слушаюсь, ваше превосходительство, но я должен доложить, что мне лично С.Е. Виссарионов указал только два упущения».

Тут я привёл замечания С.Е. Виссарионова об отсутствии у меня максималистской агентуры и о Горемыкине «Кроме того, я должен доложить вашему превосходительству, что ежели вы решите моё самарское назначение, то я заранее от него отказываюсь и буду просить прикомандирования меня к Московскому или Петроградскому губернскому жандармскому управлению».

На этом мы расстались…

Возвратившись в Москву, я был уверен, что я доживаю последние дни в должности начальника Московского охранного отделения. Но… человек предполагает, а Бог располагает: со своих должностей ушли все те, которые питали ко мне враждебные флюиды, а я остался в должности.

Все эти перемены последовали непосредственно вслед за моим возвращением в Москву. С.П. Белецкий получил назначение иркутским генерал-губернатором, Е.К. Климович — в Сенат, а С.Е. Виссарионов — снова «в небытие», на какую-то незначительную должность. На должность директора Департамента полиции был назначен на этот раз мой старый знакомый и, могу так выразиться, друг — А.Т. Васильев.

По крайней мере, когда я узнал об этой новости и сразу же по телефону поздравил Алексея Тихоновича Васильева с новым и столь приятным для меня назначением, то получил в ответ приглашение немедленно приехать в Петербург и отобедать у него.

Совершенно успокоенный насчёт служебных подвохов и разных флюидов, я в середине марта 1916 года отпросился в недельный отпуск в Крым, который я провёл с женой в Алупке.

Кстати сказать, за всю мою службу в офицерских чинах у меня было всего три месяца отпускного времени. А к 1917 году я имел за собой двадцать два года офицерской службы!

Возвратясь из отпуска, я узнал, что новый градоначальник вступил в должность, и поэтому немедленно, надев служебную форму, отправился представляться новому начальству.

Генерал Шебеко, в прошлом гвардейский офицер, флигель-адъютант, вице-губернатор в Гродно (или Ковно, не упомню), затем в Саратове и губернатор в Гродно, был человеком придворной складки, в котором сразу же угадывалось прекрасное воспитание, соединённое с налётом англоманства при врождённом русском барстве и легко ощутимом верхоглядстве. Всё, взятое вместе, ежели это не касалось непосредственно служебных вопросов, очень располагало к генералу; к тому же сразу чувствовалась его порядочность и честность.

К полиции, жандармерии, к уголовному сыску, к

политическому розыску он, конечно, по своему воспитанию и навыкам не мог не относиться в лучшем случае как только с предубеждением. Это тоже чувствовалось. И это он сразу же дал мне почувствовать.

Несмотря на военную форму, новый начальник не походил на настоящего военного; это был скорее джентльмен в элегантной военной форме. Лет пятьдесят, выше среднего роста, худощавый шатен с проседью, усами и бородкой «царской складки», В.Н. Шебеко производил очень приятное впечатление. Но для начала, желая, очевидно, подчеркнуть понимание дела и наших служебных взаимоотношений, генерал принял, насколько это ему по его характеру было доступно, сурово-служебный тон и заявил мне, предварительно любезно усадив меня в кресло, что он не допускает в политическом розыске никакой провокации и поэтому требует от меня соответствующего руководства розыском.

Так как я сразу понял, какой административный «младенец» является моим новым начальством, я не обиделся на его заявление, понимая, что оно сделано только с высоты «птичьего полёта» над служебной действительностью, и просто доложил генералу о моих годах служебной практики, отметив, что надеюсь, что ближайшее будущее убедит его превосходительство, что я ничем и ни в чём не подведу его как градоначальника, ответственного за мои действия по политическому розыску. Я тут же осветил генералу общеполитическое положение, состояние революционного подполья и противоправительственную борьбу, ведущуюся разными «общественными» организациями.

Скоро наши взаимоотношения приняли совершенно нормальный характер, а немного погодя, и вполне доверительный.

В.Н. Шебеко, будучи человеком доверчивым, к сожалению, плохо разбирался в приближённых и близко к нему допущенных чиновниках, из которых один, особо доверенное ему лицо, плохо оправдывал доверие и скоро навлёк многочисленные нарекания, которые сплетнями переносились на самого градоначальника, человека честнейшего по натуре.

У генерала были забавные взгляды на вещи. Однажды его секретарь, с которым у меня установились приятельские отношения, по секрету посоветовал мне, чтобы не вызвать неудовольствия у градоначальника, приходить к нему с докладами в военной форме, так как В.Н. Шебеко никак не может понять, как ему относиться «к полковнику в пиджаке»!

Это курьёзное желание градоначальника мне очень мешало, так как для удобства я постоянно ходил в штатском платье. Но

ничего не поделаешь; с тех пор пришлось наскоро облекаться в военную форму, когда я отправлялся с докладом к градоначальнику, что в иной день приходилось проделывать не раз!

Действительно, я заметил на лице градоначальника большее удовлетворение, когда он увидел меня в полковничьих погонах.

Главноначальствующий, генерал Мрозовский, очень скоро стал явно критически относиться к новому градоначальнику, видимо не удовлетворённый его поверхностным отношением к делу.

Когда однажды генерал Шебеко послал меня к генералу Мрозовскому для личного доклада по сложному делу, связанному с требованиями нашего министерства по отношению к очередному собранию «оппозиционных» групп, генерал Мрозовский, ожидавший появления вместе со мной и градоначальника, увидя меня одного, иронически заметил: «А барин ваш решил не приезжать!»

Генерал Мрозовский был настолько противоположен во всём генералу Шебеко, что их взаимоотношения не могли быть нормальными. Генерал Мрозовский любил добираться до сущности дела и требовал от докладчика быть своего рода экспертом по докладываемому делу, что для генерала Шебеко, при его несколько «флигель-адъютантском» отношении к делам, было трудновато. Поэтому генерал Шебеко скоро стал избегать личных докладов у сурового и требовательного главноначальствующего, посылая вместо себя помощников. По делам, касавшимся политики, таким помощником был я, поэтому мне пришлось с тех пор часто бывать у генерала Мрозовского, который скоро стал оказывать мне исключительное внимание.

Насколько генерал Шебеко был барином, а не чиновником по натуре, я убедился скоро, когда подошли пасхальные праздники, а с ними и очередная выдача наградных.

По какому-то весьма странному обычаю чины Отделения по охранению общественной безопасности и порядка (или, что то же, отделения при Московском градоначальстве по политическому розыску) не входили в списки чинов градоначальства на наградные деньги. Правда, они не оставались совсем без наградных к праздникам Св. Пасхи и Рождества Христова: 3000 рублей присылал на эту цель Департамент полиции дважды в год, очевидно по тоже давно заведённому порядку. Надо сказать, что наградные, выдаваемые градоначальством, были гораздо щедрее, чем департаментские. Когда делопроизводитель принёс мне для утверждения градоначальником наградной лист с фамилиями всех служащих охранного отделения (это было на праздник

Рождества Христова в 1912 году), я увидел, к своему изумлению, что все наградные суммы распределены так, что, хотя против моей фамилии и не было проставлено никакой цифры, предназначенная мне сумма в виде 500 рублей определялась самоочевидно, как остаток из всей суммы в 3000 рублей. Я помню, как я тогда, в 1912 году, пошутил, сказав С.К. Загоровскому, моему делопроизводителю: «Вы, значит, награждаете меня 500 рублями!» На это С.К., так же шутливо, но вежливо, отрапортовал: «Согласно обычаю!»

И действительно, «согласно обычаю» оба мои прежние градоначальники — и Адрианов, и Климович — пером обводили намеченные в моём листе наградные деньги и подписывали лист.

Не то произошло с Шебеко! Получив, «по обычаю», такой же наградной лист из моей канцелярии, он потребовал меня к себе и изумлённо спросил меня: «Что же это такое? Вы, как начальник Охранного отделения, должны, согласно этому листу, получить всего 500 рублей. Но ведь начальники отделений по градоначальству получают по 2000 рублей из сумм градоначальства, почему же вы исключены из наградных сумм градоначальства?»

Я ответил незнанием причины, но сослался на «обычай». «Я нахожу это совершенно несправедливым; ваша работа и ответственность слишком велики, а наградные Департамента полиции слишком малы, поэтому сверх департаментских наградных вы получите 2000 рублей из сумм градоначальства».

Мне оставалось только поблагодарить щедрого градоначальника, что я и сделал. Генерал повторил то же и к Рождеству 1916 года.

В.Н. Шебеко был исключительно приятным начальником, всегда ровный и деликатный, никаких резкостей, на него можно было положиться смело — этот не предаст, чтобы спасти себя! Между тем в московском обществе он не пользовался никакой популярностью; может быть, он был слишком петербуржец, а Москва этого не любила.

Когда для встречи Нового, 1917 года он попытался собрать в большой зал градоначальства представителей московского общества, во имя «единения власти и общества», как это несколько наивно и простодушно говорилось когда-то, ничего из этой затеи не вышло. Вышел конфуз, ибо собралась небольшая группа, но совсем не того общества, которое предполагалось градоначальником.

Было, я помню, очень парадно, очень нарядно, был сервирован прекрасный ужин, но… политически получился конфуз, «общество» на призыв «власти» не ответило!

Что касается меня лично, человека, совершенно не избалованного предыдущей службой в смысле отношения со стороны начальства, я всегда вспоминаю с удовольствием прекрасного начальника генерала В.Н. Шебеко.

* * *

Я состоял начальником Московского охранного отделения почти пять лет. Служба моя была прервана революцией 1917 года. Она началась в Москве 1 марта 1917 года.

Я вступил в должность в один из самых тихих по революционному движению периодов; тихим он был в смысле подпольного, революционного и организованного движения. Великая война, или, вернее, её течение, вызвала борьбу с императорским правительством в новой плоскости, она из глухого и глубокого подполья переместилась ближе к поверхности и вовлекла в своё русло иные элементы общества.

Понятно, оценить и проследить новые фазы этой борьбы стало задачей политического розыска.

Однако эта задача плохо усваивалась даже на верхах нашего министерства. Из нескольких приведённых мною фактов читатель это легко поймет: разве не показательно, что в конце 1915 года один из высших руководителей политического розыска, С.Е. Виссарионов, упрекал меня в том, что у меня нет секретной агентуры по партии максималистов, т. е. партии, которая, в сущности, не будучи политической партией в настоящем значении этого слова, была вызвана к жизни временно в бурные 1905–1907 годы и затем исчезла из революционного подполья. Московский градоначальник генерал Е.К. Климович, казалось бы, большой эксперт по политическому розыску, в том же 1915 году высказал мне удивление, что я не направляю секретной агентуры на максималистов, и предлагал мне совершенно серьёзно возобновить связь с известной эсеркой Зинаидой Жученко, его же секретной сотрудницей, к тому же давно проваленной! У генерала мысль вертится всё в том же направлении: на уловление «боевиков»… Но «боевиками» в 1915–1916 годах оказываются совсем другие элементы. Они не вооружены больше револьверами; на ремне, перекинутом через шею, уже не прикреплена бомба, как это было обычно в 1905–1906 годах; нет, на таком ремне висит теперь безобидный полевой бинокль, дополняя установленную декоративную форму «земгусаров»… Новые боевики вооружены ещё одним оружием в борьбе против своего правительства и верховной власти — это оружие старо, как

мир, но оно оказывается сильнее бомб: это клевета! Под её ударом падает историческая Российская Верховная Власть…

Как относится Департамент полиции к проводимому мною постоянному продвижению наиболее интеллигентной части секретной агентуры из бездействующего в 1914–1916 годах революционного подполья в новые, выдвинутые во время войны общественно-политические образования, как, например, Военно-промышленный комитет? Долгое время критически, и только в 1916 году Департамент признает моё осведомление наиболее полным из всего того осведомительного материала, который к нему стекается со всех концов России. Но и признав это, он не делает никаких практических выводов: он не меняет общего руководства, он не делает соответствующих руководящих указаний на местах. Если Департамент полиции, сообразуясь с ходом политического и общественного движения в стране, указал бы начальникам политического розыска на местах необходимость освещения также и других, выдвинутых жизнью, общественных группировок, объяснил бы попутно их цели и тактику и назвал бы лидеров, может быть, я подчёркиваю, может быть, политический розыск в России пролил бы больше света на затеи главарей так называемого Прогрессивного блока[176], хотя бы на предварительные переговоры с командующими армиями о необходимости «дворцового переворота».

Как я понимаю, в распоряжении Департамента полиции были только разрозненные материалы относительно этой преступной затеи, но, по-видимому, не было полной осведомлённости. И понятно почему; всё по той же причине: не успели и не поняли вовремя необходимости «переставить» секретную агентуру и не пытались рискнуть бросить большие денежные ассигнования на подкуп крупных политических фигур.

В Департаменте полиции издавна применялось скопидомство; охали и кряхтели, когда платили Азефу 500 рублей в месяц! Когда в конце 1916 года ко мне пришёл трепещущий и бледный от волнения прапорщик какой-то артиллерийской части в Москве и, сознавшись в растрате 2000 рублей из казённого ящика, попросил меня немедленно дать ему эту сумму к «завтрашней» ревизии, обещая взамен освещать круги, близкие к жившей в то время в Нижнем Новгороде известной бывшей «шлиссельбуржке» Вере Фигнер (к чему у него были действительные возможности), мне пришлось специальным разговором по телефону (шифрованно-условным, конечно!) и срочной телеграммой уговаривать директора Департамента полиции разрешить выдать этому прапорщику просимую им сумму.

Широким размахом в ассигновке денежных средств на

усиление политического розыска Департамент полиции не отличался.

Я только что затронул вопрос большой важности: недостаточной осведомлённости нашего центрального руководственного аппарата по политическому розыску, т. е. Департамента полиции, по отношению к подготовке лидерами Прогрессивного блока так называемого «дворцового переворота». Слухи об этой затее, конечно, ходили, и кто тогда, в 1916 году, их не слышал? Но конкретно на чём они основывались?

В 1916 году, примерно в октябре или ноябре, в так называемом «чёрном кабинете» московского почтамта было перлюстрировано письмо, отправленное на условный адрес одного из местных общественных деятелей (фамилию забыл), и копии письма, согласно заведённому порядку, получили Департамент полиции и я.

Письмо — без подписи — по своему содержанию было совершенно исключительным. Оно вызвало во мне одновременно тревогу и решение обследовать его лично, установив предварительно контакт с директором Департамента полиции, чтобы обсудить дальнейшие действия. Содержание письма я немедленно сообщил градоначальнику.

К глубочайшему сожалению, я не могу по памяти воспроизвести точное содержание письма, но смысл заключался в следующем: сообщалось для сведения московским лидерам Прогрессивного блока (или связанным с ним), что удалось окончательно уговорить Старика, который долго не соглашался, опасаясь большого пролития крови, но, наконец, под влиянием наших доводов сдался и обещал полное содействие…

Письмо, не очень длинное, содержало фразы, из которых довольно явственно выступали уже тогда активные шаги, предпринятые узким кругом лидеров Прогрессивного блока в смысле личных переговоров с командующими нашими армиями на фронте, включая и Великого князя Николая Николаевича.

В эмигрантской литературе, насколько я помню — в «Современных записках», появились статьи, довольно откровенно разъясняющие содержание этих «личных переговоров», по крайней мере, с Великим князем Николаем Николаевичем; с ним вёл переговоры известный Хатисов[177].

Казалось бы, что российское императорское правительство уже по одним этим фактам могло и должно было быть в полном курсе заговора.

Но Великий князь «промолчал», а Департамент полиции, по-видимому, не смог довести до сведения Государя об измене «Старика», который был не кем иным, как начальником штаба

самого Императора, генералом Алексеевым!

Многое после революции 1917 года было вскрыто, многое выплыло наружу, но предательская роль генерала Алексеева, благодаря молчаливому соглашательству его сподвижников по Добровольческой армии и соучастников по предательству, до сих пор, насколько я знаю, не освещена с достойной ясностью и полнотой.

Между тем для будущих историков нашей революции и «дворцового переворота» необходимо знать о предательской роли главного сподвижника Государя на фронте, поцеловавшего иудиным лобзанием перед отъездом Императора к заболевшим детям и знавшего хорошо, что ожидает его на станции Дно…

О том, что кличка «Старик» относится именно к генералу Алексееву, мне сказал директор Департамента полиции А.Т. Васильев, к которому для личных переговоров по поводу этого письма я немедленно выехал из Москвы.

Я помню, как во время моего разговора с А.Т. Васильевым я доказывал ему необходимость вывести из Москвы недисциплинированные и ненадёжные запасные воинские части и заменить их двумя-тремя кавалерийскими полками с фронта; директор Департамента подтвердил мне, что соответствующее представление по этому поводу будет сделано немедленно.

— А в чьи руки оно попадёт? — спросил я. — Старика?

А.Т. Васильев развёл руками, но, как бы в утешение мне, стал в общих словах говорить о том, что все нужные меры со стороны Департамента полиции приняты… Я замолчал, да и не мог же я, по своему положению, расспрашивать директора Департамента полиции о розыскных мерах, которые непосредственно не касались Москвы.

В 1918 году осенью, бежав из Советской России и пробравшись с большими приключениями, но благополучно в оккупированный Киев, я в течение нескольких недель встречался постоянно с А.Т. Васильевым, жившим там, кажется, на Подьячевской улице, в своём небольшом доме. В наших разговорах о прошлом я касался и названного выше письма, и «Старика». А.Т. Васильев снова подтвердил мне идентичность «Старика» с генералом Алексеевым и добавил, что при положении генерала Алексеева как правой руки Государя, при решающей в то время роли военных в управлении вообще и при умалённом значении Министерства внутренних дел все представления, предостережения и доводы Департамента полиции, очевидно, клались под сукно и до Государя не доходили.

Когда я сравнительно недавно в разговоре с одним моим приятелем, бывшим артиллерийским полковником, когда-то

служившим в Московском военном округе и знавшим генерала Алексеева лично, затронул вопрос о предательстве Алексеева, мой собеседник, извинившись, заявил мне, что он не может поверить в это — так это неправдоподобно и не вяжется с его представлением об Алексееве…

* * *

В руководстве политическим розыском, да ещё в условиях такого значительного центра и района, как Москва, громадное значение имеет подсознательное чутьё или интуиция, которые, конечно, развиваются и приобретаются отчасти в процессе практической деятельности, но всё же должны быть заложены в самой природе человека.

Вспоминая отдельные случаи своей деятельности в области политического розыска, я с чувством некоторой профессиональной гордости хочу рассказать об удачном разрешении мною одного подпольного действия посредством интуиции, без какого-либо дополнительного содействия в виде секретной агентуры, наблюдения или иных приёмов розыскной работы.

Случай этот заключался в следующем. Примерно в 1915 году помощник пристава одного из полицейских участков в центре Москвы случайно обнаружил около подворотни дома отпечатанную типографским способом на листе писчей бумаги прокламацию, изданную от имени не то «Московского комитета», не то «Московской организации» (в точности не помню) Российской социал-демократической рабочей партии. Приложенная к соответствующему рапорту, эта прокламация была немедленно доставлена мне.

Появление такой прокламации, содержащей обычные противоправительственные выкрики, в первый момент немало меня смутило. При полной дезорганизации революционного подполья в то время в Москве вообще (в нём числились скорее в теории, чем на практике, не «комитеты», а «бюро» названной РСДРП, основательно пронизанной моей секретной агентурой, очень осведомлённой) никакое действие, вроде выпуска прокламации, не могло пройти мимо моего осведомления; я бы для верности сказал — «разрешения на выпуск» с моей стороны!

И вот при таком положении социал-демократического подполья вдруг появляется недурно отпечатанная прокламация, своим видом как бы говорящая о хорошо налаженной подпольной организации, подпольной типографии и наличности подпольных

активных деятелей! Было от чего почувствовать неприятное изумление, не говоря уже о том, что мне предстояло объяснить появление прокламации моему начальству: градоначальнику и Департаменту полиции, которых я уверял в полном отсутствии революционного подполья и, во всяком случае, о моём полном контроле над этим подпольем и над его деятельностью и лидерами. Если Департамент полиции и принял бы более или менее спокойно мои разъяснения и стал бы ждать, что дадут мои дальнейшие розыски, то градоначальник, не имевший полного представления о революционной деятельности вообще, просто усомнился бы в правдивости моих предыдущих докладов.

Незачем было экстренно вызывать для вопросов по поводу прокламации мою секретную агентуру, освещавшую социал-демократическое подполье: если она что-либо знала новое, я вовремя был бы поставлен ею в известность.

Для проформы я вызвал к себе помощника по заведованию «социал-демократической» агентурой, очень способного и дельного ротмистра Ганько; тот растерянно недоумевал.

Я стал обдумывать случай, стал внимательно вчитываться в прокламацию и постепенно интуитивно пришёл к некоторым заключениям.

Решив, что я разгадал загадку подсознательно и «интуитивно», я вызвал одного из чиновников охранного отделения, в прошлом начальника Туркестанского охранного отделения, престарелого, «матёрого волка» в розыскном деле, Леонида Антоновича Квицинского, и спросил его: «Вы знаете историю находки этой прокламации?» Квицинский знал, конечно! «Так вот, Леонид Антонович, — продолжал я, — возьмите наряд полиции, двух чинов отделения и отправляйтесь немедленно на квартиру некоего типографского наборщика Андреева — адрес его найдёте в адресном столе — и отберите у него всю пачку этих прокламаций!»

Квицинский понимающе подмигнул мне глазом, как бы говоря «Ловко! Секретная агентура хорошо работает, всё знает!» — и удалился исполнять моё поручение.

Часа через два-три Л.А. Квицинский возвратился в мой кабинет и торжественно положил на стол громадную пачку прокламаций, подобных тому экземпляру, который был недавно мне представлен помощником пристава.

«Арестованный Андреев доставлен в отделение и находится в камере!» — доложил мне Квицинский.

«Расскажите, как вы обнаружили прокламации и как вы задержали Андреева», — обратился я к Квицинскому.

«Да всё произошло, как по писаному, — начал доклад Л.А.

Квицинский. — Пришли к Андрееву и сразу наткнулись на пачку прокламаций, завёрнутых в газетную бумагу и лежащих в углу его комнаты. Андреев не запирался, и мы его доставили в отделение. Как всё просто, когда имеется хорошая агентура!» — добавил уверенным тоном Квицинский

«Вы, вероятно, не поверите мне, Леонид Антонович, — начал я своё разъяснение, — на этот раз никакая агентура не сообщала мне ни одного слова об издании этих прокламаций, и никто не сообщал мне о месте их хранения у Андреева».

«Так как же вы об этом узнали?» — спросил недоумевающий старый розыскной волк.

«Интуицией!» — ответил я и представил собеседнику нить моих размышлений, которая привела меня интуитивно к правильному решению.

Нить моих рассуждений развёртывалась в следующем направлении. Прежде всего, по общим данным политического розыска, в тот момент не могла существовать, функционировать и даже создаться подпольная социал-демократическая организация, которая наладила бы выпуск хорошо отпечатанных прокламаций; содержание самой прокламации не совсем и не во всём отвечало общей политической линии существовавших тогда социал-демократических организаций, лидеры которых мне были хорошо известны, благодаря прекрасно осведомлённой секретной агентуре; надо было, следовательно, прийти к выводу, что выпуск прокламации — затея, если можно так выразиться, любительская, хотя любитель является человеком с подпольным прошлым. Хорошо отпечатанная технически, прокламация могла быть изготовлена в легальной типографии, втайне от хозяина, каким-нибудь наборщиком по профессии. С какой целью? Один человек, действующий без организации, многого с такой прокламацией не достигнет, даже если попытается с известным риском подкидывать её по подворотням. Не сделано ли это с попыткой провокационного характера?

При моём напряжении, мысль как-то быстро и внезапно остановилась на наборщике Андрееве, который состоял одно время секретным сотрудником в моём отделении и числился сочленом районной московской социал-демократической подпольной организации. Человек не вполне добросовестный, любивший присочинить в докладах, он неоднократно был мною в этом уличен. Наконец, потеряв всякую надежду на возможность верить его докладам, я расстался с ним, предупредив, однако, что с этого момента ему надлежит прервать связи с активными подпольщиками во избежание «недоразумений».

Вчитываясь в прокламацию, лежавшую предо мной на столе,

я в некоторых словах и выражениях увидел авторство Андреева и сразу укрепился в своих предположениях. Зачем же понадобилось Андрееву с риском для себя отпечатать эту прокламацию? Возможно, он ожидал, что после того, как будет обнаружена прокламация, охранное отделение вспомнит о нём и снова обратится к нему за содействием в розыске.

Нить примерно таких размышлений привела меня интуитивно к выводу, что обыск у Андреева принесёт с собой результат, мною предположенный. Результат обыска подтвердил правильность моих выводов.

«В таком случае поздравляю вас, Александр Павлович, с одним из самых ваших удачных дел! — любезно заметил мне на моё разъяснение Квицинский. — Ведь вы всё же правильно остановились на одном жителе из почти трёхмиллионного населения Москвы!»

Вот на этой-то «интуиции» в деле политического розыска я невольно с удовольствием всегда останавливаюсь в своих воспоминаниях.

Андреева отдали под суд, и он был присужден к нескольким годам тюремного заключения, которое было прервано революцией.

* * *

Уже из самого характера моих воспоминаний, послуживших материалом для настоящей книги, ясно выступает роль и значение организованного подполья в катастрофе, которой присвоено наименование «Февральской революции 1917 года».

Нельзя отрицать эту роль и значение, если их рассматривать в плоскости длительной, годами веденной разрушительной, я сказал бы, нигилистической пропаганды.

Если же рассматривать роль подполья в смысле непосредственного фактора, приведшего к революции, — она была ничтожна. Я настаиваю на этом утверждении, хотя бы оно показалось моим читателям необоснованным.

Графически формация, рост, активность революционного подполья с начала столетия непрерывно тянулись вверх приблизительно до 1908–1909 годов, после чего быстро и так же непрерывно, я сказал бы, безнадёжно, стали катиться вниз, выражаясь в медленном, но верном ослаблении революционного подпольного организованного напора и в дезорганизации и частичном отмирании и уходе с политической арены целых организаций за шестнадцать лет текущего столетия в России.

Таким образом, организованное революционное подполье, представленное в императорской России времени Великой войны разрозненными и разбитыми ударами розыскных органов разными «бюро», «местными группами» и отдельными партийцами, силившимися что-то представлять собой, действуя от имени Российской социал-демократической рабочей партии, конечно, не могло организовать той катастрофы, которая вылилась в Февральскую революцию.

Я уже сказал, что это вытекает из моих воспоминаний, и вот почему. Первая часть их содержит много случаев из моей борьбы с весьма активным в то время организованным революционным подпольем, тогда как начиная с 1909 года я уделяю гораздо больше внимания побочным обстоятельствам этой борьбы. Что касается моей розыскной деятельности за время руководства политическим розыском в Москве с 1912 по 1917 год, я почти не упоминаю сколько-нибудь выдающихся случаев борьбы с организованным революционным подпольем. Не упоминаю просто потому, что мне не на чем остановить внимание!

Это не означает, что я, как руководитель политического розыска в Москве, как говорится, сидел сложа руки. Нет, мне приходилось много работать и здесь, но несколько в иной плоскости, ибо центр тяжести розыска переместился за время Великой войны. Это перемещение я вовремя понял, оценил и направил осведомительные щупальца в новую плоскость.

Тут мои действия были не столь просты, и я не мог пресекать или предупреждать что-либо, не считаясь с общей политикой и вообще без специальных указаний и распоряжений сверху, т. е. от Департамента полиции, и даже иногда от самого министра внутренних дел. Таким образом, обывательская критика (после революции) нашей охранной или вообще жандармской деятельности или «бездеятельности» в вопросе: «почему мы, жандармы, не оберегли монархию от революции?» — лишена почвы.

Когда в конце 1916 года в Москве собрался некий «общественный» съезд, министр внутренних дел А.Д. Протопопов несколько раз соединялся со мной по телефону, требуя не задержания участников, нет, но только непрерывного и точного наблюдения за ними, дабы своевременное появление наряда полиции помешало бы оглашению резолюций, принятых съездом!

Моя секретная агентура и наружное наблюдение безостановочно гонялись за переезжавшими с места на место, из одной квартиры в другую участниками съезда, спешно телефонировали мне новое место собрания; я бежал к градоначальнику (благо мы с ним жили в одном дворе

градоначальства), и он срочно посылал в новое выбранное участниками съезда помещение соответствующего полицмейстера, который, не давая прибывшим «общественникам» огласить резолюцию участников, «просил честью оставить помещение»!

Насколько я помню, на четвёртый или пятый раз после «роспуска» очередного собрания на новом месте, полицмейстер несколько запоздал прибытием, и участники съезда уже приступили к оглашению резолюции; они были прерваны появлением полицмейстера, который снова сорвал собрание.

Полицмейстер не опоздал бы и на этот раз, но градоначальник генерал Шебеко, получив моё сообщение, недостаточно быстро отрядил его.

Сколько, в общем, было затрачено нами усилий, чтобы сохранить бдительность, расторопность — и на что? На то, чтобы «помешать» оглашению резолюции, которая и без этого оглашения на съезде сделалась быстро достоянием общества!

А.Д. Протопопов меня благодарил по телефону за прекрасную осведомлённость и распорядительность, но проявленные мною качества не принесли пользы из-за нерешительности власти.

Как я уже отметил, противоправительственная деятельность за время Великой войны перенеслась, в силу многих причин, в иную плоскость и вовлекла элементы, бывшие до того в «оппозиции», а не в «революции» и включавшие различных «персона грата»; воздействие на них поэтому не могло осуществляться распоряжениями рутинного характера местных властей.

Верхи же нашего министерства были скованы взаимодействием различных факторов, имевших решающее значение, из которых перенесение распорядительных функций из рук центрального правительства в военные руки Ставки сыграло главную, всё тормозящую роль!

На местах мы, лица хорошо осведомлённые насчёт происходившего, но стеснённые в своих действиях, с отчаянием наблюдали за развёртывавшейся трагедией…

* * *

1 марта 1917 года Москва «присоединилась» к революции, возникшей из простого солдатского бунта в Петербурге.

В любой стране такой бунт солдат, не желавших идти на фронт, был бы подавлен, и очень быстро. В императорской России 1917 года с бунтом не управились.

В тяжкие последние дни февраля 1917 года, следя за развёртывавшимися событиями в Петербурге, я пришёл к выводу, что наступили последние часы монархии. Я знал, что 1 марта 1917 года Москва «поднимется и присоединится» к революции Петербурга… Пока ещё Петербурга, но не России!

Главноначальствующий города Москвы генерал Мрозовский решил собрать в своей квартире вечером 28 февраля совещание из начальников отдельных воинских частей, расположенных в Москве. Генерал вызвал меня к себе за час до совещания. Мы уединились в его кабинете. Я обрисовал создавшееся положение и предупредил, что в настоящее время в Москве идут непрерывные совещания различных общественных кругов по вопросу захвата власти в Москве 1 марта.

Генерал заявил мне, что он военной силой не допустит захвата. Понимая бесполезность этого и чувствуя, что «военная сила» в Москве в то время никакой реальной и, во всяком случае, «контрреволюционной» силы не представляет, я высказал генералу мнение (которого я, впрочем, придерживаюсь и теперь), что считаю необходимым издание заявления главноначальствующего Москвы генерала Мрозовского, что он «в обстоятельствах, грозящих гибелью государству, берёт в свои руки временно всю власть в тылу и объявляет осаду взбунтовавшегося Петербургского гарнизона и к нему присоединившихся врагов Родины». Я предлагал генералу немедленно отправить по домам ненадёжных солдат Московского гарнизона, а из надёжных частей, и даже единиц — юнкеров, кадет, полиции — организовать военные заслоны на путях к Петербургу.

Генерал выслушал, но от выполнения задачи, вследствие её громадности, уклонился

Собранные им воинские начальники различных чинов и званий выслушали хмуро и как-то апатично его распоряжения «на завтра». Но я ясно чувствовал, что на деле они спасуют. Так и произошло!..

Приложение

[Замечания по поводу показаний руководителей Министерства внутренних дел и Отдельного корпуса жандармов Чрезвычайной следственной комиссии Временного правительства] [178]

Находясь в эмиграции, мне довелось ознакомиться с многотомным изданием под наименованием «Падение царского режима» (стенографические отчёты допросов и показаний, данных в 1917 году в Чрезвычайной следственной комиссии Временного правительства)…

Среди допрошенных лиц был, конечно, и я сам. Но я допрашивался в Москве и главным образом по делу о пропуске в Государственную думу моего бывшего секретного сотрудника Малиновского.

Так как среди допрошенных Комиссией лиц было и моё прежнее непосредственное начальство по Министерству внутренних дел и мои сослуживцы по Отдельному корпусу жандармов, то я, естественно, с большим вниманием проштудировал страницы, где фигурировали в качестве «опрашиваемых» такие лица, как товарищи министра внутренних дел Золотарев, Белецкий, Джунковский и вице-директор Департамента полиции Виссарионов, тем более что в их «показаниях» затронуто и моё имя и служебная деятельность и даже сделана попытка меня охарактеризовать как человека. Проштудировал я и показания некоторых офицеров Корпуса жандармов, принимавших видное участие в политическом розыске. Это мои бывшие сослуживцы: генералы Герасимов, Спиридович, Климович и Коммисаров.

Показания бывшего директора Департамента полиции М.И. Трусевича вполне соответствуют тому портрету его, который я нарисовал в своих настоящих воспоминаниях.

П. Щеголев, редактор названного мною выше издания и сам член Чрезвычайной следственной комиссии Временного правительства, в «Предисловии» к этому, с позволения сказать, «труду» отмечает: *«главная цель допросов департаментских провокаторов*[179] *— политическая провокация, её размеры и её уставы и законы — нашла своё освещение в их ответах. На разных степенях откровенности оставались все эти господа одни, подобно Белецкому и Виссарионову, отвечали с полной искренностью; другие — нехотя и сквозь зубы. И только Трусевич остался при полном сознании своего права поступать так, как поступал он»*.

Для того чтобы оценить спокойное благородство поведения и «полноту сознания своего права» М.И. Трусевича перед лицом торжествующей ненависти той клики, которая временно овладела положением в стране и злорадно издевалась над отданными ей в жертву слугами старого режима, следует на минуту остановиться над вопросами, которые ему были заданы, и над его ответами.

Вопрос о так называемой провокации был положен во главу угла при опросах всех «департаментских провокаторов»; поэтому и опрос М.И. Трусевича начали именно с этого пункта. (См. том 3-й, стр. 211 и 214.)

«**Председатель**: — *В основу деятельности Департамента полиции был положен документ, предусматривавший политический розыск при помощи агентов и их участие в революционных группах и организациях, как норму…*

Трусевич: — Это непременно. Это всегда было, и до тех пор, пока будет существовать какой-нибудь розыск, даже не политический, а по общеуголовным делам, агентура всегда будет в той среде, которая расследуется. С моей стороны тут нового ничего не было придумано. Что касается до участия агентов, то при этом было поставлено условием, вероятно, в этом самом документе, о котором вы говорите, абсолютное воздержание агентов от активной деятельности. И я должен сказать, что провокация понимается, например мною и вообще чинами, прикосновенными к розыскной деятельности, совершенно не так, как она понимается в общежитии. У нас различались понятия сотрудничества и провокации. Сотрудник — это есть лицо осведомлённое и доставляющее сведения о том, что ему известно. Если мы возьмём любое сыскное отделение общеуголовного характера, то и здесь увидим ту же самую организацию. А провокация — это есть уже проявление инициативы агента в деле преступления. И если первое является нормальным условием розыскной деятельности, то второе является, с моей точки зрения, преступлением.

Председатель: — *Когда вы изволили быть сенатором, вы, вероятно, отметили для себя, что Сенат признавал, со своей стороны, достаточным признаком принадлежности к сообществу уже самый факт участия в совещании этого сообщества, выразившийся в том, что такой-то тогда-то пришёл на квартиру, на собрание людей.*

Трусевич: — Совершенно верно. Но при этом остаётся второй вопрос. Какова была цель этого участия. Если лицо участвует в собрании, но не ставит себе цели совершения преступления, а ставит себе цели осведомительные, то едва ли тут будет состав преступления.

Председатель: — *Так что вы считаете, что в состав преступления 102-й статьи входит мотив деятельности, мотив участия в съезде или совещании?*

Трусевич: — Несомненно. Никакого преступления без мотива не может быть. Если цель есть ниспровержение существующего закона.

Председатель: — *Значит, вам представляется, что жизнь допускает участие вашего чина в сообществе в целях осведомления, с сохранением полной пассивности с его стороны? Вы считаете такое положение жизненным?*

Трусевич: — Это есть условие, при котором известный политический строй, каков бы он ни был, отстаивает своё существование (…продолжая на ту же тему). Таково положение, которое составилось веками и существует.

Председатель: — *Слава Богу, теперь уже не существует.*

Трусевич: — Если бы какому-нибудь строю пришлось отстаивать своё существование, он не может без этого обойтись. Я могу сослаться на Францию, где всё существует так же, как и у нас, это безусловно. Тут имеется дилемма: либо дать простор террору, чтобы направо и налево совершались убийства, либо бороться теми приёмами, которые были установлены спокон веков».

Небольшими приведёнными выше выдержками, взятыми мною намеренно в области вопроса о «провокации», столь занимавшей тогда, в начале нашей «великой и бескровной» революции, умы и внимание бывших подпольщиков, а затем вершителей судеб России, я полагаю, что я подтвердил не только своё мнение о личности М.И. Трусевича как о крупном государственном деятеле и благородном человеке, но в известном смысле и дал оценку хлёсткой фразе Щеголева о Трусевиче.

* * *

Если мы перейдём к страницам цитируемого мною щеголевского издания, которые заняты бесконечными жалкими и приниженными разъяснениями С.П. Белецкого, добивающимися милостивых снисхождений к прошлым ошибкам, то мы увидим совершенно другого человека и другого «государственного деятеля».

Читая теперь эти страницы, наполненные бесконечными «докладными записками», «разъяснениями», «дополнениями к разъяснениям» в ответах на вопросы, задававшиеся в Чрезвычайной следственной комиссии, поражаешься, как этот «великий подхалим», интриган и мелкой души чиновник, случайностями судьбы взлетевший на вершины власти, в столь трудные для него часы жизни не забывает комбинировать «разъяснения» так, чтобы представить себя членам «Высокой Комиссии» и вершителям его судьбы, его новым «хозяевам», с возможно лучшей стороны; при этом он не забывает «разъяснить», когда это ему нужно и выгодно, «чёрные» стороны тех, с кем ему пришлось работать.

В томе 2-м, на стр. 140-й мы найдём следующий характерный разговор между председателем Комиссии и вице-директором Департамента полиции К. Кафафовым.

> «**Председатель**: — *Что Белецкий — глупый или умный человек?*
>
> **Кафафов**: — Он человек очень хитрый, очень талантливый и, как малоросс, упрямый.
>
> **Председатель**: — *И очень умный?*
>
> **Кафафов**: — Он не очень развит».

На стр. 262-й, тома 3-го Белецкий, рассказывая о своей деятельности на посту директора Департамента полиции, в связи с поездкой Царя на Бородинские торжества в Москве в августе 1912 года, показывает следующее:

> «**Белецкий**: — …У полковника фон Котена (тогда начальника Петербургского охранного отделения) была в то время агентура, которая говорила о возможности боевых выступлений, приуроченных к этому торжеству или к Романовским торжествам 1913 года. Он с уверенностью утверждал, что покушение на бывшего Императора должно совершиться. Вот почему, когда эти сведения были получены, об этом было доложено дворцовому коменданту, кажется Дедюлину. Пошли разговоры, я был вызван к Великому князю Николаю Николаевичу. Я считал, что первая поездка будет

безусловно безопасна и даст возможность царю сблизиться с народом…» (Указ. соч. Т. 3. С. 262–263).

* * *

Попробуем разобраться в этом, собственно говоря, совершенно ненужном и неинтересном объяснении С. Белецкого «перед лицом» Чрезвычайной следственной комиссии.

Если мой читатель вспомнит, я в своих «Воспоминаниях» (на стр. 320–323) как раз касался истории поездки Царя на Бородинские торжества в Москву; это было временем, почти совпавшим с моим вступлением в должность начальника Московского охранного отделения. Там же я описал «агентурную записку» полковника фон Котена о положении в Партии социалистов-революционеров и «кипучих планах» её работы. Как помнит мой читатель, я весьма резко отнёсся к этой вздорной записке и испещрил её поля весьма нелестными заметками, а когда прибывший в Москву С. Белецкий спросил меня о «записке», я объяснил ему всю нелепость её содержания, базируясь на моём тогда всестороннем понимании внутреннего положения в Партии социалистов-революционеров, не допускавшем возможности серьёзных выступлений. Белецкий отобрал у меня «записку» со всеми моими «непарламентскими» выражениями на полях её.

Белецкий в вышеприведённом показании говорит: «Я считал, что первая, то есть в 1912 году, поездка будет безусловно безопасна».

Если он считал поездку Царя «безусловно безопасной», а считал он её именно такой на основании моих докладов и доводов, то, спрашивается, зачем же ему, как директору Департамента полиции, понадобилось доложить об «опасности поездки царя» дворцовому коменданту?

Заведуя политическим розыском в двух больших районах: в Поволжском и затем Центральном, я всегда требовал, чтобы жандармские офицеры в своих агентурных донесениях умели отделять возможную правду от весьма часто встречавшихся добросовестных или злостных заключений своих секретных осведомителей. Как же не приложить этого простого и ясного правила к заключениям самого директора Департамента полиции! Тут может быть только или недобросовестная отписка, «на всякий случай», или умышленная хитроумная затея. Белецкий убеждён в «полной безопасности поездки царя в Москву», но… докладывает обратное дворцовому коменданту! Что же делать последнему? Тоже «доложить куда следует»? В результате

исполняется желание «хитрого мужичонки» — Белецкого: его вызывают к Великому князю Николаю Николаевичу. Может быть, он, конечно, мечтал лишний раз попасть в орбиту зрения самого Царя. Но всё же вызвали к Великому князю. Вероятно, С. Белецкий уверил Великого князя, что от его (Белецкого) волшебной палочки рассыплются в прах все враждебные козни.

Недаром Кафафов назвал Белецкого «очень хитрым»!

Хитрость-то тут, конечно, не ахти какая, но она показывает, какого характера и качества был этот «государственный деятель».

Казалось бы, что, имея у себя под началом осведомлённого начальника Московского охранного отделения, каждый директор Департамента полиции мог быть вполне доволен и не смещать его с этой ответственной должности. С.П. Белецкий и был, по-видимому, доволен мной по службе, но… как я уже отметил ранее, «у нас с ним были враждебные флюиды». Это по его же собственным словам, им мне сказанным в феврале 1916 года. Я не скрываю: да, действительно, эти флюиды были уже по тому одному, что у Белецкого были флюиды приязни к таким нечистоплотным фигурам, каким был, например, известный, недоброй памяти жандармский офицер Коммисаров.

Сначала я стал «не своим» человеком у Белецкого, ибо меня, как он это чувствовал, нельзя было пускать на устройство его «тёмных» махинаций. Коммисаров брался исполнять всё решительно (мы звали его «Малюта Скуратов»); взявшись отравить Распутина, он успел только отравить его кошек, но… по-видимому, брался исполнить.

Когда в 1913 году генерал Джунковский «убрал» с департаментской сцены видные фигуры Белецкого и его «фактотума» С.Е. Виссарионова, они, надеясь, может быть, на оборот фортуны в будущем, стремились «узнавать новости», «поддерживать связи и сношения» и вообще «нюхать, чем пахнет»…

Пребывая в «немилости» и в «удалении отдел», С.П. Белецкий наезжал иногда в гости к своему «бофреру», правителю канцелярии московского градоначальника И.К. Дуропу. Квартира Дуропа была расположена в одном дворе с моей квартирой.

Белецкий ожидал всяких знаков внимания с моей стороны, но… не получал их. С обывательской точки зрения я поступал неправильно. Но я как-то не мог себя принудить. И чуть ли не пострадал затем за это! Белецкий мне простить не мог. Ибо это был Белецкий! Весь в интригах, в искательстве, в окружении себя «своими» людьми.

Не проходит и месяца, как «подручный» Белецкого — С.Е. Виссарионов — приезжает в Москву с очередной ревизией

охранного отделения. Я рассказал в своём месте об этой «шемякинской» ревизии.

После революции Белецкому пришлось давать разъяснения, объяснения и пр. Он, конечно, понимал, что Чрезвычайная следственная комиссия дороется до разных дел, планов и хитроумных его комбинаций. Стараясь «выслужиться» и, как выражались по-старому наши писатели, «приласкаться» к новым властям, Белецкий стремился, поскольку может, выгородить себя, показать себя «хорошим», добрым начальником, а других мазать широкой чёрной «мазью»… Красок иногда не жалел. В этом отношении характерно его заявление на стр. 263, тома 3-го:

> «**Белецкий**: — …некоторые явления, с моей точки зрения, нуждались в известном освещении. Так, например, при Трусевиче каждое открытие типографии влекло за собой отпуск больших денежных средств лицам, открывавшим её. Расследование некоторых случаев показало мне, что тут были злоупотребления.
>
> **Председатель**: — *В чём выразились злоупотребления?*
>
> **Белецкий**: — В том, что типографии ставились: это не была настоящая типография революционная, это была, так сказать, типография агента охранного отделения, он сам её ставил, а затем давал возможность раскрыть и арестовать тех лиц, которых собирал.
>
> **Председатель**: — *И таким образом получить вознаграждение?*
>
> **Белецкий**: — Нет, не скажу, чтобы получить вознаграждение. Вся система была отрицательная. Золотарев и я, мы упразднили это».

Гнусность этого заявления Белецкого превышает вообще все его гнусности. Понятно почему: я ставлю себя в положение рядового читателя и нахожу, что вот, мол, сам бывший директор Департамента полиции и товарищ министра внутренних дел утверждает, что жандармские офицеры в политическом розыске применяли грязные и преступные приёмы: сами, при посредстве своих агентов, ставили подпольные типографии, затем арестовывали «вовлечённых в ловушку» наивных молодых обывателей и затем получали награды, деньги и чины.

И всё это было, по уверению Белецкого, при Трусевиче, когда последний был директором Департамента полиции и когда «каждое открытие типографии влекло за собой отпуск больших денежных сумм лицам, открывавшим её». «Золотарев и я, — добавляет Белецкий, — мы упразднили это».

Мой читатель вспомнит, может быть, из предыдущих изложений, касающихся моей розыскной службы в Саратове (из шести лет, проведённых мной там на этой службе, первые три года, с 1906 до 1909-й, т. е. время наибольшего напора на власть со стороны революционного подполья, я работал при директоре Департамента полиции М.И. Трусевиче), что мне пришлось раскрыть около 10 подпольных типографий. Не говоря уже о том, что это были не «мои» типографии, а самые настоящие типографии, поставленные революционными деятелями того времени, я не получил за эти раскрытия не только какой-нибудь денежной награды или ордена, но мне ни разу Департамент полиции не высказал и не выразил специального одобрения. Просто на это смотрелось как на очередное исполнение службы, и только!

Если и были случаи бестолкового отношения к розыскному делу со стороны отдельных жандармских офицеров, эти случаи вскрыты и рассказаны мною с полной откровенностью; это была вовсе не система («Вся система была отрицательная», — говорит Белецкий), а отдельные случаи, за которыми следовала та или иная кара.

И уж, конечно, не Трусевич стал бы поощрять такую систему, не такой был он человек! Таким образом, нельзя совершенно понять, что именно пришлось Золотареву с Белецким «упразднять»! Впрочем, Золотарев нигде в своих объяснениях гнусностей Белецкого «о всей системе» не подтверждает.

Теперь перейду к разъяснениям Белецкого обо мне. Эти разъяснения очень противоречивы.

На стр. 282 того же 3-го тома Белецкий говорит: *«… Сведениями Малиновского мы пользовались не для того, чтобы творить розыск; для этого в каждом городе, в особенности в Петрограде и Москве, была хорошо поставлена партийная агентура»*. То есть Белецкий устанавливает этим, что у меня в Московском охранном отделении было хорошее агентурное освещение революционного подполья.

Не забудем, что до моего московского периода службы я настолько хорошо освещал революционное подполье Саратова и всего Поволжья, что тот же самый Белецкий выбрал именно меня для замещения должности начальника Московского охранного отделения.

Тут же позволю себе привести мнение обо мне как о розыскном деятеле из двух других источников.

В томе 5-м, на странице 61 тех же материалов Чрезвычайной следственной комиссии в показаниях бывшего товарища министра внутренних дел Золотарева и при чтении

председателем Комиссии доклада о положении секретного обследования в Московском охранном отделении (за моё время) сказано: *«…Московское охранное отделение обладает всей центральной социал-демократической организацией…»*

В «Воспоминаниях» сенатора П.П. Стремоухова («Архив русской революции», изд. Гессеном. Т. 16. Берлин, 1925) на стр. 24-й сказано: *«…Полковник Семигановский… занимая должность начальника Районного охранного отделения, был весьма осведомлён в партийной революционной работе не только в Саратове, но и окружающих губерниях…»*

Комплимент бывшего саратовского губернатора П.П. Стремоухова смело и с полным правом отношу к себе, так как начальник Саратовского губернского жандармского управления, полковник Семигановский, в деле политического розыска в Поволжье был только официальной ширмой, а весь розыск фактически направлялся мною, что я в своих «Воспоминаниях» и изложил достаточно подробно.

Итак, хотя бы из приведённых небольших примеров о моей розыскной деятельности как будто выходит так, что я с порученным мне делом справлялся неплохо; сам же Белецкий признаёт это. Но вот что он счёл нужным добавить обо мне на стр. 387-й того же тома 3-го «Падения царского режима»:

> «**Белецкий**: — Что касается двух начальников охранного отделения столичных центров, сведения коих всегда учитывались и министром внутренних дел, и Департаментом полиции, ввиду влияния этих пунктов на жизнь России, я застал в Петрограде полковника Глобачева, назначенного после моего оставления должности директора Департамента полиции генералом Джунковским, а в Москве — полковника Мартынова, который был назначен по моему представлению (согласно указанию С.Е. Виссарионова) А.А. Макаровым; полковника Глобачева я не только оставил, хотя С.Е. Виссарионов и не считал его подходящим для Петрограда, и на министра А.Н. Хвостова он, как и на Б.В. Штюрмера, о чём мне говорил генерал Климович, производил впечатление несколько вялого человека, но потом, после двух испытаний, отстоял и относился к нему с большим доверием и поддерживал его впоследствии у Протопопова и у А.А. Вырубовой, когда началась против него интрига. При мне он, в изъятие, был награждён раньше времени, по моему ходатайству, чином генерал-майора. В силу этого[180] и чтобы не

отрывать его от работы и не нервировать, я ревизии охранного отделения у него не производил, тем более, что при последовавшем впоследствии усилении агентуры даваемые им сведения по Петрограду меня вполне удовлетворяли.

Что же касается полковника Мартынова, то я и С.Е. Виссарионов несколько раз разочаровывались в нём впоследствии, как *в отношении лично к себе*, так и в бледности, с точки зрения Департамента, освещения общественной и партийной жизни Москвы, которая тогда текла особенно сильным темпом[181]. *Оставляя вопрос отношения его к себе*, после оставления мною должности директора, так как я потом убедился, что он так же отнёсся и к генералу Джунковскому, я тем не менее, по просьбе генерала Климовича, градоначальника, обещавшего им поруководить в его работе[182], вопрос об оставлении Мартынова в Москве поставил в зависимость от результатов ревизии его С.Е. Виссарионовым, коего я рекомендовал тогда по ревизии нескольких управлений. Хотя С.Е. Виссарионов нашёл упадок осведомительной деятельности в Московском охранном отделении и многие другие дефекты в хозяйственной части[183], я, по выслушании личных объяснений полковника Мартынова, его оставил впредь до представления письменного объяснения[184], после этого я сам ушёл, а Мартынов остался до последнего времени[185].

Я о себе не писал, что он был невнимателен, но как штрих я вам скажу, что, например, когда Джунковский был товарищем министра — это в период времени до меня, — Джунковский к нему относился очень хорошо, и портрет Джунковского висел на стене в охранном отделении. Когда Джунковский приезжал в Москву и в Москве получил сведения, что на посту товарища министра Джунковский не останется, и сведения эти стали известны полковнику Мартынову, то он даже не поехал провожать Владимира Фёдоровича на вокзал; об этом мне говорили близкие ему лица. Затем при мне, думая угодить, он снял портрет Джунковского со стены и повесил его в комнату филеров. На это я обратил внимание, но потом, как вы сами видите, он оставался всё же на посту…»

Итак, С.П Белецкий, даже в самые тяжёлые минуты своей жизни, в своих показаниях никак не может простить мне моего к

нему «невнимания». Из-за этого-то «невнимания» он и стал после своего вторичного вступления в Министерство внутренних дел всячески стремиться к тому, чтобы меня «выпереть» с должности, но не успел в этом — его самого «выперли»… Но он знал, что лица, принадлежавшие к составу Чрезвычайной следственной комиссии, начнут разбираться в делах и переписке Департамента полиции, найдут несоответствие в объяснениях С.П. Белецкого по отношению к фактической стороне дела и поймут, что Белецким руководили в его деятельности не стремление принести пользу государству, а его мелкие страстишки и «личные» отношения; вот почему он в своих объяснениях всё время пытается доказать, какой он хороший человек и как он «искоренял зло»… Но помнит этот товарищ министра внутренних дел Российской империи главным образом разные сплетни и слухи, он помнит и находит нужным объяснять Чрезвычайной следственной комиссии то обстоятельство, что я перевесил портрет генерала Джунковского из одной комнаты в другую, и наивно добавляет: «На это я обратил внимание, но потом, как вы сами видите, он (т. е. я — Мартынов) оставался всё же на посту…»

Итак, по мнению С.П. Белецкого, то, что я не поехал на вокзал «провожать» генерала Джунковского и перевесил его портрет с одной стены на другую, — достаточные поводы, чтобы я не «оставался на посту»! В этом весь С.П. Белецкий!

Что касается перевески портрета генерала Джунковского, то мне остаётся объяснить следующее: на стенах служебного кабинета начальника Московского охранного отделения висели портреты Государя, портреты всех бывших до меня начальников Московского охранного отделения и портреты того непосредственного начальства, которое в данное время находилось у власти. Оставлять в кабинете портреты быстро сменявшегося начальства не было никакой возможности: не хватило бы в этом кабинете стен! Заведовал всей декорировкой мой делопроизводитель, о котором я упоминал в своих «Воспоминаниях», С.К. Загоровский, — человек хозяйственный, он и перевесил своевременно портрет генерала Джунковского из моего кабинета в «сборную» комнату филеров; вероятно потому, что эта комната была большая и пространства было в ней достаточно.

Впрочем, если бы надо было подыскать более подходящее место для помещения портрета генерала Джунковского, его, по всей справедливости надо было повесить не в «сборную», а в «уборную» филеров, так как он там был бы на своём месте, отвечая вполне известным сексуальным уклонам генерала.

Я в целой главе постарался обрисовать личность генерала

Джунковского, этого ничтожнейшего фанфарона и салонного генерала; однако только из его же показаний, данных им на допросах в Чрезвычайной следственной комиссии, вырисовывается до мелочей характерная фигура нашего предреволюционного «безвременья». Трагизм последних годов императорской России сказался в возможности появления у власти таких личностей, как Джунковский, Белецкий и им подобные.

Я попрошу читателя проследить со мной часть показаний товарища министра внутренних дел по заведованию полицией и командира Корпуса жандармов, Свиты Его Величества генерала Вл. Фед. Джунковского, данных им членам Чрезвычайной следственной комиссии и зафиксированных стенографически всё в той же книге «Падение царского режима».

Для этого надо воспроизвести трагикомические разговоры генерала с гораздо более его умными и понимающими дела политического розыска и революционного движения в России членами этой следственной комиссии. Читая вопросы и ответы, чувствуешь, как спрашивающие, сами в большинстве «матёрые волки» революционного подполья, «деликатно» относятся к «известному своими либеральными взглядами генералу»; так деликатно, что называют его запросто по имени и отчеству, но в то же время чувствуется, что опрашивающие понимают, что генерал — «младенец» в вопросах, о которых он так решительно и «сплеча» трактует. Так, например, председатель Комиссии обращается к генералу Джунковскому с таким вопросом: «Владимир Фёдорович, вы вообще с техникой розыскного дела были ведь незнакомы или мало знакомы?»

На это генерал развязно отвечает: «Совершенно был незнаком. Я ознакомился постепенно» (стр. 73 тома 5-го). Ответ совершенно хлестаковский!

Посмотрим, однако, почему председатель Комиссии, очевидно поражённый сам «дурашливостью» заявлений генерала о технике розыскного дела, нашёл необходимым задать ему приведённый выше вопрос.

На стр. 73 того же тома 5-го мы находим ответ. Генерал Джунковский, давая объяснение «о провокации» как о системе в Департаменте полиции, говорит, что секретные сотрудники сами устраивали преступления. На это довольный председатель подсказывает генералу: «Ставили типографии, например.» Дальше привожу по подлиннику этот в своём роде шедевр:

«**Джунковский**: — Одно время мода была такая — открывать тайные типографии. Сами устроят…

Председатель: — *В Департаменте полиции была такая мода?*

Джунковский: — Да, да, в охранном отделении. Сами устроят типографию, а потом поймают и получают за это ордена. Вот относительно таких вещей я был немилосерден.

Председатель: — *Вас натолкнул на этот вопрос какой-нибудь случай, который открылся вам по донесению?*

Джунковский: — Я натолкнулся на это, когда был московским губернатором. Были разные разговоры и слухи, что такую-то типографию открыли, такую-то типографию сами сделали. Опять-таки на основании фактов я не мог…»

Вот когда бывший московский губернатор, а потом товарищ министра внутренних дел принужден был признать, что «на основании фактов я не мог…», председатель Комиссии и задал ему как «лепечущему младенцу» вопрос о том, был ли знаком с техникой розыскного дела этот товарищ министра. Потому что для председателя Комиссии было ясно, что в бытность генерала Джунковского московским губернатором, т. е. примерно в 1905 году, никакому охранному отделению не могло и в голову приходить «ставить подпольные типографии», ибо это делали сами подпольные революционные деятели; когда же генерал Джунковский стал, по чрезвычайно неудачному выбору Государя, товарищем министра внутренних дел, т. е. в 1913, 1914 и 1915 годах, я не думаю, чтоб в эти спокойные, в смысле революционного подпольного движения, годы где-либо в России открывшись подпольные типографии. Так что генералу и не приходилось быть «относительно таких вещей немилосердным»!

* * *

Ну как не вспомнить того же незабвенного Ивана Александровича Хлестакова, когда на стр. 74-й того же тома 5-го читаешь следующее:

«**Джунковский**: — Когда я назначил Брюна директором Департамента полиции, я успокоился, потому что это был чистый человек. И я сказал себе, что пусть в этой области он занимается, а я буду исключительно заниматься Корпусом жандармов».

На стр. 84-й той же цитируемой мною книги находим мы намеренно подтасованный рассказ генерала Джунковского об известном секретном сотруднике Малиновском.

Вот как передаёт генерал историю удаления Малиновского из Государственной думы:

> «**Джунковский**: — Мне нужно было найти верного человека из чинов Охраны, который мог провести всё это чисто, *как оно и было проведено*, то есть чтобы никто не узнал в ту минуту и не было бы никакого скандала. Это мне сделал Брюн. Он, конечно, был очень возмущён этим «Иксом»[186]. Когда он принял Департамент, «Икс» попал ему в руки; он и говорит мне: «Вот какая штука!» Тогда мы вместе решили ликвидировать. Для переговоров с Малиновским был избран начальник СПБ-ского охранного отделения Попов, который, так сказать, и заключил с ним условие и отправил его».

В соответствующей части своих «Воспоминаний» я описал и секретного сотрудника Малиновского, и историю его проведения членом Государственной думы, а также и моё очень активное участие по назначению и настоянию самого же генерала Джунковского в неприятном деле уговора Малиновского уйти из Государственной думы[187].

Почему же генерал Джунковский в заседаниях Чрезвычайной следственной комиссии говорит, что он эту миссию — уговора Малиновского уйти из Государственной думы возложил не на меня, а на начальника Петербургского охранного отделения генерала Попова?!

А вот почему: генералу Джунковскому для этого «деликатного» дела, согласно его же собственным словам, «нужно было найти верного человека из чинов Охраны, который мог провести всё это чисто, как оно и было проведено».

Фактически генерал Джунковский, отыскивая такого «верного человека из чинов Охраны», остановился — и это было очень естественно — на мне.

Я был тем начальником охранного отделения, который и раньше руководил секретным сотрудником Малиновским, и никакой другой «чин Охраны» его и не знал. Для этого «деликатного» поручения сам генерал Джунковский специально приезжал в Москву и вызывал меня для соответствующих переговоров. Едва ли генерал это забыл.

Однако в Следственной комиссии он говорит, что такого верного чина Охраны он нашёл в лице генерала Попова. Эта намеренная «ошибка» генерала Джунковского станет понятной,

если вспомнить, что незадолго до своего внезапного и вынужденного ухода с должности в 1915 году генерал без всякой видимой причины написал письмо московскому градоначальнику Климовичу, что он «намерен полковника Мартынова заменить полковником таким-то».

Если бы генерал Джунковский сказал на заседании Следственной комиссии правду о том, что он во мне видел вполне подходящего человека, «верного чина Охраны», которому можно было поручить такое сложное и «деликатное» дело, то, может быть, ему пришлось бы объяснять причины внезапно пришедшего ему в голову желания удалить меня с моей должности. Поэтому-то он и назвал имя генерала Попова, человека «своего» для Джунковского, им же выбранного на должность начальника Петербургского охранного отделения.

* * *

Общеизвестна распространённая версия о причинах ухода с должности товарища министра внутренних дел и командира Отдельного корпуса жандармов генерала Джунковского: уход приписывался охлаждению Государя к Джунковскому из-за поданной генералом записки о Распутине.

Я объясняю уход другой причиной. В заседании Чрезвычайной следственной комиссии генерал Джунковский слегка и неясно коснулся этого вопроса. Вот как он объяснял свой «уход» (на. стр. 103 и 105 тома 5-го):

> «**Джунковский**: — …10 августа (1915 г.) была записка от Государя о том, что я должен уйти.
>
> **Председатель**: — *На эту записку вы ответили письмом на имя Государя?*
>
> **Джунковский**: — Это была записка не мне, а кн. Щербатову, который пригласил меня и дал её прочесть. Она следующего содержания: «Настаиваю на немедленном отчислении генерала Джунковского».
>
> **Председатель**: — *Что же послужило причиной вашего увольнения?*
>
> **Джунковский**: — Я так и не мог добиться.
>
> **Председатель**: — *Судьбу вашего ухода разделили ещё и некоторые другие лица…*
>
> **Джунковский**: — …Я не думаю, чтобы мой уход был связан исключительно с той запиской (о Распутине), которую я передал. Я думаю, тут помогли и другие лица,

которые были очень недовольны моей деятельностью в качестве товарища министра и заведующего Департаментом полиции».

* * *

Если припомнить, что «Записка» о Распутине, поданная Государю Джунковским, относится к 1914 году, а «Записка» Государя князю Щербатову, «настаивающая» на немедленном уходе генерала Джунковского, имеет дату 10 августа 1915 года, то общепринятая версия об «уходе» генерала, конечно, не имеет под собой почвы. Да и сам генерал Джунковский признаёт, что он не думает, что «его уход был связан исключительно с той запиской».

Ещё одна любопытная черточка о генерале Джунковском, касающаяся его, так сказать, «интеллигентности».

Председатель Чрезвычайной следственной комиссии задаёт бывшему товарищу министра внутренних дел, командиру Отдельного корпуса жандармов и Свиты Его Величества генералу В.Ф. Джунковскому вопрос: «Вы имеете в виду рептильный фонд?» На это генерал отвечает: «Я не знаю, что такое рептильный фонд!»

Председатель Чрезвычайной следственной комиссии на этот невероятный в устах товарища министра внутренних дел ответ терпеливо разъясняет тогда, что «рептильный фонд» — это суммы, которые ссужались на органы «правой печати»…

* * *

Думается мне, что приведённые мною выдержки из показаний бывших «вершителей судеб», данных ими в заседаниях Чрезвычайной следственной комиссии, дополняют «портреты», которые я зарисовал в своих «Воспоминаниях».

П.П. Заварзин
Работа тайной полиции [188]

Предисловие

В России до 1917 года существовал фактор, игравший заметную роль в истории русской государственности, а именно: борьба правительственной власти с различными оппозиционными и революционными партиями и группами. Сущность этой борьбы мало известна беспартийной публике, а предвзятое к ней отношение, сложившееся как у либералов, так и революционеров, освещало её тенденциозно-неправильно.

Оставляя в стороне вопрос о степени необходимости такой борьбы, укажем только, что невероятное крушение огромной страны, со всеми её духовными и материальными ценностями, совершено именно теми людьми, против которых в своё время было направлено острие охранительных учреждений России. Вполне ясно, что многие законы в России были далеки от совершенства и некоторые из них подлежали коренному изменению, но розыскные учреждения к делу изменения законов отношения не имели, так как деятельность их сводилась только к охранению существовавшего в империи государственного строя.

Борьба этих учреждений с различными революционными партиями и группами велась на основании законов, а потому говорить о произволе исполнительных органов не приходится. Но не в защите или критике задача этой книги.

Я хотел бы по опыту и воспоминаниям изложить сущность того, что ещё так недавно вызывало большой шум в революционных и левых общественных кругах.

Весь социалистический мир, которому большую часть своей деятельности приходилось скрывать от преследования власти, знал технику политического розыска и организацию подпольной работы, широкие же круги общества были совершенно не осведомлены в этом отношении, так как мало интересовались политическим розыском и совершенно с ним не сталкивались.

При Временном правительстве в 1917 году двери секретных учреждений были для всех настежь открыты, но и тогда данные, имевшиеся в них, использовали преимущественно революционеры всех толков, а в особенности коммунисты. Последние поэтому в совершенстве ознакомлены со всеми розыскными приёмами, и «секреты», изложенные ниже, являются таковыми только для несоциалистической русской массы; между тем при современной российской действительности из чувства самосохранения каждому и некоммунисту полезно некоторое знакомство с розыскной работой.

Ко дню революции я имел почти 20 лет службы в Отдельном

корпусе жандармов на должностях начальника розыскных пунктов и охранных отделений: в Кишиневе, Гомеле, Одессе, Ростове-на-Дону, Варшаве, Москве и других местах, что даёт мне возможность ознакомить читателя с теорией и техникой розыска, а также со структурой секретных организаций, с которыми боролась государственная власть.

Относиться к розыску можно различно, но отрицать его необходимости нельзя, отчего он и существует без исключения во всех государствах Старого и Нового Света, причём техника его везде одинакова, но чем шире конституция в стране, тем уже сфера розыскной деятельности в политическом отношении.

Смешение понятий о розыскных органах, бывших в России до революции, с большевистской Чекой и в опровержение нелепых доводов о тождественности принципов, вложенных в основание означенных учреждений, заставляет меня остановиться и на некоторых данных, относящихся к деятельности большевиков по обнаружению, обследованию и преследованию государственных преступлений.

Париж, 1924 год.

Часть I

Глава 1
Общая система политического розыска в России

Предлагая вниманию читателя эту главу, автор должен предпослать ей два замечания:

1) Под понятием «политический розыск» подразумеваются действия, направленные лишь к выяснению существования революционных и оппозиционных правительству партий и групп, а также готовящихся ими различных выступлений, как то: убийств, грабежей, называемых «экспроприациями», агитациями и пр., а с 1914 года в особенности шпионажа и пропаганды в пользу австро-германского блока.

Розыск по политическим преступлениям — одно, а возмездие по ним совершенно другое, почему никаких карательных функций у политического розыска не было, а осуществлялись они в ином порядке, о чём речь ниже.

2) По времени эта глава не охватывает всей истории политического розыска в России, с момента его возникновения, с XVII века (Преображенский приказ при Петре I, Тайная канцелярия при Бироне, III отделение собственной Его Императорского Величества канцелярии при Аракчееве[189] и т. д.), а рассматривает лишь период от 1900 до 1917 года.

Высшее руководство розыском, как политическим, так и уголовным, сосредоточивалось в Департаменте полиции при Министерстве внутренних дел.

Как тем, так и другим ведали отдельные делопроизводства, действовавшие самостоятельно друг от друга. В числе различных отделов департамента существовало делопроизводство регистрации, заключавшее в себе фамилии, клички, фотографии, дактилоскопические и антропометрические данные, относящиеся ко всем без исключения лицам, проходившим по политическим и уголовным делам империи.

На должность директора Департамента полиции в большинстве случаев назначались лица прокурорского надзора, имевшие по своей прежней службе опыт в ведении политических дел. По существу своих обязанностей директор департамента близко стоял к министру внутренних дел, почему и назначался по его избранию. Таким образом, с уходом последнего оставлял свой пост и директор. За 15 лет, предшествовавших революции, их сменилось 12 человек.

Подчинёнными Департаменту полиции на местах, по политическому розыску, являлись жандармские управления и охранные отделения, но донесения в Департамент полиции поступали не только от этих учреждений, но и от губернаторов и градоначальников. В последнем случае они касались главным образом политических настроений и общественных движений их губерний и градоначальств.

Поступившие таким образом сведения регистрировались в департаменте, который по существу их давал соответствующие указания и при надобности рассылал свои циркуляры.

Жандармские управления территориально покрывали всю Россию, охранные же отделения находились лишь в некоторых пунктах.

Соображения революционных партий и групп при создании ими своих областных и районных комитетов послужили основанием к организации таких же районов по розыску. Общность и однородность географических, промышленных, этнографических и других условий в обоих случаях послужила главным доводом при распределении.

Жандармские управления, входившие в район, согласовывали свои действия с районным жандармским управлением или охранным отделением. Районы были введены директором Департамента полиции М.И. Трусевичем в начале 1900-х годов, а с принятием должности товарища министра внутренних дел В.Ф. Джунковским начали упраздняться, мотивом к чему послужили главным образом трения между районами и жандармскими управлениями.

Руководителями политическим розыском в охранных отделениях и жандармских управлениях были офицеры Отдельного корпуса жандармов.

Корпус жандармов комплектовался офицерами армии и гвардии, и поступление в него обусловливалось предварительным прохождением особых курсов. Унтер-офицеры принимались из запаса; чиновники же — на общих основаниях поступления на государственную службу. Кроме того, на всех требовалась особая аттестация.

Вопреки упорным слухам следует отметить, что никакой особой присяги жандармы не давали.

Организация розыскного органа была такова.

Во главе стоял начальник; ближайшими его помощниками являлись жандармские офицеры и чиновники. Канцелярия его обслуживалась обычным штатом, причём при ней находился регистрационный отдел с антропометрическими и дактилоскопическими данными, а также библиотека всех

революционных и вообще запрещённых изданий. На постоянной службе состояли также агенты наружного наблюдения, в общежитии называвшиеся «филерами», а враждебно «шпиками». Они составляли особую команду, подчинённую чиновнику, заведовавшему наружным наблюдением. Филеры вели «слежку», а особые агенты производили выяснение фамилий и адресов наблюдаемых лиц и назывались надзирателями, или агентами по выяснению. Лица, которые подлежали наблюдению филеров, указывались начальником розыскного органа по поступившим в его распоряжение «агентурным» или «секретным» данным. Первые поступали от «секретных сотрудников», вращавшихся в обследуемой среде. Эти сотрудники у революционеров назывались «провокаторами».

Свидания с ними осуществлялись на особых частных квартирах, называемых «конспиративными», куда начальник розыска приходил в штатском платье. Так называемые «секретные сведения» поступали от Департамента полиции из «отдела почтовой цензуры», т. е. учреждения, известного широкой публике под названием «чёрного кабинета»[190].

По окончании обследования данной группы таковая ликвидировалась, т. е. лица, в неё входившие, обыскивались, а когда нужно было по ходу дела, то и арестовывались, преимущественно в порядке статьи 12 Положения об охране 1881 года[191]. На основании этой статьи начальникам жандармских управлений и их помощникам предоставлялось право задержания подозреваемых сроком на две недели. Этот срок мог быть продлён губернатором или градоначальником до одного месяца, а затем задержанный или освобождался, или зачислялся за Министерством внутренних дел до окончания о нём дела. За правильностью содержания под стражею задержанных наблюдал участковый товарищ прокурора.

При каждом жандармском управлении и охранном отделении находилось одно или несколько лиц прокурорского надзора, которые наблюдали за ходом и направлением всех политических дел. Часть их, при наличии уличающих данных, передавалась для производства формального дознания или же предварительного следствия, в порядке статьи 1035 Устава уголовного судопроизводства.

Все расследования, производимые охранными отделениями и жандармскими управлениями, принимали одну из следующих трёх форм:

1) Предварительное следствие, производимое следователем по особо важным делам округа судебной палаты.

2) Формальное дознание, производимое жандармским

офицером в порядке статьи 1035 Устава уголовного судопроизводства, которое по окончании передавалось прокурору для направления в судебную палату.

3) Административное расследование, или «переписка», производившаяся на основании положения о государственной охране.

В первом и втором случаях дело разрешалось судебною палатою, или Сенатом, в последнем же оно шло с заключением губернатора на решение в особое совещание при Министерстве внутренних дел. По рассмотрении переписки составлялось заключение, — дело или прекращалось с освобождением задержанных лиц, или же «подозреваемые» высылались в отдалённые места империи на срок не свыше 5 лет. Больным высылка в отдалённые места заменялась выдворением в местности, климатические условия которых были бы не вредны для их здоровья. В последние годы, по ходатайствам высылаемых, им разрешался взамен высылки выезд за границу с запрещением въезда в Россию. Зачастую дела по административным перепискам прекращались вовсе по Высочайшему повелению в ответ на поданные Государю прошения о помиловании.

Достоверность получаемых розыскным учреждением сведений, правильность донесений, ведение «административных переписок», постановка всего розыскного дела, денежных расчётов и т. п. контролировалась Департаментом полиции в лице его чинов, приезжавших на места и имевших, между прочим, даже свидания с «секретными сотрудниками» на конспиративных квартирах.

Из изложенного явствует, что организация розыскного дела и роль в нём чинов Корпуса жандармов была значительно менее той, которую ему придавали, ибо деятельность розыскных органов заканчивалась гораздо ранее самого разрешения дела, а потому *приписываемое* им значение «вершителей политических дел» неправильно.

Точно так же неправильно заключение таких лиц, как профессор Мякотин и др., о том, что для современной большевистской «чека» прототипом явилась «охранка». Последние были только розыскными органами, «чека» же является универсальным учреждением розыска, расследования, вынесения смертных приговоров и приведения их в исполнение. Фактически «чека» даже не учреждение по означенным функциям, а просто орган, при посредстве которого выполняется партийное постановление, имеющее целью: а) уничтожить русскую буржуазию, б) кадровое офицерство и в) в частности, офицеров Отдельного корпуса жандармов, из коих в живых осталось менее

10 %.

Что же касается смертных приговоров по старым до революции делам, то они выносились судом, почти всегда за преступления, связанные с убийствами, и исполнение их производилось без участия и даже ведома розыскных органов.

В местностях, объявленных на военном положении, начальнику края предоставлялось право объявлять постановления, согласованные с требованием данного момента, которые получали значение и силу закона. В связи с этим ему же принадлежало право единоличного решения дел без суда, даже с вынесением смертного приговора.

По прошлой службе мне известно только два разрешённых таким образом в 1906 году дела, а именно: по уголовному розыску было приговорено генералом Скалоном в г. Варшаве 17 человек к смертной казни. Они составляли группу, именовавшуюся «анархистами-коммунистами», в действительности же являвшуюся шайкой бандитов, совершивших ряд убийств с целью грабежа; по второму делу, политическому, по постановлению лодзинского генерал-губернатора[192] было расстреляно 11 рабочих, принадлежавших в большинстве к Польской социалистической партии[193], которые, подвергнув ряду возмутительных истязаний владельца лодзинской фабрики Зильберштейна на глазах его рабочих, затем его тут же убили.

Конечно, и в розыскных учреждениях, как и во всяких других, случались ошибки и совершались злоупотребления, но всегда обнаруженные виновные подвергались преследованию, до предания их суду включительно. Во всяком случае, злой воли и злоупотреблений со стороны руководителей не констатировалось, что подтвердилось и результатами работ Следственной комиссии Временного правительства[194]. Продолжавшееся несколько месяцев изучение этой комиссией агентурного и другого материала, находившегося в Департаменте полиции и подчинённых ему органах, не дало никаких уличающих данных, которые могли бы послужить основанием для привлечения к судебной или другой ответственности хотя бы одного жандармского офицера. Естественно, что это обстоятельство настолько веско, что обвинение розыскных органов в «злостной провокации» и прочих преступлениях является плодом не только больного воображения, но и заведомой клеветы.

Глава 2
Внутренняя агентура. Секретные сотрудники

Техника политического розыска основывается на

выработанных повсеместно в течение многих лет приёмах, и поэтому она укладывается в определённые формы. Главным фактором розыска являлся «секретный сотрудник».

Секретным сотрудником называется лицо, дающее тайно политическому розыску сведения из обследуемой им среды, причём сотрудник должен или лично входить в состав означенной среды, или близко соприкасаться с её членами. Лицо, дающее случайные сведения, получаемые им косвенным путём, называется «вспомогательным сотрудником». Сообщаемые секретными сотрудниками сведения носят техническое название «данные внутренней агентуры».

Сложным делом является приобретение сотрудника, но не менее трудным — его направление, руководство им и предохранение его от «провала», т. е. подозрения его со стороны обследуемой им среды.

Серьёзные секретные сотрудники, заподозренные в предательстве, зачастую приговаривались своими товарищами к смерти, а иногда революционные комитеты ставили им условием искупить свою вину путём личного участия в терроре. Почти все заподозренные соглашались на это, рискуя своею жизнью, как, например, проваленный секретный сотрудник Петербургского охранного отделения Богров, убивший П.А, Столыпина в Киеве и за это казнённый. Той же участи подвергся и Петров, убивший начальника С.-Петербургского охранного отделения полковника Карпова.

Мотивы, коими руководствовались лица при вступлении в секретную агентуру, весьма разнообразны, точно так же, как различны и качества самих секретных сотрудников, в силу чего они многим отличались друг от друга.

Самым надёжным сотрудником для розыска является тип беспартийный, проводимый в обследуемую среду через её организации постепенно, начиная от низшей к высшей. У таких лиц зачастую развивается преданность делу и розыскная тенденция. Но чаще встречается утомлённый и разбитый жизнью человек, изверившийся в целесообразности социалистических или иных идейных стремлений; он склонен без особого труда к принятию предложения заняться освещением деятельности известной ему организации. Попадаются элементы, озлобленные против своих сопартийников, которых обыкновенно и предают, желая им отомстить. Также нередки малодушные люди, которые, столкнувшись с перспективой наказания, стремятся себя реабилитировать откровенными показаниями или секретной работой. Появляются и «кляузники», обыкновенно люди опустившиеся, разных профессий и положений; к сведениям,

доставляемым ими, надо относиться особенно критически, так как они чаще всего голословны и даже вымышлены. Весьма часты типы неискренние, всегда корыстные, но ловкие и осведомлённые; они требуют за собою постоянного наблюдения. Особенно опасны секретные сотрудники, уличенные в недобросовестной службе по розыску; они обыкновенно выезжали из города, в котором были заподозрены, запасшись нелегальным паспортом, и появлялись в местах, где их не знали, и являлись в тамошний розыскной орган с предложением своих услуг. Знакомые с требованиями розыска, они начинали шантажировать и систематически лгать. Такие лица по разоблачении опубликовывались циркулярами Департамента полиции, и их услугами запрещалось пользоваться. Наконец предлагали свои услуги для секретной работы лица, в действительности подосланные обследуемым лагерем в розыскное учреждение для его дезорганизации, разведки и даже совершения убийств руководителей розыскным делом.

Работа по секретной агентуре требует постоянной сосредоточенности, наблюдательности и особой предусмотрительности, почему для руководства розыском и направления работы секретных сотрудников необходим опыт.

Практика показала, что, как бы сообразителен, способен и склонен к розыскному делу ни был человек, он всё-таки без предварительной подготовки не может вести политического розыска. В противном случае он долго будет допускать непоправимые ошибки. Необходимо уметь ориентироваться в весьма сложных психологических процессах, происходящих в душе каждого сотрудника или заявителя. С одной стороны, нужно принять меры к устранению человека вредного или бесполезного, а с другой — уметь приблизиться и войти в доверие к лицу, идущему навстречу интересам власти. Следует отметить, что бывают случаи, когда сотрудник по натуре, характеру, воле и даже интеллигентности оказывается сильнее своего руководителя; это влечёт за собою, при неопытности ведущего розыск, подчинение его такому сотруднику, со всеми отрицательными последствиями этого.

Прежде всего руководителю необходимо знать среду, в которой ведётся розыск, и уметь в ней приобрести секретных сотрудников, их сохранить и ориентироваться в их индивидуальных особенностях. При этом следует отметить, что, приобретя сотрудника, неопытный руководитель настолько подробно излагает в донесениях данные ему сотрудником сведения, что часто его проваливает с самого же начала работы. Затем, не придавая значения законспирированности секретных

сотрудников друг от друга, такой руководитель назначает свидания им одновременно, почему впоследствии они, в случае возникновения против них подозрения, в среде, где они работают, «проваливают» друг друга. Кроме того, часто получался провал вследствие именования секретного сотрудника его настоящей фамилией, а не псевдонимом. Нередко, тоже по неопытности, проваливались агенты, когда руководитель давал задания нескольким сотрудникам совершенно одинаковые, и тем они обнаруживались друг перед другом.

Во всех розыскных учреждениях империи до переворота было в текущей деятельности в общем несколько сот секретных сотрудников[195]. Среди них были врачи, инженеры, общественные деятели, литераторы, журналисты, студенты, рабочие, как женщины, так и мужчины. В состав секретной агентуры входили также офицеры и нижние чины армии, но в бытность товарищем министра внутренних дел В.Ф. Джунковского этот вид сотрудников был им совершенно упразднён, вследствие нареканий военного командования.

Секретные сотрудники, работавшие по политическому розыску, принадлежали ко всем национальностям, которые имели оппозиционные или революционные организации, преимущественно же к еврейской и велико-росской.

Вознаграждение им назначалось в зависимости от той пользы, которую они могли принести делу. Лица, освещавшие высшие организации, как то: центральные комитеты, боевые группы и прочие, получали большее содержание, а освещавшие периферию и дававшие отрывочные сведения — меньшее. Наименьшее жалованье равнялось прожиточному минимуму. Содержание выдавалось ежемесячно, независимо от того, имелись ли за данный период времени сведения у сотрудника или нет. Если результат разработки сведений давал серьёзные дела, как, например, обнаружение тайных типографий, фабрик разрывных снарядов, боевых дружин и т. п., а равно предупреждение важного заговора, сотруднику выдавалось особое вознаграждение по указанию директора Департамента полиции.

Сотрудник работал и многие годы, и несколько дней, в зависимости, с одной стороны, от продолжительности существования обследуемой им среды, а с другой — от личной его осторожности и правильного руководства им.

Возможно ли обойтись без внутренней агентуры и чем её заменить?

Таков важнейший вопрос по работе политического и уголовного розыска. Ответ определённый. Ничем её заменить нельзя, а потому она необходима и существует во всех без

исключения странах мира.

Без розыскного органа ни одно государство не существовало и существовать не будет.

В 1917 году, после переворота, всё значение розыскного аппарата понимал только В.Л. Бурцев, настаивавший и стремившийся сохранить Департамент полиции и его розыскные учреждения с заменой старых руководителей людьми новой государственной идеологии и иных стремлений. Временное правительство, а в особенности Керенский, держались иного мнения. Розыскные учреждения были уничтожены, служащие в них, главным образом жандармы, заключены в тюрьмы или посланы на фронт; секретные сотрудники разоблачены в русской и иностранной прессе, даже невзирая на то, что многие из них были направлены на работу по контрразведке, т. е. для борьбы с немецкой пропагандой и шпионажем. Все секретные материалы были предоставлены для рассмотрения желающим, и в том числе подозреваемым в шпионстве.

Через несколько недель после переворота лицо, близко стоявшее к членам Временного правительства, негласно советовалось со мною и заключённым в тюрьму начальником Петроградского охранного отделения генералом Глобачевым на тему, как организовать охрану членов правительства, в том числе Львова, Керенского, Милюкова и других, чтобы оградить их жизнь от возможных посягательств на них со стороны большевиков, уже бывших в то время значительной группой в Петроградском совете рабочих депутатов.

Посланный за границу комиссар Сватиков, после уничтожения им всех организаций заграничного розыска, разыскивал по Парижу уволенных жандармов и упрашивал их вновь наладить секретную агентуру в большевистской среде.

Из более интересных сотрудников, с которыми мне приходилось иметь дело или о которых я слышал, небезынтересно упомянуть о следующих.

Окончившая Смольный институт З.Ф. Жученко по своим убеждениям была далека от революционных стремлений и согласилась пойти в секретную агентуру из любви к таинственности, риску, а отчасти авантюризму и полной убеждённости в разлагающем влиянии революционеров на русский народ. Жученко была полезнейшею секретною сотрудницею Московского охранного отделения. На ней главным образом базировалась работа этого учреждения много лет, пока наконец она не была разоблачена в революционной среде после выдачи розыскным властям оппозиции Партии социалистов-революционеров. В её работе были подчас очень трудные

моменты, грозившие поставить её в безвыходное положение. Так, в 1905 году Партия социалистов-революционеров поручила Жученко взять на себя руководство убийством минского губернатора, впоследствии товарища министра внутренних дел, П.Г. Курлова. Получилась дилемма: или её провалить отказом исполнить веление комитета, или для сохранения её исключительного положения в партии пойти на компромисс. С её согласия и даже по её настойчивой просьбе остановились на втором разрешении трудного вопроса. Жученко изъявила готовность руководить порученным ей террористическим актом и деловито подвергала обсуждению с комитетом подробности этого задания. Разрывной снаряд она поставила в Московское охранное отделение, где запальное приспособление было обезврежено, отчего при метании взрыва произойти не могло. Этот безопасный снаряд был брошен в губернатора, и, конечно, без всяких последствий. Тогда в отношении Жученко у комитета социалистов-революционеров возникло некоторое подозрение и ей было поручено новое дело. Но поведение Жученко и конъюнктура других обстоятельств сделали то, что пошатнувшееся её положение было вновь упрочено и она стала пользоваться прежним доверием. С точки зрения руководителя розыском сотрудница была спасена от «провала»; она продолжала агентурную работу, и, благодаря её сведениям, впоследствии было ликвидировано несколько групп, сформировавшихся для совершения ряда убийств и экспроприаций.

К этому следует добавить, что метатель бомбы в минского губернатора наказания не понёс.

С Жученко я лично не работал и изложенный случай с минским губернатором знаю с её собственных слов, когда в 1910 году, в бытность свою начальником Московского охранного отделения, пригласил её приехать ко мне из Берлина в Москву. Как «проваленная» сотрудница, она была бесполезна для освещения текущего момента, но её колоссальная память и знание главарей Партии социалистов-революционеров и их связей были весьма ценны для меня при изучении личного состава партии и индивидуальных особенностей отдельных лиц[196].

Много толков вызывал в своё время Азеф, имя которого стало нарицательным. Азеф, член центрального комитета Партии социалистов-революционеров, нагло обманывал и партию, и заведовавшего розыском, у которого он состоял на службе в качестве секретного сотрудника. Первым, кто понял действительную роль Азефа, был заведовавший заграничною агентурою Рачковский, который о нём лично рассказывал мне

небезынтересные данные. Уличив Азефа, Рачковский прекратил с ним всякие сношения. Тогда Азеф, чтобы снять с себя возникшее у некоторых членов Партии социалистов-революционеров в отношении его сомнение и отомстить Департаменту полиции за лишение его крупного содержания (500 руб. в месяц), вошёл в активную партийную работу по террору и явился одним из соучастников по организации убийства в Москве Великого князя Сергия Александровича.

Потом однажды в С.-Петербурге один из филеров С.-Петербургского охранного отделения заметил, что его наблюдаемый встретился с неким «Филиппиком», за которым несколько лет ранее он следил. Филер не оставил последнего и выяснил его квартиру, а по справке в охранном отделении оказалось, что кличку «Филиппика» носил Евно Филиппович Азеф; псевдоним по розыскной работе «Виноградов». Азеф был, с соблюдением конспирации, арестован и привезён к начальнику С.-Петербургского охранного отделения А.В. Герасимову, у которого после разговора с Азефом возник вопрос, — или допустить продолжение деятельности крайне законспирированной боевой группы Партии социалистов-революционеров, известной Азефу и неизвестной охранному отделению, или вновь воспользоваться его работой, хотя увольнение Азефа Рачковским было известно, но неизвестно было тогда ещё участие Азефа в московском убийстве. По обсуждении этого вопроса остановились на втором решении, и Азеф сделался опять секретным сотрудником. Окончательно он был «провален» бывшим директором Департамента полиции Лопухиным в неосторожном разговоре с В.Л. Бурцевым, который тогда специально интересовался выяснением и разоблачениями секретных сотрудников Департамента полиции.

Надо сказать, что работа с такими секретными сотрудниками, как Азеф, весьма затруднялась тем, что они стояли вне сферы другой агентуры и поэтому от проверки ускользали[197].

Польская социалистическая партия систематически подсылала в Варшавское охранное отделение своих членов, и надо было быть особенно внимательным, чтобы разобраться в каждом являвшемся с предложением услуг или арестованном, пожелавшем работать по розыску. Иногда допускались ошибки.

Однажды вечером в охранное отделение пришёл молодой человек лет 18 и настойчиво просил пропустить его к начальнику, к которому он имеет «важное дело». Введённый в кабинет юноша назвался Свидерским, манерно расшаркался и, попросив позволения сесть, скромно расположился в кресле. Своё «дело» он

изложил последовательно, обстоятельно и без торопливости. По его словам, в пивной, на Сенаторской улице, от неизвестного ему по фамилии человека, которого он после нескольких встреч хорошо знает в лицо, он, Свидерский, получил на временное хранение свёрток. Так как в пакете находилась запрещённая литература, то он решил известить об этом охранное отделение и предупредить, что незнакомец обещал явиться за свёртком в пивную сегодня же поздно вечером. В представленном Свидерским свёртке оказались номера газеты «Работник»[198], несколько брошюр — все нелегальные издания. Свидерский указал на свою лояльность в отношении русской власти и высказал готовность и впредь оказывать содействие делу розыска и служить «по охране». Для составления протокола его показания Свидерский был отправлен в канцелярию, где ему объявили о временном его задержании, впредь до проверки сообщённых им сведений. Задержание его взволновало, так как он хотел-де лично присутствовать при аресте неизвестного.

Одновременно с этим в пивную были отправлены три филера, где они расположились у столика.

Прошёл час.

Вдруг раздались револьверные выстрелы, разбили стёкла в окне, и пролетели пули, прострелив шляпу одному из филеров и контузив его в голову.

Минуту спустя всё стихло, а стрелки бесследно скрылись.

Старший филер понял свой промах: вместо того чтобы организовать наблюдение, он неосторожно вошёл в пивную.

Для предания суду достаточных данных не было, и Свидерский административным порядком был выслан.

Из характерных шантажистов запечатлелся в памяти некий Ильницкий, подозревавшийся в военном шпионаже в пользу Австрии и в то же время заподозренный Польскою социалистическою партиею в предательстве по отношению к ней. Ему пришлось уехать из Царства Польского, и он начал появляться от поры до времени в различных городах России.

Наблюдательный и ловкий, Ильницкий обыкновенно с весьма таинственным видом являлся к жандармскому офицеру, обещая ему сообщить важные сведения, но с условием не писать о нём, Ильницком, ни в Москву, ни в Варшаву, а прямо в Департамент полиции. Зная фамилии нескольких террористов, в том числе Б. Савинкова и др., он импонировал своею осведомлённостью и давал «сведения» о якобы готовящемся «центральном» терроре. Он указывал фамилии некоторых сановников, родственники которых террористы, давал адреса ряда лиц, которые по справкам

оказывались действительно там проживавшими.

После такого сообщения начинались выяснения, справки, запросы, наблюдения, а Ильницкий в то же время вымогал деньги. В результате ничего не оказывалось.

В период таких странствований однажды Ильницкий приехал в Смоленск, где он по своему обыкновению сообщил свои «важные» сведения жандармскому офицеру. Для проверки был послан запрос в Москву, где я в то время был начальником охранного отделения. Здесь выяснилось, что неподтвердившиеся аналогичные сведения были уже им когда-то сообщены.

Ильницкий был арестован, и Департамент полиции циркуляром запретил пользоваться услугами этого лица.

В 1910 году в Москве был арестован Малиновский, член так называемой «семерки» ЦК РСДРП, «фракции большевиков».

Слесарь по ремеслу, 30 лет, высокого роста, шатен с застенчивым взглядом серых глаз, Малиновский производил впечатление заурядного фабричного рабочего, но из агентурных источников было известно, что он смелый и бойкий митинговый оратор и видный деятель фракции.

На основании таких данных было решено попытаться склонить Малиновского работать по розыску в качестве секретного сотрудника. Прямого предложения ему не было сделано, но осторожно, касаясь общих принципиальных вопросов, партийных тенденций и даже обстоятельств частной жизни, Малиновскому дано было понять, что убеждённости в его поступках как большевика нет и что в нём сквозит деятель, толкаемый на революционную работу лишь авантюризмом его натуры, денежным расчётом и желанием быть на глазах рабочих с ореолом борца за народную свободу. Ему было также указано на не совсем устойчивое его прошлое и преследование по суду за присвоение чужой собственности.

Долго Малиновский молчал и размышлял. Он понял, что настроение его учтено верно.

Наконец, после долгого разговора Малиновский выразил согласие и на заданные ему вопросы относительно текущего момента и его сопартийников дал правдивые ответы и тем убедил в искренности своего решения.

Свидание с ним затянулось до утра. Чтобы маскировать столь продолжительное пребывание Малиновского в охранном отделении, а также и его освобождение, пришлось немедленно же вызвать из тюрьмы остальных членов большевистской группы, опросить их и одновременно пока освободить.

Все меры предосторожности были приняты, и образ действий

охранного отделения никому из членов партии не дал никакого подозрения, что Малиновский сделался секретным сотрудником, сначала под кличкой «Портной», а потом под псевдонимом «Икс».

Малиновский оказался весьма обстоятельным агентом, его сведения всегда отличались точностью и полнотою, почему, когда он был избран членом Государственной думы, все намерения революционных кругов были известны правительству.

Впоследствии Малиновский продолжал своё тайное сотрудничество с директором Департамента полиции С.П. Белецким; последний, между прочим, дал указания Малиновскому искусственно вызвать между думскими социал-демократами раскол и тем ослабить, при голосованиях, значение фракции социал-демократов, насчитывавшей в своей среде тринадцать человек. Сотрудник это поручение выполнил совершенно незаметно для своих товарищей, которые, может быть, до сего времени не догадывались, что все их распри и последовавший затем раскол фракции на две группы — одна в шесть, а другая в семь человек — были вызваны и проведены изложенным выше путём.

Малиновский официально как секретный сотрудник был разоблачён после февральского переворота 1917 года; деятельность его получила совершенно не соответствующее действительности освещение в прессе, будто бы при посредстве этого и других сотрудников Департамент полиции поддерживал большевиков[199].

Наоборот, в условиях порядка вещей до Временного правительства деятельность большевиков в России проявлялась весьма замкнуто, и только после переворота она развилась до пределов, позволивших им захватить государственную власть в свои руки.

Глава 3
Наружное наблюдение. Филеры

Важным фактором розыска кроме секретных сотрудников являются агенты наружного наблюдения, т. е. филеры.

Их роль состоит в выслеживании лиц на улицах, в кафе, в театрах, трамваях, поездах железных дорог и пр., для выяснения «деловых связей» и круга знакомств наблюдаемых, не входя с ними в соприкосновение.

Лицо, «взятое» в первый раз «в наблюдение», получало «кличку наружного наблюдения», обыкновенно по внешнему виду и особенностям. Под этими кличками филеры и знали наблюдаемых.

В некоторых случаях филерам поручалось и задерживать отдельных лиц, преимущественно террористов, чтобы предупредить вооружённое сопротивление при арестах их на квартирах.

Служба филеров очень трудна, требует выносливости и сметливости. Плох тот филер, который даёт себя обнаружить наблюдаемому. В прошлом революционеры твёрдо знали, что за ними есть слежка, а потому прибегали к самым разнообразным способам, чтобы, с одной стороны, узнать в лицо наблюдающих агентов, а с другой — при установлении ими слежки парализовать её.

Каждый вечер филеры, по возвращении с работы, собирались в канцелярии розыскного учреждения и составляли письменные сообщения, кого они видели и что сделали за день, а затем, получив указания и распоряжения на следующий день, расходились по домам, обыкновенно не ранее полуночи. Назначались они в наблюдение нарядами, по нескольку человек в каждом, причём более опытный филер был за старшего.

Профессиональная сообразительность и наблюдение «без провала» вырабатывались у них приблизительно не ранее двух лет.

В некоторых случаях приходилось пользоваться филерами под видом торговцев, посыльных, велосипедистов и извозчиков, для чего имелись свои экипажи и лошади, а иногда даже брался в аренду конный экипаж.

Департаментом полиции была составлена о службе наблюдающих агентов подробная инструкция, которая впоследствии попала в руки революционеров, была перепечатана и получила среди них широкое распространение. Таким образом почти все партийные работники были хорошо ознакомлены с системой и техникой наружного наблюдения[200].

Комплектовались филеры преимущественно из запасных унтер-офицеров, причём о каждом кандидате предварительно наводились подробные справки. Помимо отличной аттестации желавшие служить по наблюдению должны были обладать хорошими зрением и слухом, крепким здоровьем и отличаться сметливостью и трезвостью.

Служба филеров была не только трудна, но и опасна, в особенности при наблюдениях за боевиками. Многие из филеров были убиты во время такой работы, и неоднократно они подвергались на своих постах обстрелу из засад вооружёнными террористами; зачастую приезжавших видных партийных работников и боевиков, обладавших нелегальными, на чужие фамилии, паспортами, филеры опознавали при встречах лишь по

наружности. У филеров с течением времени вырабатывалась специальная особенность — запечатлевать и представлять себе в памяти лицо лишь по фотографическому снимку или по точно указанным приметам как действительно ими виденного в натуре человека. Внешность наблюдаемого сохранялась в памяти у способного агента в течение многих лет, несмотря на массу лиц, которые проходили перед его глазами.

Когда филерами устанавливалось местожительство обследуемых лиц, тогда выяснение наблюдаемых поручалось так называемым агентам по выяснению. Эти служащие, обыкновенно переодетые в форму полицейских надзирателей, по приходе к управляющему или дворнику дома добывали негласно необходимые сведения. Таким образом устанавливались адреса, фамилии, звания и прочие сведения о лицах, интересовавших с какой бы то ни было стороны политический розыск. «Негласно» выяснить лицо представлялось весьма затруднительным вследствие болтливости дворников и прислуги, почему наблюдаемых по террору, тайной типографии и тому подобным серьёзным делам обыкновенно выясняли во время ликвидации.

Из обширной и разносторонней практики филерской деятельности вспоминаются отдельные характерные эпизоды.

В г. Одессе состояла под наблюдением розыскных властей небольшая группа партийных революционеров, которой секретная агентура приписывала участие в работе по тайной типографии. Все эти лица, за каждым из которых следили отдельные филеры, обыкновенно с утра приходили в квартиру, помещавшуюся во дворе одного огромного многоэтажного дома с таким же флигелем. Без того, чтобы не быть обнаруженными, надзиратели и филеры не могли входить во двор этого дома, и квартира, в которой собирались наблюдаемые лица, оставалась невыясненною. При этом случалось, что наблюдаемые не выходили до вечера и несколько человек филеров в течение целого дня безрезультатно блуждали по улице. Опасение «провала» озабочивало старшего филера Г., который ежедневно лично проверял службу своих подчинённых. Однажды днём он подошёл к указанному дому и увидел, что одна из состоявших под наблюдением в этой группе женщин вышла со двора в платке и направилась в вблизи находившийся магазин съестных припасов. Г. быстро и незаметно снял шляпу и пальто, и когда женщина возвращалась с покупками обратно, он с противоположной стороны улицы направился в то же время во двор дома. Манёвр этот удался, так как женщина, по-видимому, не обратила на Г. никакого внимания, предположив, что это —

квартирант, вышедший, как и она, из дому на несколько минут, по делу. Между тем Г. с безразличным видом направился по той же лестнице вслед за женщиной, но только поднялся этажом выше и таким образом установил квартиру, в которую она вошла. В этой квартире был произведён обыск и обнаружена хорошо оборудованная типография, в которой печатались распространявшиеся в большом числе революционные воззвания.

Находчивость проявил и другой филер, когда однажды в Кишинёве наблюдал за приезжим партийным деятелем. Как-то следуя за последним по одной из нелюдных улиц, филер заметил, что наблюдаемый остановился и, прочитав какую-то записку, разорвал её на мелкие клочки, которые тут же бросил на мостовую. Тогда филер на ходу, заинтересовав деньгами случайно находившегося вблизи уличного мальчика, чтобы он собрал с земли все кусочки порванной бумаги, продолжал слежку. К вечеру мальчик принёс свою находку в охранное отделение. Записка была полностью восстановлена и оказалась серьёзного содержания, с двумя адресами, послужившими в результате к выяснению группы террористического характера.

Иногда в интересах дела приходилось, так сказать, «проваливать» наблюдение, т. е. приказывать вести слежку так, чтобы наблюдаемый его заметил. Как-то в Одессе одна еврейка, сама по себе незначительная и неинтеллигентная партийная работница, сильно мешала в продолжение значительного времени выяснению интересовавших охранное отделение лиц. Она служила «связью» между этими неизвестными и передавала от одного другому конспиративные сведения, благодаря чему члены группы не имели надобности встречаться или бывать друг у друга, а потому оставались невыясненными. Пришлось изыскать такой способ, который заставил бы партийных деятелей выйти на улицу и выявить свои взаимоотношения, оставляя в стороне в то же время обыск и аресты, которые могли бы «спугнуть» выясняемых. Филерам с этой целью было указано вести наблюдение «вплотную» за еврейкой, чего она не могла не заметить. Этот приём увенчался успехом, так как, видя вблизи себя, на разных улицах, одних и тех же лиц, она сократила свои визиты, а на второй день к вечеру, утомлённая бесплодным хождением по городу под явным преследованием агентов, отправилась на вокзал и даже без багажа выехала в Кишинёв. Она сделала то, что для успешного розыска было нужно.

Означенные примеры хотя и незначительны, но показательны, насколько быстро должен соображать и

действовать филер в некоторых случаях. В последующих главах деятельность филеров будет представлена более живо.

Масса раненых, замученных и убитых филеров во время их повседневной службы не останавливала их сослуживцев от продолжения работы с явной опасностью для жизни.

Многие филеры работали долгие годы, быстро старясь и расшатывая своё здоровье, причём самый незначительный процент из них уходил для подыскания себе иного занятия.

Каждый человек свыкается со своей профессией, таков уж закон природы. Филеры выступали и на суде в качестве свидетелей, устанавливая встречи и знакомства обвиняемых.

В России по охранным отделениям прошли в наружном наблюдении тысячи лиц. Оно велось главным образом за террористами и их связями, затем за работавшими в подпольных партийных предприятиях, будь то: комитеты, тайные типографии, фабрики разрывных снарядов и т. д. Лица, встречавшиеся с наблюдаемыми, то брались в слежку до выяснения отношения их к «работе».

Лицо находилось в наблюдении и несколько дней, и длительные периоды в зависимости от его значения для розыска, отношения к партийной работе и времени ликвидации обследуемой группы.

За каждым наблюдаемым назначалось не менее двух филеров. За центральными фигурами и более, ибо «обставлялись» вокзалы, пристани, квартиры и т. д., дабы «не потерять» таких лиц.

У публики сложилось представление, что филеров было так много, что молва считала их в больших городах сотнями, а в столице даже тысячами.

Во всей России было тысяча с небольшим агентов наружного наблюдения — и число их в губерниях колебалось от 6 до 40 человек, причём последняя цифра относится к крупным центрам. В столицах в ежедневном наряде было от 50 до 100 человек.

В это число не входят команды, существовавшие для охраны Императора, министров и некоторых других лиц. В настоящее время большевики публикуют обширный материал о работе этих команд, почему я впоследствии имею в виду говорить о них подробно.

Что же касается филерского наблюдения за границей, то, принимая во внимание, что иностранные державы не имеют права вести розыска, там наружное наблюдение осуществлялось весьма секретно и частным образом, сводясь к выяснениям отдельных лиц и сопровождению, обыкновенно: транспортёров, террористов и пропагандистов, при поездках их по железным дорогам и

пароходам. Но это удавалось весьма редко. На всю Европу было всего несколько человек филеров, число которых иногда увеличивалось для исполнения особых задач присылкою из Петербурга необходимого числа этого рода агентов.

Предположение, что в филерской «слежке» у большевиков теперь находятся все эмигранты, занимающие более или менее видное положение, неверно, так как технически это невыполнимо, и, кроме того, несомненно, за их деятельностью и связями ведётся более рациональное и широкое наблюдение внутренней агентурой (секретными сотрудниками), на что и указывают материалы, помещаемые в «Правде» и «Накануне»[201], а равно и устные сведения. Необходимо быть весьма осмотрительным в разговорах вообще, а с новыми лицами в особенности[202].

Глава 5
Конспиративные квартиры

Конспиративными квартирами называются такие, на которых происходят свидания руководителя политическим розыском с «секретными сотрудниками». Они нанимались в разных частях города и возможно чаще менялись. На более старой квартире принимались сотрудники новые и «непроверенные», затем на других уже испытанные, но не особенно серьёзные, и только адрес третьих квартир предоставлялся нескольким серьёзным сотрудникам, в отношении которых принимались особые меры предосторожности в смысле предохранения их от разоблачения.

Места свиданий с секретными сотрудниками было интересно выяснить тем, кто являлся объектом розыска, а потому начальник розыска брался ими, в свою очередь, в наблюдение. Иногда это удавалось, и тогда конспиративная квартира подвергалась наблюдению со стороны революционеров. Чтобы этого избежать, вход в конспиративную квартиру и прилегавший к ней район «проверялись» хозяином квартиры и таким образом устанавливалось, нет ли контрнаблюдения. При свиданиях требовалась большая осмотрительность, и её нарушение влекло за собой непоправимые последствия и даже неоднократно убийства заведывающих розыском. Квартира находилась в ведении испытанного служащего, обыкновенно отставного филера. Ключ от квартиры мог быть только у него. Он обыкновенно встречал на улице как секретных сотрудников, так и лицо, ведущее розыск; отдельно провожал их в квартиру и выпускал на улицу. Тут же наблюдалось, чтобы не могло произойти случайной встречи между секретными сотрудниками, хотя часы свидания им всегда назначались в разное время.

Вот примеры последствий неисполнения изложенного.

Начальник Петербургского охранного отделения полковник Карпов, не разобравшись, что некий Петров подослан революционерами для убийства, принял его предложение работать в охранном отделении в качестве секретного сотрудника. Скоро Петров вошёл в доверие к Карпову, и последний дал сотруднику ключ от конспиративной квартиры. Петров, воспользовавшись этим, а равно и тем, что на этой квартире не было «хозяина», провёл провода электрического звонка к ящику с динамитом, поставленному им под диван, на котором обыкновенно сидел Карпов при свидании с Петровым.

Карпов явился и действительно сел на диван, а Петров, замкнувши электрический ток, удалился. Произошёл взрыв, Карпову оторвало обе ноги, и он тотчас же умер. Что же касается Петрова, то дворник дома, услышавши взрыв, задержал его «по подозрению» и передал властям.

По приговору суда Петров был повешен.

В 80-х годах, вопреки правилам, заведывающий политическим розыском в С.-Петербурге полковник Судейкин имел конспиративную квартиру у секретного сотрудника Дегаева. Последний вскоре был заподозрен своими товарищами, которые, как в искупление вины, потребовали от Дегаева убийства Судейкина. Это и было исполнено первым, когда второй пришёл к нему на квартиру[203].

Дегаев скрылся в Америку, где он и проживал до последнего времени, состоя профессором.

Подобные случаи были зарегистрированы и в других розыскных органах.

Глава 6
Элементарные приёмы конспирации вообще и у большевиков в частности

Все политические группировки, покушавшиеся на существовавший государственный строй путём заговора, соблюдали конспирацию как основное начало, т. е. в работу посвящались лишь причастные непосредственно к тому или иному действию. Лица высших организаций появлялись в низших всегда под псевдонимами, которыми вообще широко пользовались в революционной работе. Особое внимание обращалось на переписку, о серьёзных делах, распоряжениях, адресах и партийных предприятиях излагалось осторожно условными выражениями, шифром и химическим текстом. Активные работники зачастую жили по нелегальным паспортам,

для корреспонденции своими квартирами не пользовались, почему она им направлялась на адреса лиц, стоящих вне подозрения («чистые адреса»).

Вели они замкнутый образ жизни, избегали излишних встреч друг с другом, постоянно следили за собой во время разговоров и обращали серьёзное внимание, чтобы на случай обнаружения их работы полицией при производстве обыска не было бы уличающего материала против них и их товарищей. Адреса, переписка и литература хранились в самых скрытых и подчас невероятных местах: за плинтусами, в стенах, в уборных, прикреплялись снизу под сиденьями и т. п. Зачастую адреса отмечались и на стенах под видом цифровых хозяйственных записей. Кроме того, активные работники всегда старались убедиться, нет ли за ними наружного наблюдения, для чего «проверяли» встречных, как идя по улице, так и находясь у себя дома. На случай ареста или прихода в квартиру полиции обыкновенно в окне выставлялся условный знак, запрещавший туда вход (лампа или какой-либо другой предмет), спускалась или поднималась занавеска, принимала определённое положение ставня и т. д.

На случай ареста революционеры знали азбуку, введённую ещё Рылеевым, при помощи которой, перестукиваясь, арестованные сообщались между собою. Эта азбука состоит из 30 букв, помещённых в шести рядах и пяти колонках. Число первых ударов указывало ряд, число вторых — колонку, пересечение давало букву[204].

Конечно, самое существенное дело в конспирации — это сокрытие текущей работы партий и организаций, а равно и способов её осуществления.

Одним из наиболее надёжных способов сокрытия работы от розыска было исполнение задуманного дела отдельными, друг друга не знающими группами. Централизация достигалась общением только групповых выборных, которые по восходящей линии представляли собою районные, городские, областные, центральные комитеты и, наконец, съезды. Верхи партий почти всегда находились за границей, и сношениями с ними координировалась вся работа. Только вне досягаемости русской власти допускалась централизация материалов партий, да и то по отделам; на местах же письменный материал доведён был до минимума и преимущественно [был] зашифрованным, но нет ещё такого шифра, который нельзя было бы расшифровать.

Ведение адресных реестров было всегда недопустимо. При таком порядке со стороны исполнителей требовалось много выдержки, добровольного, сознательного и беспрекословного

подчинения, чем и отличались русские революционные организации; поэтому при ликвидациях обыкновенно гибла только часть или одна группа партии, которую при существовании целой системы организаций воссоздать было нетрудно. Незнакомство с конспирацией и техникой организации влечёт за собою провал подпольного дела, на что и указывают дела, столь нашумевшие в России, — Щепкина, Таганцева и других. Доверившись малоизвестным и «непроверенным» лицам, Таганцев допустил их к глубокой организационной работе, вследствие чего они имели возможность узнать адреса членов группы и их настоящие фамилии, а также план деятельности, почему и выдали всю организацию полностью. После ареста Таганцев дал откровенное показание советским следователям, чем уличил всех своих сообщников, которые вместе же с ним и были расстреляны, в числе до 100 человек.

Такая же участь в Москве постигла организацию Щепкина, когда было убито свыше 300 человек, преимущественно офицеров, входивших в эту организацию.

Что же касается мелких антисоветских групп, то большинство из них разоблачается большевиками в первоначальной стадии организационной работы, опять-таки вследствие неопытности инициаторов и неисполнения ими основных требований конспирации. К этому следует добавить, что бывшие революционеры из-за конспиративных соображений почти всегда отказывались от дачи показаний на допросах.

Ранее это проводилось ими даже как правило, а в последнее время этот обычай очевидно забыт.

Не менее конспиративным было умение обойти закон путём использования для революционных целей «легальных возможностей», что важно главным образом для пропаганды. Союзы, библиотеки, фабричные школы и иные общественные организации приноравливались к целям революционных и оппозиционных партий. Скрытая тактика лидеров революционного движения была подчас так разработана и конспиративна, что правительственная власть, учитывавшая весь вред длительной оппозиционной работы, в то же время не могла квалифицировать ни одного из проявляемых таким образом действий по какой-либо статье закона и часто становилась в беспомощное положение. Таким путём и создавалась оппозиция, угрожавшая существовавшей власти.

К слову сказать, такое явление наблюдалось и наблюдается теперь и в других государствах.

До революции 1917 года в России самыми конспиративными

партиями являлись те, которые создавались на национальных началах. Религия, народность, быт, национальная психология и воспитание спаивали сильнее, чем только доктрины классовой борьбы. Из среды таких образований чрезвычайно трудно было приобретать серьёзных секретных сотрудников, как равно и работать с ними было весьма тяжело, так как они должны были быть весьма сдержанными и осмотрительными. Национальные партии относились весьма чутко к неудачам своих предприятий, и в таких случаях у них всегда являлись опасения, нет ли в среде «провокатора», а потому старались ещё тщательнее подвергнуть проверке друг друга и усугубить конспирацию. В случае же обнаружения «сотрудника розыска» он предавался смерти, иногда даже при невероятных обстоятельствах.

Особое внимание своею конспирацией и интенсивной работой обращали на себя 1) еврейская партия «Бунд»[205], 2) армянская «Дашнакцютун»[206] и 3) Польская социалистическая партия (революционная фракция).

Меньшевики Российской социал-демократической рабочей партии слишком разбрасывались в своей деятельности, и группировки их являлись менее конспиративными, вследствие чего легко и скоро разоблачались. Социалисты-революционеры также особой конспирацией не отличались, за исключением их боевых выступлений, направленных к совершению убийств должностных лиц и ограблению казначейств, банков, касс и тому подобного

Из современной действительности следует отметить, что конспирация, проявляемая большевиками, является весьма поучительной. Наглядно это подтверждается словами одного из видных деятелей советской клоаки, некоего Лозовского, который фигурировал во Франции и в качестве нелегального пропагандиста, и в качестве полномочного лица. В своей брошюре «Рабочая Франция», издания 1923 года, Лозовский описывает своё путешествие в 1922 году из России во Францию через Берлин. Предоставим ему слово[207]:

> «Наконец, — говорит автор, — некоторые технические затруднения были улажены, я перевёл свою внешность на французский язык, получил (в Берлине) в Бельгийском консульстве визу и под именем Макса Веллера, гражданина французской республики, отправился в Париж через Брюссель.
>
> Я уехал из Парижа, — продолжает Лозовский, — более пяти лет тому назад, в начале мая 1917 года. Мой

отъезд не обошёлся гладко. Когда разразилась русская революция, то союзники в первую голову пустили в Россию социал-патриотов. Первыми отправились в Россию Алексинский, Плеханов, Авксентьев и другие. Нас, издававших в Париже интернационалистические органы, было решено не пускать в Россию. Уже в марте я обратился за разрешением, но мне в префектуре открыто сказали, что паспорта не дадут, а почему — я сам должен знать. Я действительно сам знал, но так как я не имел ни малейшего желания просидеть русскую революцию в Париже, то прибёг хотя и к своеобразному, но действительному средству, чтобы получить разрешение. Я начал посещать ежедневно социалистические и профессиональные собрания и выступать с докладами о русской революции. Я не пропускал ни одного случая, чтобы не выступить, причём подробности о происходивших в России событиях вызывали в парижских рабочих такой энтузиазм, что французское правительство решило из двух зол выбрать меньшее, т. е. выдать мне паспорт и разрешить отправиться через Англию в Россию.

Я въезжал в Париж, где оставил столько друзей и единомышленников, с которыми работал во время войны. Я мечтал о том, как я пойду на Биржу труда, где в течение двух лет состоял секретарём одного синдиката, как отправлюсь в дом Всеобщей конфедерации труда и вообще окунусь в знакомый мне синдикальный воздух. Но вдруг я вспомнил, что я — собственно не я и что мои похождения могут носить довольно ограниченный характер. Я так размечтался, что забыл, как меня зовут и когда и где я родился. Я лихорадочно начинаю рыться в своём кармане, вытаскиваю свой паспорт с необходимым количеством виз и штемпелей и вижу, что зовут меня Макс Веллер и что я — промышленник, владелец крупных автомобильных заводов.

Со мною несколько раз случалось, что я вдруг забывал своё имя, день рождения и другие подробности. Поэтому, сидя в вагоне, я бесконечное число раз повторял в уме своё имя, старался запомнить, что родился в сентябре 1884 года и т. д. Это не так просто, как может показаться с первого раза, потому что, будучи в Германии, я родился совсем в другом году и в другом месяце, а так как мне пришлось заново родиться в течение 2–3 дней, то неудивительно, что в голове

происходит на этот счёт некоторая путаница.

Вдруг под самым Парижем мне показалось, что какой-то господин слишком внимательно начал на меня заглядываться. Со мною из Брюсселя ехал товарищ-бельгиец, провожавший меня до Парижа. Мы сидели в разных купе, иногда во время дороги нечаянно встречались у окна и рассматривали пейзажи. Перед самым приездом, когда я вновь случайно встретился с ним, я ему между прочим сказал, что лучше будет, если мы будем выходить поодиночке, причём каждый поедет в другую сторону, ибо, если любопытный господин интересуется мною, то бельгийцу, во всяком случае, проваливаться незачем. Если я благополучно выберусь с вокзала, значит, первая партия выиграна. Вот поезд подходит к вокзалу, и я с совершенно независимым видом выхожу на платформу, врезываюсь в толпу, беру автомобиль и говорю шофёру — на Рю Реомюр, поближе к фондовой бирже.

Итак, я — промышленник и коммерсант. Положение, как известно, обязывает. Для того чтобы администрация отеля знала, что у неё живёт человек благонамеренный, я сейчас же по приезде заказал через контору, чтобы мне по утрам доставляли «Матен» и «Пти Паризьен». У себя в комнате я не держал ни одной коммунистической и даже социалистической газеты, а монархическую «Аксион Франсез» оставлял на виду в своей комнате. Для того чтобы моя благонамеренность и моя любовь к французскому отечеству была вне всякого сомнения, я купил несколько антибольшевистских брошюр, заручился парочкою французских немцеедов, положил на стол коллективный труд Рафаловича и другие на французском языке «О русском государственном долге», раздобыл прейскуранты автомобильных фирм, подчеркнул некоторые цены красным карандашом и привёл таким образом в необходимый порядок комнату, — так что всякая отельная крыса, сунувшая свой нос в мой номер, должна была заключить, что здесь живёт истинный добрый патриот.

Затем я занялся организациею квартиры, где я мог бы спокойно проводить вне отеля время, читать необходимую мне литературу и вообще заниматься. Такая квартира находилась около площади Италии, и туда я отправлялся регулярно по утрам. Это была квартира адвоката, к которому я являлся в качестве

помощника. Когда нужно было организовать особо конспиративное свидание, адвокат сам брался за это дело, а обычно в моём распоряжении был товарищ, который связывал меня со всем коммунистическим и синдикальным миром»[208].

Часть II

Глава 8
Плеве и его сотрудники

В 1903 году в Кишинёве начался известный процесс о погроме[209]. Обвинялись типичные уличные хулиганы. Защитником выступал известный Шмаков. Гражданские истцы были представлены целым созвездием тогдашней адвокатуры. Во главе их Карабчевский, впоследствии правее правого, Соколов, автор приказа № 1 (о неотдании чести солдатами офицерам и пр.), Зарудный, впоследствии министр юстиции при Керенском, Переверзев, Грузенберг, Винавер и др. Председательствовал сенатор Давыдов.

Центр тяжести дела лежал не в погромщиках, а в общем положении евреев в России. Атмосфера создавалась тяжёлая, стороны еле-еле сдерживали, прорывались, останавливаемые председателем. Под конец гражданские истцы ушли, передав всё дело частному поверенному.

Между прочим, Карабчевский считал неприемлемым для правосудия присутствие в зале суда начальника охранного отделения. По этому поводу даже были дебаты, ничем не закончившиеся. Тогда же в охранное отделение были доставлены анонимные угрозы, полученные как гражданскими истцами, так и Шмаковым. Обе стороны просили охраны безопасности их личности.

Кишинёвский процесс был известен всему миру. Но в литературе того времени не имеется и десятой доли действительности.

Всё преувеличено и неправильно освещено.

После кишинёвского погрома вся местная администрация была заменена новыми лицами.

Вопреки различным сообщениям, якобы ушедшие получили высшие назначения, следует констатировать, что это неправда. Губернатор, фон Раабен, был причислен к Министерству внутренних дел в качестве заштатного чиновника с окладом 2800 руб. вместо 12.000 в год, которые он получал по своей прежней должности. Полицеймейстер Ханжонков, как казак, зачислен был по своему войску на оклад 22 руб. в месяц, и, наконец, начальник охранного отделения ротмистр барон Левендаль был отчислен от Корпуса жандармов и уволен в запас. Впоследствии, по окончании процесса по Кишинёвскому делу,

новый губернатор князь С.Д. Урусов принял Левендаля на службу на небольшую должность по уездной полиции. Кроме того, за попустительство и бездействие власти начальник кавалерийской дивизии генерал Бекман был отставлен от кандидатуры на Корпус.

По обсуждении создавшегося положения министр внутренних дел В.К. Плеве представил к назначению бессарабским губернатором вышеупомянутого кн. Урусова, впоследствии подписавшего Выборгское воззвание[210], в качестве члена 2-й Государственной думы, а при Временном правительстве товарища министра внутренних дел. Полицеймейстером был назначен рижский полицеймейстер Рейхарт, а начальником охранного отделения — ротмистр П.П. Заварзин (автор этих строк).

В С.-Петербурге после назначения я представлялся Плеве, который дал ряд указаний, смысл каковых сводился к следующему:

— Закон о государственных преступлениях, проведённый в новом Уголовном уложении стремится сконцентрировать работу розыскных органов и судебных властей на более серьёзных государственных преступлениях и сообществах. «Административная переписка», по существу, должна быть строго обоснованной, так как один недовольный и обиженный создаёт десять враждебно относящихся к правительству. Всякая незаконность и бездействие власти — показатель слабости правительственных агентов и их дискредитирует. События в Кишинёве, как совершенно недопустимые, осложнили положение. Губернатор и Вы должны работать согласно и, защищая свои права, ограждать безопасность населения.

Несколько сухой, но ясный в своих выражениях и мыслях, Плеве производил впечатление человека волевого, благородного и фанатика своего долга. Импонировала и его представительная наружность — высокого роста пожилой мужчина с седыми волосами и усами, бритый, с энергичными чертами лица и проницательными, устремлёнными на собеседника глазами. Сознавая, что рано или поздно он будет сражён пулей или бомбой революционера, Плеве относился ко всякого рода охранам определённо скептически, и действительно в 1904 году он был убит бомбой, брошенной в него Сазоновым.

Приблизительно за год до этой катастрофы Плеве ездил на панихиду по убитом социалистом-революционером Балмашевым своём предшественнике, Сипягине, в Александро-Невскую лавру.

Нормально он должен был проезжать мимо «Северной гостиницы», по Знаменской площади, против Николаевского вокзала. Социалисты-революционеры это учли, и террорист

Покотилов со своим товарищем заблаговременно поселились в этой гостинице. Однако накануне Покотилов, приготовляя ударное приспособление к снаряду, допустил какую-то неосторожность, снаряд взорвался и оказался такой силы, что убил и самого Покотилова и превратил в руины занятую им комнату; даже балки были обращены в щепки. Труп Покотилова был обезображен до неузнаваемости и обуглен, а в стиснутых его зубах находилась монета копейка, которая должна была служить грузиком в ударнике.

Вся работа социалистов-революционеров в этом деле была настолько конспиративна, что у местного охранного отделения не только не было сведений о готовящемся террористическом акте, но и личность Покотилова была установлена лишь впоследствии по пуговицам одежды и аптечному рецепту.

При Плеве директором Департамента полиции был А.А. Лопухин, самый молодой из сановников, бывший прокурор судебной палаты, человек выдающихся способностей и огромной памяти. Невольно приходит на ум вопрос, могли Плеве, избравший себе в сотрудники Лопухина и Урусова, быть организатором погромов? А между тем вся революционная пресса, как в России, так и за границей, сделала из него «погромщика».

Тщательный просмотр при Временном правительстве всех секретных документов Департамента полиции, Министерства внутренних дел и охранных отделений не дал ни одной бумаги, которая могла бы компрометировать старую власть в этом отношении. Наоборот, там были найдены указания на строгие кары, отрешения от должностей и даже увольнения за всякое незаконное действие исполнительных агентов в еврейском вопросе.

Вся острота еврейского вопроса заключалась в тяжёлых ограничительных законах, а не в погромах.

В то время ближайшим лицом к Лопухину и даже Плеве был заведовавший особым политическим отделом Департамента полиции С.В. Зубатов, человек не только безусловно сильный, но даже представлявший собою исключительную личность.

Выйдя из гимназии, Зубатов поступил на службу в Московское охранное отделение чиновником и, заинтересовавшись розыскным делом, стал изучать революционный вопрос во всей его широте, а также и возможности противодействия в этом отношении. В течение трёх лет Зубатов был одним из весьма немногих правительственных агентов, который знал революционное движение и технику розыска. В то время политический розыск в империи был

поставлен настолько слабо, что многие чины его не были знакомы с самыми элементарными приёмами той работы, которую они вели, не говоря уже, об отсутствии умения разбираться в программах партий и политических доктринах. Зубатов первый поставил розыск в империи по образцу западноевропейскому, введя систематическую регистрацию, фотографирование, конспирирование внутренней агентуры и т. п. Он ясно представлял себе опасность разрастающегося влияния марксизма в рабочей среде и космополитизм в русской интеллигенции и общественности.

Здоровой русской национальной организации в России не было, и мечтой Зубатова было дать толчок к её созданию. Исходя из этого, он остановился на мысли легализовать в рабочей организации минимум политической и экономической доктрины, проводимой социалистами в своих программах, но на основах Самодержавия, Православия и Русской Национальности.

Была создана даже ячейка этой «легализаторской работы», но, не имея успеха в практическом её применении, она провалилась, вызвав нарекания и противодействия со всех сторон, начиная от бюрократии и кончая социалистами. Первые отрицали жизненность влияния марксизма на русскую рабочую среду, последние же считали проведение такой организации в жизнь по меньшей мере опасной для себя.

Зубатов определённо держался того мнения, что самодержавие как олицетворение суверенной национальной власти исторически способствует прогрессу России.

«При Иоанне Грозном четвертовали и рвали ноздри, а при Николае II мы на пороге к парламентаризму», — часто говорил Зубатов.

Особое значение придавал Зубатов организованному им в С.-Петербурге отряду опытных филеров, который посылался в провинциальные города. Отряд, называвшийся летучим, возглавлялся чиновником или жандармским офицером из числа подготовленных и инструктированных лично Зубатовым. Эти отряды на местах производили разработку агентурных сведений, поступавших к Зубатову преимущественно от сотрудников, освещавших центры партий.

Попутно с работой летучих отрядов, по представлению Зубатова, в крупных провинциальных городах организовывались охранные отделения, в общежитии известные под названием «охранок». Эти учреждения имели непосредственную связь с Департаментом полиции и являлись как бы автономными в отношении местных жандармских управлений, губернаторов и даже командира Отдельного корпуса жандармов, если он

одновременно не совмещал в себе должности товарища министра внутренних дел.

В качественном отношении розыск был действительно поднят, но создание таких охранных отделений внесло непрерывные трения с жандармскими управлениями, почему постепенно с уходом Зубатова эти отделения вливались в жандармские управления в виде отделов, всецело подчинённых начальникам управлений.

В первый день революции 1917 года Зубатов застрелился.

Глава 9
Броненосец «Потёмкин-Таврический» в Одессе

В 1905 году революционные партии развили свою агитационную деятельность в обширных размерах в армии и во флоте, прекрасно учитывая, что восстание в войсках лишит правительство возможности активно противодействовать осуществлению столь желаемой социалистами революции.

Эта упорная работа принесла скоро плоды.

На одесском рейде стоял броненосец «Потёмкин-Таврический», команду которого в течение долгого времени пропагандисты-социал-демократы снабжали подпольною литературою и на тайных собраниях разъясняли программы партий и их задачи. Главным руководителем в этой области являлся весьма шустрый и суетливый Фельдман.

В результате по ничтожному и к тому же ложному поводу среди команды броненосца возникло недовольство, которое под влиянием наиболее «сознательных» матросов перешло в брожение и закончилось бунтом. Матросы перебили и выбросили в море почти всех офицеров, и оказавшийся всецело в распоряжении мятежного экипажа броненосец выкинул красный флаг и стал в порту угрозою мирному городу.

В Одессе спокойная ранее жизнь была нарушена: в рабочих кругах города агитаторы усиленно старались поднять массы. Социалисты-революционеры, стремившиеся терроризировать полицию и войска, начали бросать разрывные снаряды в отдельные воинские и полицейские наряды.

Парализовать и предупредить такие жестокие эксцессы местные власти своевременно не могли, так как не были достаточно осведомлены, за отсутствием секретной агентуры, о партийных замыслах и о месте нахождения бомб и оружия.

В этом случае жандармским властям помогло перехваченное письмо, автор которого рекомендовал адресату отправиться на Средний Фонтан (предместье города Одессы), найти там дачу

№ 102 и «получить орехи».

В общем, письмо было составлено весьма неискусно, можно было думать с большою вероятностью, что означенный адрес относится к фабрике разрывных снарядов.

Не терпящее отлагательств общее положение и отсутствие других средств к выяснению технической организации заставило проверить без промедления указания, содержавшиеся в означенном письме. Решено было произвести на этой даче обыск.

В городе начались беспорядки. Огромное зарево горевшей эстакады железной дороги освещало небосклон. Хулиганы в разных кварталах безнаказанно взламывали магазины и склады, откуда грудами выносили товары. Особенно привлекали внимание громил винные лавки. Опьянённая, озверевшая чернь бросилась в порт и начала поджигать стоявшие там пароходы. Везде раздавались сухие звуки отдельных выстрелов и залпов войск, в ответ стреляли из окон.

Перед рассветом к упомянутой даче пешком направился значительный наряд полиции и жандармов. Ему даны были указания во всё время пути быть наготове и решительно отразить возможное нападение, а во время обыска, если будет оказано вооружённое сопротивление, не терять самообладания, так как малейшее замешательство могло повести к тому, что революционеры воспользуются промедлением и начнут метать бомбы.

Инструкции были выслушаны с большим вниманием чинами наряда, в который вошли ввиду серьёзности дела, исключительно «охотники».

Наряд подходил уже к цели своего назначения.

В этой пригородной местности всё было спокойно, на улицах никого не было, и только лай потревоженных дворовых собак усилился, что могло привлечь внимание к идущему отряду. Вследствие этого весь наряд был отведён в сторону, а двое городовых были направлены в противоположный даче пустырь, для отвлечения на них собак; таким образом отряд получил возможность тихо приблизиться к дому.

Спокойно и незаметно люди вошли в усадьбу и оцепили дачу. Взломать входную дверь и ворваться в квартиру было делом одного момента. Тотчас же чины отряда заняли все три комнаты и арестовали не ожидавших столь быстрого манёвра обитателей дачи Вайнштейна и Бианку. Последних немедленно увели в сад во избежание каких-либо с их стороны агрессивных действий.

В квартире оказалась хорошо оборудованная тайная типография с готовым уже набором прокламации. Вместе с тем было обнаружено много кусков жести, жестяных коробок, а также

два разрывных снаряда и около пуда динамита. Руководивший обыском обратил внимание на то, что нигде в этом помещении или поблизости не было найдено запалов, т. е. тех необходимых принадлежностей, без которых даже вполне снаряженная бомба не может дать взрыва.

Это заставило предположить, что где-то находилась другая «техническая» квартира. Но где именно? Её нужно было установить возможно скорее, так как весть о захвате властями подпольной печатни могла получить распространение, а тогда запалы и другой «материал», естественно, могли ускользнуть.

Конечно, ни Бианка, ни Вайнштейн никаких показаний не дали.

Без всякого промедления были опрошены соседи, прислуга, но полезных сведений не удалось получить. Пришлось тут же на месте заняться рассмотрением отобранных рукописей и корреспонденции, в которой, между прочим, был отмечен адрес: «Гаванная 7, Гальперин». В связи с другими, уже имевшимися секретными данными этому адресу было придано особое значение, и тотчас же несколько чинов отряда отправились на Гаванную улицу. Оказалось, что часть квартиры Гальперина была отведена под торговую контору.

Чтобы не привлекать внимания прохожих, стоявшие у дома № 7 экипажи были отпущены, и с внешней стороны ничто не показывало, что в доме производится обыск, к тому же приходившие к Гальперину лица находили дом таким, как всегда, и не знали о засаде.

Всего было арестовано 17 пришедших в квартиру, у которых были сделаны, в свою очередь, обыски, давшие в некоторых случаях уличающие данные.

В помещении Гальперина было найдено несколько разрывных снарядов, по форме и весу совершенно тождественных с обнаруженными у Вайнштейна бомбами. Там же оказалось и несколько десятков паспортных книжек и бланков, похищенных из различных учреждений, масса медных и мастичных печатей, оттиски которых были сделаны на некоторых находившихся в квартире видах на жительство. Всё это доказывало, что Гальперин является и главою паспортного бюро.

Из расспросов Гальперина было выяснено, что он служит в банкирской конторе Ашкинази. Отправившийся туда жандармский офицер обнаружил в рабочей комнате Гальперина, находившейся рядом с кабинетом хозяина банка, ещё одну снаряженную бомбу.

Накануне же, на площади, вблизи конторы Ашкинази, к слову сказать вполне лояльного человека, неизвестным

злоумышленником был брошен в воинский отряд разрывной снаряд, причинивший тяжкие поранения 22 казакам.

При дальнейшем обследовании сношений и связей Гальперина была обнаружена вся организация, с задержанием членов которой прекратились временно и террористические эксцессы.

Действие описанных снарядов было поистине ужасное. Начиненные динамитом до 10 фунтов каждый, они вызывали в районе их метания невероятное сотрясение воздуха, стёкла в домах разбивались на далёком расстоянии, а оказавшихся вблизи людей калечило до неузнаваемости. В земле же на месте падения бомб обыкновенно образовывались воронки, доходившие в диаметре до одного метра.

Не щадили снаряды и метальщиков — многие из них погибли, разорванные буквально в клочки. Но фанатизм террористов не знал пределов. Лозунгом их была месть чинам администрации.

Прошло немного времени, и в Одессе вновь организовалась боевая группа, осуществившая несколько кровавых дел.

Был убит пристав Панасюк и ранены полицеймейстеры Гесберг и Головин. В помещении жандармского управления, где мною производилось дознание по этому делу, в дымовую трубу была опущена бомба, взрыв которой причинил значительные разрушения, но, по счастливой случайности, раненых не оказалось.

Эта последняя террористическая группа была настолько конспиративна и осмотрительна, что многие из её членов успели скрыться и были обнаружены лишь впоследствии.

Глава 10
Тайная типография

Секретный сотрудник под псевдонимом «Сальто»[211], приехавший в город Ростов-на-Дону с письмом жандармского офицера из Керчи, заявил, что социал-демократы заняты устройством тайной типографии в Ростове.

Кто будет принимать участие в этом деле, сотрудник не знал, но он, присутствуя на собрании керченского городского коллектива, во время обсуждения деятельности ростовской группы слышал, как один из присутствующих назвал фамилию Залкинд в связи с отпуском денег на устройство этой типографии.

Произнёсший эту фамилию был тотчас же остановлен председателем собрания, высказавшим порицание за такую неосторожность.

Отрывочные и краткие сведения сотрудника были учтены, и тотчас же было приступлено к их разработке. По наведённым справкам оказалось, что в г. Ростове проживает восемь человек, носящих фамилию Залкинд, причём трое из них значились зарегистрированными в охранном отделении по подозрению к причастности к тайным политическим организациям. За последними тремя и было учреждено наружное наблюдение, которое с первых же дней выяснило, что двое из них, имея определённые занятия, поддерживают лишь коммерческие, торговые и родственные связи, тогда как третий Залкинд держит себя подозрительно: останавливается на углах и у витрин, оглядывается по сторонам, иногда на пути поворачивается и идёт в противоположном направлении — словом, проделывает такие приёмы, которые свойственны «деятелю», желающему убедиться, нет ли за ним филерской слежки.

Сотруднику «Сальто» приблизиться к группе типографии не удалось, но зато местный сотрудник «Саша» отметил, что наблюдавшийся ранее по социал-демократической группе под кличкою «Быстрый» слесарь Иван Колесников в последнее время по нескольку дней отсутствует из своей квартиры. Накануне он прибегал к своей матери, вручил ей деньги и просил о нём не беспокоиться, если он иногда подолгу не будет возвращаться домой. К этому «Саша» добавил, что ему, бывшему наборщику, вполне ясно, что Колесников работает в печатне, так как руки его носят специфические следы типографской краски.

Обоим названным секретным сотрудникам, естественно не знавшим о тайной работе друг друга и встречавшимся со мною на разных конспиративных квартирах, были даны указания: не входить в дальнейшую связь с людьми, близко стоявшими к оборудованию типографии. Сделано это было для того, чтобы они были в стороне от организационной активной работы.

Залкинд заметил за собой слежку, и его стали «терять» из наблюдения — он начал часто менять места своих ночёвок, скрывался в толпе и пользовался постоянно трамваями и извозчиками. Тем не менее филер Филимонов высказал предположение, что тайная типография должна находиться где-нибудь в стороне от Таганрогского проспекта, по направлению к Нахичевани. Так он думает потому, что ещё в первое время наблюдения за Залкиндом последний вблизи указанной местности всегда усиленно озирался и проверял за собою, не следили ли за ним филеры. Вследствие этого агентам приходилось поневоле оставлять наблюдение.

Наступило такое положение вещей, что охранное отделение вынуждено было прекратить правильное и постоянное

наблюдение за Залкиндом, а в то же время Колесников никому из филеров на глаза не попадался. Тогда решено было наблюдать за линией направления, указанною Филимоновым, с тем чтобы при встрече там с Залкиндом осторожно его прослеживать.

Прошла неделя, Залкинда никто из агентов не встречал. Но вот однажды филер его неожиданно заметил, спокойно прогуливавшегося на Садовой улице. Со всеми предосторожностями филер стал следить и вскоре увидел, как Залкинд направился в сад, подошёл к сидевшему там рабочему, оказавшемуся Колесниковым, и, не здороваясь, наскоро что-то ему сказал, а затем возвратился к себе домой. Попытка филера пройти за Колесниковым не удалась, последний заметил за собою слежку.

Параллельно с этим было установлено наблюдение и за невестою Колесникова, с которой через несколько дней последний имел свидание на Соборной площади. По-видимому, свидание затянулось дольше предположенного времени, так как Колесников, справившись по часам о времени, спешно распрощался и торопливо стал удаляться. Вероятно, озабоченный опозданием, он по сторонам не оглядывался и дал себя проследить до одного небольшого дома, наружную дверь которого он открыл находившимся при нём ключом и вошёл туда.

По случайности напротив этого дома сдавалась внаймы квартира с двумя окнами на улицу. Комната немедленно была снята супругами Вечориными — в действительности филерами охранного отделения. Жена назвалась швеею и целые дни проводила за работой у окна, а муж отрекомендовал себя станционным служащим и носил железнодорожную фуражку. Порученная Вечориным задача состояла в выяснении, находится ли в противоположном доме типография или же там только проживает Колесников.

На пятый день непрерывного наблюдения, рано утром, Вечорины заметили из своего окна прогуливавшегося вблизи наблюдаемого дома Залкинда, который пристально и внимательно присматривался к редким прохожим и в течение четверти часа фланировал вокруг. Убедившись в отсутствии за собой слежки, Залкинд подошёл ко второму от входной двери окну наблюдаемого дома и два раза стукнул рукою по стеклу, а затем быстро перешёл на другую сторону улицы. Вскоре дверь была кем-то отперта, и Залкинд вошёл внутрь дома. Через два часа Залкинд вышел и направился к себе на квартиру, а некоторое время спустя замечен был выход и Колесникова, имевшего при себе значительного размера свёрток. Следивший за Колесниковым Вечорин отметил встречу Колесникова с его

невестою на той же Соборной площади, причём лица эти с осторожностью скрылись в подворотне находившегося вблизи большого дома. Через несколько минут Колесников отправился домой, а невеста появилась на улице со свёртком, которого раньше у неё не было, и направилась на Пушкинскую улицу к сапожнику, имевшему квартиру и мастерскую в подвальном этаже. Очень скоро молодая женщина снова показалась на улице, но уже без свёртка. Сапожника же разновременно в течение дня посетили четыре человека, которые не оставались у него более 5–6 минут.

Результаты описанного розыска дали совершенно понятную картину деятельности наблюдаемой группы: Колесников вынес из типографии отпечатанную им нелегальную литературу и через свою невесту передал её сапожнику для распределения между партийными представителями районов города.

Тогда решено было ликвидировать группу, установив в некоторых квартирах полицейские засады. Временем ликвидации был избран момент, когда Залкинд находился у Колесникова. В результате была обнаружена хорошо оборудованная тайная типография, помещавшаяся в комнате, в которой чины полиции застигли Колесникова и Залкинда. Кроме того, были найдены обширная литература и другие документы, вполне изобличавшие ещё некоторых лиц в принадлежности к ростовской группе Российской социал-демократической рабочей партии.

Итак, одно упоминание членом организации фамилии Залкинд — совершенно недопустимая в конспиративной работе неосторожность — привело к провалу партийного предприятия и аресту всей технической группы.

В числе советских служащих имеется несколько Залкиндов и среди них небезызвестный комиссар, работавший ранее в упомянутой ростовской тайной типографии. Представляется сомнительным, знает ли он то дело, которое ему теперь поручено в аппарате государственного управления, но вне всякого сомнения, что вопрос организации тайных сообществ и техника розыска их ему и ему подобным известны во всех деталях[212].

Глава 13
Немецкий шпионаж и двойное подданство

Из службы практики прошлого времени можно привести много примеров по делам шпионажа. Вот один из более характерных.

В Варшаве задолго до войны молодой человек, именовавшийся Розовым, служивший в складе фотографических

материалов, начал постоянно бывать в мелких ресторанах и пивных, которые находились вблизи штаба округа и посещались низшими его чинами. По натуре своей Розов был человек весёлый, бойкий, разговорчивый, и эти качества давали ему возможность легко знакомиться с неприхотливыми посетителями, которые находили удовольствие проводить время в его обществе. Лёгкости таких знакомств в большей мере способствовало и то обстоятельство, что Розов не был скуп на угощение, а небогатые завсегдатаи этих харчевен никогда не отказывались от предложений щедрого посетителя распить с ним бутылку-другую пива или стакан польского меда.

Но при кажущемся добродушии Розов преследовал свою определённую цель: его внимание было всегда особенно обращено на штабных писарей. Именно с последними он охотнее всего сходился и в весёлых пирушках старался, незаметно для собеседника, выяснить точно его место занятий, т. е. тот или иной отдел управления штаба.

Среди таких знакомств Розов чаще и чаще стал беседовать и присматриваться к писарю Федотову, в особенности после того, как узнал, что последний служит в военно-разведывательном отделе штаба.

Федотов был человеком очень осторожным и наблюдательным. Как тонко и искусно ни вёл с ним разговоры Розов, он из отдельных, с внешней стороны ничтожных, фраз вынес впечатление, что Розов неспроста ведёт компанию с ним и другими штабными чинами, а делает это в целях шпионажа.

После некоторых размышлений Федотов решил высказать свои предположения непосредственному своему начальнику. Последний отнёсся к докладу Федотова внимательно и вдумчиво, а затем сообщил обо всех изложенных обстоятельствах в Варшавское охранное отделение.

С этого момента началась деятельность розыскных чинов, которые учредили неослабное наблюдение за Розовым. Федотову же даны были мною указания не прекращать знакомства и встреч с его «приятелем». Впрочем, последнего распоряжения можно было и не делать, так как сметливость Федотова подсказала ему необходимость, в интересах успеха дела, продолжать дружбу и поддерживать добрые отношения с Розовым.

Таким образом, Федотов сделался фактически секретным сотрудником охранного отделения, но не «провокатором», как неправильно называли секретных агентов враждебно настроенные к правительственной власти социалисты.

Как-то случилось, что Розов, как бы находившийся в хорошем расположении духа, стал добродушно упрекать Федотова в том,

что последний никогда не приглашает его к себе в гости, а встречаются они только в кабаках. Этот разговор несколько озадачил Федотова, который вовсе не был склонен принимать заподозренного им случайного знакомого у себя в квартире, к тому же расположенной в казённом здании. Однако смущение Федотова продолжалось недолго, и он так же шутливо и добродушно отклонил желание Розова под предлогом запрещения начальства принимать мелким квартирантам гостей. Тем не менее вскоре Розов повторил своё намерение — побывать на дому у Федотова. На этот раз последний, сообразно полученным от охранного отделения инструкциям, сказал, что приглашает Розова не к себе, а в квартиру проживающей по Гожей улице своей двоюродной сестры, у которой можно очень весело провести время.

В действительности названная «кузина» по фамилии Макова состояла в Варшавском охранном отделении агентом-филером, причём ей давали иногда особые поручения.

Розов согласился, и Федотов их познакомил. Молодая, весёлая, интересная женщина произвела сразу впечатление на своего гостя, который весь вечер рассыпался в любезностях и просил перед уходом у хозяйки позволения чаще бывать в её обществе.

Макова в свою очередь заметила Розову, что она давно не встречала такого интеллигентного и воспитанного человека и что она после своих дневных занятий в качестве дактило-технической конторы, все вечера проводит в одиночестве дома, а потому с особым удовольствием просит бывать у неё чаще, чтобы вместе поболтать, посмеяться, поиграть в карты и таким образом приятно проводить длинные зимние вечера.

Быть может, Розов милым разрешением кузины Федотова несколько злоупотреблял, так как стал бывать у неё почти ежедневно. Но это обстоятельство стало вскоре вполне понятным, так как Розов был действительно шпионом.

В несколько дней умелыми разговорами Макова внушила Розову полное доверие к себе, а он, восхищённый своею новой знакомой, подарил ей золотые часы и браслет.

Тут же выяснилось, что эти щедрые подношения были сделаны не напрасно, так как Розов, вполне доверившись Маковой, прямо предложил ей добыть при посредстве Федотова секретный приказ по Варшавскому военному округу за № 74.

Естественно было волнение Маковой, как ей поступить. Она притворно согласилась и обещала постараться исполнить желание Розова. В то же время об этом факте она доложила своему начальству. По справкам оказалось, что упомянутый

приказ, касавшийся дислокации войск, был незадолго перед тем отменён и, следовательно, никакого практического и фактического значения не имел. Поэтому в согласии с военными властями было решено просимый Розовым документ ему передать.

Нетерпение Розова было очень велико, а Макова нарочно оттягивала передачу ему приказа, но наконец с большою таинственностью вручила Розову так сильно интересовавшую его служебную бумагу.

С этого момента Розов стал считать Макову своею сообщницею, но не посвящал её ни в свою деятельность, ни в свои намерения. Всё чаще и чаще Розов обращался к ней с просьбами добыть опять-таки при посредстве Федотова тот или другой секретный военный документ. По соображениям техники розыска приходилось кое-какие бумаги, не имевшие значения, выдавать Розову, получение же им желательных важных документов под благовидными предлогами оттягивалось.

Однажды Розов, сообщив Маковой о приезде в Варшаву из Сосновиц двух знакомых комиссионеров, пригласил её поехать в их компании в театр, а затем в ресторан ужинать. Макова согласилась и, уединившись во время ужина с одним из компаньонов, очень сильно охмелевшим, успела взять из его кармана бумагу, оказавшуюся зашифрованной. По разборе её выяснилось, что текст содержит разного рода вопросы военного характера, поставленные данной группе шпионов немецким генеральным штабом.

Параллельно шла работа наблюдательных агентов, которые выяснили, что Розов проживал вместе с отцом и сестрою в доме № 12 по улице Шопена, причём настоящая фамилия его и родных была Герман, псевдонимом же «Розов» он пользовался по конспиративным соображениям. За сестрою и отцом Розова тоже было учреждено наблюдение. Так как при слежке за стариком Германом были установлены его посещения многих офицеров, с которыми он при встречах на улице иногда беседовал, то в наблюдение были взяты и эти воинские чины, причём круг их всё расширялся, и среди них оказались лица, занимавшие большое служебное положение.

Эти наблюдения вызывались исключительно необходимостью, потому что шпионская деятельность по своей природе и психологическим особенностям настолько сложна, что при расследовании розыскной орган делается сугубо подозрительным. Практика показала, что и под мундиром военных чинов, и под личиною людей, пользующихся доверием и уважением, часто скрываются предатели и шпионы.

Дальнейшее негласное расследование выяснило, что все военные, которых посещал Герман, были лютеране и что цель его посещения маскировалась сбором денежных пожертвований на расширение лютеранской церковной школы, при которой Герман был казначеем. Во время этих визитов Герман выставлял себя русским патриотом, неизменно подчёркивал доблесть и ум русских полководцев и всегда переводил разговор на современное состояние русской армии, причём порою получал интересовавшие его сведения и по стратегическим вопросам. Конечно, в пожертвованиях отказа не было. И только один товарищ прокурора, тоже лютеранин, отказался дать Герману денег, ибо не считал возможным материально содействовать развитию немецких школ в Польше, где российское правительство стремилось расширить русское национальное влияние.

Независимо от этого наблюдение за сестрою Розова-Германа дало весьма серьёзные результаты. Дело в том, что названная девица неожиданно выехала в С.-Петербург. Установленною за нею в столице слежкою было выяснено несколько лиц, группировавшихся около одного подозрительного отставного военного, который в то время служил в мобилизационном отделе железной дороги и имел связи с тем же отделом Министерства путей сообщения.

Приведённые результаты секретного розыска вызвали у меня два опасения: с одной стороны, стоявшие вне всякого подозрения офицеры могли, бессознательно для себя, в беседах с Германом быть излишне откровенными, а с другой — слишком затянувшееся наблюдение могло быть случайно замечено и, значит, испортить всё дело.

Вследствие этого я решил ликвидировать наблюдение путём производства обысков одновременно в Варшаве, С.-Петербурге и Сосновицах.

Ликвидация была произведена днём, когда Герман возвращался домой с портфелем в руках. Обыски были очень сложны, так как приходилось считаться с тонкими ухищрениями шпионов и нельзя было оставлять без внимания ни одной находившейся в их квартире вещи. Действительно, весьма существенные для изобличения Германа бумаги были обнаружены под привинченною мраморною доскою умывальника. На страницах каталогов, лежавших у Германа на письменном столе, оказались сделанные химическими чернилами невидимые для глаза конспиративные записи. В двух кухонных банках с надписями «соль» и «сода» были обнаружены химические порошки, необходимые для воспроизведения скрытых текстов и их проявления, т. е. реактива.

Все подвергнутые аресту лица были немедленно изолированы друг от друга, а затем допрошены.

Герман и его дочь дали чистосердечные показания. Оказалось, что старик состоял в двойном подданстве — германском и для пользы шпионского дела в русском. Не отрицая своих посещений офицеров-лютеран, Герман откровенно рассказал, что в беседах с ними он всегда прикидывался русским патриотом и вскользь затрагивал интересующие его вопросы. В итоге он узнал, куда были предназначены к переводу кавалерийские полки, точное расположение в Привислянском крае 46 воинских частей, выяснил адреса крепостных офицеров, а затем все собранные данные сообщил в Берлин. По его словам, склад фотографических аппаратов, в котором служил молодой Герман, был явочным местом для приезжавших шпионов, причём в пачках светочувствительной бумаги присылались из берлинского главного штаба инструкции.

Действительно, организованною в упомянутом складе полицейскою засадою было вскоре задержано несколько лиц, изобличенных в шпионстве отобранными у них вещественными доказательствами. Среди этих арестованных оказался, между прочим, один немец — лесопромышленник, который доставлял германским военным властям обширные статистические сведения, интересные в стратегическом отношении по Западному и Северо-Западному краю.

Дочь Германа созналась в том, что она сообщила в Германию добытые ею в С.-Петербурге при посредстве упомянутого выше отставного офицера данные о передвижении русских войск за последний перед её арестом месяц.

Из допроса Германа-Розова выяснилось, что он прошёл при немецком штабе курс техники по добыванию военных секретов в иностранных государствах. Между прочим, по поводу отобранного у него полного списка адресов офицеров варшавского разведывательного отдела молодой Герман рассказал, что он как-то заметил у одного из знакомых ему штабных писарей памятную книжку. Он решил её добыть, надеясь найти в ней интересные для него сведения. Тогда Розов пригласил этого писаря в одну из небольших гостиниц, в номере которой устроил ужин с большим количеством спиртных напитков. Когда совершенно опьяневший писарь уснул за столом, Герман беспрепятственно овладел означенною книжкою, в которой были записаны адреса всех варшавских разведывательных офицеров, и эти адреса он тут же переписал, пока его недавний собеседник спал тяжёлым непробудным сном.

Остаётся сказать, что финалом этого дела был для всех

суровый судебный приговор.

Глава 14
Ограбление поездов

По организации ограблений поездов, банков, почтовых отделений, а равно террористических актов был исключительным специалистом глава Польской социалистической партии, а впоследствии начальник Польского государства небезызвестный Пилсудский (революционная кличка «Дзюк»). Организованная им в Кракове боевая школа выпускала массами подготовленных убийц и грабителей.

Следует отметить, что при совершении налётов и грабежей преступники убивали не только жандармов и чинов полиции, но и поляков, являвшихся помехою для успешного совершения «экса» (грабежа), так как широко проводился вообще принцип «лес рубят, щепки летят».

На захваченные путём таких грабежей деньги партийные лидеры проживали довольно буржуазно за границею, вне пределов досягаемости русской власти, и спокойно вырабатывали дальнейшие планы грабежей и убийств для осуществления национальных и социалистических стремлений. А оборванные, полуголодные «боевцы», фактические исполнители заданий партии, подвергались *тяжким уголовным* карам, вплоть до смертной казни.

Ограбления поездов производились обыкновенно по шаблону, поэтому для иллюстрации подобных преступлений достаточно привести один пример.

В 1908 году Варшавским охранным отделением была получена из Седлеца телеграмма, сообщавшая, что на станции Соколово произведено нападение на почтовой поезд и его ограбление. Тотчас же по телеграфу были даны соответствующие инструкции местным властям, и в Седлецкую губернию выехал срочно летучий отряд названного охранного отделения.

На станции Соколово были ещё следы разрушения от брошенных разрывных снарядов; оставались нетронутыми до приезда судебных властей трупы: жандарма, железнодорожных служащих и неизвестных лиц. На запасном пути стоял повреждённый почтовый вагон, из которого была похищена крупная сумма денег. Никто из грабителей в то время задержан не был, но за ними местные власти организовали погоню, а вместе с тем была предпринята проверка населения в окрестностях станции. Вскоре вблизи Соколово, на одной мызе, чинами полиции были арестованы двое молодых людей —

мужчина и женщина, которые накануне под благовидным предлогом просили добрых пожилых домовладельцев разрешить им переночевать. Задержанные оказались участниками преступления, причём молодой человек, назвавшийся «Янеком», увлёкшись своею спутницею и не последовав примеру других членов шайки, не ушёл подальше от станции.

Утомлённый, измокший, без гроша денег, «Янек» решил дать откровенное показание и «засыпать» своих товарищей.

«Янек» рассказал следующее:

> «Однажды, недели три тому назад, на фабрику к выходным воротам во время обеденного перерыва ко мне подошёл «Титус» и сказал, чтобы я, по получении в конторе расчёта, явился на Волю (местность в Варшаве), в дом своей сестры Гали. В тот день, вечером, я направился к квартире Гали и, осмотревшись, чтобы убедиться, нет ли за мною «шпицеля» (так называли поляки служащих охранного отделения), дал два свистка. На этот условный сигнал тотчас в дверях появилась моя сестра и знаком показала мне, что я могу войти. Я не смел без этих предосторожностей войти в квартиру Гали, так как мне было известно, что там должен находиться «руководитель», который мог иметь секретные дела, не касающиеся рядового боевца. В комнате я увидел «Титуса» и неизвестного мне до того времени молодого человека, которого называли «Радек». Последний расспросил меня о частной моей жизни и семейном положении, а затем, узнавши с моих слов, что я лично убил семь полицейских-городовых и участвовал в трёх грабежах, встал, крепко пожал мне руку и сказал, что о моих подвигах давно известно в партии и что «Дзюк» особенно любит и ценит таких товарищей и их никогда не забудет. Вслед за сим «Радек» дал мне 18 рублей, заметив, что это «пока», и прибавил, что дальнейшие инструкции я получу от «Титуса», который будет за старшего в нашей «пятёрке». Должен пояснить, что у нас в партии каждое «дело» выполнялось пятёрками, т. е. группами в пять человек каждая, которые сводились в отряды численностью до 30 человек, под начальством десятников и общим руководством начальника отряда. Люди одной пятёрки не должны были знать людей другой. При нападении на поезд на станции Соколово принимало участие пять пятёрок: одна — с бомбами, другая была предназначена

для похищения ценностей из почтового вагона, две должны были предупредить возможное сопротивление со стороны пассажиров и одна заняла здание станции. В состав пятёрок входили и женщины, из коих некоторые, как, например, Островская, Гатя, Роте и Салецкая, отличались особой жестокостью. В партии ими очень дорожили ещё и потому, что они в поездах обращали на себя менее внимания, чем мужчины. Само собою разумеется, что число назначаемых для «дела» пятёрок находилось в зависимости от обстановки и сложности задуманного предприятия.

Далее «Радек» справился о времени по своим золотым часам и заметил, что мне пора уходить. Откровенно говоря, я сильно позавидовал «Радеку», когда увидел у него такие большие дорогие часы. Он это прочитал в моих глазах и, хлопнув меня по плечу, сказал: «Работай, товарищ, и ты будешь иметь часы и деньги, а Польша будет тебе благодарна всегда».

Через два дня после этого разговора неизвестная девочка лет 12 принесла мне домой хлеб, в котором, разрезавши его, я нашёл завёрнутый в клеёнку «браунинг» и записку «Титуса» из четырёх слов: «В среду 11 вечера». Ранее было условлено, что такое извещение будет означать время выезда из Варшавы для совершения нападения на почтовый поезд. На Брестский вокзал я с сестрою отправились пешком и по пути всё время проверяли, не было ли за нами наблюдения. Вблизи вокзала нас поджидал «Титус», который вручил мне билет 3-го класса, и я поместился в четвёртом вагоне, так как на билете была карандашом отмечена цифра 4. В вагоне я увидел «Вацека», «Вацлава» и «Зигмунда», но, по принятому правилу, мы сделали вид, что друг друга не знаем. По дороге «Титус» передал, что на станции «Соколово» деньги мы возьмём с поезда и что наша пятёрка назначена «к пассажирам». После остановки поезда на указанной станции «Титус» скомандовал нам — по местам! — и мы прошли по всем вагонам с криком «Руки вверх, ни с места!», причём держали револьверы наготове. Одновременно раздавались выстрелы и взрывы бомб, а через 5–7 минут всё затихло и мы услышали свисток и приказание расходиться. Вдали виднелась отъезжавшая повозка, на которой обычно увозили захваченные вещи и деньги. Мы же врассыпную отправились в разные стороны, заранее указанные, с тем

чтобы по прибытии в Варшаву всем собраться в явочной квартире на «Старом Месте»».

У названного «Янека» оказались адреса нескольких его знакомых, находившихся в седлецкой боевой организации, по обыскам у которых были взяты заготовленные для следующей экспроприации разрывные снаряды и оружие.

Нужно заметить, что ограбления совершали иногда и непартийные группы, обыкновенно сформированные из недовольных, которые в этом случае уже ничего не давали партийной кассе из похищенных денег. Таких «отщепенцев» партийные пепеэсы[213] называли «бандитами», и иногда между ними происходили серьёзные кровавые свалки.

Характерно, что на упомянутой партийной квартире в Варшаве («Старое Место») полицейской засадой были задержаны все участники ограбления поезда на станции Соколово, причём последний явился лишь на семнадцатый день.

Глава 15
Покушение на жизнь генерала Г.А. Скалона

В 1906–1908 годах партиям: социал-демократам Польши и Литвы[214] и «Второго пролетариата»[215] — Варшавским охранным отделением были нанесены жестокие удары с отобранием у них всех тайных типографий и складов литературы, с уничтожением бюро и явок и, наконец, арестом главарей, в том числе кокаиниста Феликса Дзержинского, ныне советского комиссара — садиста и палача.

Политическое и противоправительственное движение в Привислянском крае в то время базировалось главным образом на деятельности «народовой демократии»[216] и Польской социалистической партии. Эта последняя составляла вначале одну организацию, с течением времени в среде её членов всё чаще и чаще возникали споры по принципиальным и тактическим вопросам. В результате произошёл раскол; одна часть лидеров настаивала на осуществлении широкой общей социалистической программы, другие же придерживались убеждения, что все партийные стремления должны быть сужены и ограничены лишь запросами польского пролетариата. В результате партия раскололась на «девицу» и «правицу», широко проводившую террор. Каждая считала себя преемницей старой партии со всеми её традициями и авторитетом[217].

Следует заметить, что вожди различных партий в Польше не отличались уживчивостью и терпимостью друг к другу. Все

польские организации свою деятельность направляли на борьбу с русским правительством, а силы свои зачастую растрачивали во взаимных спорах и разногласиях.

До раскола Польская социалистическая партия включила в свою программу террор, который непрерывно и осуществляла. Некоторые её боевые предприятия обращают на себя внимание своею сложностью, как, например, покушение на убийство варшавского генерал-губернатора Г.А. Скалона.

Летом 1906 года генерал-губернатор жил в Бельведерском дворце, расположенном в Лазенках, весьма живописной местности, с огромным парком, соединённым с Варшавой широкой тенистой аллеей. Лазенки и Уяздовская аллея всегда являлись излюбленным местом прогулок городских жителей; здесь можно встретить и стариков, и детей, и нарядных барынь, и небогатого среднего обывателя с скромно одетою семьёй.

По Уяздовской же аллее всегда проезжал и генерал-губернатор при поездках в город. Однако такие выезды были ограничены и происходили лишь в неотложных случаях, так как Варшавское охранное отделение имело достоверные сведения о готовившемся на него покушении, хоть раскрыть заговор и не удавалось. Впоследствии это обстоятельство нашло себе объяснение: один из чиновников охранного отделения, ведавший секретной агентурой, тайно перешёл в революционный лагерь, продолжая служить в отделении.

При осуществлении своих террористических намерений «пепеэсы» (так назывались члены упомянутой партии) прежде всего остановились на необходимости точно выяснить всю обстановку, при которой возможно было рассчитывать на успех задуманного ими посягательства. Проживавшие в Кракове руководители заговора потребовали от варшавских исполнителей такого наблюдения, которое бы выяснило точно наружность генерал-губернатора, время его выездов, силы сопровождавшей его охраны и т. п.

Мужчины и женщины — члены партии, смешавшись с толпою гуляющих, установили всё, что необходимо было им знать.

Однако результаты разведки польских революционеров показали, что при тех маршрутах, которыми пользовался генерал-губернатор во время своих выездов, совершить террористический акт было бы чрезвычайно трудно: число секретной охраны, усиленные наряды полиции, невозможность отступления без ареста не допускали свободы действий боевиков; необходимо было осуществить дело иначе. Тогда «пепеэсы» задумали заставить генерал-губернатора Скалона проехать непременно по

намеченному ими пути и в это время его убить. Для сего три женщины — члены партии, Овчарек, Островская и Крагельская, наняли небольшую квартиру с балконом вблизи дома, в котором помещалось германское консульство. Обитательницы квартиры не привлекали к себе ничьего внимания, а скромным образом жизни и ласковым обращением с соседями вызвали к себе даже симпатии. Вскоре после этого в Варшаве произошёл случай, возбудивший сенсацию. К варшавскому германскому генеральному консулу во время обычного приёма посетителей явился с каким-то ходатайством (заведомо не подлежащим удовлетворению) человек, одетый в форму русского офицера, и в несколько грубой форме настаивал на исполнении своей просьбы. Принятый этим офицером тон беседы вызвал у консула раздражение и даже негодование, после чего офицер этот нанёс германскому консульскому представителю удар рукою по лицу и скрылся.

С этого момента начинаются тревога и волнение у исполнителей задуманного дела. Они предположили, что после такого исключительного поступка, как удар по лицу консула могущественной державы офицером русской армии, представитель высшей власти в крае должен будет выразить перед потерпевшим сожаление по поводу печального инцидента. Начальник края действительно решил посетить консула и на следующий день утром выехал к нему в парной коляске, сопровождаемый конвойными казаками. Когда при возвращении от консула экипаж генерал-губернатора проезжал мимо квартиры трёх вышеупомянутых полек, в него с балкона было брошено несколько бомб. Цели бомбы не достигли, но был ранен ребёнок, сын дворника этого дома.

Ряд взрывов привлёк внимание огромной толпы любопытных. Это способствовало тому, что метавшие бомбы, выйдя на улицу, скрылись, смешавшись с людьми.

Впоследствии было установлено, что оскорбивший консула был вовсе не русским офицером, а членом Польской социалистической партии. Задержанные впоследствии польки при допросе их мною дали полное описание покушения на жизнь генерала Скалона, отметив, что предполагалось бросить бомбы, когда генерал-губернатор ехал к консулу; но под влиянием напряжённого состояния они сильно изнервничались, и в момент первого проезда с одною из них сделался столбняк, а другая почувствовала крайнее ослабление организма; они оправились только ко времени возвращения генерала от консула, когда и бросили бомбы.

Действительно, бывали часто случаи, когда боевики в

последний момент перед совершением террористического акта испытывали упадок энергии и сил, и часто из-за этого «дело» их проваливалось. В общежитии же это неправильно называют трусостью.

Неуспех этого покушения «пепеэсами» был приписан неудачной работе по изготовлению разрывных снарядов. В самом деле бомбы их значительно уступали в силе взрыва бомбам, изготовлявшимся социалистами-революционерами, но зато польские разрывные снаряды хорошо выдерживали перевозку и не давали неожиданных взрывов.

Глава 16
Пропаганда в армии и во флоте

В 1908 году в Варшавском военном округе по агентурным сведениям была обнаружена военно-революционная организация, в которую входили офицеры и солдаты, преимущественно артиллеристы. Эта организация имела связь с Петербургом, но в общем особого развития не проявила, так как была ликвидирована.

Тщательное и подробное расследование дела дало картину работы группы в этом направлении и указало приёмы, которыми пользовались организаторы военно-революционной пропаганды.

Обыкновенно офицер, примкнувший к организации, держал себя чрезвычайно осторожно и замкнуто, но вместе с тем, как и все его товарищи, он не уклонялся от общеполковой жизни, посещал [офицерское] собрание, читал приказы и «Новое время», хотя от всяких политических суждений и бесед открыто воздерживался. Сослуживцы его обыкновенно называли «либералом», «красным», а командир полка считал «подозрительным».

Дома такой офицер вёл себя иначе. Он часто вступал со своим денщиком в разговоры, которыми затрагивал самые разнообразные темы: о религии, существе государственной власти, взаимных отношениях классов и т. п. Путём самых свободных суждений по затронутым вопросам он таким образом постепенно революционизировал своего собеседника. Такие беседы, естественно, происходили часто, и к ним солдат был весьма склонен, в особенности польщённый простым отношением к нему офицера, который, отбросив чинопочитание, просиживал с ним за чаем целые вечера. Развёрнутые перед пытливым умом солдата, ещё недавно хлебопашца, социальные вопросы заставляли его делиться своими впечатлениями с земляками. Он сам, таким образом, являлся, сначала бессознательным,

помощником своего офицера и агитатором. Приглашённые потом на дом земляки денщика находили приветливый приём и у хозяина, общие беседы повторялись, а в результате возникала, росла и крепла ячейка военно-революционной организации.

Подобный описанному офицер находился в связи с «центром», который представлял собою коллектив из военных и статских. Последние носили наименование «вольного» состава организации и являлись обыкновенно членами партий, по преимуществу социалистов-революционеров. Характерно, что при расследовании настоящего дела многие опрошенные лица упоминали и фамилию Керенского как человека, близко стоявшего к пропаганде в армии.

В частности, упомянутый «вольный состав» следил за тем, чтобы партийные работники, отбывавшие воинскую повинность, не теряли бы своих политических связей и сводились бы в отдельные группы сообразно административному распределению военных округов.

Как же реагировало на такого рода явления высшее военное начальство?

Как ни конспиративны были действия мундирных пропагандистов, всё-таки до сведения командиров доходило о неблагополучии в их частях. Психология же некоторых генералов того времени была несложна и у большинства из них совершенно одинакова: «Никакой политики нет и не должно быть, а если на неё указывают шпионы и жандармы, то они врут или сами вносят разврат в солдатскую среду» (такого взгляда придерживался и генерал Деникин). Если же дело явно выходило наружу, то командир части считался не соответствующим своему назначению.

Только таким отношением к делу со стороны высшего военного командования и можно было объяснить продолжительную революционную деятельность некоего Калинина, арестованного, в числе прочих, Варшавским охранным отделением во время указанной ликвидации.

Состоя членом Партии социалистов-революционеров, Калинин вступил в неё ещё юнкером Михайловского артиллерийского училища, где был фельдфебелем и выпущен в офицеры конной артиллерии. На протяжении нескольких лет он был партийным работником и беспрепятственно создавал военно-революционные организации, лично ведя пропаганду. Ловкий и находчивый, он умело маскировал свои политические убеждения и даже по субботам бывал на вечерах у начальника губернского жандармского управления, престарелого генерала Сытина, сын которого, ученик Калинина, ныне состоит видным деятелем

советской власти.

Другой задержанный по этому делу штабс-капитан Краковецкий, по натуре менее одарённый, чем Калинин, получил оценку своей революционной работы впоследствии, когда Керенский назначил его командующим войсками Иркутского военного округа.

Но в то время, к которому относится это изложение, военно-окружной суд приговорил их всех к каторжным работам на разные сроки.

Гораздо обширнее и интенсивнее велась революционная пропаганда во флоте, результаты которой сказались в 1905 и 1917 годах.

Развитию там революционной пропаганды особенно содействовал социалист-революционер Утгоф, сын бывшего помощника варшавского генерал-губернатора.

В 1912 году сильно развившееся в военном флоте противоправительственное движение перекинулось на команды русских коммерческих судов под видом тайной профессиональной организации «Союза моряков коммерческого флота». Создателями этой организации были Адамович и Троцкий (Бронштейн). Последний тогда издавал в Вене социал-демократический журнал «Правда» и выпустил № 1 газеты «Моряк», издание которого перешло затем в Константинополь. Среди пароходных команд оба эти журнала распространялись одновременно.

Пропаганда развилась настолько, что начались эксцессы и забастовки, в особенности же на Каспийском и Чёрном морях.

Произведённой мною из Одессы ликвидацией это сообщество было разбито, причём удалось отобрать обширный материал, изъятый, с согласия английского Министерства иностранных дел Грея, в городе Александрии в Египте. По процессам этой организации судебные палаты в разных местах империи вынесли около 200 обвинительных приговоров. Среди обвиняемых были и социал-демократы, и социалисты-революционеры, и даже анархисты-коммунисты.

Член военно-революционной ячейки Ковалёв, бывший фабричный чертёжник, унтер-офицер инженерных войск, остался в памяти как более сильная личность. Его привели из тюрьмы в охранное отделение для допроса. На него было обращено внимание как на человека, могущего быть полезным и для розыска, если бы он согласился в нём служить. Ввиду этого его решено было «заагентурить», т. е. сделать секретным сотрудником. Оказалось, что Ковалёв, ранее привлекавшийся по политическому делу в Москве, сразу понял намёк и, вставши во

весь рост, сказал: «Очевидно, Вы клоните свою речь к тому, чтобы я поступил на службу в охранку. На это я скажу, что никаких показаний я Вам не дам и никогда служить в полиции не буду. Я — социалист-революционер, а потому республиканец и всем своим существом ненавижу царскую власть. С царизмом я буду бороться до плахи или естественной смерти. Я верю, что для России наступят лучшие дни лишь тогда, когда народ пойдёт по пути, избранному нами. Тюрьма только закаляет борцов, а виселица воодушевляет оставшихся в живых».

Лишённый по суду всех прав состояния, Ковалёв был сослан в Сибирь.

Такие, как Ковалёв, встречались часто. Но их не знали и не понимали, учитывая лишь с формальной стороны меру их дисциплинированности и исполнительности.

Они делали своё революционное дело, результаты коего ярко выразились с первых же дней революции.

Глава 17
Откровенники и мстители

I

В 1905–1908 годах в Царстве Польском повсюду было неспокойно: часто происходили ограбления, убийства членов администрации и частных лиц.

Все эти преступления были в большинстве случаев делом рук Польской партии социалистов.

Шовинизм этой партии достиг к тому времени апогея, а материальный успех, в смысле колоссального количества экспроприированных денег, дал возможность партии развить пропаганду, обзавестись типографией, прекрасно оборудованной, вооружить браунингами и маузерами боевиков, наладить приобретение взрывчатых веществ и т. п.

Достаточно сказать, что за сравнительно непродолжительный промежуток времени было убито более тысячи человек правительственных агентов и частных лиц и произведено до тридцати более или менее крупных ограблений.

Преступники, совершавшие эти деяния «налётом», ловко скрывались от погони и в большинстве случаев ускользали от законного наказания. Тем не менее властям удавалось арестовывать некоторых из них, в большинстве уже деморализованных преступлениями, со всеми присущими бандитам качествами. Нередко такие задержанные легко

поддавались отчаянию и, желая отвести от себя суровое наказание, откровенно и подробно рассказывали не только о своих преступных делах, но и о том, что сделали их товарищи.

Как бы то ни было, но правительственной власти приходилось считаться с необходимостью успокоения края и скорейшей изоляции разбойников, дерзость и наглость которых росла пропорционально успеху в совершении задуманных ими предприятий.

Из таких «откровенников» особый интерес представляли собою Санковский, Дырч и Тарантович.

Будучи участниками многих ограблений и убийств должностных лиц и состоя в партии продолжительное время, они знали в лицо многих скрывавшихся от преследования членов сообщества.

Варшавское охранное отделение решило по системе, практиковавшейся в Англии, использовать сообщённые упомянутыми лицами сведения, но было обеспокоено возможностью в отношении их мести со стороны «пепеэсов». Присутствовавший же при обсуждении этого вопроса в охранном отделении поляк-переводчик заметил: «Всё равно «пепеэсы» их всех «угробят», они им этого не простят и никакая охрана их не спасёт».

Впоследствии оказалось, что переводчик был прав: все трое были убиты по приказу из Кракова.

Однако Дырчу и Тарантовичу было предложено партией убить начальника охранного отделения и тем разрушить аппарат этого учреждения, с обещанием затем вывезти их обоих за границу. Что же касается до Санковского, то с ним вначале не хотели вовсе входить в какие-либо переговоры, а члены партии решили умертвить его отца в уверенности, что на похоронах последнего будет присутствовать и сын, которого, пользуясь таким случаем, удастся убить. Об этом намерении узнал подросток-брат Санковского и предупредил охранное отделение, которое приняло надлежащие меры и действительно среди траурного кортежа задержали пять человек, вооружённых браунингами, ожидавших появления у катафалка Санковского.

Один из задержанных, под кличкою «Цыган», подробно рассказал о своей преступной деятельности, сознавшись в совершении девятнадцати убийств полицейских чинов и жандармов. Безо всякой помощи своих единомышленников «Цыган» единолично выслеживал намеченные им жертвы, а после злодеяния незаметно скрывался от преследования. По его словам, он всегда присутствовал на похоронах убитых им. Его неудержимо влекло к трупу умерщвлённого им человека и

интересовало, попала ли пуля в то место, куда он целил, что он узнавал из разговоров с провожавшими покойника родственниками. Он сознавался, что вначале ему было тяжело убивать, но уже на третий-четвёртый раз акт лишения жизни производил на него редко приятное впечатление. При виде крови своей жертвы он испытывал особое ощущение, и потому его тянуло всё сильнее вновь испытать это сладостное чувство. Вот почему он и совершил столько убийств, в чём совершенно не раскаивается.

Неудавшийся план покушения на Санковского во время похорон отца не отбил охоты у членов партии его уничтожить, и выполнение было возложено на некоего «Станислава», одного из видных руководителей нападения на железнодорожные поезда и почтовые отделения.

«Станислав» вступил в секретные переговоры с матерями Дырча и Санковского и обещаниями и убеждениями склонил на свою сторону женщин, а те, в свою очередь, упросили своих сыновей отнестись с доверием к «Станиславу» и повидаться с ним. Свидание было назначено в пивной, указанной «Станиславом».

Дырч и Санковский поддались уговорам, поверили «своему человеку» и совершили побег из камеры, в которой они находились. В пивной их уже ожидал «Станислав» и «Зигмунд», которые, не желая вступать в какие-либо разговоры с пришедшими, тотчас же несколькими револьверными выстрелами убили своих бывших партийных товарищей.

Поднялась суматоха, убийцы же спокойно переменили бывшие на них фуражки на спрятанные в их карманах мягкие шляпы и беспрепятственно вышли. Фуражки были найдены на полу, вблизи распростёртых с открытыми глазами трупов.

Одновременно с выездом на место преступления властей охранное отделение заняло всеми своими наличными силами прилегающие к пивной улицы, в целях предупреждения возможного покушения на кого-либо из прибывающих высших чинов со стороны «пятёрок» «пепеэсов»

Последние в таких случаях устраивали засады и однажды при посещении обер-полицеймейстером и начальником охранного отделения места взрыва бомбы на пути их следования бросили разрывной снаряд, взрывом которого обер-полицеймейстер был ранен, а начальник охранного отделения контужен.

В квартиру жены «Станислава» была послана полиция, но жена его, зная об убийстве и опасаясь, что муж может вернуться домой, подняла крик и начала бить оконные стёкла. «Станислав» уже подходил к квартире, когда увидел толпу любопытных,

привлечённых шумом, и, узнав, в чём дело, скрылся.

II. Убийство на улице Фратино в Риме

Описанные в предыдущем очерке события не закончились убийством Дырча и Санковского, но развернулись далее.

Расследование Варшавского охранного отделения раскрыло следующие подробности ещё одной мести польской партии.

Месяца два спустя после кровавого происшествия в Варшаве в пивной к Тарантовичу, содержавшемуся при охранном отделении, пришла на свидание его родственница «Галя» и сообщила, что «Зигмунд» приглашает Тарантовича бежать в Америку, там поселиться и зажить безбедно, однако с одним условием, чтобы Тарантович убил перед отъездом начальника Варшавского охранного отделения.

По мнению «Зигмунда», совершение этого террористического акта не представит особых затруднений, ввиду постоянных встреч Тарантовича с начальником.

В то же время таким актом Тарантович всецело реабилитировал бы себя во мнении партии и вызвал бы возобновление прежних приязненных отношений к себе со стороны своих товарищей. К этому «Галя» добавила, что «Зигмунд» учитывает возможность неосуществимости убийства в силу каких-либо обстоятельств.

Во всяком случае, он настаивает, чтобы Тарантович через неделю, 21 ноября, выехал бы на пограничную станцию Граница и оттуда тайно, через указанный ему пункт, пробрался бы в Австрию, чтобы временно остановиться в Кракове для свидания с «Дзюком» (Пилсудским) и, наконец, проехать в Неаполь.

После некоторого размышления Тарантович согласился и сказал «Гале», что ему необходимы на предварительные расходы деньги, а потому просил дать ему 400 рублей. Эту сумму через два дня ему принесла та же «Галя».

О сущности своего разговора Тарантович рассказал мне в моём кабинете. Выслушав его, я старался убедить Тарантовича отказаться от предложения «Зигмунда», который, очевидно, просто устраивал ему ловушку. На лице Тарантовича отражалась происходившая в его душе борьба. Он почти не возражал, ограничиваясь краткими репликами.

Человек, на совести которого лежало столько пролитой крови, столько преступлений, готов был верить искренности предложения «Зигмунда» и ради возможности новой жизни хотел уйти от всего того, что лежало тяжёлым камнем на его душе. В то

же время он сознавал, как много он выдавал своих бывших партийных товарищей русской власти, и понимал, что партия ему этого не простит. Когда я его отпустил, он, подходя к выходной двери, повернулся в мою сторону с искажённым злобою лицом, пристально посмотрел на меня, а затем, махнув безнадёжно рукой, молча быстрыми шагами вышел из кабинета. Впоследствии он говорил, что хотел привести в исполнение требование «Зигмунда», но в последнюю минуту вспомнил, что у него револьвер был отобран.

21 ноября Тарантович скрылся из помещения камеры для арестованных. Розыском было установлено следующее:

Тарантович отправился на вокзал, где его ожидали «Зигмунд» и «Князь», дружелюбно с ним встретившиеся. Они спросили, как обстоит дело со старшим «шпицелем» (начальник охранного отделения), и, узнав, что никак, отнеслись к этому спокойно, высказав при этом, что его всё равно «угробят».

В поезде во время пути все трое мирно беседовали, шутили так, что в душе Тарантовича всё более крепла надежда, что всё старое забыто и что действительно скоро для него начнётся новая спокойная жизнь.

На границе местный контрабандист, оказывавший партии содействие, за небольшое вознаграждение согласился провести их мимо пограничных постов. Со многими предосторожностями они пустились в путь, но вскоре подверглись обстрелу пограничников. Густой лес, тёмная ночь и проливной дождь способствовали тому, что все четверо благополучно перебрались на территорию Австрии.

Уже здесь «Зигмунд» высказал своё подозрение, что направленная против них стрельба пограничной стражи были вызвана доносом контрабандиста. На этом своём подозрении «Зигмунд» упорно настаивал и кончил тем, что приказал Тарантовичу застрелить контрабандиста. Тот подчинился и одним выстрелом из браунинга в затылок убил наповал проводника.

Немедленно нужно было двигаться дальше, дабы не попасться в руки австрийской полиции.

В Кракове со стороны партийных работников Тарантович встретил хотя и сдержанный, но не враждебный приём. На вопросы «Дзюка» Тарантович подробно рассказал всё, что ему было известно о ходе работы в Варшавском охранном отделении, его личном составе, организации и пр.

Только к одному «Дзюк» отнёсся скептически и недоверчиво: он не мог допустить, чтобы в охранном отделении существовала такая конспирация, которая препятствовала бы Тарантовичу знать

секретных сотрудников. В этой части разговора «Дзюк» Тарантовичу не поверил, что ему и высказал.

В действительности Тарантович не лгал.

После ухода из Варшавского охранного отделения чиновника Бакая, который оказался предателем, работавшим в интересах революционеров, конспирация как принцип была вновь проводима в отделении с особою строгостью, а секретная агентура охранялась с возможной тщательностью.

Через несколько дней Тарантовичу было объявлено, что по партийным соображениям ему предстоит выехать в Рим и ждать там дальнейших распоряжений, в силу которых он или останется в Италии, или же должен будет уехать в Америку.

Тарантович принял переданную ему партийную директиву как знак проявления доверия и с лёгким чувством в компании «Зигмунда» и «Князя» отправился в столицу Италии. В Риме в пансионе на улице Фратино они наняли две комнаты и своим хозяевам заявили, что приехали по коммерческим делам, которые иногда могут вызывать их отлучки на 2–3 дня.

В результате как спокойные жильцы они не вызывали никаких подозрений, когда отсутствовали из квартиры в течение указанного срока. Однажды они привезли с собою большую корзину и объяснили, что она им нужна для дороги, во время их постоянных переездов.

Как-то случилось, что названные постояльцы не появлялись домой в течение пяти дней. Обеспокоенный хозяин решил оповестить об этом полицию. Представители власти прибыли для осмотра закрытого помещения. С внешней стороны не было заметно никакого беспорядка, но когда открыли большую корзину, то ужас обуял присутствовавших: в ней оказался разрезанный на части труп человека с сильно обезображенным лицом, на котором были отрезаны уши и нос. Труп подвергся в значительной степени разрушительному действию негашеной извести, которая в изобилии находилась в корзине. Фотографические снимки не могли дать даже малейших признаков для опознания жертвы преступления; но на трупе оказались часы варшавского изделия, а пуговицы на костюме давали указания на варшавского портного.

Эти обстоятельства послужили поводом для пространных сношений Римской префектуры с варшавскими властями, которыми вскоре и было установлено, что в корзине находился труп Тарантовича.

По этой картине читатель может судить, какие нравы царили в подполье Польской социалистической партии

Глава 18
Убийство фабриканта Зильберштейна

Вакханалия убийств прошла широкою полосою в 1906–1908 годах в Польше. Польская партия социалистов, создав кадры «боювцев»[218] для терроризации агентов власти в крае, в то же время обратила своё внимание и на представителей промышленности и капитала.

Какое-либо незначительное недоразумение рабочих с предпринимателями часто заканчивалось кровавою расправою.

Одно из таких убийств особо характерно.

На фабрике Зильберштейна в Лодзи рабочие, предъявив экономические требования, настаивали на личных переговорах с владельцем. Делегаты рабочих, в большинстве принадлежавшие к Польской социалистической партии, при переговорах с директором фабрики вели себя вызывающе, угрожали насилиями и забастовкой, если их требования не будут удовлетворены.

Директор фабрики обо всём поставил в известность владельца, и тот, вопреки данному ему совету, решил лично войти в переговоры с рабочими. Приехав на фабрику, Зильберштейн прошёл в ткацкое отделение, где собралось несколько сот рабочих, и объявил им, что, по рассмотрении их требований, он считает возможным удовлетворить лишь некоторые. В заключение он сказал, что данное им обещание будет выполнено, если рабочие тотчас же разойдутся по своим станкам и приступят к работе. Но толпа не унималась — начались крики, свистки и угрозы… Рабочие настаивали на выполнении их требований полностью…

Зильберштейн, не теряя самообладания, призывал к рассудительности и повиновению, но, видя, что уговоры тщетны, сказал: «Хозяин должен быть хозяином» и потому он объявляет, что если ему рабочие немедленно не подчинятся, то фабрику он закроет. Тогда окружавшие Зильберштейна рабочие один за другим стали наносить ему побои, а вышедший из толпы боевик-«пепеэс» «Валек» несколькими револьверными выстрелами убил фабриканта.

Зильберштейн, уже в бессознательном состоянии, просил дать ему воды, на это к нему приблизилась работница народной партии «Марися» и плеснула в лицо умирающему чашку нечистот.

Всё затихло, и толпа быстро разошлась, а преступники скрылись… Через некоторое время все скрывшиеся, и в том числе «Валек» и «Марися», вновь появились на работе.

Фабрика была оцеплена. Все рабочие разделены на сорок групп и опрошены по заранее составленным вопросам, чем

быстро удалось выяснить виновных, которые были задержаны и одиннадцать человек расстреляны.

Это убийство способствовало отрезвлению фабрикантов и заводчиков Лодзинского района, которые отказались от дальнейшей материальной поддержки партии «народовцев»[219], боевыми дружинами которых они пользовались для охраны фабрик и личной безопасности.

К этому не лишним будет добавить, что Зильберштейн принадлежал к числу фабрикантов, известных в Лодзи своею гуманностью.

Глава 19
Холмщина и П.А. Столыпин

В 1908 году правительство было занято обсуждением вопроса о новой Холмской губернии, куда должны были войти несколько уездов Седлецкой и Люблинской губерний.

Большинство населения последних составляло православное русское крестьянство, находившееся в бедственном состоянии под гнётом польских помещиков. Неграмотные, всегда полуголодные, грязные, оборванные, часто вовсе без белья, крестьяне не имели никакой собственности и во всех отношениях зависели от своих хозяев, которые их эксплуатировали самым бессовестным образом, обычно называя их «быдло» (скотами). Безропотно несли свой тяжёлый крест эти люди, так как даже этот скудный заработок они могли получить только в помещичьих экономиях.

Когда правительственный проект был близок к осуществлению, польские помещики объявили своим русским батракам, что все не принявшие в течение двух недель католичества будут выгнаны из их владений. В итоге несколько десятков тысяч православных крестьян было введено в лоно римско-католической церкви в течение одного месяца.

Целью означенного требования было доказать, что будто бы русское правительство и православное духовенство во главе с епископом Евлогием ложно указывают, что в упомянутых местностях преобладает русский православный состав населения. Однако польские помещики в этом отношении не действовали самостоятельно, а лишь исполняли директивы своих объединённых национальных организаций.

Руководило всем этим движением Польское коло, т. е. поляки — члены Государственной думы, с Романом Дмовским во главе. Разраставшееся усиление польского сепаратизма проявлялось не только в противодействии отделению Холмщины, но и во многих других вопросах.

«Народовцы» вели повсеместно устно и путём печати узконациональную, враждебную русской государственности пропаганду, — бойкотировали русские учебные заведения, заставляя посылать детей в тайные польские школы; всячески дискредитировали распоряжения Министерств народного просвещения и внутренних дел и не только сочувственно, но даже одобрительно относились к террористическим актам, направленным против русских должностных лиц, совершаемым Польскою социалистическою партиею. Наконец, организовав и свои боевые дружины за счёт некоторых фабрикантов, «народовцы» приступили к террору и «приговорили» двадцать два человека к смерти. В этот список вошли: начальник края, начальник охранного отделения и многие инспектора народных школ. Организация эта была разбита охранным отделением, но всё-таки успела убить трёх человек из последней категории.

В это время поляк-помещик князь Святополк-Мирский и член Думы Роман Дмовский организовали в Варшаве тайный съезд помещиков и общественных деятелей Седлецкой и Люблинской губерний. Приглашения были отправлены в одинаковых конвертах и одновременно сданы на почту. Это последнее обстоятельство обратило на себя внимание почтовой «цензуры», выяснившей, что съезд состоится в особняке князя Святополк-Мирского. Решив ликвидировать это собрание, охранное отделение распорядилось послать в квартиру князя авангардом нескольких агентов с чиновником Гуриным во главе, с тем чтобы они предупредили бы до прихода мундирного наряда полиции возможное уничтожение вещественных доказательств. Здесь вышел курьёз. Войдя в дом и увидев заседавших за громадным столом членов съезда, Гурин крикнул «Руки вверх! Ни с места!» Все так растерялись, что исполнили требование Гурина и оставили нетронутыми на столе уличающие собравшихся документы, как то: проекты прокламаций, списки лиц, в руках которых были сосредоточены нити пропаганды, и пр.

В числе присутствовавших на заседании находился и Р. Дмовский, отказавшийся воспользоваться как член Думы правом иммунитета.

По этому делу я был вызван в Петербург для личного доклада министру внутренних дел П.А. Столыпину.

В назначенный час я был приглашён в кабинет министра, который в это время, по желанию Государя, проживал с семьёю в Зимнем дворце. Навстречу мне из-за стола поднялся высокого роста брюнет с чёрною небольшою бородою и спокойно смотревшими на меня карими глазами. Заметное утомление министра сказывалось иногда в его позе. П.А. Столыпин слушал

мой доклад с большим вниманием, ни разу не перебив, и лишь от поры до времени делал заметки. Затем он задал мне ряд вопросов, входя в детали и способ выполнения его указаний.

Беседуя с П.А. Столыпиным, я был поражён его колоссальной памятью, способностью быстро ориентироваться в мыслях собеседника и логичностью выводов в широком государственном масштабе

Оппозиционная работа Польского коло, содействие ему русских левых кругов Государственной думы, противодействие отделению Холмщины и террор в Привислянском крае являлись для министра фактами, затрагивающими государственные интересы, вызывающими необходимость принятия решительных и твёрдых мер.

В заключение мне был дан ряд общих и частных указаний, затем, пожелавши мне успеха, премьер сказал: «Поляки сильно любят свою Польшу и народ, почему им многое удаётся в борьбе с нами. Мы тоже с Вами преисполнены такими чувствами и потому не будем жертвовать интересами своей родины».

Говоря о Холмской губернии, П.А. Столыпин с особым уважением отзывался о холмском епископе Евлогии (ныне митрополите) как о молитвеннике, русском патриоте, выдающемся проповеднике и государственного ума человеке.

П.А. Столыпин на горизонте русской государственности являлся выдающимся деятелем, значению которого история, несомненно, должна будет уделить особое место. Строгий законник, отнюдь не жестокий по натуре человек, верующий христианин, он всеми силами стремился избавить родину от тех «великих потрясений», которыми ей угрожали и революционные партии, и радикальные круги общественности.

Революционеры сознавали, что с такою крупною величиною, как Столыпин, бороться им не под силу, почему прибегали к обычному для них в таких случаях выходу.

П.А. Столыпин был убит после ряда неудавшихся на него покушений.

На такого рода убийства социалисты не жалели затрат и не брезгали никакими средствами для их осуществления.

Ими были убиты министры внутренних дел Д.С. Сипягин, как уже упоминалось, В.К. Плеве и, наконец, П.А. Столыпин.

В позднейшее время большевики убили А.А. Макарова, А.Д. Протопопова, Н.А. Маклакова и А.Н. Хвостова.

Из крупнейших государственных деятелей того времени остались в живых лишь бывшие премьеры: граф В.Н. Коковцев и А.Ф Трепов.

Глава 20
Анархисты

Нельзя обойти молчанием возникавшие в России и других государствах образования с девизом «Дух разрушения — дух созидания».

Подразумеваются под ними анархические группы, формировавшиеся из активных элементов, разочаровавшихся в целесообразности партийной социалистической деятельности, связанной дисциплиною, иерархическим началом и определёнными программными рамками. Эти группы обыкновенно очень скоро развивались, но так же быстро распадались и исчезали под ударом репрессий. Члены подобных организаций, по природе террористы и частью грабители, состояли в большинстве случаев из двух совершенно различных элементов: идейных фанатиков и дегенератов — уголовных преступников. В России эти группы носили наименования анархистов-коммунистов, анархистов-индивидуалистов, анархистов-коммунаров и т. п.

Их жизненности и энергии хватало на совершение нескольких грабежей, вымогательств и одного-другого террористического акта, обыкновенно направленного против чинов местной исполнительной власти; вооружены они были слабо, пользовались бомбами кустарного производства, начинёнными порохом и пулями, и револьверами устарелых систем.

Из более ярких типов анархистов вспоминается такой.

Осенью 1915 года мною была получена в Одессе, по частному адресу, из Николаева условная, так называемая «торговая», телеграмма: «На пароходе «Заря» отправлен вам товар в сопровождении приказчика. Запакуйте его до нашего распоряжения. Жуков»

Её следовало понимать так: на пароходе «Заря» выехал из Николаева в Одессу под наблюдением филеров революционер, которого следует арестовать и ждать дальнейших сведений о задержанном дополнительно.

Обыкновенно по таким делам и вообще секретным сношение по телеграфу производилось депешами, текст которых зашифровывался буквами или цифрами. В экстренных же случаях, особенно при внезапных отъездах серьёзных наблюдаемых, за неимением времени для шифрования посылались по образцу упомянутой «торговые» телеграммы за подписью филера.

К приходу «Зари» на пристань был послан наряд полиции, которому николаевский филер указал наблюдаемого для его задержания. Последний, выхватив из кармана револьвер,

выстрелил в упор в полицейского надзирателя, но промахнулся. Я распорядился, чтобы стрелявшего привезли ко мне в управление на опрос.

В сопровождении двух конвойных ввели в мой кабинет маленького роста еврея, лет 20–22. Тщедушный, чахоточного вида с бледным лицом, блондин, бедно, но вычурно одетый, в состоянии полной апатии, арестованный посмотрел на меня совершенно мутными глазами. Такой взгляд и апатия мною несколько раз наблюдались у боевиков тотчас же после совершения убийства, когда момент действия требовал напряжения всех моральных и физических сил; но чаще констатируется обратное, т. е. после убийства одного человека убийца имеет влечение к совершению ещё таких же преступлений. Когда по просьбе арестованного, назвавшегося Канторовичем, были сняты с него наручники, он, усевшись на стул, впал в какое-то отупение и бессмысленно блуждал глазами из стороны в сторону. Конвойные вышли, и я ему задал вопрос: «С какою целью Вы стреляли?» Канторович опомнился и твёрдо ответил: «Я террорист и принципиально без сопротивления не сдался». Когда же я ему указал, что теперь в Одессе военное положение и ему угрожает серьёзная кара, он заметил: «О происшедшем не сожалею, а промахнулся только потому, что у меня был револьвер «Бульдог», а не «Браунинг»».

Этот маньяк был настолько убеждённым бакунинцем, что с уверенностью заявил: «Если бы Вы побеседовали со мною некоторое время, то несомненно согласились бы с правильностью моих взглядов».

Канторович был предан военно-полевому суду[220].

Глава 21
Побеги

Побеги политических арестованных из русских тюрем, мест ссылки и даже каторги были частым явлением. В организации побегов принимали участие как местные, так и заграничные комитеты партий, отпуская на это дело деньги и всячески ему содействуя.

Частые побеги были возможны благодаря слабому тюремному режиму, и напрасно левая пресса утверждала, что режим западноевропейских тюрем был легче и гуманнее русских.

Побег был всё-таки не простым делом и требовал, помимо прочего, получения различных предметов для своей подготовки.

Частые свидания с заключёнными без соблюдения тюремных правил и предупредительных мер, отчасти добродушие

надзирателей позволяли арестантам использовать приходивших к ним лиц для установления связи с находившимися на свободе единомышленниками и получения различных предметов, необходимых для подготовки побега, как то: пилок, гвоздей, ключей и т. п. Бывали случаи, что такие предметы обнаруживались тюремной стражей в коробках с зубным порошком, гильзами, в хлебе и т. д.

Когда в общие тюремные камеры попадали орудия взлома и заключённые решали совершить побег, то, по строго установленному тюремному обычаю, в распиловке решётки или выдалбливании стен принимали участие все арестанты, даже те, которые отказывались бежать.

Хитро выдуманные планы побегов и изощрения, к которым прибегали политические арестанты, указывали на большую энергию, настойчивость и упорство в достижении свободы.

Из многих побегов политических арестантов, с которыми мне приходилось сталкиваться по делам, некоторые несомненно интересны.

Известный социалист-революционер, террорист Гершуни, убийца уфимского губернатора Богдановича[221], ухитрился бежать из каторжной тюрьмы следующим образом.

Во время прогулки арестантов на тюремном дворе к находившейся там кухне подъехала подвода с несколькими кадками капусты. Когда капуста была перенесена в кухонный погреб, подкупленный заранее возница вынес оттуда пустые кадки и в одной из них поместил Гершуни, а затем не торопясь выехал за тюремные ворота

Беглецу при организованной помощи партийных товарищей удалось проехать в Японию, а оттуда в Италию.

Работающая ныне у большевиков и занимающая видное положение некая Смидович, сестра автора «Записок врача» Вересаева[222], однажды была доставлена из киевской тюрьмы в помещение жандармского управления для допроса. По его окончании, проходя во дворе к тюремной карете, она сказала сопровождавшему её жандармскому унтер-офицеру, что хочет пройти в уборную. Оказавшийся в коридоре конвоир рассказывал потом, как он видел, что сейчас же после входа Смидович в уборную оттуда вышла какая-то женщина в платке. Так как Смидович долго не показывалась, то унтер-офицер заглянул в уборную и нашёл там шляпку и пальто. Смидович, которая, очевидно, быстро переменив свой внешний вид, прошла мимо невнимательного конвоира и скрылась.

Из московской женской тюрьмы совершила побег группа женщин. Следует сказать, что снаружи здание тюрьмы охранялось

слабо, и этим обстоятельством главным образом и воспользовались составители плана побега.

Путём тайной передачи записок на свиданиях, при рукопожатиях или в момент поцелуя был выработан такой проект. Исправным и покорным поведением заключённые должны были не только усыпить бдительность старшей тюремной надзирательницы и всего служебного персонала, но и получить некоторые льготы. Затем, по задуманному плану, представлялось необходимым сделать ключ к замку тюремных ворот, чего никак не могли исполнить находившиеся на «воле» единомышленники без слепка с замочной скважины. С трудом арестанткам удалось достать восковую свечу, которую они обратили в комок, а затем успели сделать необходимый им слепок. Долгое время его не могли передать на «волю», но наконец добились того, что слепок попал в руки организаторов побега, и ключ был готов, а после нескольких неудачных попыток оказался в тюремной камере.

Настроение заключённых было крайне нервное, напряжённое и, боясь быть обнаруженными, они друг друга удерживали от поспешных решений. Однажды к вечеру, когда сумерки спустились, внимание привратника ими было искусно отвлечено, и он удалился от ворот на значительное расстояние. В этот момент ворота были открыты, и 8 арестанток оказались на свободе.

При получении сведений о побеге охранное отделение тотчас же выслало целый отряд агентов для поимки беглянок, но это оказалось бесполезным, и никто в то время задержан не был. На «воле» партийные товарищи, ожидая беглянок, приготовили им безопасное убежище, платье, деньги, а потом отправили их за границу.

Впоследствии некоторые лица из этой группы возвратились на родину для революционной работы и были вновь задержаны.

Для чинов администрации этот побег не остался без последствий. Старшая тюремная надзирательница была уволена от службы, а начальник охранного отделения полковник фон Котен, отважный и талантливый жандармский офицер, едва не лишился места. (4 марта 1917 года он был убит в Финляндии на улице случайно проходившими солдатами, как генерал.)

В большинстве побеги совершаются по одним и тем же выработанным шаблонам. Характерно лишь то, что разработанный в деталях план дальше замкнутой среды организаторов, прямых пособников и заключённых не шёл и никому другому известен не был. Вот почему если секретной агентуре и удавалось получать сведения о готовившемся побеге, то это обыкновенно случалось перед самым его осуществлением.

Такой случай был в Ростове-на-Дону.

Однажды вечером получено было сообщение секретного сотрудника о том, что политический арестант Фурунджи и другие задумали совершить побег. Градоначальник, коему об этом было сообщено, отнёсся к сведениям агентуры скептически, так как накануне, посетив тюрьму, нашёл внутреннюю и наружную стражу достаточно бдительной. «Утро вечера мудренее», — сказал он.

В 4 часа утра Фурунджи и с ним 7 человек бежали.

Бывали случаи, когда политические арестанты были освобождаемы по подложным ордерам, доставляемым переодетыми в форменное платье революционерами.

В Сибири как-то раз в тюрьму явился жандармский унтер-офицер и привёз предписание местного жандармского управления об освобождении одного социалиста-революционера. Начальник тюрьмы был уже готов исполнить бумагу, как вошедший в канцелярию тюремный надзиратель, ранее служивший в жандармском дивизионе, обратил внимание своего начальника на то, что аксельбант у приехавшего унтер-офицера находился на левом, а не на правом, как полагалось, плече. Тотчас же наведёнными справками было установлено, что предписание об освобождении подложно, и унтер-офицер-самозванец был арестован. Почти при аналогичных условиях в Варшаве был освобождён муж Розы Люксембург. Вспоминается ещё один редкий случай побега.

Под тюремную ограду был заложен динамит, и в то время, когда политические арестанты находились во дворе на прогулке, стена была взорвана. Произошла паника, суматоха, воспользовавшись которой арестованные бежали через брешь, образовавшуюся в стене.

Глава 22
Наблюдательность агента

Как уже упоминалось, использование условных выражений, шифров и воспроизведенных химическим составом текстов оказывало немалую услугу деятельности тайных организаций. Однако малейшая неосторожность в применении этих приёмов часто давала власти основания для быстрого и успешного раскрытия всей тайной работы целой организации.

В период минувшей войны на юге России были замечены признаки существования там немецкой шпионской группы, так как через Румынию доставлялись в Германию сведения о передвижении наших войск, а также по вопросу о снабжении

русской артиллерии снарядами.

В Одессе состояли под наблюдением несколько подозрительных лиц, в том числе и некая Фишман, обрусевшая немка, проживавшая по Коблевской улице и посещавшая военные госпитали в качестве дамы-благотворительницы. Контрразведкой было выяснено, что шпионы в своей деятельности прикрываются торговлей, а именно покупкой и продажей свинины, и имеют какую-то связь с городом Измаилом Бессарабской губернии. Для расследования этого дела в Измаил были посланы из Одессы два опытных агента-филера, которые по приезде поселились в разных гостиницах, встречаясь при совершенно конспиративной обстановке друг с другом. Оба филера имели нелегальные паспорта, один на имя Зайцева — скупщика свинины, а другой — Кашина, по профессии скотопромышленника. Последнему в гостинице была предложена комната, из которой только что внезапно выехал какой-то постоялец. Болтливая горничная Феня, убиравшая номер, рассказала Кашину, что уехавший из гостиницы квартирант Ковальский — богатый колбасник, щедро раздававший прислуге чаевые деньги. Кашин тут же не преминул заметить, что он будет щедрее Ковальского и хорошо заплатит, если Феня окажется услужливой и заботливой. Польщённая, с одной стороны, обещанием хорошего вознаграждения, а с другой — простотой и ласковостью обращения Кашина, Феня стала рассказывать подробности жизни Ковальского. Кашин узнал, что Ковальский ухаживал за одной дамой, которая недавно поселилась в городе и давала уроки, что эта дама совсем некрасивая, с косым глазом, и Феня удивлялась, что Ковальский, такой красивый мужчина, увлёкся совсем неинтересной женщиной. К этому Феня добавила, что в течение недели пребывания Ковальского в гостинице эта дама дважды приходила к нему вечером и удалялась рано утром. Кашину хотелось узнать приметы Ковальского, поэтому он сказал Фене, что будто бы среди его знакомых есть тоже Ковальский, человек небольшого роста, полный, с остроконечной бородкой, брюнет и т. д. На это Феня возразила, что уехавший Ковальский — высокий, красивый блондин, с большими усами, без бороды…

Пока Феня вела такую оживлённую беседу и убирала комнату, Кашин обратил внимание, что в сору, который выметала горничная, находилось несколько мелких кусков разорванной бумаги. Разговоры Фени и вся обстановка поспешного отъезда Ковальского вызвали у Кашина подозрение и желание исследовать подробно нанятую им комнату. Он попросил горничную приостановить уборку и продолжить её после его ухода. Феня повиновалась и вышла из номера. Тогда Кашин

повесил на ручку двери полотенце, чтобы прикрыть им от любопытного взора замочную скважину, и стал собирать клочки бумаги, а также осмотрел все ящики письменного стола и комода. При этом он обнаружил на промокательной бумаге бювара, отражением в зеркале, неясные следы оттисков какого-то текста: «Б…ры», далее «0…с. у» и наконец «27… Б.-жа».

С найденным материалом Кашин отправился к местному жандармскому офицеру, причём по внимательном исследовании пришли к выводу, что следы на промокательной бумаге означают: «Бендеры» и «Одесса».

Вместе с тем была выяснена и причина внезапного выезда Ковальского. Дело в том, что жандармский унтер-офицер в этот день, 13 октября, был в конторе гостиницы и, между прочим, заинтересовался личностью Ковальского.

Очевидно, последний, осведомившись от словоохотливой Фени о сём, неприятном для него, визите, поспешил покинуть Измаил. Склеенные клочки бумаги, взятые из сора, представляли собою рукопись, по-видимому, черновую, воспроизведённую шифром — дробями, который в Измаиле дешифровать не удалось. Ввиду описанных результатов Зайцев выехал в Одессу, а Кашин направился в Бендеры. В Одессе я сделал предположение, что третий оттиск означает: «27 октября, гостиница «Биржа»», так как эта гостиница давно уже была на примете как место, где иногда находили приют подозрительные лица.

В Бендерах справки в гостиницах ничего не выяснили, но при расследовании на вокзале было установлено, что накануне неизвестный господин, по приметам вполне схожий с Ковальским, оставил на хранение чемодан. При секретном осмотре находившихся в чемодане вещей обнаружено было: бельё без меток, русского изделия, фуражка с клеймом ясского мастера и календарь, на 15-й странице которого сбоку были сделаны карандашом точки, что явилось показателем на пользование этим календарём для шифрованной переписки, и действительно, именно по 15-й странице календаря и была зашифрована упомянутая склеенная из кусков рукопись, в коей оказались данные о производстве снарядов в Одессе. Таким образом, было установлено точно, что Ковальский немецкий шпион.

Для шифрованной переписки по книге необходимо иметь автору письма и адресату одно и то же издание. Обыкновенно берут распространённое сочинение, которое можно приобрести в каждом городе и даже железнодорожной станции. Одно время пользовались журналом «Для всех», а в упомянутом случае календарём. В шифре обозначается сначала страница, затем идут дроби, в которых числитель указывает строчку и знаменатель

букву. Так: 75, 3/5, 9/7 и т. д будет обозначать. 75-я страница, 3-я строчка, 5-я буква, 9-я строчка, 7-я буква и т. д.

Само собою разумеется, что за приходом получателя чемодана зорко следили. Через день на вокзал явился подросток — мальчик и, по предъявлении квитанции, получил сданный багаж. Филеры проследили мальчика, который доставил чемодан в квартиру, известную как притон подозрительных постояльцев.

Однако Ковальского там не оказалось, но неотступное наблюдение вскоре отметило, что тот же чемодан вынесла из указанной квартиры женщина, державшая себя очень беспокойно, очевидно опасаясь за собою слежки, и уехала с ним в Одессу, где остановилась у названной выше Фишман, на Коблевской улице.

Впоследствии оказалось, что эта женщина именно та, о которой Феня говорила Кашину как о посетительнице Ковальского в гостинице в г. Измаиле.

Круг наблюдаемых всё разрастался, и вскоре в него попал и Ковальский, которого филеры удачно обнаружили 27 октября при выходе его из гостиницы «Биржа».

Тогда все заподозренные, в числе 17 человек, были подвергнуты обыскам и арестам, причём найденными у них письменными документами они были вполне изобличены в шпионской работе в пользу немцев.

Интересно то, что почти у всех задержанных оказались календари того же издания, какое было отобрано у Ковальского.

Таким образом, небрежно просушенное на промокательной бумаге письмо провалило целую организацию, члены которой были преданы военному суду.

Глава 23
Мой арест

Образовавшийся в февральские дни 1917 года Временный комитет членов Государственной думы[223] потребовал регистрации всех находившихся в столице офицеров для использования их специальных знаний.

Мне, старому жандармскому офицеру, монархисту по убеждениям, совершенно была неприемлема перспектива работать по специальности — производить обыски, аресты и опросы вчера ещё своих единомышленников. Вследствие этого я подал в названный комитет письменное заявление, в котором указал на своё служебное положение и отметил, что, как верноподданный своего Государя, от какой бы то ни было службы новой власти я отказываюсь. На таком моём заявлении «комиссар над Петроградским градоначальником» доктор Юрьевич положил

резолюцию: «В Петропавловку».

К вечеру того же дня у подъезда моей квартиры послышались звуки рожка и шум остановившегося грузовика, а через несколько минут в комнаты ворвалось человек около двадцати вооружённых солдат под начальством молодого офицера. Кстати сказать, последний, как оказалось, бывший студент, держал себя весьма корректно, и в его выразительных глазах я прочёл скорбное сочувствие, быть может в предвидении моей грядущей судьбы.

Этот офицер по телефону из моей квартиры доложил доктору Юрьевичу о моём аресте и получил приказание — доставить меня на допрос в следственную комиссию, заседавшую в здании Государственной думы.

Взобравшись на платформу грузовика, я увидел себя со всех сторон окружённым солдатами с ружьями наперевес. При тряске тяжёлого автомобиля по снежным ухабам штыки направленных на меня солдатских винтовок касались моего пальто. Было очень приятно!

По дороге из полумрака слабо освещённых улиц иногда раздавались крики: «Товарищи, куда едете, кого везёте?» После ответов конвоиров о моей личности следовали нелестные и мало внушавшие доверия комментарии.

Наконец приехали в Таврический дворец. Меня повели по длинным коридорам и обширным залам для «регистрации» и получения какого-то ордера.

Я нёс в руках взятые с собою два небольших чемоданчика, но их неожиданно вырвал у меня встречный солдат со словами: «Дай, я их снесу!»

На большой площадке перед дверью одного из кабинетов мне сказали остановиться. Здесь стоял большой письменный стол, покрытый зелёным сукном, ярко освещённый электрическими лампочками. Я сел в кресло и в ожидании дальнейшего стал просматривать начатую дома книгу. Через несколько минут явился неизвестный брюнет в сопровождении солдата и, поставив последнего в некотором от меня расстоянии, сказал ему: «Внимательно смотрите за арестантом!»

И теперь я представляю себе моё тогдашнее состояние: абсолютное спокойствие, тупое безразличие, восприятие со всеми деталями происходивших на глазах фактов и обострённый до последней степени слух.

Брюнет удалился, а я, усевшись удобнее за столом, продолжал читать.

В это время я увидел направлявшегося в мою сторону знакомого генерала, который, заметив, как я комфортабельно расположился за широким столом, по-видимому, решил, что я

занял пост при новой власти. Вероятно, под влиянием таких соображений, генерал радушно и с милой улыбкою приветствовал меня и вкрадчивым голосом спросил, что я тут делаю. Когда же я в ответ мрачно пробормотал: «Арестован», рука его тотчас выскользнула из моей, и генерал, отскочив, поспешно прошёл куда-то дальше. Вскоре этот генерал, возвращаясь, снова проходил мимо меня, но на этот раз он как бы рассматривал стену, противоположную моему столу.

Долго ещё пришлось ожидать, пока не позвали в следственную комиссию. Меня провели в кабинет, смежный с двумя обширными комнатами, в которых содержались подобные мне арестанты. Председателем допрашивавшей нас комиссии был социал-демократ В.Н. Крохмаль, по одну сторону его сидел генерал-лейтенант военно-судебного ведомства, а по другую — член Петроградской судебной палаты.

Почтительные позы этих двух членов комиссии и их осторожный шёпот «на ушко» Крохмалю, указывали на то, что передо мною крупный «сановник» Временного правительства и что ему докладывается о моей политической неблагонадёжности. Я сидел скромно…

Судьба изменчива! Председатель Крохмаль ныне в тюрьме у большевиков!.. А тогда, в Таврическом дворце, я, смотря на него, живо воскресил в своей памяти все подробности его ареста в Киеве в 1902 году и многократных допросов.

Своей персоной я не занял много времени у комиссии, и по соблюдении формальностей дело обо мне было передано на заключение члена Государственной думы левого кадета М.И. Пападжанова, который заявил, что меня следует освободить. Но здесь вмешался тверской предводитель дворянства Унковский, сказавший решительным тоном: «Не освобождать! — слишком большой жандармский формуляр».

Это суждение взяло перевес, и я «засел».

Меня оставили под стражей в комнате, рядом с которой производился допрос.

На следующий день к арестованным явился Керенский, в старой грязной тужурке, без воротничка, очевидно с целью произвести внешним видом подавляющее впечатление истинно демократического оратора в Совете рабочих депутатов, где в тот день он должен был выступать.

Керенский короткими, отрывочными вопросами стал расспрашивать меня по поводу Архангельска. Дело в том, что в феврале 1917 года я по высочайшему повелению ездил в Архангельск для расследования причин происшедшей там катастрофы со взрывом огромного количества артиллерийских

снарядов.

В заключение Керенский спросил моё мнение, что необходимо сделать, чтобы предупредить возможность дальнейших взрывов. Я ответил, что следует восстановить деятельность прежней комиссии по исследованию происшествия в Архангельске, а председателем её назначить генерал-лейтенанта Сапожникова. Во время разговора Керенский огрызком карандаша что-то царапал на клочке бумаги.

Означенная комиссия в тот же день была восстановлена и in corpore[224], во главе с председателем, генералом Сапожниковым ходатайствовала о моём освобождении.

Через месяц я был освобождён.

notes

Примечания

1

ГАРФ. Ф. 109. 1 эксп. 1880. Д. 98. Л. 30.

2

Свод законов Российской империи. 1892. Т. I, ч. 2. Раздел VI. Ст. 362.

3

ГАРФ Ф 102. Оп 260 Д. 259. Л. 9 об.

4

ГАРФ. Ф. 102. Оп. 260. Д. 259. Л. 2–5. В первые годы после революции вышел ряд популярных работ, связанных с историей охранных отделений. См.: *Жилинский В.Б.* Организация и жизнь охранного отделения во времена царской власти. М., 1918; *Членов С.Б.* Московская охранка и её секретные сотрудники. М., 1919; *Волков А.* Петроградское охранное отделение. Пт., 1917; *Красный А.* Тайны охранки М… 1917. *Осоргин М.Л.* Охранное отделение и его секреты. М., 1917; *Меньщиков Л.П.* Охрана и революция. К истории тайных политических организаций в России. М., 1925–1932. Т. 1–3. Деятельность охранных отделений нашла отражение в более общих работах, вышедших в последнее время: *Ерышкин Н.П.* История государственных учреждений дореволюционной России. М., 1983; *Лурье Ф.* Полицейские и провокаторы. СПб., 1992; *Рууд Ч., Степанов С.* Фонтанка, 16: Политический сыск при царях. М., 1993, *Zukerman F.* The Tsarist Secret Police in Russian Society, 1880–1917. New York, 1996; *Перегудова З.* Политический сыск России (1880–1917). М., 2000.

5

Там же. Ф. 102. Оп. 262. Д. 23. С. 1–12.

6

ГАРФ. Ф. 102.00. 1907. Д. 114. Л. 18.

Джунковский В.Ф. Воспоминания. М., 1997. Т. 1. С. 217–218.

8

См.: ГАРФ. Ф. 102.00. 1913. Д. 366. Л. 30–34.

9

ГАРФ. Ф. 110 Оп. 3. Д 2580. Л. 236 об., 253 об

10

См.: *Курлов П.Г.* Конец русского царизма. М; Пг., 1923; *Он же.* Гибель Императорской России. М., 1992; *Новицкий В.Д.* Из воспоминаний жандарма. Л., 1929; *Спиридович А.И.* Записки жандарма. Харьков, 1928; *Герасимов А.В.* На лезвии с террористами. М, 1991.

11

Список общего состава чинов Отдельного корпуса жандармов (по 15 июня 1910 г.). СПб., 1910. С. 203.

12

ГАРФ. Ф. 102. ОО. 1915. Д. 200. С. 110 об.

13

Там же.

Чернов В.М. Перед бурей. Нью-Йорк, 1953. С. 272.

15

Список общего состава чинов Отдельного корпуса жандармов. СПб., 1916; См. также: Ф. ПО. Оп. 17. Д. 357 Л 371.

16

ГАРФ. Ф. 110. Оп. 2. Д. 15042.

17

См.: Тайны политического сыска. Инструкция о работе с секретными сотрудниками. Спб., 1992. С. 2–15.

18

ГАРФ. Ф. 102. Оп. 314. Д. 43. Л. 1.

19

ГАРФ. Ф. 110. Оп. 17. Д. 357. Л. 371.

20

ГАРФ. Ф. 63. Оп. 53. Д. 619. Л. 170–170 об.

21

Там же. Ф. 504. Оп. 1. Д. 428. Л. 33.

22

Архивное дело. Вып 13 М., 1927. С. 29

23

ГАРФ. Ф. 504. Оп 1 Д 428. С. 85–86.

24

ГАРФ. Ф. 504. Оп. 1. Д. 428. С. 86.

Там же. Л. 56.

26

См.: *Джунковский В.Ф.* Воспоминания. М., 1997. Т. 2. С. 178–181.

27

См.: *Джунковский В.Ф.* Воспоминания. М., 1997. Т. 2 С 130.

28

«Колокол». 1916. 3 октября.

Падение царского режима. Л., 1924. Т. 1. С. 426–427.

Там же. С. XXIX.

31

Там же. Л., 1925. Т. IV. С. 494.

32

См.: Биржевые ведомости. 1916. 2 декабря.

33

34

См.: Петроградский листок. 1916. 21 октября; Речь. 1916. 20 октября.

35

Петроградская газета. 1916. 3 декабря.

36

См.: ГАРФ. Ф. 1467. Оп. 1. Д. 69. Л. 5, 7.

См.: Там же. Л. 17.

38

Печатается по первому изданию: *Мартынов А.П.* Моя служба в отдельном корпусе жандармов: Воспоминания / Под ред. Ричарда Враги. Stanford (California): Hoover Institution Press, 1972. Фрагмент на с. 297–302, опущенный в указанном издании, восстановлен по архивному источнику (рукопись хранится в Гуверовском институте войны, революции и мира при Стэнфордском университете (США)).

39

См., напр.: *Курлов П.Г.* Гибель Императорской России. Берлин, 1923; *Лопухин А.А.* Отрывки из воспоминаний. М.; Пг., 1923; *Vassilyev A.T.* The Okhrana: The Russian Secret Police. London; Bombey; Sydney, 1930. Возможно, Мартынов имеет в виду и воспоминания лиц, не входивших непосредственно в аппарат министерства, т. е. включенные в настоящий том мемуары А.В. Герасимова, П.П. Заварзина и др.

40

Указ об учреждении III отделения (под начальством генерала-адъютанта А.Х. Бенкендорфа) был объявлен 3 июля 1826 г. III отделение, просуществовавшее по 1880 год, являлось центральным учреждением «высшей» полиции. Оно осуществляло охрану государственного строя, надзор и контроль за всеми сторонами политической и общественной жизни России, а также за деятельностью государственного аппарата управления и выборных учреждений. III отделение непосредственно подчинялось императору. Корпус жандармов должен был стать его исполнительным органом на местах, что требовало коренной реорганизации всех жандармских частей и подразделений. Предполагалось не только объединить все жандармские части под единым руководством, но и связать их деятельность с деятельностью политической полиции. 25 июня 1826 г. была учреждена должность шефа жандармов, которым был назначен А.Х. Бенкендорф. Отдельный корпус жандармов был создан на основании «Положения о корпусе жандармов» от 28 апреля 1827 г. и представлял собой специальное воинское формирование, военные чины которого составляли основу штата жандармско-полицейских учреждений Российской империи с 1826 по 1917 г. Чины Отдельного корпуса жандармов имели двойное подчинение. По инспекторской, строевой, хозяйственной части Корпус жандармов входил в систему Военного министерства. По ведению политического розыска, проведению дознаний и другим вопросам чины Отдельного корпуса жандармов подчинялись III отделению, а с 6 августа 1880 г. — Департаменту полиции.

41

Если это и неправда, то хорошо придумано *(ит.)*.

42

Неточно. В последнем явлении «Ревизора» жандарм сообщает местным чиновникам: *«Приехавший по именному повелению из Петербурга чиновник требует вас сей же час к себе. Он остановился в гостинице»*.

43

После того, как событие уже произошло *(лат.)*.

44

Текст записки Бенкендорфа на французском языке см.: *Шильдер Н.* Император Николай Первый СПб., 1903. Т I. С. 780–781; русский перевод её Рус. старина. 1900. № 12. С. 615–616.

45

На практике всё обстояло не так просто: у III отделения были и платные агенты; см.: *Оржеховский И.В.* Самодержавие против революционной России (1826–1880 гг.) М, 1982. С. 35, 63–66.

46

Цитируется кн.: *Lokhart R.H.B.* British Agent. N.Y.; London, 1933.

47

В «Ведомости» о штатной численности членов Отдельного корпуса жандармов к 10 октября 1916 г. указывалось, что генералов, штаб- и обер-офицеров в нём — 1012 человек, вахмистров — 671 человек, унтер-офицеров — 11.957 человек, рядовых 1668 человек, классных чиновников — 39 человек, трубачей — 12 человек, нестроевых — 359 человек. Итого — 15.718 человек (см.: Список общего состава чинов Отдельного корпуса жандармов. Пг., 1916. С. 808).

48

Афоризм А.В. Суворова из написанного им руководства «Наука побеждать» (1800).

49

Из архива Л. Тихомирова // Красный архив. М.; Л., 1924 Т. 6. С. 155.

Шилов А. Н.Г. Чернышевский в донесениях агентов III отделения (1861–1862) // Красный архив. М.; Л., 1926. Т. 1(14). С. 85.

Это было связано с тем, что в фабричных районах революционные партии развернули активную пропаганду.

52

Московский художественный театр арендовал помещение театра «Эрмитаж» в 1898–1902 гг.; финансируемый В.П. Суходольским Свободный театр располагался там в сезон 1913–1914 гг., а Драматический театр (того же Суходольского) — в 1914–1917 гг.

53

Новый театр был создан в 1898 г. и закрыт в 1907 г.

54

«Русский календарь» А.С. Суворина выходил в Петербурге в 1872–1917 гг.

55

Земские начальники осуществляли в 1889–1917 гг. административно-судебную власть в деревне. Они назначались из числа потомственных дворян, владевших недвижимой собственностью.

56

По мере развития революционного движения в местных учреждениях политического сыска стали формироваться библиотеки нелегальной литературы, издаваемой различными партиями. В циркулярах по данному вопросу указывалось, что офицеры, ведущие розыск, должны быть знакомы с этой литературой. Большая библиотека была сформирована и в самом Департаменте полиции. В настоящее время эта коллекция, сильно пострадавшая во время Февральской революции, хранится в ГАРФ (Ф. 1741).

57

Ситуация изменилась после начала революции 1905–1906 гг. В апреле 1906 г. директор Департамента потребовал от начальников ГЖУ усилить работу среди крестьян. В июле 1906 г. от ГЖУ потребовали срочно приобрести секретную агентуру. В ответ на жалобы некоторых начальников ГЖУ о сложностях по приобретению секретной агентуры директор Департамента в сентябре 1906 г. писал: *«Я просил <…> озаботиться приобретением серьёзных сотрудников среди крестьян, войска и террористов, открыв Вам на сей предмет усиленный денежный кредит <…> прошу сообщить для докладу министру, что принято…»* С января по июль 1906 г. расходы на секретную агентуру в 31-й губернии России составили 69.655 рублей 35 коп. Часть сумм, которые правительство выделяло Министерству внутренних дел, могла им расходоваться безотчётно и не подлежала оглашению (см.: ГАРФ. Ф. 102.00.1906. Д. 32. Л. 99; Д. 342. Л. 67; Д. 1306. Л. 4).

58

Введение судебных уставов в 1864 г. упразднило на время вмешательство жандармских чинов в судопроизводство, которое существовало ранее, согласно указу от 24 марта 1831 г. Однако в Уставе уголовного судопроизводства 1892 г. целый ряд статей вменял в обязанность офицерам Корпуса жандармов проводить дознания по государственным преступлениям.

То есть заготовки лошадей.

Генерал А.И. Спиридович, преподававший на курсах, писал: *«Чтение лекций на жандармских курсах по истории революционного движения показало мне, сколь велика жажда у поступающих на курсы жандармов офицеров к познанию тех элементов, на борьбу с которыми они себя обрекают. Своя же личная служба в корпусе, особенно в первые годы, показала мне, сколь беспомощны офицеры в отношении изучения революционного движения благодаря отсутствию соответствующих пособий»* (ГАРФ. Ф. 102. ОО. 1912. Д. 159. Пр. 1. Л. 8).

Впоследствии Спиридович подготовил очерки о деятельности эсеров и социал-демократов, которые потом изучались на курсах: Революционное движение в России. Вып. 1. Российская социал-демократическая рабочая партия. СПб., 1914; Вып. 2. Партия социалистов-революционеров и её предшественники. СПб., 1916.

61

Кантонисты — солдатские дети, обязанные проходить военную службу и обучавшиеся в гарнизонных школах. Часто в кантонисты брали еврейских мальчиков 7–15 лет.

62

Имеется в виду Л.Ф. Молоховец, сын Е.И. Молоховец, автора многократно переиздававшейся книги «Подарок молодым хозяйкам» (1861).

63

Революционеры для поддержания связи с арестованными и передач им посылали в тюрьму на свидание порой совершенно незнакомых с заключёнными молодых людей, которые называли себя их невестами или женихами.

Правильно — Клыков.

65

Боевая организация Партии социалистов-революционеров начала действовать в 1902 г. Она находилась на автономном положении, имела свои устав, кассу, явки, адреса, квартиры. Руководил Боевой организацией в 1901–1903 гг. Гершуни, а в 1903–1908 гг. — Азеф. В Боевую организацию в разные периоды входило от 10 до 30 человек.

Имеется в виду Михайловская артиллерийская академия.

Правильно — Егора.

68

Корнет Отлетаев — герой одноимённого романа Г.В. Кугушева (М., 1858), нагловатый хвастун.

69

В июле 1905 г. П.И. Рачковский был назначен заведующим Политической частью Департамента полиции (на правах вице-директора). Под его руководством оказались главные политические структуры департамента. Особый отдел, 5 и 7-е делопроизводства. Методы его работы вызвали серьёзные возражения со стороны заведующего Особым отделом Н.А. Макарова, который 6 февраля 1906 г. подал прощение об отставке. Свой уход он мотивировал *«воцарившимся в Департаменте с назначением заведующего политической частью Рачковского двоевластием, благодаря чему и оказалось возможным печатание в декабре 1905 г. в помещении Департамента, без ведома высших начальствующих лиц, но с разрешения Рачковского черносотенных воззваний»*. Весной 1906 г. Рачковский был вынужден уйти, а должность, которую он занимал, после его ухода была упразднена.

70

Фрагменты воспоминаний Герасимова печатались в нью-йоркской газете «Новое русское слово» (1933. 14, 16, 20, 23, 27, 29 янв.). Полностью под названием «На лезвии с террористами» они вышли в Париже в 1985 г. См. их переиздание в данном томе.

71

Вся эта история свидания А.В. Герасимова, П.И. Рачковского и Азефа взята мной из книги Б. Николаевского «История одного предателя». (См.: *Николаевский Б.И.* История одного предателя. Террористы и политическая полиция. Берлин, 1934. С. 178–180)

Зубатов был переведён в Департамент полиции в 1902 г.

73

Связь Азефа с Ратаевым продолжалась до июня 1905 г., о чём свидетельствуют опубликованные письма Азефа. См.: Письма Азефа 1893–1917 гг. М., 1994.

Правильно — Серафима.

75

Г. Гершуни бежал из тюрьмы в бочке из-под кислой капусты. См.: *Гершуни Г.* Из недавнего прошлого. М.; Л., 1928. Подробнее о Г. Гершуни см.: *Городницкий Р.* Г.А. Гершуни — «крёстный отец» эсеровского терроризма // Евреи и русская революция: Материалы и исследования. М.; Иерусалим, 1999. С. 233–266.

То есть выпускники военных академий.

77

Д.П. Бусло в 1918 г. при П.П. Скоропадском возглавил Особый отдел Штаба гетмана (см. *Скоропадский П.П.* «Украина будет!..»: Из воспоминаний // Минувшее. Вып. 17. М., СПб, 1994 С. 47).

Имеется в виду А.С. Романов.

79

Имеется в виду Поронинское совещание ЦК РСДРП, проходившее 23 сентября — 1 октября 1913 г. Ленин в это время жил на даче под Закопане недалеко от ст. Поронин.

80

Военный министр В.А. Сухомлинов в 1915 г. был уволен, и против него было возбуждено уголовное дело по обвинению в бездействии, превышении власти, служебных подлогах лихоимстве, государственной измене. 29 апреля 1916 г Сухомлинов был арестован и заключён в Петропавловскую крепость и в октябре переведён под домашний арест. После Февральской революции арестован Чрезвычайной следственной комиссией и в апреле 1917 г предан суду и приговорён к пожизненной каторге. В 1918 г освобождён по возрасту.

81

«Возрождение» — газета, выходившая в Париже в 1925–1940 гг.

82

Военно-промышленные комитеты были созданы в 1915 г. с целью оказания помощи государству в снабжении армии. Речь идёт не о Рабочей партии, а о Рабочей группе Центрального военно-промышленного комитета. См. ниже воспоминания А.Т. Васильева и примеч. 66 к ним.

83

Имеется в виду Всероссийский земский союз помощи больным и раненым, организованный в 1914 г. Он сотрудничал с Союзом городов, а в 1915 г. произошло их объединение в Комитет Всероссийских земских и городских союзов (Земгор).

84

Взрыв в «Северной гостинице» произошёл в ночь с 31 марта на 1 апреля 1904 г. При подготовке бомбы для покушения на Плеве погиб техник Боевой организации партии эсеров А.Д. Покотилов.

85

15 июля 1904 г. в Петербурге на Измайловском проспекте был убит министр внутренних дел В.К. Плеве, ехавший на доклад к императору. Бомбу бросил член Боевой организации партии эсеров Е.С. Сазонов.

86

В конце декабря 1904 г. на Путиловском заводе возник конфликт из-за увольнения четырёх рабочих, которые являлись членами Собрания русских фабрично-заводских рабочих г. Петербурга, созданного в начале 1904 г священником Г.А. Гапоном. 3 января 1905 г. 13 тыс. рабочих Путиловского завода прекратили работу, выдвинув ряд экономических требований. 7 января в Петербурге бастовало уже 130 тыс. рабочих. Гапон предложил выработать петицию и организовать мирное шествие рабочих к Зимнему дворцу для вручения петиции царю. Утром 9 января свыше 140 тыс. рабочих из разных районов Петербурга с иконами и хоругвями направились к Зимнему дворцу. Императора в Петербурге не было. Великий князь Николай Николаевич, главнокомандующий войсками гвардии и Петербургского военного округа отдал приказ разогнать демонстрацию. Были применены нагайки, шашки, огнестрельное оружие. Больше тысячи человек было убито, около 5 тыс. ранено.

87

После расстрела мирной демонстрации в некоторых районах Петербурга, особенно на Васильевском острове, в конце дня 9 января были стычки с солдатами и казаками, рабочие соорудили 12 баррикад.

Арест этот состоялся в конце ноября 1905 г.

89

Имеются в виду сборники рассказов Г.К. Честертона о патере Брауне.

Упомянута опера М.И. Глинки.

91

М.И. Трусевич сам ушёл в отставку 29 марта 1909 г., что было связано, по-видимому, с назначением 1 января 1909 г. товарищем министра внутренних дел, заведующим полицией (пост, на который он сам претендовал), его бывшего помощника — вице-директора Департамента полиции П.Г. Курлова.

Вскоре их положение изменилось. На чинов ЖПУ железных дорог приказом по ОКЖ от 28 июля 1906 г. № 14528 были возложены обязанности производства дознаний о всех «преступных действиях» политического характера, «совершённых в полосе отчуждения железных дорог». При производстве дознании начальники отделений подчинялись начальникам местных ГЖУ. В результате ЖПУ железных дорог стали выполнять функции политической полиции. На железных дорогах был создан также секретно-агентурный надзор, что обязывало ЖПУ железных дорог иметь собственную секретную агентуру.

93

В феврале 1907 г. министр внутренних дел утвердил две инструкции по организации наружного наблюдения, подготовленные в Департаменте полиции при непосредственном участии директора департамента М И. Трусевича: «Инструкцию начальникам охранных отделений по организации наружного наблюдения», которая носила общий характер, и «Инструкцию по организации наружного (филерского) наблюдения» из 75 пунктов, которая подробно описывала методику работы филера. Вторую из них имеет в виду Мартынов. Инструкция впервые была опубликована (с некоторыми сокращениями) в партийной эсеровской печати, см приложение к № 12 «Из партийных материалов» Изд. Организационного бюро при ЦК ПСР. СПб., 1908. Полная публикация: Служба наружного наблюдения в русской полиции / Публ. З.И. Перегудовой // Река времен. М., 1995. Кн. 1. С. 255–274.

Е.К. Брешко-Брещковскую, ветерана революционного движения, прозвали вначале «Бабушкой», а с 1917 г. — «Бабушкой русской революции».

Е.П. Медников с 1902 г. возглавлял Летучий отряд филеров Департамента полиции, находившийся при Московском охранном отделении. Оно руководило многими операциями и отсылало в Департамент полиции отчёты и сведения о революционном движении в местах их проведения.

Будучи руководителем Саратовского охранного отделения и находясь в чине ротмистра, Мартынов руководил политическим сыском в городе и губернии. Таким образом, по сыскной части он был «выше» полковника Померанцева. Но по строевой и хозяйственной частям он должен был подчиняться ему. Подобные сложности в отношениях были очень часто «камнем преткновения» в отношениях между учреждениями политического сыска на местах, и это не могло не сказываться на эффективности их работы.

97

См.: *Новицкий В.Д.* Из воспоминаний жандарма. Л., 1929 (упоминаемая докладная записка Новицкого включена в это издание).

«То есть играли в карточную игру «винт»».

99

До 1907 г. каждое учреждение политического сыска обязано было иметь филеров, которые не являлись государственными служащими. В случае их гибели, что нередко случалось в годы революции, семья не получала никакого пособия. Поэтому в 1907 г. (по согласованию с министром внутренних дел) в штат Московского охранного отделения, как учреждения, созданного законодательным путём, было зачислено около 700 человек филеров. Они числились надзирателями, младшими и старшими городовыми, но реально несли службу филеров в местных охранных отделениях и ГЖУ по всей России.

100

«Ведь надобно же, чтобы всякому человеку хоть куда-нибудь можно было пойти», — говорит в «Преступлении и наказании» Мармеладов при первой встрече с Раскольниковым.

101

Осенью 1905 г. в Саратове Н.И. Ракитников организовал совещание членов ЦК. Участникам совещания стало известно, что за ними ведётся наблюдение полиции, в связи с чем были приняты конспиративные меры к разъезду делегатов. Ракитников принял участие в спасении Брешко-Брешковской от ареста. Сам он был арестован с другими членами Саратовского комитета партии эсеров 1 октября 1905 г. Через неделю был освобождён.

То есть проследить.

103

Б. Савинков писал в своих воспоминаниях, что в августе 1905 г. *«к члену петербургского комитета [эсеровской партии] Ростовскому явилась незнакомая дама и принесла анонимное письмо: в письме этом говорилось, что инженер Азеф и «бывший ссыльный Т.» (Татаров) — секретные сотрудники департамента. Затем перечислялось, что именно тот и другой «осветили» полиции. Письмо это не вызвало тогда во мне никаких сомнений: уже не говоря об Азефе, я и Татарова не мог заподозрить в провокации»* (*Совинков Б.* Воспоминания террориста. Конь бледный. Конь вороной. М., 1990. С. 135; там же на с. 267–268 приводится текст письма).

Этот пост занимал Д.Н. Дубасов.

105

То есть либо как у героя Русско-турецкой войны 1877–1878 гг. М.Д. Скобелева, либо как у министра внутренних дел, а впоследствии председателя Совета министров И.Л. Горемыкина.

106

Правильно — Бенедиктович.

107

Секретная агентура включала в себя следующие категории: случайные заявители, «штучники», осведомители и собственно «секретные сотрудники». Представители первых трёх категорий, как правило, работали дворниками, паспортистами, горничными, организация встреч с которыми была довольно простым делом. Собственно же секретные сотрудники были членами партийных организаций и освещали их деятельность изнутри, связь с ними требовала особой осторожности и такта. Чаще всего встречи с ними происходили на конспиративных квартирах.

108

В Департаменте полиции документация с агентурными данными поступала в канцелярию Особого отдела, затем направлялась руководителям отделений. После исполнения документа составлялись именные и предметно-тематические карточки, которые передавались в Регистрационный отдел (Центральный справочный алфавит). Карточки на самих секретных сотрудников входили в совершенно секретную картотеку Особого отдела. Оригиналы документов оставались и в Особом отделе, где формировались дела по губерниям и партийным организациям.

109

В Особом отделе с момента его создания на совершенно секретные дела была заведена своя картотека с именными карточками на секретных сотрудников по всей империи с указанием фамилии, клички, места службы.

110

Речь идёт о взрыве на даче Столыпина 12 августа 1906 г.

111

Кличка С.С. Зверева.

112

Правильно — Анастасией.

113

Имеются в виду члены Союза социалистов-революционеров — максималистов, выделившегося из эсеровской партии в конце 1904 г. и стоявшего за широкое применение террора.

114

Сборник *«Прямо к цели»* вышел в Петербурге в 1906 г. (издательство «Максималист»); *«Коммуна»* издавалась Союзом социалистов-революционеров за рубежом.

115

Под кличкой «Николаев» скрывался И.А. Шишло. При ревизии секретной агентуры Саратовского охранного отделения в мае 1910 г. вице-директор Департамента полиции С.Е. Виссарионов в своём отчёте писал, что *«Николаев производит впечатление серьёзного и осведомлённого лица <…> Мартынов с ним встречался на своей квартире, такой способ свидания с одним только Николаевым. Он признан по местным условиям наиболее надёжным»* (ГАРФ. Ф. 102. 00. 1914. Д. 1. Ч. 69. Лит. Д).

116

Имеется в виду II конференция РСДРП 3–7 (16–20) ноября 1906 г. в Таммерфорсе.

Дело решалось в административном порядке в том случае, если не было достаточных данных для передачи его в суд. Доклад губернатора, составленный на основании имеющихся сведений о «вредной» деятельности тех или иных лиц, с предлагаемой им мерой пресечения направлялся на Особое совещание при министре внутренних дел. Особое совещание могло согласиться с предлагаемыми мерами, могло ужесточить наказание или вообще не применять его. Его решение было окончательным и после утверждения министром вступало в силу.

Красный архив. М.; Л., 1926. Т. 3 (16). С. 111.

119

Джакели был подполковником, а не полковником.

Осокорь — разновидность тополя.

121

Н.Е. Петропавловский умер задолго до этих событий, в 1892 г.

122

Царский день — считавшийся праздничным день коронования, а также именин царя.

123

Имеется в виду Московское училище живописи, ваяния и зодчества.

124

Насколько прост был сам С.С. Татищев в служебных отношениях, покажет следующий факт. Жил я в 1908 году в доме, принадлежавшем товарищу прокурора местного окружного суда Фон-дер-Ховену. Дом этот, очень поместительный, с большим двором и небольшим садом, прилегающим к задней части его, находился на углу Малой Сергеевской улицы и Вольской, а на другом углу тех же улиц находился губернаторский дом. И когда графиня Татищева говорила мне за завтраком: «А я только что видела вас, как вы с сыном гуляли по саду!» Из окон её комнат во втором этаже губернаторского дома было видно всё, что делается в моём саду. Так вот однажды, в жаркий летний день, когда я, в русской рубашке поверх домашних брюк, копался в саду, пришёл губернаторский швейцар и заявил мне: «Его Сиятельство просит вас немедленно зайти к нему по срочному делу». Я ответил, что сейчас переоденусь и приду, на что швейцар заявил мне: «Губернатор знает, как вы одеты, он вас видел сейчас из окон и просил вам передать, чтобы вы пришли, не переодеваясь…» Так я и пошёл к губернатору в русской рубахе. Оказался я необходимым губернатору для срочной справки.

125

Крест Святой Нины — знак, который носили члены учреждённого в 1860 г. Общества восстановления православного христианства на Кавказе. Перечислены ордена и знаки отличия, которые было очень легко получить.

126

Газета *«Искра»* была создана в 1900 г., в 1903 г. на II съезде РСДРП она была признана центральным органом партии. Книга В.И. Ленина *«Что делать?* Наболевшие вопросы нашего движения» вышла в 1902 г. в Штутгарте.

127

II съезд РСДРП проходил с 17 (30) июня по 10 (23) августа 1903 г. сначала в Брюсселе, а потом в Лондоне.

Имеется в виду Бюро российской организации «Искры».

129

Из Департамента полиции исходили циркуляры, в которых указывалось на необходимость бороться с провокацией. Однако такие деятели политического сыска, как П.И. Рачковский, М.С. Коммисаров, охотно применяли её в своей работе.

«Речь» (1906–1917), *«Биржевые ведомости»* (1880–1917) — петербургские газеты.

131

Районные охранные отделения были ликвидированы в феврале 1914 г. по инициативе не Департамента полиции, а товарища министра внутренних дел В.Ф. Джунковского.

132

В описании этого эпизода Мартынов неточен. Не Еремин сменил Броецкого на посту заведующего Особым отделом Департамента полиции, а, напротив, Броецкий сменил Еремина (в 1913 г.). Описываемые события произошли не позднее 1909 г. (когда М.И. Трусевич покинул пост директора Департамента полиции). Броецкий в эти годы не был пожилым (ему не было и 45 лет). Так что либо Броецкий вёл эту переписку, не будучи заведующим Особым отделом, либо переписка шла с другим чиновником.

133

В России было 8 перлюстрационных пунктов, в которых осуществлялась перлюстрация проходивших через почтамт «подозрительных» писем. Но иногда перлюстрацией занимались и сотрудники политического сыска. В фонде Департамента полиции в ГАРФе хранятся подлинники «химических» писем, которые прошли перлюстрирование.

134

А.Я. Булгаков был почт-директором при Николае I, а не Александре I.

135

Мартынов неточен. Александр Алексеевич (а не Иванович) Петров (Воскресенский) убил Карпова 19 декабря 1909 г. См.: Записки А.А. Петрова (К истории взрыва на Астраханской улице). Париж, 1910.

136

Заграничная агентура — специальное подразделение Департамента полиции. Основной его задачей было наблюдение за русской революционной эмиграцией за рубежом. Руководство Заграничной агентурой располагалось в Париже, в разное время были открыты отделения в Англии, Германии, на Балканах (см.: *Агафонов В.И.* Заграничная охранка. Пг., 1918; Заграничная агентура Департамента полиции: (Записки С. Сватикова и документы Заграничной агентуры). М., 1941; *Брачев В.С.* Деятели Заграничной агентуры. СПб., 2001).

137

Имеется в виду стихотворение в прозе И.С. Тургенева «Сон».

138

Имеется в виду повесть Б. Савинкова «Конь бледный», опубликованная с сокращениями под псевдонимом В. Ропшин в 1909 г. в журнале «Русская мысль» (1909. № 1), а в полном виде изданная в Ницце в 1913 г.

139

Трусевич и Герасимов свой уход, соответственно, из Департамента полиции и охранного отделения объясняют другими причинами.

140

16 июля 1882 г. была утверждена и введена в действие «Инструкция товарищу министра внутренних дел, заведующему полицией». На основании этой инструкции ему были подчинены Департамент полиции, обер-полицмейстеры, губернаторы, градоначальники, Корпус жандармов. Ему же поручалось руководство их деятельностью по «предупреждению и пресечению преступлений». О привлечении офицеров ЖПУ железных дорог к работе по политическому сыску см. примеч. 54.

141

Курлов П.Г. Конец русского царизма: Воспоминания бывшего командира корпуса жандармов. М.; Пг., 1923. С. 119–120.

142

Неточно цитируется первая строфа «Тамбовской казначейши» М.Ю. Лермонтова.

143

Там же. С. 129.

Там же. С. 80.

При Трусевиче была расширена сеть охранных отделений и были созданы новые учреждения политического сыска — районные охранные отделения. По его инициативе в Особом отделе (при непосредственном его участии) были созданы Положения об охранных отделениях и районных охранных отделениях.

Там же. С. 161.

147

Иеромонах Илиодор в 1908 г. создал в Царицыне вместе с саратовским епископом Гермогеном Союз православного русского народа. *Бест* — место, дающее преследуемому властью право временной неприкосновенности (церковь монастырь, иностранное посольство).

148

Коковцов В.Н. Из моего прошлого: Воспоминания 1903–1919 гг. Париж, 1933. ТII. С. 118.

149

Письма эти опубликованы в «Красном архиве» (1926. Т. 17. С. 193 и след.).

150

Цитируемые слова Богрова были написаны им почти за год до убийства Столыпина в письме от 13 декабря 1910 г.: *«Нет никакого интереса к жизни. Ничего, кроме бесконечного ряда котлет, которые мне предстоит скушать в жизни…»* (*Мушин А.* Дмитрий Богров и убийство Столыпина. Париж, 1914. С. 123).

151

Рейн Г.Е. Из пережитого, 1907–1918: В 2 т. Берлин, 1935. Т. I. С. 130, 131.

152

Мушин А. Дмитрий Богров и убийство Столыпина. Париж, 1914.

153

См. воспоминания самого Е Лазарева: Дмитрий Богров и убийство Столыпина // Воля России (Прага). 1926 № 6/7, 8/9.

Курлов П.Г. Указ. соч. С. 132.

155

Цитируется стихотворение, которым завершаются «Египетские ночи» А.С. Пушкина.

156

Мартынов был назначен на пост начальника Московского охранного отделения и районного охранного отделения летом 1912 г. К этому времени ещё не была проведена реорганизация. Ликвидация большинства охранных и районных охранных отделений произошла позднее (подробнее см. в предисловии) В России в это время существовало 72 губернских жандармских управления, 3 областных жандармских управления (Донское, Кубанское, Терское) и жандармское управление г. Одессы; в Привислинском крае было 33 уездных жандармских управления.

157

Заварзин П.П. Работа тайной полиции. Париж: Издание автора, 1924. В 1930 году эта книга была переиздана под заголовком «Жандармы и революционеры» (Париж: Издание автора, 1930) (Мартынов неточен, упомянутые книги лишь частично совпадают по содержанию.).

158

Речь идёт, по-видимому, о заседании ЦК большевистской партии в мае 1914 г., а секретный сотрудник, о котором идёт речь, — это А.С. Романов.

159

Речь идёт об Иване Яковлевиче Дриллихе.

«Русское слово» (1895–1918) — московская газета.

161

Имеется в виду А.И. Соколова.

162

По-видимому, имеется в виду Московский союз потребительских обществ, созданный в 1898 г. и переименованный в 1917 г. в Центросоюз.

163

Имеется в виду Сергей Александрович Регекампф.

164

И.Я. Падеревский был не президентом, а премьер-министром Польши.

165

Подробнее см. в кн.: Дело провокатора Малиновского. М., 1992; *Розенталь И.С.* Провокатор: Роман Малиновский: Судьба и время. М., 1996.

166

Мартынов неточен. Речь идёт о сборнике К.Д Бальмонта «Злые чары» (М., 1906), который был арестован цензурой из-за «богохульных» стихотворений «Отречение», «Будь проклят Бог!..» и «Пир у сатаны». В 1911 г, когда издательство «Скорпион» хотело переиздать «Злые чары» в составе Полного собрания стихов Бальмонта, дело о запрещённых стихотворениях было возобновлено. Начато было судебное преследование, и если бы Бальмонт вернулся в Россию, то был бы арестован. Судебное дело было прекращено после указа 21 февраля 1913 г., в котором была объявлена амнистия лицам, привлекавшимся за «преступные деяния, учинённые посредством печати» (наряду с Бальмонтом были амнистированы А.В. Амфитеатров, М. Горький, В.Г. Короленко, Н. Минский и др.) (см.: *Куприяновский П.В., Молчанова Н.А.* Поэт Константин Бальмонт: Биография. Творчество. Судьба. Иваново, 2001. С. 209–210). 5 мая 1913 г. Бальмонт вернулся в Россию (см.: Русская литература конца XIX — начала XX в. 1908–1917. М., 1972. С. 550).

167

Правильно — Гринвальд.

См.: К истории ареста и суда над социал-демократической фракцией II Государственной думы / Публ. С. Валка // Красный архив. 1926. Т. 3 (18). С. 76–117.

169

Боскетная — комната, стены которой расписаны под парковые пейзажи.

170

Имеется в виду Строгановское училище технического рисования, основанное (под другим названием) графом С.Г. Строгановым в 1825 г.

произведениями искусства *(фр.)*.

Лития — здесь: религиозный обряд, краткая молитва об успокоении души умершего, совершаемая при выносе его из дома.

173

Фактотум — исполнитель частных поручений.

из «Песни о вещем Олеге» А.С. Пушкина.

175

Младотурками принято называть организаторов и участников турецкой революции 1908 г., в ходе которой в Османской империи был введён конституционный строй.

176

Прогрессивный блок — созданное в августе 1915 г. объединение ряда фракций 4-й Государственной думы и Государственного совета. В него вошли прогрессивные националисты, группы центра, земцы-октябристы, фракция «Союза 17 октября», кадеты, прогрессисты из Думы и три фракции Государственного совета (центр, академическая группа и внепартийные). Прогрессивный блок требовал создать «правительство доверия», проводить политику, направленную на «сохранение внутреннего мира», амнистировать часть осужденных по политическим и религиозным делам, отменить некоторые ограничения в правах крестьян и национальных меньшинств.

177

См.: *Хатисов А.И.* У поколебленного трона // Иллюстрированная Россия (Париж). 1931. № 50. С. 1–4.

178

Печатается по указанному выше изданию воспоминаний А.П. Мартынова под ред. Р. Враги.

179

«Департаментские провокаторы», по выражению г-на Щеголева, — это министры внутренних дел Императорского правительства, их товарищи, директоры Департамента полиции, вице-директоры.

Мне хотелось бы задать вопрос: «В силу чего именно?» Белецкий этой фразой выдаёт себя: в этом-то, т. е. в отношении лично к нему («флюиды»), и находится ключ ко всем его увёртливым выпадам против меня!

Совершенно противоположная оценка дана была моей деятельности Департаментом полиции и бывшим прокурором Н.Н. Чебышевым, о чём я уже упоминал.

Это место в заявлении С.П. Белецкого звучит особенно неубедительно: во-первых, генерал Климович, как помнит мой читатель, очень не прочь был поставить именно в это время на моё место «своего человека», и, во-вторых, невероятно допустить мысль, что на моём месте начальника Московского охранного отделения можно было держать такого неопытного и непригодного человека, которым бы мог «руководить» градоначальник! Нелепость этого положения не требует опровержения.

Я этот «Шемякин суд» описал в своих «Воспоминаниях» и смело утверждаю, что С.Е. Виссарионов, как ни старался «угодить» С.П. Белецкому, ничего отрицательного при «ревизии» не нашёл, потому-то я и остался тогда на своей должности.

С.П. Белецкий и не требовал от меня никакого письменного объяснения, да и «объяснять»-то было нечего!

То есть «я сам ушёл» надо исправить на «меня ушли»! То же обстоятельство, что «Мартынов остался до последнего времени», надо понимать, конечно, так: Мартынов остался только потому, что я, Белецкий, ушёл!

Напомню, что псевдоним Малиновского как секретного сотрудника в бытность его членом Государственной думы был «Икс». Этот псевдоним был дан ему мною.

187

Стр. 316–320 моих «Воспоминаний».

188

Книга П.П. Заварзина «Работа тайной полиции» вышла в Париже в 1924 г. Печатается по этому изданию.

189

Преображенский приказ существовал с 1686 по 1729 г., с 1697 г. он получил исключительное право следствия и суда по политическим преступлениям, но в 1718–1726 гг. следствие и суд по важнейшим политическим делам (покушения на царя, попытка политического переворота, государственная измена) осуществляла *Тайная канцелярия*. III отделение было создано по предложению графа А.Х. Бенкендорфа в 1826 г. и находилось под его (а не А.А. Аракчеева!) управлением по 1844 г.

190

О «чёрных кабинетах», осуществлявших перлюстрацию переписки, см.: Из воспоминаний М.Е. Бакая. О «чёрных кабинетах» в России // Былое (Париж). 1908. № 7.С. 119–133; *Черняев В.Ю.* К. изучению эпистолярных источников начала XX в. (Контроль почтовой переписки) // Проблемы отечественной истории. М.; Л., 1976. С. 134–155; *Калмыков А.Ю.* К вопросу о роли «чёрных кабинетов» в системе политического сыска в начале XX века // Политический сыск в России: История и современность. СПб., 1997. С. 76–83; *Измозик В.* Чёрные кабинеты в России (XVIII — начало XX века) // Жандармы России: Политический розыск в России XV–XX вв. М., 2002. С. 339–354.

191

Имеется в виду «Положение о мерах и сохранению государственного порядка и общественного спокойствия», утверждённое 14 августа 1881 г. Положением предусматривалась возможность введения в некоторых губерниях России двух стадий исключительного положения: состояния усиленной охраны и состояния чрезвычайной охраны. «Положение» расширяло полномочия Министерства внутренних дел и местных властей в случае активных революционных выступлений. Положение о чрезвычайной охране вводилось в губерниях решением Кабинета министров, утверждаемым императором. Объявление местности в состоянии усиленной охраны мог осуществлять министр внутренних дел, если же губерния входила в состав генерал-губернаторства, то генерал-губернатор. Последним давалось право издавать обязательные постановления «по предлогам, относящимся к предупреждению нарушения общественного порядка и государственной безопасности» (см.: Полное собрание законов. Собр. 3-е. Т. 1. № 350).

«Положение» давало право генерал-губернаторам запрещать общественные и даже частные собрания, закрывать торговые и промышленные заведения, органы печати, арестовывать, учреждать особые военно-полицейские команды, передавать дела на рассмотрение военных судов. «Положение о мерах к охранению государственного порядка» вводилось как мера временная, связанная с обстановкой в стране, сроком на 3 года. Однако действие его постоянно продлевалось, и оно просуществовало до Февральской революции.

192

Пост генерал-губернатора Петроковской губернии (главным городом которой была Лодзь) занимал тогда О.А. Эссен.

193

Польская социалистическая партия была создана в 1892 г. на съезде польских социалистов в Париже.

194

4 марта 1917 г. Временным правительством была создана Чрезвычайная следственная комиссия для расследования действий бывших министров и прочих должностных лиц.

Если брать «чистых» секретных сотрудников, работающих в партийных организациях и общественном движении, то их одновременно было не менее 520. Если же учитывать также вспомогательных агентов, осведомителей, штучников, заявителей и случайных заявителей, а также сотрудников неустановленной категории, то в целом получается примерно 1200 человек.

196

В книге «Жандармы и революционеры» (Париж, 1930) Заварзин писал: *«С внешней стороны Жученко представляла собою высокого роста весьма худощавую блондинку лет 35, в больших круглых очках в золотой оправе на маленьком носу, с широким лбом, словом, физиономия её ничего особенного собою не представляла и красотою не отличалась. Но, беседуя с нею и прислушиваясь к твёрдой определённой речи её грудного голоса, нельзя было не оценить её большой характер, незаурядный ум и вдумчивость, с которою она выражала свои мысли. Вспоминая о ряде дел, ликвидированных по её сведениям, она увлекалась техникою розыска и приёмами, которыми пользовалась для отвлечения от себя подозрений. Тогда её глаза оживлялись и в них чувствовалась проницательность, хитреца и увлечение выпадавшими на неё делами, из которых она выходила победительницею. Цель её жизни сводилась к тому, чтобы воспитать и поставить на ноги своего малолетнего сына. Слабостью её была музыка и опера, которую она постоянно посещала с увлечением. Зная всесторонне русское общество, вращаясь в разных кругах, от аристократической беспартийной среды, монархического образа мышления, до прогрессивно-революционных групп, ярко проводящих свои республиканские стремления в борьбе с монархизмом, она, как редко кто, могла судить о силе тех и других.*

Считая монархический образ правления необходимым для России, она тем не менее сомневалась, что при повторной, после 1905 года, революции правительство выйдет победителем. Необходимы реформы, мудрость и твёрдость центральной власти для борьбы с социал-демократами, завладевшими рабочим классом, и социалистами-революционерами, работающими успешно в крестьянской и военной среде, говорила она. Они, как муравьи, создают свой мир, управляемый партиями вне правительства, окрылены верой в свой успех. Ведь, несмотря на 1905 год, русское общество и правящие сферы не поняли сути происшедшего, заключала она.

Где теперь Жученко, неизвестно, но она избегла и революционной мести, и большевистского расстрела» (с. 191–193).

Во время начала Первой мировой войны Жученко находилась в Германии и была заключена в тюрьму по подозрению в шпионаже. Подробнее о З.Ф. Жученко см.: *Прибшев А.В.* Зинаида Жученко: Из воспоминаний. Пг., 1919; *Спиридович А.* Записки жандарма. М., 1991. С. 45–47.

Подробнее о Е.Ф. Азефе см.: *Николаевский Б.* История одного предателя: Террористы и политическая полиция. М., 1991; *Тютюкин С.В.* Вокруг современных дискуссий об Азефе // Отечественная история. 1992. № 5.

198

«Работник» («Рабочий») — центральный печатный орган Польской социалистической партии, предназначенный для массового читателя. Был создан в 1894 г.

199

См. примеч. 117 к воспоминаниям А.П. Мартынова.

200

См. примем. 55 к воспоминаниям А.П. Мартынова.

201

«Накануне» (1922–1925) — сменовеховская газета, выходившая в Берлине.

202

Следующая глава («Почтовая цензура («Чёрный кабинет»)») опущена, поскольку она целиком вошла (с существенными дополнениями) в 13-ю главу включенной в данный сборник книги Заварзина «Жандармы и революционеры».

203

По постановлению исполнительного комитета «Народной воли» Г.П. Судейкин был убит народовольцами Стародворским и Конашевичем 16 декабря 1883 г. на квартире С.П. Дегаева. Дегаев в тот же день был увезён в Лондон.

Среди декабристов схожая азбука была разработана не Рылеевым, а Н. и А. Бестужевыми, но вариант, описываемый Заварзиным, использовался не декабристами, а народовольцами, см. воспоминания М. Бестужева и комментарии М.К. Азадовского и И.М. Троцкого к ним: Воспоминания Бестужевых. М., 1931. С. 168–193.

205

Бунд (Всеобщий еврейский рабочий союз) — партия еврейских ремесленников и промышленных рабочих. Создан в 1897 г, в 1898 г. вошёл в РСДРП как организация, «автономная в вопросах, касающихся еврейского пролетариата».

206

«Дашнакцутюн» («Союз») — армянская революционная партия, созданная в 1890 г. и ставившая своей целью создание автономного армянского государства на территории Турции.

207

Далее цитируется кн.: *Лозовский А.* Рабочая Франция. М; Пг., 1923 С. 9–10.

Следующая глава («Розыск у большевиков»), не имеющая мемуарного характера и выходящая за хронологические рамки книги, опущена.

209

Имеется в виду еврейский погром в Кишинёве 6 апреля 1903 г., во время которого было 49 человек убито и более 500 ранено, разгромлено более 1,5 тыс. еврейских домов и лавок. Дело о погроме рассматривалось в Кишинёве сессией особого присутствия Одесской судебной палаты в конце 1903 — начале 1904 г.

210

Выборгское воззвание — обращение группы депутатов 1-й Государственной думы, принятое в Выборге 10 июля 1906 г. в ответ на роспуск Думы. В нём содержался призыв к пассивному сопротивлению (не платить налоги, не идти в армию и т. д.).

Под этим псевдонимом действовал Иван Петрович Степанов.

212

Следующие две главы опущены. 11-я глава («Дащнакцутюны») исключена при публикации, поскольку события, о которых в ней идёт речь, более подробно, местами теми же словами изложены в 9-й главе книги Заварзина «Жандармы и революционеры», представленной в данном сборнике. 12-я же глава — «Техническое бюро (Фабрика бомб)» — полностью входит в 11-ю главу книги «Жандармы и революционеры».

То есть члены Польской партии социалистичной (Польской социалистической партии).

214

Партия Социал-демократия Королевства Польского и Литвы возникла в 1893 г.

215

Польская социально-революционная партия «Пролетариат» (так называемый Второй Пролетариат, в отличие от Социально-революционнои партии «Пролетариат», действовавшей в 1882–1886 гг.) существовала в 1888–1893 гг. Здесь имеется в виду Польская социалистическая партия «Пролетариат» (так называемый Третий Пролетариат), возникшая в 1900 г. и прекратившая своё существование в 1908 г.

Народовой (национальной) *демократией* называлось возникшее в 1897 г. движение, ставящее своей целью защиту польских национальных интересов. В 1905 г. была создана и соответствующая организационная структура — Стронниитво народово-демократичне (Национально-демократическая партия).

217

Речь идёт о расколе ППС в 1906 г. на ППС-левицу и ППС-революционную фракцию.

«боевиков» *(польск.)*.

219

Имеется в виду Национально-демократическая партия.

220

Второй эпизод из этой главы опущен, поскольку он дословно воспроизведён (с дополнениями) в 14-й главе книги Заварзина «Жандармы и революционеры».

221

Уфимский губернатор Н.М. Богданович 13 марта 1903 г. отдал приказ стрелять по толпе рабочих, требовавшей отпустить двух арестованных товарищей. Погибли мужчины, женщины, дети. Через два месяца член Боевой организации эсеровской партии Е. Дулебов убил Богдановича, убийство это было осуществлено под руководством М.О. Гершуни.

222

«Видное положение» в советской иерархии занимала С.Н. Смидович — член РСДРП с 1898 г., зав. отделом работниц и крестьянок ЦК РКП(б) в 1922–1924 гг. Но она была не сестрой В.В. Вересаева (Смидовича), а женой его двоюродного брата П.Г. Смидовича. Книга Вересаева «Записки врача» впервые вышла в Петербурге в 1901 г.

223

Временный комитет членов Государственной думы был создан 27 февраля по решению частного совещания членов Думы, а 28 февраля он решил «взять в свои руки восстановление государственного и общественного порядка».

в полном составе *(лат.)*.